Тамиздат

100 избранных книг

Тамиздат
100
избранных
книг

АМ НЕ МЕСТО
ШЕМ ГОРОДЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ НА СТАТЬЮ
ЫЙ ТРУТЕНЬ»

О действиях члена Союза писателей
Б. Л. Пастернака, не совместим
со званием советского писател

Постановление президиума правления Союза писателей
бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР,
президиума правления Московского отделения
Союза писателей РСФСР

Тамиздат

100 избранных книг





МОСКВА
ОЛМА Медиа Групп
2014

УДК 655(47+57-87) (091)
ББК 76.17г
Т17

Составитель Михаил Сеславинский

Авторы статей:
Антон Бакунцев, Ольга Василевская, Мария Васильева, Евгений Витковский, Михаил Горинов, мл., Василий Дударев, Олег Ермишин, Анна Зорина, Андрей Кручинин, Никита Кузнецов, Наталья Ликвинцева, Ольга Мартыненко, Татьяна Марченко, Андрей Марыняк, Марина Мелкова, Николай Мельников, Александр Петров, Тамара Приходько, Любовь Пухова, Констанция Сафронова, Михаил Сеславинский, Вера Соколова, Сергей Федякин, Лариса Эпиктетова

На титульном листе: Автопортрет (фрагмент). Иллюстрация
из книги: Анненков Ю.П. Портреты.
Пг.: Петрополис, 1922

Тамиздат: 100 избранных книг / [сост., вступ. ст. М.В. Сеславинского]. — М. :
Т17 ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 640 с. : ил.

ISBN 978-5-373-06071-4

Издание посвящено книгам наших соотечественников, выходившим в советские годы за рубежами СССР, в большинстве своем запрещенным и распространявшимся нелегально на родине авторов. Сто историй создания и выхода в свет произведений, ставших своего рода опорными вехами в литературном процессе, складываются в историю «тамиздата» — до сих пор недостаточно изученного феномена русской культуры XX века.

Тексты исследований сопровождаются иллюстративным рядом — издания, уже ставшие библиографической редкостью, фотографии и автографы их некогда опальных, а ныне признанных авторов, документы советской эпохи. Книга адресована не только библиофилам, историкам и литературоведам, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей русской литературы и культуры.

УДК 655(47+57-87) (091)
ББК 76.17г

ISBN 978-5-373-06071-4

Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!
Льдину — скитаться в просторах зеленых,
Льдину — без Наций Объединенных,
Льдину, что кружит, хрустально горя,
Без генерального секретаря…
Волны раздвинув, плыви без запретов —
Льдина пингвинов, льдина поэтов!

***

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать.

Иван Елагин

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

История отечественной литературы XX века, история русской интеллигенции неотделимы от двух базовых терминов, уникальных с точки зрения мировой культуры, — «самиздат» и «тамиздат». Причем первый термин получил гораздо более широкое распространение как в обиходе советского времени, так и в современных научных исследованиях[1] и прочно закрепился в нашем словаре.

Термин «тамиздат» тоже понятен и не требует особой расшифровки, подразумевая совокупность книг и периодики либо отдельные издания, вышедшие за пределами СССР. Подавляющее большинство их было запрещено в нашем отечестве и распространялось на его территории нелегально.

Вместе с тем, по сравнению с «самиздатом», второй термин имеет гораздо более широкий хронологический охват[2]. Драматические события Октябрьской революции, Гражданской войны, разрухи и репрессий, спровоцировавшие первую волну эмиграции, привели в свою очередь к очень скорому появлению и первых «тамиздатовских» книг: уже в самом начале 1920-х годов за рубежом выходят стихотворные и прозаические сборники Марины Цветаевой, Аркадия Аверченко, Алексея Ремизова и др.

Каждая из хрестоматийных волн русской эмиграции — первая, вторая, третья — привносит свое влияние на русскую литературу за рубежом. Тысячи изданий, без которых уже немыслимо представить отечественную историю, вышедших в Берлине, Праге, Париже, Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве, Харбине, Сиднее, Буэнос-Айресе и других городах планеты, — это поистине огромный вклад в сокровищницу русской и мировой культуры.

Тем удивительнее, что широкому читателю пока не представлено популярное исследование, рисующее целостную картину этой важной части русской культуры XX века. После выхода в свет великолепного труда Глеба Струве «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956) появилось множество исторических и литературоведческих работ о судьбе и творчестве отдельных авторов, но лишь малое количество исследований широкоохватного масштаба[3]. Вполне вероятно, что историков и филологов отпугивает сама необъятность темы: в самом деле, шутка ли — охватить литературное и культурное пространство от Аверченко и Деникина до Лимонова и Корчного! Тем не менее феномен «тамиздата» заслуживает вдумчивого комплексного изучения.

Настоящий труд ни в коей мере не претендует на научную фундаментальность. Его задача несколько иная: из тщательно подобранной мозаики сложить более или менее целостную картину русской литературы за рубежом, широкими мазками продемонстрировать все богатство красок и оттенков в этой фантастической палитре авторов и их произведений.

Надо заметить, что коллекция представленных здесь изданий формировалась на основе как личного собрания составителя, так и библиотеки Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Были отобраны 100 книг, представляющих своеобразные опорные вехи в литературно-историческом процессе на протяжении примерно шестидесяти лет: первое из демонстрируемых здесь изданий вышло в 1921 году, последнее — в 1989-м. Сформировать подобный список было весьма непросто: как и любой перечень, он легко может быть подвергнут критике — хотя

бы в силу тех или иных литературных пристрастий или своего внешнего уподобления многочисленным рекламным рекомендациям вроде «100 книг, которые обязательно надо прочитать в течение своей жизни» или «100 книг, обязательных для школьника». Какие-то произведения (например, «Жизнь Арсеньева», «Доктор Живаго», «Архипелаг ГУЛАГ», «Лолита» и др.) являются бесспорными и хрестоматийными, другие неизбежно заставят читателя задуматься: а почему, собственно, именно они вошли в этот перечень? Однозначного ответа тут быть не может. Действительно — как выбрать из многочисленных произведений, скажем, М. Алданова или А. Ремизова две-три книги? Как правило, мы руководствовались значимостью произведения в литературной биографии автора и его резонансным звучанием. Но подчас выбор был обусловлен и ценностью конкретного экземпляра, например наличием интересного автографа, ибо такие исторические штрихи придают книжной коллекции особый аромат и в большей степени позволяют почувствовать конкретную историческую эпоху.

Кстати, присутствие «тамиздатовских» книг в частных собраниях — тоже еще одна весьма любопытная тема. Двадцать-тридцать лет назад эти книги если и находились в домашних библиотеках, то лишь для потайного чтения — за их хранение можно было легко угодить за решетку, вот почему они никак не могли именоваться библиофильскими. Сегодня ситуация изменилась: библиофилы с удовольствием приобретают в магазинах и на аукционах эмигрантские издания.

Но фундаментальные частные собрания, посвященные «тамиздату» как таковому, нам неизвестны. Серьезный корпус таких книг существовал в личной библиотеке А.П. Тимофеева и его книгопродавческом предприятии совместно с издательством «Посев»[4]; в парижском собрании А.В. Савина[5]; большая коллекция с уклоном в иллюстрированные издания и книги с автографами представителей первой волны эмиграции находится ныне у известного французского собирателя профессора Рене Герра.

Несмотря на гигантское значение периодических печатных изданий в формировании русской литературной жизни за рубежом, в нашей книге они не представлены: тема эта настолько обширна, что совместить в рамках одного издания книги и периодику не представляется возможным[6].

География представляемых книг примерно совпадает с географией издательских центров «тамиздата»: 31 книга из ста увидела свет в Париже, 22 книги — в Нью-Йорке, 17 — в Берлине, 7 — во Франкфурте-на-Майне, по 5 — в Лондоне и Мюнхене; единичными экземплярами представлены Харбин, Рига, Прага, София, другие города. Если говорить собственно об издательствах, то 12 книг напечатаны в «YMCA-Press»[7], 9 — в «Издательстве им. Чехова»[8], 7 — в «Посеве»[9], по 2–4 книги — в «Ардисе»[10], «Геликоне»[11] и др. Шесть представленных книг были выпущены за счет средств автора, что являлось обычной практикой, особенно в первой половине рассматриваемого периода.

В издании представлены 75 авторов. Судьба каждого из них — это судьба личности, перед которой встал вопрос: как жить (и выжить) в эпоху строительства социализма и коммунизма, в период «грандиозного эксперимента в истории человечества»? Каждый решал его по-своему. Кто-то эмигрировал на Запад и с большей или меньшей степенью успешности



Обложка еженедельника «Жизнь искусства» (1923. № 44) и помещенная в этом номере журнала редакционная статья «Отщепенцы искусства»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЖИЗНЬ ИСКУССТВА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ГАЙКА АДОНЦА (ПЕТЕРБУРГСКОГО).

6 ноября 1923 г. ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ. № 44 (917).

ОТЩЕПЕНЦЫ ИСКУССТВА.

Подведя итоги шестилетней работе пролетарской трудовой Республики в области искусства, нельзя не вспомнить с чувством жестокого недоумения, справедливого презрения и негодования о тех деятелях и представителях русского искусства, которые в своей слепой, закоренелой ненависти к пролетарскому строю предпочли добровольное заграничное изгнанничество общей дружной работе по укреплению и возрождению новой России.

Жизнь нашего искусства идет полным, звучным, быстрым темпом; пробиваются новые пути, сияют новые достижения, строится рабочий театр, расцветает пролетарская поэзия, беллетристика; свежая, роскошная поросль истинно народного творчества пышно развертывается во всей красоте... А там, в капиталистическом угаре европейских столиц, в душной сфере отживающего, умирающего уклада жизни, злобствуют, исходят ядом тщетной ненависти и клеветы, разобщенные, растерянные, беспочвенные, эти добровольные изгнанники, все еще чего-то ждущие, чего-то алчущие...

Печальна, глубоко печальна их участь! Более жалкое, более безнадежное существование трудно себе представить!

Эти отверженцы, эти отщепенцы русского искусства когда-то пользовались авторитетом, занимали видное место среди деятелей литературы и театра, о них говорили, их ценили.

Куприн, Бальмонт, Мережковский, Бунин и еще несколько имен меньшего калибра— вот эти злобствующие изгои искусства, которых слепая вражда к Советской России загнала за границу, в непримиримую, бесповоротную оппозицию. Многие из них жили среди нас, работали с нами и, обманув доверие Советской власти, тайком бежали из пределов пролетарской Республики, сделавшись заклятыми врагами трудящегося народа. Слишком глубоко впитались в них принципы, понятия и привычки до-революционной, монархической, буржуазной России! Не смогли они вынести сияющего простора великого, трудового будущего, открывшегося перед новой Россией.

Тяжко живется в изгнании этим отщепенцам русского искусства, русской жизни. На страницах белой прессы мы каждый день встречаем их жалобы, сетования, их безнадежное уныние и беспомощную растерянность. Они чувствуют и больно чувствуют свое одиночество, свою никчемность, свое бессилие .. И творчество изменило им: за эти годы ни один из них не дал ничего крупного, яркого, заслуживающего хоть малейшего внимания.

Это—конченные люди! Это—живые мертвецы! Они думали, что русское искусство осиротеет без них, не двинется ни на шаг вперед. Но жизнь показала иное. Искусство пролетарской России широко развернулось и процвело и без них. Их жалобы, их сиротливые вопли звучат похоронным напевом, и это вполне понятно. Беспочвенные отщепенцы русского искусства похоронили сами себя.

Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, – и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле. Значительнейшая часть старой литературы оказалась, и не случайно, за рубежом, – и вот случилось так, что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Существует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, потому что его по существу никогда и не было. Или Куприн? Или Бальмонт? Или сам Чириков? Или, может быть, "Жар Птица", "Сполохи" и прочие издания, наиболее примечательной литературной чертой коих является сохранение твердого знака и буквы ять? Все это сплошь упражнения в книге жалоб на берлинской станции: очень долго не подают лошадей на Москву, и пассажиры выражаются. В провинциальнейших "Сполохах" художественное творчество представлено Немировичем-Данченко, Амфитеатровым, Чириковым, Первухиным и другими штатными покойниками, впрочем едва ли когда серьезно рождавшимися. Некоторые, довольно, впрочем, неявственные признаки жизни обнаруживает Алексей Толстой. Но за это-то он и отлучен от круговой поруки хранителей, твердого знака и прочих отставной, с позволения сказать, козы барабанщиков.

Фрагмент статьи Л. Троцкого «Литература и революция <Вне-октябрьская литература>». 1922. Печатается по изданию: Опыт неосознанного поражения: Модели революционной культуры 20-х годов. М.: Изд. центр РГГУ, 2001. С. 80

сумел ассимилироваться в новой среде (А.Т. Аверченко, М.А. Алданов, Ю.П. Анненков, Н.Н. Берберова, И.А. Бродский, И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Р.Б. Гуль, С.Д. Довлатов, Б.К. Зайцев, Г.В. Иванов, Н.В. Кодрянская, С.М. Лифарь, В.В. Набоков, А.М. Ремизов, С. Черный); кто-то вернулся на родину — и для одних это возвращение обернулось катастрофой (М.И. Цветаева), для других — приемлемым компромиссом (И.Г. Эренбург, А.Н. Вертинский), для третьих уже в постсоветскую эпоху — настоящим триумфом (А.И. Солженицын, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, Г.Н. Владимов, И.В. Одоевцева); кто-то, кто не уехал из страны и не был выслан из нее насильно, превозмогая лишения, а порой и травлю, продолжал печататься или писать в стол, не рассчитывая на то, что написанное будет когда-либо издано (А.А. Ахматова, М.А. Булгаков, М.А. Волошин, О.Э. и Н.Я. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, В.Т. Шаламов).

Начиная с «дела Пильняка и Замятина» советская бюрократическая машина выработала модель, по которой создавались сценарии для будущих идеологических погромов: всем известны постановление ЦК ВКП(б) 1946 года о М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой, «дело Пастернака», «дело Бродского», «дело Синявского и Даниэля»…

В недолгий период «оттепели», получивший свое название по повести 1950-х годов И.Г. Эренбурга, в литературной среде появились надежды на разумность власти и вера в Н.С. Хрущева. С 29 июня 1958 года (день

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПЕТРОПОЛИСЪ»

БЕРЛИНЪ

БЕЛЛЕТРИСТИКА:

	Долл.
М. Зощенко. Веселое приключеніе.	0.30
М. Зощенко. Воспоминанія о Мишелѣ Синягинѣ	0.36
М. Зощенко. Семейный купоросъ.	0.35
В. Инберъ. Мѣсто подъ солнцемъ.	0.60
В. Крымовъ. Люди въ паутинѣ	1.75
В. Крымовъ. Барбадосы и Каракасы	1.25
А. Маріенгофъ. Бритый человѣкъ.	0.60
А. Маріенгофъ. Циники	0.60
Н. Никитинъ. Полетъ	0.48
Н. Никитинъ. Шпіонъ	1.—
Памяти Маяковскаго. Сборникъ	0.40
Б. Пильнякъ. Красное дерево	0.40
Б. Пильнякъ. Штоссъ въ жизнь	0.40
С. Розенфельдъ. Гибель	1.—
П. Романовъ. Новая скрижаль	1.—
Современные польскіе поэты	1.—
А. Сытинъ. Пастухъ племенъ	0.90
А. Толстой. Черное золото	1.—
А. Толстой. Петръ I.	1.75
А. Толстой. Восемнадцатый годъ	1.75
Ю. Тыняновъ. Кюхля	1.20
Ю. Тыняновъ. Смерть Вазиръ-Мухтара	1.75
К. Techинъ. Братья	2—.
Д. Фибихъ. Угаръ	1.—
Д. Четвериковъ. Бунтъ инж. Каринскаго	0.60
И. Эренбургъ. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца	1.—
И. Эренбургъ. Виза времени	1.75
И. Эренбургъ. Единый фронтъ	1.75
И. Эренбургъ. Заговоръ равныхъ.	0.48
И. Эренбургъ. Любовь Жанны Ней	1.—
И. Эренбургъ. Хуліо Хуренито.	1.—
И. Эренбургъ. Фабрика сновъ	1.50
И. Эренбургъ. 10 лошадин. силъ	1.—

PETROPOLIS - VERLAG

Meinekestrasse 19, - BERLIN, W .15

Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ

Т. I. Русская библіотека, Бѣлградъ.

Іисусъ Неизвѣстный

НЕИЗВѢСТНОЕ ЕВАНГЕЛІЕ

1. Былъ ли Христосъ. 2. Неизвѣстное Евангеліе... 5. По ту сторону Евангелія.

ЖИЗНЬ ІИСУСА НЕИЗВѢСТНАГО

1. Какъ Онъ родился. 2. Утаенная жизнь.. 9. Его лицо (въ исторіи). 10 Его лицо (въ Евангеліи).

Седьмая-восьмая книга

„Чиселъ“

продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ

М. СЛОНИМЪ

Портреты совѣтскихъ писателей

(Есенинъ, Маяковскій, Пастернакъ Замятинъ, Вс. Ивановъ и др.)

Изд-во «Парабола — Домъ Книги».



Рекламные объявления издательств, печатающих русскую эмигрантскую литературу. 1930–1950-е годы (илл. на с. 17–19 наст. изд.)

открытия памятника В.В. Маяковскому) до осени 1961-го на площади Маяковского в Москве проводились напитанные духом вольности поэтические вечера; молодые поэты сотрясали своими выступлениями стены Политехнического; в 1962-м в «Новом мире» был напечатан рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в одночасье перевернувший сознание миллионов сограждан. Но эпоха «оттепели» длилась недолго: после отстранения от власти Н.С. Хрущева на смену ей пришла

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U.S.A.

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ;

	Цены в долл.
А. Ахматова — Избранные стихотворения. 272 стр.	2.25
М. А. Алданов — Живи как хочешь. Роман в двух томах. Том I. 384 стр.	2.75
Том II. 304 стр.	2.75
А. А. Боголепов — Русская лирика от Жуковского до Бунина. (Избранные стихотворения). 416 стр.	2,75
И. А. Бунин — Жизнь Арсеньева. Роман. Первое полное издание. 388 стр.	2.75
И. А. Бунин — Том I: Весной, в Иудее; Роза Иерихона. 240 стр.	2.00
Том II: Митина любовь; Солнечный удар. 244 стр.	2.00
Н. Федорова — Семья. 352 стр.	2.75
Е. А. Гагарин — Возвращение корнета. Поездка на святки. 296 стр.	2.50
Гайто Газданов — Ночные дороги. 256 стр.	2.00
Роман Гуль — Конь рыжий. Повесть. 288 стр.	2.00
«*Неизданный Гумилев*» — Под редакцией проф. Г. Струве. 240 стр.	2.25
Георгий Иванов — Петербургские зимы. 256 стр.	2.00
И. Ильф и *Е. Петров* — Двенадцать стульев. 384 стр.	2.75
Н. Лесков — Соборяне. Хроника. 400 стр.	2.75
С. Максимов — Тайга. Сборник рассказов. 208 стр.	1.75
С. Максимов — Голубое молчание. 240 стр.	2.00
В. В. Набоков — Дар. Роман. 416 стр.	3.00
Б. Пантелеймонов — Последняя книга. Рассказы. 256 стр.	2.00
А. Ремизов — В розовом блеске. 416 стр.	3.00
П. Романов — Товарищ Кисляков. 368 стр.	2.50
Марк Слоним — Три любви Достоевского. 320 стр.	2.50
Н. Тэффи — Земная радуга. Сборник рассказов из жизни русской эмиграции. 285 стр.	2.00
Ю. Терапиано — Встречи. 208 стр.	1.75
Александра Толстая — Отец. Жизнь Льва Толстого. Том I. 416 стр.	2.75
Том II. 416 стр.	2.75
А. В. Тыркова-Вильямс — На путях к свободе. Воспоминания. 432 стр.	3.00
Ф. И. Тютчев — Избранные стихотворения. Предисловие В. В. Тютчева. 272 стр.	2.00
Владимир Вейдле — Вечерний день. 224 стр.	2.00
В. С. Яновский — Портативное бессмертие. 272 стр.	2.50
Борис Зайцев — Древо жизни. 208 стр.	1.75
Михаил Зощенко — Повести и рассказы. 428 стр.	2.75

Все книги Издательства имени Чехова можно получить в русских книжных магазинах.

Книготорговцам обычная скидка.

пора «закручивания гаек». Все же в короткое время «оттепели» успело сформироваться и окрепнуть новое литературное поколение — уже не зависимое от политических властителей. Хотя в брежневские времена массовых репрессий не проводилось, преследования инакомыслящих и показательные судебные процессы над ними продолжались. С замиранием сердца мыслящая интеллигенция наблюдала за неравной борьбой новомирцев во главе с А.Т. Твардовским, пытавшихся отстоять право на высказывание собственного мнения, за титаническими и, казалось бы, безнадежными усилиями А.И. Солженицына, дерзнувшего замахнуться на колосс государства, за героическим противостоянием власти академика А.Д. Сахарова... В конце 1978 года оппозиционно настроенные В. Аксенов, В. Ерофеев, Е. Попов подготовили знаменитый «бесцензурный»

КНИЖНОЕ ДѢЛО „ДОМЪ КНИГИ", ПАРИЖЪ

НОВИНКИ НАШЕГО СКЛАДА:

	Долл.
М. Алдановъ. Земли, люди	1.50
Н. Берберова. Повелительница. Романъ	0.96
С. Бердяевъ. Чечня и разбойникъ Зелимханъ	0.30
Г. Газдановъ. Великій музыкантъ. Повѣсть	0.30
С. Горный. Ранней весной	1.20
Р. Гуль. Красный маршалъ - Тухачевскій	0.90
Пятнадцать лѣтъ совѣтскаго строительства. Сборникъ	0.30
В. Ракинтъ. Бриджъ. Введеніе въ игру	0.50
П. Савицкій. Мѣсторазвитіе русской промышленности	0.80
Статьи и матеріалы. Изъ чтеній въ кружкѣ любителей русской старины въ Берлинѣ	1.20
А. Стеффенъ. Паденіе Антихриста. Съ пред. автора	0.36
А. Таль. Клѣтчатое солнце. Романъ	0.80
Л. Троцкій. Исторія октябрьской революціи. 2 т. т.	4.50
В. Уперовъ. Реклама. Сущность, значеніе, средства	1.20
«Утвежденія». Книга 3-ья	0.30
Ю. Фельзенъ. Счастье. Романъ	1.—
М. Цетлинъ. Декабристы (въ печати).	
«Числа». Литературно - художествен. сборникъ. Книга 7/8	1.—
С. Шишмаревъ. Тихонъ Тимофѣичъ и его практика	0.80
И. Эренбургъ. Испанія	1.—
И. Эренбургъ. Москва слезамъ не вѣритъ. Романъ	1.—
Е. Айсбергъ. Радіотехника. Съ 173 схемами	1.50
Е. Айсбергъ. Теперь я понялъ радіо	1.50
Проф. В. Пересвѣтъ - Солтанъ. Архитектурныя формы и стили всѣхъ временъ (съ проектированіемъ)	1.05

НА СКЛАДѢ ВСѢ РУССКІЯ ИЗДАНІЯ ВЫШЕДШІЯ ЗА РУБЕЖОМЪ.

"MAISON DU LIVRE ÉTRANGER", 9, RUE DE L'ÉPERON, PARIS (6')

альманах «Метрополь». Набирало ход диссидентское движение: интеллигенция билась за право публично самовыражаться, а те, кто сталкивался с непреодолимостью Главлита, стали публиковать свои произведения на Западе, — все больше и больше государство теряло над творческой интеллигенцией свой контроль. Изгнание с родины (в прямом или издательском смысле) и возможность печататься за рубежом, по меткому выражению В.П. Аксенова, стали акцией «по спасению своей литературы»[12].

Об исходе на Запад как уникальном явлении в мировой культуре написано много. Г.П. Струве, рассуждая о русской эмиграции, справедливо отмечал: «…самая эта эмиграция есть явление огромное, в мировой истории беспримерное. Слово "эмиграция" в обычном понимании не подходит к нему и стало подходить еще меньше с тех пор, как в прежнюю

ПРЕДСМЕРТНАЯ АГОНИЯ ЭМИГРАНТС

РЕЧЬ тов.

Юная советская литература, рожденная в горниле революции, еще кипит, бурлит, далеко не устоялась, и ей еще, конечно, далеко до классической кристаллизации. Она еще вся впереди, но несомненно, что и теперь ею многое сделано. Она на верном пути художественного реализма, полнокровно ярка, солнечна, и это обеспечивает ей славное будущее.

С первых же шагов своих она принесла боевой тон революционной борьбы, борьбы за отображение кипящей кругом, разбуженной новой жизни, поднятой целины. И сразу же она резко отделилась от упадочных настроений буржуазной европейской литературы. Литература советская полна молодой бодростью растущей силы, боевого реалистического настроения, между тем как Европа, как львица, запутавшаяся в тенетах, чем больше пытается вырваться из собственных противоречий, тем больше запутывается в них. Ее литература, отражающая на девять десятых положение властвующих классов, изображает печальную картину упадочничества европейского мещанства. Понижение эмигрантских русских писателей происходит кроме того и чисто психологически. В окружении чрезвычайно низкостоящих как европейских, так и эмигрантских читателей, писатели вынуждены понижаться до этого читателя и даже перенимать у него его идеологию.

Писательница **Тэффи** давно работает как французская писательница в увеселительных изданиях Парижа на французском языке; покойный **Чириков** вынужден был сделаться чехо-словацким писателем. Симптоматично появление 2—3 года назад романа **Шмелева** «Солдаты», к счастью, прерванного печатанием в «Современных записках». Это — произведение, где автор, описывая былое, симпатизирует союзу Михаила Архангела. Отсюда же интерес к святым местам и житиям у **Зайцева.**

Печальна судьба талантливого **Куприна.** За годы самоизгнания он написал выпущенную теперь повесть **«Юнкера»** — воспоминания об Александровском военном училище, где автор получил воспитание и образование. Училище это замечательно тем, что до конца его существования там сохранился дух, нравы, описанные **Помяловским** в «Очерках бурсы»; существовала «веселенская смазь», «экзекуция на воздусях» и прочие архаизмы.

Воспоминания о годах, проведенных им в стенах этого арестантского отделения, написаны серо, бледно и вымученно, а, главное, как о чем-то невозвратно хорошем. Искренне ли это? Возможно. Недаром оба эти произведения, появившиеся почти одновременно, посвящены солдатам и офицерам, как дифирамб царской армии. Это — несомненное давление на психику эмигрантского писателя его густопсового читателя. Но «Солдаты» Шмелева даже в эмигрантской критике вызвали единодушное порицание. Оба писателя сверкали когда-то ярким талантом. Теперь блекнут и гаснут, задыхаются в безвоздушном подполье эмиграции.

Даже **Бунин,** этот холодный и опытный мастер, терпеливый ювелир слова, прирожденный академик, последний писатель тургеневской школы, и тот давно остановился в своем развитии. Его «Митина любовь» произвела впечатление старой рукописи, написанной лет 30 назад и напечатанной только теперь. К прежнему Бунину она не прибавила ничего. От литературного провала и неудач его спасает только высокая техника. Но впечатление такое, как будто Бунину давно уже стало не о чем писать, и он, подобно Куприну, погружается в личные воспоминания прошлого, почти не имеющие общественного значения.

Общее впечатление от эмигрантской художественной литературы последних лет — драма отрыва от жизни родной страны.

Сколько-нибудь заметной литературной молодежи в эмигрантской художественной литературе нет. Она выросла на чужбине, никогда не знала родины и забыла родной язык, ассимилировалась.

На Д. Востоке, в центре обширной и богатой Манчжурии — **Харбина,** сосредото-

«Предсмертная агония эмигрантской художественной литературы: Речь тов. Скитальца <на I съезде Союза писателей СССР>» (Правда. 1934. № 241. С. 5)

КОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

СКИТАЛЬЦА

чены теперь интересы больших и малых европейских и восточных стран. Русских вообще в Манчжурии считается до 300.000, из них бо́льшая половина живет в Харбине. Сюда входят многочисленная советская колония рабочих и служащих КВЖД и примерно в одинаковом количестве эмигранты. Облик города, несмотря на преобладание китайского населения, русский. На первом плане русский язык, русская торговля, русский театр, русская пресса, в которой количественно преобладает эмигрантская. Советская газета в Харбине начала существовать только с 1924 г., когда на КВЖД было утверждено совместное советско-китайское управление.

Художественной литературы и сколько-нибудь заметных местных беллетристов, журналистов, журналов или издательств там не существует почти. В книжных магазинах и библиотеках можно встретить все новинки европейской эмигрантской беллетристики, но она не так велика.

Лучшей библиотекой была Центральная библиотека КВЖД. Таким книгохранилищем мог бы гордиться каждый из больших городов. На протяжении ряда лет она пополнялась новейшей советской художественной и технической литературой. Этой библиотекой пользовались исключительно рабочие и служащие КВЖД, а также учащаяся молодежь советских учебных заведений. Железнодорожное собрание КВЖД и рабочий клуб широко шли навстречу стремлению рабочих к организованному образованию. Функционировали литературный, драматургический и научные кружки, устраивались лекции, литературные вечера.

К этой кипучей умственной деятельности советской рабочей молодежи с невольной завистью относилась обездоленная в этом отношении молодежь эмигрантская, лишенная организованного влияния.

Некоторая часть ее отводила душу в уличном хулиганстве. Живя в одном городе, по сложившейся ситуации, советская колония и эмигрантская не соприкасались друг с другом. Проскальзывающее влияние молодежи друг на друга наблюдалось со стороны советской на эмигрантскую, а никак не наоборот.

Теперь центральная библиотека закрыта, книги конфискованы и по германскому примеру сожжены.

Однако настроение советской молодежи от этого не упало. Военное насилие только повышает тяготение к далекой родине, где происходят такие яркие, радостные события. Молодые сердца горят стремлением принять участие в строительстве новой жизни. К этому настроению клонится часть эмигрантской молодежи, идущей наперекор, может быть, вожделениям своих воинствующих отцов.

Всем известен также огромный интерес японской интеллигенции и пролетарских масс к советской литературе. На японский язык переведены не только классики, но также наиболее крупные современные советские писатели. В бытность мою в Японии, в **Токио**, мне приходилось присутствовать на постановках пьес: «На дне»—**Горького**, «Три сестры»—**Чехова** и некоторых других. В каждом книжном магазине русские писатели занимают видное место.

Последний вопрос — о громадном значении советской литературы за рубежом нашей страны. Не стоит много говорить об эмигрантской прессе на Востоке. В Харбине издается до 10 эмигрантских газет, из них газеты с откровенно монархическими тенденциями, с проповедью интервенции и реставрации никогда не имели больших тиражей. Гораздо больший успех имели газеты, маскирующие чем-либо свою устаревшую сущность. Это вообще служит признаком того, что широкие круги эмиграции давно изверились в постоянных призывах непримиримых, отходят от политики на обывательские позиции. Но, конечно, нельзя думать, что эмигрантские массы симпатизируют Советам: они просто упали духом.

Только могучий поток советской литературы, исполненной творческих сил, идет навстречу светлому, небывалому будущему. **(Аплодисменты).**

эмиграцию влилась новая волна военных и послевоенных выходцев из Советского Союза. Если я употребляю его, то лишь потому, что оно прочно укоренилось. Но я предпочитаю ему такие термины, как "русское Зарубежье" или "Зарубежная Россия", более отвечающие смыслу вещей»[13].

Со всей определенностью можно сказать, что в истории русской литературы XX века и в общекультурном смысле роль «Зарубежной России» не менее весома, чем России советской. Ее знает и читает весь мир; за произведения, напечатанные за рубежом, Нобелевской премии по литературе были удостоены И.А. Бунин, Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, И.А. Бродский.

Уже с июня 1922 года стали появляться первые инструкции Главлита, запрещавшие «ввоз в СССР… произведений, носящих определенно враждебный характер к советской власти и коммунизму», «произведений авторов-контрреволюционеров» и т. д.[14]

В годы нэпа некоторая часть эмигрантских изданий появлялась в России, но после 1927 года запрету были подвергнуты все книги крупнейших берлинских и парижских издательств. Формальной причиной, по которой эмигрантские издания не допускались к ввозу в СССР, было использование в них старой орфографии[15].

Главлитом регулярно выпускались секретные бюллетени, в которых содержались сводки и отчеты под рубриками «Положение книгоиздательского дела в Германии», «Русская печать во Франции», где эмигрантские газеты и журналы подвергались подробнейшему анализу. Литературная деятельность и идеологические взгляды известных писателей рассматривались в разделе «Сведения о виднейших русских литераторах, эмигрировавших за границу»; там же указывались сведения о готовившихся к печати изданиях; в разделе «Отзывы о новых зарубежных книгах» давалась краткая характеристика каждой из них, а напротив имелась помета «Разрешена» или «Не разрешена»; понятно, что на абсолютно подавляющее число изданий ставился второй инскрипт[16].

Имена писателей-эмигрантов постоянно встречаются и во всех инструкциях, рассылавшихся по библиотекам страны. Запрету были подвергнуты книги А.Т. Аверченко, Н.А. Бердяева, И.А. Бунина, М.А. Алданова, З.Н. Гиппиус, Р.Б. Гуля, А.И. Деникина, Б.К. Зайцева, Г.В. Иванова, Д.С. Мережковского, В.В. Набокова, М.А. Осоргина, А.М. Ремизова, И. Северянина, В.Ф. Ходасевича… В.Т. Шаламов в 1943 году получил второй лагерный срок лишь за то, что назвал Бунина «великим русским писателем».

В 1947 году Главлитом был составлен список «авторов-контрреволюционеров», живущих за границей; в 1949-м — «Сводный список подлежащей изъятию литературы, выпущенной за рубежом на русском языке», который рассылался в спецхраны всех крупнейших библиотек и в подведомственные Главлиту инстанции.

С началом перестройки, когда рухнул «железный занавес» и «тамиздат» хлынул в Россию, очень многое из открытого для себя изголодавшимися по свободному слову нашими согражданами было переиздано, и не один раз. Два потока русской культуры, десятилетиями существовавшие раздельно, наконец-то слились в один мощный поток. И Россия вновь стала единой и неделимой.

Русская эмигрантская книга имеет вполне законченный и устойчивый издательско-полиграфический образ. Большинство рассматриваемых изданий относится к массовым, а не библиофильским. Исключения со-

ставляют некоторые книги А.М. Ремизова, З.Н. Гиппиус, Г.В. Иванова, М.А. Осоргина, М.И. Цветаевой, С. Черного, М.А. Алданова и С.М. Лифаря, которые, кроме общего тиража, имели небольшое количество особых, именных или нумерованных, экземпляров. Но, несмотря на такую отсылку к массовой книге, данный термин в каждом конкретном случае носит весьма условный характер, поскольку тиражи большинства книг редко выходили за границы 500–2000 экземпляров.

Портрет русской эмигрантской книги — портрет скромный, сдержанный и достойный. Ее внешний вид говорит и о нелегкой судьбе автора, и о непростых обстоятельствах ее создания. Представители первой волны эмиграции упорно следовали старой орфографии, демонстративно причисляя себя к навсегда ушедшему миру (так, Бунин писал в «Окаянных днях»: «...по приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию»[17]). Мягкая, как правило, шрифтовая обложка, не сшитый, а склеенный блок, не лучшего качества бумага... К середине века на смену шрифтовой все чаще приходит обложка иллюстрированная, обычно сюжетно связанная с текстом. Если в книге имеется изобразительный материал, то чаще всего это черно-белые фотографии, факсимиле, документы, планы и карты, имеющие историко-документальный характер. Весьма редки случаи художественного иллюстрированного сопровождения текста. Художниками таких книг тоже чаще всего становились выходцы из эмигрантской среды. Например, для «Шатра» Н.С. Гумилева (Ревель, 1921) обложку, заставки и концовки выполнил Н.К. Калмаков, для «Детского острова» Саши Черного (Берлин, 1921) — Б.Д. Григорьев, для его же «Дневника фокса Микки» (Париж, 1927) — Ф.С. Рожанковский.

Структурно каждая из представленных в этой книге статей состоит из библиографического описания рассматриваемого издания, основных вех биографии автора, истории создания произведения, раскрытия его сюжетного и эмоционального содержания, откликов рецензентов и судьбы книги в СССР. Иллюстрации помогают, на наш взгляд, полнее воспринять материал, сделав его более доступным и интересным. Располагаются статьи в алфавитном порядке — по фамилиям авторов.

Сборник «Тамиздат» впервые был выпущен в 2012 году издательством «Русский путь». Тираж (500 экземпляров) разошелся за считанные месяцы. Интерес читателей к книге побудил нас выпустить второе издание.

---

[1] См., напр.: Самиздат века / сост. А. Стреляный и др.; [вступ. ст. Л. Аннинского]. М.; Минск: Полифакт-МИГ; Полифакт, 1997; Самиздат Ленинграда: 1950–1980-е: Литературная энциклопедия / В.Э. Долинин, Б.И. Иванов, Б.В. Останин, Д.Я. Северюхин; под общ. ред. Д.Я. Северюхина. М.: Новое литературное обозрение, 2003; Преодоление немоты: Стихи / [сост. В.П. Богданович]. М.: [Б. и.], 2009.

[2] Уточним, что в бытовом плане термин «тамиздат» применялся в основном в 1960–1980-е годы к современным изданиям. Однако, глядя из XXI века, мы понимаем, что другой точки отсчета, кроме как 1917 год, найти невозможно. Таким образом, в целях настоящего издания мы экстраполируем значение термина «тамиздат» на всю эмигрантскую литературу. Одновременно фактически ставим хронологический знак равенства между появлением «госиздата» как такового (1919) и «тамиздата».

[3] Напр.: Скарлыгина Е.Ю. Русская литература XX века: на родине и в эмиграции. М.; СПб.: Нестор-История, 2012; Зиник З. Эмиграция как литературный прием. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись = The Russian emigration: Literature. History. Chronicle of films: Материалы международной конференции, Таллин, 12–14 сентября 2002 г. / ред. В. Хазан [и др.] Иерусалим: Гешарим; Таллин: Таллинский пед. ун-т; [М.: Мосты культуры], 2004; Дмитриева И.А. Русская литературная диаспора в славянских странах (Чехословакии, Югославии, Болгарии) в 20–30-е годы XX века: Автореф. дис. ... кандидата истор. наук: 07.00.02 / Владимирский гос. пед. ун-т. Владимир, 2005; Кознова Н.Н. Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: концепции истории и типология форм повествования: Автореф. дис. ... доктора филологических наук: 10.01.01 / [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т]. М., 2011; Розинская О.В. Русская литературная эмиграция в Польше: 1920–1930-е годы: Автореф. дис. ... кандидата филолог. наук: 10.01.05, 10.01.01. М., 2000; Казнина О.А. Русская литературная эмиграция в Англии, 1920–1930-е гг.: Автореф. дис. ... доктора филолог. наук: 10.01.01. М., 1999.

В целом мы не ставим задачи сформировать полный библиографический перечень, исходя из того, что в книге демонстрируются многочисленные источники, ссылки на которые приводятся в конкретных статьях.

[4] Тимофеев Александр Петрович (1916–1985) — библиофил, коллекционер. В эмиграции в Эстонии, затем в Швеции. С 1937 г. активный член Национально-трудового союза. Покупал частные собрания в Англии, Германии, Италии, Франции, Финляндии. Совместно с издательством «Посев» создатель каталога «Антиквар». Целью «Антиквара» было сохранение книжного богатства русской эмиграции. Книги продавались преимущественно государственным и университетским библиотекам Европы, Америки и Японии, наиболее редкие оставались в постоянной коллекции. С 1968 по 1994 г. вышло сто номеров каталога, каждый из которых содержал по 500–600 названий. После смерти Тимофеева в 1995 г. 35 тыс. единиц хранения были переданы наследниками Тимофеева и издательством «Посев» в дар Отделу литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки. (См.: Коллекция А.П. Тимофеева [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], 1999–2010. — Режим доступа: URL: http://tkp.rsl.ru/index.php?doc=927, свободный. — Загл. с экрана).

[5] Савин Андрей Владимирович (1946–1999) — библиофил, коллекционер. В 1977 г. открыл фирму «Русский библиофил» («Bibliophile Russe»). Собрал уникальную коллекцию по истории русской эмигрантской печати. Издавал аннотированные каталоги собственных исследований, библиографические описания поступавших в магазин документов (рефератов, биографических сведений об авторах, иллюстраторах, переводчиках и др.), библиографические указатели газет, журнальных статей, интервью с представителями русской диаспоры, некрологи. Записывал и систематизировал информацию, полученную в беседах с современниками. Оказывал действенную помощь библиотекам и университетам в комплектовании, помогал информационными материалами из своего собрания исследователям и частным лицам. В 1992 г. часть своей коллекции — поэтические сборники, выпущенные в эмиграции, — передал в библиотеку отделения Российской академии наук в С.-Петербурге — включена в каталог «О, муза русская, покинувшая дом» (СПб., 1998). Военный архив и материалы Галлиполи, собранные А.В. Савиным, хранятся в университете Северной Каролины (США). В 2002 г. библиотека университета Северной Каролины в Чапел-Хилл приобрела его личную коллекцию. (Более подробно см.: Об Андрее Савине [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], 2012. — Режим доступа: URL: http://www.lib.unc.edu/savine/RBR/ru/savine.html, свободный. — Загл. с экрана).

[6] На 1925 г. в разных странах было зарегистрировано 364 русских периодических изданий. С 1918 по 1932 г. вышло 1005 наименований газет и журналов русской эмиграции (см.: Шатов М. Полвека русской периодики (1917–1972): в 4 т. Нью-Йорк, 1970–1972. Т. 1. С. 98).

[7] Издательство «YMCA-Press» было основано в 1921 г. в Праге под руководством Н.А. Бердяева. Выпускало книги философской и религиозной тематики, издания рус-

ской художественной литературы — классической и современной, труды по истории и мемуары. Издательство существует в Париже и в наши дни, его нынешний директор — Никита Струве. (Более подробно см.: Издательство «YMCA-Press» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М.]., cop. 2003–2009. — Режим доступа: URL: http://www.rp-net.ru/publisher/partners/ymca-press.php/, свободный. — Загл. с экрана).

[8] «Издательство им. Чехова» было основано в Нью-Йорке в 1952 г. Его директором был Н.Р. Вреден, главным редактором — Вера Александрова (урожд. Мордвинова; псевд. В.А. Шварц). Программу деятельности издательства составил М.А. Алданов. В период существования издательства в нем было опубликовано 178 книг 129 авторов. Как правило, это были литературные, мемуарные и научные произведения, которые не могли быть опубликованы в СССР. Из-за нехватки средств издательство прекратило свою работу в 1956 г. (Более подробно см.: Уринсон Т.Г. Издательство имени Чехова в Нью-Йорке [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], [б.г.] — Режим доступа: URL: http://www.ntb.tsure.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=81, свободный. — Загл. с экрана).

[9] Издательство «Посев» возникло в 1945 г. в лагере политических беженцев из России, так называемых перемещенных лиц (ди-пи), у селения Менхегоф близ г. Касселя в Западной Германии. Первым главным редактором издательства был политический деятель и журналист Б.В. Серафимов (псевд. Прянишникова). В 1952 г. «Посев» переехал в крупный международный издательский и книготорговый центр — г. Франкфурт-на-Майне. В 1992 г. издательство «Посев» переехало в Россию. Директором издательства стал К.В. Русаков. (Более подробно см.: История журнала и издательства «Посев» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], [б.г.] — Режим доступа: URL: http://http://www.posev.ru/magazine/history/, свободный. — Загл. с экрана).

[10] Издательство «Ардис» было основано в 1971 г. в США, в г. Анн-Арбор (штат Мичиган) славистами Эллендеей и Карлом Проффер. Цель издательства — публикация запрещенных в СССР по цензурным соображениям книг, а также не переиздававшихся десятилетиями из политических соображений сборников. (Более подробно см.: Ardis [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], 2009. — Режим доступа: URL: http://www.overlookpress.com/categories/ardis.html, свободный. — Загл. с экрана).

[11] Издательство «Геликон» работало в 1917–1918 гг. в Москве. В 1920 г. владелец издательства А.Г. Вишняк возобновил его деятельность в Берлине; с 1927 г. — в Париже. Существовало издательство до середины 1930-х гг., выпускало сочинения М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, И.Г. Эренбурга и др.

[12] Цит. по: Варденга М. Говорящая книга. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 127.

[13] Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 7.

[14] Цит. по: Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929–1953. СПб.: Академический проект, 2000. С. 180.

[15] А.В. Блюм в книге «Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953» пишет о таком курьезе, связанном с запретом использовать старую орфографию: «…заодно, в угаре борьбы, посчитали "контрреволюционным" твердый знак по той, очевидно, причине, что он прежде ставился в конце слов, оканчивавшихся на согласную, и также изъяли его полностью из типографских наборных касс. Это привело к тому, что в изданиях того времени вынуждены были в середине слова провинившуюся литеру заменять знаком апострофа» (с. 181).

[16] Более подробно см: Блюм А.В. За кулисами «министерства правды»: Тайная история советской цензуры, 1917–1929. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект»: ТОО «Абрис», 1994. С. 199–222.

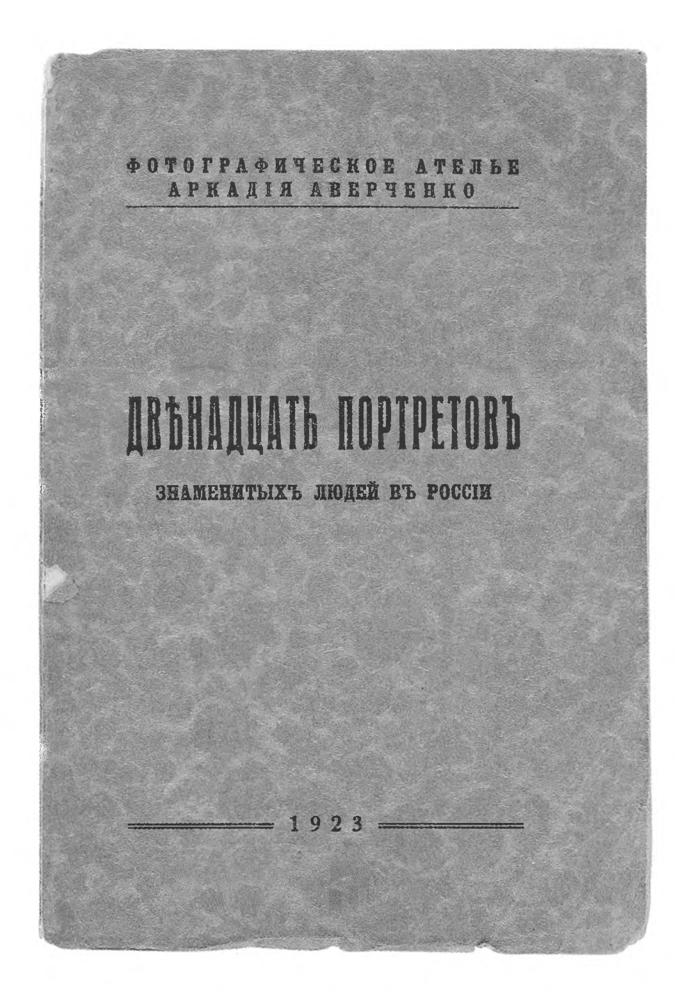
[17] Бунин И.А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 117.

1

АВЕРЧЕНКО А.Т.

Двенадцать портретов знаменитых людей в России (в формате «будуар»)

/ Аркадий Аверченко. — Париж; Берлин; Прага; С.-Петербург: Internationale commerciale revue, 1923. — 85 с.; 20×13,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.





Названный современниками «королем смеха» Аркадий Тимофеевич Аверченко родился 15 (27) марта 1881 года в Севастополе, в купеческой семье. Учился в гимназии, затем продолжил образование дома, с пятнадцати лет работая писцом транспортной конторы Брянских каменноугольных рудников в Луганске, конторщиком, а затем бухгалтером в Харьковском отделении той же компании. В Харькове состоялся его литературный дебют[1], здесь он основал и редактировал журналы «Штык» (1906) и «Меч» (1907).

В 1908 году, переехав в Петербург, Аверченко создает журнал художественной сатиры нового типа — знаменитый «Сатирикон» (впоследствии — «Новый Сатирикон»), в который привлек блестящие литературные силы (Тэффи, Сашу Черного, Дона-Аминадо и др.). «В своем “Сатириконе” он был не только центральной фигурой редактора, но и... строителем редакционной семьи, ее цементом, ее душой, символом ее единства, взаимодоверия и слитности»[2]. «Аверченко расколдовал русский

смех. За ним, за смехом, признали наконец право бытия и радовались ему, как новому обретенному сокровищу»[3].

Во врея Первой мировой войны журнал занял патриотическую и объединительную позицию. В 1915 году в качестве военного корреспондента Аверченко отправился на фронт. Февральскую революцию и первые шаги Временного правительства он приветствовал, а октябрьский переворот не принял категорически.



Аркадий Аверченко. Берлин. Октябрь 1922

Вскоре характер его творчества резко меняется: на смену добродушному юмору приходит беспощадная сатира. «И с тех пор отчетливо видел я, — писал Л.М. Добронравов, — второй лик писателя, скорбящий, ибо нелегко носить в душе тяжкое бремя — дар видеть все уродство, все искажение человеческого образа... Аверченко, быть может, самый трагический из современных писателей»[4].

В 1918 году «Новый Сатирикон» был закрыт. Аверченко уезжает в Москву, затем в Киев, Харьков и наконец — в Крым. Здесь он сотрудничает в газетах «Юг» и «Юг России», где печатались его рассказы и фельетоны, вошедшие впоследствии в книги эмигрантского периода (в том числе и в «Двенадцать портретов знаменитых людей в России»).

15 ноября 1920 года вместе с частями врангелевской армии Аверченко отплывает в Константинополь, в 1922 году переезжает в Софию, а потом — через Югославию — в Прагу. Гостеприимство братьев-славян приводит его в восхищение. Книги писателя выходят в Европе, и в первую очередь — в Чехии, где он регулярно печатается в газете «Prague presse». «Его сочинения пользуются огромным успехом. Переведены на 10 европейских и 2 азиатских (китайский и персидский) языка. На чешском языке появилось что-то 10 книг, на мадьярском, кажется, две»[5]. Аверченко с успехом гастролирует по Западной Европе с чтением своих рассказов и постановками пьес.

Основные темы его позднего творчества — трагические последствия октябрьского переворота, жизнь средней интеллигенции в Крыму и в эмиграции. Сквозь авторскую иронию отчетливо просвечивает боль писателя за измученную родину, за все лучшее, что осталось в Севастополе, Харькове, Питере…

Умер А.Т. Аверченко 12 марта 1925 года в Праге, похоронен на Ольшанском кладбище.

«Двенадцать портретов знаменитых людей в России» — яркий образец его едкой сатиры, когда первые лица советского государства изображаются «в стиле будуар».

В предисловии автор представляет свое произведение как «нечто среднее между портретной галереей предков и альбомом карточек антропометрического бюро при сыскном отделении». Большинство персонажей описано саркастически. Даже добрые поступки и благие намерения представителей советской правящей элиты высмеиваются — по мнению

Аверченко, у них не может быть никаких человеческих чувств. Название книги дано не по количеству рассказов, а по числу персонажей. В основе ряда «портретов» — реальные факты. Самые злые и горькие слова обращены, пожалуй, к А. Керенскому, Н. Крупской и М. Горькому.

Личности Керенского, которого писатель иронически называл «первым любовником революции», посвящается целых три рассказа[6]. «Были люди, которых Аверченко сильнее ненавидел, но не было человека, которого бы он глубже презирал»[7]. Аверченко обвиняет Керенского в том, что он «тщательно, заботливо и аккуратно погубил одну шестую часть земной суши, сгноил с голоду полтораста миллионов хорошего народа, того самого, который в марте 1917 года выдал ему «авансом огромные, прекрасные векселя».

Портреты Ленина и Троцкого в книге не представлены, «потому что эти два знаменитых человека и так уже всем навязли в зубах. Вместо них, — пишет Аверченко, — я даю портреты их жен. Это — элегантнее и свежее». В основе рассказа «Мадам Ленина»[8] — посещение Н.К. Крупской авиационного парка во время первомайских торжеств. Не веря в искренность заботы «мадам Лениной» о детях, Аверченко зло высмеивает ее, акцентируя внимание читателей на атеистическом воспитании детей в советской России. «Мадам Троцкая»[9] — напыщенная и малообразованная — требует от своего фаворита устроить ей «настоящий придворный двор», но колеблется, какую эпоху взять за образец — «наполеоновскую», «екатерининскую», «двор Людовиков» или «эпоху Цезарей»? Однако «Людовики плохо кончили», а «эпоха Цезарей не для нашего климата». Мадам Троцкая в замешательстве: если «набрать фрейлин» — то как с ними обращаться: «Могу я послать ее сбегать в Продком за сотней папирос или для этого паж должен быть? Должна ли я с ними здороваться за ручку или они мне должны целовать ручку?»

«Знаменитый чекист» Феликс Дзержинский приезжает в приют к «сироткам», каковыми сам же их и сделал. Он, оказывается, очень любит детей. Одного из них — единственного пока еще «не-сиротку» — добрый дядя ласково уговаривает следить за папой.

В рассказе о «главе чрезвычаек Петерсе» Аверченко вспоминает известные высказывания исторических личностей: «“Побежденным народам нужно оставить только одни глаза, чтобы они могли плакать”, — сказал Бисмарк. “Государство — это я!” — воскликнул Людовик XIV. “Париж стоит мессы”, — рассудил Генрих IV, меняя одно верование на другое». Изречение Петерса в ответ на обращение представителей трудящихся Ростова-на-Дону не менее замечательно: «Разве это голод, когда ваши ростовские помойные ямы битком набиты разными отбросами и остатками?!»

Эмигрантские социалистические деятели Мартов и Абрамович в издаваемой ими газете «Социалистический вестник» «категорически утверждали, что расстрел эсдеков — возмутительный произвол». Это заявление в свою очередь возмущает Аверченко: «Вышло как-то так, что меня — не эсдека и не эс-эра — может всякая каналья расстрелять, и не эсдек, ни эс-эр даже не почешется».

Максим Горький охарактеризован им как зритель «нескончаемого театра грабежей и убийств» — «сидел... всегда в первом ряду по почетному билету и... первый восторженно хлопал в ладошки». Подвергается иронии деятельность «пролетарского “буревестника”», направленная на поддержку ученых и писателей. «Он милостиво и снисходительно улыбался, когда его пылкие друзья половину интеллигенции, людей искусства и науки — выгнали за границу, четверть — оптом поставили к стенке, а оставшуюся четверть, как кроликов, приготовленных для вивисекции, заперли в душные вонючие клетки».

Портрет Федора Шаляпина начинается с объяснения Аверченко слова «Хамелеон»: «Это хам, желающий получить миллион». В рассказе высмеивается умение знаменитого певца приспосабливаться к обстоятельствам: когда надо — эффектно сорвать с себя на сцене золотые погоны и спеть «Дубинушку», предварительно удостоверившись у жандармского полковника, что ему за это ничего не будет.

Неплохо приспособилась к новой жизни и «Артистка образца 1922 года»[10], пережившая «все тягчайшие ужасы большевизма»: принимала у себя товарища председателя чрезвычайки, выступала в концертах, каталась на «огромном-преогромном» автомобиле, пила «бандитовку» из погреба, где лежали расстрелянные «бандиты»; и все это, по ее словам, — с «револьвером у виска». Аверченко задает вопрос, от которого «будто кипятком, ошпарило ее птичий мозг»: «А они не могли подсунуть вам вместо бандитовки — офицеровку?»

«Советский учитель» сравнивается с портретом учителя дореволюционного — требовательного и жесткого, язвительно высмеивающего нерадивого ученика за незнание «Изохимены» и «экватора». Не таков преподаватель московской советской школы «Нормальлсовсемтобуч». Перед уроком он «горько плачет» от страха — не справился с заданием, полученным от учеников: «Такие уроки задают, что никак не выучишь. И слова все самые непонятные: “Уездземельком”, “Деркамбед”, “Реввоенсов”, “Соввоенспец”».

«В жанровом отношении “портреты” Аверченко — это рассказы-фельетоны… Автор как бы брал живого человека, оставляя ему фамилию, внешность, привычки, манеру разговаривать, взгляды и заставлял его действовать по-своему, раскрывая сущность характера, скрытую от посторонних в реальной жизни. Аверченко также часто использовал данную жанровую форму до революции, но теперь он старается создать гротескные образы, напоминающие щедринских градоначальников из “Истории одного города”. Люди превращаются в некие вымышленные образы, фантомы. Но при этом, выбирая жанровую схему “сценки”, Аверченко заведомо невероятное описание облекает в максимально правдоподобную форму»[11].

Когда стало известно о кончине Аверченко, многочисленные русские эмигрантские писатели, критики и журналисты откликнулись рядом сочувственных статей и речей. «Место, занимаемое Аверченкой в русской литературе, единственное, им созданное и незаменимое…»[12] «Что в нем было необыкновенным?.. Свежесть… Он подходил ко всему попросту, не надуманно, и этой свежестью покорял… Таким Аверченко был всегда»[13].

«Умер не только большой русский писатель, но и писатель, одинаково близкий и русским, и немцам, и чехам, и французам, и всем, кто брал в руки книжку с его талантливыми рассказами»[14].

В Советском Союзе на распространение произведений Аверченко и оценку его творчества в значительной мере повлияла критическая заметка Ленина в газете «Правда» — отзыв на вышедший в Париже в 1921 году сборник «Дюжина ножей в спину революции». Ленин, характеризуя автора как «озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца», вместе с тем признает «поразительный талант» писателя: «Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички...»[15] Вердикт таков: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять»[16]. На это Аверченко отозвался в фельетоне «Pro domo sua»: «Сам Ленин вдруг меня заметил и, в гроб сходя, благословил»[17].

«Можно считать, что Аверченко был единственным русским писателем-эмигрантом, из числа активно боровшихся с большевизмом, произведения которого рекомендовались к переизданию самим большевицким вождем. Следствием такого исключения... было то, что его произведения получили широкое распространение в Советской России, уже начиная со второй половины 20-х годов... Затем наступает как бы затишье... Интерес к его творчеству вновь заметным образом оживает после второй мировой войны. С 1960 года советские читатели получили возможность опять познакомиться с многочисленными рассказами юмориста, которые печатались либо в советских периодических изданиях, либо вошли в сборники»[18].

Творчество Аверченко еще П. Пильский[19] призывал рассматривать с двух точек зрения: взгляды на роль писателя в истории русского юмора и его вклад в развитие русской журналистики. В отзывах о «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») как об «академии русского юмора» сходятся как зарубежные, так и советские, и российские авторы. Отмечается несомненная роль журнала в общественной жизни России: «Его удары почти всегда сыпались на тех, кто эти удары заслуживал»[20].

Лариса Эпиктетова

---

[1] Аверченко А.Т. Как мне пришлось застраховать жизнь // Южный край (Харьков). 1903. 31 октября. Цит. по: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). М.: РОССПЭН, 1997. Т. 1: Писатели русского зарубежья / под ред. А.Н. Николюкина. С. 9.

[2] Пильский П. А.Т. Аверченко // Сегодня (Рига). 1925. 15 марта.

[3] Тэффи Н.А. Об Аркадии Аверченко // Звено (Париж). 1925. 16 марта.

[4] Добронравов Л.М. Аркадий Аверченко: (Эскиз) // Бессарабия (Кишинев). 1923. 29 сентября.

[5] Г. С-ычъ. Аверченко среди нас // Русская Земля (Ужгород). 1922. 31 августа.

[6] В первом рассказе о Керенском А.Т. Аверченко использует некоторые мотивы из опубликованного в 1917 г. в «Новом Сатириконе» фельетона «Я разговариваю с Керенским» (№ 41. С. 6–7). Второй портрет — впервые: под названием «Нечаянная радость» (Зарницы. 1921. 20 февраля. Вып. 2. С. 9–10).

[7] Николаев Д.Д. Король в изгнании: (Жизнь и творчество А.Т. Аверченко в Белом Крыму и в эмиграции) // Аверченко А.Т. Соч.: в 2 т. М.: Лаком, 1999. Т. 1: Кипящий котел. С. 32.

[8] Впервые под названием «Лошадь в сенате»: Зарницы (София). 1921. 21 августа. С. 9.

[9] Впервые под названием «Шапка Мономаха»: Там же. 27 марта. С. 9–11.

[10] Впервые под названием «Одна из многих»: Русь (Берлин). 1923. 6 сентября. С. 2.

[11] Николаев Д.Д. Король в изгнании… С. 32–33.

[12] Тэффи Н.А. Об Аркадии Аверченко...

[13] Горный С. < А.А. Оцуп> Памяти А.Т. Аверченко // Руль (Берлин). 1930. 28 апреля.

[14] Бельговский К.П. Последние дни Ар. Аверченко // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1925. 2 апреля.

[15] Ленин В.И. Талантливая книжка // Правда. 1921. 22 ноября.

[16] Там же.

[17] Цит. по: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). М.: РОССПЭН, 2002. Т. 3: Книги / под ред. А.Н. Николюкина. С. 10.

[18] Левицкий Д.А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М.: Русский путь, 1999. С. 488–489.

[19] Пильский П.М. Заметки об Аркадии Аверченко // Новое русское слово. 1925. 24 мая.

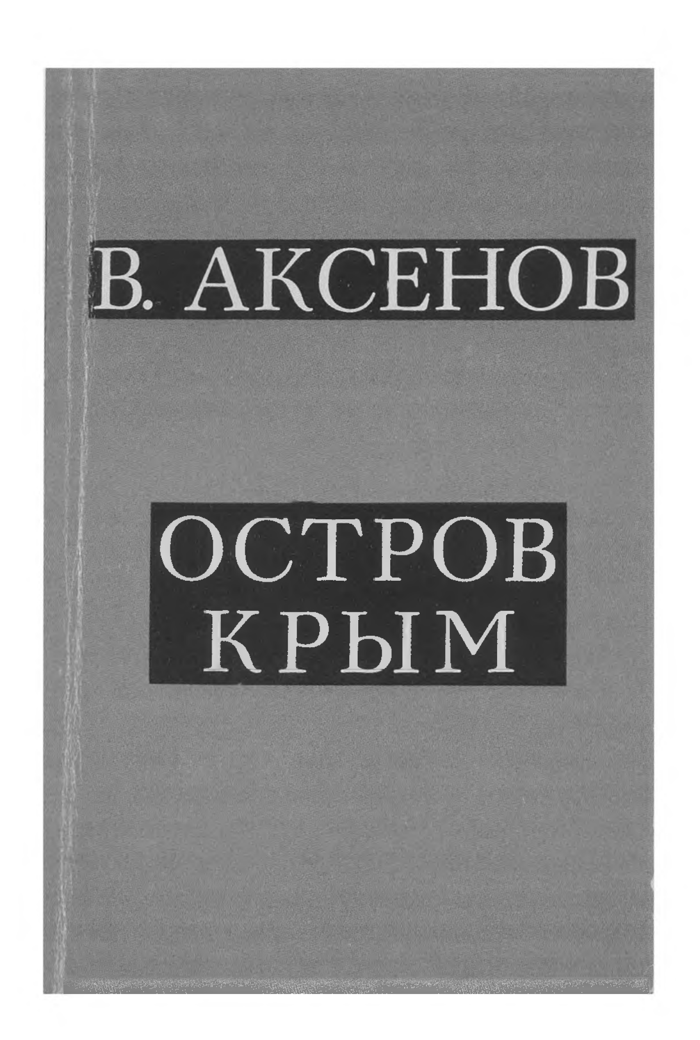
[20] Ганфман М.И. А.Т. Аверченко // Сегодня. 1925. 13 марта.

2

АКСЕНОВ В.П.

Остров Крым

/ Василий Аксенов. — Ann Arbor (Michigan): Ardis, 1981. — 324, [1] с.; 21,5×14 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке с портретом автора на четвертой сторонке.





Василий Павлович Аксенов родился 20 августа 1932 года в Казани. В 1937 году его родители были репрессированы, и детство Васи прошло в детском доме, затем у родственников, юность — в Магадане, где отбывала ссылку его мать. В 1956-м Аксенов окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и некоторое время работал врачом.

Первые рассказы Аксенова появились в «Юности» в 1958 году. Его ранние произведения, написанные в исповедальной манере, положили начало так называемой молодежной прозе и пользовались большим успехом; некоторые из них были экранизированы — повесть «Коллеги» (1959, одноименный фильм — 1962), роман «Звездный билет» (1961, фильм «Мой младший брат» — 1962). Основная тема этого периода творчества — поиски смысла жизни молодыми людьми из поколения «фестиваля молодежи и студентов», получившими в комсомольской печати кличку «стиляги». «Мало кто из… сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, сленг… стал повседневностью

в молодежных компаниях и любовной переписке 60-х – 70-х»[1]. Аксенова много печатали, выходили книги его прозы. Сам писатель называл эти годы «десятилетием советского донкихотства»[2].

В конце 1960-х Аксенов «сменил молодежную тему на тему тотальной сатиры»: «…я понял, что мы живем в совершенно… абсурдном мире и что действительность так абсурдна, что, употребляя метод абсурдизации и сюрреализм, писатель не вносит абсурд в свою литературу, а наоборот, этим методом он как бы пытается гармонизировать разваливающуюся… действительность»[3].

5 марта 1966 года Аксенов участвовал в попытке демонстрации на Красной площади в Москве против предполагаемой реабилитации Сталина. В 1967–1968 годах подписал ряд писем в защиту диссидентов. Критика в адрес Аксенова и его произведений становится все более резкой: применяются такие эпитеты, как «несоветский» и «ненародный». Нападки вызывает и форма, к которой обращался теперь писатель. Усиленный интерес КГБ, столкновения с советской цензурой и дублировавшей ее критикой привели Аксенова к затянувшемуся на десять лет вынужденному молчанию. Положение писателя еще более осложнилось, когда в 1977–1978 годах его произведения начали появляться за рубежом (прежде всего в США).

В 1978–1979 годах Аксенов становится одним из активных инициаторов и создателей неподцензурного альманаха «Метрополь», который сам писатель назвал «художественным событием литературной жизни, прозвучавшим на весь мир»[4]. В СССР альманах немедленно был подвергнут резкой критике, власти усмотрели в нем попытку вывести литературу из-под контроля государственной идеологии и назвали его «бастионом гражданско-этического неповиновения»[5]. После скандала с «Метрополем» из библиотек стали изыматься книги Аксенова. Как и все участники альманаха, он подвергся «проработкам» и в декабре 1979 года заявил о своем выходе из Союза писателей. В июле 1980-го выехал в США, где узнал о лишении его и его жены советского гражданства.

В 1980–1991 годах в качестве журналиста Аксенов активно сотрудничал с «Голосом Америки» и радио «Свобода». С 1981 года он — профессор русской литературы в различных университетах США, где вел семинары «Два столетия русского романа», «Российский модернизм и левый авангард».

Прожив больше двух десятилетий в США, Аксенов уходит из Вашингтонского университета и переселяется во Францию, в Биарриц.

С конца 1980-х годов в России начинают издаваться книги В. Аксенова, в том числе и ранее запрещенные. В 1989-м по приглашению американского посла Дж. Мэтлока писатель посетил СССР. На следующий год ему вернули советское гражданство, и начиная с 1990-х годов он стал часто и подолгу бывать в России.

Франция наградила Аксенова орденом Искусства и литературы (2005), его творчество увенчано различными премиями, в том числе «Либерти» (2001) и «Русский Букер» (2004).

6 июля 2009 года, после продолжительной болезни писатель скончался в Москве. Похоронили его на Ваганьковском кладбище.



Василий Аксенов (справа) и Михаил Сеславинский. Женева. 2007. Фото А. Нагаева

Роман «Остров Крым» был написан Аксеновым еще до эмиграции (1977–1979), но впервые опубликован в 1981 году в США. В основе сюжета — фантастическое допущение: во время Гражданской войны Красной армии не удалось захватить Крым (в романе это не полуостров, а остров в Черном море): решающему ее наступлению воспрепятствовал двадцатидвухлетний английский лейтенант, открывший стрельбу гигантскими снарядами, сломавшими лед Чонгарского пролива. Так Крым избежал участи остальной России: развитие экономики здесь пошло по другим рельсам, благодаря чему остров превратился в процветающее государство.

Оставшиеся в живых участники Ледяного похода считали Остров Базой Временной эвакуации и сохраняли надежду и «уверенность в своих силах, стерегущих Крым до светлого дня Весеннего Похода, до Возрождения Отчизны». Однако время берет свое — их становится все меньше, да и силы уже не те. Между тем среди молодежи распространяется движение «яки», которое призывает к слиянию этнических групп в новую нацию.

Основной персонаж романа Андрей Лучников — успешный «супермен», главный редактор столичной крымской газеты «Русский Курьер», сын белогвардейского офицера. Он и его друзья-одноклассники одержимы идеей Союза Общей Судьбы (СОС): «Основная идея Союза — ощущение общности с нашей исторической родиной, стремление выйти из островной эйфорической изоляции и присоединиться к великому духовному процессу человечества, в котором той стране, которую мы с детства называем Россией и которая именуется Союзом Советских Социалистических Республик, уготована особая роль. Мы призываем к размышлению и дискуссии и в конечном историческом смысле к воссоединению с Россией,

то есть к дерзновенной и благородной попытке разделить судьбу двухсот пятидесяти миллионов наших братьев, которые десятилетие за десятилетием сквозь мрак бесконечных страданий и проблески волшебного торжества осуществляют неповторимую нравственную и мистическую миссию России и народов, идущих с ней рядом. Кто знает, быть может, Крым и будет электронным зажиганием для русского мотора на мировой античной трассе…»

Идея СОС приобретает все больше сторонников, овладевает умами и сердцами, и вот уже крымчане восторженно встречают советские войска, еще не догадываясь о том, что проведение военно-спортивного праздника «Весна» — на самом деле оккупация острова.

«Замысел фантастический… сюрреалистический, — говорил Аксенов о романе, — поэтому я решил, что манера письма будет строго-строго реалистическая, консервативная, традиционная, и всю книгу выдержал в этом духе»[6].

В России роман увидел свет в журнале «Юность» в 1990 году (№ 1–5). На публикацию откликнулись российские критики.

«“Остров Крым” — книга обреченности, отчет о капитуляции перед якобы однозначной историей, — писал А. Немзер. — Поэтому меня удивляет, когда в романе видят доказательство преимуществ капитализма перед социализмом... Аксенов умный писатель, и чем болезненно-напряженней, чем однозначней его идея, тем больше иронических противовесов появится в тексте, тем тщательнее будет проведена маскировка...»[7]

«Характерная для постмодернистской философии критика утопических идеологий и вообще всяких проектов глобальной гармонии достигает наивысшей точки в... романе… “Остров Крым”. Причем объектом критики здесь становится не советская идеологическая утопия и не утопия обновления социализма... Здесь в центре внимания оказывается утопия, построенная на таком благородном фундаменте, как традиции русской интеллигенции, как ответственность интеллигента за судьбы народа и вина интеллигента перед народом за то, что он, интеллигент, живет лучше, чем народные массы… Изображение Острова Крыма, острова счастья и свободы… выдает тоску самого Аксенова по утопии… Этой, как всегда у Аксенова, избыточной утопии противостоит жесткий образ Советской России — с цекистскими саунами, с наступающим фашизмом... с абсурдными лозунгами и пустыми прилавками… “Остров Крым” — это горькая антиутопия романтического идеализма. Готовый к самопожертвованию во имя России, Лучников приносит в жертву сотни человеческих жизней: именно он, с его наивной верой в обновление России, виновен в уничтожении счастливого острова. Романтическое сознание, стремясь во что бы то ни стало воплотить самый возвышенный и благородный идеал в действительность, на самом деле неизбежно рушит жизнь, которая всегда неидеальна и хаотична...[8]

«В “Острове Крым” Аксенову удалось найти языковой эквивалент Запада, увиденного глазами советского человека. Этот Запад… — со всей этой “дольче витой” — никогда не существовал нигде, кроме как в воспаленном воображении наглухо запертого на “одной шестой части суши” советского шестидесятника, был запечатлен Аксеновым во всей

его зыбкой красе. Остров Крым — средоточие этого иллюзорного мира, западная греза с наложенными на нее культовыми местами шестидесятников: Коктебельской бухтой, Кара-Дагом, Сюра-Каем, Ялтой. Воплощенная мечта поколения. Земной рай. Но повествование о рае оборачивается повествованием о потерянном рае»[9].

Лариса Эпиктетова

---

[1] Богуславская З. Классик и плейбой: Разговоры с Аксеновым (2001). Цит. по: Аксенов В.П. «Квакаем, квакаем...»: Предисловия, послесловия, интервью. М.: АСТ: Зебра Е, 2008. С. 163.

[2] Цит. по: Глэд Дж. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 77.

[3] Из интервью Джону Глэду // Там же. С. 75.

[4] Там же. С. 79.

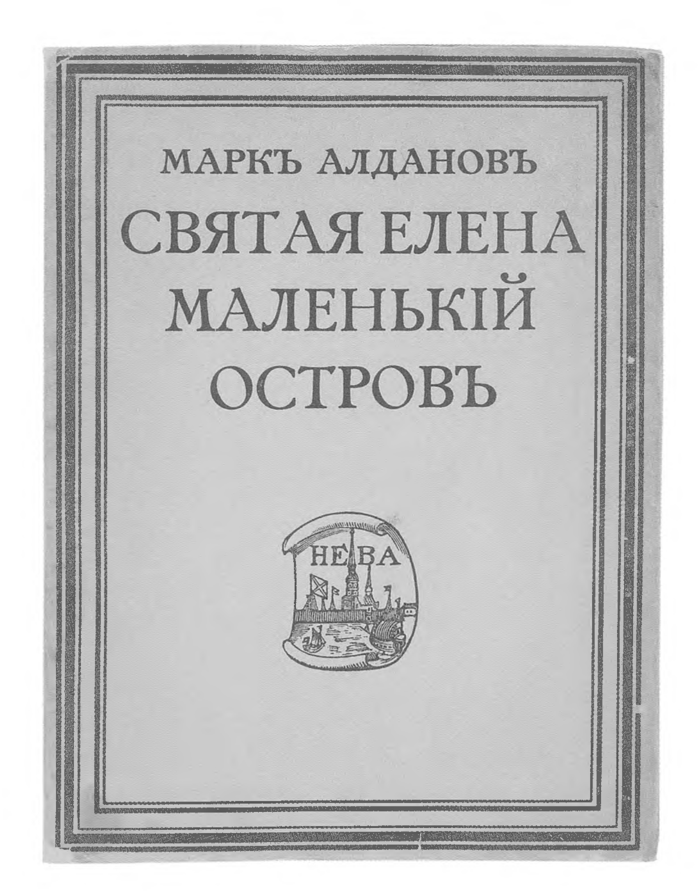
[5] Богуславская З. Классик и плейбой: Разговоры с Аксеновым. С. 165.

[6] Из интервью Джону Глэду. С. 82.

[7] Немзер А. Странная вещь, непонятная вещь // Новый мир. 1991. № 11. С. 243.

[8] Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Кн. 2: Семидесятые годы (1968–1986). С. 107–109.

[9] Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М.: Терра; Спорт, 1998. С. 486.



3

АЛДАНОВ М.А.

Святая Елена, маленький остров

/ Марк Алданов; [литографии Н. Пинегина]. — Берлин: Нева, [1923]. — [6], 117 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.); 25×19,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



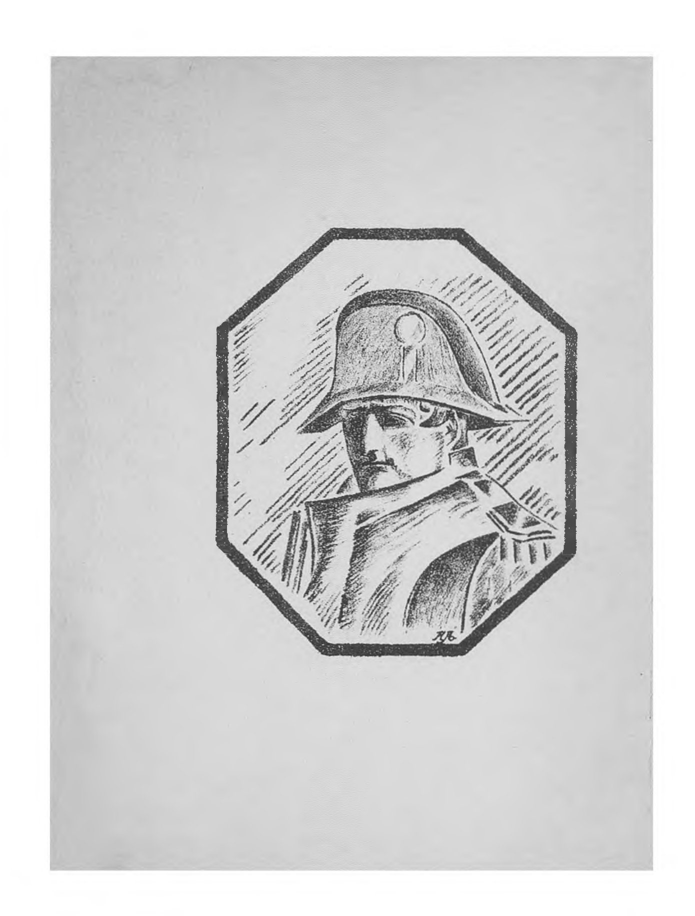
Писатель Марк Алданов (наст. имя и фам. Марк Александрович Ландау; 1886–1957) родился в богатой еврейской семье — его отец был крупным промышленником-сахарозаводчиком. Окончив два факультета Киевского университета — физико-математический и юридический, Алданов продолжил образование в Париже: занимался химией и опубликовал ряд научных работ.

Не приняв революции, он в 1918 году издает в Петрограде книгу «Армагеддон», где в философской форме излагает свои размышления о войне, революции и дальнейших перспективах. Тираж «Армагеддона» большевики конфисковали, книгу запретили, и в 1919 году писатель был вынужден эмигрировать. Жил в Париже, Берлине, США. В 1946-м вернулся во Францию. Похоронен в Ницце.

Творческая судьба Алданова в эмигрантские годы складывалась успешно. Очень быстро к нему пришла слава писателя-историка. Первое его историческое произведение — повесть «Святая Елена, маленький остров» — было опубликовано в 1921 году в журнале «Современные записки» (№ 3, 4) — на столетие со дня смерти Наполеона и посвящено последним дням всемирно знаменитого узника.



Марк Алданов. Париж. 1920-е годы. Фото П. Шумова



Портрет Наполеона Бонапарта на фронтисписе книги

Повесть имела большой успех. Илья Репин в письме к Алданову (без даты, 1920-е годы) так отозвался о ней: «Ах, что это за книга! Как жаль, что я не умею набрасывать образов из прочитанного… Да ведь ваши герои — это живые люди: они являются так неожиданно, в таких невероятных поворотах и таких неуловимых тонах, что схватить это — гениальное творчество… Ваш обожатель Илья Репин»[1].

Читательское признание вдохновило писателя на продолжение, и в том же году в «Современных записках» (№ 7) появились первые главы романа «Девятое Термидора». Со временем повествование о наполеоновской эпохе и Французской революции вылилось в историческую тетралогию «Мыслитель» — «Девятое Термидора» (1921), «Чертов мост» (1924), «Заговор» (1926), «Святая Елена, маленький остров» (1921).

В предисловии ко второму изданию повести (1926) Алданов пишет:

«Настоящая книга представляет собой эпилог моей серии “Мыслитель”. Написана, однако, “Святая Елена” раньше, чем “Девятое Термидора”, “Чертов мост” и “Заговор”… Знаю, конечно, что неправильный порядок появления моих исторических романов связан со значительными неудобствами и, в частности, затрудняет понимание того, что было бы слишком смело с моей стороны назвать символикой серии. Приношу… свои извинения читателям»[2].

Тетралогия «Мыслитель» оказалась самым злободневным творением Алданова. В ней автор затрагивает процесс революции как таковой, размышляя о причудливом соотнесении в истории человеческой воли и случая.

Обращаясь к Французской революции, Алданов пытается понять истоки и причины революции русской и приходит к выводу, что любая политика есть вещь грубая, жестокая и грязная, а революция — это резня, террор, голод, бунт; воспользовавшись революцией, любая шайка может захватить власть и удерживать ее. В «Девятом Термидора» устами героя автор констатирует: «Всякая революция по самой природе своей ужасна и другой быть не может. В душе человека дремлют тяжелые страсти: зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да просто жажда зла во всех его формах. Закон, власть, государство только для того и нужны, чтобы сдерживать зверя железом… По природе война и революция совершенно тождественны, только первая привычнее людям и вызывает меньше удивления. Осуждать террор во время революции не менее глупо, чем осуждать убийство во время войны. Бескровная революция такая же смешная нелепость, как бескровная война…»[3]

Такие рассуждения после событий 1917 года, по мнению М. Слонима, отчасти «демагогичны» — они «проигрывают в цене и превращаются в публицистические упражнения. Однако за ними скрывается и общефилософская идея "исторического бессмыслия, сознание тленности и ненужности человеческих усилий и общественных исканий"»[4].

Название повести раскрывается в эпиграфе к ней, где говорится о том, что в школьной тетради Наполеона по географии за 1788 год последними словами были: «Святая Елена, маленький остров».

Имея своим кумиром Л.Н. Толстого, Алданов, как и Толстой, считал, что в истории господствуют хаос и случайность. В своей повести он пишет о Наполеоне: «…сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в нежданных удачах. Он отлично понимал, что в каждом из его действий будет найден историками глубокий смысл и роль случая в его судьбе окажется сведенной до минимума. Не по словам и объяснениям станет судить его потомство». И далее Наполеон, томящийся на острове Святой Елены, признается: «Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества — случая».

Повествование достигает одной из кульминаций на последних страницах первой части — во фрагменте, посвященном русскому графу Александру Антоновичу де Бальмену, российскому комиссару на острове Святой Елены с 1816 по 1821 год. Граф, женившийся на англичанке, отправился с ней прогуляться по острову и…

«Александр Антонович, чуть вздрогнув, уставился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг забавлявшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть — и крик замер на устах графа де Бальмена.

Он узнал Наполеона...

Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, затем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря ни единого слова.

...Этот человек, кидающий в воду камешки, был владыкой мира... Все пусто, все ложь, все обман...»

Показывая бренность человеческого бытия, автор подводит читателя и ко второй кульминации — описанию смерти Наполеона. Итог подво-

дят слова из книги Екклезиаста, которую аббат Виньяли читает у тела мертвого императора: «Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы».

В заключение — несколько наиболее характерных отзывов о повести и ее авторе:

«Блеск и эффективность присущи и “Святой Елене”, и звучит она тем же тоном изящной иронии и скептицизма. Читая эти страницы, искусные, но от искусства чем-то все-таки отдаленные, слишком виртуозные, чтобы быть простодушно-поэтическими, вы чувствуете, как г. Алданов претворяет в образы и сцены свою начитанность, свои исторические познания, свою утонченную культурность вообще. Как романист, М. Алданов выбрал себе высоким образцом Толстого; это явственно бросается в глаза, придает его произведению до известной степени заимствованный и отраженный свет, но не ослабляет его достоинств и даже прибавляет к ним новое — хороший вкус нашего автора»[5];

«Я думаю, что вообще в русской литературе Алданов — первый автор исторических романов. До самого последнего времени наша историческая литература состояла из произведений второстепенных писателей, ныне почти забытых. В “активе” этой литературы — “Петр Первый” Алексея Толстого и романы Алданова. Несомненно, что после того, как книги Алданова проникнут в Россию, у него найдется множество подражателей; они есть сейчас в здешней печати, и нет оснований думать, что в России это будет иначе»[6];

«Он один из самых талантливых русских писателей, появившихся в русской литературе после войны, и, несомненно, самый лучший из “исторических романистов”… Романы Алданова — “хорошая литература” и настоящая литература — а это в наши времена редко. И как бы ни оценивать Алданова — он серьезный и крупный писатель»[7].

Констанция Сафронова

---

[1] Цит. по: Нечаев С.Ю. Русская Ницца. М.: Вече, 2008. С. 312.

[2] Алданов М.А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда, 1991. Т. 2. С. 315.

[3] Там же. С. 188.

[4] Слоним М.Л. Романы Алданова // Воля России (Прага). 1925. № 6. С. 161.

[5] Каменский Б., Айхенвальд Ю. М. Алданов «Святая Елена, маленький остров» // Руль (Берлин). 1923. 9 декабря. С. 7.

[6] Газданов Г. [Рец.]: М. Алданов. Тетралогия «Мыслитель» // Русские записки (Париж). 1938. № 10. С. 194.

[7] Слоним М.Л. Романы Алданова. С. 155.



4

АЛДАНОВ М.А.

Ключ

/ М.А. Алданов. — Берлин: Слово: Современные записки, 1930. — 437, [2] с.; 20×13,5 см. — [100 нум. экз.]
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

ИЗДАНІЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА „СЛОВО“
И ЖУРНАЛА „СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ„

«Ключ» — первая книга трилогии М.А. Алданова (куда вошли также романы «Бегство» и «Пещера»), повествующей о судьбах русской интеллигенции накануне и после русской революции 1917 года. В «Ключе» действие происходит в канун февральских событий, в «Бегстве» — в первый год после Октября, в «Пещере» описывается жизнь в эмиграции.

Впервые отрывок из «Ключа» был напечатан 25 декабря 1923 года в парижской газете «Дни». О публикации сочувственно отозвался И.А. Бунин. Алданов в тот период работал над романом «Чертов мост» и работу над «Ключом» смог продолжить лишь через три с половиной года — летом 1927-го, окончив «Заговор».

Печатался «Ключ» в журнале «Современные записки» (1928. № 35, 36; 1929. № 38–40). Первое отдельное издание вышло в берлинском издательстве «Слово» в 1930 году; помимо общего тиража, было выпущено и сто нумерованных экземпляров[1].

Параллельно с романом Алданова А.Н. Толстой начал в журнале «Грядущая Россия», который редактировали совместно оба писателя, публикацию своих «Сестер» — первой книги «Хождения по мукам». Ни Толстой, ни Алданов не могли тогда предположить, что их романы положат начало двум популярнейшим впоследствии трилогиям.

В «Ключе» Алданов снова демонстрирует главенствующую роль случая в исторических событиях. Революция, полагает он, — тоже чистая случайность, меняющая ход истории и воздействующая на судьбы людей, а потому она не поддается логике — ни исторической, ни человеческой. В новом произведении Алданов почти полностью отказывается от изображения конкретных исторических лиц: произошедшие недавно события еще слишком болезненны, принявшие в них участие люди еще живы и вызывают слишком много яростных споров, и в такой ситуации детальное погружение в исторические реалии не поможет читателю, а лишь отвлечет его от сути явлений. Единственное историческое лицо, которое писатель позволил себе изобразить в романе, — Федор Шаляпин, поскольку Шаляпин яростных споров не вызывал.

Имея к моменту написания «Ключа» репутацию серьезного исторического писателя, Алданов выбрал для новой книги детективный сюжет: труп, версии преступления, подозреваемые, преданный своему делу следователь… По мнению американского литературоведа и исследователя творчества Алданова Николаса Ли, над выбранной писателем сюжетной схемой витает тень Достоевского[2]. Впрочем, это отметили и первые рецензенты романа, в частности, М. Слоним: «Узкий мирок петербургского либерального общества, который изображен Алдановым, служит иллюстрацией основной мысли романа, высказываемой несколько демоническим, искушенным мыслью и плотью доктором Брауном в разговорах с его двойником Федосьевым. Эти два персонажа размышляют и разговаривают, в то время как другие живут и действуют. На самом деле, добиваются истины не следователь Яценко, не адвокат Кременецкий, не сыщик Антипов и не товарищ прокурора (это им только так кажется), а именно Федосьев и Браун, ведущие ночные карамазовские беседы. Они ищут настоящий ключ, раскрывающий смысл всего… “Ключ” закрываешь с тяжелым чувством. Это умное, местами блестящее, тонко и талантливо написанное произведение значительно именно по тому глубокому сознанию всеобщей безнадежности и пустоты, которое в нем разлито. “Ключ” — одно из самых мрачных и пессимистических произведений, опубликованных в эмиграции»[3].

Высоко оценил значение романа Алданова и В. Даватц: «Отвлекаясь от художественных достоинств его последних романов, мы должны признать, что он дал в них исчерпывающий и правильный протокол 1916–1918 годов. Это уже громадная историческая заслуга. Романы Алданова — это кинематографическая пленка, положенная в архив для будущих поколений»[4].

В процессе повествования сюжет в романе отходит на второй план, и на страницы книги врываются собственно события Февральской революции — это, по словам автора, «невеселый праздник на развалинах по-

гибающего государства». Устами одного из главных своих героев, химика доктора Брауна Алданов говорит о России и о том, что с нею происходит, с глубокой горечью и любовью: «Только в России и можно понять, что такое рок. Вы говорите, мы гибнем... Возможно... Во всяком случае, спорить не буду. Но отчего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций. А наша — одна из величайших, одна из самых необыкновенных... На меня после долгого отсутствия Россия действует очень сильно. Особенно Петербург... Я хорошо знаю самые разные его круги. Многое можно сказать, очень многое, а все же такой удивительной, обаятельной жизни я нигде не видал. Вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения».

Сама семантика слова «ключ» в романе многозначна — это и похороненный на дне реки ключ от квартиры, где было совершено преступление, и «ключ» к пониманию Февральской революции и судеб человечества, которым автор дает свое видение. Алданов предлагает романтическую концепцию двоемирия, заключающуюся в существовании двух параллельных миров, условно обозначенных «А» и «В»: «Мир А есть мир видимый, наигранный; мир В более скрытый и хотя бы поэтому более подлинный». Двоемирие свойственно не только человеку, но и обществу в целом. Эта концепция призвана объяснить надвигающуюся Февральскую революцию. Революция, полагает писатель, есть чистая случайность — результат проникновения мира «В» в мир «А».

В последнем романе трилогии «Пещера» важен такой диалог:

«— Разве вы пишете книги?

— Одну написал. Она называется “Ключ”.

— “Ключ”. Это книга по химии?

— Нет, это философская книга. Книга счетов»[5].

Наряду с восторженными отзывами публикация романа вызвала и нападки на автора со стороны «левых», обвинявших писателя в том, что он в «ложном, непривлекательном виде изобразил ту часть русской интеллигенции, которая особенно тесно связана с идеями и делами февральской революции». В предисловии к книжному изданию Алданов ответил этим критикам со свойственными ему сдержанностью и достоинством: «Никаких обличительных целей я себе, конечно, не ставил, наше поколение было преимущественно несчастливо, — это относится и к радикальной, и к консервативной его части».

Трилогия потребовала от писателя почти двенадцати лет напряженного труда, но, в отличие от тетралогии «Мыслитель», широкого признания не получила (хотя первый ее роман, «Ключ», был переведен на пять языков): большинством читателей конца 1920-х годов «Ключ» воспринимался как роман современный, описываемые в нем события были как бы частью их собственного жизненного опыта, а когда Алданов закончил «Пещеру», западным читателем уже владело ожидание начала Второй мировой войны.

Тем не менее в прозе русского зарубежья 1920–1930-х годов трилогия Алданова занимает важное место. Критика того времени признала ее единственным в своем роде историческим произведением о предыстории русской революции, ее последствиях и вынужденном бегстве на чужбину широких слоев русского общества, а также о тщетности попыток найти «пещеру» — убежище.

Основные рецензии на трилогию были напечатаны в журнале «Современные записки»[6]. Подытоживая впечатления от «Ключа», М. Цетлин писал: «“Ключ” не памфлет, а замечательный роман, в котором с убежденною силой истинного художника Алданов показал нам, разумеется, не всю правду (это невозможно), а ту правду, которую он увидел в людях и жизни»[7].

Михаил Сеславинский

---

[1] В коллекции А. Савина описан принадлежащий автору экземпляр № 1 из 100 нумерованных экземпляров.

[2] См.: Lee N. The Novels of M.A. Aldanov. The Hague; Paris, 1969.

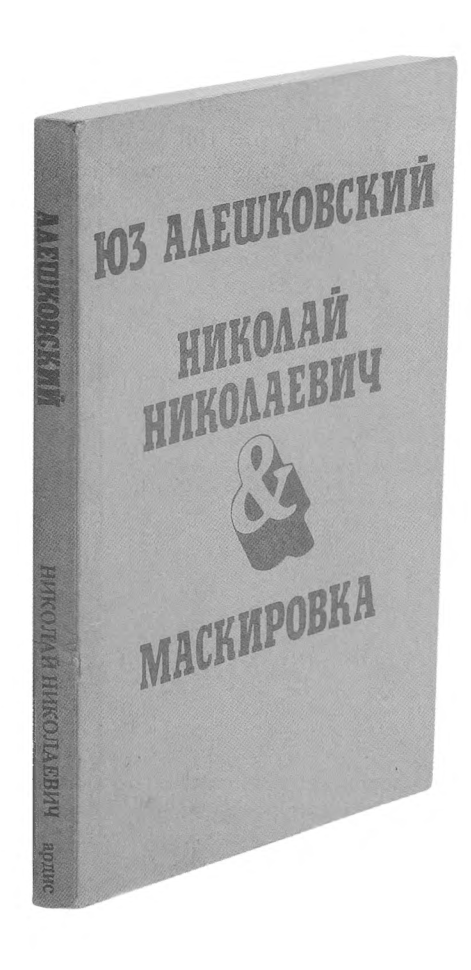
[3] Воля России (Прага). 1930. № 1. С. 47, 51–52. Цит. по: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья: 1918–1940. М.: РОССПЭН, 2002. Т. 3: Книги. С. 37.

[4] Россия и славянство (Париж). 1932. 8 октября. Цит. по: Там же.

[5] Алданов М.А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда, 1991. Т. 4. С. 23.

[6] На «Ключ» последовала рецензия М.О. Цетлина (Современные записки. 1930. № 41), на «Бегство» — рецензия В.В. Вейдле (Там же. 1932. № 48), на «Пещеру» — рецензия В.В. Набокова (Там же. 1936. № 61).

[7] Цетлин М. [Рец.:] Адданов «Ключ» // Современные записки (Париж). 1930. № 41. С. 526.



5

АЛЕШКОВСКИЙ Ю.

Николай Николаевич & Маскировка

/ Юз Алешковский. — Ann Arbor (Michigan): Ardis, 1980. — 128 с.; 15×11,5 см. В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

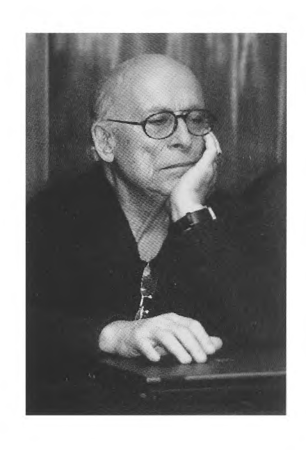


Иосиф Ефимович (Юз) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, в семье военнослужащего, вскоре переехавшей в Москву.

Когда молодого человека призвали в армию, то в конце срока службы приключилась неприятность: чтобы не отстать от своего эшелона, будущий писатель в пьяном виде угнал легковой автомобиль секретаря крайкома партии, и с 1950 по 1953 год он провел в лагере в районе Биробиджана. Отбывал срок, как он сам вспоминал, в более-менее человеческих условиях, не сопоставимых с лагерным опытом из рассказов В.Т. Шаламова[1].

Именно в лагере и стали рождаться первые его песенки. Продолжил их сочинять Алешковский и впоследствии, причем некоторые сразу стали культовыми, как «Песня о Сталине», начинающаяся знаменитой строфой:

> Товарищ Сталин, вы большой ученый —
> В языкознанье знаете вы толк,
> А я простой советский заключенный,
> И мне товарищ — серый брянский волк…



Юз Алешковский. Санкт-Петербург. 1 октября 2007. Фото А. Балакина

Много позже, перефразируя постулат «все мы вышли из гоголевской шинели», Иосиф Бродский заметит: «Алешковский вышел из тюремного ватника»[2]. Его песни появились на свет раньше песен В. Высоцкого и Б. Окуджавы, и впоследствии многие исполнители включали их в свой репертуар. Хорошо известна история, как Ив Монтан, исполняя «Окурочек», первоначально не позаботился о выплате авторского вознаграждения, искренне считая, что песня — дореволюционное народное творчество, хотя в ней и упоминается самолет Ту-104.

Достаточно быстро Алешковский добился успеха на литературном поприще: его детские повести о Кыше получили широкую признательность, равно как и снятый по ним в 1974 году фильм «Кыш и Двапортфеля». При этом «в стол» сочинялись принципиально другие произведения, заведомо неспособные выйти в свет в Советском Союзе. Именно они и стали движительной силой, заставившей известного писателя и сценариста, материально вполне обеспеченного и успешного, эмигрировать из СССР. Поводом послужил скандал с альманахом «Метрополь», в который вошли также песни Юза. Стало очевидно, что рано или поздно за антисоветские романы, которые найдут при первом же обыске, ему придется либо вновь оказаться в лагерях, либо «подлечиться» в психиатрической клинике. В 1979 году писатель уехал в Австрию, а затем поселился в США — в окруженном зеленью городке Миддлтаун штата Коннектикут. Там он живет и по сей день.

Повесть «Николай Николаевич» была написана Алешковским в 1970 году и десять лет существовала в подполье. По сути, это революционное произведение — как по искрометному содержанию с раскрытием абсолютно табуированных тем, так и по стилистике и фразеологии, которые стали характерными для творческого почерка писателя. Даже в наши дни тотальной литературной свободы и снятия всех запретов «Николай Николаевич» читается с замиранием сердца, вроде как украдкой, с опаской — не стоит ли кто-нибудь за спиной. Трудно себе представить, что эту повесть можно читать в переполненном вагоне метро.

Только гениальное воображение и незаурядный талант могли создать историю о бывшем заключенном, воришке-щипаче, который после окончания войны по воле случая оказывается на работе в лаборатории закрытого института, где проходят передовые опыты в области биологии и генетики. Николай Николаевич становится донором спермы и пытается извлечь максимальное количество благ из своей специфической работы. Когда у него не получается ежедневное выполнение своих профессиональных обязанностей, то на помощь приходит младшая научная сотрудница Влада Юрьевна. Окунувшись в бездну ранее неведомых фантастических ощущений, главный герой конечно же влюбляется в свою коллегу и проходит вместе с ней через череду всяческих невзгод, связанных с борьбой против менделистов-морганистов и космополитов.

Два вектора развития сюжета — научно-политический и любовно-сексуальный — производят на читателя советской эпохи ошеломляющее впечатление. Искрометная, не очень объемная повесть пусть и в сатирической, гротесковой манере, но все же наглядно раскрыла борьбу «лысенковщины» с генетикой. При этом сюжетная линия охватывает лишь сейчас ставшие привычными темы сохранения генетического материала и искусственного оплодотворения. Вполне возможно, что Влада Юрьевна стала первой женщиной, забеременевшей таким образом. Если бы этот литературный персонаж существовал не в эпатажной повести Алешковского, а в другом, несколько более традиционном произведении, то, вполне вероятно, мы могли бы стать свидетелями открытия памятника Владе Юрьевне в каком-нибудь институте репродукции и планирования семьи.

Точно такой же новаторской стала линия сексуальных отношений, которая плавно развивается от привычного бытового онанизма к смелым экспериментам по стимулированию семяизвержения в условиях научной лаборатории. Да и случившийся впоследствии традиционный секс обрастает антуражем, в котором фригидность Влады Юрьевны преодолевается титаническим трудом ее возлюбленного, когда он «рубает, как в кино "Коммунист"».

Программным это произведение стало для Юза Алешковского и в качестве манифеста его фирменного литературного языка, насыщенного нецензурной лексикой, начисто лишенного стыдливости и не знающего никаких запретов.

«В произведениях Алешковского открывается истинная реальность, параллельная, альтернативная официально признанной реальности, и она может быть описана только параллельным, альтернативным языком.

"Язык-1", официальный, подцензурный язык, здесь цитируется и становится основой для гиперболизации, абсурдистского переосмысления»[3].

Академик просунул голову и говорит:

— Что же вы, батенька, извергнуть не можете семечко?

Я совсем охуел и хотел сию же минуту по собственному желанию уволиться, и тут вдруг одна младшая научная сотрудница Влада Юрьевна велит Кимзе и академику:

— Коллеги, пожалуйста, не беспокойте реципиента. — То есть меня. Закрывает дверь:

— Отвернитесь, — говорит, — пожалуйста. — И выключает свет дневной. И своей, Кирюха, собственной рученькой берет меня вполне откровенно за грубый, хамский, упрямую сволочь, за член... и все во мне напряглось, и словно кто в мой позвоночник спинной алмазные гвоздики забивает серебряным молоточком и окунает меня с головы до ног в ванну с пивом бочковым, и по пене красные раки ползают и черные сухарики плавают. Вот, блядь, какое удовольствие было!

По очевидным причинам письменные свидетельства о впечатлениях от чтения повести в советскую эпоху до нас не дошли, равно как и литературные рецензии того же времени.

Впрочем, реконструировать их не составит большого труда:

«Профессорско-преподавательский коллектив Первого московского ордена Ленина медицинского института имени И.М. Сеченова с чувством глубокого возмущения узнал о тиражировании и распространении некоторыми отщепенцами пасквиля на отечественную науку, вышедшего из-под пера сценариста и так называемого “литератора” Юза Алешковского. Ничего, кроме брезгливости, не вызывает это творение человека, который неведомыми путями сумел проникнуть в святая святых советской литературы — прозу для детей и юношества. Члены Союза советских писателей уже отвернулись от этого сочинителя, смеющего называть себя их коллегой.

Став изгоем, автор порнографической повести “Николай Николаевич” жалко лепечет о сатирическом характере своего произведения, насквозь пронизанного темными инстинктами и нецензурной бранью. Пятнадцать суток исправительных работ стали бы лучшей рецензией на этот пасквиль. Съедаемый собственной пагубной извращенной половой страстью, ранее судимый Алешковский всячески пытается оскорбить советскую женщину — научного работника, затащить ее в собственное низменное царство алкоголя и половых отношений. Но оскорбляет он не ее, оскорбляет себя — развратного и, по всей видимости, психически больного человека.

Советские медики могли бы оказать ему помощь, но надо ли тратить свое умение и дорогостоящие препараты на этого извращенца?»[4]

В представляемое издание включена также написанная в 1978 году повесть-монолог «Маскировка», в которой в гротескном виде показана жизнь секретного города Старопорохова, а по сути — всей страны. Сюжет представляет собой рассказ излюбленного героя Алешковского — колоритного работяги-умельца, острослова, работающего руководителем бригады маскировщиков, изображающих во время пролета над городом американских спутников люмпенов-обывателей. Выразительные характеристики нравов и обычаев советского общества, как обычно, преподнесены сочно, мастерски утрированно, в сочетании с не знающей лексических границ речью, остающейся визитной карточкой писателя.

Надо сказать, что споры о тотальном использовании матерного языка в «Николае Николаевиче» и других произведениях Алешковского по сей день продолжаются не только среди критиков и литературоведов, но и среди тех, кто, казалось бы, перестал задумываться об этом в эпоху Интернета. Вот, например, какого рода вопросы и ответы звучат в наше время в блогосфере[5]:

Михаил Сеславинский



PROFILE



o_ks_an_a

Жиркова Оксана

Previous Entry | Next Entry

Jun. 29th, 2011

2:20 PM



Вчера, в одном сообществе, прочитала пост о мате в литературе. Я не ханжа и не против если мат звучит из уст героя, передавая его экспрессию, или неумение разговаривать нормальным человеческим языком. Умело составленное предложение порой даже выигрывает за счёт этого. Я против если мат звучит через слово. У меня создаётся ощущение, что меня с головы до ног окатили липкими, вонючими помоями. Меня коробит мат на улице и, если в своём городе и в Москве я с этим смирилась, то, в Петербурге, впервые услышанные ругательства в общественном транспорте, повергли меня в лёгкий шок. Как это? В культурной столице и люди все сплошь культурные, наивно пологала я. Это я всё к чему? Так вот, в том сообществе очень рекомендовали прочитать рассказ Юза Алешковского "Николай Николаевич", окрестя его чуть ли не гениальным. Меня хватило на семь предложений, больше не смогла, и это при том, что я не девочка божий одуванчик, и сама иногда употребляю мат в своей речи, правда очень и очень редко, и только цитируя кого-то или при сильном эмоциональном возбуждении. Может кто-то читал этот рассказ, или прочитает его и объяснит мне его гениальность. А может самое интересное начиналось с восьмого предложения и мне нужно было засунуть куда подальше своё "фи" и читать дальше? Вот рассказ.

Tags: мои мысли, писатели



annamann wrote:
Jun. 29th, 2011 11:56 am (UTC)
Что-то я не осилила и тоже не могу оценить гениальность этого рассказа. Хотя у меня герои тоже иногда поругиваются. На улицах меня тоже бесит, особенно, если я с ребенком иду. В своей компании ради бога, у себя дома тоже. Я тоже не ханжа, сама я не ругаюсь, но подруги у меня ругаются, но делают это очень изящно, высокохуждожественно, можно сказать. И это не бьет по ушам. В литературе я это допускаю, как у Довлатова к примеру с его абономатерью. А этот рассказ не смогла читать. Мне неприятно.

Link | Reply | Thread



newrossiysk wrote:
Jul. 6th, 2011 03:35 pm (UTC)
И зря, Юз классный.

Link | Reply | Parent | Thread

---

[1] См.: Нузов В. Встреча с писателем Юзом Алешковским // Русский базар. 2011. № 48 (292). [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М., 1996–2011. — Режим доступа: URL: http://russian-bazaar.com/ru/content/30.htm, свободный. — Загл. с экрана.

[2] См.: Бродский И.А. Он вышел из тюремного ватника // Антология сатиры и юмора России XX века. М.: Эксмо, 2004. Т. 8: Юз Алешковский. С. 7.

[3] Лапин Б.А. Проза русской эмиграции (третья волна): Пособие для преподавателей литературы. М.: Новая школа, 1997. С. 32.

[4] Вестник 1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова. 1978. № 3. С. 4.

[5] См.: Живой журнал [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Б.м. и б.г. — Режим доступа: URL: http://o-ks-an-a.livejournal.com/6509.html, свободный. — Загл. с экрана.

6

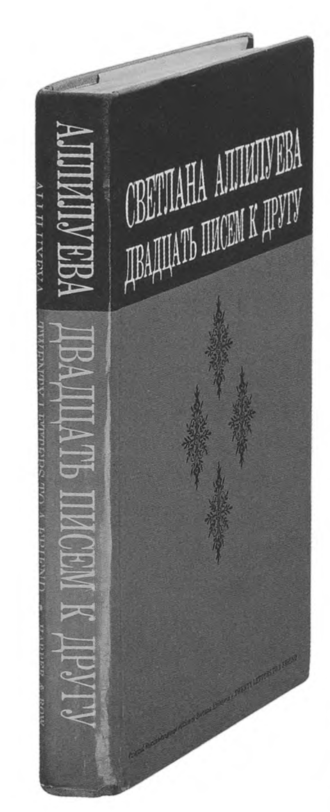
АЛЛИЛУЕВА С.И.

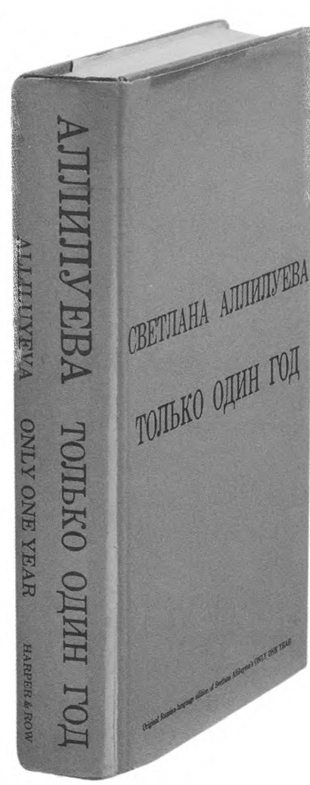
Двадцать писем к другу

/ Светлана Аллилуева. — New York; Evanston: Harper & Row, 1967. — 216 с.; 22×14,5 см.
В сиреневом цельнотканевом (коленкор) издательском переплете и шрифтовой цветной суперобложке.

Только один год

/ Светлана Аллилуева. — New York; Evanston: Harper & Row, 1969. — 381, [8] с.; 22×15 см.
В сером цельнотканевом (коленкор) издательском переплете и шрифтовой цветной суперобложке.







HARPER & ROW, PUBLISHERS

NEW YORK AND EVANSTON

Светлана Иосифовна Аллилуева — дочь И.В. Сталина — родилась 28 февраля 1926 года в Ленинграде. Окончив с отличием 25-ю московскую среднюю школу, она поступила на филологический факультет МГУ, но проучилась там всего год, после чего тяжело заболела. Вернулась в университет уже на исторический факультет.

В 1944 году Светлана вышла замуж за одноклассника Василия Сталина Григория Морозова, однако впоследствии их брак, несмотря на рождение сына Иосифа, был расторгнут. Вторым ее мужем стал

в 1949 году Юрий Жданов; в этом браке была рождена дочь Екатерина. Следующий (правда, гражданский) муж Аллилуевой — индийский коммунист Браджеша Сингха. В 1967 году Светлана выехала в Индию на его похороны и в СССР не вернулась. После долгих путешествий по миру она обосновалась в США, где и скончалась 22 ноября 2011 года в доме для престарелых в штате Висконсин.



Светлана Аллилуева. 1960-е годы. Четвертая сторонка суперобложки книги «Только один год»

В 1956 году Светлана Аллилуева, сменившая после XX съезда КПСС фамилию отца на фамилию матери, стала сотрудницей Института мировой литературы. Вероятно, именно к этому времени восходит замысел написать воспоминания о своей семье. Во всяком случае, Светлана знакомится со многими представителями советской научной и художественной интеллигенции, которые расспрашивают ее об ее отце. Очевидно, что она и сама сознавала огромный интерес к личности И.В. Сталина со стороны мировой общественности.

Для воспоминаний С. Аллилуева решила избрать форму писем к близкому другу (физику Федору Волькенштейну, пасынку писателя А.Н. Толстого — в тексте он не назван). Законченную в 1963 году рукопись, помимо ее непосредственного адресата, она показала очень узкому кругу друзей, понимая, что широкое распространение книги угрожает ее собственной безопасности. В книге «Только один год» она пишет: «Я никогда не считала, что “20 писем” могут быть для западного читателя политическим открытием, потому что они были написаны как семейная хроника, а не как исторические мемуары. Я не ставила себе целью рассказывать об известных или неизвестных политических событиях. Но я знала, что хроника семьи столь необычной и трагической, как наша, безусловно, заставит читателя прийти и к политическим заключениям».

Одними из первых шагов Аллилуевой после отказа вернуться в СССР стали попытки предпринять на Западе публикацию «Двадцати писем…» (рукопись была переправлена туда еще до побега). И само бегство дочери покойного диктатора, и сведения о ее неизданных мемуарах стали мировой сенсацией — книга была обречена стать международным бестселлером.

Большой интерес книга вызвала не только на Западе, но и в Советском Союзе, что объяснялось, вероятно, даже не столько любопытством к семейной жизни тирана, сколько очень больным для всех русских интеллигентов и тогда, и сегодня вопросом: какова роль личности в истории? Действительно ли история движется согласно законам, как говорят марксисты, и личность, даже обладающая государственной властью, не может что-либо изменить существенным образом?

В «Двадцати письмах к другу» Светлана Аллилуева говорит о Сталине… с любовью — как об «одинокой душе», как о «старом, больном, всеми отринутом и одиноком на своем Олимпе человеке». Она старается вспомнить об отце все хорошее: он прост в обращении с прислугой, аскетически непритязателен, не любит шумных проявлений поклонения. Часть вины за происходившее в стране она пытается переложить на Берию — «лукавого царедворца, опутавшего отца». Но даже сквозь этот исполненный печали и сострадания рассказ проступают вдруг отталкивающие и страшные черты тирана: «...пятерых из своих восьми внуков он так и не удосужился ни разу повидать». Доведенный до отчаяния отношением отца, Яков (сын Сталина от первой жены) пытался застрелиться, но неудачно. «Отец нашел в этом повод для насмешек: “Ха, не попал!” — любил он поиздеваться». Нетерпимость Сталина проявляется даже в отношениях с самыми близкими людьми — «если он уже переводил в своей душе человека в разряд “врагов”, то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке». И как окончательный приговор звучат слова старушки-матери Сталина, когда-то пославшей его учиться в духовную семинарию, а потом не пожелавшей переехать к сыну в кремлевские хоромы: «А жаль, что ты так и не стал священником...»

Сильное впечатление оставляют некоторые очень зримые детали из жизни правящей верхушки. Вот, например, одна из них. Отгороженные от города крепостной кремлевской стеной, правители по вечерам отправлялись в кинозал, устроенный в помещении бывшего Зимнего сада: «...я шествовала впереди длинной процессии в другой конец безлюдного Кремля, а позади ползли гуськом тяжелые бронированные машины и шагала бесчисленная охрана».

Советская пресса, по разным причинам, пренебрежительно отзывалась о личности автора, намекая на душевную болезнь Аллилуевой и не вступая с ней в полемику. В самиздате на «Двадцать писем к другу» появилось несколько критических откликов: в речи писателя Г. Свирского на партийном собрании московских литераторов (январь 1968) произведение С. Аллилуевой противопоставлено «хорошим» книгам коммунистов (А. Бек, Е. Гинзбург), не пропускаемым цензурой; Р. Медведев в своей работе «Светлана Сталина и ее “Двадцать писем к другу”» критиковал автора за неискренность и за попытки оправдать отца.

Эмигрантская пресса была более снисходительной:

«Эту небольшую книгу берешь в руки с волнением, — писал в «Новом журнале» Р.Б. Гуль. — Дочь Сталина — о Сталине и Советском Союзе. Судьба автора. Драматический побег. К тому же советское правительство своими протестами, нажимами против ее появления, присылкой за границу каких-то проходимцев, дабы хоть как-нибудь сорвать ее выход, — сделало книге небывалую рекламу. И вот книга в руках. Книга прочтена. И невольно задаю себе вопрос: в чем же дело, почему правительство лилипутов-рабфаковцев так взволновалось? Ведь никаких сенсаций в книге нет»[1].

«...Главная “вина” Светланы не в ее поступках, а в том, что она — дочь своего отца, — писала в парижском журнале «Возрождение» М. Старицкая. — Какая страшная судьба! Всю жизнь нести на себе клеймо своего рождения! Разве она выбирала себе отца? Разве она выбирала, где и кем родиться? И можно ли бросать в нее камень за то, что она любила отца, даже не зная, кто он, и старалась найти ему оправдание?

Страшна была жизнь детей и родственников Сталина. Все должны были подчиняться беспрекословно, не имея права на собственное мнение. Старший сын, Яков, недаром в молодости стрелялся и, говорят, предпочел покончить с собой, чем вернуться из немецкого плена. Его жену, еврейку, Сталин отправил в ссылку в лагеря. Василий, второй сын, спился. (Светлана пишет, как ее мать боролась с привычкой Сталина давать детям вино.) Одних за другими Сталин уничтожил всех родственников. В этой обстановке постоянных потерь — начиная с потери матери[2] — проходили детство и молодость Светланы»[3].

В книге «Только один год» Светлана писала об отце уже несколько в ином тоне: «Он дал свое имя системе кровавой единоличной диктатуры. Он знал, что делал, он не был ни душевнобольным, ни заблуждавшимся. С холодной расчетливостью утверждал он свою власть и больше всего на свете боялся ее потерять. Поэтому первым делом всей его жизни стало устранение противников и соперников».

Надо отметить, что фигура Сталина и в этих воспоминаниях во многом является центральной. Однако книга полна и других интереснейших наблюдений. Ярко в ней показаны В.М. Молотов, М.А. Суслов, А.Н. Косыгин. В частности, именно Светлана была одной из немногих, кто посетил опального Молотова: «Я видела постаревшего, поблекшего Молотова — пенсионера в его небольшой квартире, уже после того, как Хрущева сменил Косыгин. Молотов, по обыкновению, говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу. Теперь он поддакивал жене».

«“Только один год” многим отличается от “Двадцати писем”, — писал в «Новом журнале» Р.Б. Гуль. — Это естественно. Первая книга писалась еще в Москве, и автор, сам того не сознавая, был тогда все-таки под давлением пресса полицейского сверхгосударства, был внутренно не свободен. “Только один год” — книга иная, совершенно свободная, книга человека, давно внутренно сопротивлявшегося тирании и наконец вырвавшегося на свободу»[4].

Называя книгу исключительным историческим документом, к тому же и блестяще написанным, Р. Гуль выделяет в ней две главные темы: любовь Светланы и Браджеша Сингха и Сталин и сталинцы, — причем характеристика Сталина, по мнению Р. Гуля, — «это лучшая, самая глубокая характеристика этого диктатора»[5].

Свою статью Р. Гуль заключает такими словами: «Кроме затронутых мной тем, книга Светланы дает много другого материала. Здесь и восприятие свободного Запада вырвавшимся из полицейского государства советским человеком. И религиозность автора. И разница характеров — советского и западного. И описание Америки и аме-

риканцев. И описание Индии. И описание настоящей интеллигенции в СССР, все еще мечтающей о своем духовном освобождении. Все в этой книге интересно и питательно...»[6]

Любовь Пухова

---

[1] Гуль Р. Книга Светланы // Гуль Р. Ледяной поход: Автобиографические произведения. Размышления о литературе / сост., примеч. Т. Прокопова. М.: ПРОЗАиК, 2011. С. 546.

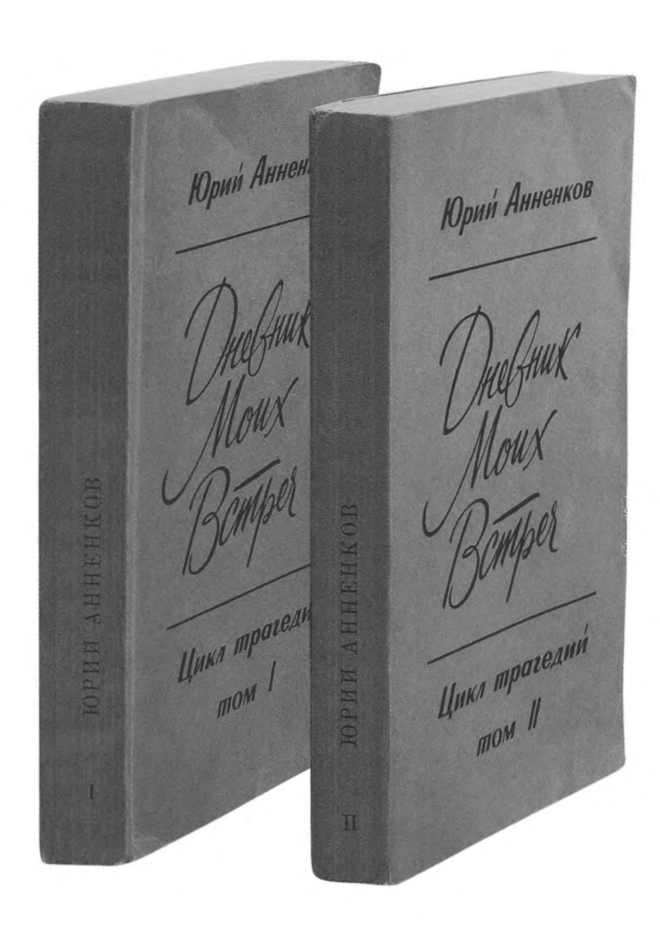
[2] После очередной ссоры с мужем 7 ноября 1932 г. Н.С. Аллилуева застрелилась.

[3] Старицкая М. Еще о Светлане // Возрождение (Париж). 1968. № 193. С. 125.

[4] Гуль Р. Светлана и неандерталы // Гуль Р. Ледяной поход... С. 560.

[5] Там же. С. 568.

[6] Там же.



7

АННЕНКОВ Ю.П.

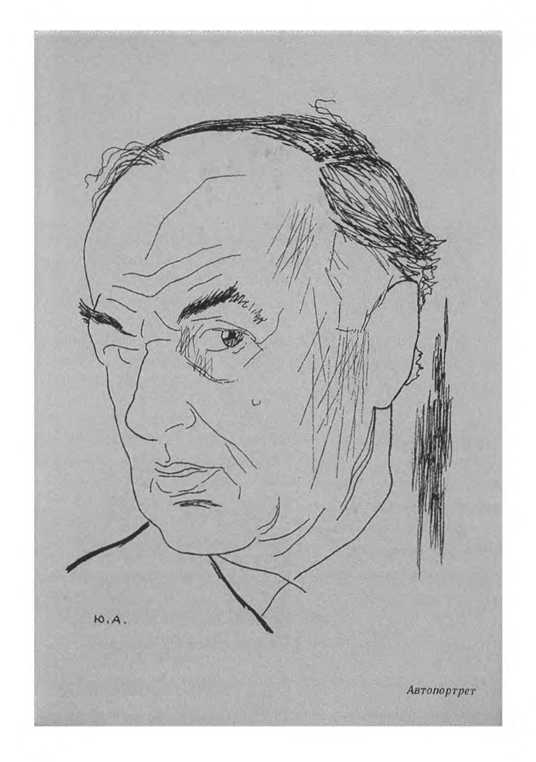
Дневник моих встреч:
Цикл трагедий:
[в 2 т.]

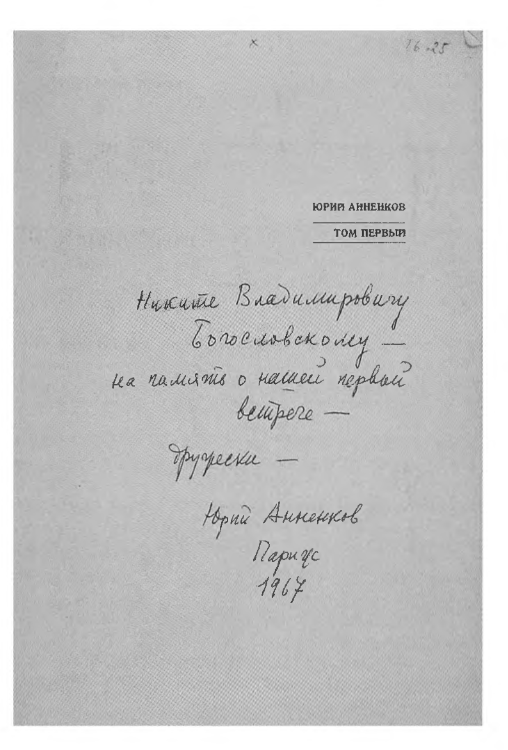
/ Юрий Анненков. — Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1966. — Т. 1. 350, [2] с.: портр. Т. 2. 350 с.: портр.; 23×15,5 см. — [1000 экз.]
Каждый том в шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле т. 1: «Никите Владимировичу Богословскому — на память о нашей первой встрече — дружески — Юрий Анненков. Париж. 1967»[1].

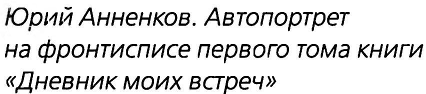
Inter-Language Literary Associates

Известный живописец, график и литератор Юрий Павлович Анненков (лит. псевд. Б. Темирязев) родился 11 июля 1889 года в Петропавловске-Камчатском, в семье ссыльного народовольца П.С. Анненкова. Его родословная восходит к декабристу И.А. Анненкову и издателю литературного наследия А.С. Пушкина — П.В. Анненкову.

В 1893 году семья вернулась в Петербург и вскоре поселилась в Куоккале, по соседству с дачей И.Е. Репина, что помогло раннему общению Анненкова с К.И. Чуковским, Н.Н. Евреиновым, М. Горьким и др. С 1908 года вместе с М. Шагалом Анненков занимался в студии С.М. Зейденберга. По совету профессора Академии художеств Я.Ф. Ционглинского в 1911 году Юрий уехал в Париж, где продолжил обучение в мастерских М. Дени и Ф. Валлотона. В 1913-м Анненков дебютировал на выставке Салона Независимых в Париже. Вернувшись в том же году в Россию, увлекся графикой и публиковал свои рисунки в журналах «Аргус», «Сатирикон», «Театр и искусство». Оформлял спектакли на сцене Театра В.Ф. Комиссаржевской и в театре Н.Н. Евреинова «Кривое зеркало». Выступая за






Юрий Анненков. Автопортрет на фронтисписе первого тома книги «Дневник моих встреч»

Авантитул первого тома с дарственной надписью автора

революцию в искусстве, Юрий Анненков критически отнесся к Октябрьскому перевороту, хотя по заказу нового правительства и выполнял в 1920 году оформительские работы для народных зрелищ: «Взятие Зимнего дворца» на Дворцовой площади и «Гимн освобожденному труду» (совместно с М. Добужинским) возле здания Биржи в Петрограде. В том же году Анненков был избран профессором Академии художеств, сотрудничал с издательствами «Всемирная литература», «Красная новь», иллюстрировал произведения Дж. Лондона, К. Чуковского, Н. Евреинова. В 1918 году создал иллюстрации к третьему изданию поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918). Сочетая приемы кубизма с академическим рисунком, Анненков создает галерею живописных и графических портретов деятелей русской культуры и политики 1910–1920-х годов: М. Горького, В. Ходасевича, В. Шкловского, А. Ахматовой, В. Хлебникова, В. Ленина, Л. Троцкого и др. В начале 1922 года Анненков входит в общество «Мир искусства» и представляет свои работы на Первой русской выставке в Берлине, в 1924 году принимает участие в Интернациональной художественной выставке в Венеции и остается за границей. Живет в Париже.

В эмиграции Анненков участвует в 74 выставках (8 персональных), оформляет свыше 60 спектаклей французских режиссеров и своих соотечественников («Ревизор» М. Чехова, балет «Пиковая дама» С. Лифаря и др.). Сам выступает как постановщик пьесы В. Набокова «Событие», а во время оккупации Парижа — русских опер «Евгений Оне-

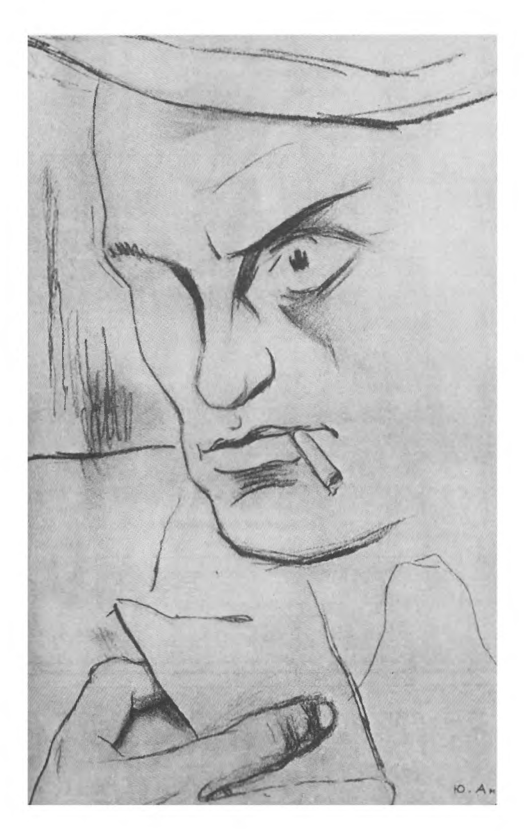
гин», «Пиковая дама», «Женитьба» (в зале Плейель). Премией «Оскар» увенчалась работа Анненкова над костюмами и декорациями более чем к 50 кинофильмам (о чем он написал книгу «Одевая звезд»).

В портретной галерее художника появляются новые персонажи: И. Эренбург, Ж. Кокто, М. Равель, О. Спесивцева и др. Под псевдонимом Б. Темирязев выходят литературные сочинения Анненкова: «Повесть о пустяках» (Берлин, 1934) и «Рваная эпопея» (Берлин, 1934).



Велимир Хлебников. Портрет работы Ю. Анненкова

Мемуарные очерки, объединенные в издании «Дневник моих встреч» (Нью-Йорк, 1966), публиковались Анненковым в эмигрантской, а также в европейской и американской периодике с начала 1950-х годов. Сокращение и редактирование текстов для двухтомника было сделано автором совместно с Б. Филипповым. Хотя некоторых неточностей в именах героев, в цитируемых стихах (особенно во втором томе) избежать не удалось, это не повлияло на высокую оценку книги современниками и критиками. Об отсутствии «мертвящей книжности», о сочетании «трагического с необыкновенной живостью изложения, а подчас и юмором» пишет Вяч. Завалишин в «Новом журнале»[2]. Многие исследователи определяют «Дневник...» не только как мемуаристику, но в значительной мере как эссеистику, так как автор, не сосредоточиваясь на хронологической последовательности эпизодов из собственной жизни и встреч с современниками, большее внимание уделяет раскрытию характеров героев в контексте исторических событий. Как отмечает Вяч. Завалишин, еще К. Малевич говорил об умении Анненкова «и в портретах, и в набросках передать не только внешнее сходство, но и дать острую, верную, а подчас и неожиданную характеристику “натуры”»[3]. Литературные зарисовки вместе с графическими портретами составляют в книге единое целое. Таковы словесно-изобразительные характеристики С. Есенина, Н. Гумилева, Г. Иванова, Вс. Мейерхольда и др. Есть и двойные портреты: М. Ларионов и Н. Гончарова, К. Малевич и В. Татлин и др. В очерки о главных героях вписаны и другие лица эпохи — В. Шкловский, Г. Уэллс, В. Фигнер... Примечательно определение Анненковым всего цикла как «трагедии». По сути, это многоликий портрет времени, в котором люди творческие утверждали гуманистические и эстетические идеалы наперекор античеловечной власти, часто ценой собственной жизни. На фоне этой связую-



Владимир Маяковский. Портрет работы Ю. Анненкова

щей темы ярко выписаны живые, самобытные, противоречивые характеры выдающихся писателей, художников, артистов, политических деятелей, с которыми Анненкову посчастливилось дружить или только общаться.

Рассказывая о встречах с А. Ахматовой в Париже в 1960-е годы, когда в сознании многих утвердился ее образ отрешенной от мира затворницы, Анненков в живописных подробностях передает их совместные воспоминания о ночных бдениях в петербургском кафе «Бродячая собака», рассказывает, как Анна Андреевна привезла в 1965 году в Оксфорд, где ей присуждалось звание доктора honoris causa, подарок Юрию Павловичу — дорогую ему фотографию 1914 года, на которой художник запечатлен в дни мобилизации на Невском проспекте вместе с К. Чуковским, О. Мандельштамом и Б. Лившицем.



Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков. Санкт-Петербург. Август 1914

Читатель получает возможность заглянуть и в творческую лабораторию, где вместе с Блоком Анненков разрабатывает изобразительный ряд поэмы «Двенадцать», а потом слышит горькое признание поэта: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда я записал у себя: “К сожалению, Христос”».



Максим Горький. Портрет работы Ю. Анненкова

Поражают и размышления самого Анненкова о судьбах деятелей культуры в переломную эпоху: «Если революция кончилась для многих из нас, когда ее эксцентричность и наше опасное хождение по проволоке над бездной сделались будничной ежедневностью, — для Блока революция умерла, когда ее стихийность, ее музыка стали уступать место “административным мероприятиям” власти… преображение мира стало превращаться в организованное и декретированное разрушение». Развитие этой главной темы — во всех очерках Анненкова. Вот фрагмент его разговора с Маяковским во время их последней встречи в Ницце в 1929 году:

«Маяковский между прочим спросил меня, когда же я, наконец, вернусь в Москву. Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом:

— А я — возвращаюсь… так как я уже перестал быть поэтом.

Затем произошла поистине драматическая сцена:

Маяковский разрыдался и прошептал едва слышно:

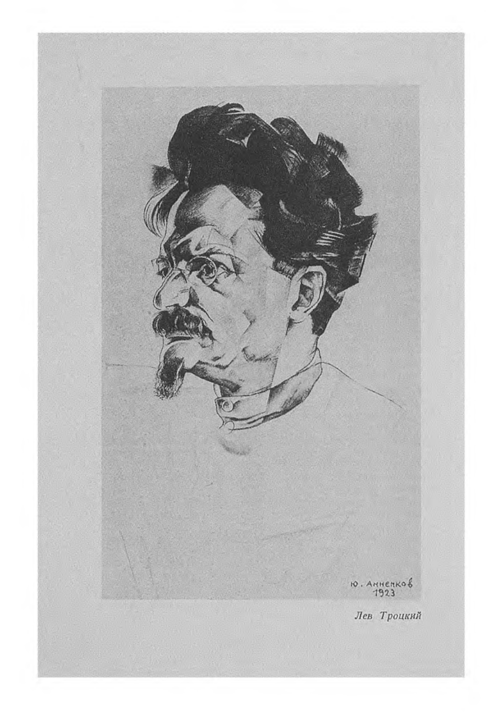
— Теперь я… чиновник…»

Хрестоматийные фигуры советской истории и литературы предстают в «Дневнике…» Анненкова в неожиданном ракурсе. «Джентльмен и обладатель больших духовных качеств, он в годы революции сумел подняться над классовыми предрассудками и спасти жизнь — а порой и достояние — многим представителям русской аристократии», — пишет Анненков о М. Горьком. Впервые он увидел Горького в Куоккале в 1900 году, общался с ним на протяжении многих лет и вполне доказательно опровергает расхожее мнение о приверженности пролетарского писателя социалистическому реализму: «Горький, просматривая имена художников, был категоричен:

— Лучше — самый отъявленный футуризм, чем коммерческий реализм, — заявил он».

«Дневник моих встреч» Анненкова — это и своего рода энциклопедический биографический словарь. Таков характер объемного очерка

о Е. Замятине, о котором до сих пор упоминают в основном как об авторе социальной антиутопии «Мы». Замятин, человек широчайшей культуры, энциклопедических знаний, сознательно оставался в тени, чтобы не «вляпаться во власть». А тем не менее, по свидетельству Анненкова, в первые годы советской власти под влиянием Замятина формировалось творчество таких писателей, как М. Слонимский, Вс. Иванов, М. Зощенко, Б. Пильняк, К. Федин, И. Бабель. Замятин превратил Дом искусств в Петербурге в своего рода литературную академию, разработал цикл никогда не публиковавшихся целиком лекций по технике художественной прозы, из которого Анненков приводит название нескольких уникальных разделов: «Инструментовка», «О ритме в прозе» и др. Анненков рассказывает и о влиянии Замятина на собственное творчество, о плодотворном общении с учителем, наставником и другом в эмиграции. Эту энциклопедическую составляющую «Дневника...» отметил литературовед и издатель Глеб Струве в письме к Анненкову в июле 1966 года: «...в этих лекциях я пользовался и Вашей книгой (...о Маяковском, о Пильняке, о Замятине), которую прочел с большим интересом и удовольствием»[4].



Лев Троцкий. Портрет работы Ю. Анненкова

И в очерках о политиках — Ленине и Троцком — Анненков верен своему методу: «С первой встречи Троцкий превращается для меня из “исторического персонажа” в живого человека и — еще скромнее — в “лично знакомого”». Лично знакомым был для Анненкова и Ленин, который знал отца художника и посещал дом Анненковых в Куоккале. «Бесцветное лицо с хитровато прищуренными глазами, — вспоминает Анненков. — Типичный облик мелкого мещанина». Анненков подчеркивает и прямолинейную настойчивость Ульянова, проявлявшуюся даже в бытовых мелочах. Ничего от облика величественного вождя не замечает художник и когда видит его в апреле 1917 года на броневике перед Финляндским вокзалом, и когда Ленин позирует ему в Смольном. Как и в других очерках, Анненков доказательно ссылается на документальные источники. Художник с иронией цитирует статью, в которой Ленин определяет революцию как искусство. А указание вождя создавать параллельно лояльным советским дипломатическим миссиям в зарубежных странах партийные организации с подрывной деятельностью вызывает у Анненкова протест и стремление обнародовать в западной прессе эти отрывки из блокнотов Ленина, которые ему удалось скопи-

ровать в 1924 году в Институте В.И. Ленина. Но предание их гласности оказалось возможным только в «Дневнике моих встреч».

Книга вышла из печати уже в конце «оттепели» и сразу же стала известна не только русскоязычным читателям-эмигрантам на Западе, но и в СССР, куда двухтомник передавался нелегально. Например, В. Бетаки в 1970-е годы переправлял «тамиздат» через моряков советских судов и по другим каналам[5]. Известный переводчик Е. Солонович, получив в 1967 году «Дневник моих встреч» Анненкова в одном из итальянских университетов, с риском для себя тайно привез книги в Москву. А далее «тамиздат» на советской почве с помощью печатной машинки превращался в самиздат. Так для поколения шестидесятников книга Анненкова «Дневник моих встреч» стала культовой, а в наше время продолжает вызывать интерес и активно переиздаваться.

Тамара Приходько

---

[1] Богословский Никита Владимирович (1913–2004) — советский и российский композитор, дирижер, пианист. Народный артист СССР.

[2] Завалишин Вяч. [Рец.:] Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том 1. Международное Литературное Содружество. Вашингтон, 1966 // Новый журнал (Нью-Йорк). 1966. № 84. С. 272.

[3] Там же.

[4] Мемуары в культуре русского зарубежья: сборник. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 153.

[5] См.: Бетаки В. Встреча с Анненковым в Париже в 1973 г. // Вопросы анненковедения. 2005. Июль. № 32. С. 1–4.

8

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО А.В.

Портрет тирана

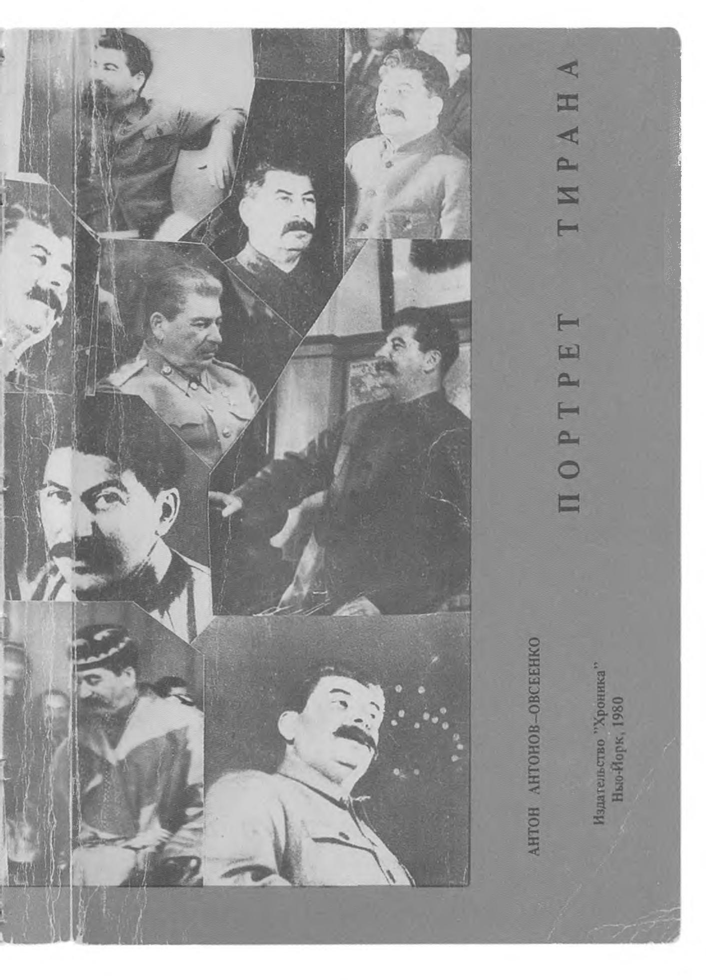
/ Антон Антонов-Овсеенко. — Нью-Йорк: Хроника, 1980. — 390, [6] с.: портр., 10 л. портр.; 22×14 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.

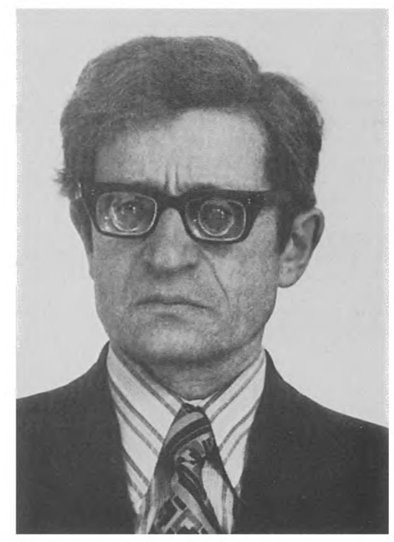


Издательство "ХРОНИКА"

Антон Владимирович Антонов-Овсеенко родился 23 февраля 1920 года в Москве в семье профессионального революционера и партийного деятеля Владимира Александровича Антонова-Овсеенко (1883–1938). В 1935–1939 годах учился на историческом факультете Московского государственного педагогического института. С конца 1937-го служил экскурсоводом в Музее изобразительных искусств (ныне — имени А.С. Пушкина), затем на Всесоюзной художественной выставке «Индустрия социализма».

В октябре 1937-го был арестован его отец — в ту пору нарком юстиции РСФСР; 8 февраля 1938 года В.А. Антонова-Овсеенко приговорили к десяти годам тюрьмы, а три дня спустя расстреляли — «за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации». Еще раньше, в 1929 году, арестовали мать Антона Владимировича, Розу Борисовну, которая в 1936 году в ханты-мансийской тюрьме покончила с собой.





Антон Антонов-Овсеенко. Москва. 1980-е годы

В 1940 году арестовали и самого А.В. Антонова-Овсеенко — как «сына врага народа», но вскоре, в связи с прекращением дела, освободили. В июне 1941-го, в самом начале войны, его арестовали повторно. После заключения в тюрьме г. Красноводска (соврем. Туркменбаши) юношу отправили в лагерь на станции Уфра, где он работал на рытье котлованов, пока не был переведен в лагерную культурно-воспитательную часть. Летом 1942-го он попал по этапу в исправительно-трудовой лагерь близ Саратова (г. Камышин) — на строительство железной дороги Саратов – Сталинград.

В январе 1943-го — по окончании срока заключения — Антонов-Овсеенко смог вернуться в Москву. Работал в столовой, в пекарне, но очень скоро, в августе 1943-го, был арестован в третий раз — по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» (ст. 58, п. 10) — и заключен в Лубянскую тюрьму. 2 февраля 1944 года Особое совещание при НКВД вынесло А.В. Антонову-Овсеенко приговор: восемь лет исправительно-трудовых лагерей.

В лагере под Голицыно (Московская область) работал на рытье котлованов, строительстве шоссе; в мае 1944-го был переведен в Северо-Печорский исправительно-трудовой лагерь, затем — в музыкально-драматический театр Воркутлага в Абези (Коми АССР), а из него — в Воркуту.

После освобождения из лагеря осенью 1953 года Антонов-Овсеенко работал инструктором по туризму и культурному обслуживанию в са-

наториях и домах отдыха на юге СССР: в Евпатории, Алупке, Гагре. В 1957 году он был полностью реабилитирован, а в 1960-м вернулся в Москву. Получал персональную пенсию как инвалид, член Общества слепых. Работал в архивах, собирал материалы к биографии отца. Спустя пять лет в «Политиздате» увидела свет его книга об отце «Именем революции», подписанная псевдонимом Антон Ракитин.

В 1967 году Антон Владимирович вместе с сорока тремя старыми большевиками, пережившими сталинские чистки, обратился к властям с протестом против попыток реабилитировать имя Сталина. В 1980-м американское издательство «Хроника» опубликовало его историческое исследование о Сталине «Портрет тирана». В предисловии к книге Антонов-Овсеенко писал: «Наш век знаменит грандиозными преступлениями. Но все они не идут ни в какое сравнение с преступлениями Сталина. Он сумел в короткий срок отобрать у крестьян землю, у рабочих — заводы. Он отнял у интеллигенции право на самостоятельное творчество, лишил народы всяких свобод, даже свободы передвижения. Это и есть ограбление века... Сам Сталин, его политический портрет — тема непреходящая. Ибо, не познав его, не познав сути сталинщины, трудно представить трагедию советского народа... Разоблачение Сталина — акт правосудия. И оно должно свершиться, прежде всего, в стране Сталина»[1]. Автор желал разоблачить не только самого Сталина, но и исполнителей его воли, «назвать имена палачей, доносчиков», а также сообщить неизвестные читателям факты. Он замечал, что «писать правду о Сталине — долг каждого честного человека, долг перед погибшими от его руки»[2].

Как вспоминал историк-архивист В.Т. Логинов, лично знакомый с Антоновым-Овсеенко, Антон Владимирович, готовя в 1960-е годы издание биографии отца, одновременно приступил к сбору материалов и для книги «Портрет тирана». Многие архивные документы, ныне введенные в оборот, были в те годы автору недоступны. Но каждая эпоха рождает свой специфический тип источников: помимо официальных документов, сообщений прессы и мемуаров, в книге использованы и устные рассказы оставшихся в живых старых большевиков. «Возможно, в те счастливые дни, когда из закрытых архивов будут извлечены все документы, многое из того, о чем поведали “старики”, будет уточнено или опровергнуто, — отмечает В.Т. Логинов. — Но и этот источник, использованный автором, будет представлять несомненную ценность, как отражение эпохи в сознании ее современников»[3].

Книга А.В. Антонова-Овсеенко — одна из первых, разоблачавших преступления Сталина, — выйдя вначале на русском, вскоре была переведена на английский, немецкий, испанский и сербохорватский языки. В ту пору ее опубликование было акцией самоубийственной: даже за хранение подобной литературы любознательных читателей бросали в тюрьму. В своем послании в ЦК КПСС глава КГБ Ю.В. Андропов обвинил автора «Портрета тирана» в нелегальной передаче за границу антисоветских материалов, а также в хранении изданных за рубежом клеветнических журналов и книг. В ноябре 1984 года Антонов-Овсеенко вновь был арестован, обвинен в антисоветской агитации и пропаганде

и выслан из Москвы. Возвратился он в Москву лишь с началом перестройки — в 1986 году.

На книгу «Портрет тирана» откликнулся статьей «Лубок вместо истории» М. Довнер[4]. Отмечая, что имя автора — сына крупного государственного и партийного деятеля, погибшего в годы «большой чистки», — позволяло надеяться на его особую информированность, рецензент не скрывает своего разочарования: в книге он не обнаружил ни новых документов, ни попыток анализа обширного материала. По оценке Довнера, психологический портрет Сталина, нарисованный Антоновым-Овсеенко, — слабая копия того оригинала, который создан совокупными усилиями многих писавших о нем. «Уголовник и хулиган» — вот слова, которые находит Антонов-Овсеенко для характеристики Сталина, недоумевает Довнер, но сказать только это — значит, ничего не сказать. По его мнению, в Иосифе Джугашвили, бесспорно, были заложены преступные задатки, но на путь революционной деятельности он вступил из идейных побуждений. Автор статьи считает упрощенной историческую концепцию Антонова-Овсеенко, отмахивающегося от вопросов о корнях большевизма и «сталинизма», а процесс завоевания Сталиным власти воспринимающего лишь как ряд уголовных махинаций, которым никто, кроме Ленина, противостоять не мог. Довнер упрекает автора в том, что тот закрывает глаза на очевидный, казалось бы, факт: «драка за кресло» была выражением глубоких политических разногласий, раздиравших руководство страны, потому-то внутрипартийную склоку Сталин легко мог использовать в своих интересах, так как среди враждующих сторон он один не имел собственной экономической и политической концепции. Рецензент обращает внимание на небрежное обращение Антонова-Овсеенко с фактами: в книге Сталин собственными руками душит Надежду Аллилуеву; меньшевики Ежов (С.О. Цедербаум) и Миров (В.К. Иков) названы большевиками, а глава кадетской партии П.Н. Милюков — министром царского правительства. Довнер признает, что в «Портрете тирана» содержится немало новых, подчас уникальных фактов, но тут же с сожалением и оговаривается: зная об ошибках, допускаемых автором в обращении с фактами общеизвестными, к приводимым им фактам относиться с доверием нельзя. Тем не менее, считает рецензент, книга Антонова-Овсеенко, ярко отражая фольклорные представления о Сталине, определенной ценностью обладает.

Особенно критически оценивает Довнер работу издателя: «Совершенно очевидно, что рукопись прибыла к нему невыверенной. Нет сомнения в том, что при всех отмеченных недостатках книги она сильно выиграла бы от квалифицированного редактирования. Однако этого тоже не произошло. Обилие библиографических справок, отсылающих читателя в "никуда", многочисленные ссылки на работы иностранных авторов, не содержащие ничего, кроме фамилии, небрежное цитирование вполне доступных источников и, наконец, фантастическое количество опечаток — все это лишь увеличивает и без того значительное число претензий к работе А.В. Антонова-Овсеенко»[5].

В 1990-е годы книга была не раз переиздана в России[6]. Хотя В.Т. Логинов справедливо отмечал, что, пережив гибель родителей, лично

пройдя через застенки сталинского ГУЛАГа, Антонов-Овсеенко создал не строгое историческое исследование, а памфлет — отсюда и резкость формулировок, и крайняя эмоциональность, и полемическая заостренность, и категоричность оценок[7], — большинство профессиональных историков и публицистов отзывались о «Портрете тирана» по-прежнему критично. Так, заглянув в издание 1994 года (когда уже не было препятствий для проверки фактов) и снова обнаружив немалое число фактических ляпсусов, Семен Чарный охарактеризовал книгу как «собрание анекдотов и легенд, ходивших в кругах старых большевиков»[8].

С 1995 года Антонов-Овсеенко руководил Союзом организаций жертв политических репрессий Московского региона. Он основатель Государственного музея истории ГУЛАГа, открытого в Москве в 2004 году, до февраля 2012 года был его директором. Автор книг «Театр Иосифа Сталина» (1989), «Сталин без маски» (1990), «Враги народа» (1996), «Берия» (1999), «Напрасный подвиг?» (2003) и др. Член исполнительного комитета Международной лиги защиты культуры. Скончался 9 июля 2013 года в Москве.

Михаил Горинов, мл.

---

[1] От автора // Антонов-Овсеенко А.В. Портрет тирана. Нью-Йорк: Хроника, 1980. С. 4–5.

[2] Там же. С. 5–6.

[3] Логинов В. Предисловие к переработанному изданию книги Антонова-Овсеенко «Портрет тирана» // Антонов-Овсеенко А.В. Портрет тирана. М.: Грэгори Пэйдж, 1994. С. 1.

[4] Довнер М. Лубок вместо истории // Память. Париж, 1981. Вып. 4. С. 442–455.

[5] Там же. С. 454–455.

[6] Антонов-Овсеенко А.В. Портрет тирана. М.: Московский рабочий, 1991; То же. М.: Грэгори Пэйдж, 1994. (2-е изд. — 1995).

[7] Логинов В. Предисловие к переработанному изданию… С. 1.

[8] Чарный С. К вопросу о крапленых картах // Лехаим. 2003. № 4. С. 55.



9

АХМАТОВА А.А.

Реквием

/ Анна Ахматова. — Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1963. — 23 с.: 1 л. фронт.: [портр. С.А. Сорина]; 19,5×15 см. — [500 экз.]
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Предки Анны Андреевны Ахматовой (урожд. Горенко; 1889–1966) восходили к татарскому хану Ахмату, от имени которого и произошел ее литературный псевдоним. «Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет… но уже раньше отец называл меня почему-то “декадентской поэтессой”...» — вспоминала она[1]. Начало творческого пути пришлось на кризис символизма. Ахматова стала акмеисткой. В 1910 году вышла замуж за Н.С. Гумилева, в 1912-м родился сын Лев. С середины 1930-х творческая манера Ахматовой меняется: «…жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного Коня…»[2]

Выбор родины, а не свободы в 1917-м стоил дорого. В 1921-м по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре расстрелян Гумилев. Бывшая жена «контрреволюционера» «взята на заметку» органами госбезопасности, хотя официально «Дело оперативной разработки» с формулировкой: «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения» было заведено на нее только в 1939-м. Материалы дела соста-


Анна Ахматова. Москва. 1946

вили три тома объемом около 900 страниц. Запрет печататься, нищета, травля, доносы, слежка, ежедневное ожидание ареста и обыска в течение десятилетий… Арест Ахматовой как «активного врага советской власти», выступающего со «стихами антисоветского характера», готовился, но не осуществился[3]. Ей выпала участь жены и матери «врагов народа». За расстрелом Гумилева последовали аресты и гибель в лагере другого спутника жизни — искусствоведа Н.Н. Пунина, аресты сына, проведшего в заключении более десяти лет…[4]

Отдельные стихотворения 1935–1940 годов сложились в поэтический цикл, позднее ставший поэмой «Requiem», восходящей названием к первой строке латинского текста католической заупокойной службы — «Requiem aeternam dona eis, Domine»[5] и перекликающейся с каноническим текстом мессы. В записных книжках Ахматова чаще называет поэму по-латыни, в основном одной буквой — «R»[6]. Указанные на титуле даты: 1935–1940 — относятся к созданию основного корпуса, в последующие годы вносились дополнения. Следы работы над поэмой, планы ее построения хранят рабочие тетради Ахматовой конца 1950-х – начала 1960-х — по-видимому, к этому времени текст выстроился окончательно.

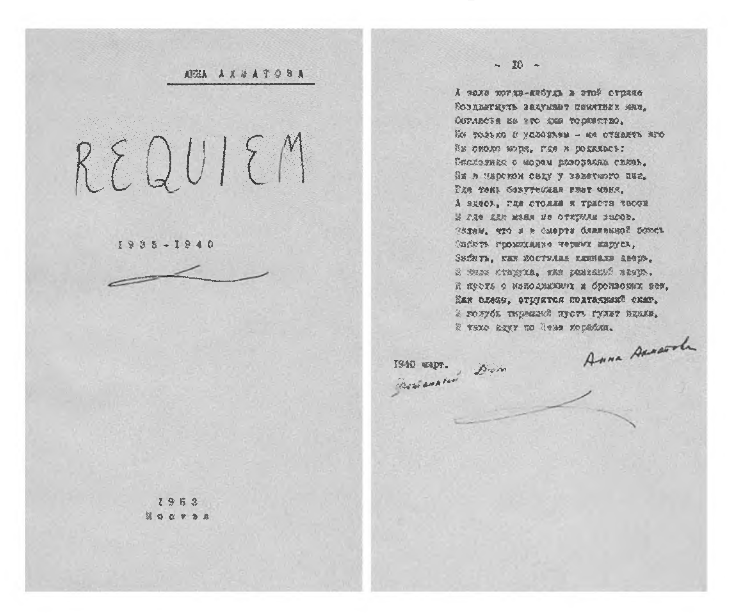
В течение более четверти века рукописного текста не существовало, стихи хранились в памяти автора и немногих верных людей. «Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из “Реквиема”… шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: “Хотите чаю?” или: “Вы очень загорели”, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. “Нынче такая ранняя осень”, — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей»[7]. Техника подслушивания была оборудована в квартире Ахматовой в 1945-м, тогда же для удобства слежки за ней и ее посетителями в Фонтанном Доме введена пропускная система, на ахматовском пропуске значилось: «жилец».

Первая машинописная версия «Реквиема» появилась только после публикации солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире»[8]. По свидетельствам современников, «второе рождение» поэмы произошло 8 декабря 1962 года в коммунальной квартире Н.Н. Глен, где остановилась приехавшая в Москву Ахматова. Глен, в те годы ее литературный секретарь, вспоминала: «…я, переписывая эти великие стихи на машинке, понимала значительность происходящего… Примерно в это же время у “Реквиема” появился эпиграф — “Нет, и не под чуждым не-

босводом…”. Эти ныне знаменитые четыре строки из тогда еще не опубликованного стихотворения Ахматовой предложил сделать эпиграфом к “Реквиему” пришедший к ней в гости Л.З. Копелев, которому она это стихотворение прочла, и Ахматова в ту же минуту согласилась»[9].

События тех дней зафиксированы в дневнике Ю.Г. Оксмана: «*9 декабря 1962 г.* …Самое странное — это желание А.А. напечатать “Реквием” полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А.А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны... Их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей»; «*19 января 1963 г.* …Несмотря на все мои уговоры, А.А. послала в “Новый мир” весь “Реквием”... Уверяет, что сделала это только потому, что “Реквием” пошел уже по рукам, может попасть за границу и т. п., а потому ей необходимо показать, что она не считает этот цикл нелегальным»[10]. «Новым миром» текст был отвергнут. До публикации на родине оставалась еще четверть века.

Однако отдельные стихотворения и строки из «Реквиема» просочились в подцензурную печать при жизни автора. Стихотворение «Приговор» («И упало каменное слово…») без названия и в отрыве от контекста, очевидно, было воспринято цензурой и многими даже не самыми неискушенными читателями как любовная лирика[11]. Стихотворение «Уже безумие крылом / Души накрыло половину…» напечатано под названием «Другу» без четвертой строфы[12]. Вторая часть «Распятия» появилась как отдельное стихотворение[13]. А.В. Белинков в знаменитой публикации в периферийном журнале «Байкал»[14] процитировал две из самых «крамольных» строк: «И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ…» Последовало увольнение редактора и изъятие номера из всех библиотек СССР (в экземпляре, хранящемся в московской Государственной публичной исторической библиотеке, страницы с этой публикацией вырезаны). По свидетельству Н.Е. Горбаневской, «уже в течение 1963 года самиздатский тираж “Реквиема” исчислялся тысячами…



АННА АХМАТОВА

REQUIEM

1935-1940

1963
Москва

\- 10 -

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыханье черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь,
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

1940 март.
Фонтанный Дом

Анна Ахматова

Титульный лист и последняя страница самиздатского экземпляра «Requiem» (Москва, 1963). Машинопись с автографом. Частное собрание (Москва)

О необычайной широте распространения “Реквиема” в самых разных кругах и в разных городах свидетельствует и ряд позднейших данных о конфискации его самиздатских экземпляров на обысках»[15].

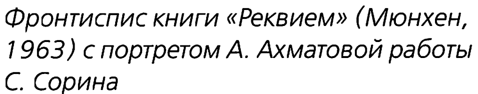
Машинописный текст передал за границу Ю.Г. Оксман через американскую славистку Кэтрин Беливо-Фойер, которая приехала в Москву с семьей для работы над докторской диссертацией о «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Из Советского Союза Кэтрин с дочерью уезжали поездом через Хельсинки 7 июня 1963 года. Незадолго до отъезда в гостинице из сумки Фойер исчезло ее незаконченное письмо к Г.П. Струве, где описывались встречи с Оксманом. Письмо ожидало славистку на советской границе — в качестве улики в обвинении в антисоветской деятельности, предъявленном снявшими ее с поезда оперативниками. Кэтрин «отвечала им, что с Оксманом они подолгу обсуждали литературные проблемы, в частности творчество таких классиков, как Толстой и Достоевский, а также современных поэтов и писателей, но никогда не касались ни политических событий, ни партийных программ… — вспоминал ее муж Льюис С. Фойер. — Она отказалась подписывать все документы, которые ей предлагали подписать… В конце концов сотрудники КГБ швырнули паспорт Кэтрин на землю и отпустили ее»[16]. В августе «органы», давно следившие за Оксманом, провели у него двухдневный обыск (изъяты дневники, часть переписки и самиздат). Следствие по делу длилось до конца года, за нехваткой поводов для новой посадки уже отсидевшего десять лет ученого кара ограничилась «мерами общественного воздействия» — исключением из Союза писателей и увольнением с работы. Имя и труды Ю.Г. Оксмана долгое время оставались под запретом и после его смерти.

А текст «Реквиема» пересек границу и в скором времени оказался у Струве. По воспоминаниям первого издателя, с публикацией он не спешил: «Я знал, что автор был против печатания этих стихов за границей, не хотел нарушать его воли, боялся ему повредить... Все лето 1963 года я продолжал “сидеть” на этом произведении, почти ни с кем не делясь не только им, но даже и сведениями о нем. Но я отдавал себе отчет в том, что, раз начав ходить по рукам, “Реквием” будет переписываться и может распространяться в неверных списках (так оно и случилось, как о том свидетельствует более поздняя публикация в “Гранях”[17] и полученный мною же в начале 1964 г. список). В сентябре 1963 года, будучи в Мюнхене, я затронул вопрос о публикации в разговоре с Г.А. Хомяковым, руководителем издательства “Т<оварищество> з<арубежных> п<исателей>”, но и ему я не сказал, о каком произведении идет речь. 21 октября 1963 года машинопись была получена Г.А. Хомяковым от меня, а 27 ноября “Реквием” был выпущен типографией»[18]. На обороте титульного листа сделана помета о том, что текст издается «без ведома и согласия автора».

Дневник Л.К. Чуковской воссоздает картину встречи выхода книги автором и современниками: «У меня похолодели руки, а сердце нырнуло куда-то в колени… Естественно было бы в такой день покупать шампанское, подносить автору цветы. Мы же способны только пугаться»[19].

На фронтисписе воспроизведен первый портрет молодой Ахматовой работы С.А. Сорина (Петроград, 1914)[20]. Ахматова не любила этот портрет





Фронтиспис книги «Реквием» (Мюнхен, 1963) с портретом А. Ахматовой работы С. Сорина



А.А. Ахматова. Ташкент. 1943. Рисунок А. Тышлера. Частное собрание (Санкт-Петербург)

и независимо от соотнесения его с текстом («прямо конфетная коробка»[21]). А.Я. Сергеев приводит ее комментарий: «Они издали “Реквием” — ну, как вам это понравится? — с портретом Сорина! К “Реквиему” можно только это. — Она достала заношенный пропуск в Фонтанный дом»[22].

В одной из записных книжек Ахматовой сохранился ее собственный план иллюстраций к поэме:

«R<equiem>

(Как я это вижу)

1. Фонт<анный> Дом (в конце).

2. Нева под снегом — черные фигуры к Крестам. Чайки.

2[23]. Прокурорская лестница (витая). На каждой ступеньке — женская фигура.

3. Там же: вдоль зеркала — чистые профили.

4. Виньетки — намордники на окнах»[24].

Эти строки дополняет запись в другой записной книжке: «...мимо длинного зеркала (на верхней площадке) шла очередь женщин. Я видела только чистые профили — ни одна из них не взглянула на себя в зеркало...»[25]

Следующее издание «Товарищества зарубежных писателей» было иллюстрировано рисунком А.Г. Тышлера (Ташкент, 1943).

В записных книжках Ахматовой зафиксированы доходившие до нее сведения о переводах поэмы на другие языки и иностранных изданиях.



Пропуск в Фонтанный Дом. Фотография с фронтисписа самиздатского экземпляра «Requiem». Частное собрание (Москва)

«В Нью-Йорке выходят фотоиздания R<equiem>. Думала ли я, когда стояла под Крестами… Да что там!» — записывает она в тетради[26]. Чуковская приводит отзыв об издании чешских эмигрантов: «На обложке сквозь большое, чуть зарешеченное окно виден цветущий сад. — Они думают, — пояснила она (Ахматова. — *О.В.*), — это окно тюрьмы, глядящее в парк. Всё вместе — лагерь»[27].

Репрессивных мер за публикацию не последовало, но страх не оставлял Ахматову до конца жизни. Н.Я. Мандельштам вспоминала: «В больнице, где она лежала перед смертью, она выслушивала новости о деле Синявского и Даниэля и боялась, что то же самое случится с ней за напечатанный за границей “Реквием”»[28].

Отзывы советских слушателей и читателей «Реквиема» в разные годы сохранили эпистолярные источники — дневниковые записи и воспоминания самой Ахматовой и ее близких. По свидетельству Чуковской, услышав «Реквием», Б.Л. Пастернак сказал: «Теперь и умереть не страшно»[29]. Ахматова записывает: «Давала читать R<equiem>. Реакция почти у всех одна и та же. Я таких слов о своих стихах никогда не слыхала (“Народные”). И говорят самые разные люди»[30]; «Все говорили о нем те же несколько очень прямых и сильных слов. Примерно каждый десятый — плакал»[31].

За границей на выход издания откликнулись бывшие соотечественники. «“Реквием” — книга, не располагающая к оценке формальной и к критическому разбору обычного склада, — писал Г.В. Адамович. — Есть в этой книге строчки, которых не мог бы написать в наши дни никто, кроме Ахматовой, — да, пожалуй, не только в наши дни, а со смерти Блока. Но, само собой, при первом чтении вклад в русскую историю заслоняет значение “Реквиема” для русской поэзии, и пройдет немало времени, прежде чем одно удастся отделить от другого»[32].

«Говорят, она не любила этот свой портрет, — вспоминал Б.К. Зайцев. — Ее дело. А мне нравится, и именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году… Да, пришлось этой изящной даме из “Бродячей собаки” испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти воистину “окаянные дни” (Бунин)… Я-то видел Ахматову “царскосельской веселой грешницей” и “насмешницей”, но Судьба поднесла ей оцет Распятия. Можно ль было предположить тогда, в этой “Бродячей собаке”, что хрупкая эта и тоненькая

женщина издаст такой вопль — женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих — женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?.. Опять и опять смотрю на полупрофиль соринской остроугольной дамы 1913 года. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов будто и обычных, без всякой ужимки, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое? Воистину "томов премногих тяжелей"»[33].

«По классичности музыки, по ее четкости, точности и блеску "Реквием" как раз образец этого перерождения былой музы Ахматовой, — отмечал Р.Б. Гуль. — От камерности — к всероссийскому голосу. К голосу — ясному, всеми слышимому и по-пушкински в своей высокой простоте незримо сложному, что дается только большим поэтам. В приложении к Анне Ахматовой эпитет большого русского поэта (и в наши дни единственного большого) совершенно естественен. Стихи "Реквиема" одно из подтверждений тому»[34].

9 мая 1965 года в Комарове Л.А. Шилов записал на магнитофон «Реквием» в авторском чтении, дав обещание не распространять запись, пока поэма не будет опубликована на родине. Вскоре после смерти Ахматовой в марте 1966-го в Москве вышло редчайшее издание «Реквиема» — на правах рукописи, тиражом 25 нумерованных экземпляров. На родине «Реквием» впервые опубликован спустя более двух десятилетий после смерти автора — почти одновременно в двух журналах[35]. Ныне поэма входит в «общеобязательную» школьную программу. «Реквием» положен на музыку В.С. Дашкевичем для симфонического оркестра, мужского хора и солистки; первое исполнение[36] состоялось в Москве в год столетия, объявленный ЮНЕСКО годом Ахматовой. Один из экземпляров первого мюнхенского издания с авторской правкой находится в петербургском Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Ольга Василевская

---

[1] Ахматова А.А. Автобиографическая проза: (Очерки, заметки, дневниковые записи) // Анна Ахматова: Проза поэта / [сост., авт. предисл. А.Г. Найман]. М.: Вагриус, 2000. С. 94.

[2] Там же. С. 123. (Запись от 15 марта 1953 г.)

[3] Калугин О. Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М.: Рудомино, 1994. С. 72–79 (цит. по: URL: http://www.akhmatova.org/articles/kalugin.htm). См. также: Шенталинский В.А. Антитеррористическая операция против Ахматовой // Новая газета. 2000. 20 марта. № 11.

[4] Реабилитированы «за отсутствием состава преступления»: Н.С. Гумилев — посмертно в 1992-м, Л.Н. Гумилев — по делу 1950 г. в 1956-м, по делу 1938 г. в 1975-м, Н.Н. Пунин — посмертно в 1957-м.

[5] «Вечный покой даруй им, Господи» (*лат.*).

[6] В отличие от первого мюнхенского издания, в позднейших, текстологически выверенных публикациях фигурирует латинское название.

[7] Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. 2-е изд., испр. и доп. P.: YMCA-Press, 1984. Т. 1. С. 11–12.

[8] Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962. № 11. С. 8–71.

[9] Глен Н.Н. Вокруг старых записей // Воспоминания об Анне Ахматовой: сборник / [сост. В.Я. Виленкин, В.А. Черных; коммент. А.В. Курт, К.М. Поливанова.] М.: Советский писатель, 1991. С. 638.

[10] Оксман Ю.Г. Из дневника, которого я не веду // Воспоминания об Анне Ахматовой: сборник. С. 643–644.

[11] Впервые: Звезда. 1940. № 3/4; затем в сб.: Ахматова А.А. Из шести книг: Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1940. (С ошибочной или, скорее, намеренно измененной датой: 1934. 26 июля 1939 г. решением Особого совещания при НКВД СССР Л.Н. Гумилев осужден на 5 лет ИТЛ. В окончательном тексте стихотворение датировано: «Лето 1939».) «Я очень удивился, прочитав в цикле политических стихов то, что считал прощанием с Н.Н. Пуниным, — "И упало каменное слово...", — писал в дневнике Ю.Г. Оксман 9 декабря 1962 г. — А.А. рассмеялась, сказав, что она обманула решительно всех своих друзей. Никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда» (Оксман Ю.Г. Из дневника, которого я не веду. С. 643).

[12] Ахматова А.А. Избранное: Стихи. [Ташкент]: Советский писатель, 1943. Первое четверостишие процитировано в статье критика И.В. Сергиевского с комментарием: «Каким чудовищным анахронизмом звучат в наши дни такие стихи!» (Сергиевский И.В. Безыдейная поэзия Ахматовой // Культура и жизнь. 1946. 30 августа).

[13] Ахматова А.А. Бег времени. М.; Л.: Советский писатель, 1965. (С другой датой: 1939.)

[14] Глава «Поэт и толстяк» из книги о Юрии Олеше: Байкал (Улан-Удэ). 1968. № 1. Позднее опубл.: Белинков А.В. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М.: РИК «Культура», 1997.

[15] Горбаневская Н.Е. Ее голос // Ахматовский сборник. [Вып.] 1 / сост. С. Дедюлин, Г. Суперфин. Париж: Институт славяноведения, 1989. Русская библиотека Института славяноведения. Т. LXXXV. С. 241.

[16] См. публикацию: Еще раз о «деле» Оксмана: (Фойер Л. О научно-культурном обмене в Советском Союзе в 1963 году и о том, как КГБ пытался терроризировать американских ученых. С. 347–357; Фойер-Миллер Р. Вместо некролога Кэтрин Фойер. С. 357–366; Чудакова М.О. По поводу воспоминаний Л. Фойера и Р. Фойер-Миллер. С. 366–374) // Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 347–374. Цит. по: Л.К. Чуковская, Ю.Г. Оксман: «Так как вольность от нас не зависит, то остается покой...»: Из переписки (1948–1970) / предисл. и коммент. М.А. Фролова; подгот. текста М.А. Фролова и Ж.О. Хавкиной // URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2009/6/ch12-pr.html. То же: Знамя. 2009. № 6.

[17] Ахматова А.А. Реквием // Грани. Frankfurt: Посев, 1964. № 56. Октябрь. С. 11–19.

[18] Струве Г.П. Как был впервые издан «Реквием» // Ахматова А. Реквием. 2-е изд., испр. автором / [послесл. Г.П. Струве]. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1969. С. 22–23.

[19] Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. М.: Время, 2007. Т. 3. С. 69–70. (Запись от 28 декабря 1963 г.)

[20] По др. сведениям, 1913. Сейчас местонахождение работы неизвестно.

[21] Струве Н.А. Восемь часов с Анной Ахматовой // Струве Н.А. Православие и культура. М.: Русский путь, 2000. С. 385.

[22] Сергеев А.Я. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказики. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 377.

[23] Авторская ошибка в нумерации.

[24] Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / РГАЛИ; [сост. и подгот. текста К.Н. Суворовой; вступ. ст. Э.Г. Герштейн; науч. конс., ввод. заметки, указ. В.А. Черных]. М.; Torino: Giulio Einaudi ed., 1996. С. 544. (Запись не датирована. Блокнот заполнялся с июля 1964 по январь 1965 г.)

[25] Там же. С. 509. (Запись не датирована. Записная книжка заполнялась с апреля 1963 по февраль 1965 г.)

[26] Там же. С. 492. (Запись от 12 октября 1964 г.)

[27] Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. С. 140–141. (Запись от 28 февраля 1965 г.) Речь идет об издании: Achmatová A. Requiem / přel. R.Vlach. Řím: Křest'anská akademie v Římě, 1964.

[28] Мандельштам Н.Я. Вторая книга: Воспоминания / подгот. текста, предисл. и примеч. М.К. Поливанова. М.: Московский рабочий, 1990. С. 468.

[29] Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. 2-е изд., испр. и доп. Р.: YMCA-Press, 1984. Т. 1. С. 54. (Запись от 4 декабря 1939 г.)

[30] Запись от 13 декабря 1962 г. (РНБ. Ф. 1073. № 71). Цит. по: Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой, 1889–1966 // URL: http://www.akhmatova.org/bio/letopis.php?year=1962.

[31] Записные книжки Анны Ахматовой… С. 452. (Запись от 30 марта 1964 г.)

[32] Адамович Г.В. На полях «Реквиема» Анны Ахматовой // Мосты. Мюнхен, 1965. № 11. Цит. по: URL: http://www.akhmatova.org/articles/adamovich02.htm.

[33] Зайцев Б. [Без названия] // Русская мысль. 1964. 7 января. № 2096. С. 3. Цит. по: Зайцев Б.К. Дни. М.; Париж: YMCA-Press; Русский путь, 1995. С. 350–352. (Цитата из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева», 1885.)

[34] Гуль Р. «Реквием» Анны Ахматовой // Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 267–268.

[35] Октябрь. 1987. № 3 (публ. З.Б. Томашевской); Нева. 1987. № 6 (публ. Л.К. Чуковской). Затем поэма перепечатывалась в разных изданиях по авторизованным спискам. Вопрос о каноническом тексте остается дискуссионным, что обусловлено историей его создания и издания. Наиболее полное комментированное издание, представляющее собой сборник документов, воспоминаний и сопутствующих «Реквиему» текстов: Анна Ахматова: Requiem / [предисл. Р.Д. Тименчика; сост. и примеч. Р.Д. Тименчика при участии К.М. Поливанова]. М.: МПИ, 1989. — 320 с.

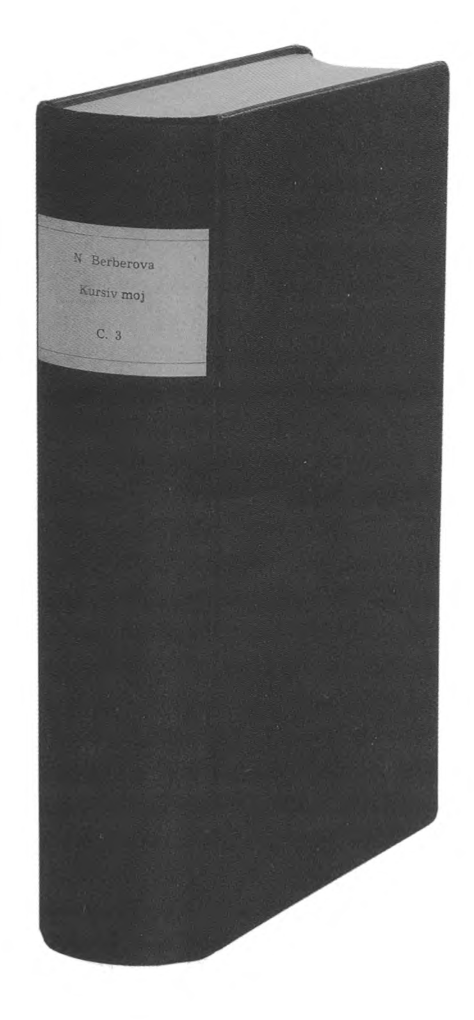
[36] Солистка Е.А. Камбурова; Хор Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России, при участии Государственного симфонического оркестра кинематографии.

10

БЕРБЕРОВА Н.Н.

Курсив мой:
Автобиография

/ Нина Берберова. — München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. — 710 с.; 23,5×16 см.
В синем цельнотканевом (коленкор) переплете.



Нина Николаевна Берберова (1901–1993) родилась в Санкт-Петербурге, в семье служащего Министерства финансов. Получила хорошее домашнее образование, училась в гимназии, в 1921 году как поэтесса вошла в литературные круги Петрограда. В июне 1922-го вместе с В.Ф. Ходасевичем, уже известным поэтом, Берберова уехала из России. Несколько лет (с июня 1922 по апрель 1925-го) они проводят с М. Горьким в Саарове под Берлином, в Мариенбаде и Сорренто. С 1923 года Берберова начинает публиковаться в знаменитых «Современных записках», самом престижном «толстом» журнале русской эмиграции. В 1925 году Ходасевич и Берберова переезжают Париж. Вскоре в газете «Последние новости» и в «Современных записках» начинает публиковаться цикл ее рассказов «Биянкурские праздники» (1928–1940), принесший молодой писательнице первый успех. Параллельно выходят в свет три ее романа: «Последние и первые» (Париж: Я. Поволоцкий, 1931), «Повелительница» (Берлин: Парабола, 1932), «Без заката» (Париж: Дом книги, 1938).

В эмигрантской прессе прозу Берберовой высоко оценивают В. Вейдле, Г. Адамович, В. Ходасевич, Г. Струве. Отзываясь на роман «Последние и первые», В. Набоков пишет: «...это литература высокого качества, произведение подлинного писателя»[1]. В 1939 году на русской сцене в Париже была поставлена пьеса Берберовой «Мадам», переведенная на чешский, немецкий и английский языки.



Нина Берберова. Париж. 1927

В годы Второй мировой войны Берберова жила в оккупированной Франции. В 1950-м переехала в США, где с 1958 года преподавала в Йельском, а затем в Принстонском университетах и продолжала печататься в различных периодических изданиях: «Новый журнал», «Опыты», «Мосты» (в 1958–1968 годах она входила в редакцию этого мюнхенского альманаха). В 1983-м Берберова становится почетным доктором Миддлбери-колледжа, в 1992-м — Йельского университета, в 1991-м — кавалером ордена Почетного легиона. В 1989 году, незадолго до смерти, писательница приехала в Россию, посетила Москву и Ленинград, и ее приезд вызвал настоящий фурор.

Скончалась Н.Н. Берберова 26 сентября 1993 года в Филадельфии.

Как писатель она пробовала себя в разных жанрах, однако наибольшую популярность, особенно в наши дни, получила ее документальная проза. Во второй половине 1930-х годов из-под ее пера появляются две художественные биографии — «Чайковский: история одинокой жизни» (Берлин: Петрополис, 1936) и «Бородин» (Берлин: Петрополис, 1938). В рецензии на книгу «Чайковский» М. Цетлин писал: «На основании труда Модеста Чайковского и многочисленных других материалов... она дала живой образ его, и книга ее, не будучи вымыслом, читается с увлечением, как роман»[2]. После войны Берберова издает на французском языке еще одну биографическую книгу — «А. Блок и его время» («A. Block et son temps». P., 1947). В 1980-е годы на русском языке выходят ее «Железная женщина» (N. Y.: Russica publishers, Inc., 1981) — книга о легендарной авантюристке, двойном агенте ОГПУ и английской разведки М.И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, и «Люди и ложи: Русские масоны XX столетия» (N. Y.: Russica publishers, Inc., 1986).

Но самая известная книга Берберовой, главный труд ее жизни — автобиография «Курсив мой». В 1969 году она появляется сначала в английском переводе[3], а позже — двумя изданиями на русском языке (München: Wilhelm Fink Verlag, 1972; 2-е, испр.: N. Y.: Russica publishers, Inc., 1983). В России «Курсив мой» печатался сразу в двух журналах (Вопросы литературы. 1988. № 9–11; Октябрь. 1988. № 10–12), а в 1996-м вышел в свет отдельным изданием[4].

Книга, где представлена целая галерея имен — В. Ходасевич, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Горький, А. Белый, А. Ремизов, Г. Иванов, Б. Пастернак, М. Цветаева, Б. Зайцев, Р. Якобсон, В. Шкловский, П. Муратов, А. Керенский, И. Фондаминский и др., — сразу вызвала массу нареканий — и прежде всего, в невольной (или умышленной?) неточности повествования. О многих Берберова пишет жестко и нелицеприятно, с остроумной и не всегда доброжелательной наблюдательностью. Однозначно она пощадила, пожалуй, только В. Набокова — восторженные строки о нем со временем вошли в анналы набоковедения. Сегодня «Курсив мой» может быть воспринят как бесценный памятник эпохе. Но очевидцев событий многое в книге и покоробило, и уязвило. Р.Б. Гуль, прочитав ее еще в английском издании, разразился пространной и разгромной рецензией: «Зарубежная писательница Н. Берберова к своему 70-летию выпустила мемуары — “Курсив мой”. Вышли они по-английски, но успеха не имели и после двух-трех отрицательных рецензий утонули в бездне неудачных книг. У издателей в Америке жестокий обычай: не принятую читателем книгу тут же пускают в макулатуру. То, что эта книга не имела успеха у американцев, — естественно, ибо этот очень неорганизованный, многословный, тяжеловесный и (надо отдать справедливость) скучнейший опус обращен совсем не к иностранцам. Он обращен больше всего к эмигрантскому обывателю. Поэтому на страницах русского журнала стоит все-таки разобрать эти весьма странные мемуары»[5]. И далее Гуль разбирает книгу по пунктам, уличая Берберову в невежестве в таких вопросах, как «аграрный вопрос, революция, война, русская интеллигенция, Европа, Америка, христианство, масонство и пр.»[6], в извращении исторических фактов и даже в плагиате (с точки зрения Гуля, название книги позаимствовано у Ильфа и Перова). Обвинил рецензент Берберову и в намерении «свести счеты» со своими собратьями по перу, указав на целый ряд грубых ошибок в созданных ею портретах М. Цветаевой, Е. Замятина, И. Бунина, Г. Адамовича и др. При этом рецензент замечает: «Говоря об известных писателях и политиках — о Горьком, Белом, Керенском, Бунине, Гумилеве, — у Б-вой всегда выходит: *Она* и Горький, *Она* и Бунин, *Она* и Белый. Для читателей “Курсива” эта беспардонность юмористична»[7]. Критика Гуля беспощадна, но, называя жесткую, остроумную и блестящую по стилю прозу Берберовой «скучнейшей», он сам, безусловно, «сводит счеты», хотя в его суждениях заключена немалая доля правды.

На ошибки в книге указывали многие современники писательницы. «О том, как опасно авторам мемуаров полагаться на свою память, не подкрепленную какой-то документацией, свидетельствует дважды повторяемое Н.Н. Берберовой показание о том, что в последний раз она видела Марину Цветаеву на похоронах В.Ф. Ходасевича… Похороны Ходасевича имели место 16-го июня, через 4 дня после того как Цветаева уехала из Парижа в Гавр… немало и других ошибок», — замечал Г.П. Струве[8]. На проблему достоверности «Курсива…» продолжают указывать и современные исследователи русской эмиграции. Но мемуары — жанр субъективный, претендовать на точность в полной мере не может ни одна книга воспоминаний. Есть, однако, нюанс, который частично освобождает автора «Курсива…» от ответственности перед взыскательным

историком: Берберова писала не столько мемуары (как определяли книгу рецензенты), сколько автобиографию — не случайно она вывела этот жанр в подзаголовок русской версии издания. «Эта книга — не воспоминания. Эта книга — история моей жизни, попытка рассказать эту жизнь в хронологическом порядке и раскрыть ее смысл, — уточняла автор “Курсива...” — Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других, вместе взятых: почти все здесь будет обо мне самой, о моем детстве, молодости, о зрелых годах, о *моих* отношениях с другими людьми — таков замысел этой книги». Подобный подчеркнуто субъективный фокус, выбранный Берберовой для описания истории и окружавших ее людей, многое объясняет, — автор и не стремилась быть бесстрастным летописцем: «Автобиография в отличие от мемуаров откровенно эгоцентрична». Именно на эту специфику книги Берберовой указывал со временем известный славист Ж. Нива: «Существеннейшая проблема книги “Курсив мой” — сама Нина Берберова. Вообще-то говоря, она все выделяет курсивом: все исправлено и дополнено ее сильной и гибкой личностью. Чертовски женственная, отчаянная, привлекательная и в то же время жесткая, сухая, ведущая себя по-мужски — такова она в глазах многих, особенно тех, кого безжалостно бросала... Нина Берберова несколько раз переделывала свою жизнь с восхитительным упорством и энергией, но ее автобиография не вполне объясняет, чем она при этом руководствовалась. Не то чтобы ей мешала застенчивость, но она, как театральная актриса, лепит свой образ, строит себя как героиню собственной прозы. Она помещает себя в центре галереи, по которой проходит вся эмиграция»[9].

Есть у этой книги и еще ряд отличительных черт. Главное усилие автора — сопротивление времени и прошлому, освобождение от условностей, которыми, как правило, обрастает церемония воспоминания. Задание для мемуариста парадоксальное. Но Берберова целенаправленно снимает с портретов «галереи русской эмиграции» налет благостной патины. Природу своей иронии, субъективности она честно объяснила сама:

«Я не умею любить прошлое ради его “погибшей прелести” — всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения: а что если погибшая она во сто раз лучше, чем была непогибшая? Мертвое никогда не может быть лучше живого. Если для живого человека мертвец лучше живого, то, значит, в человеке самом есть что-то омертвелое, всякая минута живого есть лучше вечности мертвого. Кому нужны мертвецы? Только мертвецам...»

Здесь мы снова находим объяснение выбранному Берберовой «эгоцентричному» жанру. Автобиография — прежде всего книга о себе (и значит — о времени настоящем), а не о тех, кто прошел мимо (и значит, стал историей, прошлым). И вот еще одно объяснение: «Я смотрю из настоящего в прошлое и вижу, что я всю жизнь *была одна*... Так что я никому ничего не должна и ни пред кем не виновата». Курсив автором поставлен не случайно. В попытке идти в ногу со временем, меняться вместе с ним, не стать прошлым, сбросить с себя все, что в это прошлое тянет (быть *одной*, независимой, «здесь и теперь»), Берберова то и дело испытывает своей иронией «ушедшую тяжесть» прошедшего времени, как электрическими разрядами оживляет его, нарочито редуцирует слезливую элегическую ноту. В итоге образы, созданные ею, как правило, не точны,

но определенно живы. Возможно, в этом и кроются причины того, что «Курсив...», будучи не самой достоверной книгой о русской эмиграции, продолжает вызывать у читателя неизменный интерес.

Мария Васильева

---

[1] Руль. 1931. 23 июля.

[2] Современные записки (Париж). 1936. № 61. С. 469.

[3] Berberova N. The italics are mine: Memoirs of the Russian literary emigration / transl. by Ph. Radley. L.: Longmans, 1969. Eadem. The italics are mine / transl. by Ph. Radley. N. Y.: Harcourt: Brace & World, Inc, 1969.

[4] Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография / вступ. ст. Е.В. Витковского; коммент. В.П. Кочетова, Г.И. Мосешвили. М.: Согласие, 1996.

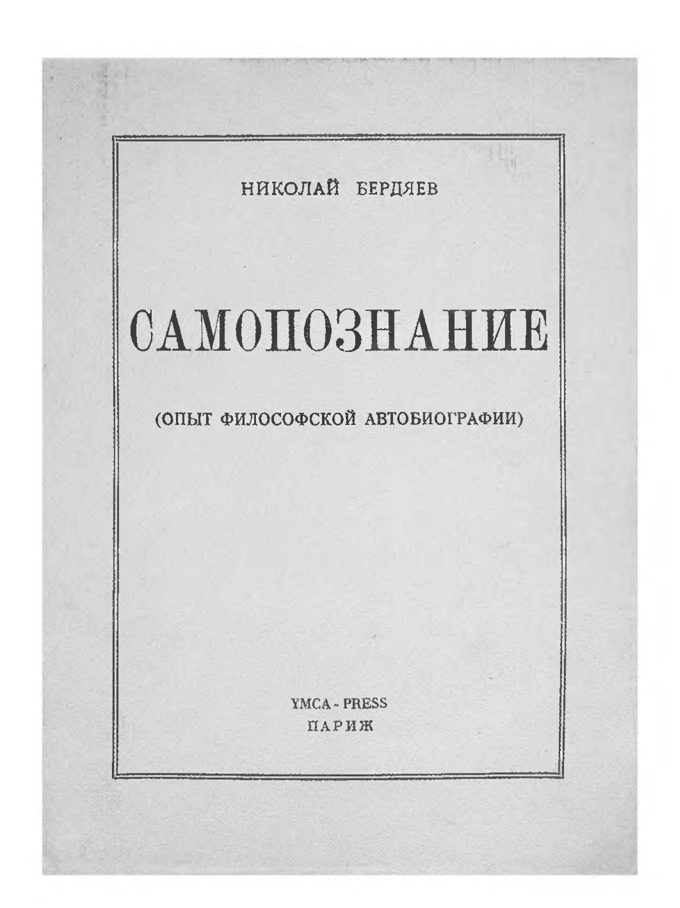
[5] Гуль Р. [Рец.:] Berberova N. The italics are mine. N. Y., 1969 // Новый журнал (Нью-Йорк). 1970. № 99. С. 283–284.

[6] Там же. С. 284.

[7] Там же. С. 289–290.

[8] Русская мысль (Париж). 1969. 6 ноября.

[9] Нива Ж. Бесстрашная Берберова // Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе / пер. с фр. Е.Э. Ляминой. М.: Высшая школа, 1999.



11

БЕРДЯЕВ Н.А.

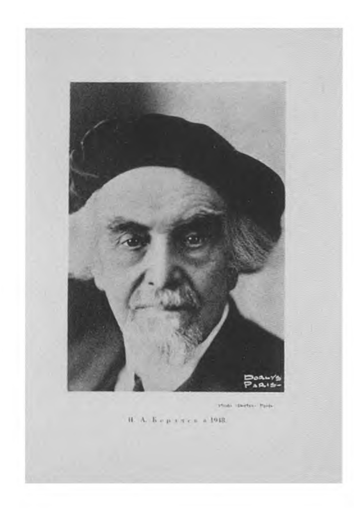
Самопознание: (Опыт философской автобиографии)

/ Николай Бердяев. — Париж: YMCA-Press, 1949. — 377 с., 3 л. портр.; 22,5×16 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

YMCA - PRESS

Русский философ, публицист, общественный деятель Николай Александрович Бердяев (1874–1948) родился в Киеве. Учился в Киевском кадетском корпусе, потом в Киевском университете (не окончил, исключен за участие в социал-демократическом движении). В 1901–1903 годах он отбывал ссылку в Вологде; с 1904 года жил в Петербурге, с 1908-го — в Москве. Прославился участием в сборниках «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909), выступлениями в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева, сотрудничеством с книгоиздательством «Путь», организацией Вольной академии духовной культуры (1919). В 1922 году Бердяев был выслан из России на «философском пароходе». Прожив больше года в Германии, обосновался во Франции, где с 1925 по 1940 год редактировал журнал «Путь». В 1947 году Бердяев получил степень доктора теологии в Кембриджском университете. Большинство его книг переведено на иностранные языки и приобрело известность на Западе.

Книга «Самопознание» занимает особое место в творческом наследии Бердяева. Работать над нею философ начал за девять лет до смерти. Черновик, первоначально имевший название «Философская автобиография», был написан в 1939–1940 годах, но в дальнейшем автор вносил в рукопись допол-



Николай Бердяев. Париж. 1948. Фото Dorlys в книге «Самопознание»

нения, продолжая работу над книгой до последних дней своей жизни: завершается она главами «Тяжелые годы (Добавления 1940–46 годов)» и «Добавление 47-го года». Книга была опубликована в парижском издательстве «YMCA-Press» в 1949 году, уже после смерти Бердяева.

В первом издании «Самопознания» (частично по указаниям самого философа, содержащимся на полях рукописи, частично по усмотрению редактора, его свояченицы Е.Ю. Рапп) из книги были изъяты довольно значительные фрагменты, что неизбежно привело и к перестановкам внутри текста, необходимым для сохранения связности изложения. Кроме того, редактором была проведена не всегда удачная стилистическая правка рукописи, порой добавлены предложения и абзацы, почерпнутые из других сочинений Бердяева или из личных бесед с ним. Наконец, в книгу вкрались отдельные погрешности, связанные с неверным прочтением в рукописи некоторых слов, с опечатками и случайными пропусками предложений. Во втором, исправленном издании[1] изъятые отрывки были напечатаны в виде приложения к книге.

Рукопись «Самопознания» хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства, в фонде Н.А. Бердяева[2]. Первое полное издание авторского текста, с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации, осуществлено в России в 1990 году[3].

Жанр своего последнего сочинения философ объясняет в предисловии: «Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания». С одной стороны, Бердяев занимается самопознанием, т. е. стремится к пониманию своей личности и жизни, а с другой — излагает в книге квинтэссенцию собственной философии.

Исторический контекст этих своеобразных мемуаров очень широк: хронологически Бердяев начинает повествование со своего детства, а заканчивает событиями осени 1947 года (за полгода до смерти). Но автора, как уже сказано, интересуют не быт и не жизненные подробности, а личное духовное развитие, становление характера, самоопределение в окружающем мире, порой отталкивание от него. В результате воспоминания о жизненном пути то и дело сменяются пространным самоанализом, характеристикой разных сторон и особенностей собственной личности. Исключением является только шестая глава — «Русский культурный ренессанс начала XX века. Встречи с людьми», где приводится развернутая картина русской религиозно-философской и литературной жизни начала XX века, описываются встречи с В.В. Розановым, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковским, В.И. Ивановым, С.Н. Булгаковым и др. В некоторых

главах автор стремится дать и философское обобщение тому или иному историческому периоду — например, в девятой главе «Русская революция и мир коммунистический». Значительное место в воспоминаниях занимает рассказ Бердяева о его книгах и философских идеях, о которых он увлекательно повествует как о важной части личного духовного опыта.

Вскоре после первого русского издания «Самопознание» вышло в переводах на все основные европейские языки: на английском (1950), голландском (1952), немецком и итальянском (1953), испанском (1957), французском (1958). Не удивительно, что большинство рецензий на книгу было написано иностранными авторами и появилось в различных европейских и американских периодических изданиях. На воспоминания Бердяева с интересом откликнулись журналы «Spectator» (Лондон), «Church quarterly review» (Лондон), «Christianisme social» (Париж), «Orientalia christiana periodica» (Рим), «Archivio de filosofia» (Рим), «Christian century» (Чикаго), «New scholasticism» (Вашингтон), «Journal of philosophy» (Ланкастер, США) и др. (всего около 30 рецензий). Даже известный русский философ и историк Г.П. Федотов опубликовал свою краткую рецензию на английском языке — на страницах «Theology today» (Принстон, США).

Хотя книги Бердяева в СССР не издавались, они были хорошо известны среди советской интеллигенции. Сохранилось, к примеру, свидетельство поэта Иосифа Бродского, который вспоминал о том, что читал Бердяева в 1960-е годы[4]. Большим почитателем философа в Советском Союзе был протоиерей Александр Мень, написавший о нем статью для своего «Библиологического словаря» и, в частности, отмечавший, что в «Самопознании» «личность, образ, трагичность этого одинокого, прекрасного, борющегося и такого обаятельного человека даны во весь рост»[5].

Вообще, «Самопознание» — одна из самых цитируемых книг в научной литературе о Бердяеве, а литература эта поистине огромна. Никто из авторов, писавших о замечательном русском философе, не обошел это произведение своим вниманием, потому что, как никакое другое, оно помогает «составить представление об основных датах и особенностях его жизненного пути»[6].

Олег Ермишин

---

[1] Бердяев Н.А. Собр. соч. Париж: YMCA-Press, 1983. Т. 1: Самопознание.

[2] РГАЛИ. Ф. 1496. Оп. 1. Ед. хр. 35, 36.

[3] Бердяев Н.А. Самопознание. М.: ДЭМ, 1990.

[4] См.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Изд-во «Независимая газета», 1998. С. 191.

[5] Мень А., прот. Русская религиозная философия: Лекции. М.: Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2003. С. 174.

[6] Дитрих В. «Духа не угашайте!» — свободная христианская философия Николая Бердяева // Вестник РХГА. 2006. Т. 7, вып. 2. С. 26.

12

БРОДСКИЙ И.А.

Конец прекрасной эпохи: Стихотворения 1964–1971

/ Иосиф Бродский. — Анн Арбор: Ардис, 1977. — 114, [1] с.; 21,5×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

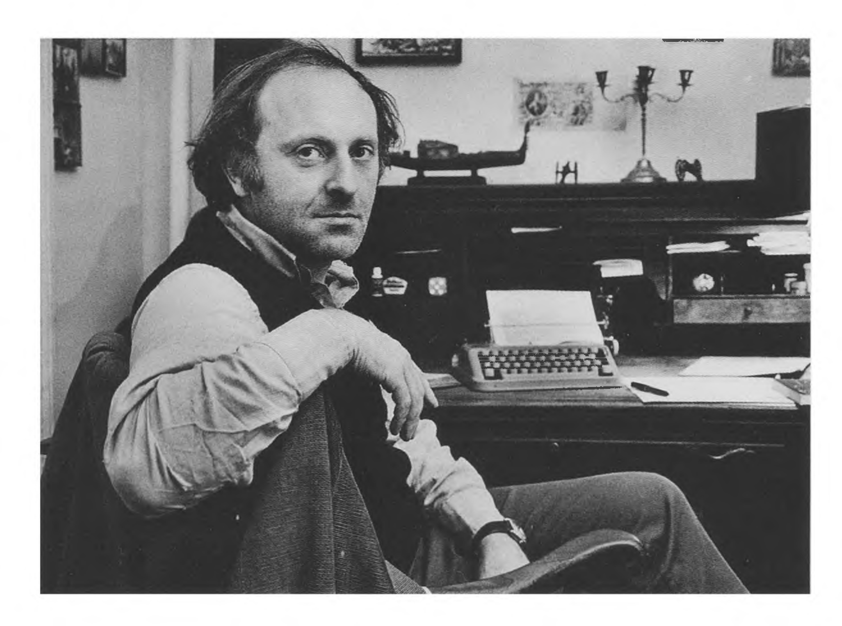




ардис

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Стихи начал писать в конце 1950-х под впечатлением поэзии Б.А. Слуцкого. Первое стихотворение опубликовал в 1957-м. На рубеже 1950–1960-х годов посещал лекции на филологическом факультете ЛГУ, занимался историей литературы. Знакомство с поэзией Е.А. Боратынского окончательно укрепило его в желании стать поэтом. С начала 1960-х годов Бродский стал работать как переводчик, и здесь особое место заняла английская поэзия, в особенности творчество Джона Донна, поэта-мистика XVI–XVII веков.

В эти годы поэзия Бродского начала приобретать все большую известность. Поэт, воспринявший наследие не только XIX века (Боратынский, Батюшков, Вяземский), но и более далекого века XVIII (Ломоносов, Державин, Дмитриев), открывал новые возможности русского стиха: сочетая классическую традицию и стилистический эксперимент, он выстраивал свою «теологию языка». Сдержанная интеллектуальность его лирики



Иосиф Бродский. Ленинград. 1970-е годы. Фото Марианны Волковой

граничит с холодностью и рациональностью, однако в стихах своих поэт добивается особой, напряженной доверительной интонации и драматизма; медитативность, грозящая обернуться монотонностью, рождает оригинальный метр и ритм («Рождественский романс», 1961; «От окраин к центру», 1962; «Холмы», 1962; и др.). В начале 1960-х годов Бродский сходится с молодыми поэтами, в ту пору еще студентами Е.Б. Рейном, А.Г. Найманом, Д.В. Бобышевым, А.С. Кушнером и др. Благодаря Рейну знакомится с А.А. Ахматовой, высоко оценившей его творчество. Известна дарственная надпись Ахматовой на одном из ее поэтических сборников: «Иосифу Бродскому, чьи стихи мне кажутся волшебными»[1].

Поэт становится заметной фигурой в литературной жизни Ленинграда. Однако его стихи в официальной советской печати практически не появляются (исключение — четыре стихотворения, вышедшие в журнале «Костер») и большей частью расходятся в самиздате. В конце 1959 года Бродский передал ряд своих произведений в самиздатский журнал «Синтаксис», выпускавшийся А.И. Гинзбургом. После выхода третьего номера журнала Гинзбурга арестовали. Участие в подпольном издании во многом предопределило и дальнейшую судьбу Бродского. В ноябре 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появляется статья «Окололитературный трутень», написанная по всем канонам разгромных опусов советской прессы: «...этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он "любит родину чужую", Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине»[2]. С этого момента начинается травля поэта. 8 января 1964 года в том же «Вечернем Ленинграде» была напечатана подборка писем читателей под общим названием «Тунеядцам не место в нашем городе». 18 февраля и 13 марта того же года состоялся суд. «Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы, — было записано в приговоре... Обещал

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРУТЕНЬ

Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.

Приятели звали его запросто — Осей. В иных местах его величали полным именем — Иосиф Бродский.

Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично.

С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую школьную тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно. «Кладбище», «Умру, умру...» — по одним лишь этим названиям можно судить о своеобразном уклоне в творчестве Бродского. Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательские попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное сотворить он не мог: силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу?

Вот как высокопарно возвещает Иосиф Бродский о сотворенной им поэме-мистерии:

«Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она гимн баналу.

Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов».

Кстати, провинциальные приказчики некогда тоже обожали романсы. И исполняли их с особым надрывом, под гитару.

...

держивающие окололитературных личностей своими заказами. Вечером — ресторан или кафе. Столик. Бокал коктейля. Тут же приятель, которого называют не иначе, как Джеф или Джек, и девица, обязательно в очках, обязательно с копной взъерошенных волос. Вот так, глядишь, и день прошел. Бессмысленное, никому не нужное житье!

Кто же составлял и составляет окружение Бродского, кто поддерживает его своими восторженными «ахами» и «охами»?

Марианна Волнянская, 1944 года рождения, ради богемной жизни оставившая в одиночестве мать-пенсионерку, которая глубоко переживает это; приятельница Волнянской — Нежданова, проповедница учения йогов и всяческой мистики; Владимир Швейгольц, физиономию которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах, выпускаемых народными дружинами (этот Швейгольц не гнушается обирать бесстыдно мать, требуя, чтобы она давала ему из своей небольшой зарплаты деньги на карманные расходы); уголовник Анатолий Гейхман; бездельник Ефим Славинский, предпочитающий пару месяцев околачиваться в различных экспедициях, а остальное время вообще нигде не работать, вертеться возле иностранцев. Среди ближайших друзей Бродского — жалкая окололитературная личность Владимир Герасимов и скупщик иностранного барахла Шилинский, более известный под именем Жоры.

Эта группка не только расточает Бродскому похвалы, но и пытается распространять образцы его творчества среди молодежи. Некий Леонид Аронзон перепечатывает их на своей пишущей машинке, а Григорий Ковалев, Валентина Бабушкина и В. Широков, по кличке «Граф», подсовывают стишки желающим.

Как видите, Иосиф Бродский не очень разборчив в своих знакомствах. Ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, только бы вскарабкаться. Ведь он причислил себя к сонму «избранных». Он счел себя не просто поэтом, а «поэтом всех поэтов». Некогда Игорь

...

жую», Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине.

Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил и «философский трактат» некоего А. Уманского. Суть этого «трактата» состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. «В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно», — поучал этот в конец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов.

Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостинице «Самарканд» он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бейл пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.

— У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, — сказал Бродский американцу. — Не хотите ли ознакомиться?

— С удовольствием сделаю это, — ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: — Идет, мы издадим ее у себя. Как прикажете подписать?

— Только не именем автора.

— Хорошо. Мы подпишем ее по-нашему: Джон Смит.

Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили. «Философский трактат» остался в кармане у Бродского.

Там же, в Самарканде, Бродский пытался осуществить свой план измены Родине. Вместе с Шахматовым, он ходил на аэродром, чтобы захватить самолет и улететь на нем за границу. Они даже облюбовали один самолет, но, определив, что бензина в баках для полета за границу не хватит, решили выждать более удобного случая.

Таково неприглядное лицо этого человека, который, оказывается,

А вот так называемые желания Бродского:

От простудного продувания
Я укрыться хочу в книжный
шкаф.

Вот требования, которые он предъявляет:

Накормите голодное ухо
Хоть сухариком...

Вот его откровенно-циничные признания:

Я жую всеобщую нелепость
И живу единым этим хлебом.

А вот отрывок из так называемой мистерии:

Я шел по переулку,
Как ножницы — шаги.
Вышагиваю я
Средь бела дня
По перекрестку,
Как по бумаге
Шагает некто
Наоборот — во мраке.

И это именуется романсом? Да это же абракадабра!

Уйдя из литературного объединения, став кустарем-одиночкой, Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского университета, в библиотеке имени Маяковского, во Дворце культуры имени Ленсовета. Настоящие любители поэзии отвергали его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь «остренькое», «пикантное». Они подняли восторженный визг по поводу стихов Иосифа Бродского.

Эти юнцы и девицы составляют так называемую окололитературную среду. Они вертятся вокруг модных поэтов, устраивают ажиотаж на их выступлениях, гоняются за автографами. Они и сами пописывают стишки. Иной юнец, только что окончивший среднюю школу, поднатужившись, сотворит от силы несколько стихотворений и уже мнит себя законченным поэтом. На этом основании он ничем, кроме писания плохих стихов, не занимается. И работать этот мнимый поэт нигде не работает, и в литературе в общем-то ничего не смыслит. Зато он ведет «творческую» жизнь.

Эту жизнь он понимает так. Сон допоздна. Потом прогулка по Невскому. В Доме книги он кокетничает с продавщицей отдела поэзии Люсей Левиной, главным образом, в надежде, что она снабдит его какой-нибудь модной поэтической новинкой. Далее — посещение редакции, той, в которой сидят не очень строгие в смысле требовательности люди, материально под-

Северянин произнес: «Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен: я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден!» Но сделал он это в сущности ради бравады. Иосиф Бродский же уверяет всерьез, что и он «повсесердно утвержден».

О том, какого мнения Бродский о самом себе, свидетельствует, в частности, такой факт. 14 февраля 1960 года во Дворце культуры имени Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала: «Это не поэзия, а чепуха!» Бродский самонадеянно ответил: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. К сожалению, никто на этом вечере, в том числе председательствующая — поэтесса Н. Грудинина, не дал зарвавшемуся наглецу надлежащего отпора.

Но мы еще не сказали главного. Литературные упражнения Бродского вовсе не ограничивались словесным жонглированием. Тарабарщина, кладбищенско-похоронная тематика — это только часть «невинных» увлечений Бродского. Есть у него стансы и поэмы, в которых авторское «кредо» отражено более ярко. «Мы — пыль мироздания», — авторитетно заявляет он в стихотворении «Самоанализ в августе». В другом, посвященном Нонне С., он пишет: «Настройте, Нонна, и меня на этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки». И наконец еще одно заявление: «Люблю я родину чужую».

Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он «любит родину чу-

не только пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства.

Но, учитывая, что Бродский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность.

Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае подкинет толику денег отец — внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать наконец работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем.

Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде.

Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!

А. ИОНИН, Я. ЛЕРНЕР, М. МЕДВЕДЕВ

МОДЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ШЛЮПА

Экспозиция Центрального военно-морского музея пополнилась новым замечательным экспонатом — моделью 28-пушечного шлюпа «Восток». С ним связана одна из замечательных страниц в истории русского военно-морского флота — открытие шестой части света — Антарктиды. «Восток» вместе со шлюпом «Мирный» участвовал в первой антарктической экспедиции русского флота под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1819—1821 гг.

Уже давно коллектив музея задался целью как можно ярче отразить это замечательное плавание, изготовить модель хотя бы одного из кораблей. Но в архивах были обнаружены всего два схематических чертежа «Востока». По ним невозможно было построить модель. В течение пяти лет сотрудник музея А. Л. Ларионов трудился над воссозданием остальных чертежей. Наконец кропотливая работа закончена, и мастерская музея приступила к изготовлению модели. Около трех лет коллектив мастерской вместе с Ларионовым трудился над моделью. Изготовлены тысячи ювелирных деталей, проведена исключительно кропотливая и тонкая работа по сборке и оснастке модели, постановке рангоута, такелажа.

Теперь посетители музея смогут отчетливо представить, на каких кораблях русские моряки совершали свои великие подвиги ради науки, на благо человечества.

Статья А. Ионина, Я. Лернера, М. Медведева «Окололитературный трутень» (Вечерний Ленинград. 1963. № 281. С. 3)

ТУНЕЯДЦАМ НЕ МЕСТО В НАШЕМ ГОРОДЕ

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ НА СТАТЬЮ «ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРУТЕНЬ»

Статья «Окололитературный трутень», опубликованная в № 281 нашей газеты за прошлый год, вызвала широкие отклики среди читателей. Особенно много писем поступило от молодежи. Это и понятно. Ведь в статье шла речь о молодом человеке — Иосифе Бродском, который перестал учиться, не работает, ведет паразитический образ жизни и занимается кропанием формалистических стишков. Естественно, что такое поведение не может не вызывать у советской молодежи резкого осуждения.

«Нас возмущает, — пишут студенты Технологического института имени Ленсовета тт. Плачкова, Фейгин, Грудницкий, Плакидин и Казаков, — что в Ленинграде четыре года живет самый настоящий тунеядец. Бродского уговаривают, увещевают, проводят с ним воспитательную работу, но так и не могут заставить заняться общественно полезным трудом».

Статья обсуждалась и в Технологическом институте холодильной промышленности. По поручению группы студентов преподаватель кафедры истории КПСС П. Н. Смирнов пишет в редакцию:

«Обидно, что есть еще среди нас такие люди, как Бродский и окружающая его жалкая кучка прошелыг. Невозможно не выразить своего негодования в адрес этих бездельников».

По мнению т. Смирнова, опубликованная в газете статья поднимает важный, актуальный вопрос, связанный с воспитанием молодежи. В то время как замечательная советская молодежь завоевывает космос, самоотверженно трудится в цехах заводов, на целинных землях, практически решая задачи строительства коммунизма, находятся отдельные юнцы, которые проводят время в праздном безделье, интересуясь только собственной персоной. Нельзя потакать великовозрастным бездельникам типа Бродского.

Ю. Кнорринг из комсомольско-молодежного оперативного отряда Петроградского района считает, что Бродскому не место в Ленинграде.

Группа студентов Института водного транспорта пишет: «Таких тунеядцев, как Бродский, надо сурово наказывать в административном порядке». Эту же мысль высказывают газосварщик завода «Электросила» Ю. Беседин, старый производственник Я. Черняков и многие другие.

Совершенно справедливо ставит вопрос сотрудник Ленинградского пассажирского агентства В. Зайченко.

«Возмущает поведение не только Бродского, — пишет он, — но и тех, кто покрывал все его проделки, потакал ему».

К сожалению, и после опубликования статьи «Окололитературный трутень» нашлись у Бродского ярые защитники. Некоторые из них решили откликнуться злобными письмами в адрес авторов статьи. С пеной у рта защищают они Бродского, пытаясь опровергнуть факты, доказать его исключительную талантливость, чуть ли не гениальность.

Кто же эти люди, вступившиеся за тунеядца? Прежде всего, понятно, его близкие знакомые, те, кто курил ему фимиам. Среди них К. Кузьминский, по существу — тоже тунеядец; лишь недавно он устроился на подсобные работы в Эрмитаже. Кузьминский — один из тех, кто усердно перепечатывает и распространяет упадочнические, пессимистические стихи Бродского.

Некоторые из защитников Бродского по существу ничего толком не знают о нем и тем не менее выступают в роли защитников. Кандидат исторических наук А. Горфункель так прямо и пишет: «Я не знаком с фактами биографии Иосифа Бродского». И, несмотря на это, он позволяет себе считать статью «клеветнической». На каком основании? На том, что он, Горфункель, что-то от кого-то слышал. Ничего себе аргумент! На том же основывает свою защиту Бродского преподаватель филиала Политехнического института на Металлическом заводе И. Ефимов.

Напрасно, думается, выступает от имени инженеров-геологов младший научный сотрудник института Гипроникель Е. Кумпан. В своем письме, берущем под защиту Бродского, она пишет, что выражает мнение друзей-инженеров, «болеющих за нашу культуру». Однако достоверно известно, что никто в институте ей писать такого письма не поручал. Кумпан, знакомая Бродского, выражает свое собственное ошибочное мнение. Зачем же, спрашивается, занимается она фальсификацией? Очевидно, для большей убедительности.

О том, что представляет собой Бродский во всем своем неприглядном виде, свидетельствует письмо, поступившее из Всесоюзного научно-исследовательского геологического института. В 1961 году Бродский был принят на сезонную работу в отряд восточносибирской экспедиции института. О том, как зарекомендовал он себя на этой работе, можно узнать из справки начальника отряда Г. Лагздиной.

«Когда отряд добрался до места назначения, — пишет т. Лагздина, — Бродский отказался выполнять свои обязанности. Кроме того, он пытался заставить других техников, работавших в этой же партии, последовать его примеру. Его поведение было настолько возмутительно, что пришлось немедленно его уволить.

О Бродском можно сказать: таким не должен быть советский человек. Ложь, полнейшее отсутствие понятия о совести и долге перед своими товарищами в тяжелых таежных условиях — это основные качества Бродского. Для него характерно нежелание работать», — пишет в заключение Лагздина.

А вот еще один документ, свидетельствующий о неприглядном облике Бродского и тех, кто его рьяно защищает. К сожалению, автор этого письма не называет своего имени. Некогда он принадлежал к тем, кто поддерживал Бродского, пресмыкался перед ним, а теперь понял, что представляет собой этот тунеядец. Он рассказывает о возне, которую подняли защитники Бродского, вербуя себе сторонников, заставляя их выступать в защиту тунеядца. Автор письма называет Бродского карьеристом, который не останавливается ни перед чем.

Никакие попытки уйти от суда общественности не помогут Бродскому и его защитникам. Наша замечательная молодежь говорит им: хватит! Довольно Бродскому быть трутнем, живущим за счет общества. Пусть берется за дело.

А не хочет работать — пусть пеняет на себя.



8 января 1964 г. 3 стр.

«Тунеядцам не место в нашем городе: Отклики читателей на статью “Окололитературный трутень”» (Вечерний Ленинград. 1964. № 6. С. 3)

поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом»[3]. Несмотря на то что Бродский начал трудиться с пятнадцати лет (оставив школу, он пошел работать фрезеровщиком на завод и за несколько лет сменил около десятка профессий: техник-геофизик, санитар, кочегар, фотограф и т. д.), его обвинили в «тунеядстве» и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область (деревня Норинская) «с применением обязательного труда»[4]. Ход судебного заседания удалось застенографировать Ф.А. Вигдоровой, и эта запись была опубликована в самиздате, а затем на Западе. Из-за суда имя Бродского стало широко известно, а благодаря огласке и протестам общественности (за поэта заступились Ахматова, Паустовский, Чуковский, Маршак, Шостакович, Сартр) Бродский вернулся из ссылки досрочно, через полтора года. Слова Ахматовой, сказанные в разгар травли поэта: «Какую биографию делают нашему рыжему!» — оказались пророческими. За границей издаются два его сборника — «Стихотворения и поэмы»[5] и «Остановка в пустыне»[6]. С их выходом положение Бродского в СССР осложняется.

В 1972 году советские власти фактически выслали его из страны, вручив поэту визу на выезд в Израиль и пригрозив: если не уедет, его посадят. Перед отъездом Бродский написал письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу:

«Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому.

Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика — в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось.

Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России»[7].

Письмо осталось без ответа.

Эмигрантский период жизни и творчества поэта начинается с 4 июня 1972 года. Бродский приземлился в Вене. Его встретил давний друг, издатель К. Проффер, в течение многих лет возглавлявший издательство «Ардис» («Ardis»). В том же году Бродский оседает в США. Он работает как «поэт при университете» и приглашенный профессор в Мичиганском и Колумбийском университетах (США), Кембриджском университете (Англия) и в ряде колледжей. В 1991 году становится профессором литературы в колледже Маунт Холиуок (Саут-Хедли, штат Массачусетс).

В 1977 году в издательстве «Ардис» выходят в свет первые «эмигрантские» поэтические сборники Бродского — «Конец прекрасной эпохи», вобравший в себя стихи 1964–1971 годов, и «Часть речи», куда вошли произведения, написанные в 1972–1976 годах. «...Это должна была быть одна книжка, а не две, — рассказывал об истории издания Бродский. — Но эту книжку по издательским соображениям — прежде всего потому, что им таким образом пошло больше денег — разбили на две. <...> Ну с этим можно было согласиться, потому что 1972 год был какой-то границей — по крайней мере, государственной, Советского Союза, да? Но ни в коем случае не психологической границей, хотя в том году и перебрался из одной империи в другую. Тем не менее границы психологической я в своих стихах Того периода не вижу. Хотя и думаю, что, начиная со стихотворения "Темза в Челси", написанного в 1974 году, имеет место быть несколько иная поэтика. <...> Так что мне самому не очень понятно, как все это делить на разделы и книжки, да и надо ли это делить вообще. Пусть себе идет одно за другим — как жизнь, более или менее»[8].

Однако, независимо от «прозаических» мотивов разделения единого корпуса стихов на два издания, формат «двоекнижия» был концептуально верным решением. Названия обеих книг звучат метафорически, берут на себя роль поэтического послания. Бродский, родившийся в городе, наполненном античными цитатами, подводит черту под «прекрасной эпохой». Античные тени («мрамор для бедных») все больше уходят на второй план, родина постепенно слагается в сюрреалистический образ империи, где царит неизменно трагический миропорядок.

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.
(*«Открытка из города К.», 1967*)

В то же время поэт, уезжая «из одной империи в другую», увозил с собой на Запад «часть речи» («я принадлежу русскому языку», — слова, написанные им перед самым отъездом, были сродни творческому манифесту). Для Бродского язык — это доминирующая, универсальная категория. «Выживает только то, что производит улучшение в языке, а не в обществе»[9], — заметил он однажды. «Бродский считает язык данным свыше, спущенным сверху, а не взращенным снизу, — подчеркивал А. Кушнер, комментируя сборник «Часть речи». — Чудо русского языка, словно специально рожденного для поэзии, внушает надежду на будущее — и в самые мрачные, смутные или бестолковые времена»[10].

Бродский-художник зорко подмечает реалии своего времени. Детали, на которые падает его взгляд, поражают своей четкостью, парадоксальной фактурностью, однако все они выстраиваются в книге стихов «Конец прекрасной эпохи» не в бытовой, а в сложный философский ландшафт.

В этих метаописаниях высвечивается центральная тема поэзии Бродского: постепенное остывание мира, одиночество человека и его противостояние бесконечности и холодности пространства. «Злободневности» и «публицистичности» в стихах нет. В то же время актуальность «Конца прекрасной эпохи» очень точно определил один из первых исследователей творчества писателя Л. Лосев: «Бродский мгновенно переводит события текущей истории в религиозно-философский план… Кстати сказать, тут Бродского можно сравнить с такими, казалось бы, бесконечно от него далекими мастерами прозы, как Солженицын или Шаламов, которые в поэтике своей стремятся к тому же, при всем при том, что политика в прозе, несомненно, представлена обширнее, чем обычно в поэзии. Но начало "Архипелага ГУЛАГ" можно сравнить с "Концом прекрасной эпохи"»[11].

Стихи, созданные перед эмиграцией, — индивидуальная форма сопротивления художника монолитной государственной системе. Не случайно все та же тема столкновения государства и человека, «империи» и творчества («часть речи») прозвучит в нобелевской лекции Бродского, — программной, ключевой для понимания мировоззрения поэта: «Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность… За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости»[12].

В 1979 году Бродский становится почетным членом Американской академии искусств, откуда выходит в 1987-м в знак протеста против избрания членом Академии Е. Евтушенко. В 1980 году получает американское гражданство. В 1981-м награжден «премией гениев» Мак-Артура. В 1983-м в «Ардисе» опубликован сборник лирики «Новые стансы к Августе. Стихи к М.Б., 1962–82»; в 1984-м выходит пьеса «Мрамор». В 1986 году сборник эссе «Less than one» («Меньше единицы») признан лучшей литературно-критической книгой года в Америке. В 1987 году Бродский удостоен Нобелевской премии по литературе «за всеохватное творчество, проникнутое ясностью мысли и глубокой поэтичностью». В том же году он становится кавалером ордена Почетного легиона. В 1991–1992 годах получает звание Поэта-лауреата Библиотеки конгресса США.

С конца 1980-х годов творчество Бродского начинает постепенно возвращаться на родину, однако сам он так и не принял предложения приехать в Россию. Поэта полностью реабилитируют по процессу 1964 года, в 1990 году ему возвращают советское гражданство, в 1995-м присваивают звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в ночь на 28 января 1996 года. Похоронен в Венеции в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле.

Мария Васильева

---

[1] Речь идет о книге: Ахматова А. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1961. (Библиотека советской поэзии). См., напр., об этом: Синкевич В. Джордж Клайн и его Иосиф Бродский // Новый журнал (Нью-Йорк). 2009. № 255. С. 365.

[2] Ионин А., Лернер Я., Медведев М. Окололитературный трутень // Вечерний Ленинград. 1963. 29 ноября.

[3] Ф.В. <Ф. Вигдорова>. Процесс Иосифа Бродского // Воздушные пути (Нью-Йорк). 1965. Вып. 4. С. 303.

[4] Там же.

[5] Бродский И. Стихотворения и поэмы. N. Y.: Inter-Language literary associates, 1965.

[6] Бродский И. Остановка в пустыне. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970.

[7] Цит. по: Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010. С. 128.

[8] Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Изд-во «Независимая газета», 1998. С. 313–314.

[9] Иосиф Бродский: «Настигнуть утраченное время»: Интервью Джону Глэлду // Время и Мы. 1987. № 97. С. 168.

[10] Последний романтический поэт: Интервью с Александром Кушнером // Полухина В. Бродский глазами современников: сб. интервью. СПб.: Звезда, 1997. С. 112–113.

[11] Лосев Л. Новое представление о поэзии // Там же. С. 133.

[12] Бродский И.А. Нобелевская лекция // Бродский И.А. Набережная неисцелимых: Тринадцать эссе. М.: Слово, 1992. С. 183–184.


ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

"И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР..."

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью Йорк, 1978

13

БУКОВСКИЙ В.К.

«И возвращается ветер...»

/ Владимир Буковский. — Нью-Йорк: Хроника, 1978. — 384 с.; 21×13,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"

Один из лидеров диссидентского движения в СССР Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в городе Белебей Башкирской АССР, в семье писателя и журналиста Константина Буковского.

Учился в Москве (Буковские вернулись из эвакуации в столицу). Четырнадцатилетним подростком, ознакомившись с докладом Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый конфликт с властью произошел у Буковского в 1959 году — за издание рукописного сатирического журнала его исключили из школы и вызвали на «проработку» в Московский горком КПСС. Проработка не подействовала: юноша стал одним из участников правозащитного движения, открыто противостоявшего коммунистическому режиму.

После окончания вечерней школы рабочей молодежи Буковский поступил в 1960 году на биолого-почвенный факультет МГУ. Вместе с Юрием

ПРИГОВОР КЛЕВЕТНИКАМ

С 10 по 14 февраля суд рассматривал дело А. Синявского и Ю. Даниэля.

На суде упоминалась и цитировалась статья одного из видных советских литературоведов, опубликованная еще в январе 1962 года в журнале «Иностранная литература». Эта статья — отповедь зарубежным «ниспровергателям» социалистического реализма. В ней разбиваются концепции вышедшей в ФРГ книги Петера Демеца «Маркс, Энгельс и писатели», а затем автор переходит к разбору анонимной статьи «молодого советского писателя», напечатанной во французском журнале «Эспри» и перепечатанной в Англии, США, ФРГ. «Метод рассуждений «неизвестного писателя» и хорошо известного нам фальсификатора Демеца, — отмечает литературовед Б. Рюриков, — в сущности одинаков».

Тут же в качестве наглядного примера того, на какую «художественную» практику опираются теоретические противники социалистического реализма, литературовед рассказывает о «неумной антисоветской фальшивке, рассчитанной на очень уж невзыскательного читателя» и явившейся в обличье романа под названием «Суд идет», автор которого укрылся под псевдонимом Абрам Терц. Роман вышел тогда в Англии и Франции.

Лишь впоследствии выяснилось, что написаны они одним и тем же пером. И уж совсем трудно было предположить, что Абрам Терц живет в Москве, что он научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького, автор книги о поэзии первых лет революции, что это критик А. Синявский, систематически печатающийся в советской прессе.

Открытый судебный процесс обнажил неприглядную деятельность А. Синявского и его сподвижника и приятеля Ю. Даниэля. Оба они довольно-таки изощренно двурушничали. В нашей стране они выступали один с литературно-критическими статьями, маскирующими его подлинное лицо, другой как без-

убийц, маньяков, растленных эротоманов, тунеядцев и доносчиков. Терц позволяет себе глумиться даже над Лениным, над коммунизмом, над лучшими нашими писателями.

Если в предыдущих своих повестях, продолжает общественный обвинитель, Синявский-Терц задавался целью замарать наши идеалы и наше общество, так сказать, по частям, то в романе «Любимов» автор пытается «снять» проблему построения коммунизма в целом, в «историческом» разрезе, раз и навсегда! — ни больше, ни меньше.

Не однажды шла речь на судебном процессе о повести Даниэля-Аржака «Говорит Москва». Сюжет повести таков. Правительственным указом объявляется по радио воскресенье 10 августа 1960 года «Днем открытых убийств». В этот день каждый может и должен уничтожить любого человека (кого заблагорассудится), исключая лиц некоторых административных категорий. Зачем было придумывать такую нелепицу? — спрашивает общественный обвинитель. И отвечает: да затем, чтобы дать главному персонажу возможность произнести несколько «зажигательных» речей, в том числе и о том, кого бы, с его точки зрения, стоило убить. Вот тут-то и возникает яростная тирада о всех тех, кто поддерживает и представляет социалистический строй и осуществляет государственную политику. Герой повести изливает свою ненависть к ним, зовет к расправе над ними.

Тяжело было присутствовать в зале суда, особенно когда шел допрос подсудимых. Попросту говоря, уж очень противно было наблюдать нечистую игру двурушников. К чему сводились заявления Синявского и Даниэля? То к упорному отрицанию антисоветской сущности их произведений, то к туманнейшим рассуждениям о природе художественного творчества, то к настойчивому стремлению отгородить себя от своих героев. Они пыта-

фантазии? Но почему же эта фантазия, стремящаяся к «парадоксальным построениям», разыгрывалась на почве советской действительности, упорно избирала объектом своего глумления советских людей, нашу советскую жизнь?

Взрослые люди пытаются представить себя наивными мальчиками, изобразить дело так, будто они не ведали, что творили. Однако никакие ухищрения не помогли обвиняемым избежать ответственности за свои преступления. Куда же уйдешь от того, что их произведения дышат клеветой и ненавистью?

Синявский и Даниэль пробуют казаться людьми не от мира сего, этакими радетелями за любовь и мир на земле, а то и графоманами, которым очень уж хотелось видеть свои произведения напечатанными. Еще один трюк. Можно попробовать укрыться за своими героями — на всякий неприятный случай, но не всегда это удается. Можно разыгрывать из себя святош или расшалившихся мальчиков, но это не очень-то вяжется с фактами. Уж очень тщательно маскировались «невинные души», уж очень изворачивались, когда маскировка слетела.

«Наивные мальчики» почтенного возраста занялись своего рода контрабандой. Причем речь идет о товаре специфическом — о духовной отраве. О средствах идеологической борьбы против нас. То есть о предательстве.

Два слова в заключение. В некоторых кругах за рубежом высказывается сомнение: не представляет ли собою суд над Синявским и Даниэлем подавление в писательском творчестве критики недостатков, имеющихся в советском обществе? Самая острая критика недостатков, служащая упрочению нашего общества, его очищению и укреплению, поддерживалась, поддерживается советскими людьми и всячески будет поддерживаться. Критика с позиций враждебных, клевета, с помощью которой хотят подорвать основы нашего строя, ослабить его силу,

обидный поэт-переводчик. И оба тайком переправляли за рубеж свои сочинения совершенно иного сорта. Ю. Даниэль печатался там под псевдонимом Николай Аржак.

Что собой представляют эти произведения, еще раз было показано на суде в речах общественных обвинителей.

Писатель А. Васильев огласил цитату из повести Николая Аржака «Говорит Москва», где содержатся призывы «кромсать», «изрешетить пулями» советских людей.

Литературный критик З. Кедрина говорила на процессе о том, что в зарубежных «трудах» Синявского-Терца советские люди представлены в виде пьяниц и воров, неспособных создать свою культуру, нравственных уродов, упырей, ведьм и оборотней, тупых мужиков, дикой бабы на помеле,

лись представить все написанное ими как создание фантастических, психологических и тому подобных ситуаций, ничего общего не имеющих с политикой, как беззаветное и самозабвенное служение «чистому» искусству, стремились любым способом уйти от ответов на поставленные перед ними вопросы.

Неуместными были ссылки Синявского и Даниэля на то, что автор и герой не идентичны. Суд доказал неопровержимо, что антисоветские высказывания, антисоветская сущность героев и самих авторов в данном случае совпадают.

А сам подбор героев и всех действующих в этих романах, рассказах, повестях, «памфлетах» персонажей? Это ведь уж рука автора собирала их, его мозг измышлял невообразимое скопище уродов и чудовищ. Ради чего? В угоду патологической

встречала, встречает и, разумеется, всегда будет встречать отпор.

Суд признал А. Синявского и Ю. Даниэля виновными в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к заключению в исправительно-трудовых колониях строгого режима Синявского сроком на 7 лет, Даниэля — на 5 лет.

Зал встретил приговор аплодисментами.

Т. ПЕТРОВ.

НАШ АДРЕС: МОСКВА,

ТЕЛЕФОНЫ: Справ Издат

Б 02342. 50102.

Статья Т. Петрова «Приговор клеветникам»
(Правда. 1966. № 47. С. 6)

Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и др. стал одним из организаторов регулярных несанкционированных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы (так называемая Маяковка). Когда несколько активистов «Маяковки» были арестованы, в квартире Буковских провели обыск; изъятое при обыске сочинение Буковского о необходимости демократизации ВЛКСМ впоследствии было квалифицировано следователем как «тезисы о развале комсомола».

Весной 1961 года Буковского отчислили из университета. Нависла угроза возбуждения уголовного дела, и юноша был вынужден уехать в Сибирь — в геологическую экспедицию, где скрывался полгода.

В 1963 году за «хранение антисоветской литературы» (книги югославского диссидента Милована Джиласа «Новый класс») Владимира Константиновича арестовали, признали «невменяемым» и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. Выйдя оттуда в феврале 1965-го, он принял активное участие в подготовке «митинга гласности» на Пушкинской площади — в защиту арестованных писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. За это был снова задержан и водворен в «психушку». Через полгода, по ходатайству правозащитной организации «Международная амнистия», освобожден. В третий раз Буковского схватили, когда после ареста Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей он организовал на Пушкинской площади демонстрацию протеста (22 января 1967 года). На процессе в Московском городском суде Буковский не только отказался признать себя виновным, но и выступил с обличительной речью, получившей широкое распространение в самиздате. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы



Владимир Буковский. Москва. 1960-е годы

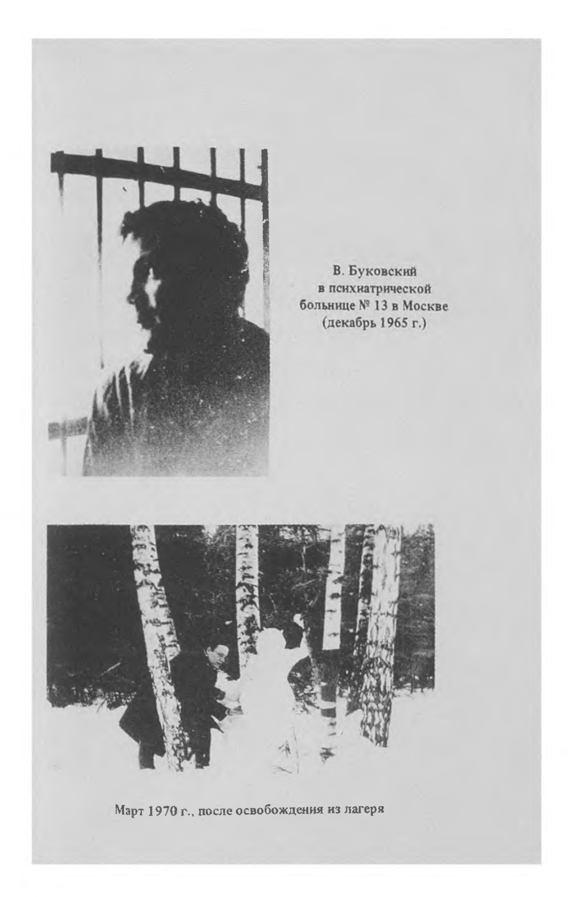
по статье 190.3 УК РСФСР (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок).

Отбыв срок в Воронежском лагере, Владимир Константинович по возвращении в Москву подготовил и направил во Всемирную ассоциацию психиатров и в зарубежные СМИ досье о «карательной психиатрии» в Советском Союзе с приложением экспертных заключений по делам известных инакомыслящих, признанных «невменяемыми», в том числе генерала Петра Григоренко и поэтессы Натальи Горбаневской. Тогда же над Буковским было установлено наружное наблюдение КГБ. В марте 1971-го он был арестован в четвертый раз. Аресту предшествовала опубликованная в «Правде» статья «Нищета антикоммунизма», где Буковского клеймили как злостного хулигана и антисоветчика: «Уже не первый год читателям западных газет пытаются внушить, будто в "научных и литературных кругах" Москвы существуют "бунтующие интеллектуалы", которые к тому же выступают как "достоверные источники". Неискушенному читателю невдомек, что под личиной "ученых и литераторов, не согласных с системой", скрываются продажные недоросли… Редакторы "Вашингтон пост" все сделали для того, чтобы представить В. Буковского в качестве "авторитета" по советской жизни. Но в реальной жизни нагловатый молодой человек авторитетно знает только подворотни у домов, где живут западные корреспонденты в Москве. Он — недоучка, исключенный из вуза за неуспеваемость. Числится "работающим", но "работа" у него одна — слоняется по квартирам иностранных корреспондентов, торгует антисоветским вздором в обмен на дешевые "подарочки". Отщепенцев, клянчащих виски и сигареты в обмен на грязные выдумки, — жалкая горстка. И тем не менее, изо дня в день тысячеустая империалистическая пропаганда держит в фокусе зрения не большую и удивительную жизнь великого народа, а ничтожную горстку продажных шкур. Склонность к фабрикации фальшивок и подделок, пристрастие к отбросам общества давно уже стали второй натурой воинствующих антикоммунистов»[1].

Как две капли схожую характеристику дал Буковскому и первый заместитель председателя КГБ С.К. Цвигун: «Некоторые американские газеты черпают материалы для своих антисоветских выступлений у исключенных из московских вузов за бездельничанье и неуспеваемость А. Амальрика и В. Буковского. Эти тунеядцы и клеветники болтались вокруг корреспондентских пунктов ряда зарубежных изданий, поставляя им за доллары и дешевые "подарки" разного рода бредовые антисоветские измышления»[2].

5 января 1972 года в Московском городском суде над Буковским состоялся процесс. За «антисоветскую агитацию и пропаганду» он был приговорен к семи годам заключения (с отбыванием первых двух лет в тюрьме) и пяти годам ссылки — максимальный срок наказания по статье

70.1 УК РСФСР. Во Владимирской тюрьме и в пермских политических лагерях Буковский возглавлял акции протеста заключенных против произвола администрации. В соавторстве с солагерником психиатром Семеном Глузманом написал «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В 1977 году Всемирная ассоциация психиатров — на основании «досье Буковского» — официально осудила практику использования психиатрии для преследования не согласных с властью. Между тем на Западе развернулась широкая кампания за освобождение Буковского. В его защиту выступали известные деятели культуры (писательница Айрис Мердок, драматург Артур Миллер, актер Дастин Хоффман). В декабре 1976 года Буковского обменяли на освобожденного из чилийской тюрьмы генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана. Обмен произошел в Швейцарии, куда Буковского привезли в наручниках.



Иллюстрации из книги «И возвращается ветер...»

В народе стала чрезвычайно популярной частушка:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана,
Где б найти такую блядь,
Чтоб на Брежнева сменять?

Поселившись в Великобритании, Владимир Константинович окончил биологический факультет Кембриджского университета и до конца 1980-х годов занимался нейрофизиологией.

В 1978-м он написал автобиографическую книгу «И возвращается ветер...». Впервые опубликованная на русском языке американским издательством «Хроника» и затем переведенная на десятки языков, в России до 1990 года она ходила в самиздате.

В книге рассказывается о годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве.

Первоначальный вариант названия — «И возвращается ветер...» — подсказал Буковскому его солагерник Иосиф Мешенер. Однако, кроме Франции и Италии, этот вариант нигде не прижился. Особенно упорно спорили английские и американские издатели: в их странах плохо знали Книгу Екклесиаста. Так появилось новое название — «To Build a Castle» («Построить замок»), подсказанное Татьяной Максимовной Литвиновой. Немцам же не понравились оба варианта, и они придумали свое, длинющее немецкое словечко, в переводе означающее «Тот-самый-ветер-который-дует-с-гор-когда-на-реках-ломается-лед». Голландцы и того хуже, ни слова не сказав автору, попытались объединить оба символа, и получился у них не то «за́мок под ветром», не то «ветер под замко́м». «Так и поплыл мой кораблик, меняя на ходу флаги, — вспоминал Буковский. — В одних странах его встречали бурно, в других он прошел незаметно, и я, наконец, потерял его из виду, как вдруг он объявился в Польше, в самый разгар военного положения, или, как тогда говорили, "Польско-Ярузельской войны". Издатели, подпольная еще в то время "Солидарность", прислали мне в подарок несколько копий, поразивших меня завидным качеством их подпольной печати. И даже теперь, четверть века спустя, когда я попадаю в Польшу, неизменно подходят пожилые уже теперь люди, просят надписать эти пожелтевшие, истертые книжки... Добрался кораблик и до России, успев как раз ко времени крушения советского режима»[3].

По определению Алексея Аджубея, книга Буковского «И возвращается ветер...» «кричит о трагической судьбе молодого человека, восставшего против зла и насилия сталинского тоталитаризма над личностью и личностями»[4]. Хотя дневник жизни Буковского — «труд непрофессионала», отмечает Аджубей, в нем есть «жесткая и честная хроника событий, отточенность фраз и мысли». Журналист обращает внимание на природу размышлений автора, которая основывается на абсолютном неприятии социализма как общественного строя (причем не только в советском его варианте, но и западном), а также принципов, на которых зиждилась советская власть. Хотя многие положения книги согласуются с представлениями самого Аджубея, он, тем не менее, адресует автору небеспочвенный упрек: «Буковскому кажется, что сталинская система никак не подвержена демонтажу, что она незыблема и неотвратима, что нет иного пути для лучшей доли нашим народам, и они будут кланяться ее адептам, что рано или поздно нас ждет вариант кровавой резни, гражданской войны. Я верю, что сталинщину могут победить разум и согласие людей: так жить дальше нельзя...»[5]

И за границей Буковский продолжал активно заниматься политической деятельностью. В 1977 году он был принят в Белом доме президентом США Джимми Картером; в 1980-м стал одним из организаторов кампании по бойкоту Московской олимпиады; три года спустя создал и возглавил международную антикоммунистическую организацию «Интернационал сопротивления». Буковский участвовал в организации антимилитаристской пропаганды на «ограниченный контингент» советских войск в Афганистане и приложил немало усилий для освобождения советских солдат, попавших к моджахедам в плен.

В апреле 1991 года по приглашению председателя Верховного Совета России Б.Н. Ельцина Владимир Буковский впервые после депортации посетил Москву. Перед своим визитом в интервью «Независимой газете» он критически отозвался о перестройке в СССР. Не одобряя действий академика А.Д. Сахарова, ставшего народным депутатом, Буковский призывал «создавать альтернативные структуры»: «Не надо идти в эти советские парламенты и служить ширмой Горбачеву. Кончится это плохо: вас подставят. Ваша будет ответственность, а их — власть»[6]. В июле – октябре 1992 года Буковский выступил в роли официального эксперта Конституционного суда РФ на процессе по «делу КПСС». В ходе процесса он получил доступ к секретным документам Политбюро ЦК КПСС, многие из которых позже вошли в его книгу «Московский процесс»[7]. В 1992 году Владимиру Буковскому было предоставлено российское гражданство (хотя при высылке он не был лишен гражданства СССР).

С 2002 года Буковский — «патрон», «духовный наставник» «Партии независимости Соединенного Королевства» (UKIP), которая добивается выхода Великобритании из Европейского союза. В 2004-м он стал одним из учредителей общественно-политической организации «Комитет 2008: Свободный выбор», поставив перед собой цель обеспечить в России проведение «свободных и демократических» президентских выборов 2008 года. В 2007-м Буковский выдвигался кандидатом в президенты России, но Центризбирком его заявку отклонил, сославшись на то, что последние десять лет Буковский не проживал на территории РФ и не представил документов, подтверждающих его писательскую деятельность. В 2008-м Владимир Константинович принял участие в организации Объединенного демократического движения «Солидарность», а в 2009-м вошел в состав руководящего органа движения — Федерального бюро. 10 марта 2010 года он подписал обращение российской оппозиции к гражданам России «Путин должен уйти» (подпись № 2). Весной 2011 года подал иск в лондонский суд с требованием запретить выезд Горбачева из Соединенного Королевства с целью дальнейшего судебного преследования по обвинению в преступлениях, совершенных им в должности генсека КПСС в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. В июле 2011 года Буковский высказывался за необходимость международного суда над преступным коммунистическим режимом и введение запрета на профессии для коммунистов. В настоящее время он имеет двойное гражданство, проживает преимущественно в Кембридже (Великобритания), активно занимается публицистикой и общественной деятельностью.

Михаил Горинов, мл.

---

[1] Александров И. Нищета антикоммунизма // Правда. 1970. 17 декабря.

[2] Цвигун С. Революционная бдительность — неотъемлемое качество советского человека // Политическое самообразование. 1971. № 2. С. 38–48.

[3] От автора // Буковский В.К. «И возвращается ветер…». М.: Захаров, 2007. С. 5. (Биографии и мемуары). Первое издание книги в России: Буковский В.К. «И возвра-

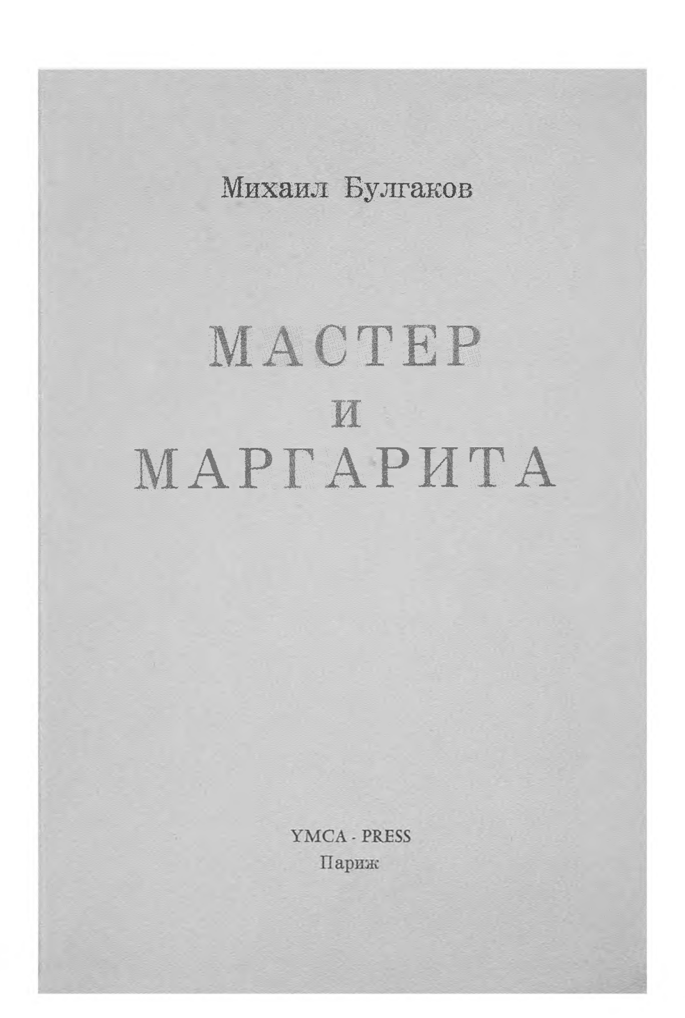
щается ветер…»: Письма русского путешественника / предисл. А. Аджубея. М.: Демократ, 1990.

[4] Аджубей А. Предисловие // Буковский В.К. «И возвращается ветер…». С. 3.

[5] Там же. С. 5–6.

[6] Тодреса В., Быковский Е. «Страна наконец избавилась от иллюзий» // Независимая газета. 1991. 25 апреля.

[7] Буковский В.К. Московский процесс. М.; Париж: МИК; Русская мысль, 1996.



14

БУЛГАКОВ М.А.

Мастер и Маргарита: Роман

/ Михаил Булгаков; [предисл. Иоанна, арх. Сан-Францисского]. — Париж: YMCA-Press, 1967. — 219 с.: портр.; 24×15,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

YMCA - PRESS

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая 1891 года в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии А.И. Булгакова. После гимназии поступил на медицинский факультет Киевского университета, который успешно окончил в 1916 году. Врачебную практику начал летом 1914 года, работая в лазаретах и военных госпиталях, а также земских больницах. После революции, во время Гражданской войны, молодого доктора призывали на службу разные противоборствующие стороны, и он честно выполнял свой долг. В конце 1919 года Булгаков оставляет занятия медициной и решает посвятить свою жизнь литературному творчеству.

По его словам, первый рассказ был написан им в 1919 году — «глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина»[1]. Но, по воспоминаниям сестры Булгакова Н.А. Земской, «уже гимназистом старших классов Михаил Афанасьевич стал писать по-серьезному: драмы и рассказы… В конце 1912 г. он дал мне прочесть свои первые рассказы и тогда впервые сказал мне твердо:



Михаил Булгаков. Москва. 1926

“Вот увидишь, я буду писателем”»[2]. Во время пребывания Булгакова во Владикавказе (1919–1920) у него была возможность эмигрировать, но он ею не воспользовался.

В 1921 году Булгаков переехал на постоянное жительство в Москву и начал сотрудничать как фельетонист со столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами («Медицинский работник», «Россия», «Рупор» и др.). В 1926 году с большим успехом прошли две премьеры спектаклей по пьесам Булгакова: во МХАТе — «Дни Турбиных», в Студии Евг. Вахтангова (3-й студии МХАТ) — «Зойкина квартира». Вместе с тем в советской прессе началась интенсивная и крайне резкая критика творчества Булгакова, не ослабевавшая до конца его жизни. Пьесы то запрещали, то разрешали. Прозаические произведения писались в основном в стол.

Современники характеризовали его как «неистощимого на выдумку фантазера, веселого мистификатора» — и в жизни, и в общении, и в произведениях. «Каким он был? Веселый. Артистичный. Блестящий. Его повседневность, его домашняя жизнь не была похожа в своих внешних формах на житие строгого и замкнутого подвижника – подвижническим был внутренний смысл этой жизни. ...Каким он был? Замкнутый. Закрытый. Не терпящий фамильярности. Высоко ценил дистанцию в общении, умел ее поддерживать. Раскрывался, и то, видимо, не очень, только узкому кругу ближайших друзей»[3].

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» многие считают одним из главных произведений XX века, во всяком случае — одним из самых загадочных. Работу над ним писатель продолжал почти до последних своих дней и считал главным делом жизни.

Рукописи романа, сохранившиеся в архиве писателя, позволяют проследить этапы его создания.

8 мая 1929 года Булгаков сдал в редакцию сборников издательства «Недра» четвертую главу под названием «Мания фурибунда», обозначенную как «глава из романа “Копыто инженера”» — это самое раннее из известных нам названий.

В первых двух редакциях еще не было ни Мастера, ни Маргариты, ни романа о Иешуа и Пилате — только «Евангелие от дьявола» (в другом варианте — «от Воланда»). «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...» (из письма М.А. Булгакова правительству СССР от 28 марта 1930)[4]. В октябре 1933 года возлюбленный Маргариты определяется уже как автор романа об Иешуа и Понтии Пилате — в то время он именуется еще поэтом или Фаустом. «Все более ясно обозначивается включенность в художественную структуру романа мотивов, зародившихся с самых ранних известных нам литературных шагов писателя... Мотив однажды испытанного страха, навсегда обременяющего причастностью к убийству, возникнет затем многократно, соединяясь

с мотивом желанного сна, в котором переиначивается прошлое, герой успевает помешать убийству, мертвый является живым, и совершается искупление»[5]. Главные герои так или иначе стремятся «заново пережить события прошлого и изменить их ход, освободиться от соучастия в кровавой расправе… мотив невозможности земного искупления усиливается, и все отчетливее предстает перед героями единственная их надежда — на прощение, милосердное отпущение»[6].

9 мая 1937 года жена писателя Елена Сергеевна Булгакова записала в своем дневнике: «Вечером у нас Вильямсы и Шебалин. М.А. читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе»[7]. 11 мая: «М.А. прочитал несколько глав. Отзывы — вещь громадной силы, интересна своей философией, помимо того что увлекательна сюжетно и блестяща с литературной точки зрения»[8].

«Осенью 1937 г., в один из моментов наиболее обострившихся поисков выхода из сложившейся литературно-биографической ситуации, Булгаков совершает существеннейший для своей творческой жизни выбор. Он приходит к мысли завершить работу над романом, рассматривая это как наиболее важный и решительный литературный шаг»[9]. На титуле впервые появляется окончательное название — «Мастер и Маргарита», проставлены даты «1928–1937». «Роман расширялся: в него, как в воронку втягивались излюбленные мотивы и картины»[10]. Изменился тон повествования, определилась композиция — «роман в романе». «Как в зеркалах, поставленных друг против друга, в романе, дописывавшемся зимой и весной 1938 года, он же сам и отражался. Роман о Пилате и Иешуа сообщался не сразу, не в виде единой вставной новеллы. Его развертывание сопровождается иллюзией “дописывания” на глазах читателя… Единство повествования, начатого Воландом, а далее отождествляемого с рукописями Мастера, приводит к тому, что роман Мастера приобретает видимость некоего пратекста, изначально существовавшего и лишь выведенного из тьмы забвения в “светлое поле” современного сознания гением художника. “О, как я все угадал!” — восклицает Мастер… и за этим восклицанием — целостная эстетическая позиция самого Булгакова. Действительность, по его представлению, имеет некий единообразно читаемый облик, и дело писателя или увидеть его непосредственно… или угадать»[11].

В мае 1939 года в конец романа были внесены важные изменения. Ранее известие о дальнейшей судьбе Мастера приносил «вестник в темном». «Теперь появился Левий Матвей и разговор его с Воландом, где произнесены были слова: “Он не заслужил света, он заслужил покой”, составляющие до сих пор загадку для критиков»[12]. В этой фразе заключена проблема мук совести и отпущения грехов, искупления, которая находит отражение и в завершении истории Понтия Пилата и Иешуа.

Законченные главы Булгаков читает своим друзьям. После очередного чтения — запись в дневнике Елены Сергеевны от 8 апреля 1938 года: «Роман произвел сильное впечатление на всех… Особенно хвалили древние главы, поражались, как М.А. уводит властно в ту эпоху»[13].

В конце апреля — мае 1939 года Булгаков в очередной раз читал роман в узком кругу. Из дневника Елены Сергеевны: «2 мая. …Было… очень

хорошо. Аудитория замечательная… Интерес колоссальный к роману»; «15 мая. Вчера у нас было чтение — окончание романа… Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. Паша[14] в коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть»[15]. «В опубликованных недавно воспоминаниях В.Я. Виленкина — детали тогдашних впечатлений слушателя: “Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что, когда он кончил читать, мы долго молчали… И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения”»[16]. Как рассказывала Елена Сергеевна в 1968–1969 годах, «после чтения… автор говорил — не тихо, а именно громко, на весь стол: “Ну вот, скоро буду печатать!” И оглядывал весело смущенных гостей»[17]. «Ермолинский в своих воспоминаниях написал, что некоторые из слушателей потом говорили ему шепотком: “Конечно, это необыкновенно талантливо. И, видимо, колоссальный труд. Но… зачем он это пишет? На что рассчитывает? И ведь это же может… навлечь!.. Как бы поосторожнее ему сказать, чтобы он понял. Не тратил силы и времени так расточительно и заведомо зря…” …Тогда говорили испуганно… а теперь слышу восторженные воспоминания о незабываемом чтении поразительного романа»[18].

Рукопись была закончена в мае 1938 года. Вскоре началась авторская правка. «Обширность вставок и поправок… говорит о том, что не меньшая работа предстояла и дальше, но выполнить ее автор не успел»[19].

В завещании Булгакова сказано, что правом дальнейшего посмертного редактирования он наделяет Елену Сергеевну. Писатель не надеялся, что его роман когда-либо будет напечатан. 15 июня 1938 года он писал Елене Сергеевне: «Свой суд над этой вещью я уже совершил... Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому неизвестно»[20]. В один из последних дней Михаил Афанасьевич, уже почти утратив способность говорить, по воспоминаниям Елены Сергеевны, подал ей знак, что ему что-то нужно, — она поняла: он думал о романе, и из последних сил смог сказать: «Чтобы знали, чтобы знали…»

10 марта 1940 года М.А. Булгаков скончался.

Роман вышел в свет спустя более четверти века почти одновременно в парижском издательстве «YMCA-Press» (1967) и на родине писателя — в журнале «Москва» (1966. № 11; 1967. № 1).

Автор предисловия к журнальной публикации К.М. Симонов отмечал у Булгакова «целых три разных таланта — талант сатирика, талант фантаста и талант реалиста, склонного к строгому и точному психологическому анализу»[21]. В журнальном послесловии А.З. Вулис толковал роман как некую аллегорию: «Бесчеловечная мощь и немощная человечность сходятся в необъявленном поединке, с опущенными забралами, прячущими трагическое родство двух полярно противоположных начал»[22].

Парижское издание предваряет предисловие архиепископа Иоанна Сан-Францисского. По его мнению, ключевая тема книги — любовь Мастера и Маргариты, которая проходит «странной, лунной, не солнечной полосой… Мастер и Маргарита — не двойной ли это образ русской души, жаждущей мира и раздирающейся между бесовским искушением

и зовом истины?» Основной драмой книги архиепископ Иоанн называет «неистинное добро». «Революционность» произведения он видит в том, что «впервые в условиях Советского Союза русская литература серьезно заговорила о Христе как о Реальности, стоящей в глубинах мира». «Обращаясь к русскому человеку, сильно прополосканному в разных щелочных растворах материализма (но вследствие этого особенно чуткому к высшей действительности), и думая о всяком человеке, Булгаков советует не забывать святых слов, оканчивающихся: "…и избави нас от лукавого…" С шекспировским блеском, его книга открывает подлинную ситуацию человека, еще находящегося в области Понтия Пилата»[23].

Ныне о романе написано множество книг, статей, диссертаций. Как считают литературоведы, он «отзывается едва ли не на любые исследовательские гипотезы. В нем усматривали принципы философии и эстетики экзистенциализма, его вписывали в эстетику символизма и постсимволизма, его философскими источниками называли труды Канта, Вл. Соловьева, Кьеркегора, находили в нем компоненты разных религиозных доктрин — зороастризма, богомильства, манихейства, альбигойства и т. п. …Сама необыкновенная популярность [«Мастера и Маргариты»] у исследователей во многом объяснима использованием в романе архетипических форм, имеющих многочисленные и разноплановые коннотации с проблематикой добра и зла, тайного и явного, личности профанной и посвященной. Здесь воспроизводятся мифы, укорененные в культуре, и создаются на их основе мифы авторские»[24].

Лариса Эпиктетова

---

1 Булгаков М.А. Автобиография 1924 г. // Собр. соч.: в 5 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 5. С. 604.

2 Из письма Н.А. Земской к К.Г. Паустовскому от 28 января 1962 г. Цит. по: Земская Е.А. Из семейного архива: Материалы из собрания Н.А. Булгаковой-Земской // Воспоминания о Михаиле Булгакове. М.: Советский писатель, 1988. С. 60.

3 Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 10–11.

4 Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. С. 448.

5 Чудакова М.О. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Цит. по: Произведения в критике. Т. 1: М. Булгаков: Мастер и Маргарита / коллект. авт.; сост. E. Igloi, L. Jagusztin. Budapest: Kezirat, 1986. С. 20.

6 Там же. С. 20–21.

7 Михаил и Елена Булгаковы: Дневник Мастера и Маргариты / сост., предисл., коммент. В.И. Лосева. М.: Вагриус, 2004. С. 280.

8 Там же. С. 281.

9 Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 448.

10 Она же. Творческая история романа М. Булгакова… С. 21.

[11] Там же. С. 20–21.

[12] Там же. С. 23.

[13] Михаил и Елена Булгаковы: Дневник Мастера и Маргариты. С. 335.

[14] Марков Павел Александрович (1897–1980) — театровед и режиссер.

[15] Михаил и Елена Булгаковы: Дневник Мастера и Маргариты. С. 425, 427.

[16] Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 461.

[17] Там же.

[18] Там же.

[19] Чудакова М.О. Творческая история романа М. Булгакова… С. 26.

[20] Булгаков М.А. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. С. 571.

[21] Москва. 1966. № 11. С. 6.

[22] Там же. С. 130.

[23] Иоанн, арх. Сан-Францисский. Предисловие // Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Париж: YMCA-Press, 1967. С. 8–9.

[24] Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Комментарий. М.: Книжный клуб 36'6, 2007. С. 73.



15

БУЛГАКОВ М.А.

Собачье сердце:
[Повесть]

/ Михаил Булгаков; [обл. Ю.П. Анненкова]. — Париж: YMCA-Press, 1969. — 159 с.: портр.; 18,5×13,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

YMCA-PRESS

Сюжет повести перекликается с фантастическим романом «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса, где профессор-маньяк на необитаемом острове хирургическим путем создает «гибриды» людей и животных; но, с другой стороны, параллели можно провести и с произведениями литературы, изображающими окружающий мир через восприятие животных: «Каштанка» А.П. Чехова, «Холстомер» Л.Н. Толстого, «Сны Чанга» И.А. Бунина и т. п.

Персонаж повести «Собачье сердце» — бездомный и озлобленный пес, которого подбирает на улице профессор Филипп Филиппович Преображенский. И вот уже вчерашний бродяга самодовольно считает, что он — избранник судьбы, «красавец», «быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито». Шарик боготворит своего благодетеля — «волшебника из собачьей сказки». Однако цель профессора — научный эксперимент по пересадке собаке органов человека. Донором оказался погибший в пьяной драке Клим Чугункин — пьяница, вор, хам и матерщинник. Результат опыта ученого ошеломляет — милейший пес преобразуется «в такую мразь, что волосы дыбом встают». Все усилия профессора и его ассистента доктора Борменталя по воспитанию Шарикова и привитию

ему элементарных культурных навыков терпят крах. Зато Шариков немедленно усваивает «концепцию» председателя домкома Швондера: «Взять все, да и поделить». Получается, что и Филипп Филиппович, и Швондер изначально преследуют одну и ту же цель — преобразовать человека, но каждый идет своим путем, и по-разному видят они конечный результат. День за днем новоявленное человекоподобное существо «отваживается» на новые выходки; наконец Шариков пишет на профессора донос и даже угрожает ему револьвером, после чего Преображенский решается на отчаянный шаг: вернуть псу его изначальный облик.

В рукописи проставлена авторская дата: январь – март 1925 года. В том же году, в феврале альманах «Недра» опубликовал повесть Булгакова «Роковые яйца» — неожиданно пропущенную цензурой утопическую сатиру «о характере и целесообразности социальных переворотов в истории»[1]. 14 февраля руководитель издательства «Недра» Н.С. Ангарский просит Булгакова принести рукопись «Собачьего сердца», дабы устроить литературное чтение, после которого Булгаков получил от сотрудника альманаха Б.Л. Леонтьева открытку: «Дорогой М.А. Торопитесь, спешите изо всех сил предоставить нам Вашу повесть “Собачье сердце”. Н.С. может уехать за границу недели через 2–3, и мы не успеем протащить вещь через Главлит. А без него дело едва ли пройдет»[2].

7 и 21 марта 1925 года Булгаков читал повесть на «Никитинских субботниках»[3]. Отзывы слушателей были восторженные: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой»[4]; «Фантастика Михаила Афанасьевича органически сливается с острым бытовым гротеском. Эта фантастика действует с чрезвычайной силой и убедительностью. Присутствие Шарикова в быту многие ощутят»[5]; «Очень талантливое произведение»[6].

Присутствовавший на чтениях неизвестный осведомитель в донесении оценил повесть как написанную «во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах»: «Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения»[7]. Резюме агента ОГПУ: «Такие вещи, прочитанные в самом блестящем литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях “Всероссийского Союза Поэтов”… Если и подобно грубо замаскированные... выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице… остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас»[8]. По словам того же осведомителя, слушатели реагировали на чтение взрывами «злорадного смеха» и «оглушительного хохота».

Ностальгические воспоминания Преображенского о дореволюционном прошлом, категоричное заявление профессора о том, что он «не любит пролетариата», его рассуждения о разрухе, его совет не читать советских газет, а также явная симпатия автора к нему не могли, конечно, пройти мимо внимания цензуры. Кроме того, некоторые факты, приведенные в повести, делали достаточно узнаваемыми отдельных ее персонажей.

В письме к М. Волошину от 20 апреля 1925 года Н.С. Ангарский признался, что проводить произведения Булгакова «сквозь цензуру очень трудно», и выразил неуверенность в возможности опубликования «Со-

бачьего сердца». Его опасения подтвердились. 21 мая Б.Л. Леонтьев извещает Булгакова: «Сарычев в Главлите заявил, что “Собачье сердце” чистить уж не стоит. “Вещь в целом недопустима” или что-то в этом роде»[9]. Однако Ангарский не отступает: он просит Булгакова спешно отправить повесть Л.Б. Каменеву, приложив к ней письмо — «авторское, слезное, с объяснением всех мытарств»[10]. Такое письмо Булгаков писать не стал, и тогда Ангарский сам передал рукопись Каменеву. Тот вынес приговор: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя»[11]. Предполагалось, что «Собачье сердце» будет поставлено во МХАТе, театр даже заключил с автором договор, но в связи с цензурным запретом договор был расторгнут.

7 мая 1926 года в квартире Булгакова был произведен обыск, в ходе которого сотрудники ОГПУ изъяли его дневник и рукопись «Собачьего сердца». Возмущенный писатель обратился с заявлением об их возвращении к председателю Совнаркома А.И. Рыкову. Рукопись повести он получил обратно лишь через несколько лет благодаря содействию М. Горького и Е.П. Пешковой.

Булгакова неоднократно вызывали в ОГПУ для дачи показаний. Из протокола допроса 22 сентября 1926 года: «Связавшись слишком крепкими корнями с Советской Россией, не представляю себе, как мог бы я существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту… отношусь к ним сатирически и так и изображаю в своих произведениях… “Повесть о собачьем сердце” не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение… вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как попала под влияние фракции. Это произведение я читал на “Никитинских субботниках”, редактору “Недр” т. Ангарскому, и в кружке поэтов, и в “Зеленой лампе”… Неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание»[12].

При жизни Булгакова «Собачье сердце» так и не было напечатано, однако распространялось в самиздате.

Впервые повесть была опубликована в лондонском журнале «Студент» (1968. № 9, 10), а отдельным изданием вышла в 1969 году в парижском издательстве «YMCA-Press». Главный редактор издательства Н.А. Струве обратился к читателям:

«Сорок два года отделяет написание “Собачьего сердца” от этого первого печатного его издания. И мы не знаем, сколько лет эта повесть пролежала бы еще в архивах, если, по счастливой случайности, список с нее не попал за границу…

Есть основания думать, что именно “Собачье сердце” и определило трагическую судьбу писателя. И это неудивительно. В “Собачье сердце” Булгаков вложил свои основные мысли о событиях, постигших Россию… образно выразил то, что он откровенно назвал в письме к правительству

“своим глубоким скептицизмом в отношении революционного процесса”… новому общественному явлению, не легко определимому, найден образ и дано имя. Можно смело предсказать, что “Шариков” (а за ним, вероятно, и “шариковщина”) войдет в русский словарь как наименование нового типа людей, порожденного революционными скачками и техническими открытиями наших дней»[13].

Вскоре на публикацию откликнулись соотечественники. Вот один из характерных отзывов: «Как всегда у Булгакова, в книге этой много иносказательного, а то, что она появилась у порога “ленинского года”[14], придает ей еще особый оттенок: кому следует она даст повод задуматься перед тем, как идти на какое-нибудь торжественное собрание, произносить речь или писать панегирик... Опубликование такого текста в Советском Союзе просто немыслимо. И можно сказать, что именно эта полная невозможность опубликования “Собачьего сердца” по написании его — и есть настоящий успех, успех, так сказать, химически чистый, совершенно свободный от тщеславия, никак не сопряженный с авторским самолюбием, далеким от уверенности в своем превосходстве и не зависимым от коммерческих побуждений… Сам большевицкий социализм тут подвергается издевательству... Есть некая общая, точная мысль... именно для того, чтобы найти этой общей мысли выражение, и написал Булгаков “Собачье сердце”... Слишком, как видно, показалась соблазнительной возможность сравнения операции, перенесенной Шариком, с операцией, проделанной над русским пролетариатом товарищем Лениным. Только операция профессора Преображенского повлекла за собой им же проделанную контроперацию. Если допустить, что у НЭПа и есть некоторые черты, позволяющие сделать соответствующее сравнение, то нельзя забывать, что НЭП был лишь временной уступкой здравому смыслу и что если бы Ленин не заболел и не умер, то НЭП был бы им отменен и к старому возврата не произошло бы. Так что удары, которые нанес бы Булгаков Председателю Совнаркома, появись эта книга в год ее написания, даже при НЭПе сохранили бы всю свою силу»[15].

В Советском Союзе повесть впервые была опубликована в журнале «Знамя» (1987. № 6).

Лариса Эпиктетова

---

[1] Струве Н.А. Собачье сердце. — Михаил Булгаков. Париж: YMCA-Press, 1969. 160 с. // Вестник РСХД (Париж). 1969. № 94. С. 173.

[2] Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988. С. 245.

[3] «Никитинские субботники» — литературно-художественный кружок (1914–1933), организованный литературоведом Е.Ф. Никитиной по инициативе профессоров Московского университета И.Н. Розанова, П.Н. Сакулина и А.Н. Веселовского. Среди участников — студенты-выпускники Московского университета и Высших женских курсов, писатели и литературоведы различных творческих ориентаций, а также артисты.

[4] Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 245.

[5] Там же. С. 246.

[6] Там же.

[7] Сводка Секретного отдела ОГПУ № 110. (9 марта 1925 г.). Цит. по: Шенталинский В.А. Рабы свободы. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 103–105.

[8] Там же. С. 106–107.

[9] Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 247.

[10] Там же.

[11] Там же. С. 252.

[12] Цит. по: Шенталинский В.А. Рабы свободы. С. 130, 132.

[13] Струве Н.А. Собачье сердце… С. 172–174.

[14] Имеется в виду намечавшееся в СССР широкое празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина — 22 апреля 1970 г.

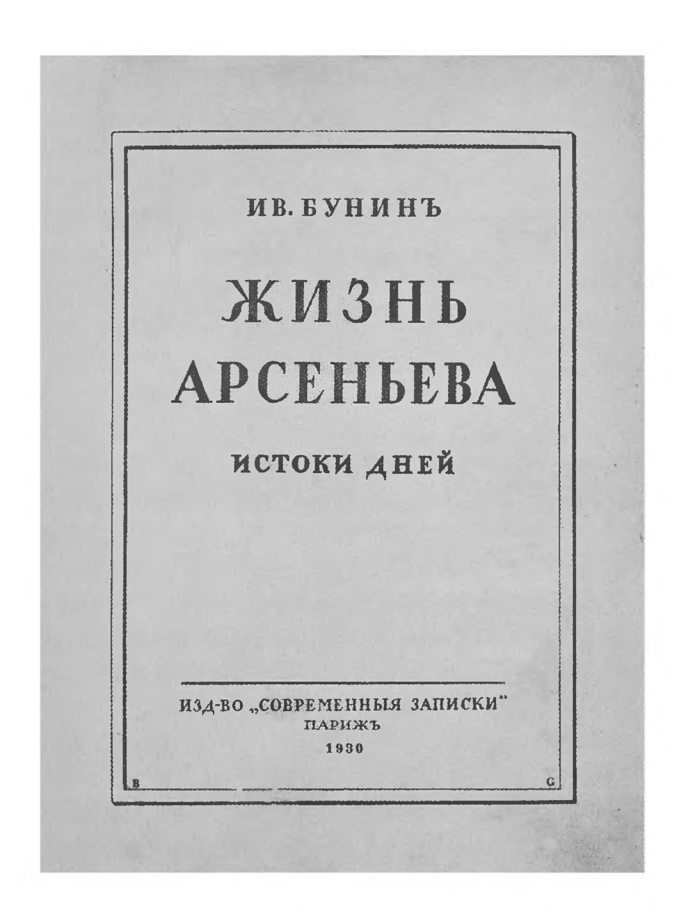
[15] Горбов Я.Н. Литературные заметки: Михаил Булгаков «Собачье сердце» // Возрождение: Независимый литературно-политический журнал. 1970. № 221 (май).

16

БУНИН И.А.

Жизнь Арсеньева: Истоки дней

/ Ив. Бунин. — Париж: Изд-во «Современные записки», 1930. — 263, [1] с.; 21,2×14,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



ИЗД-ВО „СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ"

Выходец из обедневшей дворянской семьи, не получивший хоть сколько-нибудь систематического образования, Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) начал писать стихи с семилетнего возраста, подражая А.С. Пушкину и М.Ю. Лермонтову. В печати он дебютировал в 1877 году на страницах иллюстрированного приложения газеты «Родина» стихотворениями «Над могилой С.Я. Надсона» и «Деревенский нищий», после чего последовали публикации в одном из самых читаемых журналов того времени «Книжки недели» и в газете «Орловский вестник», где с осени 1889 года Бунин, по его признанию, «был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком»[1]. В издательстве орловской газеты вышла и первая книжка его стихов («чисто юношеских, не в меру интимных»), вяло встреченная немногочисленными рецензентами. Однако первая книга прозы — «“На край света” и другие рассказы» (1897) и второй стихотворный сборник — «Под открытым небом» (1898) сразу ввели Бунина в большую литературу как автора, подающего серьезные надежды.

После недолгого альянса с символистами (выпущенный в 1901 году издательством «Скорпион» сборник «Листопад» снискал автору репутацию «поэта природы», «поэта русского пейзажа») Бунин сближается с М. Горьким и начинает многолетнее сотрудничество с издательством «Знание». Регулярно печатаясь в «знаньевских» сборниках, имевших огромный успех у «демократической общественности», он, тем не менее, оставаясь верным себе, никогда не позволял подчинить свое творчество задачам революционной пропаганды, чем вызывал недовольство «прогрессивных» критиков, с тревогой указывавших на вымывание из бунинской прозы «социально-бытового элемента», на отсутствие в ней социальных типов и преобладание лирического, живописно-изобразительного начала. Если, рассуждая о рассказах и очерках Бунина, критики отмечали приемы поэтизации прозы, то в связи с его стихотворными произведениями писали о «прозаизации» поэзии; действительно, ее своеобразие во многом определяется целомудренной сдержанностью в выражении чувств и эмоций, вниманием к предметной детали, использованием прозаизмов и диалектных выражений.



Иван Бунин. Париж. 1937

Несмотря на официальное признание, выразившееся в виде двух половинных Пушкинских премий (1903, 1909) и в избрании почетным академиком по разряду изящной словесности в Императорскую академию наук, широкую известность писатель приобрел лишь после скандального успеха повести «Деревня» (1909), открывшей целую серию произведений, «резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы» (из бунинского предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско»). В рассказах, последовавших за «Деревней» и составивших сборники «Суходол» (1912), «Иоанн Рыдалец» (1913), «Чаша жизни» (1915), Бунин, вопреки давлению критиков, обвинявших его в барском высокомерии и тенденциозном очернительстве российской действительности, с беспощадностью показывал «идиотизм деревенской жизни», живописал физическое и моральное разложение патриархального крестьянства, совмещая трепетный лиризм и красочность описаний с жестоким натурализмом, пафосом разрушения живучих народнических мифов.

В статусе писателя первого ряда Бунин утвердился после публикации рассказа «Господин из Сан-Франциско» (1915), принесшего ему репутацию живого классика, достойного продолжателя Л.Н. Толстого и А.П. Чехова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АНКЕТА

Редакція «Чиселъ» обратилась къ ряду писателей съ просьбой отвѣтить на слѣдующую анкету:

1. *Считаете-ли Вы, что русская литература переживаетъ въ настоящее время періодъ упадка?*
2. *Если да, — въ чемъ Вы видите признаки этого явленія и*
3. *каковы его причины?*

До настоящаго времени получены слѣдующіе отвѣты:

I.

Не вижу признаковъ особаго упадка въ современной русской литературѣ. И въ эмиграціи, и въ совѣтской Россіи есть немало талантливыхъ писателей, и они много работаютъ, несмотря на очень тяжелыя условія: у нихъ невыносимый гнетъ и бытовой адъ, у насъ «оторванность отъ почвы» и отсутствіе издательствъ, у нихъ и у насъ всякія матеріальныя трудности.

Новаго Толстого, разумѣется, нѣтъ, но Толстые рождаются разъ въ тысячелѣтіе.

М. Алдановъ

II.

Вопросъ: — «Переживаетъ-ли русская литература въ настоящее время упадокъ?» — подразумѣваетъ, очевидно, подъ «настоящимъ временемъ» послѣдніе пять-десять лѣтъ. Но можно-ли, говоря о жизни литературы, принимать въ разсчетъ столь малые сроки?

Во всякомъ случаѣ, упадка за послѣднее десятилѣтіе, на мой взглядъ, не произошло. Изъ видныхъ писателей, какъ зарубежныхъ, такъ и «совѣтскихъ», ни одинъ, кажется, не утратилъ своего таланта, — напротивъ, почти всѣ окрѣпли, выросли. А кромѣ того, здѣсь, за рубежомъ, появилось и нѣсколько новыхъ талантовъ, безспорныхъ по своимъ художественнымъ качествамъ и весьма интересныхъ въ смыслѣ вліянія на нихъ современности.

Ив. Бунинъ

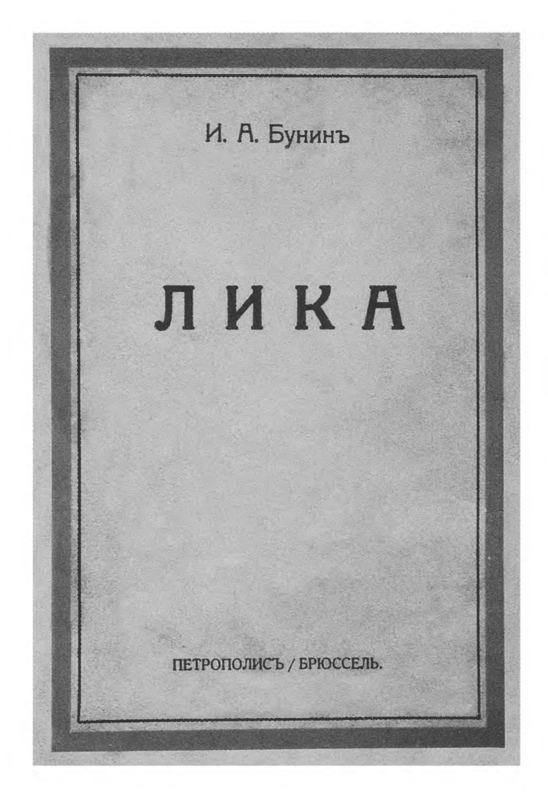
Литературная анкета в парижском журнале «Числа» (1930. № 2/3. С. 318)

В годы эмиграции Бунин, поначалу переживавший мучительный творческий и душевный кризис, создал лучшие свои произведения, среди которых особое место занимает «Жизнь Арсеньева» — лиро-эпическое повествование, воскрешающее детские и юношеские впечатления писателя и в то же время представляющее грандиозную панораму российской жизни конца XIX века.

Работа над этим произведением, пусть и с большими перерывами, длилась не одно десятилетие. Согласно авторским пометкам, оставленным на рукописи «Жизни Арсеньева», она была начата в июне 1927 года. Однако первые наброски («Безымянные записки», «Книга моей жизни») были сделаны еще в 1921 году, а несколько рассказов дореволюционного периода («Далекое»[2], «У истока дней»[3]) рассматривались писателем как ранние редакции начальных глав будущего произведения. При переиздании в эмигрантской периодике эти рассказы получили новые названия: «Восемь лет» (Последние новости. 1937. 22 августа) и «Зеркало» (Последние новости. 1929. 29 декабря), а к ним — характерные подзаголовки: «Жизнь Арсеньева. Вариант первого наброска», «Из давних набросков “Жизни Арсеньева”».

В 1927–1929 годах были написаны первые четыре книги «Жизни Арсеньева»; их фрагменты печатались в парижских газетах (Дни. 1927. 25 декабря; Россия.

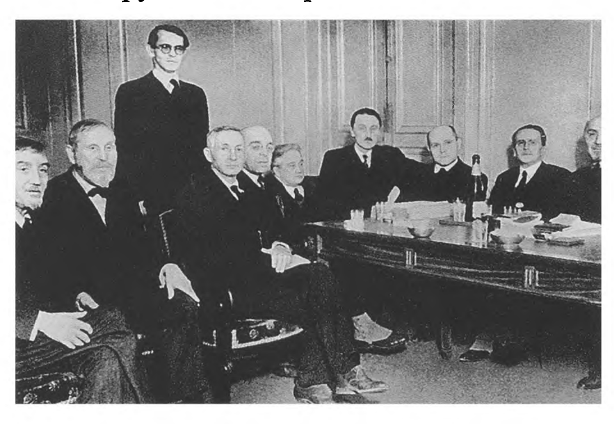
1927. 29 октября, 24 декабря; Последние новости. 1928, 1 января, 7 января, 4 марта, 8 апреля, 22 ноября, 2 декабря; 1929. 5 мая, 30 октября); после журнальной публикации всех четырех книг (Современные записки. 1928. № 34, 35, 37; 1929. № 40) они были изданы издательством «Современные записки» (Париж, 1930) с подзаголовком «Истоки дней» и позже вошли в одиннадцатитомное собрание бунинских сочинений, выпущенное берлинским издательством «Петрополис» (1934–1936). Отрывки из пятой части периодически появлялись в газете «Последние новости» (1932. 25 декабря; 1933. 15 января; 29 января; 1938. 25 декабря; 1939. 1 января) и в журнале «Современные записки» (1933. № 52, 53). В 1939 году она вышла в Брюсселе отдельным изданием под заглавием: «Жизнь Арсеньева. Роман. II. Лика»; тем самым автор ясно давал понять, что «Лика» — неотъемлемая часть «Жизни Арсеньева».



Обложка книги И.А. Бунина «Лика» (Брюссель, 1939)

Полное издание бунинского шедевра состоялось за год до смерти автора (Жизнь Арсеньева: Юность. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952), который почти до самого конца продолжал вносить в текст все новые и новые исправления: последние из них датируются 17 марта 1952 года.

Из всех бунинских произведений «Жизнь Арсеньева» имела самую счастливую судьбу: критики русского зарубежья единодушно признали ее вершинным достижением писателя, а для шведских академиков именно эта вещь стала одним из главных аргументов в пользу присуждения Бунину Нобелевской премии.


Чествование Бунина — нобелевского лауреата — в редакции газеты «Возрождение». Слева направо: А. Куприн, А. Плещеев, В. Ходасевич, И. Бунин, Э. Гукасов, С. Яблоновский, Б. Зайцев, И. Лукаш, М. Бернацкий, А. Гукасов. Париж. 1933

Уже первые журнальные публикации «Жизни Арсеньева» были тепло встречены в эмигрант-

ской прессе. «Все семьдесят пять страниц, составляющих первую книгу жизни Арсеньева, описание раннего детства, прекрасны, совершенны и упоительны. Да, это, может быть, лучшее, что написал Бунин. Да, это искусство простое и сложнейшее, каждому доступное и ни перед кем не раскрывающее до конца своей "тайны". Но перед таким искусством не хочется мудрствовать и "рассуждать". Хочется другого — перечитывать эти удивительные страницы, радоваться им и тому, что это написано в наши дни и на нашем языке»[4]; «Ничего такого Бунин еще не давал! Все, что он написал раньше, ощущается как подготовительная работа к этому замечательному созданию, которое, конечно, есть украшение русской, а тем самым и мировой литературы»[5]; «Подлинно, "Жизнь Арсеньева" — огромный литературный факт, один из тех немногих и редчайших, появление которых должно рождать чувство гордости у современников. Трезвое, спокойное, даже порой деловитое изложение самых простых событий — и вместе с тем ощущение какого-то неизменного *величия человеческой жизни*. Много трудного в этой жизни, печального и отталкивающего — и все же человек в оправе чудесного Божьего мира представляется явлением громадным в своей духовной значительности, нравственно великим и житейски бесконечно привлекательным… Есть что-то символически отрадное в появлении в условиях нашего безвременья, в той атмосфере морального разложения, уныния и упадка, которые характеризуют будничную современность, такой живительной, бодрящей и вместе поэтически пленительной книги. Бунин как бы протягивает руку помощи нашему веку и раскрывает перед ним те неизреченные красоты жизни, мимо которых он, как слепорожденный, готов пройти. Испытываешь чувство бесконечной благодарности к поэту, который силой своего гения так блистательно утверждает достоинство, красоту и величие человеческой жизни»[6].

В то время как одни критики писали о лирической природе бунинского шедевра, другие указывали на масштабность изображенной картины, на эпическую невозмутимость и бесстрастность повествования и не без основания утверждали, что «книга Бунина с редкой искренностью и проникновенностью вскрывает самую сердцевину русской жизни в предгрозовой период»[7].

Среди первых откликов тонкостью суждений и глубиной проникновения в авторский замысел выделяются рецензии В. Вейдле (они получили одобрение самого Бунина[8]), писавшего о «Жизни Арсеньева» как о квинтэссенции всего бунинского творчества: «…можно сказать, что она будет самой исчерпывающей, самой полной — окончательной, в известном смысле, — книгой Бунина. Все возможности, как и все границы его искусства, будут показаны в ней с еще небывалой глубиной. Каждая фраза, каждое слово "Жизни Арсеньева" имеют только Бунину нужный и только Буниным достигаемый вес и звук; все переживания, все помыслы из нее исключены, которые не принадлежали бы к неизменной сердцевине бунинского творчества»[9].

Назвав «Жизнь Арсеньева» «одной из лучших книг» Бунина, «и притом такой, что к ней особенно трудно будет применить наши впрок заготовленные похвалы и заранее расчисленные мерки», критик проницательно

указывал на поэтическую природу ее повествования: «“Жизнь Арсеньева” написана целиком в тоне восклицательном, высоком, как величественная, полная ужаса, восторга и печали, повествующая, но и прославляющая ода. Построена она не столько в виде воспоминаний, автобиографии или исповеди главного ее героя, сколько как непрекращающаяся хвала всему сущему и прежде всего собственному бытию… Ни в русской, да и ни в какой другой литературе… не знаю, с чем сравнить это повествовательное песнопение, этот гимн благодарности молодости, миру и себе, т.е. позволению творить, полученному свыше, возможности и предчувствию творчества»[10].

Николай Мельников

---

[1] Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. / под общ. ред. А.С. Мясникова, Б.С. Рюрикова, А.Т. Твардовского. М.: Художественная литература, 1965–1967. Т. 9. С. 260.

[2] Впервые опубликован в московском журнале «Правда» (1904. № 3) под заглавием «В хлебах»; при включении в «Полное собрание сочинений» был переименован в «Сон Обломова-внука».

[3] Впервые: Шиповник. 1907. Кн. 2.

[4] Иванов Г. [Рец.:] «Современные записки» № 34. Часть литературная // Дни (Париж). 1928. 25 марта. С. 3.

[5] Зайцев К. «Жизнь Арсеньева» Бунина // Россия и славянство (Париж). 1929. 5 января. С. 3.

[6] Он же. «Бунинский» мир и «Сиринский» мир // Россия и славянство. 1929. 9 ноября. С. 3.

[7] Савельев А. <С. Шерман> [Рец.:] Жизнь Арсеньева. Истоки дней. Париж: Современные записки, 1930 // Руль (Берлин). 1930. 14 мая. С. 5.

[8] См. письмо Бунина Ходасевичу от 14 января 1929 г.: «А Вейдле, пожалуйста, предайте мой самый сердечный привет, у меня к нему большое благодарное чувство — я все-таки не избалован умными словами читателей и критиков» (Переписка И.А. и В.Н. Буниных с В.Ф. Ходасевичем (1926–1939) / публ. Дж. Малмстада // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 1 / сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М.: Русский путь, 2004. С. 189).

[9] Вейдле В. [Рец.:] Современные записки. XXXV // Возрождение (Париж). 1928. 21 июня. С. 3.

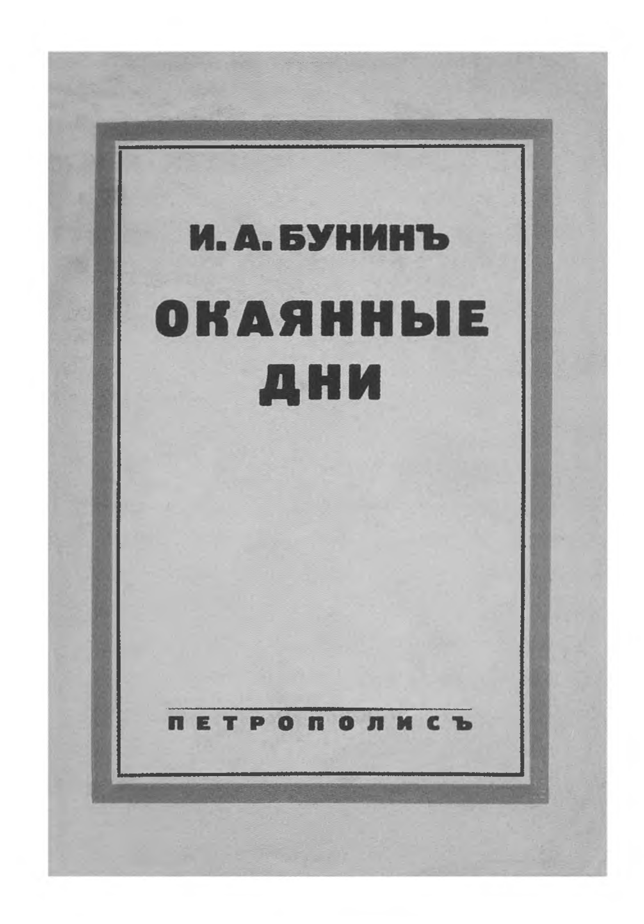
[10] Там же.

17

БУНИН И.А.

Окаянные дни

/ Иван Бунин. — Берлин: Петрополис, 1935. — 253, [1] с.; 19,5×13,5 см. — (Собрание сочинений. Т. 10). В шрифтовой трехцветной издательской обложке.





Основу книги, вошедшей в 10-й том берлинского Собрания сочинений И.А. Бунина, составили литературно обработанные дневниковые записи, которые писатель вел в Москве (с января 1918 по 24 марта 1919-го) и Одессе (с апреля по июнь 1919 года). До книжной публикации эти дневниковые записи в течение двух лет печатались с большими перерывами в парижской газете «Возрождение» — первый отрывок был опубликован в первом номере газеты 3 июня 1925 года.

Готовя «Окаянные дни» для собрания сочинений, Бунин подверг их значительной переработке — «благодаря отдельным сокращениям и устранениям лишних повторов текст стал более сжатым и компактным»[1], в то же время он был дополнен фрагментами из дореволюционного дневника и записями периода эмиграции, не связанными напрямую с описываемыми эпизодами, а также отступлениями историософского характера, с помощью которых автор «осмысливает события, потрясшие Россию, в их исторической перспективе», «разыскивая предпосылки и истоки “окаянного” настоящего в прошлом, отвергая... распространенный взгляд на революцию как на “стихию”»[2]. В конце 1950-х годов Бунин вновь внес правку в текст «Окаянных дней»: авторский экземпляр берлинского

издания, ныне хранящийся в Российской государственной библиотеке (Москва), испещрен разного рода пометами и вставками.

Несмотря на свою дневниковую основу, «Окаянные дни» — произведение, занимающее пограничное положение между документальной и художественной литературой; в нем «отразились главные черты поэтики Бунина и ведущие темы его творчества: прошлое и его воссоздание в настоящем, в памяти, вечность и история, ужас смерти, красота и безобразие жизни, Россия между Западом и Востоком, загадка "русской души"»[3]. Фактологическая точность сочетается здесь с памфлетной тенденциозностью и лирической исповедальностью; очерки нравов и яркие бытовые зарисовки, передающие атмосферу революционного лихолетья, венчаются глубокими философскими обобщениями, сиюминутные впечатления — экскурсами в прошлое России, к истокам русского национального характера, с его неизбывными «болезнями» — «скукой», «разбалованностью», «вечной надеждой, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко».

Широко используя документальный материал, обильно цитируя декреты, газетные статьи и политические брошюры, упоминая множество современников, с фотографической точностью запечатлевая приметы революционного быта, автор «Окаянных дней» не довольствуется ролью беспристрастного летописца и весьма экспрессивно выражает свое отношение к происходящему. Воспроизводя образчики «совершенно нестерпимого большевистского жаргона», описывая представителей новой власти или воссоздавая уличные сценки (как правило, демонстрирующие всеобщее падение нравов и культурную деградацию), Бунин не оставляет их без гневного комментария и не скупится на уничижительные эпитеты и саркастические замечания.

Авторское «я» последовательно противопоставляется окружающему миру «поголовного хама и зверя», в котором «все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия». Из наблюдений и страстных монологов автора складывается мрачная апокалиптическая картина гибели некогда процветавшей страны, где «вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество». Социально-политическая катастрофа сопровождается крахом традиционных гуманистических ценностей, почти всеобщим озверением, опошлением языка и литературы, что особенно болезненно воспринимается писателем.

Осмысляя ключевые для интеллигентского сознания темы — народ и революция, свобода и насилие, — Бунин последовательно развенчивает миф о «романтике революции». Для него «революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя». Разоблачая большевистскую идеологию, он камня на камне не оставляет и от вскормившего ее народнического идеализма и интеллигентского утопизма, всегда подменявшего знание жизни умозрительными конструкциями. По верному замечанию немецкого критика, «ненависть

Бунина, породившая очерки “Окаянные дни”, — это ненависть инстинкта к разуму, который уничтожает всякое изначально непрерывное устройство жизни, разрушает его и заменяет рационально-конструктивными организациями. Гнев и ненависть бунинских “Окаянных дней” направлены против разрушителя, а боль и скорбь обращены к поверженному»[4].

Антиреволюционный и антисоветский пафос, пронизывающий «Окаянные дни», разумеется, исключал возможность их напечатания в стране победившего социализма.

Тем не менее некоторые советские литераторы ознакомились с содержанием «Окаянных дней» еще в 1940-е годы. Например, Вс. Вишневский на страницах своего дневника оставил о книге следующий отзыв (запись от 1 марта 1945):

«Читал Бунина “Окаянные дни”. Это сильно, злобно, талантливо: Москва в начале 1918-го, Одесса в 1919-м. (Вспомнил свои переживания в те годы!) Да, Бунин талантлив, но обывательски злобен до предела, и за всем этим — боль, любовь к России, проникновенность.

В свете всех событий, с высоты побед, — прощаешь старику его брюзжание, проклятия и вопли. Россия идет своим шагом, делает свое дело, а Бунин останется для истории литературы и, может быть, для будущих читателей, которым захочется прочесть о предреволюционной поре, об умирающей дворянской России.

Дневник Бунина касается людей, которых я знал лично (Горький, Алексей Толстой и пр.). Читать трудно — все грубо, едко, беспощадно (хотя многое в жизни и трудно и беспощадно).

Иногда волнует ощущение природы России, ее естества, но у Бунина аспект толпы, народа — злой, дурной, неверный. Наш Человек оказался выше, умнее, отчаяннее, шире, *бесконечно* шире и глубже. У Бунина морды, неверие, звериная злоба, тупость, матросы в клешах, типы с желваками жующих челюстей, бойцы (в “развратных галифе”) с “намазанными сучками”... Разгульная, тупая, беспощадная толпа.

Если вы, Бунин, еще живы, да будет вам стыдно!»[5]

На протяжении многих лет в работах советских литературоведов, писавших о Бунине, «Окаянные дни» упоминались вскользь и оценивались крайне негативно. Избегая подробного разбора книги, представители советского литературного официоза ограничивались грубыми инвективами в адрес писателя и безапелляционными заявлениями: «...в дневнике “Окаянные дни” отразилась вся полнота контрреволюционной предубежденности человека, утратившего чувство высокой ответственности перед родиной»[6]; «“Окаянные дни” находятся за гранью искусства»[7].

А.А. Нинов утверждал, что «Окаянные дни» как художественное произведение не имеют никакой ценности: «Нет здесь ни России, ни ее народа в дни революции. Есть лишь одержимый ненавистью человек. Эта книга правдива лишь в одном отношении — как откровенный документ внутреннего разрыва Бунина со старой либерально-демократической традицией»[8].

В предисловии к девятитомному собранию сочинений Бунина, куда, разумеется, «Окаянные дни» не были включены, А.Т. Твардовский уклонился от рассмотрения книги, отделавшись уничижительным пассажем:

«Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917–1919 годов, "Окаянные дни", где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу "его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук", застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, — эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих "Днях", не уступающих в контрреволюционности более известным у нас "Дням" Шульгина»[9].

Даже в перестроечную эпоху, когда вместе с потоком «возвращенной литературы» «Окаянные дни» пришли к широкому советскому читателю, буниновед О.Н. Михайлов сравнивал их автора с юродивым, который, «шевеля веригами, под звон дурацкого колокольчика исступленно кричит хулы... проклинает революцию»[10].

В советской печати «Окаянные дни» сначала появились с купюрами (Даугава. 1989. № 3–5; Литературное обозрение. 1989. № 4, 6, 7). Первые публикаторы не позволили Бунину покуситься на святая святых и не стали печатать «нестерпимо грубые выпады в адрес Ленина».

Полное издание «Окаянных дней», воспроизводящее 10-й том берлинского Собрания сочинений, вышло за год до развала СССР в издательстве «Советский писатель».

Николай Мельников

---

[1] Риникер Д. «Окаянные дни» как часть творческого наследия И.А. Бунина. Цит. по: И.А. Бунин: Pro et contra / сост. Б.В. Аверина, Д. Риникера. СПб.: РХГИ, 2001. С. 630.

[2] Там же. С. 643.

[3] Там же. С. 650.

[4] Хенцш Ф. Иван Бунин, певец ушедшей России. Цит. по: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И.А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н.Г. Мельникова. М.: Русский путь, 2010. С. 758.

[5] Вишневский Вс. Статьи, дневники, письма. М.: Советский писатель, 1961. С. 485.

[6] Бузник В.В. Русская советская проза двадцатых годов. Л.: Наука, 1975. С. 72–73.

[7] Андреев Ю.А. Революция и литература: Октябрь и гражданская война в русской советской литературе и становление социалистического реализма (20–30-е годы). М.: Художественная литература, 1987. С. 35.

[8] Нинов А.А. М. Горький и Ив. Бунин: История отношений. Проблемы творчества. Л.: Советский писатель, 1984. С. 521.

[9] Твардовский А. О Бунине // Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. / под общ. ред. А.С. Мясникова, Б.С. Рюрикова, А.Т. Твардовского. М.: Художественная литература, 1965–1967. Т. 1. С. 31.

[10] Михайлов О. «Окаянные дни» Бунина: Литературная критика // Москва. 1989. № 3. С. 187.

18

БУНИН И.А.

Темные аллеи

/ Иван Бунин. — Нью-Йорк: Изд-во «Новая Земля», 1943. — 152 с.; 18×13,5 см.
В синем цельнотканевом переплете, выполненном в конце XX века.



Темные аллеи

/ Иван Бунин; обл. Б. Гроссера. — Париж: La Presse Française et étrangère, 1946. — 324, [4] с.; 19×12 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «“Декамерон” написан был во время чумы. “Темные аллеи” в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожрать один другого. Ив. Бунин».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

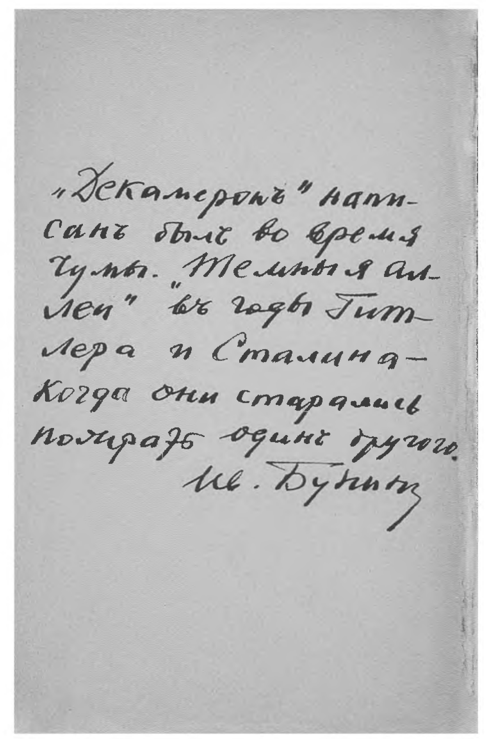
Книгу, ставшую лебединой песнью Бунина (последний оригинальный сборник художественной прозы, выпущенный им при жизни), составили рассказы, написанные в период с 1937 по 1944 год. Большинство из них было создано во время Второй мировой войны, когда юг Франции, где жили Бунины, был оккупирован итальянскими, а затем и немецкими войсками.

Некоторые произведения впервые увидели свет на страницах периодических изданий русской Америки (в «Новом русском слове», «Новоселье» и «Новом журнале»).

В первое, нью-йоркское, издание «Темных аллей» вошло одиннадцать рассказов из двадцати, написанных Буниным к тому времени: «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Степа», «Муза», «Поздний час», «Руся»,



Обложка книги «Темные аллеи» (Париж, 1946)



Автограф автора на авантитуле

«Таня», «В Париже», «Натали» и «Апрель». Во вступительной заметке «От издательства» сообщалось: «“Темные аллеи” выходят без авторской корректуры. Издательство не имеет, к сожалению, возможности снестись с И.А. Буниным. Между тем оно было вынуждено разделить книгу знаменитого писателя на два тома. Настоящий том заключает в себе лишь половину рассказов, составляющих эту книгу. Автор ее, естественно, не несет никакой ответственности за раздел и за другие недостатки, которые могут быть у издания. Редакционная коллегия “Новой Земли” считает себя обязанной довести об этом до сведения читателей в надежде, что они, как и сам И.А. Бунин, примут во внимание исключительные условия нашего времени. Май, 1943 г.».

Второе, более полное издание «Темных аллей» вышло уже после войны (Париж: La Presse Française et étrangère, 1946) в количестве 2000 экземпляров и включало уже тридцать восемь рассказов, объединенных темой любви (точнее — всепоглощающей страсти) и смерти.

Внимание автора к чувственным аспектам любви, пластическая выразительность эротических деталей (вполне невинных по нынешним меркам), пикантность некоторых сюжетных ситуаций, — все эти особенности «Темных аллей» нарушали моральные табу целомудренно-стыдливой русской литературы, что пришлось по вкусу далеко не всем. Уже первые журнальные публикации рассказов, вошедших в книгу, были враждебно восприняты многими читателями. «Не скрою от Вас, — писал Бунину М. Алданов, устроивший публикацию нескольких рассказов в «Новом

журнале», — редакция “Нового журнала” получала письма с протестами против “эротики” и отдельных слов в Ваших рассказах!!! Одно пришло от ученого… “Как же можно? У меня жена” и т. д. Мы не ответили»[1].

В историях «Темных аллей», которые, по словам Г. Струве, «в своем сочетании вещественной плотности, какой-то осязательности письма с лирической глубиной и силой, принадлежат к лучшим рассказам о любви-страсти в русской литературе», многие «увидели не только проявление упадка бунинского таланта, но и какой-то старческий эротизм, чуть ли не порнографию»[2]. Как вспоминал Г. Адамович, посвятивший «Темным аллеям» благожелательную рецензию (Русские новости. 1947. 3 января), «в печати отзывы были, как обычно, одобрительные, даже восторженные: кто же, в самом деле, кроме людей литературе чуждых, отважился бы Бунина на склоне его лет бранить? Но “устная пресса” была несколько другая. Многие почтеннейшие люди сокрушенно качали головой и, не отрицая художественных достоинств рассказов, удивлялись их темам, их характеру»[3].

Ознакомившись с нью-йоркским изданием «Темных аллей», в январе 1944 года прозаик Г. Гребенщиков возмущенно писал М. Алданову: «Хотя Вы и возносите И.А. Бунина… но последние его рассказы, эта скользкая эротика, забава бывших и, слава Богу, изгнанных из быта барчуков, растлевающих своих горничных, — меня оттолкнули от него»[4]. В письмах своим особо доверенным корреспондентам неистовствовал И.С. Шмелев: «Бунин продолжает в разных журнальчиках похабничать… Я не читал — говорят. Что-то гнуснейшее в рассказике “Гость” в 1½ стр. в “Новосельи” (американском). Кое-что цитировал мне Зеелер (генеральный секретарь Союза писателей) из вышедшей в Америке тетрадки — рассказ “Трактир”. Между прочим: “На эстраду вышло штук 15 бл-денок”… Богатеет литература русская… ***Что — это?!.*** На склоне так похабить *словом*, каким ***словом***…» (из письма И.А. Ильину от 3 августа 1946)[5].

«Темные аллеи» вызвали нарекания не только у записных бунинских недоброжелателей вроде Г.Д. Гребенщикова и И.С. Шмелева, но и у литераторов, расположенных к Бунину. В частности, у З.А. Шаховской, которой Бунин подарил экземпляр книги с прочувствованной дарственной надписью: «“Декамерон” написан был во время чумы. “Темные аллеи” в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожрать один другого. Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца»[6]. В «Темных аллеях» Шаховская учуяла «привкус натурализма, какой-то, что ли, провинциальности. Да к тому же русский язык таков, что в делах любви больше ему подходят намеки, многоточия, умолчания»[7].

Примерно в таких же выражениях высказывали свои претензии к маститому автору и те немногие критики, кто откликнулся на книгу или публикации отдельных рассказов. Самым строгим из них оказался Л. Камышников, который назвал «странным» один из лучших рассказов сборника «Натали», впервые опубликованный во втором номере «Нового журнала»: «Такова уж судьба русской литературы, что чувственные изображения ей не удаются. Возьмись за бунинскую тему какой-нибудь француз, все вышло бы очень гладко. Юноша-студент влюбляется в пер-

вый раз в жизни и сразу в двух. Мопассан, вероятно, дал бы такую насыщенность физического угара, которая оправдала бы психологический надлом, произошедший в душе влюбленного юноши. Бунин — насквозь русский писатель, и его угар в значительной мере проветривается чистым воздухом строгой морали, этой специально русской системы душевного освежения и нравственного очищения. Но именно поэтому в его рассказе дурное выступает с особенной резкостью. Вот когда формула "чем хуже, тем лучше" может быть вывернута наизнанку. — "Чем лучше, тем хуже". Уж лучше бы не оправдывался писатель перед читателем и не говорил бы о своем душевном надломе, а то выходит как-то неловко и неубедительно»[8].

Даже давний бунинский друг Ф.А. Степун, в эссе «И.А. Бунин и русская литература» интересно рассуждавший о трагическом пафосе и метафизической глубине любовных историй «Темных аллей» («через все рассказы этого сборника и подпочвенно и поднебесно струится подлинно космическая музыка пола»), признавал, что «в них есть некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей»[9].

«Не слишком ли много эротики? В самой возможности такого вопроса уже есть ответ», — замечала в рецензии на парижское издание «Темных аллей» В. Александрова (В.А. Шварц), тут же, впрочем, спешившая «оговориться»: «...впечатление, что есть иногда какой-то "чересчур", возникает не от отдельных подробностей: их можно даже убрать, а след от впечатления продолжает жить. Дело не в излишестве подробностей. Сущность в особенностях бунинского "ведущего" лирического героя. Всмотритесь в него: в большинстве случаев это еще совсем молодой человек — студент, художник, просто богатый молодой человек. Профессия этого лирического героя — условна, и несущественна фамилия в тех рассказах, где он назван; он не статичен — он движется, волнуется, куда-то стремится. Но он дан в каком-то одном душевном миге, в одном и том же музыкальном ключе. Гамма женских переживаний неизмеримо богаче, и некоторые женские образы нарисованы какой-то почти поющей акварелью»[10].

Признав, что «при всем разнообразии ликов любви и Бунину не дано исчерпать тему», Александрова дипломатично перевела разговор в другую, менее опасную область. Отметив, что «лирическая и стиховая основа бунинской прозы чувствуется в каждой вещи», она обратила внимание читателей на великолепно выполненный пейзажный фон бунинских рассказов: «...так совершенно безукоризненны словесные краски этого фона, что в свете их самые обыкновенные люди, сподобившись этой красоты, начинают жить какой-то второй, углубленной жизнью, а сам фон, как на картинах итальянского Возрождения, воспринимается как самостоятельная тема. Не столько люди с их страстями, сколько бунинские зарисовки русской природы доносят до нас вечную Россию»[11].

Правда, в другой рецензии на то же издание В. Александрова пришла к выводу, что «Бунин в своем реализме не переходит каких-то невидимых границ, за которыми начинается натурализм»[12].

С ней был солидарен А. Бахрах. В отзыве на журнальную публикацию рассказа «Зойка и Валерия» он, отводя от автора возможные упреки в без-

нравственности, настаивал на том, что отрицать «чисто художественные достоинства» рассказа во имя «какой-то ханжеской псевдоидеи о засорении нравов значит отрицать задачи искусства, диктуя ему границы, в которых рано или поздно оно должно будет увянуть»[13].

Эта же мысль звучала и в рецензии Г. Адамовича: «Бунинская книга кажется необыкновенной и смелой лишь в литературе русской, где по историческим условиям дух Возрождения никогда силен не был, а если иногда и пытался пробиться и вспыхнуть, как у Пушкина, то сейчас же чахнул и гас под аскетическими ветрами… Когда-нибудь смешно и грустно будет вспоминать, что Бунину на старости лет приходилось выслушивать обвинения в потворстве “низким инстинктам”»[14].

Бунин, не без основания считавший «Темные аллеи» своей лучшей книгой, неустанно защищал ее от обвинений в безнравственности. Так, замечание в эссе Степуна вызвало у него вполне обоснованные возражения, которые он изложил в письме от 10 марта 1951 года: «Жаль, что Вы написали в “Возрождении”, что в “Темных аллеях” *есть* некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей… Какой там “избыток”! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов “рассматривают” всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже *моды* женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное?»[15]

А в письме от 1 апреля 1947 года он заверял своего старого друга Н.Д. Телешова: «…не смущайся ее некоторыми смелыми местами — в общем она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, — думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни, — и не один я так думаю»[16].

Николай Мельников

---

[1] Письмо М.А. Алданова к И.А. Бунину от 6 мая 1946 г. Цит. по: Переписка И.А. Бунина с М.А. Алдановым / публ. А. Звеерса // Новый журнал (Нью-Йорк). 1983. № 152. С. 165.

[2] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 251.

[3] Цит. по: Адамович Г. Одиночество и свобода / сост. О.А. Коростелев. СПб.: Алетейя, 2002. С. 112.

[4] Цит. по: С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом / под ред. Р. Дэвиса и В.А. Келдыша. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 226.

[5] И.А. Ильин, И.С. Шмелев: Переписка двух Иванов: в 3 кн. Кн. 1: 1927–1934 / сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы; расшифровка и текстол. подгот. писем И.С. Шмелева О.В. Лисицы // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1993–1999. Доп. т. 3 к собр. соч. в 10 т. М., 2000. С. 434–435. [Параллельная нумерация доп. томов.]

[6] См.: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 228–229.

[7] Там же. С. 214.

[8] Камышников Л. Беллетристика: Вторая книга «Нового журнала» // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1942. 3 мая. С. 8.

[9] Степун Ф.А. И.А. Бунин и русская литература // Возрождение (Париж). 1951. № 13. С. 173.

[10] Александрова В. «Темные аллеи» И.А. Бунина // Новое русское слово. 1947. 18 мая. С. 8.

[11] Там же.

[12] Александрова В. [Рец.:] Темные аллеи. Париж: La Presse Française et étrangère, 1946 // Новый журнал. 1947. № 15. С. 296.

[13] Бахрах А. Серое и коричневое: (О поэзии русской эмиграции) // Орион: Литературный альманах. Париж, 1947. С. 155.

[14] Цит. по: Адамович Г. Одиночество и свобода… С. 115.

[15] Цит. по: Новый журнал. 1975. № 118. С. 121.

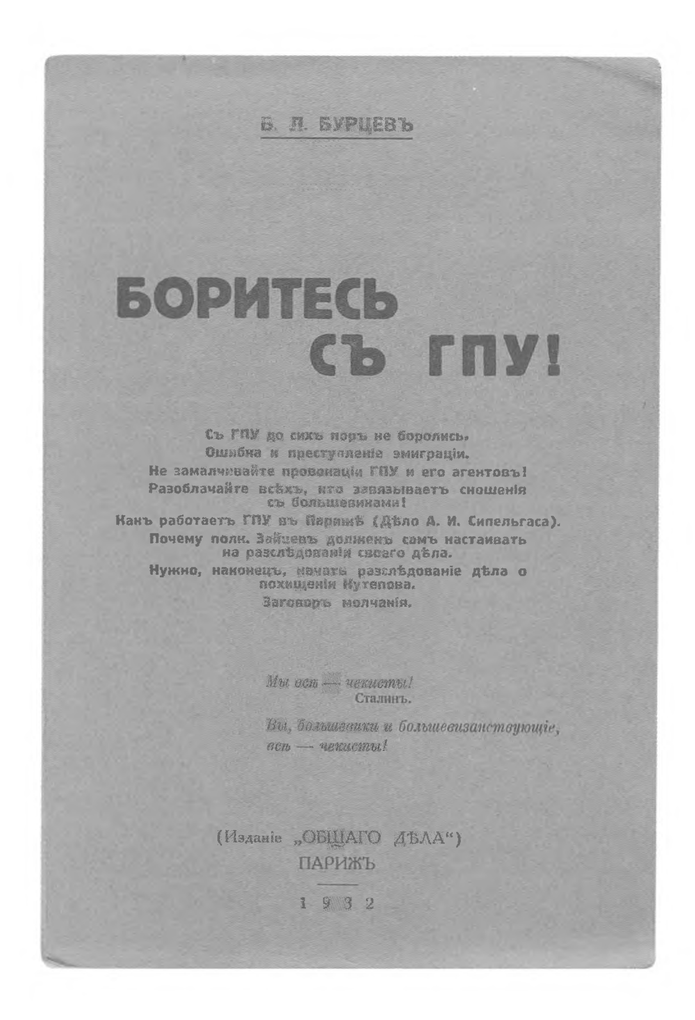
[16] Цит. по: Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин: в 2 кн. М.: Наука, 1973. Кн. 2. С. 634.

19

БУРЦЕВ В.Л.

Боритесь с ГПУ!

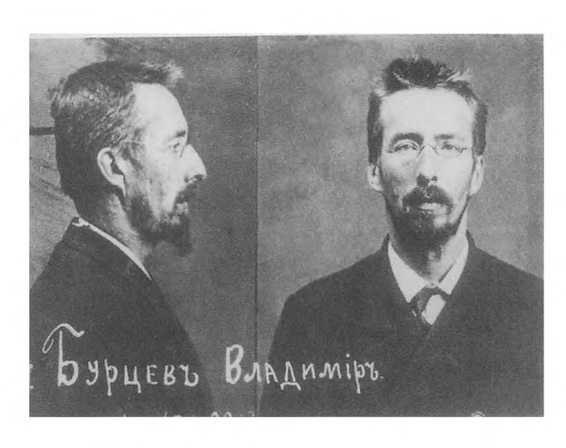
/ Владимир Бурцев. — Париж: Изд. «Общего дела», 1932. — 47, [1] с.; 21×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



(Изданіе „ОБЩАГО ДѢЛА")

Владимир Львович Бурцев родился 17 ноября 1862 года в семье военного. Поступив по окончании гимназии на физико-математический факультет Петербургского университета, он был в 1882 году оттуда исключен за участие в студенческих беспорядках. Продолжив учебу в Казанском университете, юноша не отрекся от революционных идей и в 1885 году был арестован. После года заключения в Петропавловской крепости его выслали в Иркутскую губернию, но в 1888-м он бежал из ссылки, нелегально перебравшись в Швейцарию, где принял участие в издании газеты «Свободная Россия». Вскоре Бурцев прославился как публицист, автор многочисленных статей и брошюр. За издание журнала «Народоволец» (№ 1–3, Лондон, 1897) английские власти приговорили его к восемнадцати месяцам каторжной тюрьмы; отбыв наказание, Бурцев выпустил в Женеве еще один, 4-й номер «Народовольца», после чего был выслан из Швейцарии[1].

В 1900 году Бурцев принялся за издание журнала «Былое», посвященного истории русского освободительного движения. В это время он поддерживал тесные контакты с партией социалистов-революционеров, хотя официально ни в одну партию не входил. С началом революции 1905–1907 годов Бурцев разошелся с эсерами; свои воззрения он изложил в сентябре 1905 года в письме к графу С.Ю. Витте следующим образом:



Владимир Бурцев. Петроград. 1917. Фотография из следственного дела

«Я — террорист, и пока правительство борется с народом и с обществом, я считаю неизбежным для революционеров прибегать к террору. Но если русское правительство... хочет вступить на путь общеевропейского развития, то я считаю, что и революционеры должны прекратить террористическую борьбу и вступить на путь мирной, легальной деятельности»[2].

В ноябре 1905 года, после амнистии, Владимир Львович вернулся в Россию, продолжив в последующие два года издавать в Петербурге журнал «Былое». С 1906-го он активно занялся разоблачением провокаторов в рядах революционного движения, и фактически это стало делом его жизни; после того как он сумел разоблачить Е.Ф. Азефа, за ним закрепилось прозвище «Шерлок Холмс русской революции».

Осенью 1907 года Бурцеву вновь пришлось эмигрировать. В Париже Владимир Львович возобновил издание «Былого», в 1909–1910 годах издавал газету «Общее дело», в 1911–1914 годах — газету «Будущее». С началом Первой мировой войны Бурцев занял «оборонческую» позицию, желая России победы и выступая за временное прекращение революционной борьбы, почему и вернулся на родину в августе 1914 года, но на границе был арестован и приговорен к ссылке. В конце 1915-го по ходатайству французского правительства Бурцева амнистировали.

После Февраля 1917 года неутомимый искатель правды одним из первых поднял вопрос о предательстве большевиков и об их сотрудничестве с немецкой разведкой. В своей газете «Общее дело» Бурцев опубликовал списки эмигрантов, вернувшихся в Россию через территорию Германии. За публикацию разоблачительных материалов о так называемом деле Корнилова газета «Общее дело» была закрыта. 25 октября 1917 года Бурцев издал первый номер газеты «Наше общее дело» с призывом: «Граждане! Спасайте Россию!» и вечером того же дня по приказу Л.Д. Троцкого был арестован, став, таким образом, первым политзаключенным новой большевистской власти.

Освободившись из заключения в феврале 1918 года, Владимир Львович бежал из советской России через Финляндию в Швецию, где опубликовал свое открытое письмо «Проклятие вам, большевики!».

Перебравшись в Париж и возобновив издание газеты «Общее дело», он призывал в своих статьях к единству антибольшевистских сил, к сплочению вокруг А.В. Колчака и А.И. Деникина. В 1919 и 1920 годах Бурцев встречался в Крыму и на Северном Кавказе с Деникиным и Врангелем, безуспешно пытаясь содействовать объединению различных слоев русской эмиграции для совместной борьбы с большевиками.

В 1920-е годы, работая во Франции над мемуарами, Бурцев одновременно вел настойчивую борьбу с советской агентурой, укоренявшейся в среде российской эмиграции: в частности, указывал на то, что организация «Трест» — крупномасштабная провокация ГПУ. В ходе этой борьбы он опубликовал в Париже ряд брошюр: «Юбилей предателей и убийц (1917–1927)» (1927), «В защиту правды» (1931), «Боритесь с ГПУ!» (1932), «Преступление и наказание большевиков» (1938), «Большевицкие гангстеры в Париже: похищения генерала Миллера и генерала Кутепова» (1939), а также вступительную статью к книге Е. Думбадзе «На службе Чека и Коминтерна» (1930). Одновременно Бурцев боролся против антисемитизма: в 1934–1935 годах вместе с П.Н. Милюковым и Б.И. Николаевским выступал свидетелем на Бернском процессе, где была доказана подложность «Протоколов сионских мудрецов», а в 1938-м издал книгу «“Протоколы сионских мудрецов” — доказанный подлог».

Брошюра «Боритесь с ГПУ!» стала одной из вех борьбы Бурцева против засилья агентов ГПУ в среде русской эмиграции, их постоянного разлагающего влияния, а также преступной готовности многих течений в эмиграции (в первую очередь — «евразийцев») мириться с таким положением дел. Этот сборник статей прямо продолжает полемику, которую Бурцев вел на страницах «Общего дела» против изданий «евразийцев» («Возрождение», «Свой путь», «Евразия» и др.), призывая эмиграцию объединиться в отпоре проискам ГПУ и беспощадно критикуя тех, кто, по его мнению, невольно, а чаще вполне сознательно помогает советским агентам в их подрывной деятельности. Названия некоторых глав, вынесенные в качестве развернутого подзаголовка прямо на обложку, говорят сами за себя: «С ГПУ до сих пор не боролись. Ошибка и преступление эмиграции. Не замалчивайте провокации ГПУ и его агентов! Разоблачайте всех, кто завязывает сношения с большевиками! Как работает ГПУ в Париже (дело А.И. Сипельгаса). Почему полковник Зайцов должен сам настаивать на расследовании своего дела. Нужно, наконец, начать расследование дела о похищении Кутепова. Заговор молчания».

Среди прочего неустрашимый автор бичует в брошюре «Русский Исторический союз», который «сделался как бы отделением ГПУ» и всего течения «евразийцев», завязывающего подозрительные сношения с большевиками. Как один из примеров вовлечения в провокации даже идейных антикоммунистов Бурцев приводит историю В.В. Шульгина, издавшего книгу «Три столицы», где автор описал свою нелегальную поездку в советскую Россию. Вскоре выяснилось, что на деле «нелегальную поездку» организовывало для Шульгина ГПУ, и Бурцев потребовал от автора книги переработать ее в соответствии с новыми данными. Владимир Львович поднимал вопрос и о странном поведении некоторых видных эмигрантов в деле похищения генерала А.П. Кутепова (в результате этих разбира-

тельств полковник А.А. Зайцов даже подал на Бурцева в суд). Центральное место в брошюре занимает история А.И. Сипельгаса, по заданию редакции «Возрождения» ставшего двойным агентом: он завязал сношения с ГПУ и дал себя завербовать, чтобы, поставляя дезинформацию, самому выведывать тайны чекистов. В этой игре сотрудники советских спецслужб быстро взяли верх, и Сипельгас вскоре убедился, что его деятельность наносит эмиграции прямой вред. Но его кураторы из «Возрождения» признать этого факта не желали, тогда с помощью Бурцева Сипельгас сумел опубликовать свою историю в «Иллюстрированной России».

В «Боритесь с ГПУ!» Бурцев писал:

«Главная задача настоящей брошюры заключается в том, чтобы снова, как это делалось на страницах “Общего дела”, поставить перед широкой публикой и перед ответственными антибольшевицкими деятелями вопрос о революционной борьбе с большевиками.

С большевиками нельзя бороться только агитацией в русской и иностранной печати и одними общеполитическими, так сказать, парламентскими, нереволюционными средствами…

“Нужны новая программа, новая тактика, новые люди”»[3].

По мысли Бурцева, эмиграции, чтобы победить ГПУ, надо создать свое «Анти-ГПУ». Однако на практике эту идею невозможно было реализовать и из-за недостатка средств, и из-за постоянных конфликтов между различными течениями внутри эмиграции. Мысль об «Анти-ГПУ», несомненно, перекликалась с другой любимой идеей Бурцева — о создании «Русского национального комитета», в котором Деникин и Врангель объединились бы с видными представителями эсеров и революционной демократии. По словам В.М. Зензинова, «более фантастической комбинации трудно было себе представить», но «в этом, в сущности говоря, всегда и состояла его (Бурцева. — *А.П.*) программа: соединить всех людей, любящих Россию, — независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов»[4].

Призывы Бурцева остались «гласом вопиющего в пустыне» и не нашли сколько-нибудь серьезного отклика в среде эмиграции. Владимиру Львовичу пришлось признать этот факт. Вот что писал он А.И. Деникину 25 февраля 1938 года:

«Поблагодарю Вас за те теплые слова, которые Вы сказали в Вашей последней речи о моем отношении к разоблачениям провокаторов за границей. Могу Вам констатировать печальный факт.

Со времени последнего номера “Общего дела” и со времени моей брошюры “Боритесь с ГПУ!” я не встретил никого, кто бы помог мне в этом деле, хотя бы в денежном отношении. А, между прочим, по этому вопросу надо бить в набат и на русском, и на иностранных языках»[5].

Еще раз об идее создания «Анти-ГПУ» Бурцев упомянул в брошюре «Большевицкие гангстеры в Париже: похищения генерала Миллера и генерала Кутепова», посвященной, в частности, измене генерала Н.В. Скоблина, его жены певицы Н.В. Плевицкой и суду над последней[6]: «…эти позорные истории… которые так дорого обходятся эмиграции, будут много раз повторяться, пока не будет сознана необходимость организации “Анти-ГПУ” для разбора предъявленных им обвинений»[7].

Последние годы Бурцев прожил в крайней нищете. В период оккупации Франции немцами его преследовало гестапо. Умер он от заражения крови в Париже 21 августа 1942 года и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

При жизни друзья сравнивали Владимира Львовича с Дон-Кихотом: действительно, его борьба очень часто напоминала схватку с ветряными мельницами. По словам С.П. Мельгунова, Бурцев всегда был «чистый, благородный фантазер, верящий в осуществление своих общественных утопий и готовый фанатически добиваться их осуществления»[8]. И все же своей бескомпромиссной борьбой Бурцев стяжал уважение и признательность столь разных людей, как А.И. Деникин, С.П. Мельгунов, В.М. Зензинов и многие другие. Зензинов закончил свой очерк о Владимире Львовиче следующими словами: «А был он больше всего и прежде всего — большим и горячим, настоящим русским патриотом и всю жизнь свою боролся за Свободную Россию»[9].

Александр Петров

---

[1] Первую половину своей жизни Бурцев подробно описал в воспоминаниях, которые озаглавил «Борьба за Свободную Россию».

[2] Бурцев В.Л. Борьба за Свободную Россию: Мои воспоминания (1882–1922 гг.). Т. 1. Берлин, 1923. С. 158. Благодаря такой постановке вопроса Бурцев, не отказываясь от своих революционных идеалов, ясно видел неправоту многих коллег-революционеров, а в дальнейшем осознал необходимость бескомпромиссной борьбы с большевиками.

[3] Бурцев В.Л. Боритесь с ГПУ! Париж: Изд. «Общего дела», 1932. С. 47.

[4] Зензинов В.М. В.Л. Бурцев // Новый журнал (Нью-Йорк). 1943. № 4. С. 342–343.

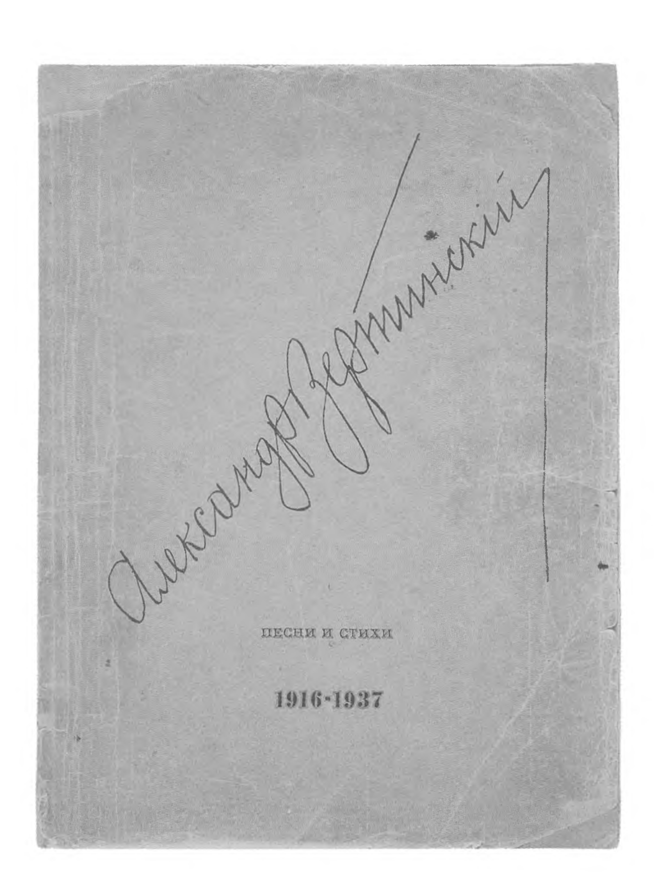
[5] Владимир Бурцев и его корреспонденты / сост. О.В. Будницкий // Отечественная история. 1992. № 6. С. 119–120.

[6] Генерал Н.В. Скоблин и его жена Н.В. Плевицкая были завербованы советской разведкой в 1930 г.; в 1937-м они приняли активное участие в похищении председателя Русского общевоинского союза генерала Е.К. Миллера. Благодаря записке, оставленной Миллером, их предательство и участие в похищении было раскрыто. Скоблину удалось скрыться; Плевицкая была осуждена французским судом на двадцать лет каторги.

[7] Бурцев В.Л. Большевицкие гангстеры в Париже: похищения генерала Миллера и генерала Кутепова. Париж, 1939. С. 36.

[8] Альбус Н., Мельгунов С. Последний из Дон-Кихотов: (К 10-летию кончины В.Л. Бурцева) // Возрождение (Париж). 1952. № 24. С. 157.

[9] Зензинов В.М. В.Л. Бурцев. С. 364.



20

ВЕРТИНСКИЙ А.Н.

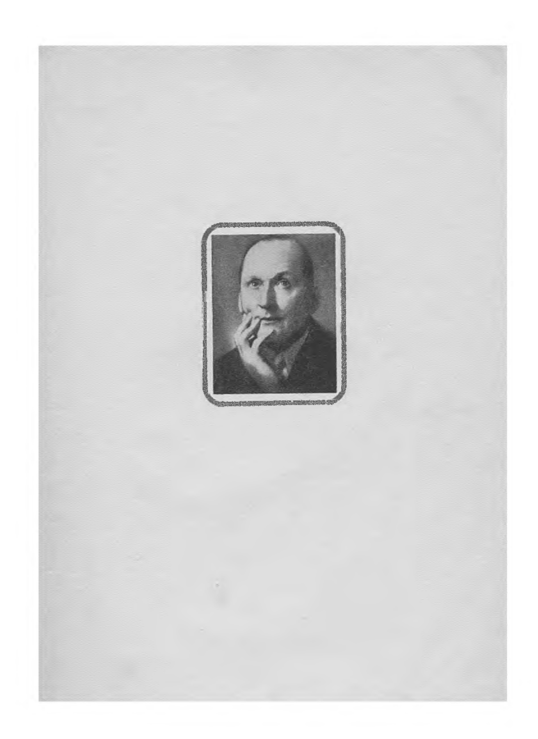
Песни и стихи:
1916–1937

/ Александр Вертинский. — [Харбин]: [Б. и.], [1937]. — [49] л.: портр.; 30×22,5 см. В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Талантливому Мише Волину в знак дружбы. А. Вертинский. Shanghai. 19 mai 1937»[1].

В отличие от многих известных эстрадных исполнителей начала XX века, Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) вышел не из оперы и не из оперетты, а из поэтической богемы. Начальную известность он приобрел в кругах киевской интеллигенции небольшими рассказами и театральными рецензиями. Его литературный дебют состоялся в 1912 году в журнале «Киевская неделя». Затем последовал переезд в Москву, где Вертинский снимался в немом кино и выступал в театре «Алитор».

В юности Вертинского привлекало искусство модернистов, он боготворил А. Блока, знаковыми фигурами для него были М. Кузмин, К. Бальмонт, О. Уайльд. Тогда же Вертинский познакомился и с творчеством футуристов, в том числе В. Маяковского, сам выступал в футуристическом кафе.

В 1914 году он ушел добровольцем на фронт — служил братом милосердия в санитарном поезде. После ранения вернулся в Москву и с 1915 года стал выступать уже с собственным номером — «Песенками Пьеро» — в кабаре «Жар-птица», Петровском и Мамоновском театрах. Стихи с нотами «оригинальных песенок А.Н. Вертинского» были впервые опубликованы в Петрограде в 1916 году. Успех его выступлений



Фронтиспис книги с фотопортретом Александра Вертинского

у публики неизменно рос, а сам он гастролировал по стране.

Чтобы говорить о конкретной книге, изданной в Харбине, надо представлять творчество Вертинского в целом. И потому стоит — хотя бы в общих чертах — обрисовать путь, что привел его к этому итогу — сборнику избранных произведений 1916–1937 годов.

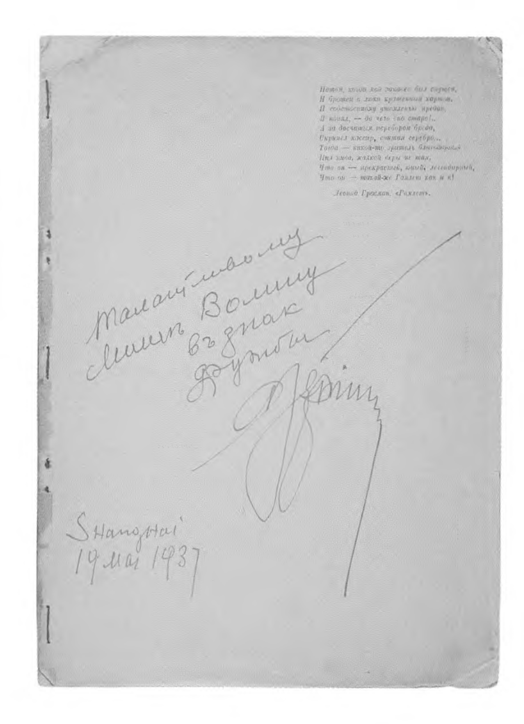
Выступать Вертинский начал в эпоху заката символизма и расцвета акмеизма и футуризма. Этими обстоятельствами и обусловлена во многом его исполнительская манера. Символизм еще не отжил, и Вертинскому выпала роль адаптации символических образов, перевода их с языка художественной элиты на язык широкой публики. При этом для его творчества характерны и внимание к слову, и футуристическое нагнетание пафоса на грани самопародии, рискованные словесные конструкции. Однако используемый Вертинским тип малых лирических форм был футуризму совсем не близок; тут серьезное влияние оказали на него акмеисты, творчество Ахматовой в частности. К этому же времени сложилась и определенная исполнительская школа, обусловленная тем, что певец выступает в ресторане. Черты ее — властность, резкость, стремление заставить публику слушать себя и используемые для этого эффекты. Анализируя в целом творчество Вертинского, К. Рудницкий отмечает: «Вертинский не в ресторане начал, петь в ресторане не любил, но — умел. Он связан с традициями ресторанного пения прочно и неразрывно»[2].

Уникальность творчества Вертинского, таким образом, проявляется в совмещении несовместимых на первый взгляд художественных направлений. А чувство меры в свою очередь спасало его от вульгарного подражания, излишних банальных украшательств, свойственных массовой культуре начала XX века.

Интересна и своеобразная сценическая маска Вертинского, которой он пользовался до 1917 года. Ю. Олеша вспоминал об одном из ранних концертов: «…он появился в одежде Пьеро, только не в белой, как полагается, а в черной, выходя из-за створки закрытого занавеса к рампе, освещавшей его лиловым светом. Он пел то, что называл “ариетками Пьеро” — маленькие не то песенки, не то романсы; вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку…»[3] Появление этого образа Вертинский объяснял спонтанным решением — во время работы в санитарном поезде, где силами персонала давались небольшие концерты для раненых, наличие грима требовалось ему из-за чувства неуверенности

перед слушателями. Однако несомненно, что выбор именно этой маски не случаен: она отражала внутренний мир Вертинского.

Его лирический герой 1910-х годов хорошо понимает страдания одиноких и несчастных и становится их утешителем («Бал господень», «Сероглазочка» и др.). Вертинский не боится признаваться в поражениях от лица целого поколения.



Авантитул книги с дарственной надписью автора

От маски Пьеро он откажется, исполняя песню «То, что я должен сказать», или «Юнкера» (более известную под названием «Мальчики»), — она посвящена тремстам юнкерам, погибшим в боях с большевиками. По воспоминаниям Вертинского, эту песню он исполнял в годы Гражданской войны везде, где только ни выступал. О первом исполнении вспоминал М. Жаров: «Маэстро впервые надел не свой обычный костюм Пьеро, а черную визитку… Вертинский стоял неподвижно и пел с закрытыми глазами»[4]. С этих пор Вертинский всегда будет выступать в концертном фраке — тоже своеобразной маске на протяжении всей его последующей жизни.

После Октябрьской революции Вертинский выступает на юге России, а в 1920 году бежит из Севастополя. Новый период его творчества, занявший почти четверть века, связан с эмиграцией и скитаниями по разным странам: он выступал в Румынии, Польше, Германии... С 1925-го по 1933 год жил в Париже — там наступает расцвет его творческой деятельности. Он общается с выдающимися деятелями искусства: Ф. Шаляпиным, А. Павловой, С. Рахманиновым и др. Здесь созданы многие его произведения: «Пани Ирена», «Венок», «Танго “Магнолия”», «Piccolo Bambino» и др. В его репертуаре появляются песни на стихи А. Блока, И. Анненского, Г. Иванова и др. В 1934 году он гастролирует в США. Известность его распространяется в мире, и не только в эмигрантской среде.

В 1929 году влиятельный эмигрантский критик П. Пильский, оценивая творчество Вертинского, увидит в нем не будуарность, а «интимные исповеди»[5]. В СССР же отзывы крайне негативны. Так, например, Л. Утесов говорил, что песни Вертинского любят люди «с извращенным вкусом»[6].

Уже в 1920-е годы Вертинский занимает патриотическую позицию: он несколько раз подает прошение о возвращении на родину, но получает отказ. Постепенно в его творчестве появляются мотивы ностальгии и раскаяния, экзотика отходит на второй план.

Шанхайский период его творчества (с октября 1935) отличается от предыдущего — европейского: Вертинский писал патриотические песни и песни на стихи советских поэтов. Здесь он узнал серьезную нужду. Об этом вспоминает познакомившаяся с ним в Шанхае писательница Н. Ильина[7]. Именно здесь и был опубликован его сборник «Песни и стихи. 1916–1937», который стал определенным этапом осмысления Вертинским своего творчества, стремлением выделить наиболее значимую его часть.

В Шанхае духовной опорой для Вертинского стали сочинения Вс.Н. Иванова, которого артист считал одним из «умнейших и культурнейших критиков». В репортаже для шанхайской газеты Вс. Иванов пишет о нем так: «Искусство Вертинского — это настоящее, русское искусство, необычайно доброе, немного, я сказал бы, "юродивое"... Вертинский связан с толпой, а толпа всегда верит, даже в самой жестокой борьбе за существование, что жизнь прекрасна, ведь иначе и бороться за существование было бы нечего... Вертинский — это то, что думает масса, думает толпа. Толпа вечна, и с ней вечен и Вертинский. Толпа умна, а с ней умен и Вертинский»[8].

Вертинский пел перед русскоязычной публикой в ночных кабаре Шанхая и Харбина, изредка давал концерты. С началом Великой Отечественной войны усилилось его стремление вернуться на родину. Вертинский состоял в Клубе граждан СССР — людей, подавших просьбу о предоставлении им советского гражданства, печатался в шанхайской советской газете «Новая жизнь», в 1942–1943 годах сотрудничал на радиостанции ТАСС «Голос России», где исполнялись его песни «Куст ракитовый», «Чужие города», «Сказание о граде Китеже»...

После письма на имя Молотова (7 марта 1943) Вертинскому с семьей разрешают вернуться на родину; в том же году он переезжает в СССР и поселяется в Москве, продолжая много и активно выступать; исполняет как свои, так и включенные в его репертуар новые песни на стихи советских поэтов.

После победы была развернута негласная кампания против «душещипательных» песен, отвлекающих от социалистического строительства. Понятное дело, что под нее попал и Вертинский. И хотя он несколько раз объехал страну с концертами, в советской печати его творчество обходили молчанием и старались не замечать. Как вспоминает К. Рудницкий, в беседе с ним Вертинский иронично заметил: «Я существую на правах публичного дома: все ходят, но в обществе говорить об этом не принято»[9]. И все же признание публики сопутствует ему, известность его ширится. Он выступает на эстраде, снимается в кино (в 1951 году за роль в фильме «Заговор обреченных» получил даже Сталинскую премию), пишет мемуары, начатые еще в Шанхае[10]. В его творчество входят интонации умиротворения и светлой грусти, связанные с семейным счастьем, яркий пример — песня «Доченьки».

В мае 1957 года во время ленинградских гастролей Вертинский скончался. Похоронен он в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Вера Соколова

[1] Михаил Волин (наст. фам. Володченко; 1914–1997) — поэт и журналист. В 1937 г. переехал из Харбина в Шанхай, где открыл школу гимнастики и йоги. В 1949 г. эмигрировал в Австралию. С 1969 по 1981 г. жил в США, затем вернулся в Австралию, где и умер. Автор нескольких сборников стихотворений и художественной прозы, а также более десятка книг по хатха-йоге, написанных на английском языке.

[2] Рудницкий К. Александр Вертинский // Театр. 1988. № 2. С. 132.

[3] Олеша Ю. Ни дня без строчки // Олеша Ю. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. М.: Известия, 1989. С. 378.

[4] Цит. по: Рудницкий К. Александр Вертинский. С. 134.

[5] См.: Пильский П. Об Александре Вертинском // Вертинский А. За кулисами: Песни, рассказы, заметки, интервью, письма, воспоминания / сост. и вступ. ст. Ю. Томашевского. М.: Советский фонд культуры, 1991. С. 115.

[6] Утесов Л. Записки актера. М.; Л.: Искусство, 1939. С. 67.

[7] См.: Ильина Н. Мои встречи с Вертинским // Ильина Н. Дороги и судьбы. М.: Московский рабочий, 1991. С. 184–235.

[8] Иванов Вс. Ник. Об Александре Вертинском // Вертинский А. За кулисами… С. 199–200.

[9] Рудницкий К. Александр Вертинский. С. 140.

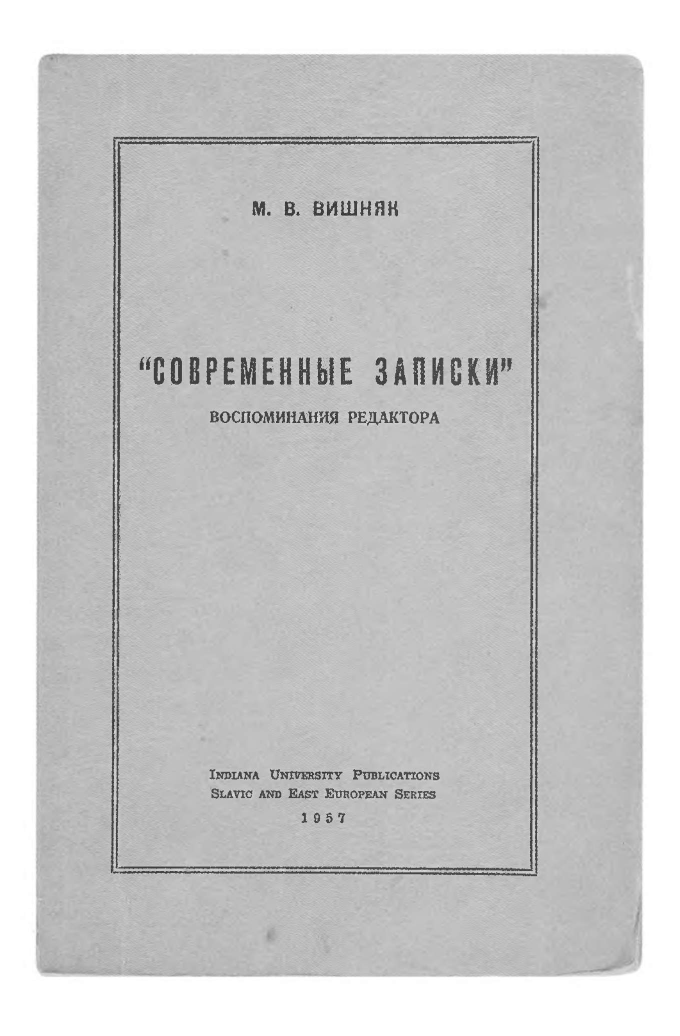
[10] См.: Вертинский А. Дорогой длинною… / сост. и вступ. ст. Ю. Томашевского; послесл. К. Рудницкого. М.: Правда, 1990.

21

ВИШНЯК М.В.

«Современные записки»: Воспоминания редактора

/ Марк Вишняк. — Bloomington: Indiana university publications, 1957. — 336 с., 1 л. ил.; 21,5×14,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на титульном листе: «Александру Федоровичу Керенскому, создавшему “базу” для издания “Современных записок”, признательный “Современник”».



Indiana University Publications
Graduate School
Slavic and East European Series

Сын купца 1-й гильдии Марк Вениаминович (Мордух Веньяминович) Вишняк (1883–1975) был склонен и к научной, и к политической деятельности. В 1901 году он с серебряной медалью окончил 1-ю московскую гимназию, а в 1908-м — юридический факультет Московского университета. В 1904 году, участвуя в декабрьской студенческой демонстрации в Москве, он был арестован и некоторое время находился в тюрьме. Вскоре после событий 9 января 1905 года (Кровавое воскресенье) вступил в партию эсеров и начал выступать как публицист. В 1907-м опубликовал исследование «Личность в праве». Получив по окончании университета предложение остаться на кафедре государственного права для подготовки к профессорскому званию, предпочел научной карьере политическую деятельность. До революции 1917 года подвергался арестам, ссылкам, жил на нелегальном положении, был вынужден эмигрировать. После Февральской революции сотрудничал в эсеровских изданиях, представлял партию эсеров в Особом совещании по выработке закона о вы-

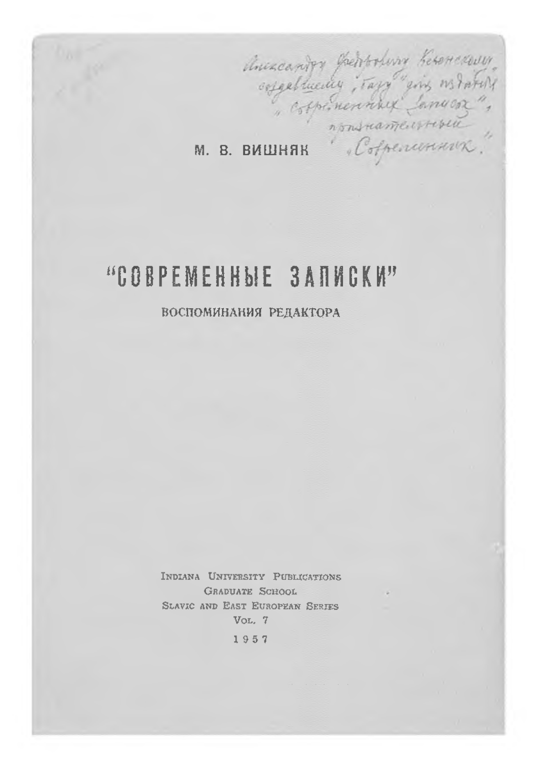
борах в Учредительное собрание. Не приняв Октябрьской революции, покинул Россию и с апреля 1919 года жил в Париже. Работал при Комитете еврейской делегации на Парижской мирной конференции (1919). В 1920 году стал одним из основателей и соредакторов самого известного журнала русского зарубежья — «Современные записки». С 1922-го сотрудничал с еженедельником «Еврейская трибуна», а с 1937-го редактировал журнал «Русские записки».


Марк Вишняк. 1950-е годы

В 1921 году в «Современных записках» был опубликован цикл статей Вишняка «На родине»; первые восемь из них вышли вскоре отдельным изданием — «Черный год: Публицистические очерки» (1922). В 1930-е годы Вишняк выпустил еще несколько публицистических книг: «Два пути: (Февраль и Октябрь)» (1931), «Всероссийское Учредительное собрание» (1932), «Lenin» (1932, на фр. яз.), а также биографии: «Леон Блюм» (1937) и «Доктор Вейцман» (1939). Вместе с тем Вишняк уделял много времени и преподавательской деятельности: с 1923 по 1925 год он приват-доцент Парижского университета, с 1926 по 1932-й — профессор Франко-русского института; в 1932 году читал лекции об апатридах в Академии международного права.

10 мая 1940 года германские войска вступили на территорию Франции. Когда они уже готовились войти в Париж, Вишняк бежал из французской столицы в Лиссабон, оттуда отплыл в США. В 1949 году он принял американское гражданство. Жил в Нью-Йорке, продолжал много писать, активно сотрудничая с «Новым журналом». Здесь создал и три книги воспоминаний — «Дань прошлому» (1954), «“Современные записки”: Воспоминания редактора» (1957), «Годы эмиграции 1919–1969: Париж – Нью-Йорк» (1970).

Книга о «Современных записках» занимает особое место в русской мемуаристике, поскольку в ней предпринята попытка показать жизнь журнала и вокруг журнала. В начальных главах автор касается предыстории «Современных записок» и дает портреты своих соредакторов — И.И. Фондаминского, В.В. Руднева, Н.Д. Авксентьева, А.И. Гуковского, вписав в этот контекст и несколько страниц о себе. История возникновения журнала начинается с рассказа о деятельности в эмиграции эсеров. «Благодаря личным связям и авторитету, А. Керенскому удалось добиться у Томаса Масарика и Эдуарда Бенеша, президента и министра иностранных дел Чехословацкой республики, обещания оказать материальное содействие делу русской свободы и культуры. Этот дружественный акт был тем более великодушен, что, в отличие от последующей чешской “акции” по отношению к русским и украинским эмигрантам, он не был связан с обязательством пребывания в Чехословакии лиц и учреждений, которым оказывалась помощь»[1]. Об этой роли Керенского в деле создания журнала говорит и сохранившаяся дарственная надпись на книге Виш-


М. В. ВИШНЯК

"СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ"

ВОСПОМИНАНИЯ РЕДАКТОРА

Indiana University Publications
Graduate School
Slavic and East European Series
Vol. 7
1957

Титульный лист книги с дарственной надписью автора

няка: «Александру Федоровичу Керенскому, создавшему "базу" для издания "Современных записок", признательный "Современник"». Созванное Керенским в июле 1920 года Парижское совещание приняло решение о создании не только ежедневной газеты, но и толстого журнала — им и стали «Современные записки». В книге Вишняка рассказывается, как возникло название журнала (в память о двух известнейших русских журналах — «Современник» и «Отечественные записки»), как сотрудники стремились приподнять журнал над политическими пристрастиями его редакторов, о роли каждого из них, о роли консультантов по отделу поэзии (М.О. Цетлин) и прозы (Ф.А. Степун). Отдельные главы в книге посвящены непростым отношениям редакции с именитыми авторами, а также «силуэтам» литературных и политических сотрудников, имена которых сделали журнал неотъемлемой частью истории русской культуры. Среди тех, на ком автор останавливает особое внимание, — И.А. Бунин, В.Ф. Ходасевич, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А.М. Ремизов, И.С. Шмелев, М.А. Осоргин, Б.К. Зайцев, В.В. Набоков, М.И. Цветаева, Г.П. Федотов… Последняя глава посвящена идейному расколу среди редакторов, усугубившемуся с возникновением журнала «Русские записки», который стал во многом «дополнением» «Современных записок».

На книгу Вишняка откликнулись многие критики. Свидетели событий могли и поделиться собственными воспоминаниями, и укорить мемуариста в не совсем точном изображении реальных событий литературной жизни. Вместе с тем отмечалось и особое «благодушие» автора, его умение дать точный словесный портрет[2]. Как заметила Е. Кускова, знакомые лица изображены «живо, красочно»[3]. Г. Адамович прибавлял к этому и характеристику особого авторского взгляда: «Мережковский, Гиппиус, Степун, Шмелев, Осоргин, Ходасевич, Федотов, — не называя деятелей чисто политических, — обрисованы в книге быстрыми, легкими штрихами и, в общем, с желанием найти в каждом из них скорей хорошее, чем плохое»[4]. Р. Гуль особенно выделил портреты В. Ходасевича и З. Гиппиус, также отметив и живой язык мемуариста, и его смелость в изображении отдельных «трудных» эпизодов из жизни журнала: Вишняк не побоялся показать известных писателей в их «литераторской суетности и мелочности»[5]. Федор Степун, ближе других рецензентов стоявший к «Современным запискам»,

заметил, что в целом «все было так, как о том повествует М.В.», только всем событиям стоило бы дать иное толкование. Сам Степун дал свое видение драматического раскола редакции, усмотрев в нем повторение «исконного спора между славянофилами и западниками», самая суть которого «заключалась, конечно, не в борьбе между славянами и романо-германцами, а между религиозно-целостным и автономно-плюралистическим пониманием культуры». За самой возможностью этого идейного расхождения бывших единомышленников стояло, согласно Степуну, разное отношение к прошлому: «Тема покаяния, возникшая изначально в душе Фондаминского, лишь через несколько лет завладела Рудневым и навсегда осталась чужда Вишняку»[6]. Кускова дала свое видение раскола, указав, что журнал стал гибнуть, когда на место идеологической гибкости пришло желание иметь «миросозерцание для журнала»[7]. При этом каждый из критиков, не будучи приверженцем политических взглядов мемуариста, не мог не отметить важность этой книги для истории. Как сказал еще один рецензент об авторе, читатели «должны быть благодарны ему за этот том порою горьких, порою печальных, иногда страстных и непримиримых, но всегда искренних страниц»[8].

Из прочих отзывов лишь один прозвучал резко критически, и был он направлен во многом в сторону самого журнала, причем скорее по политическим соображениям: «Может быть, бессознательно, но, во всяком случае, “Современные записки” упорно и действенно противостояли тому стихийному процессу *поправения* русской интеллигенции, который все равно шел, и желаниям эмигрантских масс получить литературу, какая бы соответствовала их вкусам, идеям и запросам»[9]. Вместе с тем автор рецензии, В. Рудинский, возможно, чересчур резко, но и не без основания сказал о несколько предвзятом отношении автора мемуаров к И.С. Шмелеву, М.И. Цветаевой, писателям младшего поколения. Припомнил он и известную историю с публикацией романа В. Набокова «Дар», когда глава с «нелестной» оценкой Чернышевского в журнальном варианте так и не увидела света. Более мягко, но тоже с политической критикой, только уже слева, выступил и другой рецензент, попытавшийся защитить от Вишняка анархистов[10]. Н. Ульянов в своем отклике на книгу увидел в историях разногласий с авторами свидетельство редакторской цензуры[11]. Обилие отзывов побудило автора книги дать свой ответ рецензентам[12].

В 1993 году книга Вишняка была переиздана. Попытка заново ее оценить прозвучала во вступительной статье Луи Аллена[13]. Наиболее объективную картину истории журнала дает публикация Манфреда Шрубы[14]. При этом сама книга Вишняка сохраняет свое значение как одно из живых свидетельств о жизни известнейшего русского журнала.

Сергей Федякин

---

[1] Вишняк М.В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. Bloomington: Indiana university publications, 1957. С. 91.

[2] См.: Адамович Г. «Современные записки»: Воспоминания М.В. Вишняка // Русская мысль (Париж). 1957. 15 августа.

[3] Кускова Ек. Книга-памятка (М.В. Вишняк: «Современные записки») // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1957. 8 сентября.

[4] Адамович Г. «Современные записки»…

[5] Гуль Р. [Рец.:] М.В. Вишняк. «Современные записки». Воспоминания редактора. Indiana University Publications. 1957. Printed by Rausen Bros // Новый журнал (Нью-Йорк). 1957. № 50. С. 272–280.

[6] Степун Ф. Редакционный кризис «Современных записок» и современное мировое положение // Русская мысль. 1958. 1 мая.

[7] Кускова Ек. Книга-памятка…

[8] Домогацкий Б. Воспоминания редактора // Единение (Мельбурн). 1958. 11 июля. С. 6.

[9] Рудинский В. Поучительный опыт. Книга М. Вишняка о «Современных записках» // Возрождение (Париж). 1957. № 70. С. 108.

[10] См.: К. [Рец.:] М. Вишняк: «Современные записки». (Воспоминания редактора). Изд. университета шт. Индиана, 1957 // Пробуждение (Детройт). 1958. Февраль.

[11] См.: Новое русское слово. 1958. 14 декабря.

[12] Вишняк М. Заключительное слово // Русская мысль. 1959. 29 сентября. С. 2–3; 1 октября. С. 2–3; 3 октября. С. 2–3; То же: Новый журнал. 1959. № 57. С. 206–225.

[13] Аллен Л. М.В. Вишняк и журнал «Современные записки» // Вишняк М.В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник, 1993. С. 5–8.

[14] Шруба М. История журнала «Современные записки» в свете редакционной переписки // Современные записки (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1. С. 37–131.



22

ВЛАДИМОВ Г.Н.

Верный Руслан: История караульной собаки

/ Георгий Владимов. — Frankfurt a/M: Посев, 1975. — 173 с.; 21×14,5 см. В синем цельнотканевом (коленкор) издательском переплете и иллюстрированной цветной суперобложке.



Георгий Николаевич Владимов (наст. фам. Волосевич; 1937–2003) родился 19 февраля 1937 года в Харькове, в семье преподавателей русского языка и литературы. Отец его в 1941-м был захвачен немцами на строительстве оборонительных сооружений и угнан в Германию, где погиб в концлагере близ города Шнайдемюль. Мать, оставшись вдовой, перебралась с сыном в Ленинград и устроилась преподавателем в Ленинградское суворовское училище, сюда же определила на учебу и сына. Георгий Владимов со временем скажет, что его воспитывали «сторожевым псом» государства. «Я был суворовцем, — вспоминал писатель, — учился в училище МВД в Ленинграде, которому покровительствовал сам Берия, — воспитывал, как он любил говорить, “своих волчат”. Русские писатели любят повторять, что они вышли из “Шинели” Гоголя, ну а я — из шинели Дзержинского»[1]. Однако именно в эти годы вместо безоговорочной преданности системе юноша демонстрирует независимость и гражданскую позицию. В 1946 году выходит постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», и Владимов, высоко



Георгий Владимов. 1990-е годы

ценивший творчество Зощенко, вместе с другом принимает решение: прийти к писателю в форме суворовца и отдать ему — бывшему офицеру — честь. Об этом визите донесла соседка Зощенко. Скандал в училище (делом занимался сам Абакумов) удалось замять, Владимову с товарищем вместо исключения «влепили по “строгачу с занесением”»[2]. Однако через несколько лет карательная система сработает: в 1952 году мать писателя по доносу подвергнется аресту и заключению, а Владимов станет сыном «врага народа».

После Суворовского училища Владимов поступил заочно на юридический факультет Ленинградского университета, который окончил в 1953 году. С 1954 года началась литературная деятельность: его статьи и рецензии печатаются в журнале «Театр», в «Литературной газете». На них обратил внимание К.М. Симонов, главный редактор «Нового мира». В 1956 году Владимов переезжает в Москву и получает штатное место редактора отдела прозы в этом знаменитом журнале. В 1958-м в «Новый мир» возвращается А.Т. Твардовский. Его возвращение «в кабинет главного изменило не только внутриредакционную обстановку, но и положение Владимова. Симонов ценил в нем критика, набирающего вес… Александр же Трифонович каким-то сверхчутьем угадал в Георгии прозаика, уверенный, что этот не раскрывшийся еще дар ему на роду написан»[3].

В 1960 году по заданию журнала Владимов едет на Курскую магнитную аномалию, чтобы написать свою первую повесть «Большая руда» (1961) — она принесет писателю мировую славу, ее переведут на многие языки, в 1964-м на экраны выйдет снятый по повести художественный фильм с Евгением Урбанским в главной роли (режиссер В.С. Ордынский). Начинающего прозаика сразу принимают в Союз писателей. Однако Владимов не проявляет должной лояльности к официозу: в обращении от 26 мая 1967 года к IV съезду писателей СССР он выступил с требованием открытой дискуссии по поводу письма А.И. Солженицына о цензуре. Следующий его роман, «Три минуты молчания»[4], был встречен единодушным негодованием советской прессы.

Параллельно с работой над романом Владимов начинает новую книгу — повесть о караульной собаке, которая прочно войдет в золотой фонд послевоенной русской прозы. По признанию писателя, к «Верному Руслану» он подступался трижды. В первый раз в 1963 году, когда «открылись ворота для лагерной темы, и в них протиснулся “Иван Денисович”»[5]. Сам автор так рассказывал об истории создания повести: «…в духе доброй старой русской традиции мне нужно было найти героя, найти фигуру, которая бы в себе несла всю философию вещи. У ГУЛАГа были жертвы, были палачи, но кто же истинный его герой, верующий в справедливость, в святость этого чудовищного предприятия?»[6] Однажды очеркист Н.Д. Мельников, один из постоянных авторов «Нового мира», приехав из города Темиртау, рассказал историю о конвойных собаках, охранявших

некогда концентрационный лагерь. После «оттепели» лагерь расформировали, и собаки были брошены на произвол судьбы. Но каждый раз, когда псы видели какую-нибудь колонну или демонстрацию, они, верные прошлой выучке, брали людей в оцепление и сопровождали их. Этот весьма драматичный анекдот очень скоро стал широко известен, а для повести Владимова сыграл решающую роль: главный герой был найден, а рассказанная история легла в сюжетную канву. «Довольно быстро я написал рассказ страниц на шестьдесят, — вспоминал писатель, — в духе веселой сатиры на сталинского вохровца, который все еще служит "в душе" с собачьей верностью, снес этот рассказ в "Новый мир", показал Твардовскому. Решили было печатать, но при этом Александр Трифонович высказал мне и свое неудовольствие. То есть он вполне готов был этот рассказ "тиснуть", как он выразился, но, по его мнению, автор слишком увлекся сатирой и сделал из собаки полицейское дерьмо, тогда как тут чувствуется трагедия, чувствуются большие, но — увы! — не раскрытые возможности сюжета. Короче, я эту собаку, ввиду излишнего антропоморфизма, "не разыграл", и, может быть, стоило бы еще подумать над вещью, "особачить" ее»[7].

Пока писатель перерабатывал повесть, она разошлась в самиздате.

Когда работа над «Верным Русланом» была завершена, Владимов понял, что не сможет опубликовать повесть на родине: времена изменились, Хрущева отстранили от власти, «Новый мир» после разгрома переживал тяжелые времена, лагерная тема вновь оказалась под запретом. И «Верный Руслан» лег в стол. Однако в начале 1970-х писателю пришло предложение опубликовать повесть за границей. «Годы прошли, и я имел претензии к своему тексту, — вспоминал Владимов, — поэтому переписал его с начала до конца, а дату намеренно поставил прежнюю — не в целях безопасности, а чтобы себя самого вернуть в то настроение, которое нами тогда, в 1963–65 годах, владело»[8]. Так повесть, вышедшая во Франкфурте-на-Майне в 1975 году в журнале «Грани» и одновременно книгой в издательстве «Посев», была переработана в третий раз. Блестящий стиль, парадоксальность сюжета, многогранность повести и ее психологическая глубина были отмечены многими литературными критиками. Владимов обращался в ней к новейшей для русской истории трагической теме ГУЛАГа и в то же время как писатель во многом следовал традиции русской литературы XIX века («Холстомер» Л.Н. Толстого, «Каштанка» и «Белолобый» А.П. Чехова). Сугубо человеческая проблема — насаждение изощренной репрессивной системы — увидена здесь как бы иным зрением, а поступки человека рассмотрены «незамутненным» собачьим взглядом. Перед нами не палач и не жертва, а представитель «тварного мира», вовлеченный волей человека в жизнь за колючей проволокой. Руслан верно несет свою службу, смотрит на Хозяина-вертухая как на бога, а в бараках и лагерных вышках видит символ идеального мироустройства. Все меняется в одночасье, когда столбы с колючей проволокой и вышки сносят, а бараки перестраивают под лагерь для строителей химкомбината. Расстрельная эпоха приходит к концу. Хозяин прогоняет Руслана, и собака, пережив это предательство, прибивается к местному жителю, бывшему заключенному, не чувствуя к нему ни уважения, ни доверия.

Долгое время благородный пес влачил жалкое существование на правах дворняги, пока не наступил его «звездный час» и на станцию не прибыли вагоны с добровольцами-строителями. Когда колонна, взятая бывшими конвойными собаками в оцепление, проявила «неповиновение», произошло трагическое столкновение людей и караульных собак. В нем и погибает главный герой повести.

С одной стороны, в судьбе Руслана легко просматривается история людей, а «верный пес режима» берет на себя роль всеобъемлющей метафоры. И что такое концлагерь, как не чудовищная фабрика по селекции «человеческой породы»? С другой стороны, герой повести в силу того, что он собака, «тварь божья», не может взять на себя грехи человека. Казалось бы, перед нами немецкая овчарка — порода, специально выведенная для устрашения, хорошо запрограммированный репрессивный механизм, в котором лучшие качества надзирателя доведены до совершенства. Но читатель сочувствует Руслану, не знающему «ни боли, ни страха, ни к кому любви». И в этом спонтанном, «незапрограммированном» сочувствии — а к нему взывает Владимов — таится большая гуманистическая победа автора.

А.Д. Синявский, увидевший в образе Руслана доведенную до абсурда формулу советского положительного героя, замечал: «Повесть Владимова “Верный Руслан” чужда морализаторских тенденций, и не стоит из нее выводить какое-то четко означенное вероучение или практическое руководство. Но отзвук, но эхо тех нравственных и собственно писательских побуждений, которые толкнули Достоевского снизойти до убийцы и содрогнуться наказанию, которое он сам себе придумал, переступив черту, пусть во имя самых прекрасных и прогрессивных идеалов гуманности и всеобщего счастья, — здесь слышатся. И вот что особенно отрадно: новейшая русская словесность, в окружении стольких застенков и лагерей, сумела подняться на такую высоту понимания предмета, что извлекла из этих страданий не риторически программный, а соединенный с нутром всякой твари урок — в том числе и для тех, кто следует неумолимо Закону Проволоки»[9].

После выхода в свет «Верного Руслана» популярность Владимова на Западе резко возросла, повесть была переведена на многие языки. Однако публикация в «тамиздате» обернулась для писателя опалой на родине. Владимова перестают печатать, его книги изымаются из библиотек. В 1977 году он выходит из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения коллег (В.Н. Войновича, Л.З. Копелева, В.Н. Корнилова, Л.К. Чуковской) и возглавляет запрещенную в СССР московскую секцию организации «Международная амнистия». Прослушки телефона, слежка и обыски в квартире становятся постоянным жизненным фоном. «Это было героизмом — жить без денег и все время под угрозой тюрьмы», — вспоминала Белла Ахмадулина[10]. В 1983 году Владимов выезжает на год в Западную Германию — для чтения лекций в Кельнском университете. 1 июля того же года по указу Андропова его лишают советского гражданства (указ отменен Горбачевым в 1990 году). В 1984 году Владимов принимает предложение от журнала «Грани» возглавить это популярное

периодическое издание, однако в 1986-м, разочаровавшись в деятельности НТС, покидает свой пост.

В 1989 году «Верный Руслан» выходит миллионным тиражом на родине в журнале «Знамя» (№ 2) и здесь же в 1994-м печатается роман Владимова «Генерал и его армия», удостоенный в следующем году премии «Букер», за которой следуют еще несколько премий, в том числе и «Букер десятилетия» (2001).

Умер Георгий Владимов 19 октября 2003 года в Германии. Похоронен в подмосковном поселке Переделкино.

Мария Васильева

---

[1] Георгий Владимов: «Мы хотели дышать чистым воздухом»: беседа Л. Бахнова с Г. Владимовым // Огонек. 2003. № 39. С. 47.

[2] Там же. С. 48.

[3] Кардин В. И один в поле воин // Лехаим. 2004. № 5 (май).

[4] Новый мир. 1969. № 7–9. Отдельным изданием — с купюрами — роман вышел лишь через семь лет (М.: Современник, 1976). Без купюр: Vladimov G. Trois minutes de silence / texte français de L. Denis. P.: Gallimard, 1978.

[5] КГБ против литературы: Рассказывает Георгий Владимов // Посев (Франкфурт-на-Майне). 1983. № 8. С. 40.

[6] Там же.

[7] Там же. С. 40–41.

[8] Там же. С. 41.

[9] Синявский А. Люди и звери: (По книге Г. Владимова «Верный Руслан. История караульной собаки») // Континент (Париж). 1975. № 5. С. 403–404. Статья сопровождалась примечанием редакции: «При всей спорности некоторых положений публикуемой статьи мы считаем, что в ней дан глубокий анализ повести Георгия Владимова “Верный Руслан”» (Там же. С. 404).

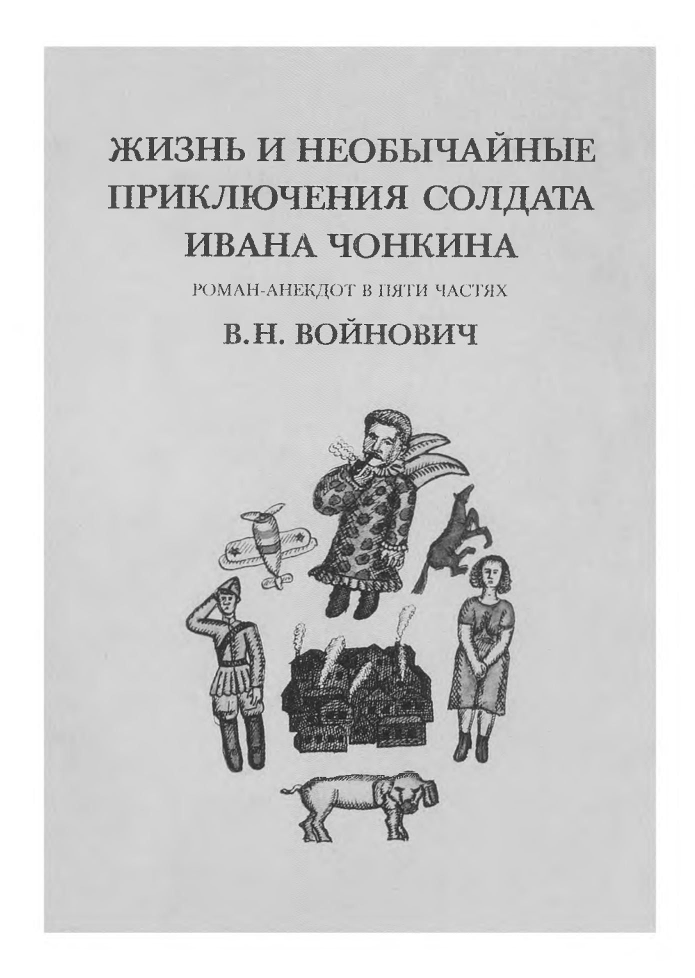
[10] Ахмадулина Б. «Непреодолимое положение совести» // Огонек. 2003. № 39. С. 49.

23

ВОЙНОВИЧ В.Н.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: Роман-анекдот: в 5 ч.

/ Владимир Войнович. — Париж: YMCA-Press, [1975]. — 287, [1] с.: 1 л. фронт. (портр.); 19,5×14 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.

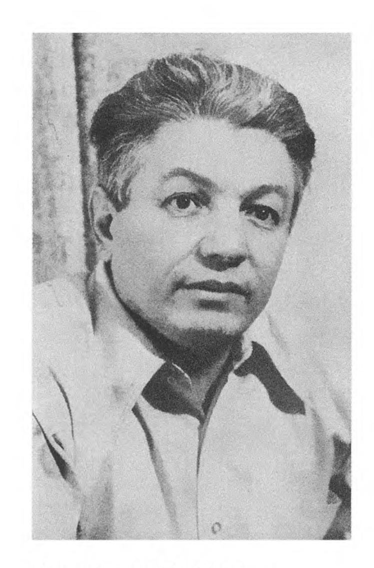


YMCA-PRESS

Писатель, поэт и драматург Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе) в семье журналиста и учительницы математики. После войны, часто меняя вместе с родителями место жительства, освоил разные ремесла: «научился пасти телят, запрягать лошадь, управлять волами, а впоследствии овладел профессиями столяра, слесаря, авиамеханика»[1]. Четыре года (1951–1955) отслужил в армии. В литературу вошел в начале 1960-х, в эпоху оттепели, когда, как отметил критик Л. Аннинский, преломлялось «стремление испытать слова на прочность и истинность»[2].

В Литинститут, куда Войнович жаждал попасть, начинающего автора не приняли; он «ограничился полутора курсами» Московского педагогического института, что не помешало ему, устроившись в 1960 году на работу в Радиокомитет, неожиданно и мгновенно прославиться текстом песни о космонавтах. Печатался Войнович в «Новом мире» — в 1960-е годы журнал был знаменем вольнолюбивой интеллигенции. Здесь увидели свет его первые повести — «Мы здесь живем» (1961), «Хочу быть честным»

(1963) и др. Уже первая новомирская публикация Войновича была отмечена большой критической статьей, где подчеркивалось: «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть»[3]. «Мне это очень понравилось, — комментировал писатель много лет спустя, — и я дальше старался изображать жизнь как она есть»[4]. Далеко не последней составляющей успеха его произведений было безупречное чувство юмора — черта, столь же подкупающая, сколь и редкая. В 1962 году Войновича приняли в Союз писателей, а в 1974-м исключили из него.



Владимир Войнович. Москва (?). 1970-е годы

Первые две части скандального романа, за который он и поплатился, с 1963 года ходили в самиздате. «Когда Твардовский отказывался печатать в "Новом мире" первую часть, — вспоминает автор, — он с некоторым пренебрежением сказал: "Ну что это за фамилия — Чонкин?.."»[5] Несостоявшуюся публикацию Войнович комментирует так: «Я хотел легализоваться. Я по природе своей не стремлюсь в подполье, и вообще мне хотелось действовать в открытую. Предлагал я вам роман? Предлагал, не взяли. То есть меня уже нельзя было упрекнуть в подпольно-диверсионных намерениях. Я первую часть намеренно отдал в Союз писателей — читайте, ознакомляйтесь. Они ознакомились. Экземпляр затерялся. И когда книга ушла на Запад, я с полным правом мог им сказать: а вот это, наверное, вы и передали». Первая часть была опубликована без разрешения автора во Франкфурте-на-Майне в журнале «Грани» (1969. № 72). На вопрос, кто же ее на самом деле туда передал, Войнович ответил: «Сам не знаю. Петр Якир при личной встрече признавался, что он»[6].

«Фамилию Чонкин я услышал случайно, — рассказывает Войнович, — да и героя не придумал, а срисовал с натуры. Я служил в армии… Увидел, как по полигону бредет солдат-коновод, понурый, расхристанный, зацепился ногой за упряжь… какое-то олицетворение жалкости и потерянности. А на другой день вдруг увидел его же — уже в телеге, радостно, с удивительной лихостью нахлестывающего лошадь, уверенно правящего ею, и эти два его образа сложились в Чонкина. Тем более что ему кто-то и кричал: "Чо-о-онкин!" И уж только потом, из читательского письма одного полковника, служившего там же, узнал, что фамилия его была не Чонкин, а Чомгин и сам он собою был якут»[7].

«Замысел Чонкина, — вспоминает автор, — возникал постепенно. Сначала я написал рассказ о деревенской девушке, которая полюбила солдата (они встретились вечером накануне войны). Он служил в части рядом с деревней, а утром его разбудила сирена: он вскочил, побежал — и с концами. Девушка знала только, как его зовут, а больше ничего о нем не знала. Но она стала воображать себе, какой он, как бы могла сложиться их жизнь и всякое такое. Она долго ждала от солдата вестей, думая: то, что

между ними произошло, для него очень важно, и он просто так пропасть не может. А поскольку он пропал, она сама стала писать себе письма от его имени. И в этих письмах воображала его летчиком, героем, потом полковником. И так далее. По мере написания писем ее воображение смелело — она описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза, и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб»[8]. История о Чонкине и девушке Нюре была придумана в 1958 году.

В романе лопоухий и кривоногий солдат Ваня Чонкин, девятнадцати лет, которому всегда достаются самые нелепые задания, впервые появляется перед читателем в июне 1941 года. Он командирован сторожить самолет «У-2», угодивший в огород почтальона Нюры Беляшовой в деревне Красное. Между Чонкиным и Нюрой завязывается любовь. Разумеется, не эти невинные амуры вызвали начальственный гнев, а сатирические, на грани гротеска описания советских воинских и колхозных порядков, а более всего неусыпных усилий тех борцов невидимого фронта, кого Войнович именует Теми, Кому Надо, и которые сделали его жизнь в СССР практически и теоретически невыносимой и в конце концов вынудили к эмиграции.

Протоколы заседаний Союза писателей об исключении Войновича из его членов сегодня кажутся придуманными им юморесками. О самом романе на заседании говорилось: «Это повесть о Советской армии, в которой армия оболгана снизу доверху и сверху донизу. Все командиры — идиоты, кретины, тупицы, и такие же их подчиненные»[9]. В архивных материалах КГБ хранится записка — с пометой «секретно» — председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС — о намерении писателя Войновича создать в Москве отделение Международного ПЕН-центра; в ней, в частности, говорится: «…предполагается вызвать писателя в КГБ и провести с ним беседу предварительного характера. Дальнейшие меры в отношении него будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ»[10]. Когда в 1975 году в парижском издательстве «YMCA-Press» вышли две части романа — «Лицо неприкосновенное» и «Претендент на престол», — Войновича вызвали в «органы» для беседы и предложили «издаваться на родине». На второй встрече, назначенной для «обсуждения условий издания», писатель был отравлен неизвестным спецпрепаратом.

В 1980 году Войнович эмигрировал в Германию, а на следующий год указом Президиума Верховного Совета СССР был лишен советского гражданства. Жил в ФРГ, затем в США, сотрудничал на радио «Свобода». Но, как говорил в интервью, из русской литературы не уезжал никуда[11].

В 1990-м гражданство Войновичу было возвращено. Уже после того как в годы перестройки «Чонкина» напечатал журнал «Юность»[12], группа генералов потребовала автора к ответу — за «осмеяние» Красной армии и «глумление» над ней: «Где предел, — гневно вопрошали они, — цинизму и издевательству?»[13]

В год семидесятипятилетия автора вышло окончание «Чонкина»[14], создававшегося в целом без малого полвека. Дальнейшая судьба героя Войновича была не менее удивительной. Прослышав о необыкновенном

солдате, его пожелал увидеть Сталин, для каковой цели велено было послать за ним лучший самолет с лучшим летчиком, Героем Советского Союза. Однако у летчика-героя была своя мечта — перелететь к союзникам (война только что кончилась), попросить у них убежища и сообщить им ужасающую подробность о вожде мирового пролетариата: судя по запискам ученого, дяди летчика, папашей тов. Сталина был не кто иной, как знаменитый путешественник Пржевальский, а мамой — породистая кобылица. Но едва герой-летчик вылез в Америке на трибуну с этой оглушительной новостью, как выпил преподнесенный ему Тем, Кем Надо, стакан минеральной воды без газа — и рухнул замертво. А Чонкин остался в Америке и прожил там около двадцати лет: основал компанию «Chonkin International Grain Production», стал крупным фермером и однажды был приглашен в Россию для обмена опытом. То, что герой увидел на бывшей родине, его сильно разочаровало: общество опять погрузилось в спячку. «В советское время власть людям сильно надоела, и ей не верили, — говорит Войнович в интервью. — Если говорили, что за границей все плохо, понимали как раз наоборот. А сейчас на что нас настраивают, тому и верим. Многие сейчас говорят, что гордятся Россией, а сколько было в стране хорошего времени? 300 лет татарского ига, 300 лет крепостного права, 70 лет советской власти. Конечно, за эти годы образовался отличный от цивилизованного мира опыт»[15].

Ну, а как же любовь? Когда-то автор считал, что его «Чонкин» — роман прежде всего о любви. Одна из лучших страниц эпопеи — последняя, поздняя встреча Чонкина с Нюрой в деревне Красное, где когда-то началась их любовь. Чонкин пригласил Нюру пожить у него месяц-другой в Америке, и она у него побывала. Но соединят ли они свои судьбы? Вряд ли. Они уже немолоды. Да и трилогия закончена. «Но образ этой любви, пронесенной через всю жизнь, вызывает у меня такое же щемящее чувство, как в повести “Старосветские помещики”», — говорит автор.

Ольга Мартыненко

---

[1] См.: Войнович В.Н. Автопортрет: Роман моей жизни. М.: Эксмо, 2010. С. 7.

[2] Аннинский Л. От простоты до мудрости // Литературная газета. 1961. 23 августа.

[3] Гус М.С. Мнимая объективность и правда эпохи // Литература и жизнь. 1961. 19 марта.

[4] Цит. по: URL: http://alldayplus.ru/society/interview/246-bio-filmo-bibliografiya-zhizn-i-neobychajnye.html.

[5] Травоядные просятся в клетку / беседа Д. Быкова с В. Войновичем // Собеседник. 2007. 27 августа.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Владимир Войнович: «Из русской литературы я не уезжал никуда» / беседу вела Т. Бек // Вопросы литературы. 1991. № 9.

[9] Стенограмма заседания Секретариата Правления Московской писательской организации СП РСФСР 20 февраля 1974 г. // URL: http://www.gramotey.com/?open_file=1269076733.

[10] РГАЛИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 10. Л. 13–16.

[11] Вопросы литературы. 1991. № 9.

[12] Юность. 1988. № 12; 1989. № 1–2.

[13] Войнович В.Н. Автопортрет: Роман моей жизни. С. 860.

[14] Он же. Перемещенное лицо. М.: ЭКСМО, 2007.

[15] Чонкин international // Московские новости. 2007. 21 сентября.



24

ВОЛОШИН М.А.

Стихи о терроре

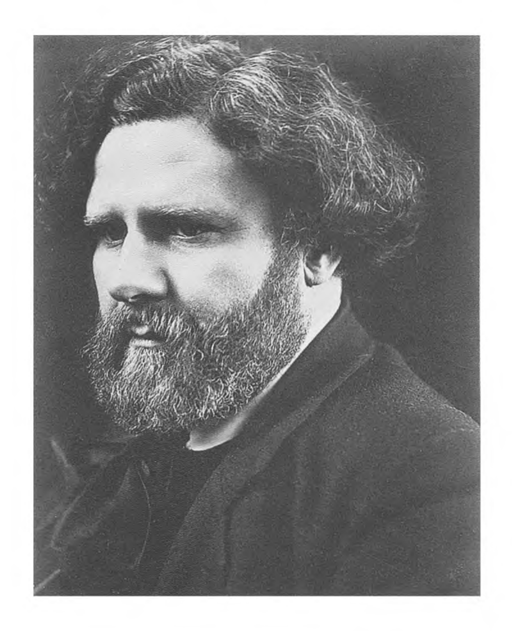
/ Максимилиан Волошин; [обл. Л. Голубева-Багрянородного]. — Берлин: Книгоизд-во писателей в Берлине, 1923. — 69, [3] с.; 19×13 см. — [2500 экз.]
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.



Максимилиан Александрович Волошин (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932) был яркой и самобытной фигурой в истории литературы и искусства XX века. Человек в высшей степени незаурядный, он проявил себя как поэт и переводчик, критик и эссеист, художник и философ и, оставив яркие свидетельства о своем времени, еще при жизни стал легендой.

Началом его литературной деятельности можно считать 1900 год, когда в журнале «Русская мысль» появилась большая статья в защиту Гауптмана, подписанная «Макс. Волошин». Это один из первых российских манифестов модернистской эстетики. Последовавшие за нею статьи о русской и французской литературе, о русском и французском театре, о событиях культурной жизни Франции, о танце отражают разносторонность его интересов. В 1903 году в символистских изданиях — журнале «Новый путь», альманахах «Гриф» и «Северные цветы» — появляются первые стихотворные публикации Волошина. Он писал, по замечанию Эренбурга, «статьи, похожие на стихи, и стихи, похожие на статьи»[1].

В феврале 1910 года, когда Волошин уже был известным поэтом и критиком, в Москве вышла его первая книга «Стихотворения. 1900–1910», получившая положительные отзывы В. Брюсова, Вяч. Иванова, М. Кузмина, В. Полонского.



Максимилиан Волошин. Париж. 1910-е годы. Фото П. Шумова

С 1904 года Волошин постоянный сотрудник и парижский корреспондент «Весов» — большей частью он живет в Париже, ведет активную творческую деятельность, становится заметной фигурой в кругу символистов, но при этом занимает самостоятельную позицию.

В марте 1916 года Волошин возвращается в Россию. Как ратник ополчения 2-го разряда подлежит призыву, но отказывается от военной службы:

«Я отказываюсь быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт: как европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участие в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины...

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм — и в том числе самой совершенной — храма человеческого тела.

Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг — понимание.

Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, так как поражение на физическом плане есть победа на духовном, не может быть солдатом»[2].

Октябрьскую революцию поэт воспринял как испытание, ниспосланное России: «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах, еще более жестоких»[3]. Его поэтическое творчество тех лет поражает масштабностью исторического видения. Книга стихов о революции «Демоны глухонемые» (Харьков: Камена, 1919) полна мрачных предчувствий и безысходности.

Живя в Коктебеле и став свидетелем страшного террора в Крыму, Волошин пытался приостановить поток убийств, вступаясь за ту или иную отдельную жертву. Таким и запомнила его Марина Цветаева: «Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей»[4].

Как вспоминает Роман Гуль, в начале 1923 года издатель популярного журнала «Новая русская книга» Александр Семенович Ященко получил от Волошина письмо из Крыма, посланное с верным человеком; к письму были приложены стихи, которые поэт просил опубликовать за границей,

«где найдете возможным»[5]. «Эти стихи лучше, чем всякие письма, дадут понятие, что делалось и переживалось в эти годы. Они написаны с точностью документов»[6]. В письме Волошин делился своими впечатлениями от жизни в Коктебеле: о приходе белогвардейцев, о контрнаступлении и взятии Крыма Красной армией, о пролетарской «чистке» — кровавом терроре, уничтожившем не то сто, не то сто пятьдесят тысяч бывших белых, о последовавшем затем «белом терроре»…

Стихи, приложенные к письму, были опубликованы в февральском номере «Новой русской книги». Во второй половине июня 1923 года берлинские газеты «Руль» и «Дни» сообщили, что «Книгоиздательством писателей в Берлине» выпущен сборник М. Волошина «Стихи о терроре» (тираж 2500 экз.). Название — издательское. В книге два цикла — «Усобица» (10 стихотворений) и «Путями Каина» (13 стихотворений).

Это — последняя прижизненная книга Волошина, и она пронизана болью — за страдающих и погибающих с обеих сторон:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

«Руль» напечатал рецензию Л. Львова на «Стихи о терроре» под названием «На дне преисподней»[7]. Эти «стихи клокочущего протеста против кровавой современности» — голос «одного из наших лучших современных поэтов» из глубины России, «с самого дна преисподней», заявлял Львов.

Е. Зноско-Боровский, рецензируя книгу в «Последних новостях», увидел в ней «документ непререкаемой поэтической ценности относительно “страшных лет России”... Мощным стало мастерство поэта, окреп его голос»[8]. Он же в «Заметках о русской поэзии» в журнале «Воля России» отметил: вместо живописных задач в стихах Волошина появились «философские и религиозные», автор считает уместной «сухость» протоколизма в стихах «на эту страшную тему»[9].

З.Н. Гиппиус расценила «Стихи о терроре» как недостойный «отказ от борьбы» и проявление «героического мазохизма», по ее убеждению, молитва «за тех и за других» — абсурдна[10].

Совсем иначе оценил книгу на страницах газеты «Правда» критик Л. Сосновский, предъявивший Волошину обвинение в контрреволюционности. В статье «На идеологическом фронте. Кто и чему обучает нашу молодежь?», содержащей резко критический отзыв о книге критика и литературоведа В.Л. Львова-Рогачевского «Новейшая русская литература» (М., 1923), Сосновский писал о Волошине: «…сей новоявленный пророк революции где-то в зарубежной печати скулил из подворотни на нашу революцию. Ведь этому же слов нельзя подобрать, когда в нашей высшей

партийной школе первым поэтом революции объявляют Волошина, потрепанного, бесцветного подголоска Бальмонтов, Мережковских и прочих давнишних декадентов…»[11]

В июле 1923 года Главлитом был составлен список не допущенных к распространению в РСФСР заграничных книг на русском языке; среди них — «Стихи о терроре»[12]. По отзыву «политредактора» Госиздата, «в политическом отношении многие из них (стихотворений Волошина. — *М.М.*) нецензурны. Таковы, например, "Красноармеец", "Матрос", "Террор", "Хвала Богоматери". Эти стихотворения не могут быть разрешены для печатания даже частными издательствами… общий тон всех произведений Максимилиана Волошина абсолютно неприемлем для Государственного издательства. Это какая-то интеллигентская мешанина из великороссийского национализма, православного благочестия, слюнявого брюзжания и филистерского воздыхания по поводу ужасов революции и гражданской войны»[13].

Большим ударом для Волошина стала статья Б. Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах Максимилиана Волошина», опубликованная в ноябрьском номере журнала «На посту». Поводом послужила та же «Новейшая русская литература» В.Л. Львова-Рогачевского и публикация стихов Волошина в журнале «Красная новь»[14] и эмигрантских изданиях. Возмущенный прозвучавшими в печати высокими оценками стихотворений Волошина периода революции и Гражданской войны, Таль вознамерился показать «истинное лицо» поэта. Опровергая тезис о политической «нейтральности» Волошина, он заявлял: «Падение самодержавия, торжество пролетарской революции повергает Волошина в черную меланхолию и безнадежный пессимизм. Волошин был настоящим, искренним, преданным бойцом стана контрреволюции, если не телом и рукой, то во всяком случае духом и пером… поэт-аристократ, осатаневший от ненависти к Советской власти, к России молота и серпа, всецело был с контрреволюцией, с белогвардейщиной… Своим творчеством Максимилиан Волошин сам дает ясный ответ на вопрос — кто он такой. Это последовательный, горячий и выдержанный контрреволюционер-монархист. Пусть же обращает он свои пламенные призывы к мертвецам контрреволюции. Живой, творящей, неуклонно движущейся вперед — к коммунизму — рабоче-крестьянской Советской России такое творчество не нужно»[15].

«Весь номер "На посту" дал понять, что такое "идеологический фронт"… Вижу ясно, что сейчас в русской литературе мне места нет», — замечал Волошин в письме к В.В. Вересаеву по поводу этого выпада[16]. Он ответил Б. Талю и письмом в редакцию, утверждая: статья Таля — не литературная критика, а прокурорское обвинение. «Я рассматриваю буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антагонические выявления единой сущности… Этапы текущей Революции я рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории, и думаю, что этим методом вернее нащупываю пути будущего, чем последователи предвзятых идеологий… Коммунизм в его некомпромиссной форме мне очень близок, и моя личная жизнь всегда строилась в этом порядке, государственность же враждебна, как все, что идет под знаком Государства, Политики и Партийности»[17].

Волошинская отповедь стала причиной еще одного «напостовского» выступления — «Письма в редакцию», озаглавленного «Кое-что о “незаслуженной славе” Максимилиана Волошина»[18]. Автор его, Б. Скуратов, поделился личными воспоминаниями о том, как Волошин публично выступал в 1919–1920 годах в Крыму при белых с чтением своих стихов, и в доказательство волошинской «контрреволюционности» привел по памяти два его стихотворения, в России не публиковавшиеся, — «Матрос» и «Красноармеец» (у Волошина — «Красногвардеец»), отметив успех, который они имели у «врангелевских молодчиков».

В ноябре 1923 года Волошин передал И.М. Майскому подборку своих стихов для предполагавшейся публикации их в «Звезде». В его письме к Майскому содержится очень важная для понимания творчества поэта формулировка:

«Стихи мои, хотя и о современности и о текущем — но они *аполитичны* до конца. Я беру *явление* русской революции и принципиально воздерживаюсь от оценки и осуждения партий. Я отнюдь не гражданский, а *анти*гражданский поэт. Поэтому мои стихи могут нравиться полярным по убеждениям людям. (Хотя вероятнее: одинаково *возмущать* и тех и других.)

Меня лично нисколько бы не удивила и не огорчила даже и похвала черносотенной какой газеты. Ведь это моя цель: подняться *над* политическим сознанием современности…

Я думаю, что это не будет чересчур большим самомнением, если я предположу, что мои стихи останутся в известной степени показательны для нашей эпохи. И они как исторический документ могут быть использованы и белыми и красными для совершенно противуположных целей. Но не будет ли со стороны Советской России опрометчивым отказаться от моих стихов только потому, что их раньше похвалили за границей?»[19]

В «Звезде» подборка стихотворений Волошина опубликована не была. Так начиналась официальная травля поэта, имя его было предано забвению, и с 1928 по 1961 год в СССР не было напечатано ни одной его строчки.

Марина Мелкова

---

[1] Эренбург И. Портреты современных поэтов. М.: Первина, 1923. С. 37.

[2] Волошин М. Все даты бытия. М.: Вагриус, 2007. С. 15.

[3] Там же. С. 33.

[4] Цветаева М. Живое о живом // Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Советский писатель, 1990. С. 266.

[5] См.: Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: в 3 т. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. Т. 1: Россия в Германии. С. 125–132.

[6] Цит. по: Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб.: Петербургский писатель, 1995. С. 628. (Б-ка поэта. Большая серия).

[7] Руль (Берлин). 1923. 19 сентября.

[8] Последние новости (Париж). 1923. 20 сентября.

[9] Воля России. 1924. № 3. С. 97–98. Цит. по: Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1917–1932. СПб.; Симферополь: Алетейя; Сонат, 2007. С. 211.

[10] Крайний А. О молодых и средних // Современные записки (Париж). 1924. № 19. С. 234–249.

[11] Правда. 1923. 1 июня.

[12] Цензура в СССР: Документы. 1917–1991 / сост. А.В. Блюм; коммент. А.В. Блюма и В.Г. Воловникова. Бохум: [Proekt Verl.], 1999. С. 68.

[13] ГА РФ. Ф. 395. Оп. 9. Д. 179. Л. 356. Цит. по: Блюм А.В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С. 68

[14] Отрывки из цикла «Путями Каина» (Красная новь. 1922. № 3. С. 8–14).

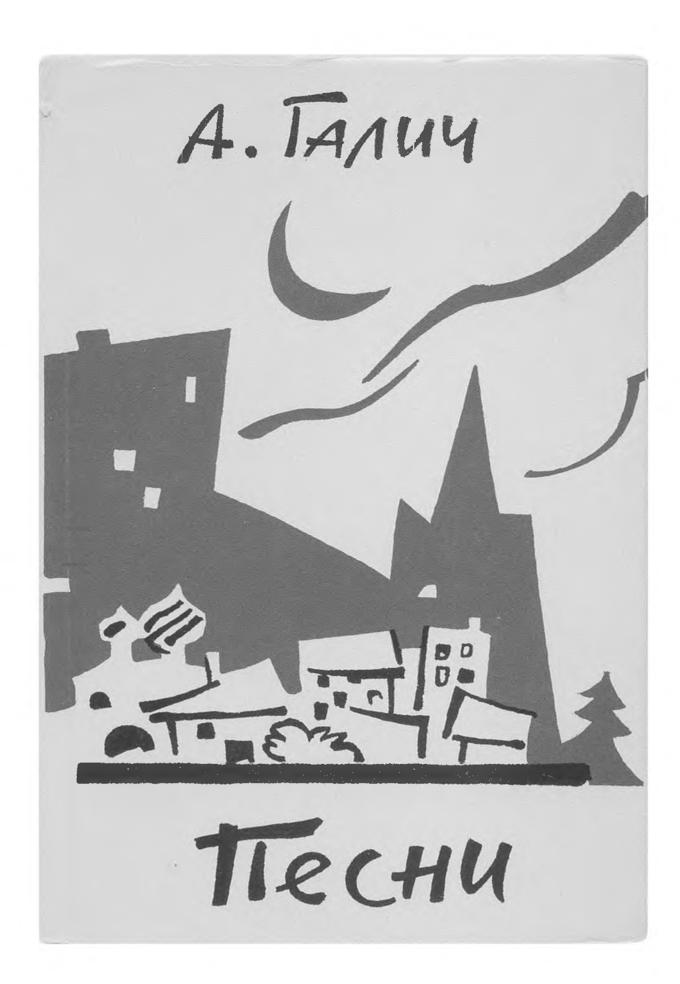
[15] На посту. 1923. № 4. С. 151–164.

[16] Из письма М. Волошина к В.В. Вересаеву от 9 января 1924 г. Цит. по: Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина… С. 209.

[17] Красная новь. 1924. № 1. С. 312.

[18] На посту. 1924. № 1. С. 132.

[19] Из письма М. Волошина к И.М. Майскому от 20 ноября 1923 г. (Наше наследие. 1989. № 1. С. 102–103).



25

ГАЛИЧ А.

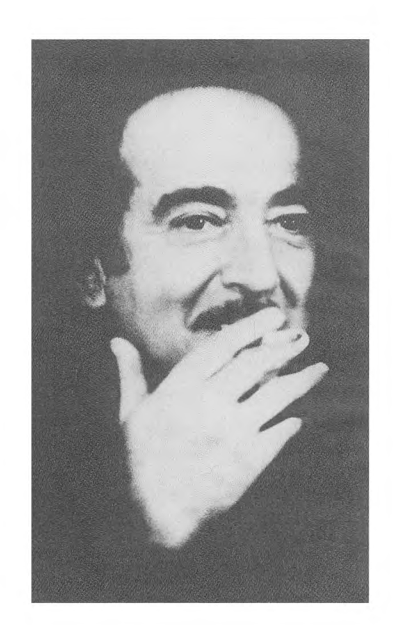
Песни

/ Александр Галич. — Frankfurt a/M: Посев, 1969. — 132 с.; 21×14 см. В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете и иллюстрированной цветной суперобложке О. Соханевича. Экземпляр с автографом автора на форзаце: «Дорогим Наташе и Никите — с любовью, ведущейся издáвна! Александр Галич. 15 сентября 1970»[1].



Александр Аркадьевич Галич (наст. фам. Гинзбург; 1918–1977) родился в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Некоторое время семья жила в Севастополе, а в 1923 году переехала в Москву. После школы Галич поступил одновременно в Литературный институт им. М. Горького и Оперно-драматическую студию К.С. Станиславского. Литинститут он вскоре бросил, а через три года оставил и Оперно-драматическую студию: перешел в Театр-студию А.И. Арбузова и В.Н. Плучека, дебютировавшую в 1940 году коллективным спектаклем «Город на заре», одним из авторов которого был Галич.

Весьма успешный драматург и сценарист, Галич с конца 1950-х годов начал сочинять на свои стихи песни и исполнять их. Смелый характер песен, с годами все более глубоких и политически острых, в конце концов привел к конфликту с властями: Галичу было запрещено давать концерты. В 1971 году его исключили из Союза писателей, в 1972-м — из Союза кинематографистов, и в 1974 году — под давлением «компетентных органов» — он был вынужден эмигрировать. Год жил в Осло,



Александр Галич. 1970-е годы

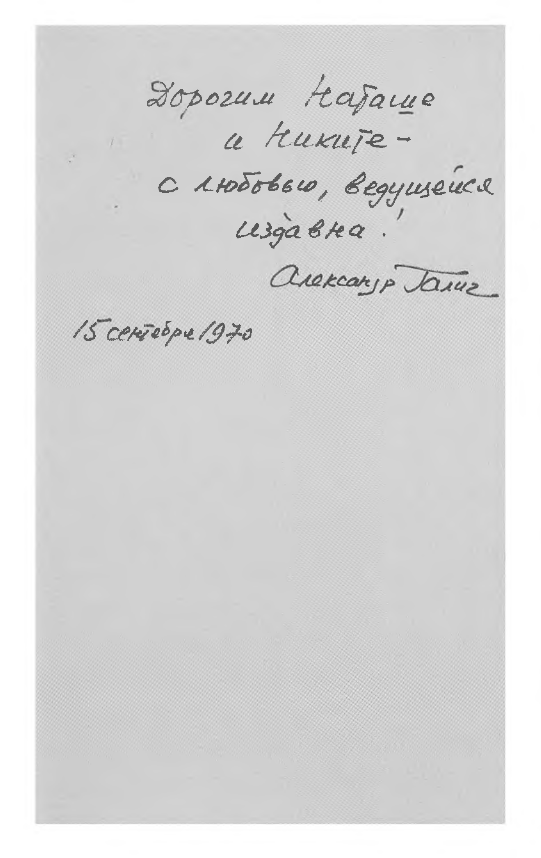
затем работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, а в 1976-м переехал в Париж. В том же году снял документальный фильм «Беженцы XX века». Выступал с концертами (последний состоялся 3 декабря 1977 года в Венеции). Меньше чем через две недели, 15 декабря, Галич погиб от удара электрическим током, пытаясь подключить у себя дома новую телерадиосистему. До сих пор у многих существует сомнение, что это был несчастный случай, — причем бытуют версии прямо противоположные: одни считают, что Галич был убит по заказу КГБ, другие винят в его смерти ЦРУ. Похоронен он на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

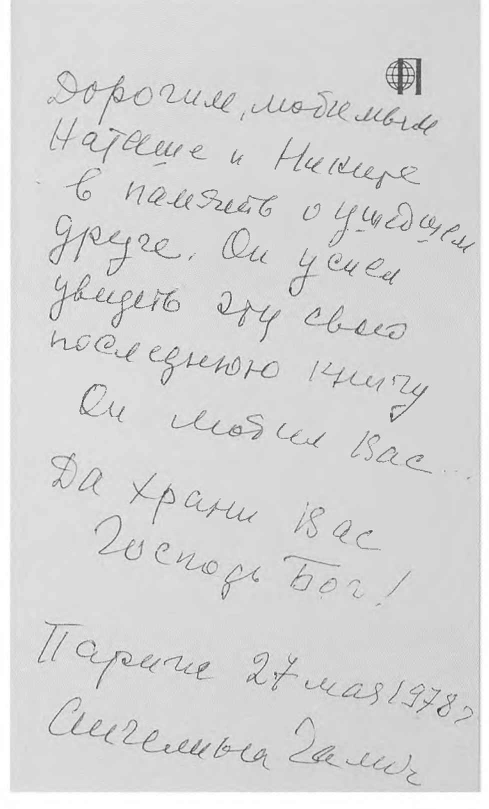
Как случилось, что «устроенный» и обеспеченный «баловень судьбы», уже прочно утвердившийся в советском кино и как сценарист, и как автор текстов песен, начал писать совершенно другие песни — те, что в советском кино ни под каким видом прозвучать не могли? В 1966-м Галич роняет фразу, записанную современниками: «Песни стоят в горле. Мне надоело бояться»[2].

Этапом такого внутреннего освобождения, передающегося от поэта и читателям и слушателям, стала книжка А. Галича «Песни», вышедшая в 1969 году без ведома автора во франкфуртском издательстве «Посев».

Песням просочиться за границу было легче, чем чисто литературным текстам: на каждом концерте обязательно находился кто-то, кто записывал их на магнитофон; дальше запись передавалась друзьям, от них — следующим друзьям, и песни расходились по стране, улетали за ее пределы... Написанные от лица лирических героев, песни Галича производили ошеломляющее впечатление — своей абсолютной достоверностью, новизной, художественной правдой. Не удивительно, что франкфуртские издатели приписали Галичу судьбу его лирических героев. Об авторе сообщалось: «Принадлежит к поколению сталинских узников. Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». О том же говорится и в послесловии Е. Романова: «Галич, прошедший через тюрьмы и концлагеря, вышел за узкие границы личного» (с. 123).

Именно эта книга и стала той каплей, что переполнила чашу терпения властей, послужив формальным поводом к исключению поэта из творческих союзов и к началу его травли. Галич ответил «Открытым письмом московским писателям и кинематографистам»: «29 декабря 71 года Московский секретариат СП, действуя от вашего имени, исключил меня из членов Союза писателей. Через месяц секретариат СП РСФСР единогласно подтвердил это исключение. Еще некоторое время спустя я был исключен из Литфонда и (заглазно) из Союза работников кинематографии. Сразу же после первого исключения были остановлены все начатые мои работы в кино и на телевидении, расторгнуты договора. Из фильмов,





Форзац книги «Песни» с дарственной надписью автора

Авантитул книги А. Галича «Когда я вернусь» (Франкфурт-на-Майне, 1977) с автографом дочери поэта

уже снятых при моем участии, — вычеркнута моя фамилия. Таким образом, вполне еще, как принято говорить в юридических документах, "дееспособный литератор", я осужден на литературную смерть... Меня исключили втихомолку, исподтишка. Ни писатели, ни кинематографисты официально не были поставлены... об этом в известность. Поэтому я и пишу это письмо. Меня исключили за мои песни — которые я не скрывал, которые пел открыто, пока в 1968 году тот же секретариат СП не попросил меня перестать выступать публично... Предлоги: выход книжки моих песен в некоем эмигрантском издании, без моего ведома и согласия, с искаженными текстами и перевранной биографией (факт, который почему-то особенно ставил мне в вину драматург Арбузов)... Я писал свои песни не из злопыхательства, не из желания выдать белое за черное, не из стремления угодить кому-то на Западе. Я говорил о том, что болит у всех и у каждого, здесь, в нашей стране, говорил открыто и резко»[3].

После исключений, оставшись совершенно без средств к существованию, Галич был вынужден распродавать свою домашнюю библиотеку и вести нищенскую жизнь. В 1972 году с ним случился третий инфаркт, после которого ему была оформлена вторая группа инвалидности и назначена пенсия — 54 рубля в месяц. В 1973 году Александр Аркадьевич принял крещение в Православной Церкви. Крестил его отец Александр

Мень. «Тем временем… официальные власти подталкивали Галича к тому, чтобы он покинул СССР. Но он стоически сопротивлялся»[4]. В 1974-м его удалось наконец «выдавить» на Запад. Вот как вспоминал об отъезде поэта о. Александр Мень: «Это было тяжкое, мучительное расставание. Он приехал ко мне домой с гитарой. Пел для собравшихся друзей. Голые ветки за окном и пустое пространство напоминали о бесприютности. Мы смеялись и плакали. Никто не мог обвинять в противоречии человека, написавшего “Песнь исхода”. Было видно, что его довели до точки. Больше он не мог выдержать. Есть моменты, когда суждено дрогнуть и сильному. При прощании у него он хотел подарить мне на память — как символ — дощечку, с которой легко стираются написанные слова. Горький сувенир времен молчания. Но я отказался взять. “Придет время, еще будем говорить вслух”, — сказал ему я. Рассчитывать, правда, было не на что. Но я верил и надеялся. Уж “оттуда” он писал мне в коротенькой записке, что никогда *там* не привыкнет. Это и не удивительно. Он был плоть от плоти нашей, Москвы, нашего непростого времени, полного глубокого и вечного смысла»[5].

На «Песни» А. Галича сразу вышла рецензия Л. Донатова в журнале «Посев» — «Поет Галич, поэт Галич»: «И все-таки Галича всенародно поют сейчас в России — уже лет шесть как поют… Его поют потому же, почему читают неизданного Солженицына. В стихах-песнях Галича бьется, трепещет, хватает за сердце сама правда… В песнях Галича — очень напряженная драматургия, подавляющее большинство их сюжетны, имеют завязку, кульминацию, развязку. Сам поэт признает, что задумывает песни как драматург, иначе не может. У него в песнях часто по несколько персонажей, есть диалоги, интермедии — прямо как в пьесах или сценариях. Здесь — уникальное своеобразие Галича-поэта… Я рассматриваю изящно, на прекрасной бумаге изданный сборник Галича и думаю: есть ли у самого поэта хоть экземпляр? Знает ли Галич, что сборник издан? Что будет чувствовать, если возьмет в руки книгу — первую книгу своей поэзии, прилетевшую из чужой страны? Мне кажется, что общее впечатление от сборника у самого автора было бы хорошим. Собранные под обложкой сорок две песни — почти все, написанное Галичем… Будем надеяться, что если автор когда-нибудь возьмет в руки сборник и подосадует на ошибки, то сразу поймет их происхождение. Редакция, увы, не могла послать автору сверку. Источник песен — Самиздат, а Самиздат — это всегда испорченный телефон. Пожалуй, стоит удивиться, что ошибок еще так мало и они, в общем, малозначительны»[6].

Советская пресса помянула этот сборник лишь после смерти поэта — в злобной пародии на некролог: «Гнилой товар нашел своего покупателя. Стихи Галича стали печататься в энтээсовских журналах “Посев”, “Грани”, “Русская мысль”, песни исполняться в антисоветских передачах различных радиоголосов. В 1969 году издательство “Посев” выпустило в ФРГ книжку… Беспрерывные пьянки, женщины легкого поведения (среди них секретарша РС, агент ЦРУ Мира Мирник), скандалы…»[7]

На родине подлинные, а не организованные властью отзывы могли появиться только в виде писем — как, например, письмо Галичу Виктора Ардова, написанное в декабре 1969-го: «А по существу, я хотел бы закон-

чить еще одним изъявлением благодарности Вам за то, что Вы одарили нас песнями, которые заставляют смеяться и плакать своим проникновением в язвы и тревоги нашей жизни. Как оно всегда бывает с подлинным искусством, Вы настолько четко говорите обо всех явлениях жизни, коим посвящены Ваши песни, что у нас — слушателей — возникает постоянно одна и та же мысль: "Да, именно так оно и бывает! Как же я сам не заметил этого, не определил для себя, не описал?!"»[8]

Его песни продолжали слушать на родине, магнитофонные записи крутились в квартирах, подростки и юноши во дворах подбирали их на слух, пробуя гитару, — им предстояло с ними взрослеть.

Наталья Ликвинцева

---

[1] Книга подписана композитору Никите Владимировичу Богословскому (1913–2004) и его жене Наталье Ивановне Панкратовой. С Н.В. Богословским А.А. Галич дружил, вместе они работали над фильмами «Трижды воскресший» (1960) и «Легкая жизнь» (1964). В коллекции имеется также экземпляр книги А. Галича «Когда я вернусь: Стихи и песни 1972–1977» (Frankfurt a/M: Посев, 1977) с автографом дочери Галича, адресованным тем же лицам: «Дорогим, любимым Наташе и Никите в память о ушедшем друге. Он успел увидеть эту свою последнюю книгу. Он любил Вас... Да храни Вас Господь Бог! Париж 27 мая 1978 г. Ангелина Галич».

[2] Орлова Р. Чужой и родной // Заклинание добра и зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе рассказывают статьи и воспоминания друзей и современников, документы, а также истории и стихи, которые сочинил он сам. М.: Прогресс, 1992. С. 444.

[3] Галич А. Открытое письмо московским писателям и кинематографистам // Заклинание Добра и Зла… С. 49–51.

[4] Раззаков Ф. Звездные трагедии: загадки, судьбы и гибели. М.: Эксмо-Пресс, 2000. С. 82.

[5] Мень А., прот. Блаженный значит счастливый // Заклинание Добра и Зла… С. 423–424.

[6] Посев. 1969. № 11. С. 52–54.

[7] Григорьев С., Шубин Ф. Это случилось на «Свободе» // Неделя. 1978. № 16.

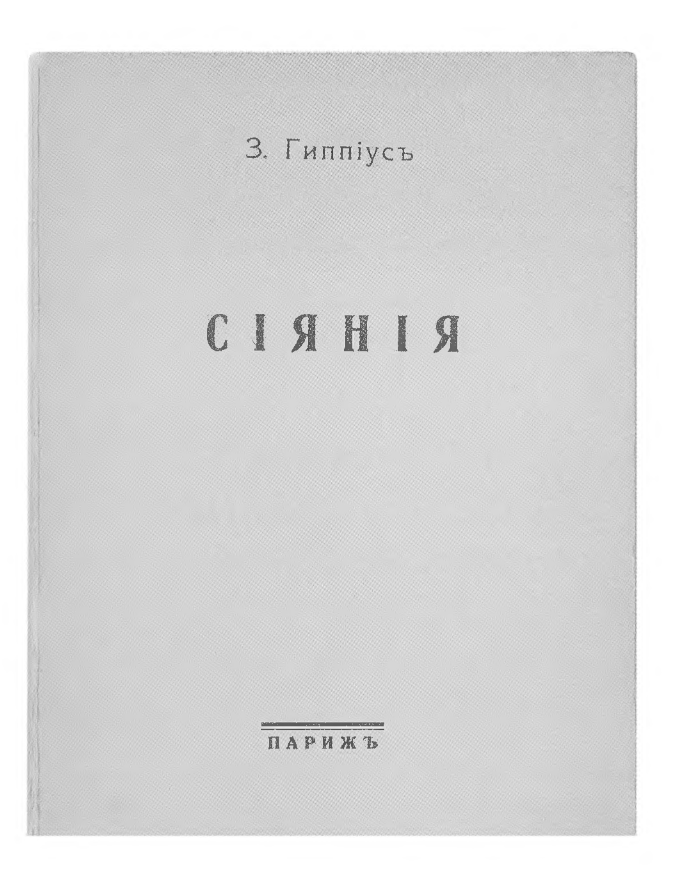
[8] Ардов В. Письмо А. Галичу // Заклинание Добра и Зла… С. 45–46.

26

ГИППИУС З.Н.

Сияния

/ Зинаида Гиппиус. — Париж: Дом книги, 1938. — (Русские поэты; вып. 2). — 46, [2] с.; 17×13 см. — 200 экз., из которых двадцать экземпляров (пронумерованы от 1 до 20) в продажу не поступали.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогому Владимиру Николаевичу Аргутинскому во имя старинной дружбы и общих надежд. З. Гиппиус. Париж. 5-2-39»[1].



Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945), один из идеологов русского символизма, родилась в дворянской семье, из-за службы отца (юриста) ей приходилось часто переезжать с места на место, и системного образования она не получила. В ноябре 1888 года в журнале «Северный вестник» увидело свет первое стихотворение Гиппиус, а в январе 1889-го она вышла замуж за молодого поэта Дмитрия Мережковского. Уже на исходе жизни, начиная книгу о нем, она писала: «Мы прожили с Д.С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день»[2].

Гиппиус блистала на Парнасе Серебряного века, и в общественно-культурной жизни эмиграции ей также была отведена одна из ведущих ролей. Революция как «крушение миров» вызвала у З.Н. Гиппиус ощущение… скуки — настолько происходящее угнетало ее обезличенностью, тем, как охотно озверевшие массы подчинились жестокой воле большевиков. Понимая свою полную несовместимость с советской властью, 24 декабря 1919 года З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский вместе с их другом Д.В. Философовым и литературным секретарем В.А. Злобиным покидают Россию. Варшава, Берлин, наконец Париж, где еще с дово-

енных времен у Мережковских сохранилась небольшая собственная квартира. Очень скоро здесь начало собираться на заседания созданное ими общество «Зеленая лампа» (1927–1939), призванное объединить литературные круги эмиграции. Гиппиус была и вдохновительницей нового объединения, и строгим поэтическим судьей, и, увы, источником идеологической нетерпимости. Ей принадлежит знаменитое высказывание, процитированное Н.Н. Берберовой («Курсив мой»): Россия без свободы — не нужна.



Зинаида Гиппиус. 12 февраля 1911

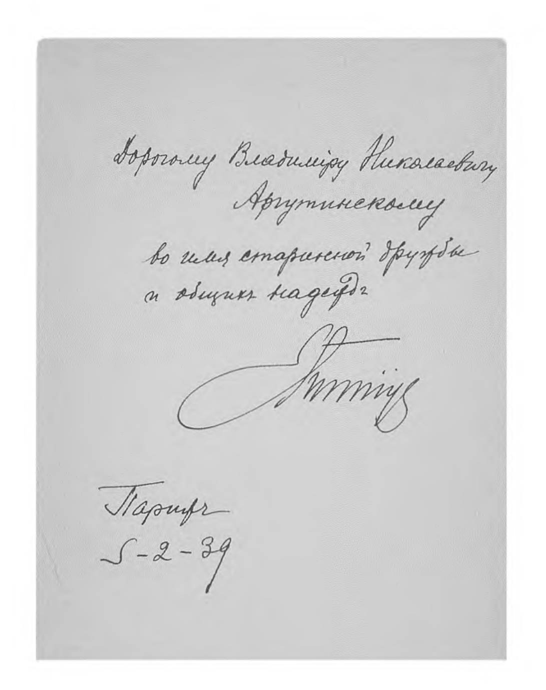
Поэтическое творчество Гиппиус после революции невелико по объему. Выпустив в 1918 году в Петербурге сборник «Последние стихи», ставший поэтическим документом эпохи, а в Берлине в 1922 году — книгу, состоящую из стихов лишь наполовину («Стихи. Дневник 1911–1921»), она, кажется, всецело предалась критике и публицистике, выступая под мужским псевдонимом Антон Крайний. В 1929 году в Белграде увидела свет ее «Синяя книга» — «петербургский дневник» о событиях 1914–1918 годов. И только перед самой войной появился последний прижизненный сборник лирики З.Н. Гиппиус — «Сияния».

Автор признавалась, что ничто не доставляет ей такого наслаждения, как писание стихов. Правда, сопровождалось это признание обычным для Гиппиус парадоксом: «Видимо, потому, что я пишу всего по одному стихотворению в год».

В книге «Сияния» 39 стихотворений, и начинается она с поэтического манифеста:

Сиянье слов… Такое есть ли?
Сиянье звезд, сиянье облаков —
Я все любил, люблю… Но если
Мне скажут: вот сиянье слов —
Отвечу, не боясь признанья,
Что даже святости блаженное сиянье
Я за него отдать готов…
Все за одно сиянье слов!

Сиянье слов? О, повторять ли снова
Тебе, мой бедный человек-поэт,
Что говорю я о сияньи Слова,
Что на земле других сияний нет?



Авантитул книги «Сияния» с дарственной надписью автора

В критике сборник вызвал разноречивые мнения.

Откровенно разочарованный Д.П. Святополк-Мирский («да, да, не то!..») по его поводу иронизировал: «Как будто ничего не случилось... Весь набор символических отмычек налицо в этой книге (слегка ржавчиной покрытый), злобствующее христианство, Слово, мать-невеста-дочь, сияния, порхания»[3]. «Все главное осталось», — подхватывал эту мысль и М.О. Цетлин, но был в то же время более снисходителен: «Осталась своеобразная смесь рефлексии, и даже дидактизма, и подлинного лирического чувства, иронии и религиозности, мужского ума, направленного на высшие вопросы духа, и женской манерности...»[4] Любопытную метафору нашел Г.В. Адамович: «Взлетов нет... Стихи... похожи на личинки бабочек, которым полет обещан — но сами они прикреплены к земле»[5]; отмечая, что новой книге Гиппиус свойственны «прирожденная рассудочность и охлажденная ирония», «трезвый, логический ум», критик лукаво не уточняет, способствуют эти свойства созданию высокой поэзии или, наоборот, ей вредят. В.Ф. Ходасевич в своей оценке был более определенен, полагая, что обаяние стихов Гиппиус состоит в непрестанной борьбе «поэтической души с непоэтическим умом, художественного чутья с антихудожественными понятиями, вкуса с безвкусицей»[6]. По мнению В. Андреева (С. Осокина), неизменной «пушкинской простоте» Гиппиус недостает «пушкинской ясности», а стихи ее приобрели «эмигрантский» налет; критик догадался, в чем состоит главное изменение поэтического облика поэтессы: в нем уже «меньше едкости, меньше обреченности», потому что «ясна последняя цель жизни — примирение»[7].

Стихи Гиппиус не укладываются в рамки традиционной «женской» поэзии. Монолог в них идет обычно от лица некоего отстраненного повествователя, а странность, мистичность ее лирики проистекает не из того, что сказано, а из того, что скрыто, из «несказáнностей», окутывающих глубокое и своеобразное миросозерцание поэта, в центре которого — Бог. Потому к стихам — своим или чужим — она относилась необычайно взыскательно, желала видеть в них отражение идеала истины и красоты и считала подобными молитве. Блок, имея в виду молодую Анну Ахматову, как-то обмолвился: «Она пишет стихи как перед мужчиной, а надо как перед Богом». Именно так и стремилась писать Зинаида Гиппиус. Поэтому ни зова плоти, ни любовных страстей в ее поэзии не найти. Стихи ее часто абстрагированы от действительности, приподняты над нею;

в них нет мятущейся или созерцательной женской души, в них приоткрываются тайны находящегося в непрестанном развитии духа. Впрочем, порою написанные от мужского имени строки выдают сугубо женские сокрушения («Всегда чего-нибудь нет, / Чего-нибудь слишком много...»). И уж тем более со знанием дела написано стихотворение «Женскость» («Женская душа — пустынная, / Знает ли, какая холодная, / Знает ли, как груба? / Утешайте же душу невинную, / Обманите, что она свободная... / Все равно она будет раба»). И тут же, словно демонстративно отказываясь от рабской женской сути в пользу царства духа, Зинаида Николаевна на равных беседует с «сердитым» солнцем, с луной, с дождем, со звездами, со святыми и апостолами, с демонами... Чем проще сказано, чем интимнее интонация, чем разговорнее синтаксис — тем сильнее воздействие парадоксальной мысли.

Многие стихотворения сборника пронизаны евангельскими мотивами, полны литературных реминисценций («Наставление» впрямую перекликается с тютчевским «Silentium!», настроение «Ключа» «дышит» Лермонтовым, «За что?» неожиданно оборачивается парафразом Некрасова); есть и продолжение собственных лирических тем (например, в стихотворении «Прорезы» — «Люблю мое высокое окно...»). Встречаются среди стихов сборника и сугубо отвлеченные медитации на религиозные темы, но даже умозрительное представление (о Страшном суде) Гиппиус умела высказать такими земными словами, что строки ее пронзали болью:

Когда я воскрес из мертвых,
Одно меня поразило:
Что это восстанье из мертвых
И все, что когда-нибудь было, —
Все просто, все так, как надо!

Мне раньше бы догадаться!
И грызла меня досада,
Что не успел догадаться.
(*«Досада»*)

В то же время от стихов Гиппиус исходит огромная, обволакивающая нежность («Господи! Иду в неизвестное, / Но пусть оно будет родное...») — в этом, возможно, и состояло женское начало ее лирики. Одиночество — уже не одиночество, если кто-то столь же остро разделяет его с тобой, и любовь — бесконечна благодаря памяти о ней. Так, в стихотворении «Над забвеньем» случайный звук совершает удивительное превращение — «меня во мне изменил»:

Душу оставил все тою,
Уму не сказал ничего.
Лишь острою теплотою
Наполнил меня всего.
Не память, — но воскресенье...

И за эту внезапную, спасительную в ледяном мире теплоту Гиппиус прощаешь все ее декадентские позы, рассудочность, надменность, язвительность, «игру» (по одноименному стихотворению, в котором заранее отвергнут рай, если в нем нет игры!).

А.Л. Волынский, с которым у Гиппиус был некогда многолетний роман, закончившийся разрывом, сохранил самые «отрадные» воспоминания о ней и заметил: «Гиппиус была поэтессой не только по профессии. Она сама была поэтична насквозь»[8].

И — несмотря на все игры с мужским «я» в литературе — насквозь была женщиной. Ей не исполнилось еще и тридцати, когда она разочаровалась и в любви, и во флиртах — они приносили ей только огорчения и болезненно задевали Д.С. Мережковского; а в одном из писем она в сердцах обмолвилась: «Прихожу к печальному заключению, что я больше женщина, чем я думала, и больше дура, чем думают другие»[9]. Женщиной она оставалась до старости, до самого конца — изумительного по женскому легкомыслию, если принять во внимание трагизм времени (война, оккупация): отправившись делать химическую завивку, Зинаида Николаевна простудилась, и болезнь оказалась фатальной…

Последние годы жизни, пришедшиеся на Вторую мировую войну, Гиппиус, многими подвергнутая остракизму за неоднозначное отношение к происходящему, работала над книгой воспоминаний о Мережковском, которую предварительно хотела назвать «Он и мы». Это выдающееся биографическое повествование, переплетение мемуаров и философского трактата, осталось незаконченным (опубликовано в 1951 году).

Творческое наследие Гиппиус оказалось айсбергом: при жизни свет увидела лишь небольшая его часть — среди прочего и сборник «Сияния». Г.П. Струве убежденно писал: «…эта небольшая, но “тяжелая” книжка, несомненно, останется в русской поэзии: она свидетельствует о том, что поэтический источник Гиппиус не только не иссяк, но, скорее, обновился в эмиграции»[10]. А Г.В. Адамович в справедливой уверенности полагал: «…других таких стихов не было и не будет. Гиппиус остается собой в соседстве с любым гением»[11].

Татьяна Марченко

---

[1] Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич (1874–1941) — дипломат, коллекционер; до Первой мировой войны — секретарь российского посольства в Париже, где с ним и познакомились Мережковские. В 1921 г. эмигрировал во Францию; до конца жизни занимался собирательством и изучением русского искусства (его портрет 1910 года работы Б.М. Кустодиева находится в Русском музее, Санкт-Петербург). Похоронен, как и Мережковские, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

[2] Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж: YMCA-Press, 1951. С. 5.

[3] Иллюстрированная Россия. 1938. № 24. С. 19.

[4] Цетлин М. [Рец.:] З. Гиппиус. Сияния. 1938. Париж // Современные записки (Париж). 1938. № 67. С. 449.

[5] Адамович Г.В. [Рец.:] Гиппиус З. Сияния. Париж, 1938 // Последние новости (Париж). 1938. 9 июня.

[6] Ходасевич В. Двадцать два // Возрождение (Париж). 1938. 17 июня.

[7] Осокин С. <В.Л. Андреев> [Рец.:] Гиппиус З. Сияния. Париж, 1938 // Русские записки (Париж). 1938. № 10. С. 194.

[8] Цит. по: Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 140. (ЖЗЛ).

[9] Из письма З.Н. Гиппиус к З.А. Венгеровой, осень 1897 г. (РО ИРЛИ. Ф. 39. Оп. 2. Ед. хр. 542–542-а).

[10] Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1956. С. 138.

[11] Адамович Г.В. [Рец.:] Гиппиус З. Сияния. Париж, 1938 // Последние новости. 1938. 9 июня.

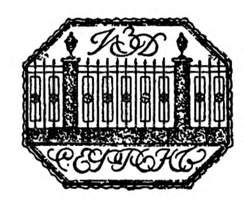
27

ГУЛЬ Р.Б.

Ледяной поход
(с Корниловым)

/ Роман Гуль. — Берлин: Изд-во С. Ефрон, 1921. — 160 с.; 17,5×12 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.





Роман Борисович Гуль (1896–1986), потомок обрусевших шведов по отцу и старинного дворянского рода по матери, родился в Киеве. Детство и юность провел в Пензе и в поместье отца Рамзай в Пензенской губернии. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского университета, но не доучился, так как был призван армию — шла Первая мировая война. Окончив Московскую 3-ю школу прапорщиков, весной 1917 года Гуль попал на Юго-Западный фронт. Октябрьские события застали его в окопах. Получив известия из дома о разграблении имения, с разрешения командира Гуль уехал домой. Вскоре однополчане сообщили ему о формировании Добровольческой армии, и молодой офицер отправился в Новочеркасск. Зачисленный в Корниловский ударный полк, он проделал в его составе Первый Кубанский (Ледяной) поход, был ранен. Осенью 1918-го приехал к родным в Киев и, мобилизованный в армию гетмана П.П. Скоропадского, служил в одной из офицерских дружин, оборонявших Киев от «республиканских войск» С.В. Петлюры (исторический эпизод, хорошо известный по роману М.А. Булгакова «Белая гвардия»). После взятия Киева петлюровцами находился на положении военнопленного; в числе многих других русских офицеров был вывезен

немцами в Германию (событиям ноября – декабря 1918 года посвящены воспоминания Гуля «Киевская эпопея»[1]).

Отказавшись принимать в дальнейшем какое бы то ни было участие в Гражданской войне, Гуль с 1920 по 1933 год жил в Берлине. Работал секретарем редакции журнала «Новая русская книга», активно поддерживал сменовеховское движение, редактировал литературное приложение к газете «Накануне», сотрудничал в советских газетах.

Литературную известность ему принес автобиографический роман «Ледяной поход (с Корниловым)» (1921). Тему Гражданской войны с ее развращающей жестокостью братоубийства писатель продолжил в книге «Белые по Черному: Очерки Гражданской войны» (1928) и в художественной автобиографии «Конь рыжий» (1952). Эмигрантской жизни посвящены его книги «В рассеянии сущие» (1923) и «Жизнь на фукса» (1927). В 1929 году в Берлине вышел роман Гуля «Генерал БО» (в последующих изданиях — «Азеф»), где главными действующими лицами были провокатор Е. Азеф и террорист Б. Савинков. За этим романом последовала «историческая хроника» «Скиф» (1931), позднее переработанная и названная «Скиф в Европе», центральными фигурами которой стали теоретик анархизма Михаил Бакунин и царь Николай I. В начале 1930-х годов Гуль создал серию портретов советских полководцев, выпустив книги «Тухачевский: Красный маршал» (1932) и «Красные маршалы: Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский» (1933).

Летом 1933 года пришедшие к власти нацисты заключили писателя в концлагерь, но, к счастью, ненадолго. В сентябре, освободившись, он сумел эмигрировать в Париж. Вскоре вышли его новые книги — «Дзержинский, Менжинский, Петерс, Лацис, Ягода» (1936) и «Ораниенбург: Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере» (1937).

Писал Гуль интересно, ярко, зримо, ничего не выдумывая: ему, по его собственному признанию, хватало сюжетов, подаренных жизнью.

После того как французскую столицу оккупировали немецкие войска, Гуль перебрался на юг страны, в «свободную зону». Вернувшись в 1945-м в Париж, начал издавать газету «Народная правда» — с целью помощи соотечественникам, оказавшимся после Второй мировой войны на Западе.

В 1950 году писатель переехал на жительство в Нью-Йорк. С 1951 года он — ответственный секретарь, а с 1959-го и до самой своей кончины — главный редактор «Нового журнала», который считал «лучшим русским журналом не только за рубежом, но и во всем мире»[2].

Свою первую и, наверное, самую известную книгу «Ледяной поход...» Гуль начал писать на рубеже 1919–1920 годов. Сам он вспоминал через много лет: «Мысль — записать все, что я пережил, что видел в гражданской войне, — засела во мне. Но если писать, думал я, — писать надо совершенно правдиво-оголенно»[3]. Первая фрагментарная публикация под названием «В походе с Корниловым: Из воспоминаний» (к заглавию была дана сноска: «Печатаемые ниже воспоминания представляют отрывки из книги Романа Гуль: “Корниловский Ледяной поход”») состоялась в журнале «Жизнь», издававшемся в Берлине умеренным социалистом В.Б. Станкевичем (1920. № 1, 2, 7, 9). Начальные главы почти сразу же были перепечатаны газетой «Варшавское слово» (№ 104–107).

В 1921 году в берлинском «Издательстве С. Ефрон» вышло отдельное полное издание книги. В 1923-м она была переиздана в СССР. Об обстоятельствах советского издания Гуль, не любивший вспоминать краткий период своего умеренного «сменовеховства», умалчивает, но наличие в нем посвящения («Книгу посвящаю горячо любимой матери»), которое отсутствует в берлинском издании, позволяет предположить, что он сам готовил ее к печати.

Уже в 1921 году в эмигрантской прессе на книгу появились отклики. Первый — под характерным заголовком «Серая книжка» в софийском журнале «Зарницы», где некто Л-ий (В. Левитский?), придерживаясь общей позиции журнала, пытавшегося мобилизовать и сплотить эмиграцию для продолжения борьбы с Советами, критически отнесся к «Ледяному походу» — книге, явно обманувшей его ожидания:

«Увы, серенькая обложка недаром выбрана для сочинения г. Гуля. Автор не умеет быть ярким. Описывая Ледяной поход, начало героической борьбы, он холоден, иногда скучен, мелочен. Его нельзя упрекнуть в сгущении красок, в стремлении выдвинуть вперед темные стороны. Нет, он добросовестно описывает, что видел. Эта неразбериха, отчужденность штабов, расстрелы, "реквизиции" — все это было. Это правда. Автор только не понял, что главное не это, а тот необыкновенный подъем, который воодушевил немногочисленные ряды первых, поднявших знамя борьбы…

К достоинствам книги Гуля нужно отнести полное отсутствие рисовки, желания написать больше того, что видел. Даже в день смерти ген. Корнилова автор говорит то, что он видел сам. Его работа — простая правдивая записная книжка рядового участника похода. Но это не история. Мы ждем и, надеюсь, дождемся настоящей истории Корниловского похода»[4].

Неизвестно, знал ли Гуль об этом отзыве, но если и знал, то в своих воспоминаниях предпочел его проигнорировать, упомянув более импонирующее ему мнение критика и литературоведа Ю.И. Айхенвальда: «"Я в Москве читал вашу книгу — прекрасная книга!" Я что-то благодарно промямлил, а он: "Книга там имеет успех, но *они, наверху*, ее тупо расценивают как какое-то разоблачение белого террора, по сути же она против гражданской войны вообще, а это вода вовсе не на их мельницу!"»[5] «Наверху», как рассказывал автору издатель З.И. Гржебин, означало: у самого главы Советского государства. «"А я ведь вашу книгу в России еще видел". — "Где же ее видели?" А Гржебин, улыбаясь: — "На столе у В.И. Ленина"»[6]. По-видимому, речь идет о берлинском издании, однако точных датировок событий Гуль не приводит, и сделать вывод, не способствовало ли знакомство Ленина с этой книгой ее изданию в СССР, нельзя.

Незадолго до смерти Гуль перепечатал «Ледяной поход...» в «Новом журнале» (1986. № 163–166), частично раскрыв полные фамилии тех, кто первоначально был спрятан за инициалами (при этом генерал А.А. Боровский ошибочно назван «Бобровским»[7], так что возможны и другие ошибки). Очевидно, он продолжал высоко ценить эту свою книгу и гордиться тем словом о Гражданской войне, которое о ней сказал.

Примечательно, что в первом переиздании на родине автора «Ледяного похода»[8] публикатор не сделал попытки анализа книги, ограничившись

пересказом биографии писателя и краткой характеристикой: «…пульсирующие болью и страстью живые человеческие образы, увиденные рядовым участником событий»[9]. Впрочем, и рецензент в отзыве на это издание (под ироническим заголовком «Откровения от Гуля») сосредоточивается не столько на характеристике произведения писателя и мемуариста, впервые становившегося известным российскому читателю, сколько на упреках автору в предвзятости и необъективности взгляда, в том, что «офицерство» 1917–1918 годов в нем «осталось на всю жизнь». Любопытно, что постсоветский рецензент, искренне считавший Добровольческую армию периода Первого похода «умирающей» (и даже не задумавшийся о том, что она существовала и сражалась потом еще два с половиной года), увидел в «мгновенно-острых, порой почти дневниковых зарисовках» способность молодого автора «выхватить из бесконечного житейского калейдоскопа самое острое и обо всем говорящее»: «Тут не хроника — душа происходящего»[10]. Вспомним, что именно души, подлинного пафоса Белого движения не почувствовал в книге Гуля рецензент эмигрантский, не только хорошо знавший «хронику» происходивших событий, но и живший той жизнью, теми переживаниями, что и персонажи «Ледяного похода». Как бы то ни было, книга эта осталась одним из самых известных литературно-мемуарных (ибо фактически лежит на стыке воспоминаний и беллетристики) источников о раннем периоде Белого движения на Юге России.

Андрей Кручинин

---

1 Гуль Р. Киевская эпопея (ноябрь – декабрь 1918 г.) // Архив русской революции. Т. 2. Берлин, 1921. С. 59–86.

2 Он же. Моя биография // Новый журнал (Нью-Йорк). 1986. № 164. С. 31.

3 Он же. Я унес Россию: Апология эмиграции: в 3 т. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. Т. 1: Россия в Германии. С. 64.

4 Л-ий. <В. Левитский> Серая книжка: (Роман Гуль. Ледяной поход с Корниловым. Берлин, 1921) // Зарницы (София). 1921. 4 сентября. С. 29.

5 Гуль Р. Я унес Россию. Т. 1. С. 94–95.

6 Там же. С. 93.

7 О раскрытии инициалов в издании 1986 г. см. в комментариях С.В. Карпенко к «Ледяному походу»: Белое Дело: Избранные произведения: в 16 кн. М.: Голос, 1993. [Кн. 2]: Ледяной поход. С. 360–361.

8 Гуль Р. Ледяной поход; Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова; Будберг А.П. Дневник. М.: Молодая гвардия, 1990.

9 Горелов П. Следуя крестному пути // Там же. С. 3.

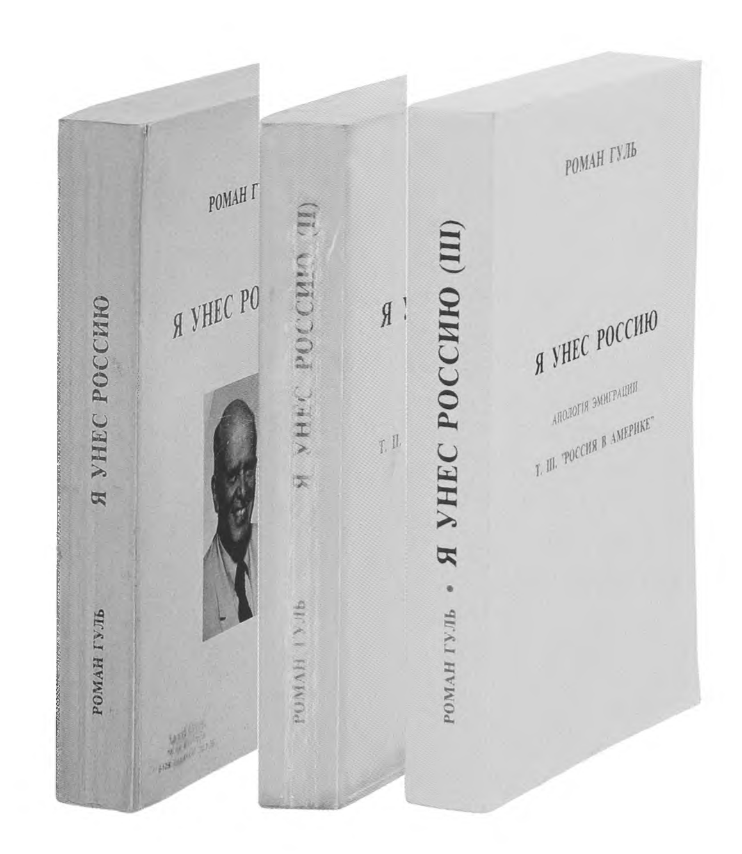
10 Литвинов В. Откровения от Гуля // Литературное обозрение. 1992. № 7/9. С. 73–76.

28

ГУЛЬ Р.Б.

Я унес Россию:
Апология эмиграции:
[в 3 т.]

/ Роман Гуль. — Нью-Йорк: Мост, 1984–1989. — Т. 1: Россия в Германии. — 1984. — 382 с.: ил., портр. Т. 2: Россия во Франции. — 1984. — 351 с.: портр. Т. 3: Россия в Америке. — 1989. — 400 с.: ил., портр., факс.; 20×13 см.
Каждый том в шрифтовой трехцветной издательской обложке.
Экземпляр с автографом автора на титульном листе т. 2: «Дорогой Тамаре Петровской-Халили очень дружески Роман Гуль. Сент. 1984. N.Y.»[1].



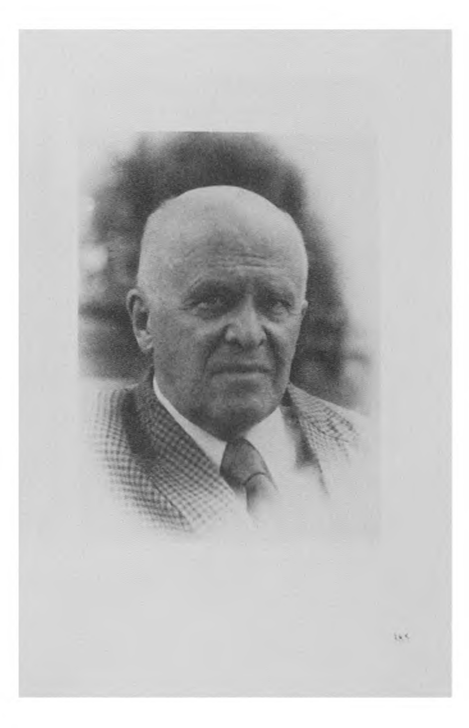


В 1978 году Гуль начал публиковать в «Новом журнале» свои мемуары «Я унес Россию: Апология эмиграции», впоследствии вышедшие в трех томах в нью-йоркском издательстве «Мост» (1984–1989). Несмотря на то что книга носит субъективный характер, она стала, как и мечтал ее автор, бесценным «*справочником* по истории зарубежной России»[2].

В названии трилогии — перифраз двух знаменитых изречений, двух контрастных мнений о «метафизике эмиграции». Это — легендарные слова Дантона «Нельзя унести родину на подошвах сапог» и строки В. Ходасевича «А я с собой свою Россию / В дорожном уношу мешке».

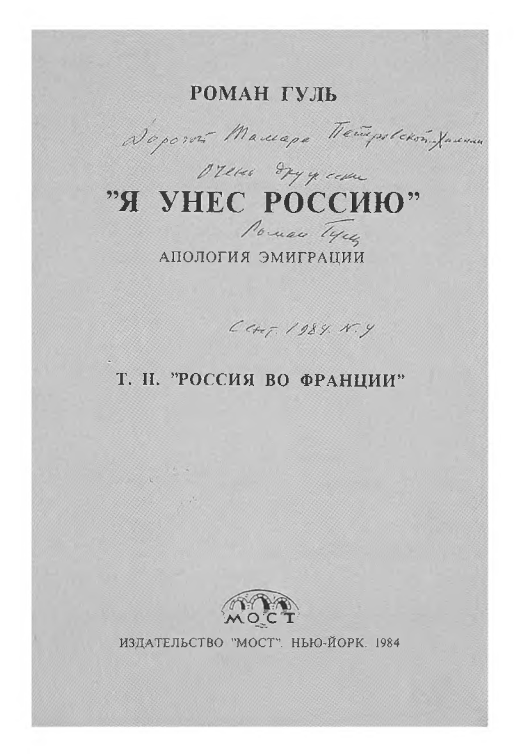
После войны наступило время эмигрантских мемуарных эпопей. А любая эпопея — претензия на универсализм, на объективность. Вышли воспоминания Ирины Одоевцевой, Нины Берберовой, Андрея Седых, Василия Яновского — книги не о прекрасной дореволюционной поре, а непосредственно об эмиграции. Монументальный эпос Романа Гуля, над которым писатель трудился последние десять лет своей жизни, увенчал усилия мемуаристов.

Характер у Гуля был не из легких: он любил и умел громко ссорится (например, с Ниной Берберовой, с Глебом Струве), но в книге «Я унес Россию» ни об этих, ни о других конфликтах нет ни слова. Точно писатель стремился войти в историю эмиграции всепримиряющим патриархом.


Роман Гуль. 1980-е годы. Фотопортрет из третьего тома книги

Общий тон книги если не оптимистичен, то, по крайней мере, мужествен, несмотря на четко выстраивающуюся основную событийную линию — линию утрат: от утраты родины до последнего прощания с самыми близкими людьми. «Я унес Россию»; эмиграция унесла родину на подошвах сапог; мы выбрали свободу; нельзя вернуться на родину, которой больше нет; *большевицкий* (неизменное авторское написание этого слова) ГУЛАГ — не мое отечество... Таковы примерно гулевские формулы осмысления выбора между родиной и свободой — выбора ценой жизни и судьбы. Отсюда же, вероятно, и тональность «Апологии...»: «По-моему, в эмиграции мы живем более-менее благополучно только потому, что у нас как-то нет времени задуматься о том, как страшно это наше безвоздушное существование, как страшна всегда всякая эмиграция, а затянувшаяся на полвека — в особенности. Многие эмигранты неосознанно волокут эту жизнь — до конца, до кладбища на Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, или до Нового Дивеева под Нью-Йорком... Что же спасает нас от страшности этого существования? Нас спасает — как это ни банально звучит — только духовная связь с Россией. С какой Россией? С советской? С Советским Союзом? С другой, той вечной Россией, которой мы — сами того не осознавая — ежедневно живем, которая непрестанно живет в нас и с нами — в нашей крови, в нашей психике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим, — но так же неосознанно — мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается. "Если кончена моя Россия, — я умираю", — писала в одном стихотворении Зинаида Гиппиус, подчеркивая эту нашу ничем не разрываемую, метафизическую связь с музыкой русской культуры. И когда эмигрант времен Герцена, поэт и ученый Владимир Сергеевич Печерин, возненавидевший Россию, уехал из нее и писал в стихах — "и тяжелый крест изгнанья добровольно я подъял", а в прозе — "Россия никогда не будет иметь меня своим подданным", — он все-таки уносил именно Россию в себе»[3].

«Я унес Россию» — пестрая по структуре книга. Это своего рода «альбом» старого эмигранта, в который «вклеены» газетные вырезки, письма,


РОМАН ГУЛЬ

"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

Т. II. "РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ"

МОСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСТ". НЬЮ-ЙОРК. 1984

Титульный лист второго тома с дарственной надписью автора

документы, вписаны собственные мысли, наблюдения, характеристики знаменитостей. Коллекционирует автор и случайно услышанные истории, и откровенные слухи… Профессиональный литератор и редактор, Гуль сумел этим разношерстным материалам придать форму живого и увлекательного рассказа. Трилогия писалась как бы в пику мемуарам Берберовой «Курсив мой», прославившимся резкостью тона. Эпопея Гуля тоже остро субъективна, но внутренне уравновешенна. Тон книги — «не поучающий и не менторский, а какой-то доброжелательный к читателю, заинтересованный, порой горячий, страстный… тон разговора на равных, не профессора, а много повидавшего собеседника», — пишет о трилогии литературовед Олег Коростелев, подготовивший издание мемуаров к публикации на родине[4]. По его словам, «Я унес Россию» в некотором смысле — коллективное произведение русской эмиграции, подведение ее итогов за шесть десятилетий.

Любовь Пухова

---

[1] Петровская-Халили Тамара Петровна (1915–2001) — писательница, журналистка. В 1950–1970-х годах работала на радио «Свобода». Вела еженедельную программу «Приметы времени», посвященную советскому самиздату.

[2] Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: в 3 т. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. Т. 1: Россия в Германии. С. 151.

[3] Там же. Т. 3: Россия в Америке. С. 191–192.

[4] Коростелев О. Роман Гуль глазами современников // Там же. Т. 2: Россия во Франции. С. 21.



29

ГУМИЛЕВ Н.С.

Шатер:
Стихи

/ Николай Гумилев; [обл., заставка и концовка Н.К. Калмакова]. — Ревель: Изд-во «Библиофил», [1921]. — 52, [4] с.: ил.; 15×12,5 см.
В иллюстрированной двухцветной издательской обложке.



Николая Степановича Гумилева (1886–1921), одного из самых ярких представителей Серебряного века, провозгласившего новое литературное течение — акмеизм, отчуждение от европейского быта увело на Восток: до конца дней его манила Абиссиния[1].

После принятия христианства Аксум (эфиопское государство, существовавшее во II–XI веках на территории современных Судана и Эритреи) стал восприниматься в мире как младший брат Византии; наследницей Византии ощущала себя и Русь. Эта историческая и религиозная близость и была одной из причин, подтолкнувших Гумилева к Абиссинии. В 1909-м, а затем и в 1913 году он совершил две абиссинские экспедиции — по Восточной и Северо-Восточной Африке, из которых вывез не только богатые впечатления, но и ценную коллекцию предметов, переданных им в дар петербургскому Музею антропологии и этнографии. В цикле африканских стихотворений, вошедших в сборник «Шатер», Гумилев вещественно, зримо отразил экзотику Африки, сумев отойти от поверхностного поэтического ориентализма Теофиля Готье и французских парнасцев, свойственного ему в начале творческого пути.

В 1921 году О.Э. Мандельштам познакомил Гумилева с В.А. Павловым, молодым поэтом и флаг-секретарем командующего морскими силами («коморси») А.В. Нимитца. Из воспоминаний В.А. Павлова, записанных



Николай Гумилев. Петроград. Июль 1921. Фото М. Наппельбаума

два года спустя Л.В. Горнунгом, можно узнать, что «в начале 1921 года Гумилев предложил ему поехать вместе в Крым, в Севастополь... В июне Гумилев и Павлов приехали в Москву, и уже отсюда в салон-вагоне коморси Нимитца отправились в Севастополь. У Н.С. Гумилева была с собой рукопись "Шатра". В Севастополе с помощью Павлова ему удалось в очень короткий срок напечатать эту небольшую книжку на плохой бумаге, в синей обложке, для чего была использована оберточная бумага для сахарных голов. Рукопись Гумилев подарил тут же Павлову, а весь тираж книги увез с собой в Петроград»[2]. Отпечатан «Шатер» был в типографии «Красный черноморец», незадолго до того получившей разрешение от Совнаркома Крымской АССР принимать к публикации частные заказы. Текст сборника изобиловал ошибками, хотя подготовлен был опытным наборщиком В.И. Бекерским (в штате флотской типографии он числился единственным специалистом такого профиля). На книге значилось: «Стихи 1918 г.», и стояло посвящение: «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова»[3]. «На последней странице, — отмечал младший сын Гумилева О.Н. Высотский, — был перечень книг Цеха поэтов, почти все объявленное имело пояснение: "печатается". Последним в коротеньком перечне значился Вл. Павлов, стихи которого Гумилев обещал опубликовать при первой возможности»[4].

В том же 1921 году в Ревеле вышло второе издание «Шатра» — значительно переработанное и дополненное «по рукописи, полученной от самого Гумилева»[5], — утверждал Г.П. Струве. По мнению А.Л. Никитина, «именно в силу авторитета Струве текст ревельского издания был признан выражением "последней воли поэта"»[6]. Но даже простое сопоставление объема двух сборников (в севастопольском — 637 строк, в ревельском — 1050) позволяет считать текст первого — ранней редакцией, а второго — редакцией окончательной.

Как и все, что написано Гумилевым в поздний период творчества, стихи «Шатра» отличаются особой фактографической достоверностью — в изображении деталей африканского быта, этнографических и исторических подробностей. Некоторые на первый взгляд «загадочные» образы сборника можно легко расшифровать при знакомстве с африканскими произведениями искусства из собрания Гумилева. Так, например, в последней, заключительной строфе вступления к сборнику:

Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария, —

поэт имел в виду привезенный им из путешествия складень с изображением Христа и Марии.

Хотя проходили годы, африканские вещи, переданные Гумилевым в Музей антропологии и этнографии, продолжали для него оставаться ярким воспоминанием. Оттого и оживали они в стихах. Чтобы вновь и вновь ощутить дыхание Африки, поэт часто приходил в музей и даже посвятил ему в «Шатре» проникновенные строки:

Есть Музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

Африка для Гумилева поистине стала земным раем, и воспоминание о нем наполняло его душу проникновенной тоской по раю небесному.

Овеянные романтикой дальних странствий, стихи «Шатра» увлекали молодежь — в том числе и будущих известных ученых-африканистов Аполлона Давидсона и Юрия Завадовского.

В 1987 году в журнале «Огонек» (№ 14, 15) О.Н. Высотский впервые опубликовал долгое время считавшийся утерянным африканский дневник отца, который поэт вел во время своего второго абиссинского путешествия. Знакомство с дневником еще раз подтвердило: в основе стихотворений, вошедших в «Шатер», лежит самый что ни на есть реальный опыт.

Как человек чести, Гумилев был верен однажды принятым воззрениям и обязательствам. Крещенный в православии, он и среди большевиков не уставал демонстративно подчеркивать свое уважительное отношение к Церкви. Присягнув раз царю, он и при новых порядках не скрывал, что остался монархистом. Обвиненный в причастности к заговору против советской власти, 25 августа 1921 года Николай Гумилев был расстрелян.

Тяжело переживая убийство поэта, Саша Черный писал о последнем его сборнике: «Какой шатер раскинул над головой томившийся среди красных дикарей поэт-заложник? О чем он мог писать в стране, где полный словесный паек отпущен только привилегированным Демьянам, жирным шутам, увеселяющим досуги тиранов? О чем он мог писать там, где даже несоветское выражение глаз считается смертным грехом?» Африку Саша Черный называл его второй родиной, в которой Гумилев «черных дикарей — полудетей, полузверей, наивных и простых, предпочел красным». И заканчивал свой отзыв Саша Черный с чувством полной обреченности: «Нет даже слабой надежды, что не увидевшие света, на-

вена из Финляндии, размещения этих матросов по заводам и пр. Эта организация доставляла информационный материал для группы ген. Клюева с одной стороны и для морской белогвардейской организации барона Вилькена в Финляндии с другой. В начале июля м-ца с. г. в Петроград прибыл из Парижа представитель организации барона Вилькена и французской разведки, капитан 1-го ранга Сахаров для подготовки организации к более решительным действиям. По показаниям арестованных участников организации, Сахаров в конце июля с. г. уехал через

заранее обреченную на неудачу, плохо рассчитанную авантюру. Дельцы реакции ошиблись в своих расчетах. Они уже мечтали о близкой кровавой расправе с русскими рабочими и крестьянами. Но тяжелая рука пролетарской диктатуры во время разрушила их черные планы.

Все активные участники заговора понесли заслуженное наказание

Президиум Всерос. Чрезв. Комиссии.

Москва, 29 августа 1921 г.

По постановлению Петр. Губ. Чрезв. Комиссии от 24-го августа с. г. расстреляны следующие активные участники заговора в Петрограде.

30) Гумилев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии „Изд-во Всемирной Литературы“, беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

31) Ястребов, Николай Иванович, 32 г., кр-н Воронежской губ., член коллегии Мурманского Железкома, член правления Петрогр. центр. раб. кооператива, член С. Д. Р. П. с 1905 г. до начала 18 г. Имел сношения с главой П. Б. О. Таганцевым на предмет знакомства его, как предста-

45) Пр[illegible]ский, Георгий Арсеньевич, 27 л., б. мичман, сын офицера, судился за шпионаж, был приговорен к расстрелу, но приговор по амнистии заменен бессрочным отбыванием принудительных работ. Раньше был курьером финской разведки. Был осведомлен о П. Б. О., присутствуя при свидании главы П. Б. О. Таганцева с Романовым в концентрационном лагере „Кресты“.

46) Шуленбург, Сергей Владимирович, 24 л., б. граф, б. поручик, сын полковника, зав. технической частью 3-го минно-подрывн. дивизиона. Активный член П. Б. О., снабжал ее членов оружием (гранатами). Знаком с курьерами американской и финской разведок, знал об их деятельности и исполнял их поручения (по разноске писем

Окончание сообщения о расстреле участников «таганцевского заговора» (Петроградская правда. 1921. № 181. С. 3)

писанные им страницы будут сохранены и дойдут до нас… Слова скорби бледнеют перед лавиной лжи и мрачного зверства»[7].

Г. Адамович отмечал в рецензии, что «Шатер», «книгу посвященных Африке стихов, только по внешним признакам можно было бы причислить к экзотизму», что стихи из этого сборника «не лиричны и не “мгновенны”: это ряд спокойно обдуманных созданий. Нет в них случайных и ослепительных вспышек, но нет и пустых мест. Биение напряженно-спокойной и здоровой жизни чувствуется в “Шатре” с первой до последней строчки». Критик обращал внимание и на то, что в последнем сборнике сохранены все особенности поэтики Гумилева: «…полное овладение композицией стихотворения — этот “змеиной мудрости расчет”, тот же дар живописной изобразительности и уменье найти зрительный эпитет (иные эпитеты всегда бледнее), та же точность в словах и та же скудость звукового со-

става стиха, фонетическая бедность его при всей насыщенности, — пренебрежение к музыке, сказывающееся даже в тех грубоватых внутренних рифмах, которые нет-нет да мелькнут в “Шатре”»[8].

Несмотря на то что, по словам А. Ахматовой, «Шатер» был «заказной книгой географии в стихах и никакого отношения к его путешествиям не имел»[9], вошедшие в нее стихи все же являют собой нечто большее: они — произведение глубоко «личное», что всемерно подчеркивал и сам Гумилев.

В интересном исследовании А.В. Блюма о запрещенных книгах приводится такая оценка «Шатра» советской цензурой: «В 1-м секретном “Бюллетене Главлита”, вышедшем в феврале 1923 г., в разделе “Отзывы о книгах зарубежных издательств”, имеется (с пометкой “не разрешать”) такая позиция: “Гумилев Н. Шатер. Стихи. Ревель. 1921. — Африканская экзотика, проникнутая мистикой и оппортунизмом” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 309. Л. 46). В то же время такой же сборник (Шатер: Стихи 1918 г.) вышедший в Севастополе, находившемся еще во власти Врангеля, в списки Главлита не входил»[10].

В 1932 году первый биограф Гумилева филолог и альпинист Павел Лукницкий открыл на Памире несколько пиков, один из которых он назвал Шатер — в честь последнего сборника стихов Николая Гумилева.

Василий Дударев

---

[1] В европейской культуре, в том числе и на русском языке, так было принято называть Эфиопию.

[2] Цит. по: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1988. С. 583. (Б-ка поэта. Большая серия).

[3] Сверчков Николай Леонидович (1894–1918) — племянник Н.С. Гумилева, его спутник по африканскому путешествию 1913 г.

[4] Высотский О. Николай Гумилев глазами сына. Воспоминания современников о Н.С. Гумилеве. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 280. (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 9).

[5] Гумилев Н. Собр. соч.: в 4 т. / под ред. проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Вашингтон: Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1964. Т. 2. С. 296.

[6] Никитин А.Л. Неизвестный Николай Гумилев: Исследования и стихи. М.: Интерграф Сервис, 1996. С. 17.

[7] А.Ч. «Шатер» Гумилева // Жар-птица. 1921. № 3. Цит. по: Черный С. Собр. соч.: в 5 т. М.: Эллис Лак, 1996. Т. 3. С. 365.

[8] Адамович Г. Н. Гумилев. Шатер. Севастополь. 1921 г. // Альманах цеха поэтов. Пг., 1921. Кн. 2. С. 69–71.

[9] Цит. по: Лямкина Е.И. Вдохновение, мастерство, труд: Записные книжки А.А. Ахматовой // Встречи с прошлым. М.: Советская Россия, 1986. Вып. 3. С. 390.

[10] Блюм А. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991. Индекс советской цензуры с комментариями. СПб.: СПб ГУКИ, 2003. С. 76.

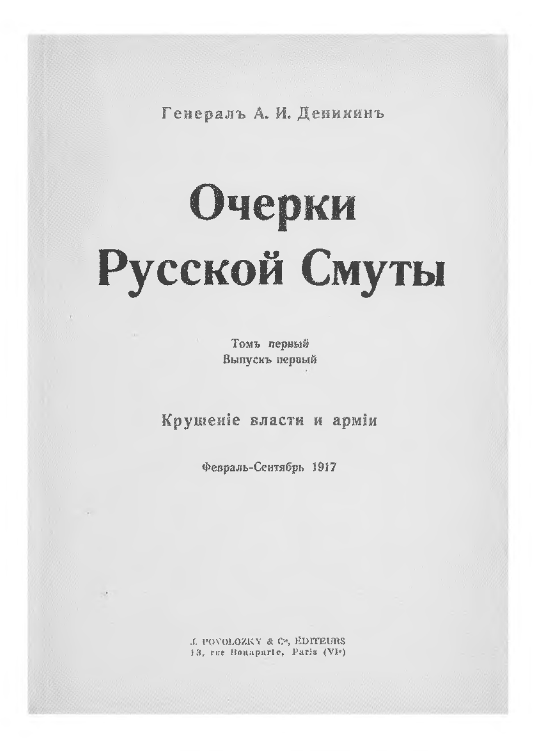
30

ДЕНИКИН А.И.

Очерки русской смуты:
[в 5 т.]

/ Антон Деникин. — P.: J. Povolozky & C°, [1921]. — Т. 1, вып. 1: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. — 240 с., 7 л. ил., портр. Т. 1, вып. 2: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. — 182 с., 10 л. ил., портр. Т. 2: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. Апрель 1918 г. P.: J. Povolozky & C°, 1922. — 346 с.: план., схем., 40 л. ил., портр. — Т. 3: Белое движение и борьба Добровольческой армии. — Берлин: Слово, 1924. — Т. 4: Вооруженные силы Юга России. — Берлин: Слово, 1925. — Т. 5: Вооруженные силы Юга России. — Берлин: Медный всадник, 1926 — 25x18 см (Т. 1), 24x17 см (Т. 2).

В шрифтовой трехцветной издательской обложке (Т. 1). В составном переплете эпохи (Т. 2).
Крышки оклеены коричневым коленкором. Корешок и углы из коричневой кожи. На корешке тиснением золотом: фамилия автора, инициалы и название: «Очерки русской смуты». Шрифтовая трехцветная издательская обложка сохранена в переплете. Экземпляр с автографом автора на авантитуле второго тома: «Константиновскому училищу — однокашникам на память о днях минувших. А. Деникин. 16.5.23. Венгрия».


Генералъ А. И. Деникинъ

Очерки Русской Смуты

Томъ первый
Выпускъ первый

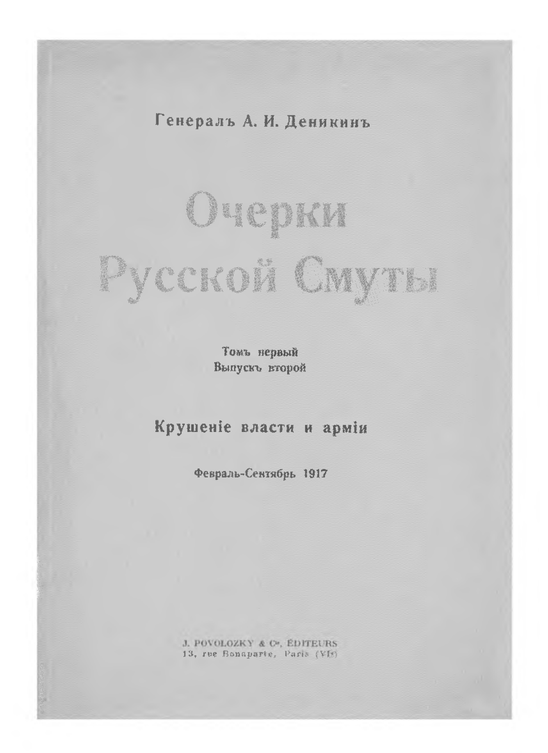
Крушеніе власти и арміи

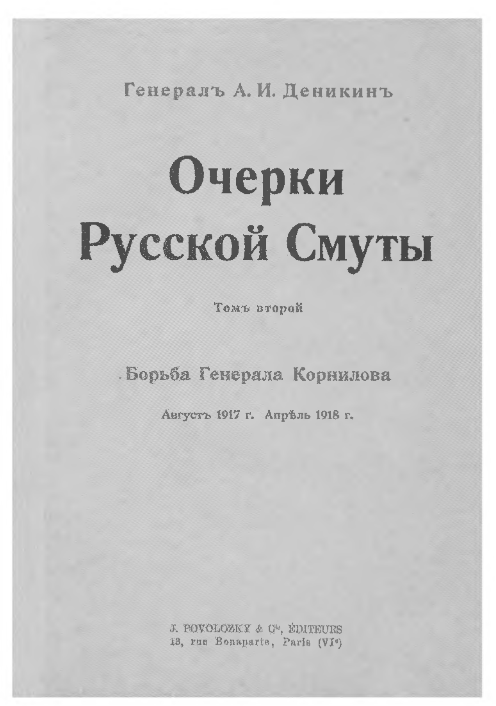
Февраль-Сентябрь 1917

J. POVOLOZKY & Cie, ÉDITEURS
13, rue Bonaparte, Paris (VIe)

J. POVOLOZKY & Cie, ÉDITEURS
13, rue Bonaparte, Paris (VIe)

Антон Иванович Деникин родился 4 декабря 1872 года в семье офицера. Окончив Киевское пехотное юнкерское училище, поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, но на переводных экзаменах не набрал нужной суммы баллов и был отчислен. В том же году поступил на первый курс вторично, окончил академию в 1899-м, но не был причислен к Генеральному штабу из-за конфликта с академическим начальством (причисление состоялось в 1902 году). Деникин принял участие в войне с Японией (1904–1905) и в Первой мировой войне: командовал стрелковой бригадой, дивизией, корпусом — и стал одним из лучших русских военачальников. В 1917-м он — начальник штаба Верховного главнокомандующего, главнокомандующий армиями Западного и Юго-Западного





фронтов. За выражение солидарности с генералом Л.Г. Корниловым во время его выступления 29 августа был арестован, но 19 ноября по приказу генерала Н.Н. Духонина освобожден. Под чужим именем пробрался на Дон. В Добровольческой армии занимал должности начальника дивизии, помощника командующего армией, командующего армией (после гибели Корнилова). С 25 сентября (8 октября) 1918 года он — главнокомандующий, а с 26 декабря 1918 (8 января) 1919 по 22 марта (4 апреля) 1920 года — главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Оказавшись в эмиграции, жил в Англии (1920), Бельгии (1920–1922), Венгрии (1922–1926), Франции (1926–1945), затем в США. Скончался 7 августа 1947 года. 3 октября 2005 года его останки были перезахоронены в Москве, в Донском монастыре.

Работу над «Очерками русской смуты» Деникин начал еще в Англии. 25 декабря 1920 года он писал в частном письме: «Я совершенно удалился от политики и ушел весь в историческую работу. Доканчиваю первый том “Очерков”, охватывающих события русской революции от 27 февраля до 27 августа 1917 года (т. е. от Февральского переворота до «Корниловских дней». — *А.К.*). В своей работе нахожу некоторое забвение от тяжелых переживаний»[1]. О напряженном характере работы свидетельствовала жена генерала Ксения Васильевна Деникина: «Моцион ему нужен, а когда он засядет за писание, его уже никакими силами не вытянешь даже погулять»[2].

«Первый том “Очерков” принялся составлять по памяти, — отмечал Деникин, — почти без материалов: несколько интересных документов, уцелевших в моих папках, небольшой портфель с бумагами ген<ерала> Корнилова, дневник <генерала> Маркова, записки Новосливцева (очевидно, в публикации опечатка и имеется в виду полковник Новосиль-

цев. — *А.К.*), комплекты газет. Поэтому 1-й том имеет характер более "воспоминаний", чем "очерка"»[3]. В дальнейшем источниковая база расширилась: преемник Деникина, а затем его резкий оппонент генерал П.Н. Врангель «распорядился, чтобы все дела штаба главнокомандующего за время управления Югом России генералом Деникиным перешли бы к последнему на хранение»[4], и лишь настаивал, чтобы при издании его собственных «Записок» было указано, что их полемические страницы написаны до издания «Очерков...» Деникина, «а не то чтобы я оправдывался как бы на его обвинения»[5].



Антон Деникин. Прага. 1934

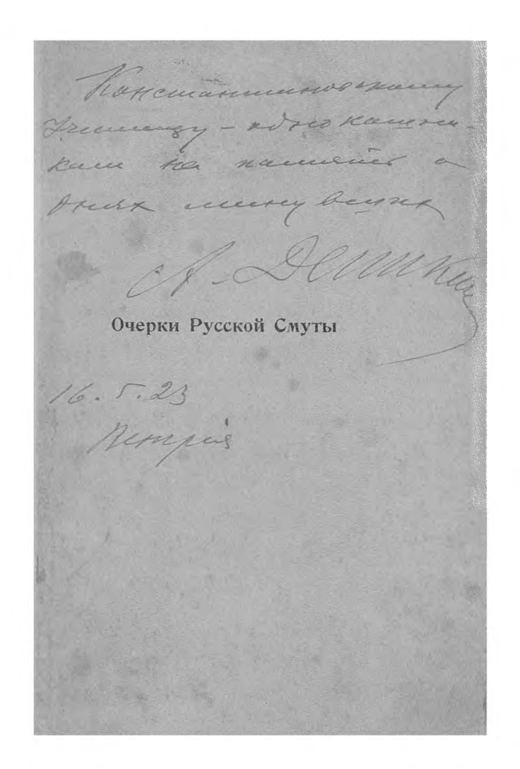
Анекдотический случай описывал сам Деникин:

«Предлагал мне свое сотрудничество Филимонов, бывший Кубанский атаман, но перед тем, не дожидаясь описания мною Кубанского периода в "Очерках русской смуты", он напечатал в "Архиве русской революции" статью-памфлет, в которой пристрастно отнесся к моей деятельности и сказал неправду, которую нетрудно было опровергнуть документально... Встретив (как-то) полковника Успенского (бывшего адъютанта генерала Романовского), Филимонов сказал ему:

— Читали? Генерал Деникин, наверно, будет ругать меня в своих "Очерках". Так я, по казачьей сноровке, забежал вперед и сам его поругал. Покуда еще выйдет его книга, а от моего писания след все-таки останется»[6].

Деникин вдумчиво рассуждал о характере и жанре своей книги, о достоинствах и недостатках мемуаристики как таковой: «Их мысленный взор, — пишет он о современниках событий, — застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контурами факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникали уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего... Свидетельство современников, однако, весьма ценно. Не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание»[7]; «...мемуарный характер некоторых глав, на мой взгляд, неслучаен. Повествовавший является одновременно деятелем. Многие деяния его — не касаюсь оценки: положительной или отрицательной — представляются исторически интересными. Я уж и то стараюсь отвести, насколько могу, свою личность»[8].

Издание мемуаров растянулось не только из-за громадного объема работы, но и из-за экономических трудностей. «Печатать в Париже —



Дарственная надпись автора на авантитуле второго тома

дорого, — писал Деникин генералу А.С. Лукомскому, — и цена экземпляра становится недоступной в беженских колониях низковалютных стран… Печатать в Берлине — очень дешево, но зато авторский гонорар в марках обрекает на голодный паек»[9].

Объективность деникинского взгляда на ход исторических событий обусловила даже возможность фрагментарной публикации «Очерков…» в СССР: «Поход и смерть генерала Корнилова» (М.; Л., 1928 — главы 19–26 второго тома), «Поход на Москву» (М., 1928 — главы из четвертого и пятого томов). «Мы пытались извлечь из Деникина все наиболее любопытные страницы», — заявляли советские «публикаторы», но на деле выхолащивали из текста (никак не отмечая купюр) принципиально важные для понимания авторской позиции фрагменты. Вот, например, первые же строки «Похода и смерти Корнилова».

В советском издании:

«Мы уходили.

Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте…»

В оригинальном тексте Деникина:

«Мы уходили.

За нами следом шло безумие. Оно вторгалось в оставленные города бесшабашным разгулом, ненавистью, грабежами и убийствами. <…>

Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия — малая числом, оборванная, затравленная, окруженная — как символ гонимой России и русской государственности.

На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, — это ставка Корнилова.

Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте…»

Книга Деникина вызвала многочисленные и зачастую противоречившие друг другу отзывы. С первыми томами «Очерков…» успел ознакомиться Ленин, передавший свои впечатления в кратком резюме: «Автор “подходит” к классовой борьбе как слепой щенок»[10]. Бывший генерал А.А. Брусилов, обиженный оценками, данными ему Деникиным, писал:



Иллюстрации из книги «Очерки русской смуты»

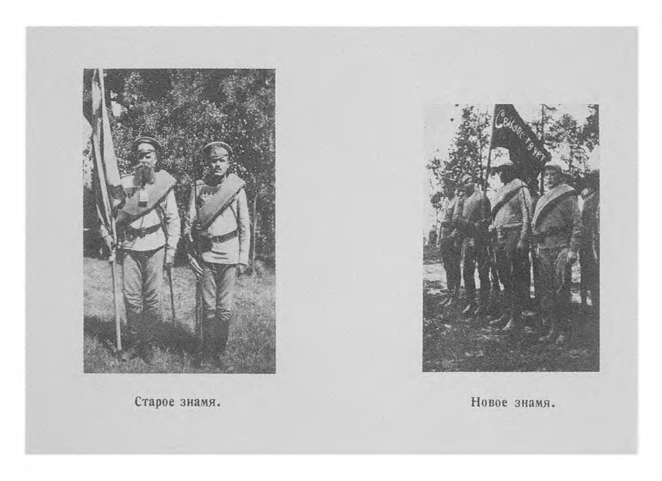
«...ожидал, зная свойства характера автора, что он будет пристрастен. Но не думал, что он перейдет все грани справедливости и правды»; «...для того, чтобы судить меня, нужен более талантливый, более глубокий психолог и более честный, правдивый человек, чем оказался Деникин»[11]. Акционерное общество «Накануне» («сменовеховская» организация) в 1924 году даже выпустило в Берлине целую книгу «сменовеховца» и «возвращенца» журналиста И.М. Василевского (Не-Буквы) «Ген. А.И. Деникин и его мемуары», которая в основном сводится к цитированию фрагментов и отдельных высказываний Деникина из 1–2-го томов «Очерков» с критическим и часто злобным комментарием: «Не о том, чтобы покаяться и вызвать чье-либо сочувствие, но именно о поучении современников мечтает, оказывается, генерал Деникин. Ему недостаточно рассказать то многое, что он видел своими глазами. Он желает поучать Россию и Европу и многотомные мемуары свои старается выдержать в тонах истории, строго "научной" и объективной» (с. 6); «генерал А.И. Деникин — хороший оратор. Речи его, приведенные на страницах книги, несколько театральны, но ярки, образны и убедительны. Но писатель А.И. Деникин — плохой. Книга его написана тускло, без таланта и без умения. Материал расположен бессистемно, книга загромождена длинотами и повторениями. Чтобы разобраться в материале, приходится расчленять беспорядочно связанное и соединять разбросанное» (с. 21) и т. д.

В эмиграции с резким неприятием отнесся к «Очеркам...» И.А. Ильин, безоговорочный апологет Врангеля. В частных письмах Ильин писал о Деникине: «Злоба его, чисто личная по отношению к Врангелю, — привела его к написанию завистливо-нечестного, клеветнического и объективно-зловредного пасквиля»; «Книгою личною, озлобленною, пристрастною и неправдивою — он выдал себе аттестат, который и станет его историческим паспортом. Документ "бывшего человека"; неудачника, не сумевшего превратить свою неудачу в источник познания; человека, не разглядевшего из своей мелкой и мнимой "правоты" своих немелких и немнимых слабостей»[12].

В целом критически оценивал книгу историк и социалист В.А. Мякотин: «Книга эта является все же не историей, а лишь попыткой истории. И больше того — читая эту интересную и талантливую книгу, не раз приходится жалеть, что автор предпринял такую попытку, а не ограничился ролью откровенного мемуариста, хотя бы и вооруженного обильным документальным материалом, позволяющим ему подкреплять и иллюстрировать лич-



Типы большевиковъ, — участниковъ пытокъ и разстрѣловъ. — (Крымъ).



Старое знамя. Новое знамя.

ные воспоминания»[13]. Другой представитель демократического лагеря, более благосклонный к «Очеркам...», С.П. Мельгунов, напротив, подчеркивал: «Деникин пытается быть объективным и никогда не затушевывает теневых сторон»[14].

Генерал А.С. Лукомский, не раз расходившийся во мнениях с Деникиным и споривший с ним, после прочтения последнего тома писал ему: «Все Вами излагаемое и документально подтвержденное — лишено “субъективной” окраски»[15]. А бывший гражданский сотрудник Деникина (в 1919 году) Н.И. Астров, читавший многие главы «Очерков...» в рукописи и также порою нелицеприятно их критиковавший, итоговую оценку вынес чрезвычайно высокую:

«Очерки — это единственный основной и систематический материал по истории русской революции...

Неведомый еще историк будущего при оценке этого страшного и психологически полного противоречий периода найдет в Очерках обильный материал и нити к пониманию явлений. В Очерках, кажется, не пропущено ни одно из сколько-нибудь значительных явлений революции.

Очерки — это капитальный исторический труд и государственное достояние»[16].

Андрей Кручинин

---

[1] Цит. по: Лехович Д.В. Белые против красных: Судьба генерала Антона Деникина. М.: Воскресенье, 1992. С. 284.

[2] Там же.

[3] Цит. по: Грей М. Мой отец генерал Деникин. М.: Парад, 2003. С. 253.

[4] Лехович Д.В. Белые против красных... С. 287–288.

[5] См.: Карпенко С.В. Судьба «Записок» генерала Врангеля // Новый журнал (Нью-Йорк). 1997. № 207. С. 216.

[6] Цит. по: Лехович Д.В. Белые против красных… С. 288.

[7] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин: Слово, 1924. Т. 3. С. 5.

[8] Из переписки А.И. Деникина и Н.И. Астрова // Россия антибольшевистская: Из белогвардейских и эмигрантских архивов / ИРИ РАН; ГА РФ. М.: ИРИ РАН, 1995. С. 301.

[9] ГА РФ. Ф. Р-5829. Оп. 1. Д. 7. Л. 37.

[10] Цит. по: Дайнес В.О. Предисловие // Деникин А.И. Поход на Москву: («Очерки русской смуты»). М.: Воениздат, 1989. С. 8.

[11] Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 235, 237.

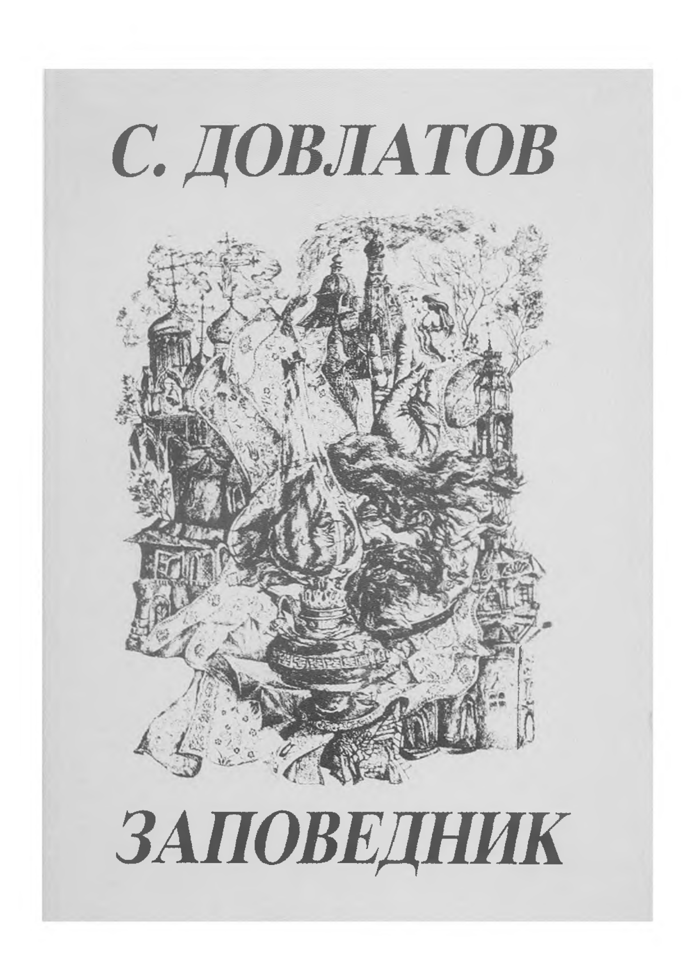
[12] Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1999. [Параллельная нумерация доп. томов.] [Доп. т. 1:] Дневник. Письма. Документы (1903–1938). С. 190, 244.

[13] Голос минувшего на чужой стороне (Берлин). 1926. № 4. С. 270.

[14] На чужой стороне. Берлин; Прага: Ватага; Пламя, 1924. Вып. 5. С. 307.

[15] ГА РФ. Ф. Р-5829. Оп. 1. Д. 7. Л. 51.

[16] Из переписки А.И. Деникина и Н.И. Астрова. С. 285–286.

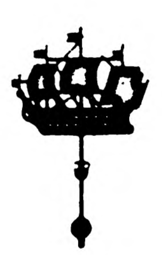


31

ДОВЛАТОВ С.Д.

Заповедник

/ Сергей Довлатов. — [Б. м.]: Эрмитаж, 1983. — 125 с.; 20,5х14 см.
В иллюстрированной двухцветной издательской обложке с портретом автора на четвертой сторонке.



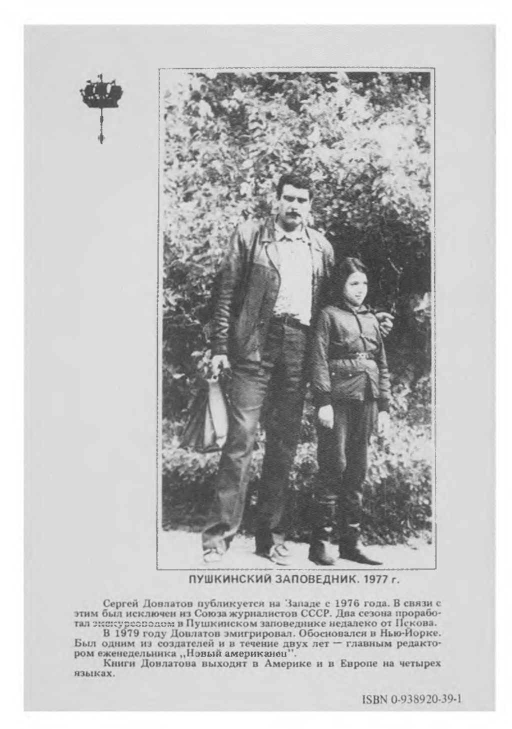
Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссера, в то время находившейся в эвакуации и в 1944-м вернувшейся в родной Ленинград.

Начало жизненного и творческого пути: «Школа... Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает “Форд”... Алеша шалит, мне поручено воспитывать его... Я становлюсь маленьким гувернером... Я умнее и больше читал... Черные дворы... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера... Я умею говорить, рассказывать...»[1]

Много лет спустя уже состоявшийся писатель скажет о том же: «Я рассказчик... Я рассказываю истории, которые я либо где-то слышал, либо выдумал, либо преобразил… Я когда-то делал это устно, а потом начал эти истории записывать»[2].

В основе всех произведений Довлатова — факты и события его жизни. Главный персонаж — почти всегда сам Сергей Довлатов или он же, но под псевдонимом — Борис Алиханов. «Ему было мало существовать над тек-

стом и за текстом в качестве автора, он хотел находиться еще и внутри текста — в качестве героя»[3]. Но, хотя проза Довлатова автобиографична, сам он определял свой жанр как «псевдодокументализм»: «У меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправляли... Была масса попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило...»[4] «Но парадокс его книг в том и состоит, что на самом деле вся их беззаботно-беспощадная правдивость — мнимая, действительность в них если и отражается, то как бы сквозь цветные, витражные стекла. К тому же увеличительные. Сквозь них видишь то, что обычный взгляд заметить не в состоянии»[5].


ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 1977 г.

Сергей Довлатов публикуется на Западе с 1976 года. В связи с этим был исключен из Союза журналистов СССР. Два сезона проработал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике недалеко от Пскова.

В 1979 году Довлатов эмигрировал. Обосновался в Нью-Йорке. Был одним из создателей и в течение двух лет — главным редактором еженедельника „Новый американец".

Книги Довлатова выходят в Америке и в Европе на четырех языках.

ISBN 0-938920-39-1

Сергей Довлатов с дочерью. Пушкинский заповедник (Псковская обл.). 1977. Четвертая сторонка обложки книги «Заповедник»

В 1976–1977 годах Довлатов работал экскурсоводом Пушкинского заповедника в Псковской области. Первый вариант повести «Заповедник» был написан в Ленинграде в 1977–1978 годах, окончательный — в июне 1983 года в Нью-Йорке.

Герой повести Борис Алиханов приезжает в заповедник в период жизненного кризиса, находясь «на грани душевного срыва»: «Я решил спокойно все обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика. Человек двадцать лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторыми основаниями взялся за дело. Люди, которым он доверяет, готовы это засвидетельствовать. Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку. Но разве об этом ты мечтал, бормоча первые строчки?.. Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре».

«Заповедник — обломок прошлого в настоящем. Пространство утопии. Место, которое есть, — как память о времени, которого уже нет»[6]. Автор представляет читателю свой взгляд на мир заповедника — можно сказать, изнутри. «Галерея чудаков в “Заповеднике” — лучшая у Довлатова»[7]. В здешних обитателях обнаруживается множество противоречий. С одной стороны: «Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало». В то же время тут и там дает о себе знать ложный пафос: «служители культа» поэта, встречаясь с новоприбывшим коллегой, донимают его вопросами: «Вы любите Пушкина?» или «За что Вы любите Пушкина?» «Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой». Удручают пошлость и небрежность: «На каждом шагу

я видел изображения Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью “Огнеопасно!”. Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно». В музее «под видом Ганнибала» был представлен портрет генерала Закомельского — потому что «туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят».

К экскурсантам Алиханов относится философски-снисходительно: «Туристы приехали отдыхать… К поэзии эти люди, в общем-то, равнодушны. Пушкин для них — это символ культуры. Им важно ощущение — я здесь был... Моя обязанность — доставить им эту радость, не слишком утомляя».

Отношение самого Алиханова к великому поэту очень личное и трепетное: «Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем... Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. Не монархист, не заговорщик, не христианин — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе...»

А за пределами заповедника идет своим чередом совсем другая жизнь — подчас дикая, грубая и несчастная. Колоритный ее представитель — непутевый пьяница Михаил Сорокин. «Нелепый и в доброте своей, и в злобе», он, например, запросто повесил на рябине двух кошек, провинившихся лишь тем, что «расплодились» и «сопсюду лузгают», а разбудить постояльца, когда тот случайно задвинул щеколду изнутри, постеснялся и всю ночь просидел на крыльце. Встречаются в повествовании и другие прелюбопытные персонажи, и с каждым из них связан какой-либо микросюжет…

Между тем Борис постепенно приспосабливается к жизни в заповеднике, ему удается обрести некоторый душевный покой. И все же, «если живешь неправильно, рано или поздно что-то случится»...

Случается то, что к Борису приезжает жена. Как вскоре выясняется — попрощаться перед разлукой на неопределенный срок. «И сразу моему жалкому благополучию пришел конец». На первый план выходит жизненная драма героя — жена с дочкой собираются эмигрировать. Руководствуясь своей железной логикой выживания, Таня в который раз объясняет: «Я больше не могу... Мне надоело… стоять в очередях за всякой дрянью... ходить в рваных чулках... Я... мечтаю о какой-то неожиданности. Пусть это будет драма, трагедия...» И опять пытается уговаривать: «Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь... Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы?» Алиханов к таким кардинальным переменам не готов: «Березы меня совершенно не волнуют... Мой язык, мой народ, моя безумная страна... На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности... Здесь мои читатели». На вопрос, кому нужны его рассказы, он отвечает: «Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются». Однако самому себе признается: «Дело было не в этом. Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как

родиться заново. Да еще по собственной воле». «Для героя "Заповедника" "ехать — не ехать" — не настоящий вопрос. Настоящий вопрос — не где жить, а как»[8]. После отъезда жены из заповедника Борис выходит из состояния равновесия, как оказалось — временного и зыбкого. Его срыв — многодневное пьянство — вызывает у сельчан однозначное сочувствие, и они, как могут, приходят ему на помощь. В этой ситуации происходит примечательная встреча Алиханова с майором УВД Беляевым. Сначала, по долгу службы, майор проводит обязательную воспитательную беседу, а затем достает стаканы, и начинаются мужские разговоры «за жизнь»: «Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Органы все замечают, получше академика Сахарова. Но где реальный выход?..»

В финале для героя наступает личный апокалипсис: «Время остановилось... Одиннадцать дней я пьянствовал в запертой квартире... На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации... Передвигаться и действовать не было сил... В ногах у меня копошились таинственные липкие гады. Во мраке звенели непонятные бубенчики. По одеялу строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялись короткие предложения. Один раз я прочел: "Непоправима только смерть!.." Не такая уж глупая мысль, если вдуматься... И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это». Звонок жены — словно «с того света»: «Привет! Мы в Австрии. У нас все хорошо... Нас встретили. Тут много знакомых. Все тебе кланяются…» И, как надежда на воскрешение: «Я только спросил: "Мы еще встретимся?" "Да... Если ты нас любишь..." Я даже не спросил — где мы встретимся?.. Может быть, в раю. Потому что рай — это и есть место встречи... Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах».

«Заповедник» впервые вышел в свет в США в 1983 году в издательстве «Эрмитаж».

В начале 1970-х, когда кто-то из друзей и знакомых стал уезжать на Запад, появилась возможность передавать рукописи за границу, и в журналах «Континент» и «Время и мы» стали выходить произведения Довлатова, что повлекло за собой его исключение из Союза журналистов. В 1978 году в издательстве «Ардис» вышла «Невидимая книга» — первая книга Довлатова. Позднее он вспоминал: «Скажу без кокетства: издание этой книги тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская премия — сейчас. В моей жизни появился какой-то смысл, я перестал ощущать себя человеком без определенных занятий»[9]. Довлатов окончательно убедился, что на родине его произведения издаваться не будут, и в 1978 году вслед за женой и дочерью эмигрировал в Вену, а затем в США. В Америке проза Довлатова получила широкое признание, были изданы главные его произведения, он печатался в известнейших американских газетах и журналах. «В Соединенных Штатах С. Довлатов стал одним из самых популярных писателей-эмигрантов… его творчество стало предметом изучения зарубежных исследователей»[10].

Довлатов был одним из создателей русскоязычной газеты «Новый американец» и возглавлял ее с 1980 по 1982 год. Вел авторскую передачу на радио «Свобода». Вместе с тем хорошо знавший Довлатова по аме-

риканскому периоду А. Генис свидетельствует: «Блестящий послужной список Довлатова — множество переводов, публикации в легендарном “Нью-йоркере”, две сотни рецензий, похвалы Воннегута и Хеллера — мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением: “Я — этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории”»[11].

Умер Сергей Довлатов 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечного приступа.

Через пять дней после этого в России была сдана в набор книга «Заповедник», которая стала первым значительным изданием писателя на родине[12].

«Довлатовская проза поразила читающую Россию в разгар перестройки, что было не так уж мудрено на новенького. Но с тех пор напечатаны тысячи книг на разные темы, в разных жанрах и стилях, — а Довлатову хоть бы что»[13].

«Рассказчик Довлатов оказался фигурой общепритягательной, соединяющей. Его тексты мгновенно разошлись на поговорки и анекдоты, вернулись в среду, отчасти их породившую»[14].

«Довлатовская литература проста, но простота эта обманчива. Хотя проза его прозрачна, эффект, который она производит на читателя, загадочен… Простое — по Довлатову — это сама жизнь, отраженная в словах»[15].

Лариса Эпиктетова

---

[1] Довлатов С. Ремесло // Собр. соч.: в 3 т. СПб.: Лимбус-Пресс, 1993. Т. 2. С. 11–12.

[2] Интервью Джона Глэда с С. Довлатовым, 5 января 1988 г. Цит. по: Глэд Дж. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 89, 91.

[3] Вайль П.Л. Герои времени: Сергей Довлатов — центральный персонаж книг Сергея Довлатова: передача на радио «Свобода». Цит. по: URL: http://archive.svoboda.org/programs/cicles/hero/05.asp.

[4] Интервью Джона Глэда с С. Довлатовым, 5 января 1988 г. С. 89, 91.

[5] Арьев А. История рассказчика // Довлатов С. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. СПб.: Азбука-классика, 2002. С. 5.

[6] Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Азбука, 2010. С. 136.

[7] Генис А.А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999. С. 163.

[8] Там же. С. 165.

[9] Довлатов С. Памяти Карла Проффера // Семь дней (Нью-Йорк). 1984. № 48. 5 октября. С. 6–7.

[10] Киселева Е.А. Проза С. Довлатова в оценках критики. Цит. по: URL: http://www.levlivshits.org/index.php/materials/annotations/reading-2011/301-kiselyova.html.

[11] Генис А.А. Довлатов и окрестности. С. 135.

[12] Довлатов С. Заповедник. Л.: Васильевский остров, 1990.

[13] Вайль П.Л. Писатель для читателей // Довлатов С. Ремесло. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 7.

[14] Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. С. 227.

[15] Генис А. На уровне простоты // Малоизвестный Довлатов. СПб.: Журнал «Звезда», 1996. С. 469–470.



32

ЕЛАГИН И.

Под созвездием Топора: Избранное

/ Иван Елагин. — Frankfurt a/M: Посев, 1976. — 244, [5] с.; 17 см. В иллюстрированной цветной издательской обложке.



В феврале 1986 года Александр Солженицын писал Ивану Елагину: «В последнем Вашем сборнике прочел “Зачем я утром к десяти часам…” — и устыдился, что за все годы за границей так и не собрался Вам написать. Хотя читал Ваши стихи еще и будучи в Союзе, и тогда уже отличил Вас для себя от других эмигрантских поэтов и как автора из Второй эмиграции — это все поколение, с которым я сидел в тюрьмах 1945–1947 годов (несостоявшиеся эмигранты…)»[1]

За целую эпоху до того, в 1949 году, Елагину писал другой нобелевский лауреат — Иван Бунин: «Дорогой поэт, Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости…»[2]

Третий нобелевский лауреат, Иосиф Бродский, запечатленный вместе с Елагиным на фотоснимке 1974 года в Питтсбурге, только силой своего авторитета добился того, что «Ардис» выпустил огромным томом главный переводческий труд Елагина — поэму Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна», своего рода американскую «Войну и мир». Бродский многократно звонил Елагину во время его предсмертной болезни, он же вместе с Юзом Алешковским и Львом Лосевым подписал некролог Елагину, появившийся в русских зарубежных изданиях.



Иван Елагин.
Питтсбург (?). 1970-е годы

1 декабря 1918 года во Владивостоке родился… еще не Иван Елагин. Новорожденному мальчику молодой папаша, гремевший в те годы в Приморье своими стихами, дал другое имя. На сборнике Венедикта Марта «Луна», изданном в Харбине в 1922 году, находим посвящение:

Лунных Зайчиков — Зайчику
Уотту-Зангвильду-Иоанну Марту
Сыну моему возлюбленному
«Бисер лунного сока»
посвящаю
Автор

О своем появлении на свет Елагин напишет после того, как отпразднует пятидесятилетие, — как раз в книге «Под созвездием Топора»:

Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного «яблочка» пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

Еще в начале 1918 года в бухту Золотой Рог вошел японский крейсер, потом — английский, и вскоре Владивосток был оккупирован. В 1919-м Венедикт Март (наст. имя и фам. Венедикт Николаевич Матвеев) перебрался с семьей в Харбин — там, ему казалось, спокойней, а в советскую Россию они вернулись в конце 1923 года.

Крестили младенца, видимо, просто Иоанном. От Зангвильда осталось за ним до конца жизни семейное прозвище Заяц.

О детских годах поэта кое-что известно из немногих сохранившихся писем Венедикта Марта, кое-что — из елагинской поэмы «Память». В поэме более десятка эпизодов, и расставлены они отнюдь не по хронологии: сперва перед нами Киев (1938), потом Саратов (1929), затем Москва (1928). Далее — эпизод в Покровске (Энгельсе), точно не датируемый — видимо, 1929 или 1930 год. Следом — снова Саратов того же времени; кстати, этот эпизод (встреча с Клюевым) — единственный вызывающий сомнения: судя по косвенным данным, встреча имела место не в Саратове, а в Ленинграде или Москве. Затем в поэме — Подмосковье (1927); старожилы тех мест по сей день помнят «дачу с цветными стеклами» (иначе — «дачу Фофанова»). Далее точной датой обозначен Ленинград (1934), вновь Киев (1939) и снова Ленинград — август того же года, фотографически точно воспроизведенный эпизод с Ахматовой (о нем — ниже). Поэма заканчивается 41-м годом, началом войны, бомбежкой Киева, когда поэту шел двадцать третий год.

В 1928 году в Москве Зангвильд-Иван попал в беспризорники, его мать — в психиатрическую больницу (из которой, кажется, уже не вышла), отец — в ссылку в Саратов.

12 июня 1937 года Венедикт Март был арестован во второй раз, и Иван остался в квартире с мачехой, Клавдией Ивановной, но 31 октября того же года арестовали и ее. Месяц за месяцем ходил Иван с передачей к тюремному окошку, передачу не принимали, и вскоре следователь по фамилии Ласкавый объявил по телефону: «Японский шпионаж, десять лет со строгой изоляцией». Сын, понятно, обвинению не поверил и еще год ходил с передачей к мертвому отцу. Отца расстреляли между 12 и 15 июня 1937 года (в «расстрельном» списке этих дней киевского НКВД значится его имя).

Судьба распорядилась так, что сам Иван Матвеев каким-то образом арестован не был. А вел он себя в те годы ох как неосторожно. В письме от 8 июня 1989 года другой выдающийся поэт русского зарубежья, Николай Моршен (собственно — Николай Марченко, писателей «второй волны» без псевдонимов почти нет) рассказал мне:

«С Ваней мы познакомились году в 38–39-м... Через недельку-другую после нашей первой встречи мы встретились в антракте на концерте певца Доливо (может быть, слышали?). И сразу же [он] мне сказал: “А я вчера стишок написал:

У меня матрас засален
От ночной поллюции.
Пусть живет товарищ Сталин,
Творец Конституции!”

Ни ему, ни мне не пришло в голову, что я ведь могу помчаться куда-нибудь с доносом».

Другой человек, решающим образом повлиявший на жизнь и творческое развитие молодого поэта, — Ольга Николаевна Штейнберг, по матери Орлова. Родилась она в Киеве в 1912 году. С юных лет писала стихи, ставила под ними псевдоним «О. Анстей» (псевдоним был взят в память о знаменитом в начале XX века английском детском писателе — в оригинале литерами стояло: Anstey).

В конце 1937 года в доме Орловых-Штейнбергов все чаще стал бывать юный Зангвильд-Иван, и тут нужно привести цитату из письма Ольги Анстей в Москву, к подруге юности Белле Казначей (точной даты нет, видимо, декабрь 1937-го), ибо документ всегда лучше «раскавыченного» пересказа: «...подобралась, в большинстве своем, очень зеленая компания... и действительно бывало очень весело, потому что мы и чтения по ролям устраивали — от Шекспира до Ибсена и гусевской “Славы”, и стихи на конкурс писали, и вроде рефератиков делали на разные темы. Главным образом радовался всему этому поэт — Зангвильд, удивительно талантливое и хорошее дитя... Он маленький, щупленький и черный, как галчонок, некрасивый, а когда стихи читает — глаза огромные сияют, рот у него большой и нежный, голос сухой, музыкальный, и читает он великолепно».

Такими словами Ольга Анстей описала своего будущего мужа. А в два часа ночи 17 июня 1938 года Иван и Ольга тайно обвенчались в церкви. Венчал их священник А.А. Глаголев, сын известного в Киеве священни-

ка, венчавшего в свое время Михаила Булгакова, а один из венцов при венчании держал десятилетний мальчик — Борис Борисович Ремизов, внук писателя Алексея Ремизова.

Иван писал в те годы непрерывно. У супругов была настоящая творческая близость. Много лет спустя Ольга Анстей вспоминала — в письме из Нью-Йорка в Москву к Надежде Мальцевой (от 17 апреля 1978):

«Да, у нас забавная совместная творческая биография. Помните “Октавы” (“Парк лихорадил”)? Писал он их в молодости нашей, в Киеве перед войной. И написал уже несколько октав серединных (чудесных), а начало никак не выходило. Он ходил и канючил:

— Я не могу начать! Не знаю, как начать.

Ходил по комнате (комната-то одна) и мычал: У-у-у… У-у-у. Наконец мне это уже в печенках село, и я говорю:

— Ладно, пес с тобой, я тебе напишу начало.

Села и с маху написала:

Парк лихорадил. Кашляли, ощерясь,
Сухие липы…

И то был толчок, и дальше его уж понесло: “Ветер, озверев…”»

Выйдя замуж, Ольга взяла фамилию мужа. Иван учился во Втором Киевском медицинском институте. Ольга служила в банке, подрабатывала переводами с английского и машинописью. Оба писали стихи, не печатались, но печататься хотели. Идея пойти к Ахматовой Ивана не оставляла. Об августовской поездке в Ленинград Ольга Матвеева написала Белле Казначей в письме без даты (но определяется она как конец августа 1939 года): «Заяц сидит в Ленинграде. Анна Андреевна его выгнала, как он пишет. Пишет: “выгнала, а все-таки дважды поцеловал руку!” и в конце прибавляет: “Могу писать мемуары, как меня выгнала великая русская поэтесса!”»

Хотя Ивана и не печатали, но им гордились друзья и соученики, он носил стихи к жившему в Киеве и весьма знаменитому Николаю Ушакову, а к Максиму Рыльскому, платившему за обучение Ивана в институте, супруги чай пить ходили регулярно. Рыльский к тому времени был поэт «государственный», и, не начнись война, он не так, так эдак, через собственные переводы, через Антокольского или как-то иначе втащил бы Ваню Матвеева в «советскую литературу».

Первая довоенная публикация Елагина состоялась в газете «Советская Украина» 28 января 1941 года — это был авторизованный перевод стихотворения Рыльского «Концерт».

Елагин написал много о тех днях, когда «летели на город голодные бомбы». Видимо, тогда и началась окончательно его «взрослая» жизнь «во времени, а не в пространстве».

Матвеевы не эвакуировались, а остались в Киеве и «оказались под немцами». Иван работал на «скорой помощи», вывозил раненых из пригородов в больницы и едва ли заметил мгновение, когда Киев перестал быть советским.

«После того как отгремели страшные взрывы, после Бабьего Яра, в первую зиму немцы открыли два вуза — медицинский институт и консерваторию. Учеба там спасала от Германии. Залик стал посещать занятия в медицинском и дежурить в больнице. Кажется, в акушерском отделении. Кончались занятия в мединституте или дежурства в больнице — и Залик забегал ко мне. Повторял:

— Люди теперь не рожают. Если проскочит какой-нибудь случайный ребенок, и то хорошо», — вспоминала Людмила Титова[3].

Во время войны Иван Матвеев стал использовать псевдоним Елагин. В первые месяцы 1943-го сочинили Иван и Ольга совместный поэтический сборник, отпечатали на машинке, обозначили на обороте титульного листа: тираж — «в количестве одного экземпляра, из коих 1 нумерованный», а на обложке проставили: Ольга Анстей и Иван Елагин. Сборник по сей день хранится в США.

Красная армия перешла в наступление. Немцы готовились к сдаче Киева. Попадись Иван Матвеев в руки НКВД, ему предъявили бы всего одно обвинение — сотрудничество с оккупантами.

Уцелев после всех арестов близких, после того, что выпало на его собственную долю, Иван Елагин понимал, что полоса везения рано или поздно кончится. А Ольга к тому же ждала ребенка.

В начале осени 1943-го Матвеевы правдами и неправдами погрузились в «поезд, крадущийся вором», — это из написанных после войны «Звезд», где путешествие «на запад» описано лучше любого документального отчета, — и поехали. Неполных двадцати пяти лет поэт превратился в эмигранта.

8 октября 1943 года, по дороге в Лодзь, Ольга родила дочку. Назвали Инной. 11 января 1944 года в Алленштайне, нынешнем польском Ольштыне, Инна умерла. Об этом — стихотворение Елагина «Так ненужно, нелепо, случайно...», посвященное памяти дочери. Дальше опять долгая, бестолковая череда: поезда, станции, даты. Среди них — важная: 8 января 1945 года в Берлине родилась у Матвеевых вторая дочь, Елена, там же была она 2 февраля крещена.

И вот наконец салют Победы. Он застал Матвеевых неподалеку от Мюнхена, в казарме для перемещенных лиц (ди-пи). В комнатке, отгороженной от общего барака серыми одеялами, началась для Матвеевых послевоенная жизнь.

Следующие пять лет документированному описанию лучше не подвергать — самое достоверное читатель может найти в «Беженской поэме» Елагина. Дорога в Россию была для перемещенных лиц наглухо закрыта. Между тем повальные «выдачи» в 1946 году сменились спорадическими, а потом и вовсе прекратились. Очухавшаяся от послевоенного похмелья Западная Европа отгородилась от коммунизма железным занавесом. В лагерях ди-пи стало налаживаться свободное книгоиздание — то, чего ди-пи были начисто лишены в СССР.

Забегая вперед, скажу, что вскоре состав семьи Матвеевых изменился. Ольга Анстей ушла от Ивана Елагина к другому человеку, эмигранту первой волны князю Николаю Кудашеву (1903–1979). До переезда в США

летом 1950 года Матвеевы не разводились и, пожалуй, остались друзьями, но семья распалась.

Елагин печатался в периодических изданиях: «Грани», «Отдых», «Обозрение», «Дело», «Возрождение». В 1947 году «дипийские» поэты и примкнувшие к ним сложили коллективный сборник «Стихи» и выпустили его в Мюнхене. В том же 1947-м Иван Елагин издал в Мюнхене свою первую поэтическую книгу — «По дороге оттуда». Шестьдесят два стихотворения. Годом позже выпустил еще одну — «Ты, мое столетие!». Двадцать семь стихотворений.

Уже эти первые книги со всей очевидностью показали, что Елагин — плоть от плоти военного поколения, «поколения обреченных», чьи кумиры — Блок, Цветаева, Пастернак, Ахматова (любимых поэтов Елагин перечислил в позднем стихотворении «У вод Мононгахилы»).

А самим собой он стал в 1970-е годы: именно тогда, когда выпустил в издательстве «Посев» единственную свою полноценную книгу «Избранного» — «Под созвездием Топора», обширно дополненную новыми стихотворениями[4]. В СССР книга попадала редко, на Западе же… Не хочется вспоминать реакцию, которую она вызвала. Добрые люди ограничивались письмами, недобрые писали откровенно завистливые статьи. А книга получилась замечательная, если писать о ней одной — места не хватит.

Все же Елагина больше хвалили, в глаза и за глаза, и не всегда поумному — настолько не по-умному, что Георгий Иванов в статье «Поэзия и поэты», опубликованной еще в 1950 году в парижском «Возрождении», счел необходимым критиков-дифирамбистов одернуть:

«Число эмигрантских поэтов, кстати, несмотря на ряд потерь, за последние годы увеличилось: выбывших из строя заменило новое “поколение”, главным образом из среды “ди-пи”.

Среди последних есть немало одаренных людей. Двое из них — Д. Кленовский и И. Елагин — быстро и по заслугам завоевали себе в эмиграции имя.

…И. Елагин… ярко выраженный человек советской формации… возможно, талантливей Кленовского. Он находчив, боек, размашист, его стихи пересыпаны блестками удачных находок. Но все опубликованное им до сих пор так же талантливо, как поверхностно, почти всегда очень ловко, но и неизменно неглубоко»[5].

Далее, сочувственно отозвавшись еще о нескольких поэтах, и в частности об Анатолии Штейгере, Г. Иванов вновь вернулся к Елагину:

«Стихи… Елагина, при всем их внешнем блеске, покуда всего лишь вексель, правда, размашисто выписанный на крупную сумму…»[6]

Иванов, поименовав елагинские стихи «векселем на крупную сумму», в 1955 году писал именно о них в частном письме Роману Гулю: «…всетаки очень хорошо. Таланту в нем много»[7].

Первое время, как у всякого рядового эмигранта, у Елагина не было в Нью-Йорке ни кола ни двора. Дорвавшись до вожделенной американской свободы, он не знал, что с этой свободой делать.

За первый мой американский год
Переменил я множество работ.

Все свои работы, от склейки пластмассы и стекол до писания каталожных карточек, Елагин перечисляет в мемуарной поэме «Москва – Питтсбург», поэтому нет нужды повторяться. Но очень скоро старейшая русская газета «Новое русское слово» обратила на него внимание. И на десять лет Иван Елагин стал штатным ее сотрудником — был не только фельетонистом, но и корректором, а формально служил в отделе объявлений (что поделать — рифмовал и объявления).

«Издательство имени Чехова», прежде чем вылететь в трубу осенью 1956 года, выпустило толстый том стихотворений Елагина «По дороге оттуда» (1953), вобравший в себя оба изданных в Германии сборника с прибавкой еще трех десятков стихотворений, более поздних. На этой книге поэт проставил посвящение «О.А.» — Ольге Анстей.

В те годы Елагину в США было одиноко. Он выпивал, играл в карты, заводил романы, от которых сохранились немногие грустные строки:

Я два слова знаю по-английски,
Ты по-русски знаешь слова три.
Я под вечер пью с тобою виски
И с тоской смотрю на словари.

В 1956 году Елагин познакомился с обаятельнейшей женщиной, русской по матери (из первой волны эмиграции), Ириной Даннгейзер:

Я не думал о вас. Ваше русское имя…

19 апреля 1958 года они поженились. В домашнем быту ее неизменно называли Ела или просто Елка. Она стала верной подругой Елагину и в 1967 году родила ему сына Сергея.

Обзаведясь новой семьей, Елагин обрел в поэзии второе дыхание. В конце 1950-х — начале 1960-х годов стихи у него «хлынули» как в юности, но теперь они стали совсем другими. В них вошла Америка.

И снова даты. 1963 год — в издании «Нового журнала» выходит совершенно новый поэтический сборник Елагина «Отсветы ночные»; 1967 год — в том же издании выходит еще один сборник, «Косой полет», в конце которого впервые помещено небольшое «избранное» из прежних книг. В том же 1967 году Елагин окончил университет.

В годы не совсем еще истаявшей хрущевской оттепели «Отсветы ночные», а следом и «Косой полет» в немалом количестве просочились в СССР. С того времени началась самиздатская известность Елагина. Однако *кто такой* Иван Елагин — читатели все еще не знали (а кто знал, тот молчал). Даже Федор Панферов, очень хваливший поэта Елагина во время наезда в Лондон (видимо, в 1960 году, незадолго до своей смерти), понятия не имел, что хвалит того самого беспризорника, которого отловил как-то на Сухаревке и отправил к родственникам в Царское Село.

В 1960-е годы Елагин всерьез взялся за поэтический перевод. Перевод эпической поэмы Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна» — около пяти лет работы — принес ему в 1969 году степень доктора в Нью-

Йоркском университете. А в августе следующего, 1970 года поэт вместе с семьей переехал в Питтсбург, где стал профессором местного университета. Там он купил дом, там провел оставшиеся ему почти семнадцать лет жизни — среди любимых книг, картин, близких, друзей и учеников.

Первое «легальное» явление Ивана Елагина советскому читателю случилось в 1970 году в журнале «Америка», когда была опубликована первая песнь этой грандиозной поэмы, точнее — ее русский перевод (около двух тысяч строк), мгновенно «распознанный» уже многочисленными к тому времени московскими поклонниками Елагина.

Желание тех, кто любил Елагина и его стихи, как-то помочь поэту, «легализовать» его в СССР доводило до действий, граничащих с отчаянием. В небольшой поэме, опубликованной в 1972 году в «Известиях», Евгений Евтушенко фактически Елагина процитировал: «Кто не убьет войну, / Того война убьет»[8], — а когда настало время, первым напечатал его в СССР на страницах «Огонька» в июне 1988-го.

В стихотворении «Наплыв» — «Мы выезжали из Чикаго...», появившемся после автомобильной катастрофы, в которую со всей семьей попал Елагин, поэт обмолвился ключевыми для понимания его творчества словами: «Во времени, а не в пространстве».

Из хорошего поэта Елагин стал превращаться в очень большого. Четвертое измерение пространства — время — становится основной координатной прямой, вокруг которой строится елагинский поэтический мир. В 1970-е годы «вексель», которым некогда Георгий Иванов ненароком связал поэта, был так или иначе погашен.

В 1973 году в издательстве Виктора Камкина (Роквилль) вышла очередная книга поэта — «Дракон на крыше» с обложкой и иллюстрациями Сергея Голлербаха. А в 1976-м Елагин, как было сказано выше, выпустил книгу «Под созвездием Топора», куда вошло и лучшее из «Дракона...».

Поразителен был ее последний раздел — «Новые стихотворения», содержавший «Нечто вроде сценария», «Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой...», «Все города похожи на Толедо...» и настоящую декларацию Елагина — «Не в строчке хорошей тут дело...», кончающуюся чуть ли не авторским поэтическим завещанием:

Но помни, что ты настоящий —
Лишь все потеряв,
Что запах острее и слаще
У срезанных трав,
Что всякого горя и смрада
Хлебнешь ты сполна,
Что сломана гроздь винограда
Во имя вина.

Таким предстал читателям поздний Елагин, профессор Елагин.

О том, что рано или поздно его стихи к российскому читателю попадут, поэт знал точно («Пойдут стихи мои, звеня, / По Невскому и Сретенке; / Вы повстречаете меня — / Читатели-наследники» — это из стихотворения еще 1960-х годов).

Елагин спешил написать последние стихи; хотя и был он недоучившимся врачом, но по ряду примет самочувствия понимал: времени — особенно творческого — у него остается немного. В 1982-м вышел объемистый и очень сильный сборник Елагина «В зале Вселенной».

В июле 1985 года он написал в письме и Т. и А. Фесенко: «...я тоже угодил в больницу. Последние месяцы я быстро уставал и за 3–4 недели потерял 20 фунтов. Зрение резко ухудшилось. Диабет. Врачи говорят, что в моем возрасте это не очень опасно...»[9]

Увы, это было опасно, и это был не только диабет, а еще и рак поджелудочной железы.

Друзья и поклонники поэзии Ивана Елагина, зная, что жить поэту осталось всего ничего, решили сделать ему прощальный подарок: издать его новую книгу. Саму книгу — «Тяжелые звезды» — Елагин все же успел увидеть, даже многим ее надписал; лишь экземпляры в твердом переплете, появившиеся буквально за два дня до смерти поэта, остались ненадписанными — больше не было сил держать в пальцах карандаш.

Валентина Синкевич вспоминает: «Поэт продиктовал дочери объявление о своей смерти. По-прежнему слушал он тихо игравшую классическую музыку, но говорить уже не было сил»[10].

8 февраля 1987 года поэт Иван Елагин скончался в Питтсбурге, там же был отпет и похоронен. На его могиле стоит камень с выгравированным по-английски именем и датами жизни; на том же камне — восьмиконечный православный крест. До возвращения — стихами — в Россию оставалось меньше полутора лет. До выхода в Москве двухтомного собрания сочинений[11] — лет десять.

«Смерть не все возьмет — смерть только свое возьмет», — писал один из лучших русских писателей XX века Борис Шергин. Истинную поэзию смерть не возьмет, не ее это дело и не ее собственность. А для живых, издающих и читающих книги, дело всегда есть, и дело это общее, из всех важных — самое важное.

Воскрешение мертвых.

Евгений Витковский

---

[1] Впервые опубликовано: Canadian-American studies. 1993. Vol. 27, № 14. P. 292 (номер целиком посвящен Ивану Елагину).

[2] Впервые опубликовано в виде факсимиле: Рубеж (М.; Владивосток). 1992. № 1/863. С. 98.

[3] Титова Л. Мне казалось, мы будем жить на свете вечно...: (Из воспоминаний об Иване Елагине). Стихи. Киев, 1995. С. 37–38.

[4] Была еще одна книга избранного — «Тяжелые звезды», но она готовилась в спешке и перед самой смертью.

[5] Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. / сост., подгот. текста Е.В. Витковского, В.П. Крейда; вступ. ст. Е.В. Витковского; коммент. В.П. Крейда, Г.И. Мосешвили. М.: Согласие, 1994. Т. 3. С. 583–584.

[6] Там же. С. 585.

[7] Там же. С. 711.

[8] Если быть точным, у Евтушенко: «Кто не убьет войну — Того убьет война».

[9] Фесенко Т. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. Париж: Альбатрос, 1991. С. 139.

[10] Синкевич В. Последние дни Ивана Елагина // Новый мир. 1990. № 3. С. 192.

[11] Елагин И. Собр. соч.: в 2 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. Е.В. Витковского. М.: Согласие, 1998.



33

ЕРОФЕЕВ В.В.

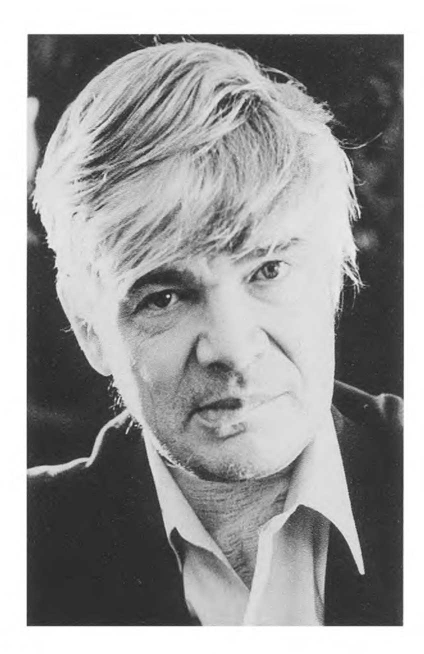
Москва – Петушки:
Поэма

/ Венедикт Ерофеев. — Р.: YMCA-Press, 1977. — 73 с.; 23,5x16,5 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке. На первой сторонке воспроизведена картина В.В. Калинина «Человек жаждущий» (1974).

YMCA-PRESS

Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990) родился 24 октября в городе Кандалакше Мурманской области. Его отец, начальник железнодорожной станции, в 1945 году был репрессирован и приговорен к пяти годам лишения свободы по печально известной статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Осенью 1946-го многодетная семья Ерофеевых, испытывая острую нужду, переехала в поселок Зашеек Мурманской области, где в то время работал на железнодорожной станции брат Венедикта Юрий, однако через год восемнадцатилетнего Юрия арестовали за кражу хлеба и тоже заключили на пять лет в ГУЛАГ. Мать, чтобы прокормить детей, отправилась на заработки в Москву, а Венедикт с братом Борисом оказались в детском доме № 3 города Кировска, где находились до 1953 года. В 1951-м отец вернулся из заключения и снова устроился на железную дорогу, но в 1953-м за опоздание на работу получил второй лагерный срок — три года.

Несмотря на слабое здоровье и тяжелейшее материальное положение семьи, Венедикт блестяще учится в кировской средней школе, которую оканчивает в 1955 году с золотой медалью. В том же году он отправляется


Венедикт Ерофеев. Москва. 1980-е годы

в Москву и поступает на филфак МГУ, где становится одним из лучших студентов своего курса. Тогда же проявляется его писательский дар. «Первым, заслуживающим внимания сочинением считаются “Заметки психопата” (1956–1958), начатые в 17-летнем возрасте. Самое объемное и самое нелепое из написанного»[1].

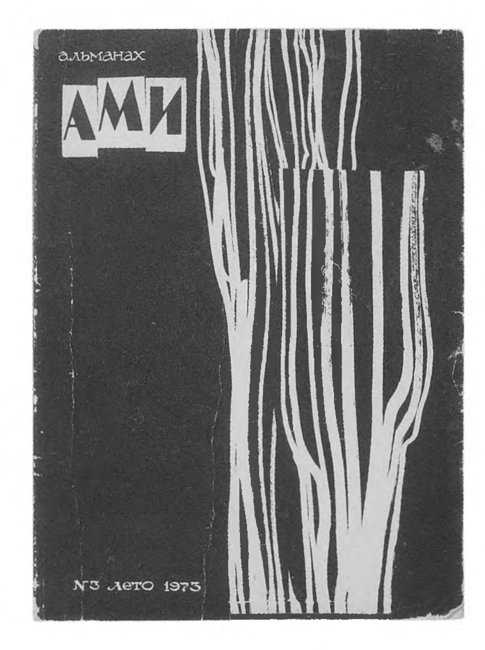
В самом начале 1957 года Ерофеев отчислен из университета «за академическую неуспеваемость и пропуски занятий без уважительных причин» и выписан из студенческого общежития. С этого момента начинаются его мытарства. Он ночует на вокзалах, голодает, временно останавливается у знакомых и случайных людей. Пытается продолжить образование сначала в Орехово-Зуевском, потом в Коломенском и Владимирском пединститутах; учится на «отлично», но «за академическую задолженность» и «за пропуск занятий без уважительных причин» его отовсюду исключают. С 1958 по 1978 год он, как сам писал в автобиографии, «работал в разных качествах и почти повсеместно»[2] — магазинным грузчиком, подсобником каменщика, приемщиком стеклотары, сторожем в медвытрезвителе, истопником-кочегаром, бурильщиком в геологической партии, библиотекарем, монтажником кабельных линий связи, кладовщиком, стрелком в отряде ВОХР и т. д. «Единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер) работа в качестве “лаборанта паразитологической экспедиции” и в Таджикистане в должности “лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом”»[3]. Статус человека без определенного места жительства окончательно закреплял за ним неустроенность, и только второй брак, с Галиной Носовой, в 1976 году дал Ерофееву возможность прописаться в Москве. Последнее его место работы (уже в 1983-м) — вахтер в жилом доме в Москве за 70 рублей в месяц.

Все эти годы Венедикт Ерофеев жил словно в нескольких параллельных мирах, его мытарства по разным рабочим местам были сопряжены с углубленным, поистине фундаментальным изучением мировой культуры (многие часы он проводил в библиотеках), яркой творческой самореализацией — в эти годы им созданы повесть «Благая весть» (1962; текст сохранился частично), поэма в прозе «Москва – Петушки» (1970), эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973), трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985), пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» (1987; текст не завершен), коллаж «Моя маленькая Лениниана» (1959–1988), — но в то же время и с приступами тяжелого недуга (Ерофеев периодически попадал в больницу с диагнозом «острый алкогольный галлюциноз»). В середине 1980-х у Ерофеева развился рак гортани; интен-

сивная терапия и ряд операций не улучшили его состояния — к концу жизни он потерял голос и не мог говорить без электронного аппарата. После очередной рецессии писателя снова госпитализировали в Онкологический центр на Каширском шоссе, где он и скончался.

В сознании массового читателя Венедикт Ерофеев прежде всего — автор произведения «Москва – Петушки», символа эпохи советского андеграунда 1970-х годов.

Замысел поэмы, по признанию самого писателя, возник у него во время монтажных работ по прокладке кабеля вблизи Шереметьева. В автобиографии Ерофеев так пишет об этом: «Осенью 1969 года добрался наконец до собственной манеры письма и зимой 1970 года нахрапом создал "Москва – Петушки" (с 19 января до 6 марта 1970)»[4]. Текст под рабочим названием «По маршруту электрички Москва – Петушки» читался ближайшим знакомым и сослуживцам. Однако вскоре рукопись, пущенная по рукам, затерялась (была найдена и возвращена автору только в 1988 году), и Ерофееву пришлось восстанавливать текст по памяти. В ходе этой работы произведение и получило название «Москва – Петушки» и жанровое определение «поэма».



Обложка литературного альманаха «Ами», где впервые была опубликована поэма В. Ерофеева «Москва – Петушки». Художник Э. Черкасская

Машинописные копии поэмы расходятся в самиздате, в итоге одна из них попадает в Израиль и пополняет библиографию «тамиздата». Первая публикация «Москва – Петушки» состоялась в иерусалимском литературном альманахе «Ами» (1973. № 3), причем сам автор узнал об этой публикации постфактум. После 1976 года, когда поэма прозвучала по радио «Свобода» в исполнении Юлиана Панича, произведение становится широко известным и на родине автора, и за рубежом — его переводят на многие языки.

В 1977 году парижское издательство «YMCA-Press» публикует «Москву – Петушки» отдельным изданием (за основу взята публикация в альманахе «Ами»), поместив на обложку репродукцию картины известного художника Вячеслава Калинина «Человек жаждущий» (1974).

В эмигрантской прессе на книгу появляются рецензии. Одним из первых откликнулся корифей русской эмиграции поэт Юрий Иваск. Сравнивая Ерофеева с некоторыми «псевдоавангардными» писателями, он заметил: «За его гротесками: острая жалость, невымышленный ужас, жгучая боль и едкая ненависть к советскому казенному лицемерию и советской обывательской пошлятине». Нашлось в рецензии место и критике — упрекнув Ерофеева в «многоглаголании», Иваск резю-



Шмуцтитул к поэме «Москва – Петушки» в альманахе «Ами». Художник Э. Черкасская

мировал: «Зощенко сократил бы повесть вдвое или втрое»[5]. В отзыве Майи Муравник доминирует интерпретация поэмы как трагической истории пьянства: «Когда лишь хлебом единым живет человек, он превращается в скотину, но когда он не может так жить, а того, что накормило бы именно душу, не находит, то с фатальной неизбежностью становится алкоголиком»[6]. Однако в те же годы в эмигрантской печати начинают появляться аналитические статьи, где поэма «Москва – Петушки» рассматривается как оригинальный образец русской ветви постмодернизма. Самоирония и юродство автора-рассказчика (карнавальное начало произведения), «заплетающееся» повествование, нарушение причинно-следственных связей и «выпадение» целых частей поэмы как намеренный сюжетный и композиционный прием, сложная закольцованная композиция текста (вопреки очевидно линейной траектории маршрута «Москва – Петушки»), многочисленные напластования цитат и реминисценций из произведений мировой литературы, парадоксальное балансирование стиля между словом высоким, сакральным и словом похабным и, наконец, избранный писателем жанр — «поэма», — эти и многие другие составляющие сложной ткани произведения становятся предметом литературоведческих штудий. Преддверием предметного анализа текста можно назвать отзыв-эссе П. Вайля и А. Гениса «Страсти по Ерофееву». Авторы справедливо замечали, что «Москва – Петушки» «не просто путевые заметки», а уникальное философское произведение: «…стоит вглядеться в блаженную поступь кайфа, как привычный взгляд различит в псевдохаосе слов и поступков тщательную пропорцию и гармонию»[7]. В 1981 году вышла статья Б.М. Гаспарова и И.А. Паперно «Встань и иди», без упоминания которой сегодня не обходится практически ни одно исследование творчества В. Ерофеева. В статье убедительно доказывается, что писатель создал свою апокрифическую версию евангельского сюжета, при этом «параллелелизм с Евангелием подкрепляется самой манерой изложения, в которое то и дело оказываются вкраплены сетования на забытые героем и безвозвратно погибшие для потомства эпизоды, что сообщает повести характер предания»[8]. Помимо евангельских мотивов, авторы статьи отслеживают в поэме и многочисленные отсылки к произведениям Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, И.-В. Гёте и др.

Первая успешная попытка представить «Москву – Петушки» на родине писателя осуществилась только в 1988 году, когда на страницах газеты «Неделя»[9] увидел свет небольшой фрагмент поэмы, притом сильно цензурированный. Полностью произведение (правда, тоже со значительными купюрами — из текста была изъята ненормативная лексика) было опубликовано в рамках антиалкогольной программы в «узкопрофильном» издании «Трезвость и культура»[10]. Но в 1989 году поэма вышла наконец без купюр — в московском издательстве «Прометей», тиражом 125 000 экземпляров. С тех пор она неоднократно переиздавалась.

Список литературы, посвященной поэме «Москва – Петушки», продолжает стремительно пополняться. Текст Ерофеева, открытый для диалога, парадоксальный и пластичный, и по сей день порождает в отечественном и зарубежном литературоведении массу любопытных наблюдений, остроумных гипотез и трактовок. Так, А.Л. Зорин указывает на сближения поэмы Ерофеева с «Путешествием из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева[11]; на скрытые цитаты из Есенина, Эренбурга, Тютчева, Кафки и др. указывает Ю.И. Левин[12]; обширный список скрытых цитат из русской поэзии начала века выявлен Н.А. Богомоловым[13]. Комплексное исследование поэмы Ерофеева, ее поэтики «эстетического бунта» предпринимает М.Н. Липовецкий[14], справедливо замечая при этом: «...разошедшаяся в самиздатских перепечатках и "тамиздатских" публикациях, заученная некоторыми читателями наизусть... поэма в прозе Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки" обладает уникальным статусом: пожалуй, ни один текст неофициальной культуры не имел и не имеет большего резонанса. Количество публикаций о ней достигло сотен, включая несколько книг[15], вышли два подстрочных (и даже пословных) комментария (Ю. Левина и Э. Власова[16]), поездки из Москвы в Петушки и обратно в день рождения Ерофеева стали популярным молодежным ритуалом и основой художественных акций»[17].

Мария Васильева

---

1 Ерофеев В. Автобиография // Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти всё. М.: Х.Г.С., 1995. С. 31.

2 Там же.

3 Там же.

4 Там же. С. 32.

5 Иваск Ю. [Рец.:] Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки. Имка-пресс, 1977 г. // Новый журнал (Нью-Йорк). 1977. № 129. С. 291.

6 Муравник М. Исповедь россиянина третьей четверти XX века // Третья волна (Париж). 1979. Вып. 6. С. 101.

7 Вайль П., Генис А. Страсти по Ерофееву // Эхо (Париж). 1978. № 4. С. 111, 112.

8 Гаспаров Б., Паперно И. «Встань и иди» // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. V/VI. С. 389.

[9] Ерофеев В. Москва – Петушки // Неделя (М.). 1988. 5–11 сентября. № 36.

[10] Ерофеев В. Москва – Петушки // Трезвость и культура. 1988. № 12; 1989. № 1–3.

[11] См.: Зорин А. Пригородный поезд дальнего следования // Новый мир. 1989. № 5. С. 256–258.

[12] См.: Левин Ю. Семиосфера Венички Ерофеева // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 486–500.

[13] См.: Богомолов Н. «Москва – Петушки»: историко-литературный и актуальный контекст // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 302–319; Он же. Блоковский пласт в «Москве – Петушках» // Там же. 2000. № 44. С. 126–135.

[14] См.: Липовецкий М. Кто убил Веничку Ерофеева? Трансцендентальное как проблема // Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 285–325.

[15] См.: Гайсер-Шнитман С. «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева, или «The rest is silence». Bern: Peter Lang, 1989; Venedikt Erofeev's Moscow – Petushki: Critical perspectives / ed. by K. Ryan-Hayes. N.Y.: Peter Lang Publ., 1997. (Middlebury studies in Russian language and literature. Vol. 14). Анализ одного произведения: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева / под ред. И.П. Фоменко. Тверь, 2001.

[16] См.: Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: Спутник писателя / Slavic research center. Sapporo. 1998. № 57 (то же: Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: Спутник читателя // Ерофеев В. Москва – Петушки. М.: Вагриус, 2001); Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Graz, 1996.

[17] Липовецкий М. Кто убил Веничку Ерофеева?.. С. 285.





34



ЗАЙЦЕВ Б.К.

Дом в Пасси:
Роман

/ Борис Зайцев. — Берлин: Парабола, 1935. — 258, [2] с.; 19,5x13,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

П А Р А Б О Л А

Чистые ключи творчества «хрустального писателя»[1] Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) берут свое начало в его светлом и радостном детстве. Высшего образования он не получил («Ушел, и не надо»[2] — вот и все воспоминания об университетах). С семнадцати лет его привлекало только литературное творчество. В 1901 году состоялся литературный дебют, и вскоре юноша познакомился с А.П. Чеховым, Л.Н. Андреевым, И.А. Буниным, а также с Н.Д. Телешовым, став постоянным участником литературных «Сред», где московские писатели собирались для чтения своих новых сочинений. В 1912 году он женится на В.А. Орешниковой и входит в московское «Книгоиздательство писателей» — наряду с Буниным, Шмелевым, Телешовым. «Сотоварищи» издают сборник «Слово», который читатели и критика хорошо принимают; в «Слове» опубликованы и лучшие вещи Зайцева того периода. В 1917 году писателя призывают служить в Московский гарнизон, в 1919-м умирает его отец, расстрелян пасынок Алексей, в 1921-м арестуют, хотя и ненадолго, самого Зайцева — в ту пору председателя Союза писателей. В 1922-м ему удается добиться



Борис Зайцев. Париж. Начало 1930-х годов. Фото П. Шумова

разрешения на выезд за границу — «для лечения», и Зайцевы покидают Россию навсегда.

В 1923 году они поселяются в Париже. Сочинения Зайцева печатаются в журнале «Современные записки»; сотрудничает он и в «Возрождении», редактирует рижские «Перезвоны», публикуется в «Звене», «Днях», «Русской мысли», «Новом журнале»... Становится председателем Союза русских писателей и журналистов. Годы эмиграции оказались плодотворными для его творчества: Зайцев выпустил более тридцати книг.

Зайцев — единственный из писателей-эмигрантов старшего поколения, кто, прожив чуть более десяти лет в Париже, создал полноценное повествование именно об эмигрантском житье-бытье — роман «Дом в Пасси». «В странном, необычайном для Парижа доме, где у входных дверей квартиры нет звонков, чтобы консьержка по стуку знала, кто к кому пришел, — живут странные люди, русские эмигранты. Все они связаны между собой, и у каждого из них своя жизнь, свое горе. Угрюмая, некрасивая девушка Капа безнадежно влюблена в эмигрантского покорителя сердец Анатолия Ивановича и отравляется от любви. В него же влюблена трезвая, положительная массажистка, еврейка Дора. Старый генерал ждет из России дочь с внучкой (так! — *Т.М.*), но никогда не дождется. Сын Доры, мальчик Рафа, ведет дружбу с генералом. К генералу ходит старик монах по имени Мельхиседек. Выведены многие другие люди всяких профессий и положений, описаны и эмигрантские именины и свадьба. Словом, как будто “роман из эмигрантской жизни”»[3]. Рецензируя роман, М. Цетлин не только назвал главных героев в их отношениях между собой, но и дал определение произведению в новом для русской романистики жанре. «Написать такой роман — задача трудная, — продолжает Цетлин. — Не будет далеко от истины сказать, что в эмиграции нет ни “жизни”, ни “романов”. Нет “жизни” в смысле устоявшегося крепкого быта. Нет “романов”, потому что большинство эмиграции живет в плену тяжелого труда, не оставляющего досуга, не дающего душевной свободы»[4].

Русский за границей в XX веке — лицо без определенных занятий, без ремесла и профессии, зарабатывающее на жизнь порой самыми фантастическими занятиями. В романе Зайцева генерал собирает «объявления для газетки», вяжет для продажи грошовые бисерные кошелечки (с очень горькой отсылкой к гоголевскому персонажу) и унижен предложением стать «чем-то вроде консьержа в замке под Парижем»; «младший секретарь посольства», не имеющий отношения к флоту и даже страшащийся моря, изготавливает модели кораблей, изредка пристраивая их случайно

подвернувшимся любителям, а чаще участвуя в малоудачных темных перепродажах всего, что обладает известной ценностью. Работой личным шофером у богатой дамы он пренебрег. Знакомые его русские девицы трудятся — одна «барышней за прилавком», сделав карьеру и работая уже «из процента», другая — то ли «дактило за машинкой», то ли в кондитерской, и только Дора Львовна, получив в России на курсах «полумедицинское образование», способна вполне прилично зарабатывать массажем. Проституцией, между тем, в романе Зайцева занимается лишь одна жиличка «дома в Пасси» — француженка Женевьева. В музеи и театры обитатели Пасси не ходят, развлекаясь порой синема, пищу духовную они черпают в изредка посещаемой православной церкви. Такие, какими их изображает вполне им сочувствующий Зайцев, эти люди совсем не нужны ни Парижу, ни Европе в целом. И им ничего не нужно: «Сена так Сена, Париж так Париж».

О живущих бок о бок с русскими эмигрантами французах автор както обмолвился, что они только «с парадной своей стороны», связанной с исполнением обязанностей, «напоминают летейские тени», а на самом деле «полны той самой жизни, страстей, зависти и желаний». И. Хукс называет «деперсонификацию», обезличивание одним из главных признаков повествования в «Доме в Пасси»[5].

Для Зайцева само по себе эмигрантское существование русского человека — небывалое попущение Божьего промысла, вещь немыслимая, но оскорбительно реальная. Париж, парижан, французов и европейцев в целом герои Зайцева презирают, испытывая почти отвращение ко всему чуждому, французскому: «Они отпраздновали свою Бастилию. Мне нет до них ни малейшего дела». Новым «островитянам» больше всего хочется отгородиться в своем «привычном мирке»: «Если бы жить только в своей комнате, видеть вот так каштаны да ветхую крышу, можно бы думать, что и нет никакого Парижа, порога вселенной… А есть только провинциальная глушь». Свой мир кажется безопасным и уютным — «в русском доме все… особенное. Записки на дверях приколоты, ключи торчат…» Сами жильцы понимают и культивируют свою обособленность — «русский угол — скит не скит, а так, чуть ли что не общежитие», «русское гнездо в самом, так сказать, сердце Парижа. Утешительно». Но порой и утомительно: «Тут все как на ладошке…» И — «все на фу-фу».

В русском доме все исполнено обаяния и таинственной прелести, даже бестолковость и неопрятность быта, тогда как французская жизнь кажется ненастоящей, бутафорской. В русском доме, в русском квартале выделяются лица и судьбы, а во французском «людском множестве все Жоржетты казались похожи на всех Жюльет и все Эрнесты на Жюлей». Православная вера овеяна теплым светом подлинного чувства, тогда как чужая вера вызывает недоумение и насмешку — «нехитрая бутафория католицизма». Русского человека, узнавшего эту столицу мира изнутри, никакими соблазнами Париж пленить уже не может: «У французов никогда нет настоящего крыльца или террасы... Почему у них нет балконов?.. Замечательно красиво. Но холодно все же. Все будто выщелочено».

Персонажи хаотично болтаются в непомерно большом пространстве с названием Париж, но только однажды добираются до православного «скита» — монастыря с приютом для осиротевших русских детей. Для зайцевской прозы попадание героев из пункта А в пункт Б — подлинное напряжение, и, раз добравшись до этой точки в повествовании, писатель делает ее кульминационной, помещая в один эпизод и очистительную грозу, и астрономическое явление — сближение Марса и Юпитера, и знакомство правильного Рафы с подростком из большевистской России Котлеткиным, и исповедь-катарсис — после многих лет отдаления от церкви — генерала, и получение им письма из Москвы со страшным известием о внезапной кончине дочери Машеньки, которую со дня на день он ожидал увидеть в Париже вместе с внуком.

Общее настроение озвучивает кроткий резонер Мельхиседек: «Мне в Париже вашем нелегко… Тяжкий город. Не по мне. Душно. А вот Русь-то наша, одинокая, заброшенная, по болотцам...» Писалось это, конечно, в глубокой тоске по родине и нежности к ней, но в соизмерении со значением Парижа как мировой столицы эти искренние задушевные слова воспринимаются с некоторой иронией.

«Присутствует в романе и общий фон действия — образ Парижа, свой для каждого времени года или суток, — отмечает А.М. Любомудров, очевидно солидаризируясь с интерпретируемым им писателем. — Чаще всего Париж — западный, рационалистический город, в котором русским изгнанникам тяжело и душно»[6]. Глядя на ярко иллюминированный ночной Париж, герои «Дома в Пасси» содрогаются от того же ужаса, что и автор: «Какая тьма…»

Выручает неизменный юмор, «русско-французская атмосфера врывается в саму языковую ткань романа»[7]. «Ему предстоит зубровка» (зубрежка), по небу плывет легкая «тучка-жибуле»… Щегольство эмигранта этим новым макароническим жаргоном доходит до того, что теряется рецензент-эмигрант: «Шоферы употребляют ужасное слово “шаржнуть”, и даже сам автор пишет, правда в кавычках, вместо “в автомобиле” — в “жесете” (не сразу поймешь, что слово образовалось из начальной литеры и номера автомобиля G-7)»[8].

Выходов несколько. Свести счеты с жизнью — Капа, все повествование боровшаяся с болезнями, открывает газ и умирает; «русский» дом в Пасси сносят. Принять новую жизнь, «офранцузиться», стать парижанином, заработать деньги и вложить их в строительство нового доходного дома в том же Пасси. Замкнуться в еще более закрытом, обособленном, глухом русском «мирке» — православной обители. Жизнь русского человека вне России бессмысленна — или он перестает быть русским. «Книга дает почти физическое ощущение, как в мире зарубежья русской душе не хватает простора и воздуха. У этой жизни уже нет прочной основы. Видна обреченность срезанного цветка, отделенного от корня, от своей почвы. В атмосфере романа — предчувствие конца. Дом в Пасси — последнее пристанище, островок России в чуждом море — в финале разрушен, и у каждого его обитателя начинается своя новая жизнь»[9]. Париж Б. Зайцева — это промежуточная остановка русской души на пути из бытия

(Россия) в небытие, своего рода печальное чистилище, разверзающееся впереди беспросветной тьмой Аида.

А из небесной выси подмигивает дьявольским красным глазом Эйфелева башня.

Татьяна Марченко

---

[1] Айхенвальд Ю. Б. Зайцев. Наброски // Айхенвальд Ю. Б. Силуэты русских писателей: в 3 вып. М., 1906–1910. Вып. 3; 2-е изд. М., 1908–1913. Цит. по изд.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 437.

[2] Цит. по: Сивиякова Е. Невыносимая легкость бытия: Штрихи к биографическому портрету Бориса Зайцева // Иные берега: Журнал о русской культуре за рубежом. 2010. № 3. То же: URL: http://www.inieberega.ru/node/272.

[3] Цетлин М. [Рец.:] Борис Зайцев. Дом в Пасси. Ром<ан>. Париж: Парабола, 1935 // Современные записки (Париж). 1935. № 59. С. 473.

[4] Там же. С. 474.

[5] Hux I. Schreiben im Exil. Boris K. Zajcev als Schriftsteller und Publizist. Bern etc.: Peter Lang, 1997. S. 144. (Slavica Helvetica. Bd. 56).

[6] Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 101.

[7] Цетлин М. [Рец.:] Борис Зайцев. Дом в Пасси. С. 474.

[8] Там же.

[9] Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе… С. 108.

35

ЗАМЯТИН Е.И.

Мы:
Роман

/ Евгений Замятин. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — XIII, 200 с.; 21,5х14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.





Евгений Иванович Замятин (1884–1937) родился в городе Лебедяни Тамбовской губернии, в семье священника. В 1902 году окончил с золотой медалью воронежскую гимназию и поступил на кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института. Позже он вспоминал: «В гимназии я получал пятерки с плюсами за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно поэтому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского политехникума»[1]. В 1908 году, окончив Политехнический, Замятин получил специальность морского инженера, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры, с 1911 года — в качестве преподавателя.

По словам В. Шкловского, в литературу он «вошел сильно и уверенно — как ледокол, ломая перед собой лед. Редко кто сразу так хорошо начинает»[2]. Эта рецензия относится к появлению первого крупного

и серьезного произведения Замятина — повести «Уездное» (1913), с восторгом встреченной критикой.



Евгений Замятин. 1920-е годы

События, предшествовавшие вхождению Замятина в литературу и давшие ему возможность познакомиться с бытом провинции, связаны с летом 1905 года, когда он с юношеским пылом уйдя в революцию, став членом РСДРП(б), был арестован и выслан из Петербурга. Затем последовали нелегальное возвращение в столицу, публикация первого произведения — этюда об одиночестве и несчастной любви «Один» (1908), повторная высылка, в течение которой Замятин и создает «Уездное».

Его творчество, в основном посвященное провинциальной жизни, успешно развивается. Повесть Замятина «На куличках» читатели сравнивали с «Поединком» Куприна. В 1916 году выходит первый сборник писателя, заставивший критиков говорить о рождении «нового Гоголя». В том же году Замятин командирован в Великобританию для участия в строительстве российских ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда (он был одним из главных проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский», получившего после Октябрьской революции имя «Ленин»). Эта поездка имеет некоторое значение для создания в будущем романа «Мы». Впечатления от нее отразились и в повести «Островитяне», где автор описал увиденное собственными глазами английское «уездное».

Весть о Февральской революции Замятин воспринял с энтузиазмом, но вернуться в Россию смог лишь в сентябре 1917 года. Тогда же начинает вызревать замысел романа «Мы».

Эта книга ознаменовала собой рождение нового литературного жанра — романа-антиутопии, оказав значительное влияние на литературу XX века. Последователями Замятина стали О. Хаксли («О дивный новый мир»), Дж. Оруэлл («1984»), В. Набоков («Приглашение на казнь»), Р. Брэдбери («451° по Фаренгейту») и др.

В романе показаны жесткий контроль государства над личностью и безраздельная власть его над человеком, превращенным в деталь и носящим вместо имени «нумер». Тенденции к этому автор увидел и в технической жизни Англии, и в первых советских декретах.

Роман «Мы» был закончен не позднее середины 1921 года. Несмотря на все усилия, предпринятые Замятиным, произведение по цензурным соображениям на родине опубликовано не было. Хотя различными издательствами — З.И. Гржебина, «Алконостом», «Кругом» — такие попытки предпринимались. Не удалось Замятину напечатать и главы из романа в журналах. Но состоялась «устная публикация»: зимой 1921/22 годов роман был полностью прочитан в Петроградском институте истории искусств, в 1923 году — на литературных вечерах петроградского и мо-

сковского отделений Союза писателей, а также на даче у Максимилиана Волошина в Коктебеле. Знакомство с текстом достаточно широкого круга лиц породило ситуацию, когда в печати стали появляться отзывы на неопубликованное произведение — к примеру, отрицательный отзыв А. Воронского, написавшего, что роман «Мы» «пронизан неподдельным страхом перед социализмом»[3].

В 1922 году Замятина еще раз арестовали и приговорили к высылке за границу, которая не состоялась во многом благодаря ходатайству его друзей и знакомых. Не совсем ясно, хотел ли сам писатель уехать, поскольку сохранились свидетельства, что чуть позднее, в 1923-м, он получил разрешение на выезд, но им не воспользовался. Из-за этой истории, длившейся два года, не состоялась публикация романа «Мы» и в парижских «Современных записках» — редакция журнала не сумела получить рукопись ни от самого Замятина (из СССР), ни от хранившего у себя копию осторожного Гржебина (из Берлина).

В 1924 году «Мы» были запрещены к публикации в СССР. А. Эфрос, присутствовавший на заседании принявшего это решение ленинградского Гублита, вспоминал, что «утопический роман» был признан представляющим «государственную опасность».

Впервые он увидел свет в переводах: на английском языке — в нью-йоркском издательстве «Даттон» («Dutton», 1924), на чешском, при посредничестве Р. Якобсона, — на страницах газеты «Лидове новины» («Lidove Noviny, октябрь – декабрь 1926) и отдельной книгой в издательстве «Авентинум» (1927). В том же 1927 году роман был впервые опубликован и на русском, правда, с сокращениями, — в эмигрантском пражском журнале «Воля России» (№ 2–4). Из редакционного примечания следовало, что предлагаемый читателю текст — обратный перевод с чешского и английского изданий. Некоторые исследователи[4] склоняются к тому, что М. Слоним, редактор журнала, на самом деле имел в своем распоряжении рукопись романа, а изменения внес в текст намеренно, чтобы замаскировать первоисточник.

1929 год в истории СССР получил название «года великого перелома» и был отмечен партийными чистками. Роман «Мы» оказался частью большого литературно-политического процесса, направленного против писателей-«попутчиков».

Переводные издания «Мы» внимания советской власти не привлекли, но на русскоязычную публикацию романа последовала резкая реакция: в августе – сентябре 1929 года в СССР развернулась травля писателя — плотно связывались имена Е. Замятина и Б. Пильняка, клеймившихся за публикации своих произведений — романа «Мы» и повести «Красное дерево» — за границей.

Началась проработочная кампания 26 августа 1929 года статьей Б. Волина в «Литературной газете», где оба автора обвинялись в сотрудничестве с «эмигрантской эсеровщиной»: «Мы и до сих пор не понимаем, как может случиться, что советские литераторы, чьи произведения перепечатываются белогвардейской прессой, ни разу не удосужились выразить свой протест по этому поводу...»[5] Вскоре в близкой к РАПП «Комсомольской правде» (31 августа и 2 сентября) появились кликушествующие отклики

А. Жарова, И. Уткина и др., а в «Литературной газете» (2 сентября) — обращение к общественности секретариата РАПП, перепечатанное журналом «На литературном посту» (№ 16).

На выдвинутые обвинения Замятин ответил письмом в редакцию «Литературной газеты» (датировано 24 сентября, опубликовано 7 октября), где по пунктам излагал историю событий и, ссылаясь на редакционное примечание в пражском журнале, пытался доказать, что публикация в «Воле России» была осуществлена без его участия. Говорится в письме и о травле — о том, как произведению была устроена экзекуция на собраниях московского и ленинградского отделений Всероссийского союза писателей, а также о намерении самого Замятина выйти из этого союза.

От писателя ждали покаяния, признания ошибок, отказа от идей, выраженных в романе. Он же в ответ заявил, что «таких нелепых требований никто не пытался предъявлять к писателю даже в царское время. То, что сделано, что существует, — объявить несуществующим я не могу»[6]. И просил разрешения выехать за границу. Но в этом ему было отказано.

Следует отметить одну характерную черту «дела Пильняка и Замятина»: протесты в печатные органы поступали от литературных объединений, а не от конкретных лиц. Литературные организации всячески стремились продемонстрировать власти свою лояльность.

Отклики на «дело» появились и в эмигрантской прессе: в парижской газете «Последние новости» было опубликовано несколько статей без подписи, датированных августом – сентябрем 1929 года, а также статьи М. Слонима «За что травят Пильняка и Замятина» и А. Даманской «Мы».

Потеряв — из-за травли — возможность печататься, Замятин в июне 1931 года пишет письмо Сталину с просьбой разрешить ему вместе с женой выехать в Европу. Благодаря деятельной помощи М. Горького и личному решению Сталина просьба эта была наконец-то удовлетворена.

Через Ригу и Берлин Замятин добирается до Парижа, где живет с февраля 1932 года, периодически продлевая советский паспорт. В 1934 году он подает прошение принять его в члены Союза писателей — на документе стоит положительная резолюция Сталина.

Е.И. Замятин скончался в 1937 году в Париже и был похоронен в его пригороде Тие (Валь-де-Марн). С конца 1940-х годов публикацией его наследия стала заниматься вдова, Людмила Николаевна Замятина. Благодаря ее усилиям в 1952 году нью-йоркским «Издательством имени Чехова» текст романа был опубликован на русском языке полностью. Но на родине он увидел свет лишь три с половиной десятилетия спустя — в журнале «Знамя» (1988. № 4–5; с предисловием В. Лакшина) и с тех пор неоднократно переиздавался.

Вера Соколова

---

[1] Замятин Е. Автобиография // Собр. соч.: в 5 т. М.: Русская книга, 2003. Т. 2. С. 3.

[2] Шкловский В.Б. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина // Замятин Е. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989. С. 5.

[3] Воронский А. Литературные силуэты. III. Евгений Замятин // Красная новь. 1922. № 6. С. 304–322.

[4] Г. Струве, Р. Янгиров, М. Эльзон.

[5] Волин Б. Недопустимые явления // Литературная газета. 1929. 26 августа. Параллельно: Красная газета. 1929. 26 августа. (Вечерний выпуск.)

[6] Замятин Е. В Управление делами СНК и СТО. Секретариату по приему заявлений и жалоб. Цит. по: Сарнов Б. Сталин и писатели. М.: ЭКСМО, 2010. С. 529.



36

ИВАНОВ Г.В.

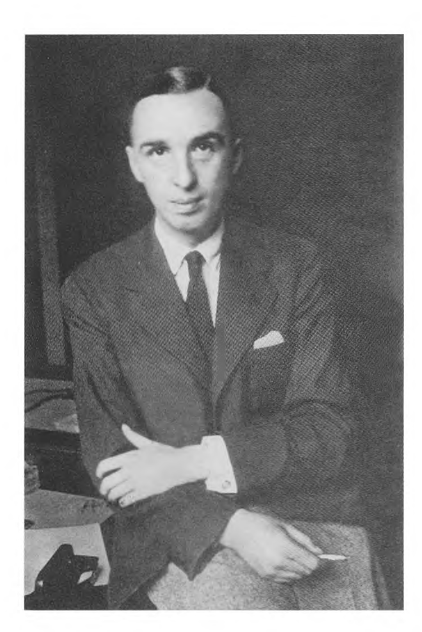
Распад атома

/ Георгий Иванов; Изд. автора. — Париж: Дом книги, 1938. — 86, [2] с.; 16,5х13 см. — [200 экз.]
В шрифтовой трехцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогой Лидии Давыдовне Червинской с полной уверенностью, что она будет здоровой и счастливой, очень нежно целуя руки. Г.И.»[1].

Copyright by Georges Ivanoff, 1937.

Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) родился в имении Пуки́ Ковенской губернии. Учился во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (не окончил). В 1911 году, еще кадетом, издал свою первую поэтическую книгу «Отплытье на о. Цитеру». В 1916 году вместе с Г.В. Адамовичем Г. Иванов возглавил второй «Цех поэтов», а осенью 1920-го вместе с Н.С. Гумилевым, М.Л. Лозинским и Н.А. Оцупом открыл третий «Цех поэтов». В 1920–1921 годах он был секретарем Петроградского отделения Союза поэтов. В 1921-м женился на поэтессе Ирине Одоевцевой. В 1922-м они уехали в Берлин, через год перебрались в Париж, время от времени посещая Ригу, где жил отец Одоевцевой.

В Париже Г. Иванов издал мемуарную книгу «Петербургские зимы» (1928) и на протяжении нескольких лет публиковал в эмигрантской периодике мемуарные очерки «Китайские тени» (1924–1930), вызвавшие у современников немало нареканий в силу многочисленных фактических неточностей и нарочитых вымыслов. М.И. Цветаева охарактеризовала их как «пасквиль»[2]. В 1929–1931 годах Г. Иванов печатает незавершенный роман «Третий Рим»[3]. В 1931-м выходит книга его стихов «Розы» (Париж: Родник), в 1937-м — «Отплытие на остров Цитеру: Избранные стихи. 1916–1936» (Берлин: Петрополис). «Розы» Ю.К. Терапиано назовет



Георгий Иванов. Рига. 1934

«самой лучшей книгой вообще русской поэзии тридцатых годов»[4], а в рецензии на «Отплытие...» известный литературовед П.М. Бицилли напишет: «Вообразим, что человек умер и очнулся в царстве теней. Он снова живет, но живет уже как тень — и вся прежняя жизнь теперь представляется ему тоже нереальной, небывалой и все-таки бывшей и незабываемой... Мне кажется, что это жизнеощущение — сейчас общее не только для нас, эмигрантов, но для всех сознательных людей, переживших смерть Европы, увидевших, что мир вступил в какой-то совершенно новый и, надо сказать, довольно-таки отвратительный "эон", в котором человеку, как он понимался со времен Христа и Марка Аврелия, нет места. Это жизнеощущение — источник всей поэзии Г. Иванова»[5]. В этой рецензии Бицилли дал точное определение не только поэтической, но общей для творчества Г. Иванова ноты, которая в период изгнания начинает вытеснять остальные звуки и обертоны и ощутимо звучит не только в его поэзии, но и в прозе.

«Распад атома» вышел в свет в 1938 году в парижском издательстве «Дом книги» тиражом всего 200 экземпляров и сразу был окружен аурой «заговора молчания». По крайней мере, многие современники расценили судьбу его именно так. «Не удивлюсь, если книга... окажется сегодня голосом вопиющего в пустыне», — пророчествовала З.Н. Гиппиус[6]. «Книга очень современная и для нас, людей тридцатых годов нашего века, бесконечно важная, — писал В.А. Злобин. — Но с ней произошло то же, что с большинством, в эмиграции рожденных, книг. О ней немного поговорили... а затем она, даже не вызвав скандала (спасительного, на что была, вначале, некоторая надежда), провалилась в пустоту, куда неизменно проваливается все, что так или иначе связано с Россией, а может, и вообще с человечеством»[7].

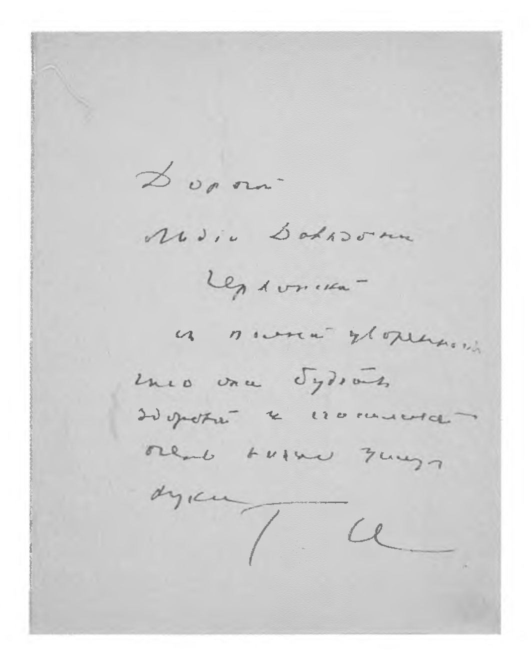
Р.Б. Гуль вспоминал о мифотворчестве тех лет: «В 1938 году в Париже Георгий Иванов выступил с рискованным манифестом на тему умирания современного искусства. Он выпустил "Распад атома". Книга примечательная. Но ее замолчали. Тогда по русскому Парижу ходил не то анекдот, не то литературная быль. Будто бы кто-то, поэтически враждовавший с Ивановым, обратился с письмом к П.Н. Милюкову, редактору самой распространенной ежедневной газеты "Последние новости", с мольбой во имя сохранения русской семьи в зарубежье, во имя всех лучших традиций русской общественности обойти молчанием "Распад атома". Обращение было анонимно. Подпись: "Русская мать". Мольба неизвестного как "русской матери" на П.Н. Милюкова подействовала... Рассылала ли "русская мать" письма в другие редакции — неизвестно. Но заговор молчания создался»[8]. Г.П. Струве вносил некоторое «уточнение» в эту историю:

«Ходили слухи, явно неправдоподобные, о том, что виновником этого "заговора" был В.Ф. Ходасевич, якобы обратившийся к П.Н. Милюкову с письмом от имени анонимной "Русской матери"»[9].

Название книги символично. Открытие, повлекшее за собой переворот в науке и рождение новой физики, у Г. Иванова берет на себя роль всеобъемлющей трагической метафоры. XX век «прошит» распадом атома — от духовного распада и смерти протагониста до крушения целых мирозданий. Постулирование «мирового уродства», мысль об омертвении идеалов и ценностей, которыми еще недавно жило человечество, тема крайней формы одиночества (отверженности, «распыленности») отдельного человека и человечества в целом, пристальное всматривание в самые темные движения души, тошнотворное описание «физиологии» европейского города — опознавательные черты произведения, способного шокировать и современного читателя. Здесь Г. Иванов во многом сближается с традицией французских экзистенциалистов (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Л.-Ф. Селин). Однако Р.Б. Гуль справедливо заметил, что «"двойное зренье" Георгия Иванова, конечно, уходит корнями не в почву сен-жерменской оранжереи французского экзистенциализма, а в граниты императорского Петербурга»[10]. Подмечая укорененность прозы Г. Иванова в самобытной экзистенциальной традиции русской литературы, Гуль назвал целый ряд имен (Л.Н. Андреев, А.А. Блок, В.В. Розанов и др.), из творчества которых вырастала поэтика «Распада атома».

Композиция книги сложна и сама по себе может служить символом разъятия целого, совпадая с центральной идеей произведения. Повествование ведется от лица лирического героя, что придает прозе Г. Иванова исповедальность, играющую многочисленными оттенками — от циничной откровенности до печально-просветленных откровений. Установка на субъективное переживание лирического героя, отсутствие прямых действующих лиц, решающая роль не фабулы, а целого ряда сложно переплетенных лейтмотивов отсылают к поэтическому опыту писателя. Не случайно В.Ф. Ходасевич в рецензии на книгу так определил жанр произведения: «"Распад атома" называют то повестью, то даже романом — оснований для этого нет решительно никаких, кроме неразборчивости в употреблении слов. Построена она на характернейших стихотворно-декламационных приемах, с обычными повторами, рефренами, единоначатиями и т. д. Словом, эта небольшая вещь, которая при обычном наборе должна бы занять около двадцати страниц среднего формата, представляет собою не что иное, как несколько растянувшееся стихотворение в прозе или, если угодно, лирическую поэму в прозе»[11]. Лирическая природа прозы Г. Иванова дает возможность посмотреть на произведение и сквозь призму музыкального формообразования. В «Распаде атома» мы имеем дело с несколькими переплетающимися между собой темами, скрытой полифонией, их воссоединением (контрапунктом) и трагическим финалом — самоубийством героя.

Вышедшая в свет книга вызвала противоречивые отзывы. Однозначно доброжелательно высказалась о ней З.Н. Гиппиус. В докладе на заседании парижского литературно-философского общества «Зеленая лампа», посвященном «Распаду атома» (28 января 1938), она утверждала: «Замечатель-



Авантитул книги «Распад атома» с дарственной надписью автора

но: в книге не открывается *новое*; в ней только по-новому открывается *вечное*. Так, приблизительно, как может и должен бы видеть его, вечное, сегодняшний человек... Я не знаю, кто из писателей мог бы с такой силой показать современное отмиранье литературы, всякого искусства; его тщету, его уже невозможность... вся открытая, словесно-точная манера письма должна встретиться с людскими загородками, через которые книге будет трудно пробираться на белый свет... Но жаль, что загородки не позволят книге дойти до тех, кому было бы нужно ее прочитать, кто мог бы понять ее внутренний смысл. А пригладить ее, причесать, подстричь — невозможно: это значило бы ее уничтожить»[12].

Высокую оценку произведению дал и В.А. Злобин: «Не знаю, отдает ли себе сам Георгий Иванов отчет в религиозно-общественном значении своей книги... Конец личности — конец нашего человеческого мира. Но не этого ли, в сущности, и хочет Георгий Иванов, стремясь, всеми силами, разложить атом человеческой личности?.. Как избежать смерти духовной, спасти человека и человечество от окончательного впадения в умственное и нравственное ничтожество — в этом сейчас вся практическая трудность дела, служить которому современный человек призван»[13].

На статью Злобина, как и на «Распад атома», очень жестко отреагировал вечный оппонент Г. Иванова В.В. Набоков (Сирин) в «разносной» рецензии на сборник «Литературный смотр»: «Автор статьи договаривается до бездн, стараясь установить, почему эта книжица была так скоро забыта. Ему не приходит в голову, что, может быть, так случилось потому, что эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха. И Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову, двум незаурядным поэтам, никогда, никогда не следовало бы баловаться прозой»[14].

Более сдержанно по манере высказывания, но не менее сурово прозвучал приговор В.Ф. Ходасевича: «Несчастие ивановского героя в том, что нет сил поверить в идейную природу его отчаяния. И когда он пытается это отчаяние мотивировать “гражданскими” причинами, мы не верим, что его “гражданственность” — правая, подлинная... И вот тут становится жутковато: как бы не взяли в Москве да не перепечатали бы всю книжечку полностью, как она есть, — с небольшим предисловием на тему о том, как распадается и гниет эмиграция от тоски по “красивой жизни” и по нетрудовому доходу и как эту тоску прикрывает она возвышенным разочарованием в духовных ценностях... Эту опасность Георгий Иванов создал

тем, что своего очень мелкого героя попытался выдвинуть в выразители очень больших тем, будто бы терзающих современное человечество. Его ошибку следовало бы исправить, решительно отмежевавшись от идеологии и психологии “распадающегося атома”»[15].

Р.Б. Гуль, автор одной из лучших статей о творчестве Г. Иванова, созданных в эмиграции, со временем постарается дать взвешенную оценку и новаторской смелости автора, и произведению в целом, и тому резонансу, который последовал после выхода книги в свет, не избежав, однако, «общепринятых» негативных суждений: «Его вина состояла в чрезмерности пощечин общественному вкусу. В стремлении к “эпатажу” Иванов уснастил свою книгу нарочитой и грубой порнографией, соперничая в этом с “Тропиками Рака и Козерога” Генри Миллера. Но “эпатаж” не удался. Вымученная и никчемная порнография, как бумеранг, ударила по автору, убивая то интересное, что в книге есть. А в “Распаде атома” есть прекрасные страницы, написанные с той искренностью сердца, которая всегда сопутствует большой одаренности… И тема умирания искусства расширяется у Георгия Иванова, переходя в страх герметического одиночества современного человека… Вообще, и внутренне и литературно-формально, у Георгия Иванова много общего с “гениальным Васькой” (В.В. Розановым. — *М.В.*). В своем “рекорде одиночества” именно в это звериное тепло (при максимальном цинизме к вопросам человеческим, социальным, политическим) зарывается Георгий Иванов, создавая здесь свою новую музыку»[16].

Со временем воспринятое через призму всего творчества Иванова и мировой литературы XX века произведение получит заслуженно высокую оценку. «Распад атома» стал своеобразным прологом нового периода в творчестве Г. Иванова. Основная тема «невозможности поэзии» была прописана в нем с трагической откровенностью, и после многолетнего поэтического молчания Г. Иванов создаст свои лучшие сборники — «Портрет без сходства» (1950) и «1943–1958. Стихи» (1958).

Мария Васильева

---

[1] Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) — русская поэтесса. С 1920 г. в эмиграции.

[2] Цветаева М.И. История одного посвящения // Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 158.

[3] Современные записки (Париж). 1929. № 39. С. 75–124; № 40. С. 211–237; Числа (Париж). 1930. № 2/3. С. 26–54.

[4] Терапиано Ю. О поэзии Георгия Иванова // Литературный современник: альм. Мюнхен, 1954. С. 241.

[5] Бицилли П. Георгий Иванов. Отплытие на остров Цитеру. Избранные стихи. 1916–1936. Петрополис, 1937 // Современные записки. 1937. № 64. С. 458.

[6] Гиппиус З. Черты любви: (Доклад в о-ве «Зеленая лампа») // Круг: альм. Париж, 1938. № 3. С. 139.

[7] Злобин В. Человек и наши дни // Литературный смотр: Свободный сборник. Париж, 1939. С. 158.

[8] Гуль Р. Георгий Иванов // Новый журнал (Нью-Йорк). 1955. № 42. С. 115–116.

[9] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 316.

[10] Гуль Р. Георгий Иванов. С. 112.

[11] Ходасевич В. Распад атома // Возрождение (Париж). 1938. 28 января.

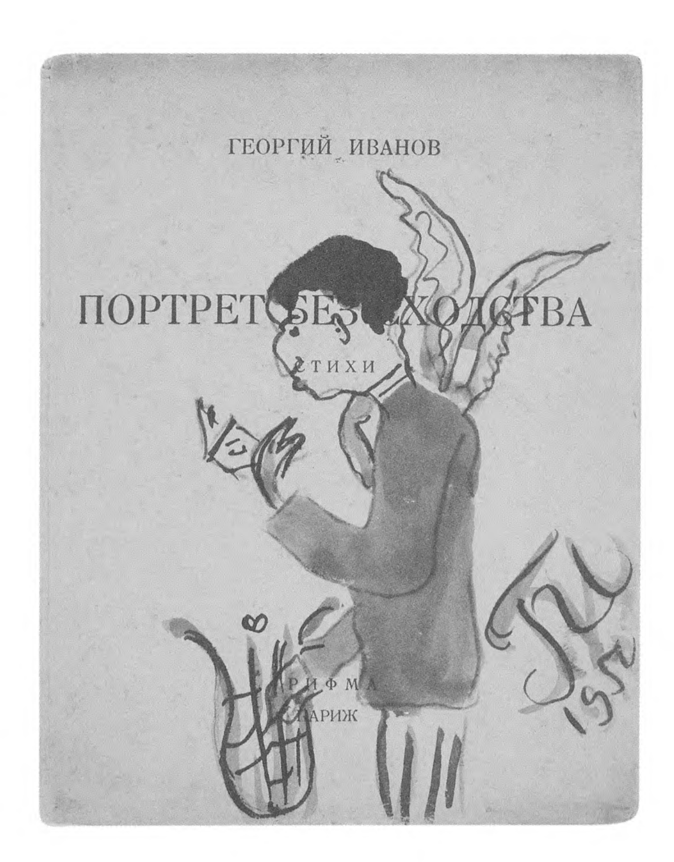
[12] Гиппиус З. «Черты любви»… С. 143.

[13] Злобин В. Человек и наши дни. С. 160.

[14] Сирин В. Литературный смотр: Свободный сборник. Париж, 1939 // Современные записки. 1940. № 70. С. 284.

[15] Ходасевич В. Распад атома.

[16] Гуль Р. Георгий Иванов. С. 116–117.



37

ИВАНОВ Г.В.

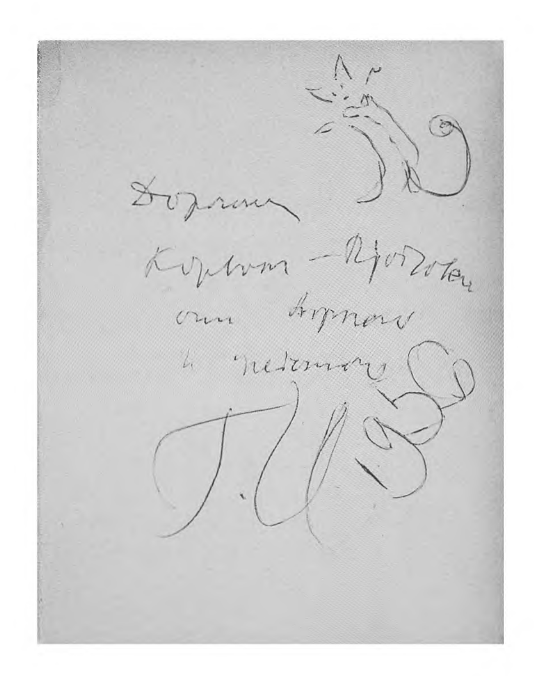
Портрет без сходства: Стихи

/ Георгий Иванов. — Париж: Рифма, 1950. — 43, [3] с.; 16,5x12,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с рисунком автора на первой сторонке обложки (тушь, гуашь, карандаш). В правом нижнем углу монограмма: «ГИ» и дата: «1950». На авантитуле — рисунок автора и автограф: «Дорогом<у> Корвин-Пиотровск<ому> от верного и нежного Г.И. 1956»[1].

РИФМА

30 апреля 1950 года в парижском издательстве «Рифма» вышел поэтический сборник Георгия Иванова «Портрет без сходства», посвященный Ирине Одоевцевой. Прошло тринадцать лет со дня появления его последней поэтической книги — «Отплытие на остров Цитеру», однако назвать годы молчания творческим кризисом можно лишь условно: это — период зарождения новой поэтики в творчестве Г. Иванова. О своем видении нового поэтического задания сам он писал в письме к Р.Б. Гулю: «Видите ли, “музыка” становится все более и более невозможной. Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо? “Аппарат” при мне — берусь в неделю написать точно такие же “розы”. Но, как говорил один василеостровский немец, влюбленный в василеостровскую же панельную девочку, “мозно, мозно, только нельзя”. Затрудняюсь более толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как засох Ходасевич... Для меня по инстинкту — наступил период такой вот. Получается как когда — то средне, то получше. Если долбить в этом направлении — можно додолбиться до вспышки. Остальное — может быть временно — дохлое место»[2].

В «Портрете без сходства» Р.Б. Гуль и увидел решительный уход писателя от принципов поэтики прошлых лет: «…творчество Георгия Иванова претерпевает некое судорожное перерождение. Прежде всего наповал



Автограф автора на авантитуле книги «Портрет без сходства»

убит эстетизм как былой взгляд на мир»[3]. Уход от «декоративности» стиха, совершенная простота и пронзительная откровенность были свойственны лирике Г. Иванова и раньше. Но в «Портрете без сходства» эти черты проявлены особенно отчетливо. В небольшой книге, вобравшей около пятидесяти стихотворений, пространство стиха максимально сжато, и поэтический минимализм, отказ от всего «лишнего» приводит к тому, что каждое стихотворение прошивает читателя насквозь, как игла. «Новый путь антиэстетизма меняет все стихотворное тело поэзии Георгия Иванова, всю ее сущность и плоть, вплоть до поэтического словаря. С сомнительных заезженных высот эта поэзия спускается в неведомость новых низин», — замечал Р.Б. Гуль[4]. Однако огрубление поэтического словаря и внутренней темы, истонченность поэтического рисунка, ирония, вульгаризмы, каламбуры, которыми отмечен «Портрет...», не отменяют музыки стиха, а лишь наполняют новым смыслом, перекраивают на новый лад, превращая сборник в вершину поэзии русской эмиграции. «Когда-то думалось, что Г. Иванов уже достиг предела совершенства в сборнике “Отплытие на остров Цитеру”, — писал в отзыве на книгу Ю. Иваск. — Но это неверно. В “Портрете без сходства”... он “продолжает расти”. Его мастерство все четче, его поэзия все едче»[5].

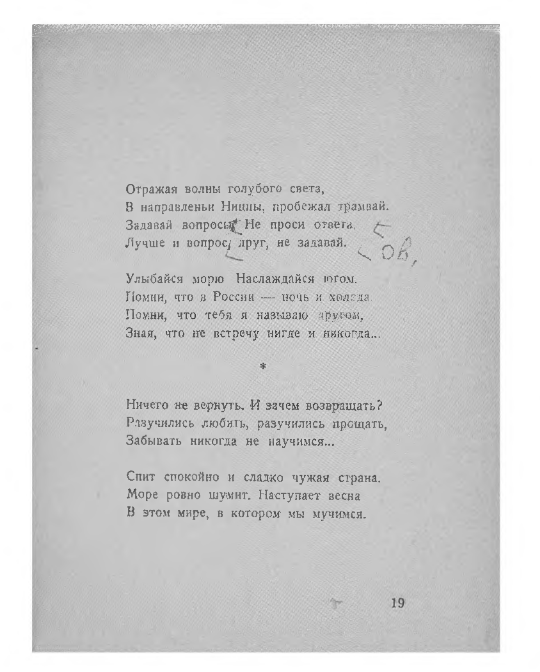
«В “Портрете...” загадочность состоит в том, что простые слова, произносимые то с доверительной, то со сдержанной обыденной интонацией, звучат будто из четвертого измерения. Все кругом такое же, как всегда, но вдруг предстает перед взором в другом освещении», — заметит со временем исследователь творчества поэта В. Крейд[6].

Книга разделена на два стихотворных цикла, казалось бы, очень не похожих друг на друга. Первый — «Портрет без сходства» — поэтическое послание русской эмиграции:

...Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

Так завершается стихотворение, открывающее сборник.

Второй цикл, «Rayon de rayonne», напоминающий то поэзию сюрреализма, то эксперименты обэриутов, открывает совершенно неведомые прежде читателю стороны поэзии Г. Иванова. Между тем два цикла



Отражая волны голубого света,
В направленьи Ниццы, пробежал трамвай.
Задавай вопросы. Не проси ответа.
Лучше и вопрос, друг, не задавай.

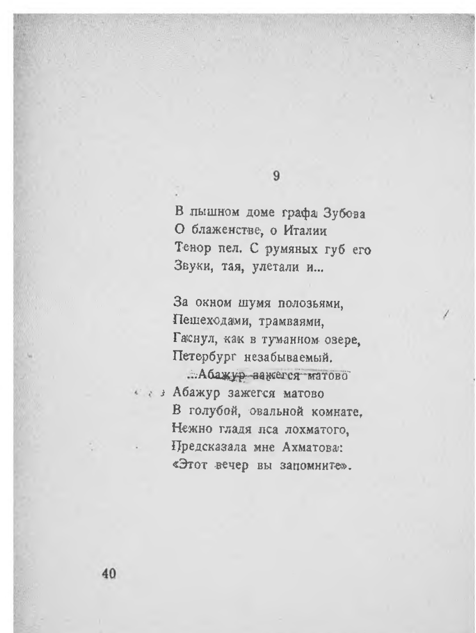
Улыбайся морю. Наслаждайся югом.
Помни, что в России — ночь и холода.
Помни, что тебя я называю другом,
Зная, что не встречу нигде и никогда...

*

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
Забывать никогда не научимся...

Спит спокойно и сладко чужая страна.
Море ровно шумит. Наступает весна
В этом мире, в котором мы мучимся.

19



9

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и...

За окном шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.
...~~Абажур зажегся матово~~
Абажур зажегся матово
В голубой, овальной комнате,
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

40

Страницы книги с авторской правкой

символически пересекаются, и не раз. Так, в стихотворении про некоего Ивано́ва, который время от времени появляется в «Rayon de rayonne», звучит лейтмотив всего «Портрета...»:

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!

«Портрет без сходства» сразу обратил на себя внимание в русском зарубежье и был отмечен многими рецензентами. О нем писали В.А. Смоленский, В.В. Вейдле, Н.Н. Берберова, Ю.П. Иваск и др.

Первый и весьма положительный отзыв прозвучал от Нины Берберовой, что само по себе парадоксально, ведь Берберова не любила Г. Иванова и, конечно, помнила литературные войны, которые он вел некогда с В.Ф. Ходасевичем. Однако это не повлияло на общий доброжелательный тон ее статьи: «Положение Иванова среди современных ему поэтов настолько исключительное, что к книге его невозможно, да и несправедливо было бы подойти с точки зрения личной удачи поэта. На нее необходимо взглянуть как на звено в истории русской поэзии — в частности, ее периода последних шестидесяти лет. Этот период начался в 90-х годах прошлого века, “Портрет без сходства” завершает его; случилось так, что маленькая эта книжка становится последним вздохом почившего гиганта»[7]. Берберова отметила также двухчастный замысел книги: «Хотя сборник и разделен на две части, из которых первая как бы “серьезная”, а вторая — “ирони-

ческая”, обе эти части сливаются друг с другом и дополняют друг друга, придавая цельность книге. Больше того: именно вторая, несмотря на ее кажущуюся легкость, приносит пряность и прелесть в поэзию Иванова. На этом фоне “зловещего юмора” мы яснее видим сущность стихов его и лучше понимаем их магию»[8].

Владимир Смоленский также отметил контраст двух частей сборника: «Первая — лермонтовски печальная, вторая — пропитанная гейневским ироническим ядом»[9]. Процитировав первое стихотворение, он замечал: «Увы! — высокие и печальные слова этой книги не долетают сейчас до берегов Невы. Но этим стихам не страшны никакие “железные занавесы”, переживут они всех своих гонителей. И русские поэты на берегах Невы будут знать их наизусть, будут учиться по ним высокому искусству, и мир, открытый поэзией Георгия Иванова, войдет в мир вечной России»[10].

Как о значительном и завершающем этапе не только творчества Г. Иванова, но целой эпохи русской поэзии писал о «Портрете без сходства» Ю.П. Иваск: «...он последний поэт и не по своему эмигрантскому положению, а по призванию, по самому складу своего дарования, по опыту, отчасти. Конечно, общему (историческому), но прежде всего по личному (неповторимому)»[11]. Критик предпринял обстоятельный анализ поэтики Г. Иванова в целом: «Как будто его область, т. н. “чистая поэзия”. Но, говоря о нем, нельзя не переступить границ искусства. Нельзя обойтись без “мифа”. “Миф” этот прост. Была Россия — петербургская империя. Или даже — был один Петербург. Еще была музыка — блоковская поэзия гибели (Петербурга) и возрождения (России, даже всего человечества) через гибель. И эта музыка обманула: все погибло и ничего не возродилось... Что же осталось? Остался эмигрант (что мало интересно). И остался поэт — и не с одними только воспоминаниями о Петербурге, отзвуками Блока. У Г. Иванова большая тема, для которой история несущественна. Ведь реальность конца, пустоты всегда есть — в любой, самой благополучной обстановке, в любую т. н. счастливую эпоху. И эту реальность он показывает, обнажает»[12].

Специфически отреагировал на сборник журнал «Возрождение» — статьей И.М. Хераскова с характерным названием «Певец эмигрантского безвременья». Начав с неуклюжего реверанса («Говорить о поэтических достоинствах нового сборника стихов Георгия Иванова — заслуженного ветерана современной русской поэзии — разумеется, не приходится»), автор статьи выдал целый ряд бескрылых сентенций: «Перед нами поэт безвременья. Каждому безвременью свое время и своя моральная стать, но основное у всех них одно — безверие, безволие, “капитуляция без условий”»[13], и даже позволил себе «смелый» выпад: «Хочется невольно сказать Г. Иванову его же собственными словами:

...Поэтом долго ли родиться?
Вот сумей поэтом умереть!..

Сумеет ли Г. Иванов?»[14]

Пожалуй, самый проникновенный отзыв о поздней лирике Г. Иванова принадлежит Р.Б. Гулю, издавшему его посмертный сборник «1943–1958.

Стихи» и поместившему в качестве предисловия свою статью 1955 года, где дан глубокий анализ творческого пути поэта. Заканчивалась она так: «Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что во весь рост Георгий Иванов встал только за последние десять лет. Если бы он не дал стихов из "Портрета без сходства" и в особенности тех, что еще не вошли в сборники, а появились только в повременной печати (главным образом в нашем журнале), то своеобразного Георгия Иванова, с лица необщим выраженьем, у нас не было бы. Химический состав поэзии Иванова кристаллизовался только теперь… Творческий путь Георгия Иванова достаточно своеобразен. Уже будучи законченным мастером, он сжег почти все, "чему поклонялся", и пошел путем Новых исканий… Прекрасные стихи Георгия Иванова о России, за тридевять земель уходящие от эмигрантского штампа, как бы умышленно бросают читателя совсем на другой берег. На берег, по которому в своей музыкальной слепоте идет поэт. "Это только синий ладан. — Это только сон во сне". — "Не обманывают только сны. — Сон всегда освобожденье". Но из этого же музыкального сна, вместе почти с проклятиями "Пушкинской России, которая нас обманула", иногда раздается и иная, теплая мелодия беспомощной любви к стране, где рос и начал жить Георгий Иванов. "Если плещется где-то Нева, — Если к ней долетают слова, — Это вам говорю из Парижа я — То, что сам понимаю едва"»[15].

Мария Васильева

---

[1] Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891–1966) — поэт, прозаик, драматург. В качестве офицера-артиллериста принимал участие в Первой мировой войне. В годы Гражданской войны находился в рядах Белой армии. С 1920 г. в эмиграции. Жил в Берлине, затем — в Париже. Во время Второй мировой войны — участник французского Сопротивления. В конце 1940-х гг. переехал в США. Тесно сотрудничал с «Новым журналом».

[2] Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля // Новый журнал (Нью-Йорк). 1980. № 140. С. 191.

[3] Гуль Р. Георгий Иванов // Новый журнал. 1955. № 42. С. 117.

[4] Там же. С. 118.

[5] Иваск Ю. Рифма: (Новые сборники стихов) // Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 1. С. 195.

[6] Крейд В. Георгий Иванов М.: Молодая гвардия, 2007. С. 360.

[7] Берберова Н. О Георгии Иванове // Русская мысль (Париж). 1950. 7 июля.

[8] Там же.

[9] Смоленский В. «Портрет без сходства» Г. Иванова // Возрождение (Париж). 1954. № 32. С. 141.

[10] Там же. С. 139.

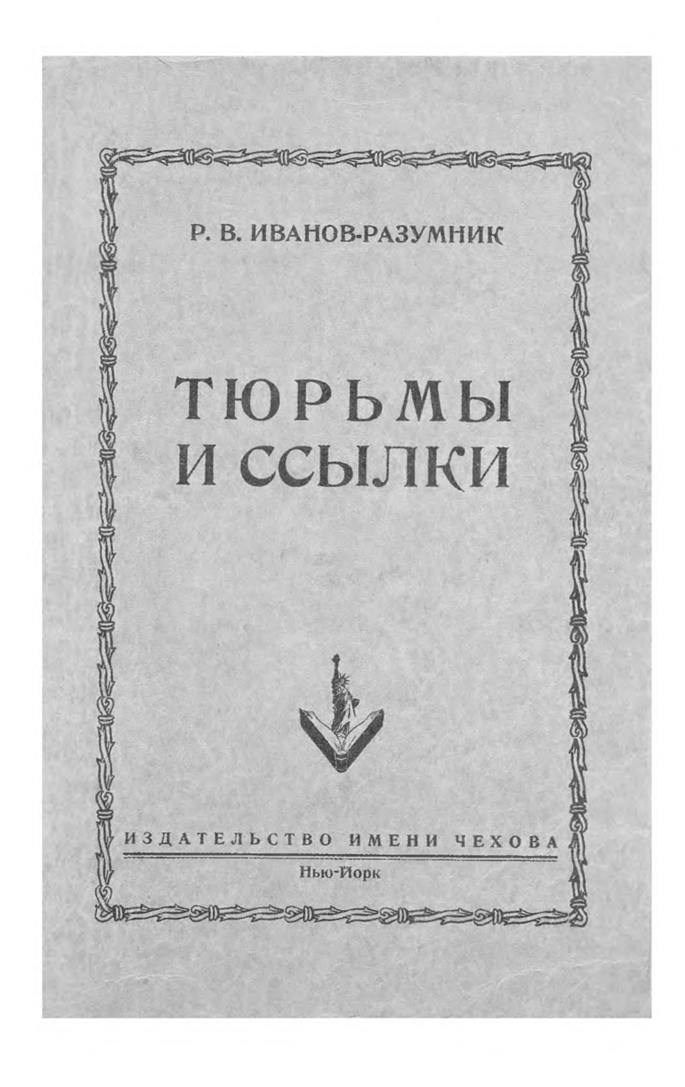
[11] Иваск Ю. Рифма: (Новые сборники стихов). С. 195–196.

[12] Там же. С. 196.

[13] Херасков Ив. Певец эмигрантского безвременья // Возрождение. 1951. № 13. С. 176.

[14] Там же. С. 177.

[15] Гуль Р. Георгий Иванов. С. 112–113, 122–123.



38

ИВАНОВ-РАЗУМНИК Р.В.

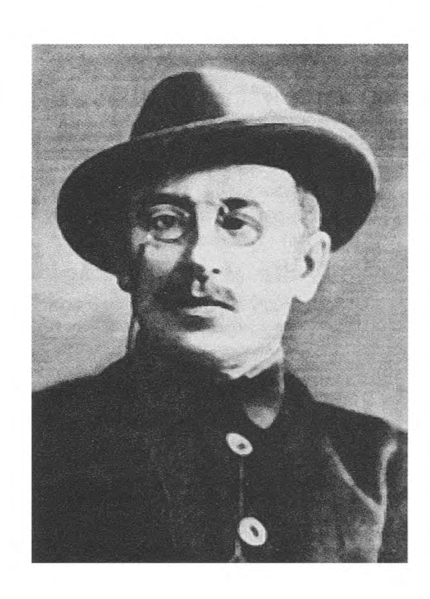
Тюрьмы и ссылки

/ Разумник Иванов-Разумник. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 414 с.; 22x14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Разумник Васильевич Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) родился 12 декабря 1878 года в Тифлисе, в семье железнодорожного служащего. По окончании гимназии он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, где посещал также лекции и на историко-филологическом факультете. Активно участвовал в студенческом движении. Дважды арестовывался, в 1902 году был исключен из университета и на два года выслан в Симферополь. В 1904-м напечатал в журнале «Русская мысль» свою первую статью — о Н.К. Михайловском, после чего стал публиковаться в «Русском богатстве», «Русских ведомостях» и других либеральных изданиях. В 1906 году увидела свет его книга «История русской общественной мысли», которая стала пользоваться большой популярностью.

В 1910-е годы Разумник Васильевич заведовал литературными отделами в журналах и газетах, издаваемых партией эсеров: «Заветы»,



Разумник Иванов-Разумник. Ленинград (?). 1930–1940-е годы

«Дело народа», «Знамя труда», «Наш путь». В 1917–1918 годах редактировал вместе с Андреем Белым литературно-политический сборник «Скифы». Работал редактором научно-теоретической секции Театрального отделения Наркомпроса.

В феврале 1919 года Иванов-Разумник был арестован Петроградской ЧК по обвинению в причастности к несуществующему заговору левых эсеров, но в результате хлопот В.Э. Мейерхольда спустя две недели освобожден. В 1919–1924 годах он — один из руководителей (товарищ председателя) Вольной философской ассоциации, созданной в целях «исследования и разработки в духе философии и социализма вопросов культурного творчества». В 1920–1933 годах работал по редактированию и комментированию сочинений Н.К. Михайловского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.А. Блока.

В ночь со 2 на 3 февраля 1933 года Разумник Васильевич был арестован по обвинению «в создании идейного центра народничества» (ст. 58: «антисоветская агитация и пропаганда»). В ноябре того же года, после кратковременной ссылки в Новосибирск, переведен в Саратов. Работы там он найти не мог, да особенно и не искал: материальная сторона жизни была обеспечена благодаря щедрой денежной помощи друга, писателя Михаила Михайловича Пришвина. Имея свободное время, Разумник Васильевич стал понемногу записывать «житейские и литературные воспоминания», заполнил две толстые тетради, доведя повествование до начала 1900-х годов — бурных лет университетской жизни. Начал работать и над «Юбилеем» — центральной главой позднейших «Тюрем и ссылок»: по свежей памяти описал все, что случилось с ним в тюрьме, сфабрикованное «дело», по которому угодил в ссылку, допросы следователей, тюремный быт, надеясь, что рукопись сохранится и хотя бы через десятки лет «узнают изумленные внуки, как в старину живали деды». Разумеется, он отдавал себе отчет: если при обыске «Юбилей» обнаружат, автору будет грозить уже не ссылка, а тюрьма или концлагерь.

По окончании срока ссылки в сентябре 1936 года Разумник Васильевич благополучно увез свои рукописи на новое место жительства, в Каширу[1]. Наступали «ежовские времена», и держать «Юбилей» у себя дома становилось опасно. В запечатанном конверте Иванов-Разумник передал рукопись на хранение Пришвину, не сообщив другу о ее содержании. Пришвин конверт взял, но времена были такие, что и он не рискнул держать рукопись дома. Взяв большую банку из-под консервов, он уложил в нее конверт с рукописью и ночью закопал в своем саду[2].

В сентябре 1937-го, в самый разгар террора, Иванов-Разумник получил от Пришвина письмо с просьбой приехать и забрать «экземпляр Чехова»

(под таким шифром проходила в их переписке консервная банка с рукописью). Выкопав ее из «годовой могилы», Пришвин дал понять автору, что хорошо бы «некоторое время» им вообще не общаться — ни лично, ни письменно. Разумник Васильевич вернулся с «Юбилеем» в Каширу. Благоразумие требовало немедленно рукопись уничтожить. Но автор понадеялся на «авось». В его комнатке стоял — вместо буфета — большой деревянный ящик: вот между двумя его верхними досками он и втиснул «Юбилей», прикрыв сверху скатертью.

29 сентября к Иванову-Разумнику нагрянули агенты из каширского НКВД. Был произведен обыск. Забрали все рукописи, другие бумаги, а «Юбилея» между досками «буфета» не заметили. Тем не менее Иванова-Разумника арестовали по обвинению в «контрреволюционной деятельности», и начался новый круг его тюремных мытарств (прошел через Лубянскую, Бутырскую, Таганскую тюрьмы). Только в июне 1939-го, в эпоху «сравнительного террорного затишья», его выпустили на свободу — в связи с прекращением дела и ввиду «отсутствия состава преступления»[3].

Когда после ареста Разумника Васильевича его жена, Варвара Николаевна, приехала в Каширу за вещами мужа, она, разбирая «буфет», случайно обнаружила между досками тетрадь «Юбилея». Так рукопись была спасена.

Выйдя из тюрьмы, Иванов-Разумник стал дополнять «Юбилей» новыми главами, описывая тюремную эпопею 1937–1939 годов. К началу Великой Отечественной войны закончить работу он не успел. Находясь в постоянном ожидании нового ареста, Разумник Васильевич держал «Юбилей» запрятанным среди десятка тысяч томов своей библиотеки. В сентябре 1941-го город Пушкин, где жил мемуарист, был оккупирован немецкими войсками. Немцы разгромили библиотеку писателя, но «Юбилей», по счастью, уцелел и тут[4]. С февраля 1942 по август 1943 года Разумник Васильевич и его жена находились в заключении в немецких лагерях: в городах Кониц и Штутгарт. Работать там над мемуарами было немыслимо. В августе 1943-го супруги вышли на свободу и поселились в Литве, в имении Данилишки, у двоюродного племянника Иванова-Разумника по материнской линии Георгия Платоновича Янковского (Янкаускаса; 1904–1981). Там в течение восьми месяцев Разумник Васильевич успел дописать и обработать три книги, привезенные в черновиках из России, — «Писательские судьбы», «Холодные наблюдения» и «Оправдание человека». А окончательно доработать «Юбилей» опять не получилось.

С марта 1945 года Разумники жили в северной части Германии, в городке Рендсбург на берегу Кильского канала. После смерти жены, последовавшей 18 марта 1946 года, Разумник Васильевич вновь переехал к своему племяннику Георгию Янковскому, который теперь жил в Мюнхене, в американской зоне оккупации поверженной Германии. Здесь писатель оказался под «дамокловым мечом репатриации» в Советский Союз и усиленно хлопотал о визе для выезда в США[5]. В Мюнхене он вернулся к прерванной работе над воспоминаниями, которые наконец-то закончил и посвятил памяти супруги.

Скончался Иванов-Разумник от инсульта 9 июля 1946 года. Похоронен на мюнхенском «Лесном кладбище» (Waldfriedhof). В ноябре 1964-го племянник писателя Г.П. Янковский написал «Заметку о последующей судьбе рукописей Иванова-Разумника после его смерти». Он рассказал, что осенью 1946 года были подготовлены две машинописные копии оригинальной рукописи. Одна из них была послана родственнику автора, проживавшему тогда в Канаде. В 1948 году семья Янковского покинула Германию и перебралась в США. Вторая копия рукописи Иванова-Разумника находилась на дне чемодана, хранившегося в корабельном трюме. Оригинальную рукопись Георгий Платонович вез с собой в маленьком чемоданчике. «Когда мы сошли на берег и наконец-таки оказались в США, — вспоминал Янковский, — рукопись из моего чемоданчика пропала без вести — как она исчезла, я не имею понятия. Кража была совершена очень искусно. Тем не менее машинописная копия в трюме доплыла невредимой. Четыре года спустя она была отправлена в типографию… Итак, рукопись пережила деревянную могилу в "буфете", захоронение в консервной банке, войну, мир, кражу, корабельный трюм — пережила, как автор предсказывал, чтобы увидеть свет литературного мира и рассказать людям, как в старые времена их деды наслаждались жизнью»[6].

Книга воспоминаний Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки» была впервые опубликована нью-йоркским «Издательством имени Чехова» в 1953 году. Считается, что она была выпущена благодаря племяннику писателя Г.П. Янковскому. Однако на самом деле труд Иванова-Разумника увидел свет благодаря самоотверженным усилиям публициста и общественного деятеля Владимира Михайловича Зензинова (1880–1953), знавшего Разумника Васильевича еще с 1917 года по работе в эсеровской газете «Дело народа». В 1965 году книга вышла в переводе на английский язык[7].

В России полный текст воспоминаний Иванова-Разумника был впервые опубликован В.Г. Белоусом в петербургском журнале «Мера» (1994. № 1, 2, 4; 1995. № 1).

В предисловии к первому изданию «Тюрем и ссылок» Георгий Янковский писал, что в книге с неотразимой убедительностью показана общая картина полного и систематического уничтожения человеческой личности, воспроизведен тот «воздух» советской действительности, в котором человек задыхается и за пределами тюрьмы. Янковский замечал: для того чтобы создать такую книгу, надо было обладать необычайной зоркостью, присутствием духа и глубокой человечностью Иванова-Разумника[8]. Эсер-публицист Виктор Михайлович Чернов, говоря о заслугах Иванова-Разумника, дал высокую оценку его «эмигрантским годам»: «Вырвавшись из советских тисков и чувствуя приближение смерти, он жил одной мыслью, одним желанием: посвятить весь остаток своих сил изображению всего того, что он видел. И, догорая физически, он дни и ночи писал, в Литве ли, или в Германии, за колючей проволокой лагеря, эти воспоминания, о которых воистину можно сказать, что они написаны кровью сердца и соком нервов человека, проведшего 30 лет "в немой борьбе" с самым бесчеловечным режимом и получившего наконец, перед смертью, возможность вынести на свет дня то, что творится под сенью этого режима»[9].

В рецензии Бориса Филиппова отмечалось: «Книга Иванова-Разумника писалась клочками, писалась более десяти лет, рукопись пряталась в СССР, где ее держать было опасно, продолжалась в немецком лагере Кониц, все это урывками, иногда — по горячим следам вчерашних истязаний, иной раз — под наплывом уже иных, немецких лагерных и военных переживаний. Но, может быть, поэтому, благодаря этой встревоженности и неровности изложения, благодаря тому, что в этой книге Иванов-Разумник сам — герой страстного и взволнованного рассказа, — может быть, благодаря этому, его книга и производит такое потрясающее впечатление. А какой клад эта книга для исследователей литературы советского периода!.. Прекрасны портретные зарисовки населения ленинградских и московских камер следственных тюрем…»[10]

По мнению переводчика «Тюрем и ссылок» на английский язык Питера Сквайра, воспоминания Иванова-Разумника являются «незаурядными», так как передают тюремные переживания на протяжении многих лет и в разнообразных условиях: «В течение долгих сидений за решеткой в различных тюрьмах Иванову-Разумнику приходилось сталкиваться с сотнями братьев-заключенных, и этот "калейдоскоп" индивидуальных человеческих трагедий сообщает его воспоминаниям всепоглощающий интерес»[11].

Рецензии на изданные на английским языке в переводе Сквайра мемуары Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки» появились почти на всех западноевропейских языках, и почти все рецензенты отозвались о книге положительно. Заголовки к некоторым рецензиям были забавны, вроде «Жизнь у Тетушки» — намек на шутку Иванова-Разумника о «трехбуквенной тетке» — ГПУ. Большинство рецензий было написано по-английски.

Критики нашли Иванова-Разумника честным, храбрым, порядочным, разумным и гуманным автором. Но талантливым ли писателем? Конечно, беллетристом как таковым он не был, чем объясняется оценка Александра Солженицына: «Вообще в книге Иванова-Разумника много поверхностного, личностного, утомительно-однообразны шутки. Но быт камер 1937–1938 года там хорошо описан»[12].

Но вот что сказал о нем Роберт Конквест в своей книге «Большой террор»: «Среди жертв, которые добрались до Запада и опубликовали свои переживания, редки мужчины и женщины, способные тонко наблюдать, ярко описывать пройденное, и надежные в отношении к тому, чему были свидетелями. Нам крайне повезло, что в нашем распоряжении есть воспоминания ведущего русского критика Иванова-Разумника»[13].

Михаил Горинов, мл.

---

[1] См.: Иванов-Разумник Р.В. Тюрьмы и ссылки. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 11–12.

[2] См.: Пришвин М.М. «Жизнь стала веселей...»: Из дневника 1936 г. // Октябрь. 1993. № 10. С. 14.

[3] Иванов-Разумник Р.В. Тюрьмы и ссылки. С. 13–14.

[4] См.: Белоус В.Г. Испытание духовным максимализмом: О мировоззрении и судьбе Р.В. Иванова-Разумника // Литературное обозрение. 1993. № 5. С. 35.

[5] См.: Там же. С. 35.

[6] Jankovsky G. Note on the subsequent fate of I-R's manuscript // The Memoirs of Ivanov-Razumnik / transl. by P.S. Squire. L.: Oxford univ. press, 1965. P. XXIII.

[7] The Memoirs of Ivanov-Razumnik / transl. by P.S. Squire. L.: Oxford univ. press, 1965.

[8] Янковский Г. [Предисловие] // Иванов-Разумник Р.В. Тюрьмы и ссылки. С. 9.

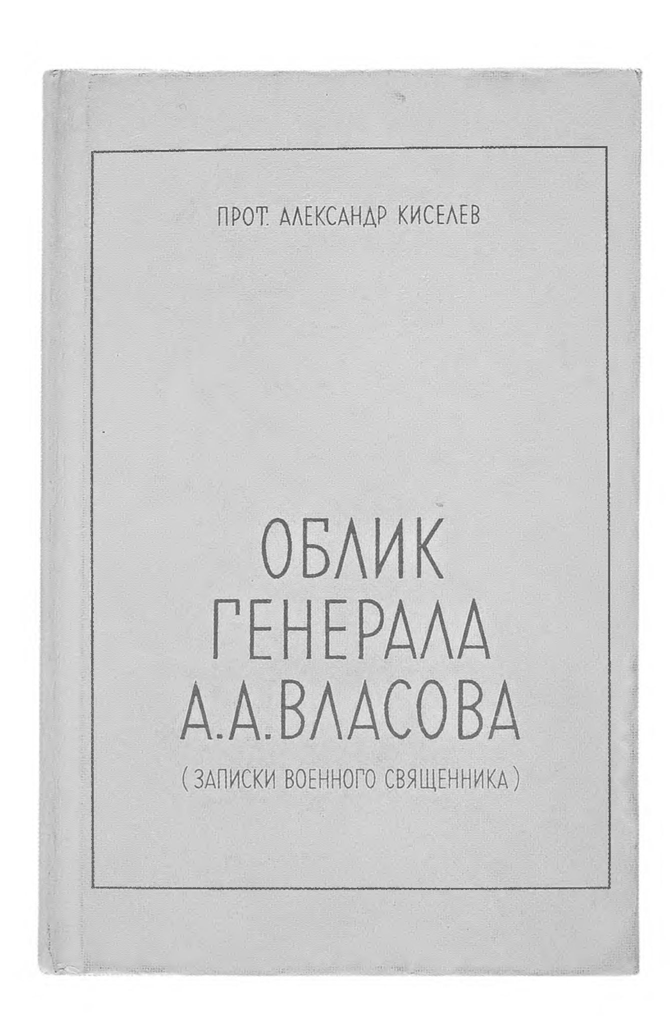
[9] Чернов В.М. Иванов-Разумник // Социалистический вестник. 1949. № 8. С. 159.

[10] Новый журнал (Нью-Йорк). 1953. № 33. С. 306.

[11] Сквайр П. Воспоминания переводчика // Мера (СПб.). 1994. № 4. С. 162.

[12] Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. P.: YMCA-Press, 1973. Т. 1. С. 135.

[13] Conquest R. The Great Terror. L., 1968. P. 568.



39

КИСЕЛЕВ А.Н., прот.

Облик генерала А.А. Власова: (Записки военного священника)

/ Прот. Александр Киселев. — N. Y.: Путь жизни, [1975?]. — 205, [3] с.: ил., портр.; 20,5x13,5 см.
В шрифтовом двухцветном издательском картонаже.



Протопресвитер Александр Киселев родился 7 октября 1909 года в Тверской губернии, в Каменке — имении своих бабушки и дедушки. Отец его, Николай Александрович Киселев, был государственным служащим, мать — Анастасия Владимировна, урожденная княжна Шаховская. В 1918 году Киселевы бежали в Эстонию (отец, как родившийся в городе Дерпте, получил возможность выехать в эту страну).

Здесь Александр учился в гимназии, принимал участие в Русском студенческом христианском движении (РСХД). По окончании Рижской семинарии он предполагал продолжить учебу в Париже, в Свято-Сергиевском православном богословском институте, но приехавший с визитом в Эстонию молодой иеромонах Иоанн (князь Шаховской) отговорил его от этого. Александр был на лекции о. Иоанна, которая произвела на юношу очень сильное впечатление, и когда его попросили отвезти на своей машине будущего владыку к месту ночлега, с радостью согласился. По дороге поделился своими планами. В ответ услышал: «Нет, сейчас не такое

время, сейчас самое главное — быть священником и делать то дело, которое священник делать должен». В результате вместо поездки в Париж в 1933 году А. Киселев был рукоположен митрополитом Александром (Паулусом) во диакона, а затем во иерея.

Служил он в нескольких приходах. Сначала — в Нарве, потом — в Свято-Никольской церкви в Таллине, где диаконом был Михаил Ридигер, тоже член РСХД. Там о. Александру прислуживал в алтаре сын диакона, Алексей Ридигер — будущий патриарх Алексий II.

После аннексии Эстонии советскими войсками о. Александр, как потомок прибалтийских немцев, уехал в 1940 году с семьей в Германию. Служил во Владимирском соборе Берлина, где настоятелем был о. Иоанн (Шаховской), а также в Брюсселе и Мюнзингене. Во время войны он активно помогал в немецких лагерях советским военнопленным, участвовал в организации Русской освободительной армии (власовского движения), окормлял ее солдат. Хорошо знал о. Александр и самого генерала А.А. Власова, которого понял и принял; Русскую освободительную армию он считал закономерным продолжением той борьбы русского народа против коммунизма, что велась в годы Гражданской войны. Вопреки распространенному заблуждению, духовником командующего РОА он не был.

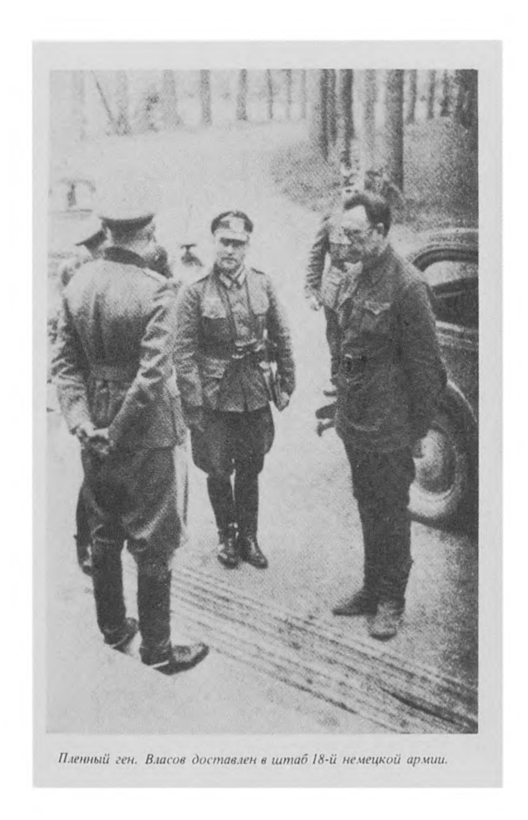
Как довоенного эмигранта о. Александра не выдали советским властям. В 1949 году он переехал в США, служил в Нью-Йорке, где основал храм Преподобного Серафима Саровского и фонд его же имени, занимавшийся сохранением русского культурного наследия.

После того как Американская митрополия получила автокефалию и в значительной мере утратила свои русские корни, о. Александр перешел в Русскую зарубежную православную церковь. В 1978 году он основал и возглавил журнал «Русское возрождение» (впоследствии ставший альманахом). В 1989-м начался конфликт о. Александра с главой РПЦЗ митрополитом Виталием (Устиновым) — из-за расхождений в отношении к Московскому патриархату, в частности открытию зарубежнических приходов на территории СССР. В результате о. Александр вернулся в клир Православной Церкви в Америке.

В 1991 году он навсегда переехал в Россию. Жил в московском Донском монастыре в крайне скромной обстановке. Там же служил по благословению патриарха Алексия II, с которым поддерживал самую теплую дружбу. В 1998 году передал в дар домовому храму мученицы Татианы при МГУ иконостас своей Серафимовской церкви.

Скончался о. Александр в Москве 2 октября 2001 года. Похоронен на Донском кладбище.

Его книга «Облик генерала А.А. Власова» — важный источник по истории Русского освободительного движения (РОД) в годы Второй мировой войны, в связи с чем пользуется неизменным вниманием историков и литераторов, занимающихся данной темой. Это не только биография генерала А.А. Власова, но и очерк истории движения. Особое значение исследованию о. Александра, безусловно, придает факт его близкого знакомства с «главными действующими лицами»: весной 1945 года он был духовником штаба Вооруженных сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР)[1].



Пленный ген. Власов доставлен в штаб 18-й немецкой армии.



"Европа-Хаус". Эстрада, где сидят члены КОНР'а.

Иллюстрации из книги «Облик генерала А.А. Власова»

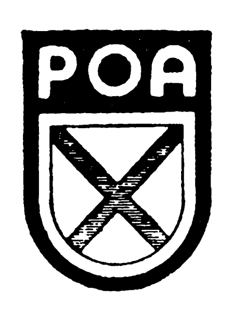
Проблема коллаборационизма в годы Второй мировой войны — тема сложная и пока не поддающаяся беспристрастному исследованию. Тем более не приходится ждать такого анализа от человека, связавшего свою судьбу с делом, проигравшим и вряд ли имевшим шансы на победу, — с делом КОНР. Тем не менее собранные в книге свидетельства, как личные, так и почерпнутые из других источников, имеют безусловную ценность.

В ходе войны сотни тысяч советских граждан, оказавшись вне контроля советской идеологической машины, сочли для себя возможным стать на сторону противника. Разумеется, обвинять всех поголовно в «шкурничестве» — очевидное упрощение проблемы. Значит, раз такое стало возможным, что-то неладно было в Стране Советов. Как знать, не будь нацистское руководство Германии столь зациклено на своих расовых идеях, возможно, и удалось бы создать альтернативу сталинскому СССР.

Книга о. Александра рассказывает не столько о том, чего реально добились Власов и его окружение, сколько о том, чего, собственно, они хотели достичь. При этом автор явно идеализирует представителей РОД, особенно генерала Власова, под обаянием личности которого он находился.

Итак, о чем же, собственно, речь в книге одного из первых священнослужителей, вошедших во власовское окружение?[2]

В начале книги дается обзор условий, в которых были вынуждены действовать власовцы, стремившиеся для возрождения Национальной России создать «третью силу» — силу опасную и не приемлемую ни для



Шеврон Русской освободительной армии

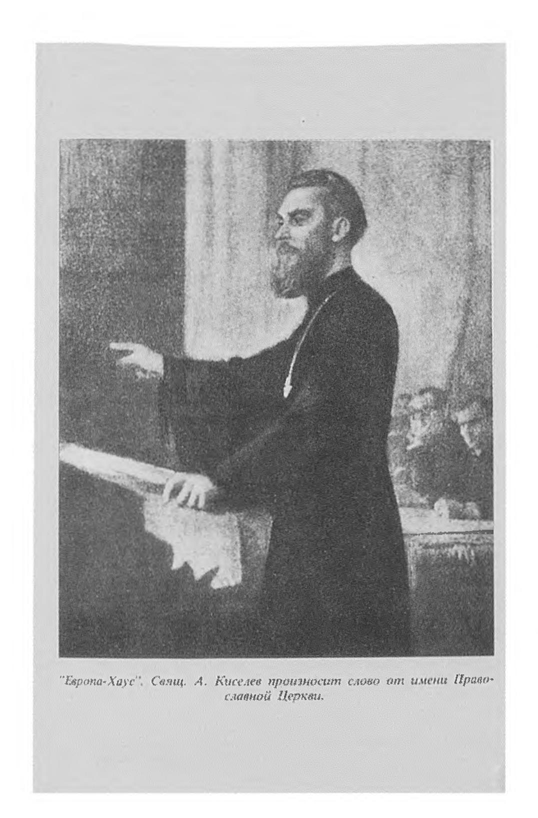
сталинского СССР, ни для гитлеровской Германии. Любопытно, что в вермахте своими союзниками власовцы считали оппозиционные круги — тех, кто будет стоять за покушением на фюрера 20 июля 1944 года; только советский опыт помог Власову и его окружению «остаться на плаву» после провала заговора. Более того, принявший на себя командование Армией резерва после этих событий рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был вынужден пойти на личные переговоры с плененным советским генералом, так как «восточные формирования» стали играть в обескровленной Германии весьма заметную роль.

Далее описаны эпизоды из биографии А.А. Власова. По мнению о. Александра, не бросивший своих людей в мае 1945 года «ген. Власов стал русским национальным героем». Опираясь во многом на свои личные воспоминания и впечатления, о. Александр пытается отобразить внутренний мир генерала. Особого внимания заслуживает свидетельство о его громадном личном обаянии, о том, что он умел найти общий язык едва ли не с каждым собеседником. Годы, проведенные в семинарии, и крепкая память помогли ему, члену ВКП(б) с 1930 года[3], предстать перед русским духовенством убежденным православным христианином. Если даже все было и не столь благостно, как это представляет читателю о. Александр, поражает степень мимикрии, в которой был вынужден существовать русский человек в первые советские десятилетия, чтобы элементарно выжить, не говоря уж о том, чтобы добиться карьерного роста.

Одна из глав книги посвящена ближайшим сотрудникам А.А. Власова по созданию ВС КОНР. В тексте приводятся краткие биографические заметки о генералах Ф.И. Трухине, В.Ф. Малышкине, Г.Н. Жиленкове, М.А. Меандрове. «За бортом» повествования остались собственно строевые командиры РОА, но о «первых лицах» власовского штаба читатель получает яркое представление. Интересно отметить, что главной опорой и ближайшими сотрудниками Власова были именно представители комсостава РККА — эмигрантов первой волны, белых офицеров, в этом тесном кругу не было, что, помимо прочего, является дополнительным свидетельством тому, что КОНР и его Вооруженные силы были порождением именно подсоветских граждан и никоим образом не являлись «белогвардейской авантюрой». Так, например, главный «специалист по международным контактам» Г.Н. Жиленков, как пишет о. А. Киселев, «вышел из среды беспризорников и поднялся до высокого чина генерал-лейтенанта. Такой путь свидетельствует о немалой одаренности человека». Правда, генерал Жиленков — «власовский». И беспризорником не был. Был — сиротой (но это не одно и то же). В РККА же он был бригадным комиссаром, а до бригадного комиссара — 2-м секретарем Ростокинского райкома ВКП(б) города Москвы[4]. Чтобы уцелеть в столичной партноменклатуре в годы Большого террора, действительно нужна была особая одаренность. Но только не одаренность офицера.

Касается автор и такого сложного для исследования вопроса, как попытки установления связи руководства РОА с западными союзника-

ми. Власовцы были уверены, что сразу после крушения Третьего рейха неизбежно военное столкновение между западными союзниками и СССР. В новой антисталинской войне они видели в РОА естественного союзника Запада, подчеркивая, что сражаются с коммунизмом, а не воюют на стороне нацистской Германии. Однако все попытки, предпринимавшиеся ими в 1945 году для налаживания контактов с англо-американцами (главную роль тут играл Ю.С. Жеребков, ездивший в Швейцарию для установления связей через Международный Красный Крест), ни к чему не привели. Портить отношения с «дядюшкой Джо» из-за каких-то русских, переодетых в немецкую форму, западные демократии не собирались.



Протоирей Александр Киселев обращается с приветственным словом к деятелям КОНР в «Европа-Хаус». Берлин. 18 ноября 1944. Иллюстрация из книги «Облик генерала А.А. Власова»

Ярко показаны в книге и последние месяцы Второй мировой войны, когда загнанное в угол нацистское руководство наконец-то решилось предоставить русским некоторую «свободу рук». 14 ноября 1944 года был официально организован Комитет освобождения народов России и провозглашен его манифест, ставший основным документом РОД. 18 ноября 1944 года в зале «Европа-Хаус» в Берлине с приветственным словом к деятелям КОНР обратился от лица Православной Церкви протоиерей Александр Киселев, открыто заявивший: «Мы не наемники Германии и быть ими не собираемся». Манифест вызвал всплеск энтузиазма у многих русских людей, оказавшихся в конце войны в Германии: сотнями потекли прошения о приеме в РОА. Однако нацистское партийное руководство не торопилось: еще 16 сентября 1944 года Гиммлер сообщил А.А. Власову, что тот может считать себя главнокомандующим армией, но официально главнокомандующим РОА он был объявлен лишь 28 января 1945 года, когда дела нацистов стали совсем плохи.

В заключение в книге разбирается вопрос о возможности «измены» как таковой. «Отцы-основатели» США изменили британской короне, заговорщики 20 июля 1944 года почитаются теперь как немецкие патриоты… По мнению о. Александра Киселева, место генерала Власова и его единомышленников — в этом ряду.

Андрей Марыняк

[1] См.: Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова. 1944–1945. М.: Посев, 2009. С. 962.

[2] Протоиерей А. Киселев был одним из первых священников, начавших служить и в воинских частях РОА. См. об этом: Константинов Д.В. Записки военного священника. [Б.м. (Канада)], 1980. С. 20.

[3] См.: Александров К.М. Офицерский корпус армии… С. 254.

[4] См.: Там же. С. 399.





40



Ковчег: Сборник Союза русских писателей в Чехословакии. [Вып.] 1

/ под ред. В.Ф. Булгакова, С.В. Завадского, М.И. Цветаевой. — Прага: Пламя, 1926. — [8], 237, [7] с.; 18х13 см.
В иллюстрированной двухцветной издательской обложке.

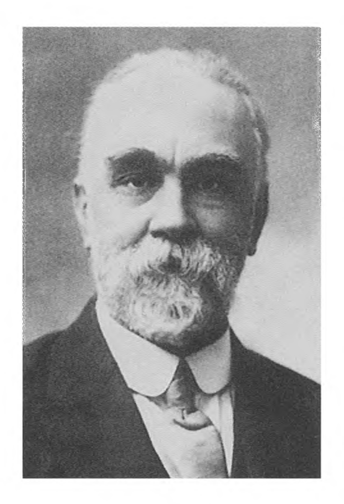


В 1924 году Союзом русских писателей и журналистов в Чехословацкой Республике было решено издавать литературный периодический сборник. Предполагалось, что он будет знакомить читателей с произведениями русских поэтов и писателей, живущих в Чехословакии, а также печатать переводы чешских авторов. По поручению Союза была создана редакционная коллегия, в которую вошли В.Ф. Булгаков, С.В. Завадский и М.И. Цветаева.

Валентин Федорович Булгаков (1886–1966) — последний секретарь Л.Н. Толстого, мемуарист, писатель, автор книг «Л.Н. Толстой в последний год его жизни» и «Жизнеописание Л.Н. Толстого в письмах его секретаря», возглавлял Кружок по изучению современной русской литературы при Русском свободном университете в Праге, в 1925 году был избран председателем Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии.

Сергей Владиславович Завадский (1871–1935) — известный до революции судебный деятель, профессор Русского юридического факультета в Праге, председатель Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии в 1923–1924 годах и его почетный член, автор трудов о Л.Н. Толстом, Ф.М.Достоевском, а также книги «Жизнь и дело Т.Г. Масарика».





Редколлегия альманаха «Ковчег»: Марина Цветаева, Валентин Булгаков, Сергей Завадский

«Крестной матерью» сборника стала Марина Ивановна Цветаева — название «Ковчег» придумала она. Вспоминает дочь Цветаевой Ариадна Эфрон:

«Название это было предложено Мариной (“семь пар чистых и семижды семь пар нечистых” — и все оказавшиеся литераторами, прибившимися в утлом суденышке к берегам Влтавы!). Альманах затевался долго, сколачивался трудно... и у Валентина Федоровича было предостаточно времени, чтобы сблизиться — сперва на почве совместной работы, потом на правах приятельских — с Мариной и с Сережей (С. Эфроном. — *М.М.*) (Сережа, автор небольшой книги рассказов “Детство”, вышедшей в Москве до революции, стал членом правления “Союза русских писателей”).

Валентин Федорович диссонировал с окружавшей его средой не меньше, чем сама Марина, но — иначе, *наоборот* ей: в эмигрантском ковчеге она была несомненным *змием*, а он — несомненным голубем, исповедовавшим закон “смиренномудрия, терпения и любви” по Ефрему Сирину и отчасти по Л.Н. Толстому. И внешность его была “голубиная”, благолепная, и жил он со своей маленькой семьей в простым глазом видимых благолепии, чистоте и вегетарианстве, в кажущемся душевном благополучии, и все это, вместе взятое, вызывало у некоторых из окружающих — навоевавшихся, намаявшихся и маяться продолжавших — ироническую ухмылку, наряду с бесспорным уважением. “Толстовство! Вегетарианство! Непротивление злу!” Как говорится, “мне бы ваши заботы!” И охотно нагружали его заботами своими собственными.

Однако некоторая “пастельность” облика Валентина Федоровича скрывала душу отнюдь не вегетарианствующую, ум острый, проницательный, широкоохватный, далеко не догматического склада, что, в частности, и позволило ему сблизиться с моими родителями, понять и полюбить их»[1].

Печатать «Ковчег» должно было издательство «Пламя» — руководителем его в то время был профессор русского языка и литературы Е.А. Ляцкий, а возглавлял издательство консул Иосиф Гайный. Со-

бранный рукописный материал редакторы рассчитывали опубликовать в двух книгах, и «Пламя» обязалось издать обе части. В первый сборник вошли стихи С. Маковского и «Поэма Конца» М. Цветаевой, рассказы Е. Чирикова, С. Эфрона, А. Аверченко, А. Воеводина, Д. Крачковского, воспоминания В. Булгакова и переведенные С. Савиновым стихи чешского поэта О. Бржезины с предваряющей их небольшой статьей. Во второй должны были войти стихи К. Бальмонта, Е. Недзельского, С. Рафальского, А. Туринцева, проза Вас. Немировича-Данченко, И. Каллиникова, С. Долинского, О. Колбасиной, П. Кожевникова, очерки А. Кизеветтера и С. Завадского. Предполагалось одновременно с русским выпустить сборник и на чешском языке. Однако ни второй том, ни чешское издание первого так и не вышли в свет: в 1926 году книгоиздательство «Пламя» прекратило публикацию книг на русском языке.

Совместная работа над составлением сборников и редактированием рукописей послужила поводом для возникновения переписки между Цветаевой и Булгаковым, продолжавшейся некоторое время и после отъезда Цветаевой во Францию. «Дай Бог всем “коллегиям” спеваться — как наша!.. Вполне доверяю выбору Вашему и Сергея Владиславовича», — писала Цветаева по поводу предложенных стихов и допускала «исключительность предпочтения» по отношению к К. Бальмонту, «поэту и сотоварищу», единственному «иностранцу» в сборнике, жившему тогда в Париже[2]. Однако она не могла обойти молчанием того, чего не одобряла: «Поздравляю Вас с прозой К-ского. Это Ваше чисто личное приобретение, вроде виллы на Ривьере»[3] (дело касается приглашенного Булгаковым в сборник Д. Крачковского). Цветаева редактирует «песни восточных славян», предложенные В. Нечитайловым (не вошли в сборник из-за сокращения объема, потребованного издательством), стихи Туринцева и Рафальского, сказки и рассказы Каллиникова. По воспоминаниям В.Ф. Булгакова, «работа шла в поразительном единодушии трех редакторов. Ум и вкус Марины Ивановны до сих пор вспоминаются мною с удивлением и преклонением»[4]. И он же: «Сама Марина Ивановна дала для сборника большую “Поэму Конца”. Этой не помогла бы никакая анонимность. Необыкновенно сжатый, своеобразно-четкий, образный и звучный… стих Марины Цветаевой можно узнать за тысячу верст, даже и без надписи: “се — лев, а не собака”... Нас, редакторов сборника, очень ругали потом за помещение в нем “Поэмы Конца”, но я все же ... остаюсь при мнении, что поэма эта, как и все, что писала вдохновенная Марина, вещь — замечательная. Но только в данном случае надо иметь уши, чтобы слышать»[5].

Отклики критиков на «Ковчег» оказались почти единодушны: одобрительные в адрес Е. Чирикова, В. Булгакова, А. Аверченко, С. Маковского — и восхищенные, за некоторым исключением, по отношению к цветаевской «Поэме Конца». «Поразительное богатство ритмов, афористическая сжатость формы»[6], «мастерское поэтическое произведение, отмеченное печатью подлинного таланта»[7], «великая поэзия совершенно нового типа»[8]... Впрочем, не обошлось и без полемики.

В первом же отзыве на сборник «Ковчег», появившемся в воскресном номере газеты «Дни» 20 декабря 1925 года[9] за инициалами «С.К.», утверж-

далось, что «“Поэма Конца” М. Цветаевой… будет причислена к одним из лучших русских произведений, написанных за последние годы». Месяцем позже в тех же «Днях» Д. Резников посвятил поэме целую статью, заключив ее словами: «Какая прекрасная поэма!»[10] А Ю. Айхенвальд в своей рецензии на сборник, наоборот, определял «Поэму Конца» как слишком сложное, малодоступное произведение: он ее «просто не понял; думается, однако, что и всякий другой будет ее не столько читать, сколько разгадывать, и даже если он окажется счастливее и догадливее нас, то свое счастье он купит ценою больших умственных усилий»[11]. С ним был категорически не согласен Д.А. Шаховской — его рецензия на сборник помещена в брюссельском журнале «Благонамеренный»: «После холодных, мраморных стихотворений Сергея Маковского — “Поэма Конца” Марины Цветаевой. Автор — создатель “культурного” эпоса. Каким-то чудом (чудом рождения, вероятно!) похищено перо у сказочной Птицы русской народной песни — и пишутся, пером этим, “цивилизованные” — сюжетно и формально — стихотворения… Что следует удержать из “Поэмы Конца”, это — все»[12]. На слова Д. Шаховского резко отреагировал в белградском «Новом времени» В. Даватц: «…почти во всех… газетах, без различия политических оттенков, было написано о Марине Цветаевой и о ее “Поэме Конца”. “Дни”, “Последние новости”, “Возрождение” — все в один голос — посвятили ей сочувственные строки. Находили прежде всего “ритм”. Затем — настроение. Затем — “формулу”. Затем — “чувство русской народной песни”. Затем — “новые формы” (обходится без глаголов)!.. Около голого короля ходят придворные и вельможи и восторгаются его платьем»[13]. В. Даватцу и Ю. Айхенвальду решительно возражал Г. Струве: «…единственное значительное, волнующее произведение в сборнике — это “Поэма Конца” Марины Цветаевой. Недавно я прочел в одном отзыве, что эта поэма — не больше как простой набор слов. Очевидно, тот, кто так написал, не вчитался, как следует, в поэму. Это произведение нелегкое, дающееся в руки не сразу. Когда прочтешь его по первому разу, оно лишь захватывает, покоряет своим ритмом. Но, вчитываясь и перечитывая (а я перечел его раз пять), вы начинаете чувствовать его лирическую напряженность, больше того — его драматическую насыщенность. Эта небольшая поэма, собственно, — насыщенная богатым содержанием лирическая драма-диалог. Конечно, многим читателям приемы Цветаевой могут показаться странными, и, поддаваясь первому впечатлению, они тоже решат, что это — набор слов. Приемы эти — глагольная скупость, местами полное отсутствие глаголов, придающее особую динамичность и напряженность поэме, частые эллинизмы, требующие некоторого усилия читательской мысли, смелые и необыкновенно удачные enjambements[14], и над всем — все себе покоряющий, волнующий и увлекающий ритм»[15]. Подробно останавливаясь на поэме, остальным участникам сборника автор рецензии уделяет лишь несколько слов: «Сборник, кроме географического признака — проживания всех авторов в Чехословакии, — ничем не объединен. Хороши в нем “Венецианские сонеты” С. Маковского; есть сила и выразительность в рассказе С. Эфрона; хорош рассказ Чирикова. Статья В. Булгакова о Толстом читается с интересом. Слабее других вещей рассказ А. Воеводина, и какой-то неприятный осадок оставляет рассказ

(или воспоминания?) Д. Крачковского с его приподнятым напыщенным тоном»[16].

Г. Адамович в декабрьском номере «Звена» дал положительную оценку помещенным в «Ковчеге» воспоминаниям В. Булгакова «Замолчанное о Толстом»:

«Записки Булгакова до крайности интересны. В них все замечательно, и рассказать о них вкратце нельзя. Оговорюсь, что особых художественных достоинств в этих заметках нет. Нет в них ни отчетливости, ни полноты… В основных своих воспоминаниях Булгаков дал более величественный образ Толстого. Теперь, стремясь ничего не забыть, он очертил мелочи толстовского быта, личные его слабости. И, конечно, в этих дополнениях Толстой вышел еще живей и обаятельней, ничего не потеряв, ни в чем не уменьшившись»[17].

А. Рудин в рижском еженедельнике «Перезвоны» посчитал украшением сборника написанный с глубоким чувством рассказ Е. Чирикова «Между небом и землей» — о паломничестве на далекий Валаам: «…как Святой Остров, сверкающий крестами, белыми стенами, стеклами окон, пламенно пылающих под заходящим солнцем, встает она, Родина, перед глазами читателя, устремленными к желанной пристани»; отметил рецензент и хороший литературный вкус и простоту изложения, «достигающую настоящей силы и позволяющую возложить на авторов определенные надежды», в рассказах С. Эфрона («Тиф») и А. Воеводина («Ольга»), а также посмертный рассказ Аркадия Аверченко («Зайчик на стене»), «сочетающий тонкий юмор большого художника с трогательной нежностью», и отличный перевод С. Савинова из Отокара Бржезины — одного из интереснейших чешских поэтов-мыслителей; но особо он выделяет цветаевскую «Поэму Конца», которая «при поразительном богатстве и разнообразии ритмов, соответствующем внутреннему содержанию произведения, почти афористической сжатости формы, доведенной местами до формулы (какая любовь к подлинному значению слова!) является исключительно музыкальным, прекрасно соркестрованным произведением талантливой поэтессы»[18]. Отметив некоторую небрежность издания (много опечаток в тексте, пропуск автора — А. Воеводина — в содержании), критик признаёт, что «отличный подбор материала, насыщенность сравнительно небольшой книжки содержанием делает ее ценным вкладом в русскую зарубежную литературу». «“Отцы” и “дети”, имена, известные всей России, и молодежь, только вступающая на литературную дорогу, собраны любовной рукой редакционной комиссии для того, чтобы показать, что и живя вне России, можно жить Россией»[19].

Марина Мелкова

---

[1] Эфрон А.С. Страницы воспоминаний // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: в 3 т. М.: Аграф, 2002. Т. 1: Рождение поэта. С. 314.

[2] Из письма М.И. Цветаевой к В.Ф. Булгакову от 11 марта 1925 г. (Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1995. Т. 7: Письма. С. 7).

[3] Из письма М.И. Цветаевой к В.Ф. Булгакову от 17 января 1925 г. (Там же. С. 6).

[4] Литературная Россия. 1987. 18 декабря.

[5] Цит. по: Эфрон А.С. Страницы воспоминаний. С. 314–315.

[6] Рудин А. [Рец.] // Перезвоны (Рига). 1926. № 9. С. 250.

[7] Струве Г. [Рец.:] Ковчег: Сборник союза русских писателей в Чехословакии. Прага: Пламя, 1926 // Возрождение (Париж). 1926. 21 января. С. 3.

[8] Святополк-Мирский Д. [Рец.:] Марина Цветаева // Slavonic review. 1926. № 4. С. 775–776.

[9] «Ковчег» вышел в конце 1925 г., хотя на титульном листе значится: 1926.

[10] Резников Д. «Поэма Конца» // Дни (Париж). 1926. 24 января. С. 3.

[11] Руль (Берлин). 1925. 9 декабря.

[12] Благонамеренный (Брюссель). 1926. № 1. С. 160–161.

[13] Даватц В. Тлетворный дух // Новое время (Белград). 1926. 7 февраля. С. 2.

[14] Перенос (*фр.*) — стихотворный прием, состоящий в переносе части фразы из одного стиха в другой, из одной строфы в другую.

[15] Возрождение. 1926. 21 января. С. 3.

[16] Там же.

[17] Адамович Г. Литературные беседы // Звено (Париж). 1925. 28 декабря. С. 2.

[18] Перезвоны. 1926. № 9. С. 250.

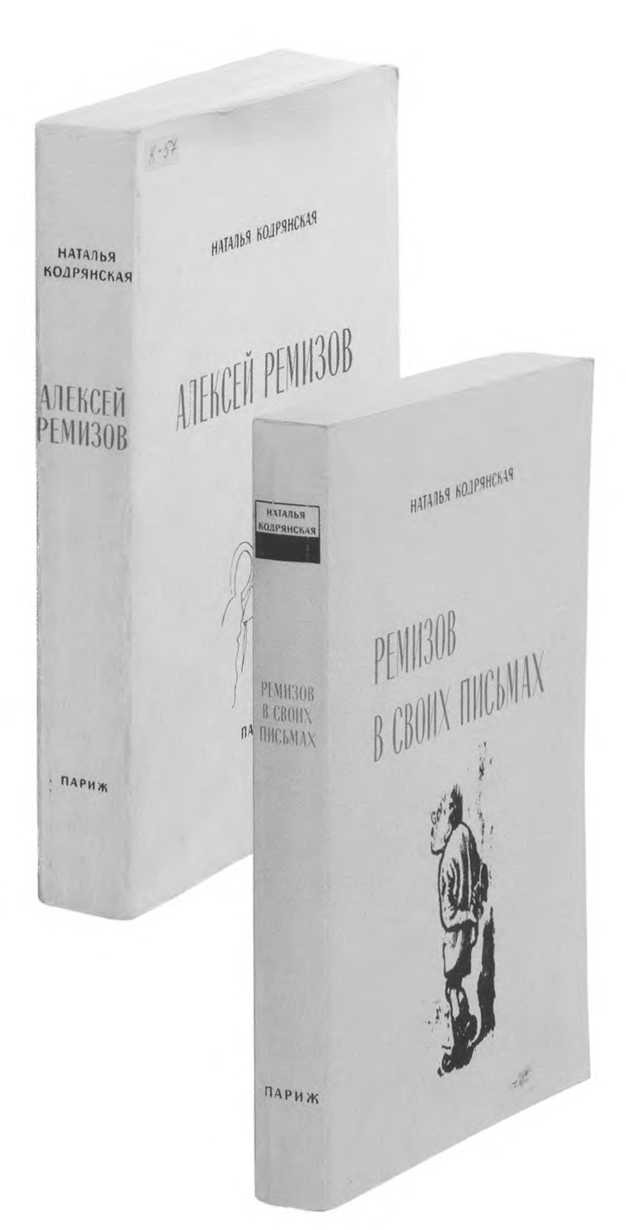
[19] Там же.



КОДРЯНСКАЯ Н.В.

Алексей Ремизов

/ Наталья Кодрянская; Изд. автора. — Париж: [Б. и.], 1959. — 328, [6] с., [24] л. ил., портр., факс., 1 л. фронт. (портр.): ил., факс.; 21x15 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогим, милым друзьям Шнитниковым Зинаиде Захаровне и Арсению Владимировичу на добрую память! Ваша Наталья Кодрянская. 28 августа 1975 г. Elancourt — Париж»[1].

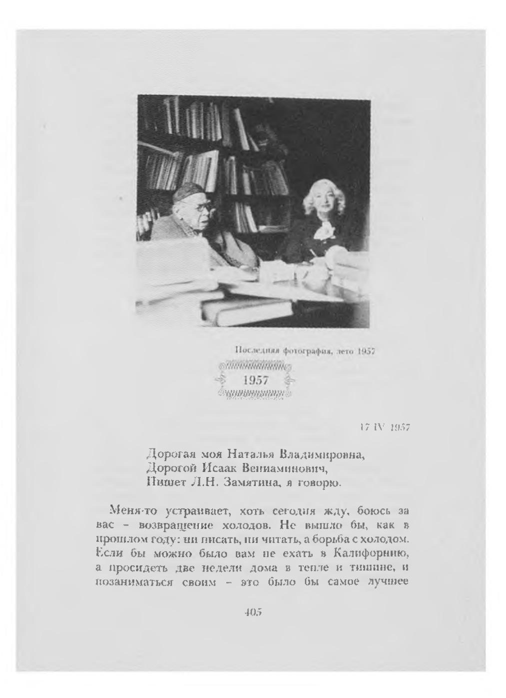


Ремизов в своих письмах

/ Наталья Кодрянская; Изд. автора. — Париж: [Б. и.], 1977. — 416 с., 7 л. ил., 1 л. фронт. (портр.): ил., портр., факс.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

Детская писательница, литературовед, мемуаристка Наталья Владимировна Кодрянская (урожденная фон Гернгросс; 1901–1983) родилась в Бессарабии, окончила московский Институт благородных девиц, в 1919 году вместе с родителями эмигрировала из советской России. До 1940 года жила в Париже, в 1940-м вместе с мужем переехала в Нью-Йорк и в 1945-м приняла американское гражданство. Муж Н.В. Кодрянской, Исаак Вениаминович (1894–1980) — «Ися» в ремизовских посланиях, — человек состоятельный, представитель фирмы по производству лампочек





Последняя фотография, лето 1957

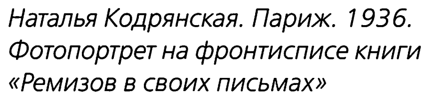
1957

17 IV 1957

Дорогая моя Наталья Владимировна,
Дорогой Исаак Вениаминович,
Пишет Л.Н. Замятина, я говорю.

Меня-то устраивает, хоть сегодня жду, боюсь за вас – возвращение холодов. Не вышло бы, как в прошлом году: ни писать, ни читать, а борьба с холодом. Если бы можно было вам не ехать в Калифорнию, а просидеть две недели дома в тепле и тишине, и позаниматься своим – это было бы самое лучшее

405



Наталья Кодрянская. Париж. 1936. Фотопортрет на фронтисписе книги «Ремизов в своих письмах»

А. Ремизов и Н. Кодрянская. Париж. Лето 1957. Страница из книги «Ремизов в своих письмах»

«Tungsten», был меценатом, нередко оказывал материальную помощь бедствующим писателям и художникам; на его средства были изданы и обе книги его жены о Ремизове. После войны супруги подолгу жили во Франции. Умерла Н.В. Кодрянская в местечке Эланкур близ Парижа.

С 1940 года Кодрянская писала и публиковала сказки, рассказы, критические статьи. Она автор книг: «Сказки» (1950, илл. Н. Гончаровой), «Глобусный человечек» (1954), «Золотой дар» (1964, илл. Ю. Анненкова). Ремизов необычайно высоко ценил «сказочность» сочинений Кодрянской, первый ее сборник едва не проиллюстрировал сам; Наталья Гончарова во многом воспользовалась его советами, оформляя книгу.

Оформление книги «Алексей Ремизов» отличается лаконичной простотой; на обложке — киноварью буквы названия и эскизный рисунок: не то человечки, не то сказочные персонажи, а быть может — святые, вокруг голов — нимбы. Перо так бегло, что точно не определишь, ото всего понемногу, как было всего намешано и в ремизовских текстах — сказочного, сакрального, литературного.

Кодрянская познакомилась с А.М. Ремизовым в 1940 году, сразу попав в колдовскую атмосферу «кукушкиной» комнаты. Встречи их не были частыми и регулярными, но Кодрянская полагала, что всей жизни было бы мало, чтобы узнать этого противоречивого, «много в себе затаившего» и мучающегося своими противоречиями человека. «Эта книга о Ремизове написана мной по его давнему желанию, — признавалась Кодрянская в предисловии. — Я не успела окончить ее при жизни Алексея Михайловича, но очень многое в ней записано с его слов, а отчасти и просмотрено

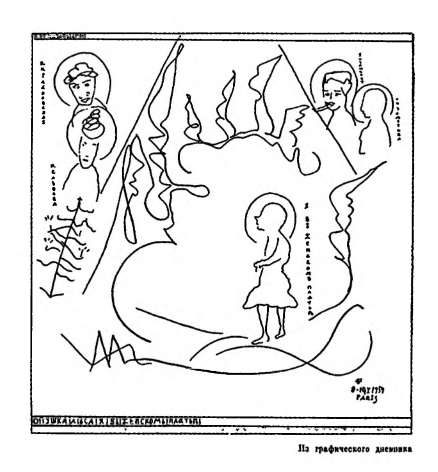
им. Он не вмешивался в мою работу, но иногда указывал, о чем еще рассказать или что отметить».

Книга писалась в подспудном споре с теми, кого отталкивала фигура писателя со всеми его причудами и кто решительно отвергал его лингвистические и художественные поиски. Но Кодрянская не собиралась решать «историко-литературный спор» — «кто был прав? кто заблуждался?», а стремилась оставить живое ощущение Ремизова — человека и писателя, «чтобы самому не заблудиться»[2]. Ведь и она не все принимала в чудачествах и выдумках Ремизова, с некоторой опаской относилась к его «кикиморному» началу и боялась показаться «смешной» в своем биографическом повествовании. Ремизов, напротив, хотел, чтобы были отражены все его «шутки и безобразия», и не возражал, что Кодрянская не принимает его «до конца»: это и хорошо для биографа, а то «возьмет и замаслит!»[3].

Ремизов быстро слеп, но не поэтому он передоверил рассказ о своей жизни и творчестве другому лицу. Он написал и издал множество сочинений, на родине и потом в эмиграции, но всю жизнь прожил с обидой на соотечественников, сетуя, что иностранцы его оценили, принимают «во французском святилище», а свои «тыкают — не так пишу! постоянный мордоворот»[4]. Особенно огорчила писателя вышедшая в СССР «оттепельная» «История русской литературы: Горький, Куприн, Бунин, Брюсов, Блок, Зайцев, Вербицкая и другие — издание Академии наук. Меня нет. Так я и не попал в историю. Жалеть? Нет, к умолчанию я нечувствителен. И что странно: эмигрантское отношение к моему, или советское — одинаково»[5]. Переломить это отношение Ремизов и решил с помощью книги, которая по первоначальному замыслу должна была называться «Лицо писателя» и включать написанные им самим «Интервью с Ремизовым» и статьи о философско-эстетических проблемах творчества.

Кодрянская подчеркивает, что книга задумана и написана в тесном сотрудничестве автора и героя, признавшегося: «Часы, проведенные за разговорами, — не забава, а испытание»[6]. Расспросы перемежались монологами Ремизова, подчас такими быстрыми, что не все удавалось записать. Работу под диктовку не любили оба: улетучивался живой дух непринужденной беседы, мимолетной шутки, импровизации. Непосредственность дружеского разговора сохранить удалось, «и отдельные ремизовские фразы влеплены, как куски мозаики». Главным же подспорьем стали дневники и письма писателя. Считая близкое знакомство с Ремизовым «одной из самых больших удач» в жизни, даже, «может быть, одной из самых больших радостей», Кодрянская посвящает книгу памяти своего учителя и героя «с великой благодарностью за все, что он мне дал, и за его чудесную дружбу»[7].

Провозглашая, что «стройность» чужда и облику, и внутренней сути Ремизова, Кодрянская все же придает книге композиционную целостность, разделив ее на семь глав. Первая посвящена ее знакомству с писателем, визитам на улицу Буало в разные годы. Вторая — восстанавливает жизнь Ремизова по его интервью и устным рассказам. Третья называется «Наблюдения, воспоминания, мысли, сомнения». Глава четвертая — «Ремесло писателя» — интереснейший филологический компендиум,

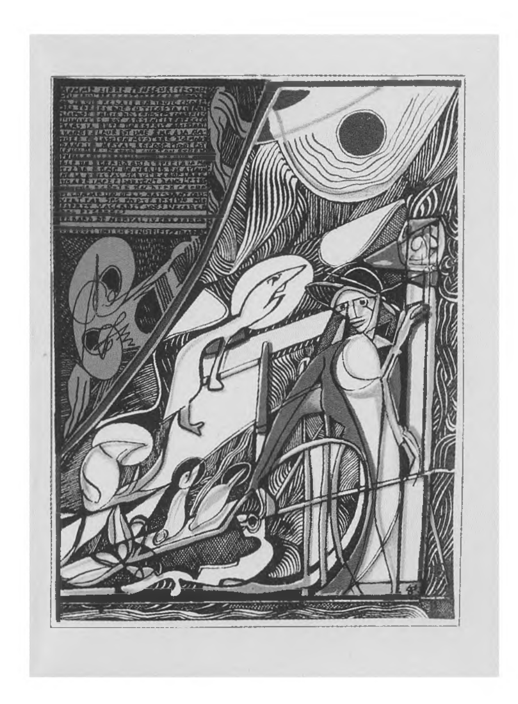


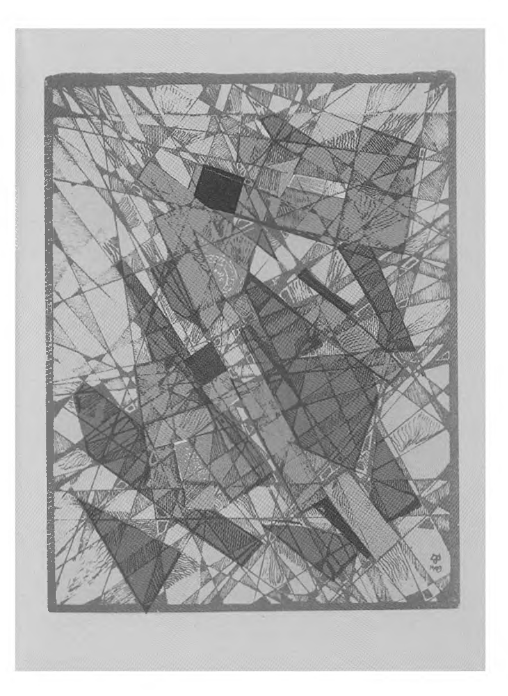


Рисунки А. Ремизова из книг Н. Кодрянской «Алексей Ремизов» и «Ремизов в своих письмах»

это не только признания Ремизова о собственном сочинительстве, но и попутные замечания и рассуждения о русской литературе и русских писателях, теоретико-литературные выкладки, размышления и прозрения о фольклоре, наблюдения над природой стиха, отточенная афористика о природе творчества. Глава пятая — «Надписи Алексея Михайловича на книгах Серафимы Павловны». Все вышедшие книги Ремизов дарил жене, надписывая; те, что пропали в России, были отысканы в зарубежье и надписаны заново, к ним прибавились заграничные издания, в том числе переводные. Это подлинный подарок исследователям, поскольку надписи содержат заметки о замысле, об истории создания или издания ремизовских книг. Наконец, последние главы, шестая и седьмая, содержат соответственно выдержки из писем Ремизова и из его дневников.

Книга, конечно, не биография в привычно-усредненном смысле. Это гораздо лучше — это «только Ремизов». В ней все перемежается, переплетается, как в жизни: бренное, ничтожное эмигрантское существование, да к тому же и отягощенное старостью, болезнями, слепотой, одиночеством, неотделимо от непрестанной работы духа, от интеллектуальных прорывов, от литературы, которая составляет органическую часть жизни. Гоголь, Достоевский — вечные собеседники, их тексты реальнее домов и тротуаров на улице Буало. Дневники Ремизова — запись реальных событий о реальных лицах, и снов о них, и снов о нереальных фантасмагорических существах, и вновь — мысли о литературе, о сути творчества, о загадках и озарениях писательского ремесла. И — постоянная, захватывающая игра, выручающая порой невероятно. Там, где рядовой эмигрант маялся в очередях и терпел мученические муки от французской





бюрократии, Ремизов действовал по собственному сценарию. Чтобы возобновить «carte d'identité» (удостоверение личности), он явился однажды в парижскую префектуру, обвязанный крест-накрест красной шалью, в суконном колпаке, отороченном мехом, с прошением на гербовой бумаге, изукрашенным заставками и замысловатыми буквицами. Очередь расступилась, ахнув, перед ожившим сказочным персонажем, чиновник пришел в восторг от каллиграфии, прошение обошло всю префектуру, и необходимый документ был в нарушение всех правил незамедлительно выдан. Таких «художественных сцен» Кодрянская приводит множество, в том числе и услышанных от очевидцев. «Не берусь судить, — признается сказочница, — была ли это игра или Ремизов был самим собой»[8].

В книге немало иллюстраций. Это прежде всего рисунки и картинки самого Ремизова — пером, карандашом, гуашью, акварелью. Его художества ценил сам Пикассо. Цветные композиции в духе кубизма в чистых и ярких красках древнерусской иконописи; иллюстрации к собственным произведениям; «графический дневник», тонкая вязь пера, слегка напоминающая знаменитые пушкинские зарисовки; жирное перо и каллиграфические подписи... Есть в книге и фотографии. Для титульной выбрано изображение 1911 года — студент? революционер? нет, уже известный писатель. Есть младенческая — на руках у разряженной кормилицы в кокошнике, с факсимильным воспроизведением рукописной истории о том, как снимались в Москве и ждали вылетающую «птичку». Есть детские, отроческие, юношеские — милый мальчик, рано надевший очки. По фотопортретам легко проследить, как сам себя придумал Ремизов, словно на всю жизнь загримировал и задекорировал сценический образ.

На вклейке между 96 и 97-й страницами — одна из лучших фотографий, безусловно, постановочная, рядом с бюстом Л.Н. Толстого в парке. Лев Николаевич слегка склонил голову влево, где притулился,

по-мальчишески радуясь проделке, уже совсем старенький Ремизов, с седым клоком взлохмаченных ветром волос. Ремизовская клюка — такая же белая, как бюст Толстого, как лавочка на переднем плане, как будто сама уже принадлежит вечности. Как будто палка — толстовская, позаимствована на время, сейчас отдаст. Или — потом отдаст, когда отправится туда же — в вечность. Финальный рисунок: чертик — или кикимора? — с ухватом и щитом, с длинным вьющимся пружинкой тоненьким хвостом уходит, оглядываясь на читателя, прямо в солнце.



Алексей Ремизов. Париж. 1956. Фотопортрет из книги «Ремизов в своих письмах»

В книге «Ремизов в своих письмах» более четырехсот страниц, но это далеко не все послания Ремизова Кодрянской — «любимой», «золотой», «чудесной», «кукуне-блескуне-попрыгуне», «голубуне», «говоруне», «гуслику-светлячку», «весенней ветке», «алому прутику» — всего писем было больше семисот. Внешне издание — близнец первого: на такой же бумажной обложке под киноварью названия — озорной шарж на Ремизова, чьи «думы всегда переходят в образы, а образы — дорога в сновидение»; внутри — вновь разнообразные рисунки Ремизова и факсимильное воспроизведение его автографов.

Писатель побаивался вторжения чужого человека в его мир, справедливо полагая, что «биографии всегда похожи на биографов и оттого человеческий мир кажется таким бедным». Письма Ремизова — это его биография, написанная в непрестанном диалоге с Н.В. Кодрянской, верным другом и почитателем его дара.

Письма охватывают последние полтора десятилетия жизни писателя. Пересказать их невозможно, но как комментарий к биографии и творчеству Ремизова они бесценны. В эпистолярном монологе, где много житейских мелочей и даже жалоб, например, непрестанного грошового, но необходимого расчета в издательских делах, удрученности из-за нарастающей слепоты, есть совершенно необычайная и, пожалуй, самая интересная сторона — филологическая. Ремизов погружен в письменность в самом широком смысле — от начертания букв до поэтики занимающих все его мысли произведений (таковы, в частности, «Мертвые души» Гоголя). Личностный комментарий русского писателя к русской словесной культуре и ее главным художественным творениям — эксперимент совершенно уникальный. Опубликованные Кодрянской письма Ремизова — именно такой филологический эксперимент, когда пишущий

органично существует не только в подлинной исторической реальности, но и в фольклорно-литературной.

«Н.В. Кодрянской удалось то, что далеко не каждому под силу. Со страниц ее книги во всей своей сложности и необычайности встает живьем маленький подслеповатый старичок, обладатель колдовских снов и чудесного, незабываемого сказа; поэт в каллиграфии, каллиграф в литературе»[9]. И главное, что Кодрянской удалось безусловно, — это золотом и киноварью вписать имя Ремизова в историю литературы, способствовать его перемещению в читательском и исследовательском сознании на одно из первых мест в русской словесной культуре XX века. Ремизов оказался услышан и понят: «Я не чужой вам, но я по-своему. А моя память о русском ярче».

Татьяна Марченко

---

[1] Шнитников Арсений Владимирович (1898–1983) — гидролог. Окончил Военно-авиационную инженерную академию. Участник боевых действий (летчик-разведчик) во время Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн. С 1929 г. — сотрудник Государственного гидрологического института в Ленинграде, одновременно преподавал в ЛГУ. Профессор, доктор географических наук (1955). С 1948 г. до конца жизни работал в Лаборатории (затем Институте) озероведения АН СССР, лауреат Золотой медали им. Н.М. Пржевальского Всесоюзного географического общества. Его жена, Шнитникова (урожд. Френкель) Зинаида Захаровна — врач-гигиенист, мемуарист.

[2] Кодрянская Н.В. Ремизов в своих письмах. Париж: [Б. и.], 1977. С. 13.

[3] Там же. С. 11; Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. Париж: [Б. и.], 1959. С. 7.

[4] Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. С. 10.

[5] Она же. Ремизов в своих письмах. С. 388.

[6] Она же. Алексей Ремизов. С. 8.

[7] Там же. С. 10.

[8] Там же. С. 103.

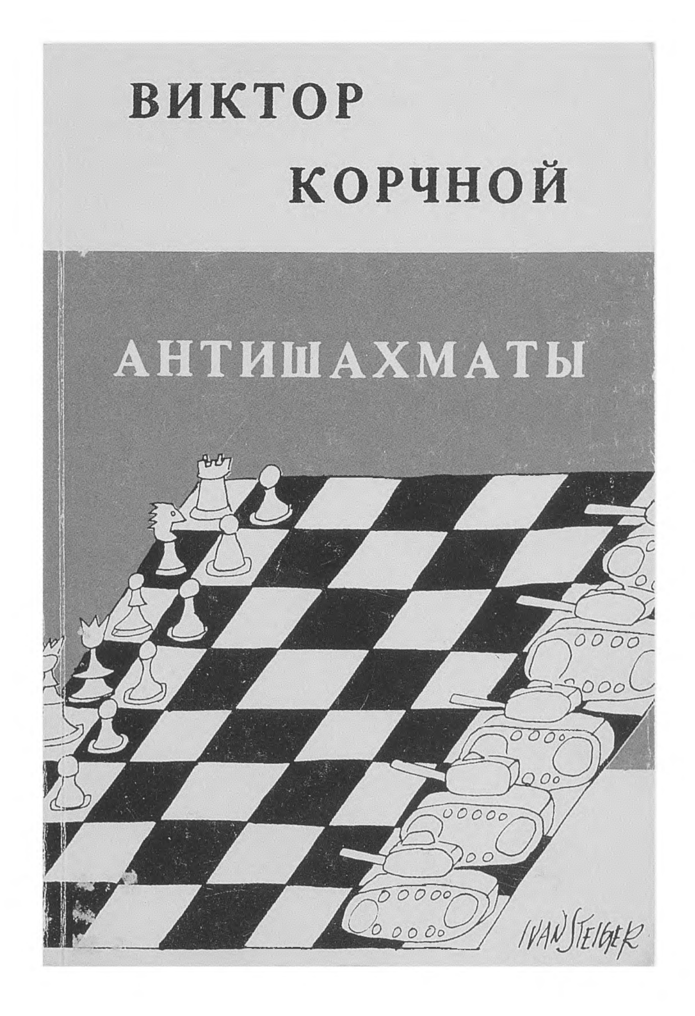
[9] Неймирок А. Необычайная книга // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1960. № 48. С. 248.

42

КОРЧНОЙ В.Л.

Антишахматы
= Anti-chess

/ Виктор Корчной; предисл. В. Буковского. — L.: Overseas publications interchange, 1981. — 121, [2] с., [2] л. портр.; 18x11,5 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке работы Ивана Штейгера (Ivan Steiger).



Overseas Publications Interchange Ltd

Виктор Львович Корчной родился 23 марта 1931 года в Ленинграде, в польско-еврейской семье. После развода родителей с двух лет жил с отцом и бабушкой, позже вспоминал: «...в комнате 4×4 метра мы жили втроем. Бабушка спала на кровати, отец — на диванчике, а я — на стульях посреди комнаты»[1]. В шесть лет Витя научился играть в шахматы. Пережив ленинградскую блокаду, в 1944-м пришел в шахматный кружок Дворца пионеров, где стал заниматься под руководством Владимира Зака. Воспитывала его мачеха (отец погиб в ополчении в самом начале войны). После школы Виктор окончил исторический факультет Ленинградского университета.

В 1947 году он стал чемпионом СССР среди школьников. В 1956-м (в 25 лет) получил звание международного гроссмейстера, в 1960-м впервые выиграл первенство СССР. Становился Корчной чемпионом СССР и в 1962, 1964, 1970 годах. Кроме того, он — двукратный победитель матчей претендентов (1977, 1980), пятикратный чемпион Европы; в со-

ставе советской сборной шесть раз побеждал на Шахматной олимпиаде. Но, несмотря на выдающийся талант, титул чемпиона мира остался ему неподвластен.



Виктор Корчной за шахматным столиком. 1970-е годы

«Матчи смерти» 1978 и 1981 годов, когда Корчной сражался за мировую шахматную корону с чемпионом мира Анатолием Карповым, стали событиями. Это были поединки не только спортивные, но и политические, где Корчному противостояла целая система — советская партийная машина во главе с Л.И. Брежневым.

Играм предшествовало бегство Корчного на Запад: летом 1976 года, во время шахматного турнира IBM в Амстердаме, он отказался от возвращения в СССР. Причиной тому послужило следующее. После поражения в претендентском матче с Анатолием Карповым в 1974 году — на право сразиться с чемпионом мира Робертом Фишером — Корчной заявил в интервью югославской газете «Борьба», что проигрыш был спровоцирован давлением на него со стороны Спорткомитета, и этим запустил против себя механизм травли: Корчному уменьшили стипендию, запретили выезжать на Запад, в печати появился ряд коллективных писем, осуждающих его поведение.

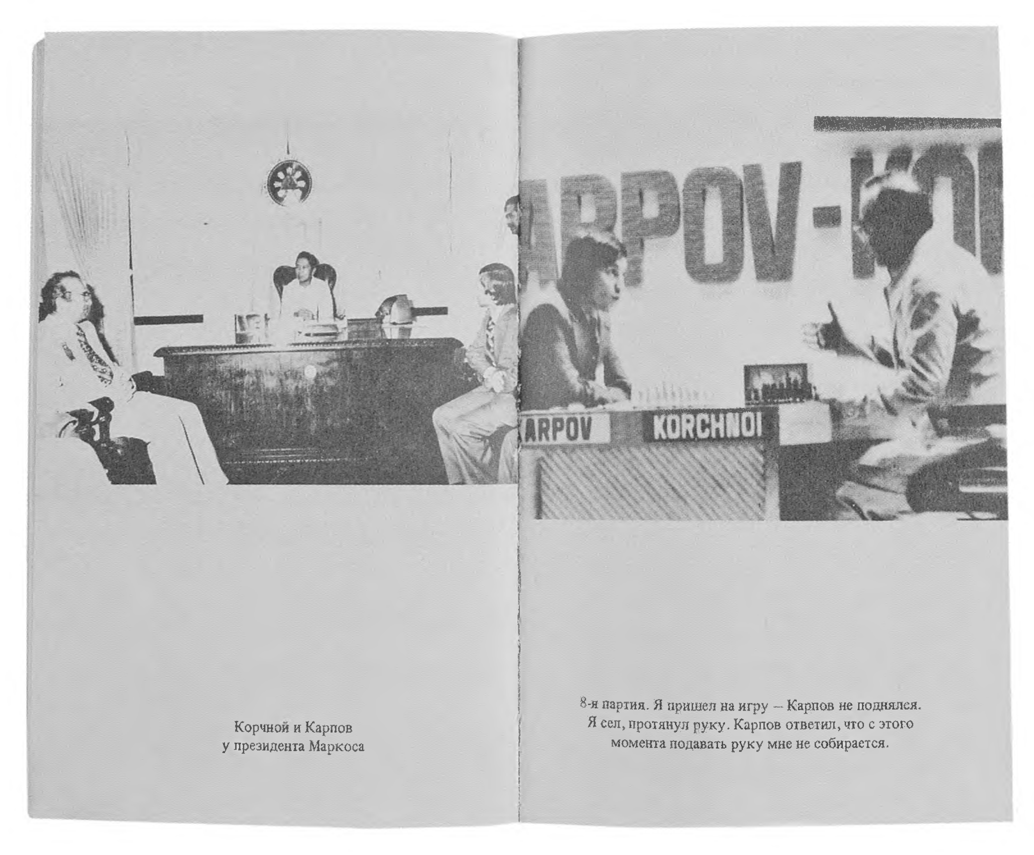
В 1978 году Корчного лишили советского гражданства и всех званий. Издания, где были упоминания о нем, изымались из библиотек, организовывались попытки добиться его пожизненной дисквалификации, советская шахматная делегация бойкотировала соревнования, в которых он собирался принять участие. Все это привело к тому, что Корчного — второго шахматиста мира — подчас перестали приглашать на турниры.

Швейцария предоставила ему политическое убежище. Но в СССР оставались жена Изабелла и сын Игорь: власти отказывали им в праве на выезд. Игоря исключили из института, после чего он в течение года уклонялся от призыва в армию, опасаясь, что после службы его уж точно не выпустят из страны как потенциального носителя «военных секретов». В декабре 1979-го за уклонение от призыва Игорь был осужден судом на два с половиной года заключения.

Корчной между тем продолжал бороться за мировое первенство, не давая забыть о себе миллионам бывших сограждан. Это вызывало у советских властей настоящую ярость.

В июле 1978-го в городе Багио на Филиппинах между Карповым и Корчным состоялся решающий матч. За поединком следил, затаив дыхание, весь мир.

Советским властям победа Карпова была крайне важна, и они делали все, чтобы ее обеспечить. Гроссмейстер Борис Гулько, автор книги «КГБ играет в шахматы», вспоминал: «...поскольку одной из идей Советского Союза была идея о том, что СССР — лучшая страна в мире, нужно было подтверждать ее тем, что, скажем, мы сильнее всех играем в шахматы... Шахматы были важной частью идеологии именно потому, что это одна



Виктор Корчной и Анатолий Карпов на приеме у президента Филиппин Маркоса. Шахматный матч на первенство мира. Багио (Филиппины). 1978. Иллюстрации из книги «Антишахматы»

из немногих областей, где СССР был действительно впереди: советские шахматисты были лучшими в мире»[2].

События матча и изложены Корчным в книге «Антишахматы». Человек, безусловно, талантливый, он так ярко описал все детали трехмесячного марафона, что читается книга на одном дыхании, а по накалу страстей и сюжетным поворотам не уступает детективным романам А. Кристи и Ж. Сименона.

По разные стороны шахматного стола встретились идеологические противники: один — «символ советской системы», партийно-спортивный чиновник Карпов, другой — «предатель родины», «без имени и рода», язвительно именуемый одним только словом — «претендент» (под напором ультиматумов советской стороны Корчному не разрешили выступать под швейцарским флагом).

Карпову же были предоставлены все мыслимые и немыслимые условия — от свиты в тринадцать человек (а всего из Москвы, по словам Корчного, прибыло более ста членов советской делегации, большая часть из которых были агентами КГБ), личного врача, повара со своими продуктами, известного парапсихолога, доктора медицинских наук Виктора Зухара до специально разработанного для него в каком-то НИИ фруктового кефира, который в определенное время в процессе игры, несмотря на запреты ФИДЕ, ему подносили прямо к столу. Кроме того, в штабе

претендента были установлены прослушивающие устройства — по словам Корчного, впоследствии выяснилось, что его помощник Раймонд Кин сотрудничал с КГБ.

Все время матча «претендент» находился под мощным давлением советской стороны. Формы воздействия применялись самые разные — от парапсихологических до прямых угроз.

За Корчного болели многие соотечественники-эмигранты. Вот как об этом писал Сергей Довлатов в газете «Новый американец»: «Вообще это неправильно, что я болею за Корчного. Болеть положено за того, кто лучше играет. Но я всегда болел неправильно. Например, с детства переживал за “Зенит”. Но не потому, что команда ленинградская, а потому что в ней играл Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол, особенно головой. Хотя еврейской голове можно найти и лучшее применение... Мне говорили, что у Корчного плохой характер, что он бывает агрессивным, резким и даже грубым. Что он недопустимо выругал Карпова, публично назвал его гаденышем. На месте Корчного я бы поступил иначе. Я бы схватил шахматную доску и треснул Карпова по голове. Хотя это не спортивно и даже наказуемо в уголовном порядке. Но я бы поступил именно так. Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод, за то, что у него все хорошо, за то, что его окружают десятки советников и гувернеров. А за Корчного я болею не потому, что он живет на Западе, и, разумеется, не потому, что он — еврей. А потому, что он в разлуке с женой и сыном. И еще потому, что он не решился стукнуть Карпова доской по голове. Полагаю, он желал этого не меньше, чем я. Конечно, я плохой болельщик. Не разбираюсь в спорте и застенчиво предпочитаю Достоевского баскетболисту Алачачяну. Но за Корчного я болею тяжело и сильно. Только чудо может спасти его от поражения. И я, неверующий, циничный журналист, молю о чуде...»[3]

А Владимира Высоцкого шахматно-политическое противостояние Карпова — Корчного подвигло на создание таких строк:

И вот сидят они: один — герой народа,
Что пьет кефир в критический момент,
Другой — злодей без имени и рода,
С презрительною кличкой «претендент».

Сербский журналист Брана Црнчевич посвятил филиппинскому матчу целую книгу «Эмигрант и игра»[4] (вышла в Загребе в 1981 году, видимо, Корчной имел возможность ознакомиться с текстом до публикации — в «Антишахматах» он не раз цитирует книгу), где подробно описал ход матча, со всеми его скандалами, интригами, подковерной борьбой…

При счете 5:5 — по результатам тридцати двух партий — Карпов был объявлен победителем.

Спустя годы на вопрос, почему он все же не стал чемпионом мира, Корчной ответил: «Легче всего свалить все на советскую власть: Брежнев, мол, не позволил. Какой-то смысл в этом есть: Карпову (ставленнику коммунистической элиты) в помощь были предоставлены лучшие шахматные силы страны. Тем не менее тот же Брежнев мешал стать чемпионом

мира и Гарри Каспарову, но тот выдержал давление и победил соперника. Поэтому, если говорить объективно, все же не советская власть, а слабости моего характера помешали мне выиграть чемпионат мира»[5].

В предисловии к «Антишахматам» В. Буковский отмечал: «Книга Корчного рассказывает не столько о матче, сколько о плачевном состоянии современного нам мира, по крайней мере на три четверти уже зависимого от СССР. Удивительно ли это? Понятия “честная игра” просто не может существовать в СССР, где все является политикой — будь то наука, искусство или спорт. Всякое достижение — это доказательство преимущества социализма. Всякое поражение — это удар по престижу. А человек, пытающийся отстоять свою независимость в любой сфере, в любом вопросе, — неминуемо объявляется врагом всего государства. Вся мощь Советского Союза, весь его аппарат немедленно мобилизуется на борьбу с таким отчаянным смельчаком. И с самого начала ему предстоит неравная борьба одиночки против системы. Любые средства будут оправданы, лишь бы задавить сопротивляющегося. Где уж там “честная игра”… в этом матче, словно в капле воды, отразилось бессилие Свободного мира перед лицом советского шантажа, подкупа и насилия. Бессилие и разобщенность, проявляющиеся в каждом конфликте с СССР. Мы часто ломаем голову, почему это ООН ни разу не осудила нарушения прав человека в СССР, почему Всемирный совет церквей ни разу не осудил расправы над верующими?.. Книга Корчного дает удивительно простой ответ на эти вопросы. Как и пресловутое жюри матча, мир готов сделать все, только чтобы стало наконец спокойно. Мир готов уступить во всем, лишь бы мировой бандит наконец насытился и угомонился».

Уже закончив писать «Антишахматы», в феврале 1980 года Корчной послал письма Карпову и члену Политбюро ЦК КПСС К.У. Черненко, где сообщал, что если его семья не будет в ближайшее время выпущена из СССР, он эту книгу опубликует. К письму были приложены несколько наиболее острых политических фрагментов.

Послания не возымели эффекта, и в 1981 году, накануне следующего матча Карпова с Корчным в Мерано, книга вышла в свет в лондонском издательстве «Overseas publications interchange» в символической обложке: по одну сторону шахматной доски стоят фигуры, по другую — советские танки.

После того как матч в Мерано был выигран Карповым со счетом 6:2 (при десяти ничьих), семья Корчного наконец-то получила возможность эмигрировать.

Книга «Антишахматы» долгие годы оставалась в СССР под запретом. В России она впервые была опубликована в 1992 году вместе с еще двумя произведениями шахматиста — «Записки злодея» и «Возвращение невозвращенца»[6].

Когда к власти пришел М.С. Горбачев, был утвержден список из 24 человек, которым руководство страны намеревалось вернуть гражданство. Первым в этом списке стояло имя А.И. Солженицына, под номером 18 значился В.Л. Корчной. Шахматист от гражданства отказался.

Констанция Сафронова

[1] Виктор Корчной: «Победить или умереть!»: [ннтервью] // Аргументы и факты. 2009. 8 апреля. С. 4.

[2] Гулько Б.Ф. КГБ играет в шахматы: [интервью] // Еврейский мир. [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], 2003–2012. — Режим доступа: http://evreimir.com/25078/, свободный. — Загл. с экрана.

[3] Довлатов С. Собр. соч.: в 4 т. М.: Азбука, 1999. Т. 2. С. 419.

[4] См. издание на русском языке: Црнчевич Б. Эмигрант и игра: (О Корчном и его судьбе) / пер. с серб. Я. Якунина. М.: [Б.и.], 1997.

[5] Некоронованный победитель: Виктор Корчной // Наша газета. 2009. 18 марта [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Б.м., 2012. — Режим доступа: http://www.nashagazeta.ch/node/7224, свободный. — Загл. с экрана.

[6] Корчной В.Л. Антишахматы. Записки злодея. Возвращение невозвращенца / [предисл. Р. Загайнова]. М.: Агентство «Компьютер-пресс», 1992.

43

КРАСНОВ П.Н.

От Двуглавого Орла к красному знамени:
1894–1921:
Роман: в 8 ч.

/ Петр Краснов. — Берлин: Изд-во О.Л. Дьяковой и К°, 1921. — Т. 1, ч. 1, 2. — 546 с. — 1921. — Т. 2, ч. 3, 4, 5. — 1921. — 667, [3] с. Т. 3, ч. 6–7: Мученики. — 1921. — 526 с. Т. 4, ч. 8: Под красными знаменами. — 1921. — 191 с.; 19,5x13,5 см.
Каждый том в шрифтовой двухцветной издательской обложке.

П. Н. Красновъ.

Отъ Двуглаваго Орла
къ красному знамени.

1894—1921.

Романъ въ восьми частяхъ.

Томъ III.

Мученики.

Шестая и седьмая части.

Берлинъ 1921 г.

Пятая тысяча.

П. Н. Красновъ.

Отъ Двуглаваго Орла
къ красному знамени.

1894—1921.

Романъ въ восьми частяхъ.

Томъ IV.

Подъ красными
знаменами.

Восьмая часть.

Берлинъ 1921 г.

Пятая тысяча.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
О. Л. ДЬЯКОВОЙ и Ко.
OLGA DIAKOW & Co.
VERLAG
BERLIN W 62

Петр Николаевич Краснов появился на свет 10 (22) сентября 1869 года в Санкт-Петербурге в генеральской казачьей семье. Без колебаний он выбрал военную карьеру, сменив в пятом классе гимназию на Александровский кадетский корпус. В 1890 году хорунжий Краснов был зачислен в лейб-гвардии Атаманский полк, а 17 (29) марта 1891 года в газете «Русский инвалид» появилась его первая статья — «Казачий шатер полковника Чеботарева». С этого времени его статьи и очерки стали регулярно появляться в периодической печати.

Проучившись всего год в Академии Генерального штаба (1894), не по уставу вспыльчивый Краснов вышел из нее по собственному желанию. Тем не менее он успешно продолжил карьеру строевого кавалерийского офицера и военного писателя. Фельетоны за подписью «Гр. А.Д.» (псевдоним Краснова) пользовались популярностью среди офицерства и нравились царю. Дело было не только в «золотом пере»

автора, но и в строгой достоверности описываемого: в каких только командировках он не побывал — Африка, Дальний Восток, Закавказье, Средняя Азия... Красновым начинает зачитываться массовый читатель, ему охотно предоставляют свои страницы «Нива», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета».



Петр Краснов. Новочеркасск. 3 мая 1918

В ноябре 1914 года П.Н. Краснов — генерал-майор и командир бригады в 1-й Донской казачьей дивизии III Кавалерийского корпуса. В составе этого корпуса он и вступил в Первую мировую войну, а закончил — его командиром, распустившим личный состав по домам в январе 1918 года. Воевал Краснов храбро, не раз был отмечен наградами, включая и Золотое оружие. О своем участии в событиях 1917 года он поведал в мемуарах «На внутреннем фронте», опубликованных в первом томе «Архива русской революции» И. Гессена (Берлин, 1922).

В годы Гражданской войны красновское credo покоилось на двух китах — монархия и Дон; ради спасения казачества от большевиков он был готов и к широкой коалиции с немцами. Силы в его руках находились немалые, и он мечтал о том, как «немецкий император явился бы в роли Александра Благословенного в Москву, вся измученная интеллигенция обратила бы свои сердца к своему недавнему противнику. Весь русский народ, с которого были сняты цепи коммунистического рабства, обратился бы к Германии, и в будущем явился бы тесный союз между Россией и Германией»[1]. Но брожение в умах казаков привело к тому, что в начале 1919 года, заявив, что Дон пошел по пути «февральской» России, атаман войска Донского Краснов подал в отставку. В июле он поступил в распоряжение командующего Северо-Западной армией генерала Н.Н. Юденича, рядовым добровольцем проделал поход от Нарвы до Царского Села, в осажденной Нарве издавал ежедневную газету «Приневский край». В январе 1920-го Краснов представлял Добровольческую армию в Эстонии, участвуя в ликвидации Северо-Западной армии, а в конце марта по требованию эстонских властей отправился из Ревеля в изгнание.

До ноября 1923 года жил в Германии, потом во Франции, в 1936-м вернулся в Германию. В эмиграции он активно включился в общественно-политическую деятельность, с советской точки зрения — исключительно подрывную: вошел в Верховный Монархический Совет и в руководство Братства Русской Правды — организации, продолжавшей борьбу против большевизма с оружием в руках, сотрудничал в «органе монархической мысли» — журнале «Двуглавый Орел». Но главным в эти годы стало для него литературное поприще: Красновым было издано более двадцати томов художественной прозы и публицистики. Критика русского зарубежья ругала его за дурновкусие, за искажение исторической правды, за квасной

патриотизм, а рядовая эмиграция им зачитывалась; да что эмиграция — миллионными тиражами книги Краснова расходились в Германии в переводе на немецкий язык. История России, российская армия, утопические фантазии о будущем России — таковы темы его книг.

Эпопея «От Двуглавого Орла к красному знамени», над которой он работал в годы Гражданской войны, — сочинение уникальное. Боевой генерал, активный участник Белого движения оказался едва ли не единственным автором русского зарубежья, представившим трагические события революционной смуты в форме эпопеи. Роман вышел в 1921 году в Берлине в четырех томах и был переведен на двенадцать языков. В 1922 году вышло второе издание, значительно переработанное и исправленное автором.

Беллетристом Краснов был отменным — действие в романе развивается динамично, диалоги живые, а уж животрепещущие темы (прежде всего — обсуждение связи еврейства и большевизма) позволяли и взыскательным читателям не обращать внимания на художественные огрехи. Даже такой скептик, как Г.В. Адамович, был ошарашен эпическим размахом и широтой красновских писаний и, разбирая «Тихий Дон» Шолохова, обмолвился и о Краснове: «Будто и в самом деле “Война и мир”»[2]. Признавая у генерала наличие беллетристического таланта, говоря о правдивости в отображении действительности, Адамович полагал, что в романе «все портится», когда «дело доходит до философических размышлений или критики “Двенадцати” Блока» — тогда «хочется книгу выбросить в окно»[3].

Гораздо снисходительнее к генералу-романисту и куда солидарнее с ним в оценках был А.И. Куприн, уверенный, что у Краснова «есть о чем сказать. Видел и испытал он за эти времена так много страшного и величественного, уродливого и прекрасного, что хватило бы на десяток средних, заурядных жизней. И надо признать, судя по первому тому, что все, близко знакомое автору, лично им наблюденное и пережитое, он умеет передавать ярко и выпукло, с настоящим мастерством, с особенно широким подъемом в массовых сценах, с благородным пафосом»[4]. Солидарен с Куприным и Р.Б. Гуль: «Все его военные картины (бои, парады, военная жизнь) всегда ярки, свежи, живы и, конечно, с большим знанием дела»[5].

Пером П.Н. Краснов орудует, как шашкой, четко зная, где и кто враги, и продолжая свято служить монархической идее. Ответов на вопросы, поставленные двумя русскими революциями, у него нет, зато есть твердая убежденность в осуществлении мирового еврейского заговора. Картины страшной братоубийственной войны и кровавого террора написаны с потрясающей силой, но в изображении большевиков писатель скатывается в область чистой карикатуры и агитки.

«Тайну успеха Краснова понять нетрудно, — уверял Г.В. Адамович. — Прежде всего — это надо признать сразу — у него подлинное дарование. Отсутствие всякой культуры, полная неразборчивость в художественных средствах, резко выраженные политические пристрастия помогают этому дарованию приобретать все новых и новых поклонников. Краснов дает иллюзию “большого искусства”, оставаясь умственно и душевно

на уровне “среднего обывателя”: за это обыватели ему и благодарны»[6]. Признавая, что «беллетристическое дарование» Краснова «значительно выше среднестатистического уровня», Адамович решительно заявлял, что «Краснов — не писатель и ждать от него нечего». «Он умеет занимательно и связно рассказывать, но и только»; «Последний том не только плох художественно, он еще и до крайности скучен. Я бы не хотел быть неправильно понятым: я не считаю “От Двуглавого Орла” произведением искусства. Это только хроника, иногда очень увлекательная. Краснов не в силах подняться над своей темой, охватить ее во всей ее ширине. Он видит только то, что в двух шагах от него. Нет “ужаса и жалости”, нет творческого сочувствия ко всем героям — белым и красным, — ко всей неразберихе и драме, а есть ослепление и злоба политика»[7].

Это к концу 1930-х годов генерал окончательно загубил свою репутацию в глазах эмигрантской интеллигенции связями с гитлеровским режимом, а в начале 1920-х появление романа стало событием незаурядным. «Вспоминаю, — пишет Р.Б. Гуль, — зашел я как-то в “Петрополис”. Петрополитяне Я.Н. Блох и А.С. Каган — в веселом настроении. И Яков Ноевич говорит: “Жаль, что вы не застали, только сейчас здесь был Анатолий Мариенгоф и говорил, что прочел здесь Краснова “От Двуглавого Орла к красному знамени” запоем. С большим интересом, говорит, читал. Мы ему сначала не поверили, но он вполне серьезно сказал, что считает эту трилогию очень интересной. Я ведь, говорит, как Вольтер, из всех книг не люблю только скучные. Я его спросил, пошла ли бы трилогия Краснова в Советской России, если б ее выпустили? А он, смеясь, отвечает: “Покупали бы, как французские булки!”»[8]

В межвоенные годы Красновым было написано чрезвычайно много. «Проза Краснова трагична, — пишет биограф писателя Борис Галенин, — как трагична была эпоха»[9]. Но самым непоправимо трагичным шагом в жизни казачьего атамана П.Н. Краснова стало решение принять участие в борьбе с ненавистным большевизмом на стороне фашистской Германии. Нападение Гитлера на Советский Союз было воспринято им в идеальных категориях борьбы света с тьмой, а давнее желание въехать в Москву на немецком бронепоезде и уничтожить врага тысячелетней России — мировой коммунизм — начинало казаться сбыточным. Краснов становится руководителем Главного управления казачьих войск вермахта, формирует казачьи соединения для борьбы с Красной армией. Однако ситуация лета 1918-го в 1941-м уже радикально изменилась: для советского народа война была Великая Отечественная. А Краснов меж тем напутствовал перешедших на сторону немцев соотечественников такими словами: «Казаки! Помните, вы не русские, вы, казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою, независимую от Москвы жизнь»[10]. Не случайно современный историк, обыгрывая название прославленной тетралогии Краснова, назвал публикацию о генерале-писателе «От Двуглавого орла к нацистской свастике»[11].

От предателя Власова с его Освободительной армией Краснов держался в стороне, занимаясь только казачьими соединениями. В марте

1944-го он был назначен начальником Главного управления казачьих войск при Министерстве Восточных территорий; принял деятельное участие в формировании казачьих подразделений для борьбы с белорусскими партизанами; вместе с немцами казаки подавляли и восставшую Варшаву. «Наш час настал! Задача наша — уничтожить коммунизм раз и навсегда и добиться освобождения Казачьих земель», — напутствовал старый атаман отправлявшихся на борьбу с югославскими партизанами казаков[12]. В конце войны, когда ее исход был уже предрешен, казачьи войска вместе с несколькими тысячами беженцев из России сумели пробиться в Австрию, чтобы оказаться в английской зоне оккупации. По согласованию с английским командованием десять казачьих полков вместе с семьями расположились в городе Лиенце, 27 мая они добровольно разоружились, а на следующий день 2600 офицеров во главе с генералом Красновым были вывезены эшелоном в Юденбург, якобы на встречу с английским командованием, а на деле — для передачи их советской стороне. Вскоре такая же участь постигла и рядовых казаков с их семьями.

Военной коллегией Верховного суда СССР П.Н. Краснов был приговорен к смертной казни и в январе 1947 года повешен. Так как он не был гражданином Советского Союза, то юридически предателем не считался, но, как гражданин Германии, подпадал под категорию военных преступников. Мнение Краснова о будущем России, высказанное в беседе с советским генералом, обличало в нем не только несломленный дух, но и прежнего идеалиста: «Будущее России велико! Я в этом не сомневаюсь. Русский народ крепок и упорен. Он выковывается, как сталь. Он выдержал не одну трагедию, не одно иго. Будущее за народом, а не за правительством. Режим приходит и уходит, уйдет и советская власть. Нероны рождались и исчезали. Не СССР, а Россия займет долженствующее ей почетное место в мире»[13].

П.Н. Краснов — «реальная фигура нашей истории. Важная фигура. Его взгляды, его книги — тоже факт истории. И их надо читать, это литература»[14].

Татьяна Марченко

---

[1] Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 5. С. 265.

[2] Адамович Г. Шолохов // Последние новости (Париж). 1933. 24 августа.

[3] Там же.

[4] Куприн А.И. [Рец.:] Краснов П.Н. От Двуглавого Орла к красному знамени // Общее дело (Париж). 1921. 9 мая.

[5] Гуль Р. Я унес Россию: Апология русской эмиграции: в 3 т. Нью-Йорк: Мост, 1984. Т. 1: Россия в Германии. С. 131.

[6] Адамович Г. <«Единая, неделимая» П. Краснова. — Марселина Деборд-Вальмор> // Собр. соч.: [Без нумерации томов]. Литературные беседы: «Звено» (1923–1928):

в 2 кн. / вступ. ст., сост. и примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1998. Кн. 1: «Звено» (1923–1926). С. 214.

[7] Там же.

[8] Гуль Р. Я унес Россию… Т. 1. С. 132.

[9] Галенин Б. Жизнь, творчество, смерть и бессмертие: Генерал П.Н. Краснов (10.09.1869 г. – 16.01.1947 г.) // Краснов П.Н. За чертополохом: Роман-фэнтези. М.: Фавор-XXI, 2002. С. 48.

[10] Цит. по: Казачий словарь-справочник / сост. Г.В. Губарев. Сан-Ансельмо (Калифорния), 1966. Т. 2. С. 86.

[11] Крапивин В. От Двуглавого орла к нацистской свастике // Кентавр. Исторический бестселлер. 2006. № 5.

[12] Цит. по: Смирнов А.А. Казачьи атаманы. СПб.: ИД «Нева»; М.: ОЛМА-Пресс, 2002. С. 488.

[13] Цит. по: Венков А.В., Шишов А.В. Белые генералы: Корнилов. Краснов. Деникин. Врангель. Юденич. М.: Феникс, 1998. С. 168.

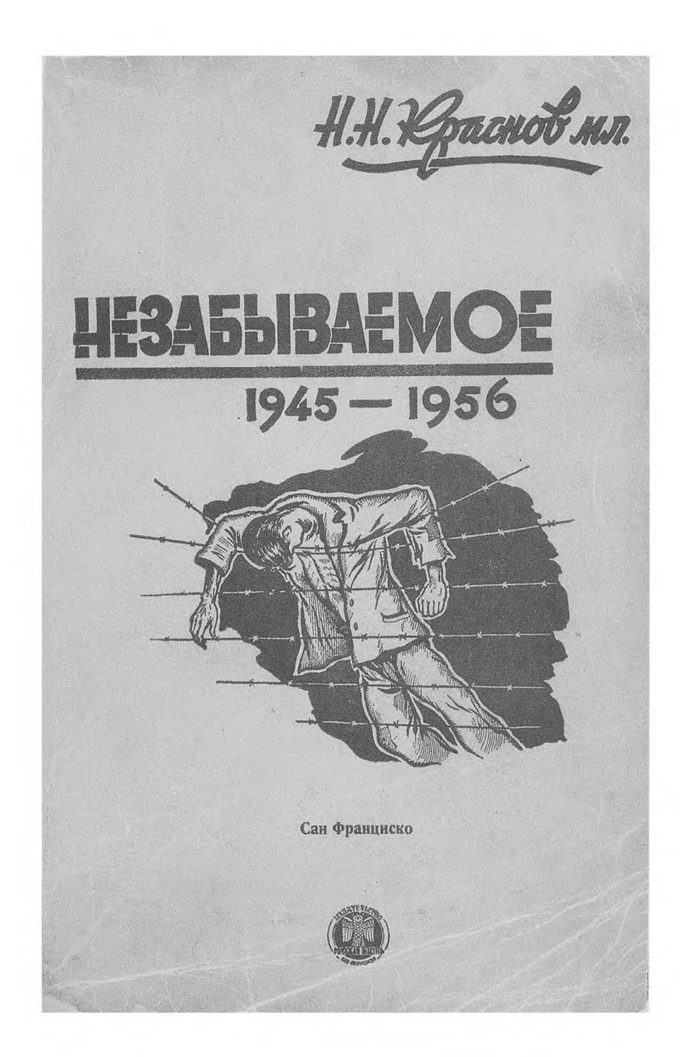
[14] Лесин Е. [Рец.:] Краснов П.Н. За чертополохом // Книжное обозрение. 2002. 17 июня. С. 7.

44

КРАСНОВ Н.Н.

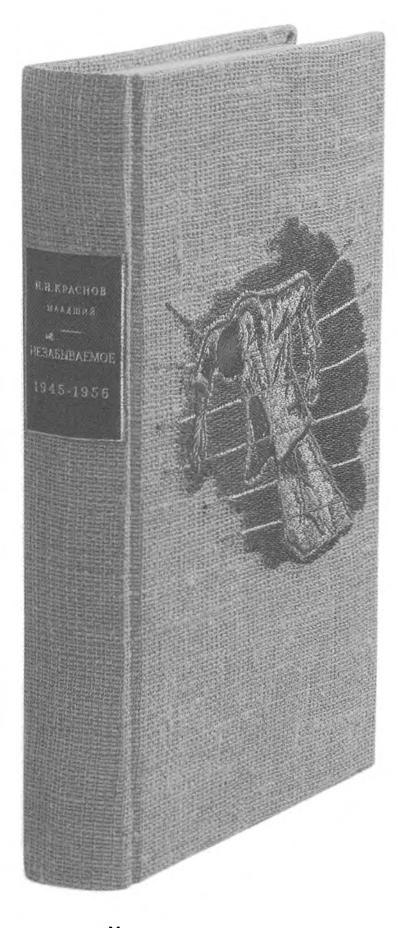
Незабываемое:
1945–1956

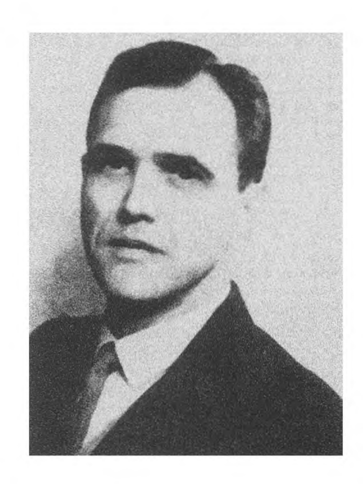
/ Николай Краснов, мл. — Сан-Франциско: Русская жизнь, 1957. — 351 с.: ил., к., портр.; 22x14,5 см.
В индивидуальном цельнотканевом переплете работы конца XX в. Иллюстрированная двухцветная издательская обложка сохранена в переплете.





Первое издание книги Н.Н. Краснова «Незабываемое» в 1957 году разошлось мгновенно. Автор мемуаров Николай Краснов-младший, последний в роде Красновых, показался читателям едва ли не выходцем с того света: его дед был расстрелян, отец и дядя погибли в заключении, сам он отбыл десятилетний срок в советских тюрьмах и лагерях. Оказавшись в новой эмиграции, Краснов-младший выполнил завещание покойного двоюродного деда — донского атамана и знаменитого писателя Петра Николаевича Краснова, высказанное при их прощании в московской тюрьме: «Не старайся никого удивить красивым слогом. Не воображай себя писателем. Если вернешься туда, на свободу… напиши правду. Только правду. Правду о коммунизме. Правду о народе. Старайся все запомнить,





Николай Краснов

заметить, запечатлеть и передай будущим поколениям чистую истину о содеянном предательстве, об измене слову, о страданиях, через которые идет Россия...»[1]

Николай Николаевич Краснов (1918–1959) происходил из известного казачьего рода, из которого вышло несколько генералов, получивших за воинские заслуги потомственное дворянство. Казачьими генералами были и его знаменитый двоюродный дед, и дядя, генерал-майор С.Н. Краснов, возглавлявший штаб Главного управления казачьих войск, а отец, Н.Н. Краснов-старший, служил в чине полковника в Генеральном штабе русской армии. В 1920 году Н.Н. Краснов-младший был вывезен родителями в Югославию. Там он получил среднее образование, окончил военно-инженерное училище, поступил в чине подпоручика на службу в югославскую армию. После нападения Германии на Югославию участвовал в боях с немцами в рядах югославской армии, в Греции попал в плен, поддался на уговоры немецкой пропаганды и отправился добровольцем на Восточный фронт, где тоже участвовал в боях и был ранен. Осенью 1943 года, по излечении, перевелся в Русский охранный корпус, затем — в Казачий стан, в штаб его походного атамана Т.И. Долманова. До апреля 1945 года сражался на Восточном фронте в рядах Бранденбургской дивизии. Был трижды награжден орденами. Очевидно, что для автора «Незабываемого» война была не Великой Отечественной, а советско-германской, то есть антибольшевистской.

В мае – июне 1945 года, выполняя обязательства Ялтинской конференции, части английской оккупационной армии передали в Лиенце бойцов Казачьего войска — вместе с их семьями — Смершу Третьего Украинского фронта. Всего, по разным оценкам, в советскую зону оккупации было передано от 35 до 50 тысяч казаков. Их выдача, проведенная англичанами как настоящая военная операция, с участием бронетехники,

сопровождалась необъяснимой жестокостью, в том числе по отношению к женщинам и детям, надругательством над православными святынями, разграблением казачьего имущества — и многочисленными жертвами (люди кидались с детьми в горную реку, предпочитая мгновенную гибель долгим мучениям).

Судьбу рядовых казаков разделили и их командиры — дед, отец, дядя Н.Н. Краснова, он сам. 28 мая 1945 года они были арестованы, а 4 июня этапированы в Москву и помещены в лубянскую Внутреннюю тюрьму. Затем, разлученный с родными — крупными военачальниками, Н.Н. Краснов-младший прошел адовы круги московских тюрем (Лефортовской, Бутырской, Краснопресненской пересыльной). По приговору Особого совещания при НКВД он получил десять лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-й. Ровно десять лет, до 12 августа 1955 года, Краснов провел в ГУЛАГе: Сиблаг, Озерлаг (общие работы на строительстве железной дороги Тайшет – Братск), Камышлаг (работы на нефтеперегонном заводе), Карлаг (работы на угольных шахтах)…

Весной 1955 года Н.Н. Краснов был переведен на бесконвойный режим и сумел установить контакты с родственниками — матерью и женой — за рубежом.

В конце 1955 года, когда в СССР впервые прибыл с визитом канцлер ФРГ К. Аденауэр, был поднят и вопрос об освобождении казаков, сражавшихся в 1941–1945 годах против сталинского режима: среди них было много «старых эмигрантов» — либо не имевших никакого гражданства, либо граждан европейских государств. Из 1430 казаков-эмигрантов, переданных советским властям в 1945 году в одном только австрийском городке Юденбурге, по объявленной в 1955 году амнистии за границу смогли выехать всего 70 человек — остальные погибли в лагерях и тюрьмах. Среди возвратившихся был и тридцатисемилетний подъесаул Н.Н. Краснов-младший — единственный из Красновых, кто сумел выжить. 20 декабря 1955 года, как иностранный подданный, он получил разрешение на выезд из Москвы — к кузине в Швецию. Там и была написана книга «Незабываемое». После безуспешных попыток переехать в США, к матери (так и не дождавшись сына, она скончалась в Нью-Йорке в 1958-м), Краснову удалось выехать в Аргентину — к жене Лилии Федоровне Вербицкой. Уже в Аргентине, 31 декабря 1956 года, им было написано предисловие к мемуарам.

Племянница «Ник-Ника» Ирина Вербицкая так описывала его новые мытарства: «Виза была у аргентинского консула в Швеции уже через две недели. Но вышла задержка, ибо по политическим причинам Югославия отобрала у него — как и у всех белых, бывших ее жителей — подданство. Он оказался бесподданным, и пришлось хлопотать специальный шведский паспорт для иностранцев. Дело осложнилось еще и тем, что пассажирские пароходы в Аргентину шли главным образом из Испании и Италии и на “бесподданный” паспорт надо было получить сперва визы в эти страны. Но наконец нашли пароход, шедший из Гетеборга в Буэнос-Айрес. Все эти задержки оказались, впрочем, полезными. Ник-Ник успел дописать в Швеции, безо всякого влияния извне, свою книгу “Незабываемое” — колоссальной силы обвинительный акт советскому режиму —



Генерал П.Н. Краснов с генералом Х. фон Паннвицем. Хорватия. 1945. Иллюстрация из книги

и смог привести в порядок свои зубы, почти полностью выбитые во время допросов на Лубянке. Я сопроводила мою тетю на пристань и крепко держала ее за талию, чтобы она не упала в воду, — так она порывалась к своему мужу, стоящему на борту с чемоданчиком шведского консула и своим советским узелком. Когда они кинулись друг к другу в объятия, я деликатно отвернулась»[2].

В Аргентине Н.Н. Краснов-младший активно включился в общественную деятельность: 25 декабря 1958 года был избран атаманом местной казачьей станицы, носившей имя П.Н. Краснова; стал одним из организаторов Русского театра в Буэнос-Айресе и основателем Общества друзей Русского театра; написал сборник очерков «Власовцы в Советском Союзе» (издать не успел)[3]. Но здоровье его было катастрофически подорвано, и 22 ноября 1959 года в Буэнос-Айресе Н.Н. Краснов скончался. Погребен он на кладбище в Сан-Мартине.

Хронологически книга «Незабываемое» охватывает период с конца мая 1945-го по конец декабря 1955 года. В ней рассказывается о выдаче англичанами казаков советским властям, об их пребывании в советских тюрьмах и лагерях. То, о чем в конце 1950-х годов в русской эмиграции могли лишь догадываться, впервые рассказал очевидец, сумевший выжить в системе ГУЛАГа и вырваться на свободу.

«От моих воспоминаний нельзя ожидать яркости обликов, четкости фразы только потому, что я ношу фамилию Краснов и являюсь внучатным племянником талантливого писателя, барда России и казачества, Петра Николаевича Краснова, — признавал в предисловии сам автор мемуаров. — Я постарался вложить в них искренность и правдивость и быть маленьким летописцем событий, очевидцем которых я был, начавшихся в Лиенце и для меня закончившихся моим чудесным возвращением на свободу».

Читатели, как и рецензенты, разошлись во мнениях: одни «Незабываемое» с восторгом приняли, другие против книги резко ополчились, одни увидели в ней правду об СССР, другие — антизападную пропаганду. Но несомненно: книга стала сенсацией. Она была переведена на английский, итальянский, немецкий языки, а в 1960 году получила премию Американской академии Лос-Анджелеса по связям с общественностью (American





«Трудовые будни» концлагерников в «самой свободной стране мира»

Типичный вид заключенного в спецлагерях СССР

Рисунки Н.Н. Краснова. Иллюстрации из книги

academy of public affairs of Los Angeles) (по-английски воспоминания Н.Н. Краснова вышли в США под названием «The Hidden Russia»).

Ажиотажный спрос на эту книжку о советской «каторге» подтолкнул еще один издательский дом к ее публикации — во втором издании[4] она была снабжена восемнадцатью раритетными фотографиями. Автор уже не увидел этого издания.

«Хорунжий Николай Краснов вынес из концлагеря утроенную ненависть к коммунистам и удесятеренную любовь к русскому народу, который весь остаток своей короткой жизни страстно защищал и восхвалял. Если бы за границей его не ждали родная мать и горячо любимая женщина, он так и остался бы жить в СССР: на положении бесправного ссыльного, но в среде своего народа. Так он мне говорил. И было невозможно ему не поверить», — свидетельствует Ирина Вербицкая[5]. А Р.Б. Гуль, некогда участник Ледяного похода, автор многотомных воспоминаний со знаменитым названием «Я унес Россию», после Второй мировой войны живший в США, недоумевал: почему патриот Краснов «все-таки вернулся на гнилой и презираемый Запад»? Почему его книга оказалась «соткана» из множества «противоречий»?[6] Р.Б. Гуль оказался одним из тех, кого в годы начавшейся «холодной войны» потряс патриотический настрой антибольшевика Н.Н. Краснова. Заметив, что интерес к мемуарам Н.Н. Краснова «ограничен», Гуль невольно обнаруживает этим замечанием, что в послевоенной «белой» эмиграции произошел раскол. С одной стороны, Краснов-младший «дал исторически ценное показание о трагической и никаким военным кодексом не предусмотренной выдаче

военнопленных», с другой — его мемуары в литературу о советских тюрьмах и лагерях «ничего особо нового не вносят». Неприятнее всего Гуля поражает пафос книги: вместо «горячей, безусловной ненависти к тем, кто поработил миллионы людей, превратив их в рабов, в скот, в трупы», Гуль обнаруживает в ней страницы, дышащие любовью к России. Россия Краснова, «несмотря ни на что, хороша», «русские люди — замечательные», так что, оказывается, «даже в болоте, в ядовитой плесени коммунизма живет человеческая душа, жив Русский Человек»[7]. «Непонятную книгу написал непримиримый антибольшевик Н. Краснов»[8], — заключает Гуль свой отзыв. И не замечает — или предпочитает не заметить, — что в «Незабываемом» завершилась гражданская война казачьего рода Красновых со своим народом. Россия оказалась для них одна; по выражению генерала П.Н. Краснова — «единая неделимая».

Татьяна Марченко

---

[1] Краснов Н.Н., мл. Незабываемое: 1945–1956. Сан-Франциско: Русская жизнь, 1957. С. 7–8.

[2] Вербицкая И. Неизвестные страницы из жизни Николая Краснова // Наша страна (Буэнос-Айрес, Аргентина). 2007. № 2812.

[3] См.: Кокунько Г. Николай Краснов. Незабываемое // Станица (М.). 2003. № 39 (март).

[4] Краснов Н.Н., мл. Незабываемое. Нью-Йорк: Кн. магазин Р.М. Васильева, [1959?]. — 347 с.; ил. карты, портр.

[5] Вербицкая И. Неизвестные страницы из жизни Николая Краснова.

[6] Гуль Р. [Рец.:] Н.Н. Краснов. Незабываемое: (1945–1956). Изд. газ. «Русская жизнь». Сан-Франциско, 1957 // Новый журнал (Нью-Йорк). 1958. № 53. С. 284.

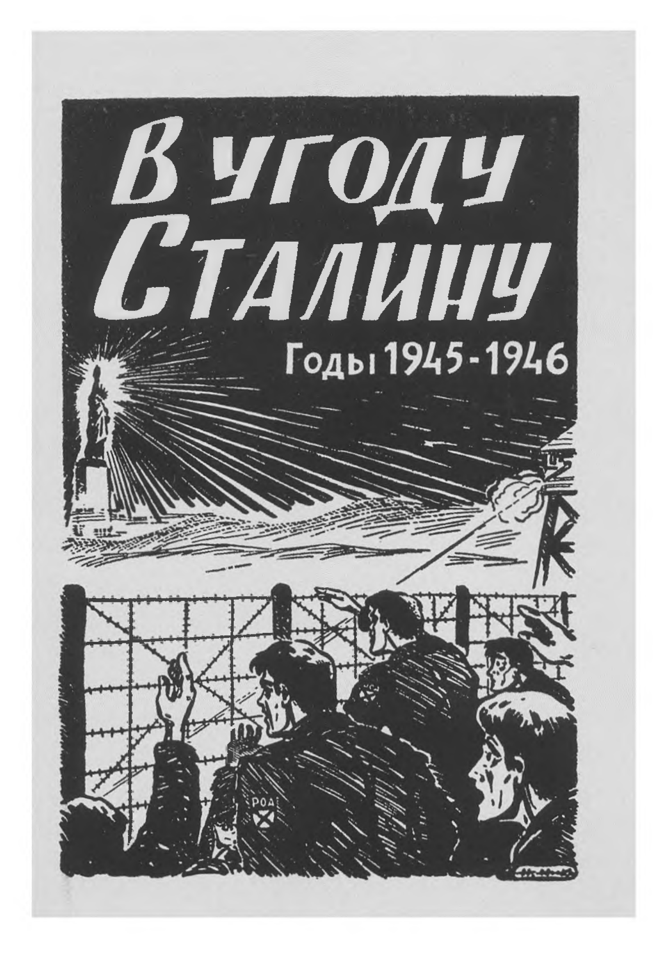
[7] Там же. С. 282.

[8] Там же. С. 283.

45

[КУЗНЕЦОВ Б.М.]

В угоду Сталину:
Годы 1945–1946:
[в 3 ч.]



/ [авт.-сост. Б.М. Кузнецов]. — L. (Canada): СБОНР, 1968. — [2], 94 с.: ил.; 22,7x15,5 см. 1-е изд.: Нью-Йорк: Военный вестник, 1956–1965. Ч. 1: Платтлинг — Бал Айблинг — Документы. — 1956. — 125 с. — Ч. 2: Кемитен — Дахау — Форт Дикс — Судьба первой дивизии РОА. — 1958. — 125 с. — Ч. 3: Итоги выдачи 1945–1946 гг. — Лагерная жизнь пленных — Литературные произведения пленных — Статья об «Очеловечивании государства» — Ялтинское соглашение (пункты). — 1965. — 96 с. — [250 экз.]
В иллюстрированной цветной издательской обложке.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОЮЗА БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ (СБОНР)
S.B.O.N.R. — P.O. BOX 411, STATION "B", LONDON, ONTARIO
CANADA

Борис Михайлович Кузнецов родился 22 августа 1892 года. Он был сыном и внуком «старых кавказских офицеров»[1]: его дед участвовал в штурме Гуниба в 1859 году и пленении имама Шамиля; в том же Самурском пехотном полку с 1873 года служил (по окончании Тифлисского пехотного юнкерского училища) офицером его сын, отец Бориса Михайловича. С раннего детства Борис был знаком с бытом маленьких гарнизонов русской армии, разбросанных в Дагестане, впитывал местный колорит и крепкие традиции русских кавказских полков. Образование получил в Орловском Бахтина кадетском корпусе (1909) и Константиновском артиллерийском училище (1912). Обычная судьба сына русского офицера.

По окончании училища Борис Михайлович распределяется в 20-ю артиллерийскую бригаду, на родной Кавказ. Незадолго до Первой мировой войны его переводят в 52-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую в Темир-Хан-Шуре (нынешний Буйнакск), где к тому времени собралась вся семья,

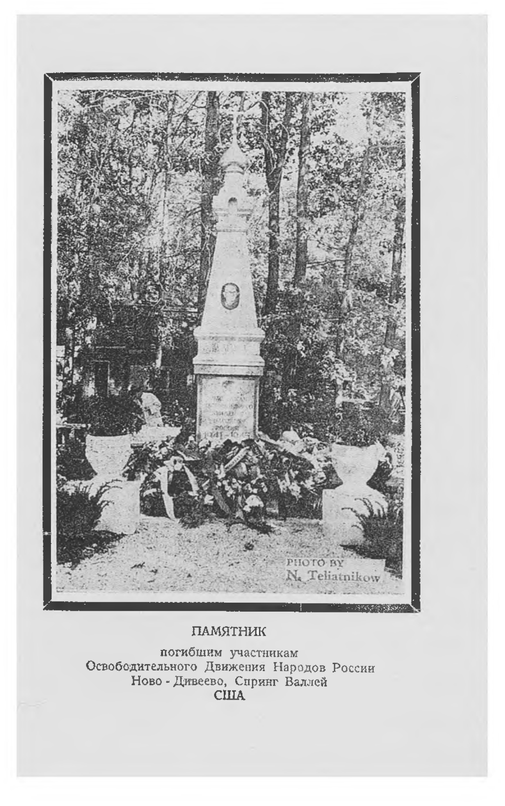
заботы о которой после смерти отца легли на плечи молодого подпоручика. Летом 1914 года он командируется в школу летчиков-наблюдателей при Карском крепостном авиационном отряде, но мобилизация не дает закончить курс, и Б.М. Кузнецов возвращается в свою 52-ю артиллерийскую бригаду, в рядах которой отправляется на фронт. Три года боев. Потом — 1917 год, революция, развал фронта… Капитан Кузнецов возвращается в ставшую родной Темир-Хан-Шуру. С целью противодействия большевикам в Дагестане формируются части под командованием князя Тарковского. Кузнецов командует в этих войсках конно-горной батареей. После прихода в Дагестан частей Добровольческой армии вступает в ее ряды и продолжает службу в 21-й артиллерийской бригаде сперва Добровольческой армии, а затем Вооруженных сил Юга России и Русской армии. Уже в чине подполковника покидает Россию в дни эвакуации армии Врангеля из Крыма.

В эмиграции живет сначала во Франции, затем — в США. Ведет активную деятельность: член Общества офицеров-артиллеристов, секретарь Объединения константиновцев-артиллеристов в Северо-Американских Соединенных Штатах, член Северо-Американского отдела Русского общевоинского союза (РОВС), один из создателей книгоиздательства «Военный вестник». Составитель сборников «В угоду Сталину», автор книги «1918 год в Дагестане (Гражданская война на Кавказе)» (Нью-Йорк, 1959) и ряда статей Б.М. Кузнецов скончался 19 июня 1980 года.

XX век оказался необычайно богат на массовые человеческие трагедии. Безусловно, к их числу стоит отнести и насильственные репатриации на исходе и по окончании Второй мировой войны, когда западные союзники выдавали СССР на расправу как военнослужащих «восточных формирований», так и гражданских лиц. Бывшие советские граждане знали, что ожидать беспристрастного суда или справедливого разбирательства им не приходится, и потому предпочитали порой «возвращению на Родину» самоубийство. Но это не могло остановить «носителей демократических ценностей» — при помощи прикладов и дубинок они отправляли в «объятья Родины» не только взрослых мужчин, но и стариков, и женщин, и детей. Выгода и «политическая целесообразность» заставляли их закрывать глаза на правила обращения с военнопленными и гражданскими лицами.

Первая часть сборника «В угоду Сталину» была выпущена к десятилетию насильственной репатриации русских военнопленных из лагеря Платтлинг (случившейся 24 февраля 1946 года) и стала одной из первых исторических работ, посвященных Русскому освободительному движению в годы Второй мировой войны и его трагическому финалу. Материалы для книги собирались на протяжении двух лет — это «личные переживания и мемуары тех несчастных русских людей, которые жестоко поплатились за свою попытку поднять оружие против большевистской власти, поработившей их Родину»[2], а также документы, составленные обрекаемыми на смерть чинами Русской освободительной армии.

Издание сборника материалов по насильственной выдаче СССР бывших советских граждан можно считать еще одной попыткой старой русской эмиграции первой волны теснее сплотиться с новой эмиграцией волны второй и интегрироваться с ней для продолжения борьбы с коммунистическим режимом.



Памятник погибшим участникам Освободительного движения народов России. Новодивеево (США). Конец 1940-х – начало 1950-х годов (?). Фото Н. Телятникова из книги «В угоду Сталину»

Книга получила широкую известность среди русской военной эмиграции, желавшей увидеть в бывших противниках новых союзников. В прессе отмечалась аккуратность ротаторного издания — немаловажный аспект в то время, когда многие эмигрантские издания были вынуждены прекратить свой выход, а новые еще не могли себе позволить «типографский вариант». Один из первых отзывов о сборнике — отзыв Георгия Месняева на страницах издания Общекадетского объединения «Военная быль»: «Он состоит из очень тщательно собранных человеческих документов и документов официальных, относящихся к этому трагическому событию. Выписки из дневников, свидетельства, показания и записи отдельных лиц (особенно потрясающие записки генерала М.А. Меандрова, казненного вместе с генералом А.А. Власовым), чрезвычайно ярко рисуют Платтлингскую трагедию, происшедшую на глазах равнодушного мира в 1946 году, а также и высоту духа, проявленную многими простыми русскими людьми, пострадавшими за Правду»[3]. Вторит Месняеву и «коллега» Б.М. Кузнецова — генерал В.Г. Науменко на страницах, пожалуй, главного журнала русского зарубежного воинства «Часовой»:

«Книга большого формата в 125 страниц, напечатана на ротаторе, в типографской обложке. Издана весьма аккуратно.

Первые 60 страниц дают численный состав группы генерала Меандрова (РОА), ее передвижение с мест формирования (Хойберг и Мюзинген) и ряд воспоминаний и записок лиц, переживших трагедию.

На последующих 65 страницах напечатаны 35 документов, относящихся к выдачам, охватывающим период от мая 1945 до 14 мая 1946 г.

Материал подобран и систематизирован весьма тщательно, и пред глазами читающего книгу ярко встают переживания людей, судьба которых уже была решена, но которым хотелось верить, что они избегнут выдачи Советам.

Книга эта дает ясную картину бесчеловечных выдач, которым, как и в Лиенце при выдаче казаков, предшествовали заверения о том, что о выдаче не может быть и речи.

Этот большой исторической важности труд Б.М. Кузнецова надо прочесть всем русским людям как предупреждение о возможностях будущего»[4].

Положительные рецензии вышли также в газетах «Православная Русь» (Нью-Йорк), «Русская мысль» (Париж), «Русская жизнь» (Сан-Франциско), «Россия» (Нью-Йорк), «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и др. В частности, М.М. Спасовский отметил в газете «Наша страна» (Аргентина): «Такие книги, как "В угоду Сталину", надо не только иметь, но бережно хранить, дабы всегда иметь под рукой документальный материал...»[5] Именно в наличии этого «документального материала» и есть главная ценность сборников Б.М. Кузнецова, ценность непреходящая. Сухие, казалось бы, документы и дневники создают яркую картину человеческой трагедии: прожив четверть века в СССР, люди знали, что на родине их ждет расправа. Десятки тысяч «советских граждан» готовы были навсегда распрощаться с родными и близкими, не увидеть более родных мест, даже проститься с жизнью, но добровольно в страну, «где так вольно дышит человек», не возвращаться.

Медвежью услугу оказал бывшим чинам РОА и генерал Меандров: как видно из приведенных в сборнике документов, до конца веря в то, что американцы признают русских антикоммунистов если не возможными союзниками, то политическими беженцами, он настаивал на поддержании дисциплины и на сохранении армейской структуры, что препятствовало частным порядком покидать лагеря военнопленных и перемещенных лиц.

Вторая часть сборника, вышедшая под тем же названием спустя год, была посвящена выдаче русских военнопленных советским властям в других местах: Кемптене, Дахау, форте Дикс. Вошли сюда и материалы о выдаче в Платтлинге, о 1-й дивизии РОА, не попавшие в первый сборник. Здесь также указывается, что при насильственной репатриации часто крайне недостойно вели себя американские солдаты; например, в Кемптене 12 августа 1946 года они выволакивали молящихся прямо из храма, церковь подверглась их разгрому, алтарь в том числе, а священник был избит.

Третья часть сборника — оставшаяся практически без отзывов — была выпущена через большой промежуток времени, уже в 1965 году, и ныне представляет собой огромную библиографическую редкость, отсутствуя даже в крупнейших книжных собраниях. В последующие переиздания его материалы не включались.

Составленные Б.М. Кузнецовым сборники материалов стали одним из первых (наряду с работами атамана Кубанского казачьего войска генерала В.Г. Науменко) документальных свидетельств насильственной репатриации, предпринятой западными союзниками. Причем если Науменко основное внимание уделил выдачам, предпринятым британскими военными, то материалы, собранные Кузнецовым, в первую очередь отражают «деятельность» военнослужащих США.

О ценности и значимости материалов сборников свидетельствует как их неоднократное переиздание[6], так и тот факт, что ни одно се-

рьезное исследование, посвященное вопросам репатриации советских граждан или же заключительному этапу существования Вооруженных сил Комитета освобождения народов России, не обходится без их использования.

Андрей Марыняк

---

[1] Кузнецов Б.М. Красное Село, 6 августа 1912 года // Военная быль (Париж). 1971. № 108. С. 15.

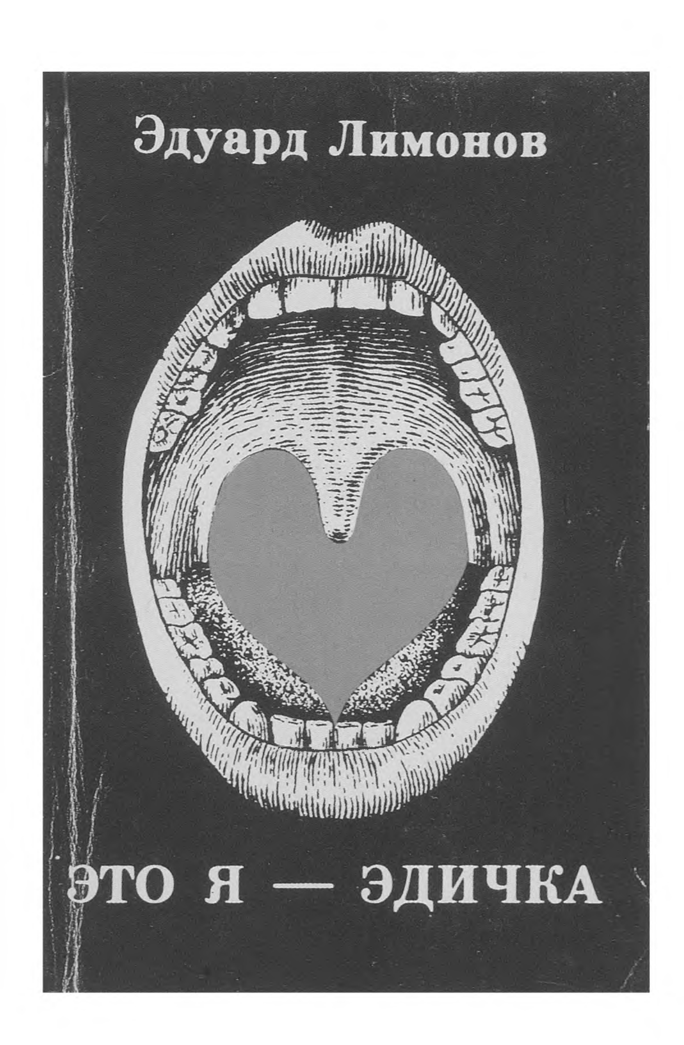
[2] [Кузнецов Б.М.] В угоду Сталину. Нью-Йорк, 1956. Ч. 1. С. 2.

[3] Г.М. <Г. Месняев> [Рец.:] Б.М. Кузнецов — «В угоду Сталину». Годы 1945–1946. Часть 1-я // Военная быль. 1956. № 21. С. 28.

[4] Науменко В. [Рец.:] В угоду Сталину. Годы 1945–1946 // Часовой (Брюссель). 1956. № 364. С. 19.

[5] Введение // [Кузнецов Б.М.] В угоду Сталину. Годы 1945–1946. Нью-Йорк, 1958. Ч. 2. С. 1.

[6] [Кузнецов Б.М.] В угоду Сталину. L. (Canada): Изд-во СБОНР, 1968; [Кузнецов Б.М.] В угоду Сталину. Нью-Йорк: [Б.и.], 1993.



46

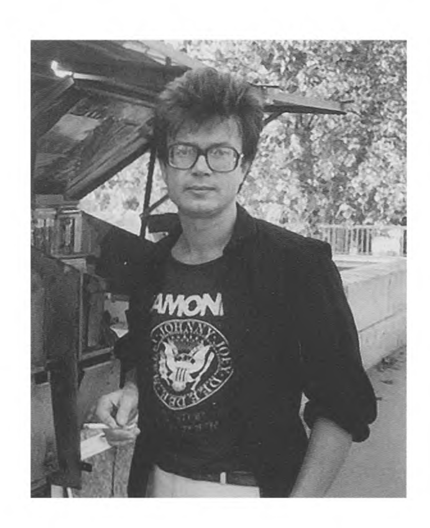
ЛИМОНОВ Э.

Это я — Эдичка

/ Эдуард Лимонов; [обл. В. Бахчаняна]. — N. Y.: Index publishers, 1979. — [2], 282, [2] с.; 21,5x14 см. В иллюстрированной цветной издательской обложке с портретом автора на четвертой сторонке.

INDEX PUBLISHERS

Эдуард Лимонов (Эдуард Вениаминович Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. Школьные годы провел в Харькове. После школы работал монтажником-высотником, сталеваром, учился в Харьковском педагогическом институте. С 1965 года начал заниматься литературой и писать стихи, отмеченные влиянием русского поэтического авангарда, прежде всего Велимира Хлебникова. Входил в круг харьковской литературной богемы, где довольно близко сошелся с такими впоследствии известными личностями, как В. Бахчанян и Ю. Милославский. В 1967 году переехал жить в Москву. Работал портным, посещал литературный семинар Арсения Тарковского. Вместе с поэтами Л. Губановым, В. Алейниковым и Ю. Кублановским входил в поэтическую группировку «СМОГ» («Смелость, Мысль, Образ, Глубина»), был близок также с «лианозовцами» — в особенности с их лидером Е. Кропивницким. Поэт и прозаик Г. Сапгир вспоминал: «...и примкнувший к ним Лимонов». Его «стихи были свежи, раскованны,



Эдуард Лимонов. Париж. 1980-е годы

“обэриутны” и в общем близки нам — лианозовцам. Мы коротко сошлись, как писали в XIX веке. Надо было выяснить позиции друг друга и, шагая по Москве, мы решили, что наш идеал в поэзии — Катулл и что столица похожа на Древний Рим времен упадка. Совершенно сам по себе, безумного честолюбия, поэт жаждал признания столичной богемы. Лимонов был беден и неприхотлив, но любил пофрантить. Поэт шил брюки знакомым и стал довольно широко известен, как говорится, в узких кругах»[1].

В это время Лимонов начал писать и короткие рассказы, выпустил несколько самиздатских сборников своих стихов, которые сам печатал на машинке и переплетал в простой упаковочный картон. В 1971 году он познакомился со своей первой женой — поэтессой и моделью Еленой Щаповой, в 70-е годы одной из центральных фигур московской богемы.

Не приняв предложение КГБ о секретном сотрудничестве, в 1974 году Лимонов эмигрировал на Запад. Жил в Италии, затем — в США. В 1975-м начал работать корректором в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Писал в эмигрантской прессе, но после ряда статей с жесткой критикой западного общества ему стали отказывать в публикациях. В 1976-м советская газета «Неделя» перепечатала из «Нового русского слова» статью Лимонова «Разочарование» — о разочаровании в ценностях западной цивилизации, — после чего из «Нового русского слова» писателя уволили.

В США Лимонову пришлось расстаться с женой. После разрыва, в июле – октябре 1976 года он написал роман «Это я — Эдичка». Позже, в 1989-м, в Париже он вспоминал: «...летом 1976 года в жарком Нью-Йорке на Мэдисон-авеню жил человек по имени Эдичка. Был он очень одинок по причине того, что “выпал” из всех коллективов, в которых состоял до этого. Из семьи (самого маленького коллектива), из эмигрантской газеты (где работал), Старой Родины (большая и безразличная, она спала на другом боку глобуса), из Новой Родины (большая и безразличная, она видна была из окна на Мэдисон). Выпав из всех коллективов, человек испугался и завыл. Так как Эдичка обладал определенными литературными навыками и талантом, то вопли его сложились в литературное произведение»[2].

За ним последовали новые книги: сборник рассказов «Чужой в незнакомом городе» (1985), романы «Палач» (1986), «Смерть современных героев» (1992), «Укрощение тигра в Париже» (1994). Переведенные на многие языки, они принесли Лимонову литературную славу.

В 1980 году Лимонов переезжает из Америки в Париж. В 1987-м получает французское гражданство. После перестройки возвращается на родину, начинает публиковаться в Советском Союзе. В 1992-м он

восстанавливает российское гражданство. С 1990 года писатель активно работает в жанре политической публицистики, а затем становится публичным политиком. Осенью 1994-го Лимонов с единомышленниками по политическим взглядам создает Национал-большевистскую партию, более известную как партия «лимоновцев» (ныне в России запрещена).

На протяжении всей своей литературной и политической биографии Лимонов остается бунтарем: для него характерны эпатаж, нарушение общепринятых табу, разрушение этических и эстетических канонов, глумление над святынями и ценностями. «Маргинал, пария, изгой, он ухитрился восстановить против себя культурно-общественный истеблишмент трех главных городов мира, где обитал, — Нью-Йорка, Парижа и Москвы», — отмечает В. Соловьев[3].

В первом романе «Это я — Эдичка», название которого апеллирует к заглавию книги Рокуэлла Кента «Это я, Господи», писатель обращается к «взрывному, скандальному, “грязному” реализму»[4]. Сюжет строится вокруг трех главных мифов — миф о Герое, миф о Городе и миф о Любви. Фабула сосредоточивается вокруг реализации трех целей — узнать Город, найти себя и пережить Любовь. Это роман-исповедь, путеводный дневник. Его герой — Эдичка, русский эмигрант из Нью-Йорка, удостоившийся чести увидеть «нагое, бессмысленное и жестокое, — подлинное лицо жизни, без вуали иллюзий»[5], живущий на социальное пособие в грязном отеле среди таких же эмигрантов, как и он сам, бежавших из России в надежде на счастливое будущее, слабых, потерянных, надломленных жизнью людей. На этом фоне развивается история жизни Эдички. Его портрет сложен из пороков поколения. Яркий мужчина в туфлях на высоком каблуке, в кружевной рубашке, белом жилете, он, пытаясь изменить свою жизнь, адаптироваться в чуждом ему буржуазном обществе, меняет места работы — басбой в ресторане, помощник официанта, грузчик, преподаватель, спутник богатой женщины…

Судьба Эдички принимает трагический оборот — не выдержав нищей эмигрантской жизни, от него уходит жена — красавица Елена. Тяжело переживая ее уход, он всячески пытается заглушить боль потери. И приходит к выводу, что, поскольку «бабы вызывают отвращение», выход — приобщится к мужской любви. Роман наполнен натуралистическими описаниями откровенных сцен, в том числе гомосексуальных, в нем часто встречается ненормативная лексика.

Впервые сокращенный вариант романа появился в парижском журнале «Ковчег» (1977. № 3). Первая глава была также опубликована в израильской газете «Неделя» (декабрь того же года). В 1979-м, после того как писателю отказали 36 наиболее крупных американских издательств, роман был-таки опубликован стараниями А. Сумеркина, представлявшего тогда еще только начинавший издательское дело коллектив «Руссики». Во избежание «остракизма эмигрантской среды» и дабы не лишиться жизненно необходимой рекламы в русских газетах «“Руссику” пришлось спрятать под личину “Индекс Пресс”»[6]. Так в конце октября появилось первое отдельное издание произведения. Обложку к нему выполнил художник-карикатурист и друг Лимонова Вагрич Бахчанян (кстати, он

и был автором знаменитого псевдонима Лимонов, который придумал еще в 1960-е в СССР).

Скандальная книга имела успех и была переведена на различные языки. В ноябре 1980 года она вышла по-французски в издательстве «Ramsay» под названием «Русский поэт предпочитает больших негров». Сам Лимонов рассказывал о том, как родилось это название: «Оба усатых издателя утверждали, что “Сэ муа — Эдвард” ничего не говорит ни уму ни сердцу французского покупателя… Несколько часов проломав головы над проблемой, они ни к чему не пришли, как вдруг... взгляд Эдички упал на один из томиков библиотеки издателя. Книга о Мэрилин Монро называлась, подобно известному фильму с участием актрисы, — “Джентльмены предпочитают блондинок”. Предлагаю назвать мою книгу “Я предпочитаю больших негров”! — воскликнул автор Эдички (именно воскликнул, как и все они, трое, на том заседании и на всех заседаниях того времени)»[7]. С таким же вариантом названия роман вышел в 1985 году в Италии[8]. Примечательно, что в Германии роман был опубликован в 1984-м под названием «Fuck off, America»[9].

Книга получила разные оценки критиков и современников. Лимонов вспоминал, что читающей публикой роман был воспринят как социально-политическое произведение: «Когда “роман” “Это я, Эдичка” вышел в 1979 году, он был расценен читателями именно как социально-политическая книга. Эмигранты обвинили меня в том, что я продался КГБ»[10]. «Рецензии в печатных органах “нормальных” (западных, как их обыкновенно называют) стран резко делились на положительные и злобные. Парижская “Либерасьен” писала что “у русских наконец-то появился П и с а т е л ь. До сих пор из СССР к нам прибывали лишь добрые намерения... Лимонов забавен, быстр, жесток...” Однако и остро враждебная статья в “Вашингтон пост”, не желая того, по-своему вознесла автора замечанием о том, что “...он обрушивается против приютившей его страны (ЮэСЭй) с зилотской яростью, которой позавидовал бы Ленин”. “Уолл-стрит джорнэл” открыл автору “Эдички” глаза на то, что он “смел викторианскую паутину с русской литературы”. (Паутину или нет, но автору Эдички суждено было первому разрушить сразу целый набор табу, до тех пор соблюдавшихся благоговейно вышеупомянутой литературой в паутине. Он не только породил нового героя, но и написал о нем, воспользовавшись живым разговорным языком, а не на обессилевшей литературной латыни. Ему удалось создать культовую книгу, посчастливилось стать the absolute beginner, кем-то вроде Элвиса, если перевести этот подвиг на шкалу ценностей поп-музыки)»[11].

Нелицеприятны были оценки И. Бродского, с которым у Лимонова не сложились отношения. Л. Лосев в опубликованной в серии «ЖЗЛ» биографии Бродского писал: «…когда речь заходила о Лимонове, Бродский был краток: “Шпана”»[12]. В ответ на просьбу редактора дать пару рекламных слов на обложку «Это я — Эдичка» Бродский с ходу стал диктовать по телефону: «Смердяков от литературы, Лимонов…»[13] Описывая этот эпизод, В. Соловьев подытоживал: «Пусть Смердяков от литературы, но Лимонов сам обнаруживает в себе столько монструозного, что уже одно это говорит о его писательской смелости. Он и в самом деле похож на ге-

роев Достоевского, но, в отличие от Бродского, я ставлю это ему в заслугу. В героях Лимонова — полагаю, и в нем самом — гнидства предостаточно, он падок на все, что с гнильцой, с червоточиной, но пусть бросит в него камень тот, кто чист от скверны и сам без греха. Автобиографическую прозу Лимонова нельзя принимать за чистую монету. Литературный персонаж, пусть даже такой вопиюще исповедальный, как Эдичка, равен его создателю Эдуарду Лимонову не один к одному. Вопрос будущим историкам литературы: где кончается Эдичка и начинается Лимонов? Кто есть Лимонов — автобиограф или самомифолог? Что несомненно: из своей жизни он сотворил житие антисвятого. Как отделить зерна от плевел, правду от вымысла? Ради литературы он готов возвести любую на себя хулу»[14].

На схожесть с героями Достоевского указывает и литературовед С. Иезуитов: «...в подтексте романа мерцает образ героя "Записок из подполья" Ф. Достоевского. Самохарактеристика подпольного человека у Достоевского и "подонка" Эдички совпадают: они злобны, агрессивны, эгоистичны "от слабости", оба "наговаривают" на себя и наслаждаются своим отчаянием. Литературный контекст ведет далее к трагической фигуре Григория Мелехова, к героям-эмигрантам Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Г. Миллера, Г. Газданова...»[15]

Но это еще и книга о большой любви, о ревности безусловно талантливого автора! Несмотря на нецензурную лексику и «чернуху», слог завораживает читателя с первой строчки.

В СССР роман ходил в самиздатских списках. Г. Сапгир писал: «Лучший из романов, по-моему, "Это я — Эдичка". Когда я получил его по каналам самиздата, еще на машинке, я сразу написал ответ, в котором были такие слова: "Это кровоточащая повесть о любви". Того же мнения я и теперь»[16]. Ему вторил М. Шемякин: «Лимонов — человек одной грандиозной книги, которая буквально написана кровью...»[17] А главная героиня романа Елена Щапова опубликовала в 1984 году в Нью-Йорке книгу-ответ — «Это я, Елена»[18].

Критик М. Свердлов писал: «Настоящую причину высокого писательского статуса Эдички среди интеллектуалов стоит искать все же не столько в нем, сколько в головах самих интеллектуалов. Важно, что Лимонов вовсе не одинок в своем эгоцентризме: роль личности сегодня велика как никогда — не самой личности, а ее разговоров о себе. Не находя опоры ни в прежних абсолютах, ни в "круговой поруке вкуса и мастерства", многие сегодня цепляются за свое "я" как за единственную реальность и за самоутверждение как единственное дело жизни. Спасаясь от рефлексии и "комплексов", они больше всего нуждаются в уроках бесстыдства: можно полюбить себя черненькими, со всей дрянью, можно теперь в чем угодно признаться и не покраснеть — главное, чтобы это было "мое"»[19].

«Лимонов талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонов — прямой базаровский отпрыск», — обобщал С. Довлатов. Его «все ругают» и «все читают»: «талант — большое дело»[20].

На родине роман был издан в 1991 году литературно-художественным журналом «Глагол», редактором которого был друг Лимонова А. Шаталов.

На обложке книги, выпущенной «Глаголом», значится: 1990, № 2. Но, по сути, журналом «Глагол» никогда не был: Шаталов печатал отдельные книги, но под сквозной нумерацией. Это — вынужденный шаг, ибо тогда зарегистрировать частное издательство было гораздо сложнее, чем периодическое издание.

Текст романа был отпечатан в типографии ЦК компартии Латвии тиражом 150 000 экземпляров — российские типографии не брались печатать текст, наполненный ненормативной лексикой и порнографическими сценами.

Сейчас роман переведен на 36 языков.

Констанция Сафронова

---

[1] Сапгир Г. Об авторах и группах // Самиздат века: [сб.] / сост. А. Стреляный и др.; [вступ. ст. Л. Аннинского]. М.: Полифакт-МИГ; Минск: Полифакт, 1997. С. 573.

[2] Лимонов Э. The absolute beginner, или Правдивая история сочинения «Это я — Эдичка» // Собр. соч.: в 3 т. М.: Вагриус, 1998. Т. 2. С. 292.

[3] Соловьев В. В защиту немолодого подростка: Казус Лимонова // Литературная газета. 2003. 19 марта. С. 3.

[4] Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Био-библиографический словарь: в 3 т. / под ред. Н.Н. Скатова. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 2. С. 434.

[5] Лимонов Э. The absolute beginner… С. 293.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Limonov E. Il poeta russo preferisce I grandi negri. Milano: Frassinelli, 1985.

[9] Limonov E. Fuck off, America. München: Wilhelm Heyne Verl., 1984.

[10] Лимонов Э. «В плену у мертвецов» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М., 2009. — Режим доступа: http://nbp-info.com/new/lib/lim_vplenu/14.html, свободный. — Загл. с экрана.

[11] Он же. The absolute beginner… С. 299.

[12] Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. 5-е изд. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 311.

[13] Соловьев В. Post Mortem: Запретная книга о Бродском. М.: Рипол классик, 2006. С. 63.

[14] Там же. С. 64.

[15] Русская литература XX века… Т. 2. С. 435.

[16] Сапгир Г. Об авторах и группах // Самиздат века. С. 573.

[17] Михаил Шемякин: «Когда Лимонов поцеловал меня в туалете, я спросил: “Лимон, что с тобой?”» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М., 2009. — Режим доступа: http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=107229, свободный. — Загл. с экрана.

[18] Де Карли Е. Это я, Елена: (Интервью с самой собой) / Графиня Щапова De Carli; под ред. К.К. Кузьминского. [N. Y.:] Подвал, 1984.

[19] Свердлов М. «Полюбите себя...»: Эдуард Лимонов и его почитатели. Три слова и их вариации // Вопросы литературы. 2005. № 6. Цит. по: [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М., 2009. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sv2.html, свободный. — Загл. с экрана.

[20] Малоизвестный Довлатов: [сб. произведений авт. и воспоминаний о нем / сост. А.Ю. Арьев; худож. А. Флоренский]. СПб.: Журнал «Звезда», 1995. С. 238.

47

ЛИФАРЬ С.М.

Дягилев и С Дягилевым

/ Сергей Лифарь; [обл. М. Добужинского]. — Париж: Дом книги, 1939. — 502 с.: ил., 31 л. ил., 1 л. фронт. (портр.); 24x16 см. — [615 нум. экз.] Экз. № 125.
В тканевом владельческом переплете. Иллюстрированная цветная издательская обложка сохранена в переплете.

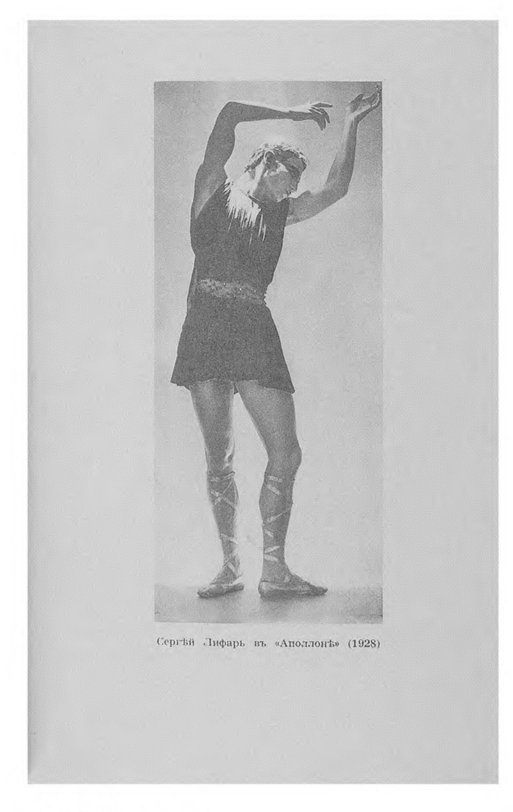


„ДОМЪ КНИГИ" — ПАРИЖЪ

Сергей Михайлович (Серж) Лифарь (1905–1986) — солист «Русского балета» С.П. Дягилева, хореограф и балетмейстер, творческая жизнь которого связана с Францией, — родился в Киеве, в семье чиновника Департамента водного и лесного хозяйства, где сохранялись грамоты с восковыми печатями, данные Лифарям украинскими гетманами и кошевыми атаманами войска Запорожского. В детстве Сергей пел в хоре Софийского собора, прислуживал в алтаре, учебу в киевской гимназии совмещал с музыкальными занятиями и уроками в балетной студии Брониславы Нижинской, сестры Вацлава Нижинского.

Встреча Лифаря с Дягилевым состоялась 13 января 1923 года в Париже, куда Б. Нижинская, эмигрировавшая из России в 1922 году, вызвала своих лучших учеников. В антрепризе «Русский балет Дягилева» Лифарь прошел путь от артиста кордебалета до первого солиста и балетмейстера. Он исполнял главные партии в балетах «Жар-птица», «Аполлон Мусагет», «Петрушка», «Блудный сын». В 1929 году дебютировал как постановщик балета «Лисица» (муз. И. Стравинского). Всего им по-

ставлено свыше 200 балетов, дивертисментов и концертных номеров. Он автор многих работ по вопросам истории и теории балета, в которых определил свой метод как «неоклассицизм». Первая из них — «Манифест хореографа» («Le Manifeste du choregraphe», 1935), последняя — «История балета» («Histoire du ballet», 1966).



Сергей Лифарь.
1928. Иллюстрация из книги

В годы Второй мировой войны С. Лифарь возглавил национальный французский театр «Гранд-опера». После освобождения Парижа, обвиненный дижением Спротивления в коллаборационизме, был вынужден бежать в Монако, где в 1944–1947 годах руководил труппой «Нового русского балета в Монте-Карло» («Nouveau Ballet Russe de Monte Carlo»). Впоследствии обвинения в его адрес были сняты, и французы наградили Лифаря орденом Почетного легиона и Золотой медалью города Парижа, а в СССР к нему еще долго относились с недоверием: в 1946 году в СССР были сорваны гастроли балета Монте-Карло, в 1958-м Лифарю отказали в визе для приезда в Москву на гастроли с балетом «Гранд-опера». В 1961 году Сергей Михайлович как турист все же побывал на родине (в Киеве, Ленинграде, Москве и Тбилиси). Он подарил Пушкинскому Дому и Музею А.С. Пушкина несколько пушкинских рукописей, которые приобрел во время подготовки выставки «Пушкин и его эпоха», состоявшейся в Париже в 1937 году. Обсуждал с известным коллекционером И.С. Зильберштейном проект создания в СССР Зарубежного литературного музея имени А.С. Пушкина. Намеревался безвозмездно передать на родину пушкинские реликвии и рукописи при условии, что ему будет предоставлена возможность поставить балет в Москве или в Киеве. Предложение всемирно известного балетмейстера советским правительством не было принято. Ценные реликвии — письма Пушкина к невесте — после смерти С. Лифаря в Лозанне в 1986 году были приобретены советской стороной за внушительную сумму уже на аукционе у его вдовы — шведской графини Лилан Аллефельд-Лаурвиг. Распродажа коллекции Лифаря продолжается до сих пор — один из последних аукционов прошел в Женеве в марте 2012 года. Справедливости ради стоит отметить и благотворительную деятельность Л. Аллефельд: в 2000 году после передачи прав на постановку балета С. Лифаря «Ромео и Джульетта» (муз. П.И. Чайковского) в Киеве состоялась его премьера; вдова спонсировала приезд учеников Лифаря на Украинский междуна-

родный фестиваль «Серж Лифарь де ля данс», подарила Украине часть книжной коллекции балетмейстера, а также «Золотую балетную туфельку», которой Лифарь был награжден в 1955 году как лучший танцовщик мира.



Сергей Дягилев. Иллюстрация из книги

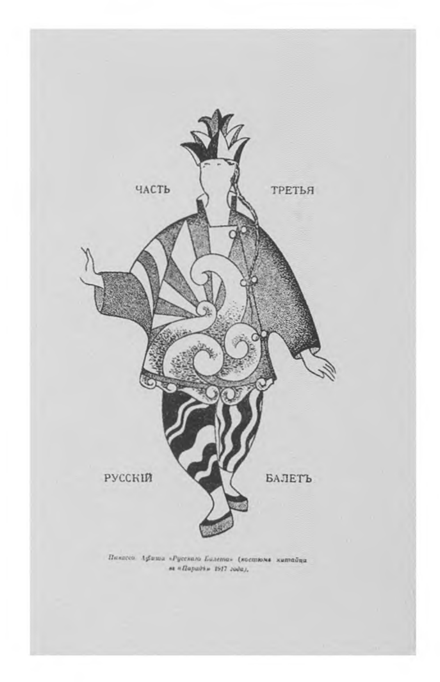
Могила С. Лифаря находится на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где похоронены многие выдающиеся представители русской эмиграции.

Книга Лифаря «Дягилев и С Дягилевым» была выпущена незадолго до начала оккупации Франции, во время которой владелец издательства «Дом книги» М.С. Каплан был арестован, а почти весь тираж уничтожен, так что книга, по сути, сразу же стала библиографической редкостью.

В издании две части. «Книга первая. Дягилев» — история жизни, становление эстетических взглядов, творческих принципов и роли Дягилева — реформатора искусства, преимущественно балета, — в мировой культуре начала XX века. «Книга вторая. С Дягилевым» — собственно мемуары С. Лифаря о наставнике и друге. Лифарь прослеживает всю жизнь Дягилева — от рождения и до смерти. Примечательно, что обе части носят исследовательский характер, хотя многое в них основано на дневниках и мемуарах автора. Лифарь пользуется многими биографическими и искусствоведческими источниками для воссоздания историко-культурного контекста становления и творческой деятельности своего кумира. Он инициирует написание мемуаров о Дягилеве его двоюродным братом П.Г. Корибут-Кубитовичем; приводит много отрывков из воспоминаний близких и друзей Сергея Павловича: его тетки Ю.П. Паренсовой, мачехи Е.В. Панаевой, соученика по пермской гимназии О. Васильева (Волжанина), кузена и соратника Дягилева в творческих проектах Д.В. Философова. В книгу органично включены воспоминания и статьи известных деятелей искусства — А.Н. Бенуа, И. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой, Т. Карсавиной, рецензии балетного критика А. Левинсона, переписка самого Дягилева. Этот документальный ряд вместе с авторскими размышлениями образует многоголосную картину мнений и споров о развитии искусства на переломе веков и о роли в этом процессе С.П. Дягилева.

Сверхзадача автора — разгадать тайну противоречивого характера Дягилева, разглядеть сквозь маску истинное лицо этого внешне общительного и в то же время недоступного человека, смелого реформатора и вечно сомневающегося художника, окруженного множеством поклонников и не меньшим числом противников. С некоторыми из выводов Лифаря критики активно спорили. Как писал Л. Сабанеев, «совершенно неправдоподобно предположение, что Дягилев "создавал" таких художников, как Бенуа, Судейкин, Серов, Коровин, Бакст, Стравинский, Прокофьев, что он формировал их вкусы»[1]. И все-таки нельзя не отметить, что именно «художе-

ственное чутье» Дягилева помогло раскрыться, например, талантам и молодого Стравинского, и того же Лифаря. Впечатляет рассказ о том, как, заключив пари со скептически настроенной наставницей Лифаря Б. Нижинской, Дягилев предсказал блестящее будущее молодому танцору и через несколько лет выиграл пари.



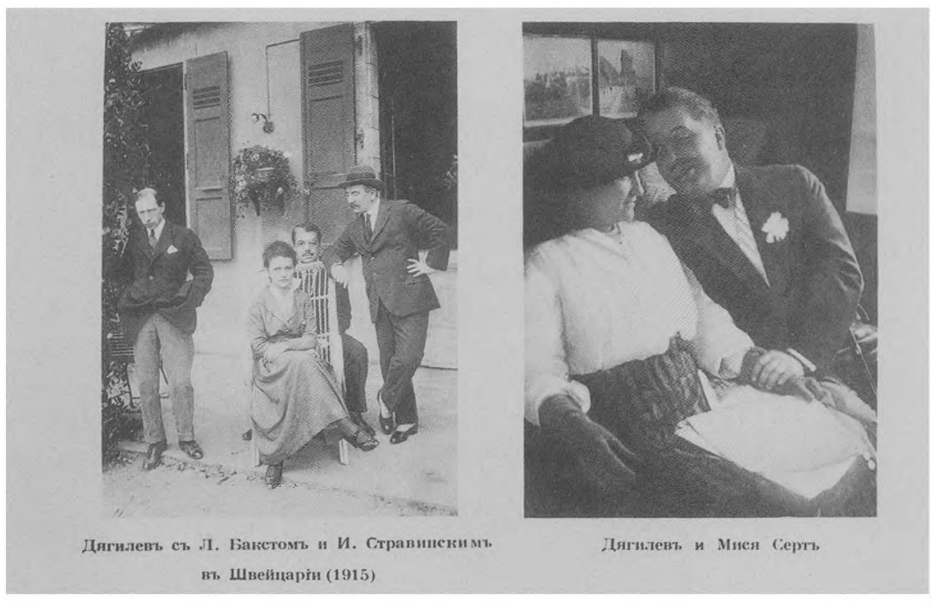
Афиша «Русского балета» работы П. Пикассо. 1917. Иллюстрация из книги

Размышляет Лифарь и об особой природе дягилевского эротизма, о семейных чертах — широте, решительности натуры. Интересны ссылки на истоки родословной Дягилева по материнской линии. «Дягилев любил говорить, что в его жилах течет “петровская кровь”. Любил все делать “по-петровски”». Но, в отличие от исторических преобразований Петра I, заключает Лифарь, «Дягилев хотел произвести реформы в мировом искусстве, перевезя русское искусство в Западную Европу». Лифарь подробно прослеживает путь Дягилева от художественного объединения и журнала «Мир искусства» до первых русских сезонов, связанных с выставками живописи, музыкальными концертами и оперными постановками, а от них и к главному делу жизни — созданию «Русского балета» и организации «Русских сезонов» 1909–1929 годов. Любопытно, что эффект присутствия автора возникает не только в рассказах о тех событиях, очевидцем или участником которых он был, но и при описании ранних этапов деятельности Дягилева, когда знакомы они еще не были. В этом Лифарю, безусловно, помогли рассказы самого Сергея Павловича. Благодаря книге можно заглянуть и в творческую лабораторию «Русского балета»: Лифарь приводит записи из рабочей тетради Дягилева на репетиции балета «Триумф Нептуна» — его скрупулезные замечания «об изменениях в декорациях, костюмах, освещении». Рассказывает Лифарь и о том, как вызревала из его взаимоотношений с Дягилевым драматургическая основа роли главного героя в балете «Блудный сын», как ему давался первый опыт постановки балета «Лисица».

Лифарь не скрывает спефически-интимных отношений со своим кумиром, но главным образом рассказывает о роли Дягилева в становлении своей личности, о влиянии руководителя «Русского балета» не только на профессиональный рост своих воспитанников, но и на формирование их культурного кругозора. Конечно же, самое ценное в книге — изображение «изнутри» творческой атмосферы и повседневной жизни дягилевской труппы. И хотя многое Лифарь подает сквозь призму отношений с Дягилевым, в книге возникают выразительные сюжеты — работа, ссоры и примирения Дягилева с артистами балета: М. Кшесинской, Т. Карсавиной, А. Павловой, О. Спесивцевой, И. Рубинштейн; творческие



Послѣдняя встрѣча съ Нижинскимъ въ Opéra: Н. В. Кремневъ, А. Н. Бенуа, С. Л. Григорьевъ, Т. П. Карсавина, Дягилевъ, В. Нижинскій и С. Лифарь (1929).



Дягилевъ съ Л. Бакстомъ и И. Стравинскимъ въ Швейцаріи (1915)

Дягилевъ и Мися Сертъ

Иллюстрации из книги

споры с постановщиками балетов М. Фокиным и Л. Мясиным. Мы узнаем «из первых уст» о сотрудничестве с композиторами И. Стравинским, М. Равелем, К. Дебюсси; с художниками А.Н. Бенуа, М. Ларионовым, П. Пикассо и др. Как отмечает Лифарь, «Дягилев никогда не смешивал театра и личных отношений». В личной жизни он мог иметь слабости, в искусстве он должен был быть непогрешимым. Рассказывает Лифарь и о постоянных привязанностях Дягилева — о семейных и деловых отношениях с двоюродными братьями П. Корибут-Кубитовичем и Д. Философовым, о двадцатилетней дружбе с Мисей Серт. Особым драматизмом проникнуты воспоминания Лифаря о приезде в 1929 году вместе с Дя-

гилевым к безнадежно больному В. Нижинскому и о посещении вместе с ним спектакля в «Гранд-опера». В книге есть и документальное свидетельство этой встречи — фотография, запечатлевшая Дягилева и Лифаря с Нижинским и другими деятелями «Русского балета».

Особое значение книга Лифаря приобрела благодаря рассказу о «микробе коллекционерства», который поразил Дягилева в конце жизни. Эта история по-своему драматична. На основе своей коллекции русских книг Дягилев хотел создать за рубежом Музей русской книги, подобный Пушкинскому Дому в Ленинграде. В его собрании были такие раритеты, как «Часослов» и «Апостол» русского первопечатника Ивана Федорова; «Азбука, напечатанная Василием Федоровым Бурцовым по повелению великого князя Михаила Федоровича в 1637 г.»; два экземпляра сожженного при Екатерине II издания книги А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»... Рассказывает Лифарь и о приобретении Дягилевым писем Пушкина к невесте, Н.Н. Гончаровой. Вдова поэта передала их младшей дочери, Наталье Александровне, от нее семейная реликвия перешла к внучке Пушкина — Софье Николаевне де Торби, бывшей замужем за внуком Николая I — великим князем Михаилом Михайловичем. Овдовев, он продал письма Пушкина Дягилеву.

После внезапной смерти Сергея Павловича (19 августа 1929 года в Венеции) письма и книги из его коллекции стали собственностью французского государства, и Лифарь выкупил некоторые раритеты, стоимость которых равнялась его годовому заработку. Сергей Михайлович тоже мечтал о музее, но уже на родине, и часть своей коллекции передал в пушкинские собрания Москвы и Ленинграда. Однако многие старые русские книги из коллекции Дягилева и собрания Лифаря разошлись по частным коллекциям, главным образом зарубежным. Тем важнее иметь перечень раритетов коллекции Дягилева, который приводит Лифарь в своей книге.

Высокую оценку изданию дал П.Н. Милюков, увидевший в монографии С. Лифаря «сокровищницу новых откровений» о важнейших страницах русской культуры: книга «читается с увлечением и волнением, как незаконченный итог наших собственных переживаний, как фабула, развязку которой должны дописывать мы сами»[2]. По словам балетного критика А.А. Шайкевича, чтение этой книги создает впечатление «идеологической стройности, которая объединяет все... эпизоды двадцатилетней борьбы за развитие и торжество выведенного из состояния инерции балетного искусства»[3].

Тамара Приходько

---

[1] Сабанеев Л. [Рец.:] Сергей Лифарь. «Дягилев и С Дягилевым». Париж: Дом книги. 1939. — 500 с. // Современные записки (Париж). 1940. № 40. С. 287.

[2] Милюков П. С.М. Лифарь о «Дягилевской» эпохе // Последние новости (Париж). 1939. 30 июня.

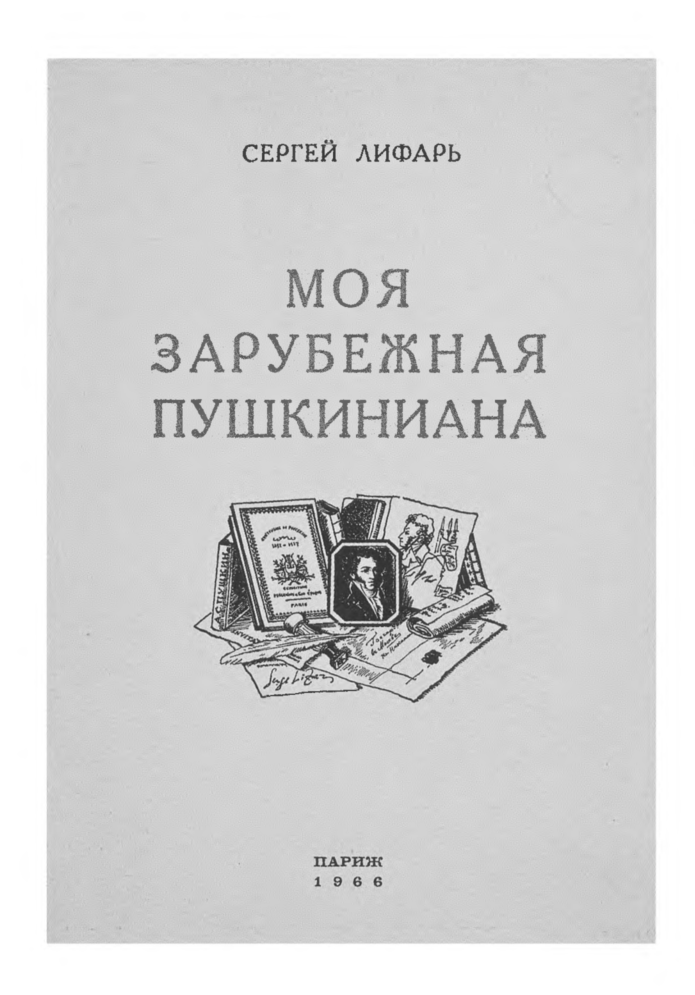
[3] Шайкевич А. «Дягилев и С Дягилевым»: (О книге С.М. Лифаря) // Возрождение (Париж). 1939. 4 августа. С. 4.

48

ЛИФАРЬ С.М.

Моя зарубежная пушкиниана: Пушкинские выставки и издания

/ Сергей Лифарь; [обл. А. Серебрякова]. — Париж: Ed. Béresniak, 1966. — 187, [5] с.: ил., факс.; 23,8x15,8 см. — [500 экз.]
В иллюстрированной трехцветной издательской обложке.



В книге «Моя зарубежная пушкиниана» объединены статьи и предисловия С. Лифаря к изданиям произведений и писем Пушкина, выпущенным в канун 1937 года — столетия со дня гибели поэта. Здесь же даны воспоминания автора и отзывы известных деятелей русского зарубежья о выставке «Пушкин и его эпоха», которую Сергею Михайловичу удалось осуществить в 1937 году, несмотря на активное противодействие представителей советской власти в Париже инициативе русских эмигрантов. Большой интерес представляют также главы «На Родине» и «По пушкинским местам», в которых Лифарь рассказывает о поездке в 1961 году в СССР и о его дарах пушкинских реликвий музеям Москвы и Ленинграда.

Из книги «Моя зарубежная пушкиниана» мы узнаем, что в 1934 году по инициативе П. Милюкова, М. Федорова, В. Зеелера в Париже был создан Пушкинский комитет. Председателем его стал В. Маклаков, членами президиума — И. Бунин, М. Федоров, Г. Лозинский. Вошли в Пушкинский комитет и Франсуа Мориак, и Поль Валери, и Луи Бертран, и переводчик Пушкина Анри Монго, и др. Лифарь отказался от ведущих



23 JANVIER 1937

ITTERAIRE

ADIO SCOLAIRE

ND LES ÉLÈVES ÉCOUTENT PAUL VALÉRY ANS LE VOIR

Proviseur de Condorcet nous dit...

POUCHKINE DEVIENT UN POÈTE UNIVERSEL

Les fêtes internationales du centenaire doivent le placer à son rang véritable, parmi les plus grands écrivains du monde

Par SERGE LIFAR

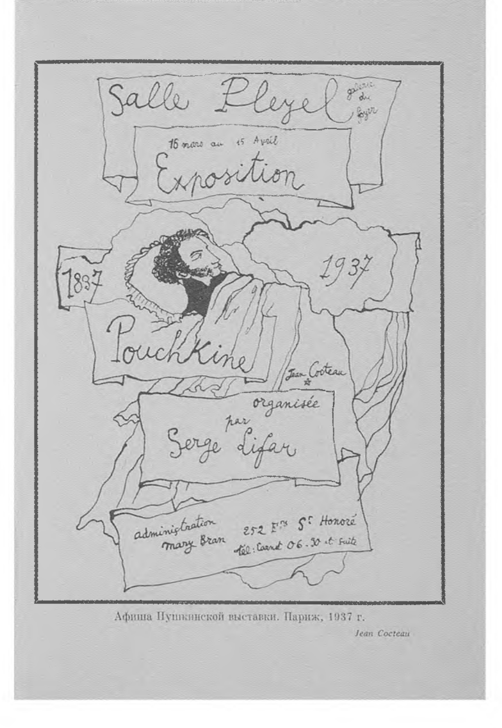
Pouchkine vu par Jean Cocteau.

Статья С. Лифаря о Пушкине с рис. Ж. Кокто.

"Фигаро", 23 января 1937 г.

73

Статья С. Лифаря о Пушкине с рис. Ж. Кокто (Figaro. 1937. 23 Janvier)



Афиша Пушкинской выставки. Рис. Ж. Кокто. Париж. 1937

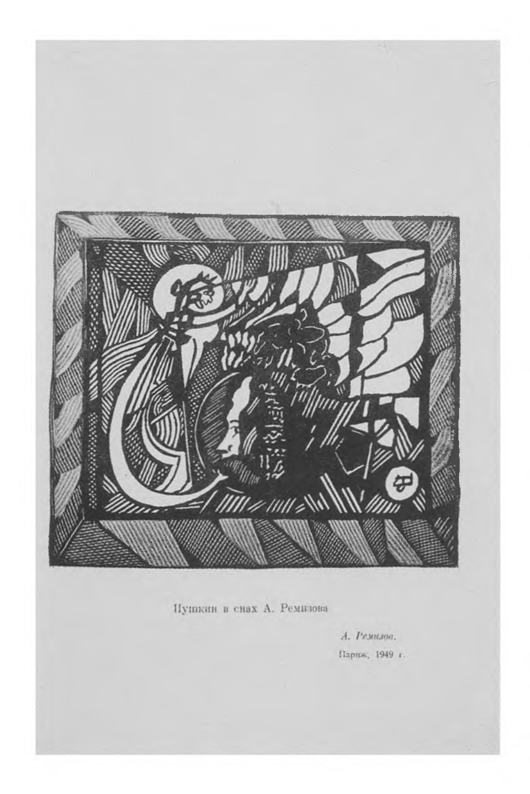
Иллюстрации из книги «Моя зарубежная пушкиниана»

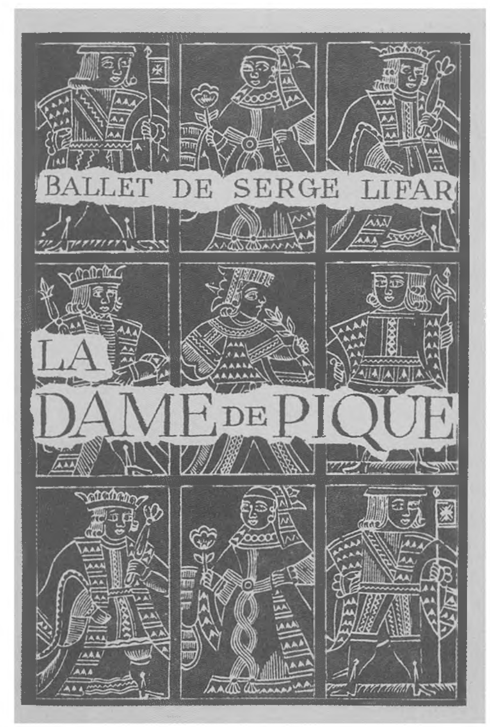


Печать Пушкинского комитета

должностей, но играл в Комитете едва ли не самую деятельную роль — он обращался в прессе к соотечественникам с просьбами собрать для выставки реликвии Пушкина и его современников (статьи эти приводятся в книге), на собственные средства выкупал пушкинские рукописи и семейные реликвии поэта, издавал его произведения и письма (Пушкин. Путешествие в Арзрум. Париж, 1934; Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой. Париж, 1936; Пушкин. Евгений Онегин. Париж, 1937). В организации юбилея Лифарь подчеркивает роль Русского национального комитета (А. Карташев, П. Струве, П. Долгоруков), а также деятельность комитетов в 42 государствах и 231 городе всех пяти частей света. «Имя Пушкина, — пишет Лифарь, — объединило всех»[1].

Особо ценными стали свидетельства Лифаря об организации и проведении выставки «Пушкин и его эпоха» в парижском зале Плейель: «Собирая экспонаты выставки, я обратился с просьбой предоставить мне их к славянской библиотеке имени Мицкевича, к русской Тургеневской библиотеке, а также к многочисленным русским и иностранным коллек-





Пушкин в снах А. Ремизова. Рис. А. Ремизова. Париж. 1949

Обложка программки балетного спектакля «Пиковая дама». 1960

Иллюстрации из книги «Моя зарубежная пушкиниана»

ционерам. На мой призыв откликнулось более 100 предоставивших мне подчас драгоценнейшие экземпляры документов, рисунков, рукописей, первых изданий Пушкина и современных ему альманахов... Вспоминаю А.Н. Бенуа и кн. Никиту Трубецкого, проработавших со мной безвыходно круглые сутки… Моими ближайшими помощниками, полными юношеского порыва и энтузиазма, были: мой брат Леонид и сын проф. М.Л. Гофмана Ростислав»[2].

Выставка открылась в фойе зала Плейель 16 марта 1937 года. У входа и на лестнице выстроилась национальная гвардия, звучали торжественные марши, а в зале — музыка Чайковского, Глинки, Мусоргского. На открытии присутствовали министры, литераторы, дипломаты. С приветственным словом выступил приехавший из Брюсселя внук поэта Николай Александрович Пушкин. На выставке побывали президент Франции А. Лебрен, видные деятели русской эмиграции — Н. Бердяев, М. Алданов, З. Гиппиус, А. Вертинский, Б. Зайцев, М. Цветаева, Ф. Шаляпин и др. В течение месяца на выставке читали лекции М. Гофман, А. Ремизов, М. Добужинский. Выставка вызвала огромный общественный резонанс, массу откликов в прессе, многие из которых Лифарь также приводит в своей книге, не скрывая гордости организатора пушкинских торжеств. После завершения выставки коллекция Лифаря пополнилась автографами благодарственных писем И. Бунина, митрополита Евлогия,

рисунками Ж. Кокто, графикой А. Ремизова, портретом А.С. Пушкина работы Ю. Анненкова, пушкинской медалью и другими реликвиями 1937 года (все они воспроизведены в книге).

Наибольший интерес вызывает описание Лифарем раритетов выставки «Пушкин и его эпоха». Кроме портретов и вещей поэта, в фойе зала Плейель удалось разместить 29 витрин. Самыми ценными экспонатами в них были рукописи Пушкина и подлинники его писем к невесте, Н.Н. Гончаровой, которые С.П. Дягилев выкупил в 1929 году у внука Николая I, великого князя Михаила Михайловича — вдовца внучки Пушкина Софьи Николаевны де Торби. Лифарь воспроизводит обстоятельства встречи и переговоров Дягилева с наследниками, рассказывает и о том, как своими выступлениями в течение года зарабатывал деньги, чтобы после смерти Дягилева приобрести пушкинские письма.

Пожалуй, самыми интригующими, до конца по сей день не разгаданными остаются страницы, посвященные поискам неизвестного Дневника А.С. Пушкина, который, по преданию, вывезла из России в Константинополь в 1918 году внучка Пушкина Елена Александровна, в замужестве Розенмайер (другие варианты написания фамилии: Розен-Майер, Розен-Мейер). Первым участником этой истории был пушкинист М. Гофман, которому торгпред России в Париже М. Скобелев в 1922 году передал письмо Елены Александровны с предложением приобрести у нее пушкинские реликвии. Гофман побывал у внучки Пушкина в Константинополе, видел у нее печать поэта с ручкой из слоновой кости, акварельный портрет Н.Н. Гончаровой (по одним источникам — работы К. Брюллова, по другим — В. Гау) и многие другие вещи. Из уст самой наследницы Модест Людвигович услышал и рассказ о рукописях Пушкина, в том числе о его Дневнике, который Е.А. Розенмайер считала возможным опубликовать лишь через сто лет после смерти деда, то есть в 1937 году. Но Гофману не удалось приобрести ни одной реликвии. До середины 1930-х годов следы Елены Александровны теряются, и только в 1935 году, пишет Лифарь, ему удалось с ней встретиться в Ницце и вести переговоры о приобретении Дневника Пушкина. Но попытки найти эту рукопись по указанным Пушкиной-Розенмайер адресам в Константинополе и Гельсингфорсе были безрезультатны. У Елены Александровны оказалось только «несколько реликвий деда, в том числе его печатка, гусиное перо и еще что-то. Все это я у нее купил», — пишет Лифарь в главе «По пушкинским местам».

И вот тут начинаются нестыковки. В первой главе «Пушкинские выставки и Пушкинские издания» Лифарь указывает: «Приобрел я также у баронессы Мейер печать Пушкина, его “пашпорт” (высылка в Бессарабию) и другие личные вещи поэта»[3]. Нетрудно догадаться, что Мейер — это часть фамилии внучки Пушкина Розен-Мейер, но все же к чему такая маскировка? Условие сделки? Елена Александровна не хотела, чтобы ее родственники, особенно эмигрировавший в Брюссель брат Николай Александрович, узнали о том, что она продает реликвии деда? Но тут интересно и другое: такие реликвии, как печатка и бессарабский «пашпорт», указаны вместе. «Пашпорт» — это подорожная, выданная Пушкину в 1820 году для проезда в Бессарабию. О том, что и этот документ продала Лифарю Е.А. Пушкина-Розенмайер, есть свидетельство

и праправнука Пушкина Георгия Михайловича Воронцова-Вельяминова. «Пушкинские реликвии, которые ей удалось вывезти, она распродала. В частности, Лифарь купил у нее печать Пушкина, его “пашпорт” для поездки в Бессарабию и другие личные вещи»[4]. А Лифарь в главе «На Родине», то ли забыв о баронессе Мейер, то ли по иным причинам, пишет о другом источнике получения «пашпорта»: «Приобрел я этот драгоценный документ совершенно случайно… Роясь в лавке у одного букиниста, я наткнулся на этот пожелтевший листок бумаги…» — и цитирует его содержание: «…Коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобностям службы к главному попечителю колонистов Южного края России, г. генерал-лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей пашпорт… дан ему в Санкт Петербурге мая 5 дня 1820 года»[5]. Об этом же, со слов Лифаря, упоминает И.С. Зильберштейн в интервью журналу «Огонек»[6]. Казалось бы, как усомниться в подлинности таких заявлений? И все-таки имя баронессы Мейер (Е.А. Пушкиной-Розен-Мейер) вряд ли стоит забывать в связи с этой и другими пушкинскими реликвиями. Чем же объяснить маскировку Лифарем источника приобретения документа? Не исключено, что «пашпорт» могли купить его эмиссары, посланные по указанию Е.А. Пушкиной-Розенмайер за Дневником Пушкина. И, вероятно, даже в 1960-е годы зараженный «микробом коллекционерства» Лифарь не терял надежды найти этот загадочный Дневник и другие рукописи Пушкина. Он ведь так и не назвал в книге «Моя зарубежная пушкиниана» имена лиц, с которыми его поверенные вели в Константинополе и Гельсингфорсе переговоры. Похоже, Лифарь решил не открывать неких путеводных знаков, которые могли бы помочь другим в поисках Дневника Пушкина. Как бы то ни было, к книге «Моя зарубежная пушкиниана» до сих пор обращаются пушкинисты и коллекционеры, интересующиеся загадками рукописей Пушкина. Трудно переоценить ее значение и как достоверного источника сведений об очень знаменательных для русской эмиграции событиях — Пушкинской выставке и торжествах в год столетия со дня гибели поэта.

На книгу «Моя зарубежная пушкиниана» с живостью откликнулась печать. «С. Лифарь не писатель и не литератор, — писал в «Русской мысли» А. Слизкой. — Он исключительно талантливый хореограф и балетный артист, но, тем не менее, во всех его исканиях на пушкинские темы он смог сказать горячо и искренно о своем преклонении и о своей любви к русскому поэту»[7]. Подчеркнул значимость книги и Я. Горбовский: «Книга Лифаря вызвала много откликов, и обширнейший материал, которым наполнены ее страницы, дал рецензентам повод напомнить о 30-х годах, если можно так выразиться, годах расцвета русского зарубежья… Везде воздано должное проделанной Сергеем Михайловичем Лифарем сосредоточенной работе»[8]. А организованную Лифарем выставку 1937 года «Пушкин и его эпоха» Н.А. Струве в статье «Русская эмиграция и Пушкин», опубликованной в журнале «Вестник РХД», в номере, целиком посвященном 150-летию со дня рождения Пушкина, назвал «особым событием»[9].

Тамара Приходько

[1] Лифарь С.М. Моя зарубежная пушкиниана: Пушкинские выставки и издания. Париж: Ed. Béresniak, 1966. С. 33.

[2] Там же. С. 54.

[3] Там же. С. 31.

[4] Русаков В.М. Рассказы о потомках Александра Сергеевича Пушкина. М.: Информпечать, 1999. С. 158.

[5] Лифарь С.М. Моя зарубежная пушкиниана… С. 164.

[6] См.: Зильберштейн И.С. «Пушкиниана Сержа Лифаря» / беседу вел Вл. Вельяшев // Огонек. 1987. № 6. С. 12–14.

[7] Слизкой А. Новая книга С.М. Лифаря // Русская мысль (Париж). 1966. 2 июля. С. 7.

[8] Горбовский Я. Литературные заметки: Сергей Лифарь «Моя зарубежная пушкиниана» — О. Сафонова «Тайный ключ» // Возрождение (Париж). 1966. № 178. С. 143.

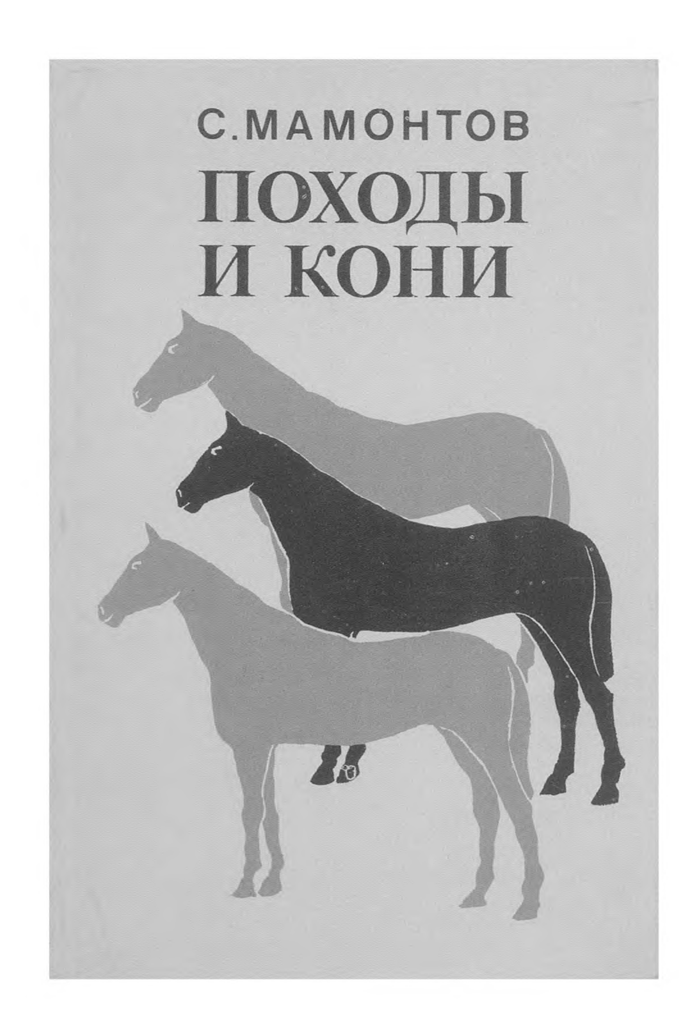
[9] См.: Вестник РХД (Париж; Нью-Йорк; М.). 1987. № 149 (1). С. 232–236.

49

МАМОНТОВ С.И.

Походы и кони

/ Сергей Мамонтов; [обл. Arcady]. — Р.: YMCA-Press, 1981. — 476 с.: ил., карты; 20,5x13 см.
В иллюстрированной трехцветной издательской обложке.



YMCA
PRESS

Сергей Иванович Мамонтов родился 15 (3) февраля 1898 года в московской купеческой семье; известный меценат Савва Иванович Мамонтов был братом его деда. Свои детские годы Сергей провел в имении Киреево под Москвой, где его отец держал конный завод. В три года мальчика посадили на коня, и скоро он научился прекрасно ездить верхом, до конца своих дней сохранив любовь к природе и к лошадям. По окончании гимназии в 1916 году юноша поступил в Московский институт путей сообщения, но через год учебу оставил, поскольку боялся, «что война кончится без него»[1].

21 февраля 1917 года Сергей Мамонтов поступил на ускоренный курс Константиновского артиллерийского училища в Петрограде, 15 августа того же года окончил его и в чине прапорщика был направлен в 1-ю запасную артиллерийскую бригаду в Москве, а затем почти сразу — на Юго-Западный фронт в 64-ю артиллерийскую бригаду. На фронте пробыл пять месяцев и вынужден был бежать из части, опасаясь расправы со стороны распропагандированных большевиками солдат. Вернул-

ся в Москву. В середине 1918-го вместе с братом, тоже офицером, через Украину пробрался на Дон. В Екатеринодаре братья присоединились к Добровольческой армии и попали в 1-ю конно-горную генерала Дроздовского батарею. В апреле 1919 года оба перешли во вновь сформированную 2-ю конную батарею Дроздовской артиллерийской бригады. В составе этих частей сражались против красных. Конец 1919-го ознаменовался общим отступлением белых на Кубань и Новороссийск, откуда Сергей эвакуировался в Крым. В 1920 году он принял участие в десанте генерала Улагая на Кубань, а также в боях на Крымском перешейке и в Северной Таврии. В ноябре 1920-го в составе Русской армии генерала П.Н. Врангеля он, уже в чине поручика, покинул Крым. Брат его скончался в госпитале в Константинополе, а Сергей Иванович, пройдя галлиполийские лагеря, в 1921 году уехал по вызову родственников в Париж.



Сергей Мамонтов. 1917

В 1922-м он перебрался в Берлин, где сумел окончить архитектурное отделение Высшего технического училища. Вплоть до конца Второй мировой войны работал в Германии архитектором; перед самым приходом советских войск сумел выбраться из Берлина в Тироль, а оттуда по вызову однополчанина уехал в Центральную Африку, где прожил безвылазно следующие пятнадцать лет.

После обретения Центрально-Африканской Республикой независимости, в 1962 году по приказу президента Дако С.И. Мамонтов был арестован — за напечатанную в американской газете юмористическую статью — и выслан во Францию (поскольку к тому времени являлся уже французским гражданином). Полтора года лечился во французской клинике от туберкулеза. Затем работал архитектором — в Валансе, в Каннах, одновременно активно занимаясь литературной деятельностью.

25 декабря 1975 года А.И. Солженицын опубликовал в газете «Русская мысль» обращение к соотечественникам, эмигрантам первой волны, с просьбой присылать ему свои мемуары. Среди откликнувшихся на призыв был и С.И. Мамонтов. В настоящее время в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына в фонде «Всероссийской мемуарной библиотеки» хранится отрывок из рукописи Мамонтова[2].

В 1979 году законченная рукопись «Походов и коней» удостоилась литературной премии имени В. Даля[3], сама же книга увидела свет в парижском издательстве «YMCA-Press» в 1981 году. В предисловии Сергей Иванович так написал о причинах, заставивших его взяться за перо: «Все очень быстро забывается. Мне же повезло — у меня сохранился дневник, и я остался жив. Поэтому считаю своей обязанностью изобразить все, что видел. Может быть, это пригодится будущему историку». И далее: «Война ужасная вещь. А война гражданская и того хуже. Все божеские

и человеческие законы перестают действовать. Царит свобода произвола и ненависть. Я хотел изобразить все, как оно было на самом деле, хорошее и плохое, стараясь не преувеличивать, не врать и оставаться беспристрастным. Это очень трудно»[4].

На страницах книги Мамонтов предстает перед нами двадцатилетним юношей, чистым душою и сумевшим сохранить эту чистоту наперекор всем жестокостям и невзгодам Гражданской войны: «У меня с судьбой установился "договор". Меня не убьют и не ранят, если я не буду делать подлостей и убивать напрасно. Можно было убивать для защиты и при стрельбе из орудий. Это убийством не считалось. Но не расстреливать и не убивать бегущих»[5]. И этот «договор» Сергей Мамонтов соблюдал свято.

Искренность его рассказов подкупает. Особое место в книге отведено его боевым товарищам — коням. Лошади, уход за ними стали одной из отдушин, позволявших ему оставаться самим собой. Каждую из них он вспоминает и описывает с огромной любовью.

Книга «Походы и кони» была хорошо встречена читающей публикой и критикой и имела заслуженный успех. Р. Герра писал о ней: «Она остается живым, беспристрастным свидетельством "Белой Вандеи" глазами двадцатилетнего юноши, одного из героев Белого Движения… В военных рассказах он выступает, как умелый и наблюдательный рассказчик, наделенный чувством юмора… Сергей Мамонтов своими воспоминаниями и рассказами внес живые страницы в бесконечный роман — имя которому эмигрантская литература»[6].

Следом за «Походами и конями» вышли и другие книги Мамонтова: «Три рассказа» (1983), «Чай» (1984), «Сказание» (1986).

Скончался Сергей Иванович Мамонтов в Каннах 3 марта 1987 года.

К сожалению, рецензия на его книги «Походы и кони» и «Сказание» вышла в свет уже после смерти автора: «Итак, перед нами две небольшие, скромные на вид книжки. Но, как говорится, "мал золотник, да дорог". На сравнительно небольшом количестве страниц Сергей Мамонтов сумел отразить не только уникальный жизненный опыт, но и передать историческую правду о событиях, которые столь тщательно скрываются и искажаются в Союзе»[7].

В современной России книга Мамонтова выдержала три переиздания[8].

Александр Петров

---

[1] Герра Р. Вместо послесловия // Мамонтов С.И. Сказание. Париж: Альбатрос, 1986. С. 183.

[2] ДРЗ. Ф. 1. ВМБ. Е-80. Л. 1–36 (ксерокопии, без даты).

[3] См.: Герра Р. Вместо послесловия… С. 185.

[4] Мамонтов С.И. Походы и кони. Париж: YMCA-Press, 1981. С. 5–6.

[5] Там же. С. 120.

[6] Герра Р. Вместо послесловия… С. 185–186.

[7] Муравник М. Сказание о походах // Континент (Париж). 1987. № 53. С. 416.

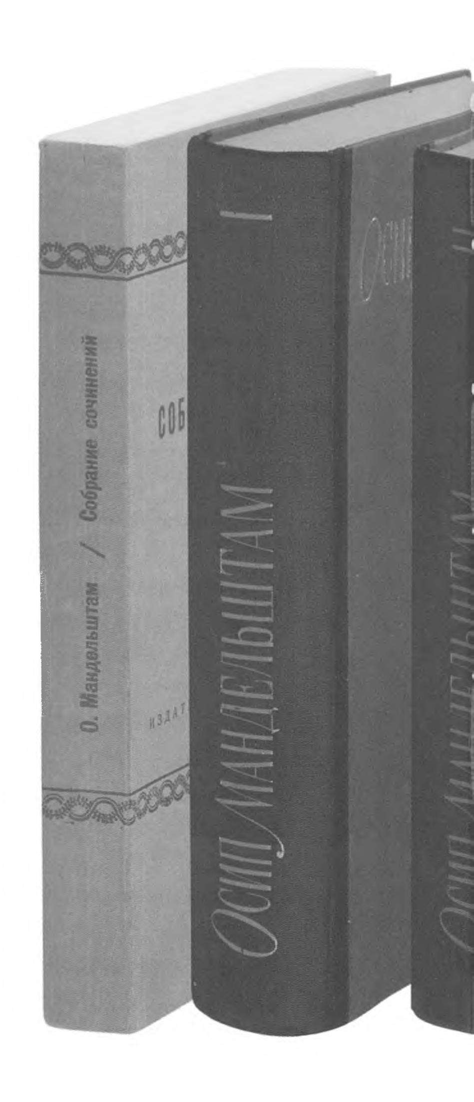
[8] Впервые в сокращении: Подъем (Воронеж). 1992. № 5/6. Книжные изд.: Мамонтов С.И. Походы и кони: Записки поручика Сергея Мамонтова. 1917–1920. М.: Материк, 2001. (Россия XX век. Новости прошлого); Он же. Не судимы будем. (Походы и кони). М.: Воениздат, 1999; Он же. Походы и кони. М.: Вече, 2007. (Белогвардейский роман).

50

МАНДЕЛЬШТАМ О.Э.

Собрание сочинений

/ Осип Мандельштам; под ред. и со вступ. ст. Г.П. Струве, Б.А. Филиппова. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. — 416 с.; 21,5х14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Собрание сочинений: в 2 т.

/ Осип Мандельштам; под ред. проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; [портр. и рис. переплета С.Л. Голлербаха]. — Вашингтон: Inter-language literary associates, 1964–1966. — Т. 1. — 1964. — [4], CV, 554 с., 4 л. портр., ил. — Т. 2. — 1966. — XVIII, 632, [6] с., 7 л. портр.; 21х15 см.
Каждый том в иллюстрированном издательском картонаже.

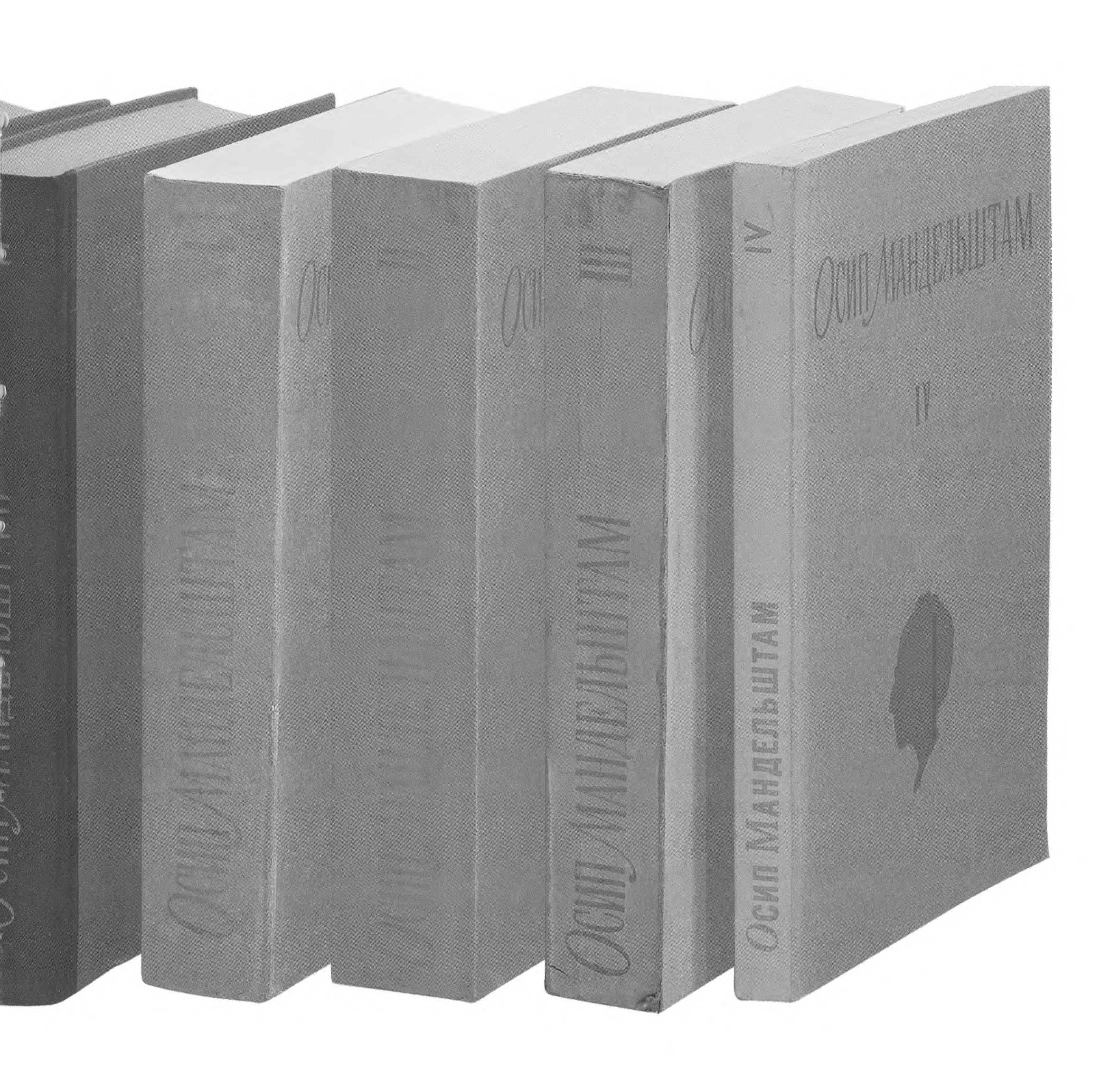
Собрание сочинений: в 3 т. — Т. 4, доп.

/ Осип Мандельштам; под ред. и со вступ. ст. Г.П. Струве, Б.А. Филиппова; [рис. переплета и обложки С.Л. Голлербаха]. — Washington; N. Y.: Inter-language literary associates / Международное литературное содружество, 1967–1971. — Т. 1: Стихотворения / вступ. ст. К. Брауна, Г.П. Струве и Э.М. Райса. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — 1967. — CIX, 598 с.: ил.: [2 л. портр.]. — Т. 2: Проза / вступ. ст. Б.А. Филиппова. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — 1971. — XVIII, 731 с.: ил.: [7 л. портр.]. — Т. 3: Очерки. Письма / вступ. ст. Ю.П. Иваска, Н.А. Струве и Б.А. Филиппова. — 1969. — XLIX, 552 с.: ил.: [10 л. факс., портр.]. — Т. 4, доп. / под ред. Г.П. Струве, Н.А. Струве и Б.А. Филиппова. Париж: YMCA-Press, 1981. — 202 с.
Каждый том в иллюстрированном издательском картонаже.



Inter-Language Literary Associates

YMCA-PRESS



«Не треба», — равнодушно ответили в киевском отделе искусств Мандельштаму, пришедшему за разрешением на свой вечер в 1920-х[1]. Формула, вошедшая в домашний обиход Мандельштамов, стала символом отношения государства к творчеству и жизни поэта. На коротком и трагическом веку погибшего в лагере Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) в России/СССР увидели свет поэтические сборники «Камень» (1913, 1916; состав различался), «Вторая книга» (1923)[2], четыре книги стихов для детей (1924–1926), «Стихотворения» (1928), проза «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928), сборник статей «О поэзии» (1928). Ни одно из написанных после первого ареста (1934) стихотворений не было опубликовано ни в книжных изданиях, ни в периодике.



Осип Мандельштам. Москва. 1923

Первым посмертно материализовавшимся свидетельством востребованности поэта стал американский однотомник, отражающий рецепцию творчества Мандельштама на Западе в середине 1950-х годов. Том был составлен главным образом из прижизненных книжных, журнальных и газетных публикаций, с тщанием собранных по труднодоступным за рубежом разрозненным источникам[3] и дополненных не предназначавшимися для печати шуточными стихотворениями и экспромтами. Тексты сопровождались вариантами и разночтениями, вступительными статьями, библиографией, комментариями и алфавитным указателем произведений.

Издание положило начало знаменитому «Борисоглебскому союзу»[4], за три десятилетия существования принесшему столько плодов на эдиционной ниве. Возникший осенью 1952 года, он объединил Глеба Петровича Струве, жившего в Беркли (Калифорния), и Бориса Андреевича Филиппова, обитавшего в Нью-Йорке. Идея совместной подготовки собрания сочинений Мандельштама исходила от Филиппова, который в сентябре 1952-го обратился с нею к Струве и получил согласие.

Проводником к станку Гутенберга стало «Издательство имени Чехова», основанное в 1951 году в Нью-Йорке как подразделение «Восточно-Европейского фонда»[5]. Инициатором его создания был почитатель Чехова, американский дипломат, советолог и публицист Дж.Ф. Кеннан. Мотивы создания издательства поясняют размышления «архитектора холодной войны» в статье о возможной роли Америки в будущем России: «Нигде на земле огонек веры в человеческое достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. … Тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы»[6]. «Издательство имени Чехова» выпускало замалчиваемые или запрещенные в СССР тексты эмигрантских и советских авторов, переводную литературу. Издатели ориентировались на ценовую доступность — был установлен стандартный объем изданий (416 с.), книги выпускались в мягких обложках, с тетрадками на клею, на дешевой бумаге. Через год после выпуска сборника Мандельштама издательство закрылось по окончании гранта.

Составители считали готовящееся собрание сочинений — за рамками которого оставались неизвестные на Западе бóльшая часть стихотворений 1930-х годов, «Четвертая проза», «Разговор о Данте» — практически полным. Первоначально предполагалось издание в двух томах. В процессе подготовки, занявшей почти три года, издание встречало разнообразные препоны — временны́е, материальные и даже цензурные. Готовила изда-

ние редактор Т.Г. Терентьева, судя по переписке, отстаивавшая интересы составителей перед американской «верхушкой». Благодаря ей в книгу вошло одно из первых попавших на Запад стихотворений 1930-х годов — «За гремучую доблесть грядущих веков…», принадлежность которого Мандельштаму вызвала недоверие Филиппова. «Прислала она (Т.Г. Терентьева. — *О.В.*) мне и стихи Мандельштама, неопубликованные, посмертные, которые приводит в своей книге С.К. Маковский[7]. Помещаю и их, но — я уверен — это отнюдь не Мандельштам. Не его походка, не его повадка, не его тон», — писал он Струве 12 декабря 1954 года. В комментариях указано, что это стихотворение, «судя по характеру и стилю, какое-то время лишь приписывалось Мандельштаму»[8].

Перипетии подготовки и трансформация первоначального замысла издания отражены в переписке составителей[9]. Рефрен писем Филиппова — «долбить», «протаскивать», «проталкивать», «протискивать», «продвигать» — вполне соотносим с правилами игры в подцензурной советской печати. Принятие решения об издании долго откладывалось. «Непрерывно долблю о Мандельштаме, — писал Филиппов коллеге 27 января 1954 года. — …Тексты лежат у них уже год с лишним. … Мне Татьяна Георгиевна обещала протаскивать два тома полного собрания сочинений Мандельштама». Для воплощения замысла «путь ясен: проводить Мандельштама, во-первых, как ПРОЗАИКА (...стихи ПРОХОДЯТ в изд<ательст>ве ТРУДНЕЕ), а главное, как жертву коммунизма — таковые издаются чуть ли не в первую очередь. Буду ходить, долбить, нудить, надоедать» (5 февраля).

Но исключения из издательских правил объема для Мандельштама сделано не было: «очень дорого выходит». Чтобы «весь Мандельштам… бы[л] уложен» «в прокрустово ложе 416 страниц», составителям пришлось существенно сокращать вступительные статьи, изымать значительную часть переводов, разночтений, библиографии. Счет шел на страницы — стихотворения давались в подбор, ряд материалов петитом. Часть текстов из советской периодики 1920-х годов — «Первая международная крестьянская конференция», «Нюэн-Ай-Как», «Меньшевики в Грузии» — пришлось «отдать на заклание» в угоду цензуре[10]. «Полное собрание сочинений» превращается в «Полное собрание стихотворений и художественной прозы. Избранные статьи о литературе». Необходимость сокращений рождает у Филиппова тайный от «чеховцев» план своего рода самиздата, которым он делится в письме от 15 сентября: «…не для ушей Чеховского изд-ва — думаю, что мы могли бы — по подписке — издать все дополнительные материалы по Мандельштаму… …Если не удастся издать типографическим способом, можно будет издать на шапирографе».

К концу года был заключен долгожданный контракт с издательством. Корректуру составители делали сами (при участии жены Филиппова О.Н. Анстей), обмениваясь поправками с разных концов страны. «Простите, что пишу паршиво и безалаберно, — извиняется Филиппов в одном из писем весны 1955-го, — третий час ночи, после полного рабочего дня пятая ночь без сна, с корректурой, сваливает с ног...» Наконец, 15 сентября он сообщает в Беркли: «…только что пришел из типографии Мандель-

штам. ... Книга вышла, кажется, добротная, но... обложка с безобразной “рямочкой” (без рамки обойтись, видимо, чеховцы не в состоянии). Теперь начну форсировать дело с изданием дополнительного томика». В итоге на обложке значилось: «Собрание сочинений». Книгу открывала статья Струве — «первая последовательно изложенная биография Мандельштама, которую ее автор, зная, насколько неполны доступные западным исследователям источники, назвал “опытом биографии”»[11], за ней следовало эссе Филиппова «А небо будущим беременно».

Издание вызвало множество откликов и дискуссий[12]. В первой из рецензий отмечалось: «Редакторы сделали все, что в их силах, и все, что возможно в условиях эмиграции»[13]. «Выход “Собрания сочинений О. Мандельштама” следует отнести к разряду первостепенных событий в русской литературной жизни, — писал А. Лурье. — Между тем событие это прошло почти незамеченным; среди всеобщего отупения мало кто отзывается и на добро, и на зло. Нет также такой авторитетной критики, имеющей право оценить явление такого калибра. На книгу эту появился один лишь отзыв, причем Мандельштам был охарактеризован как “поэт сумерек культуры”. Почему? Творчество Мандельштама складывалось в блистательный период расцвета петербургской культуры... И если Мандельштам олицетворяет “сумерки”, то после них наступила беспросветная ночь (оставляя в стороне парижскую группу писателей и поэтов). В книге Мандельштама поражает новая античная форма, осуществленная путем огромного внутреннего опыта преодолений. Мандельштам — это последняя классическая роза русской поэзии... ... Личная судьба поэта ужасна, но она, надеюсь, защитит его творчество от провинциальных суждений о “понятном” и “непонятном”, суждений, неизменно отбрасывающих русское искусство на задворки европейской культуры»[14].

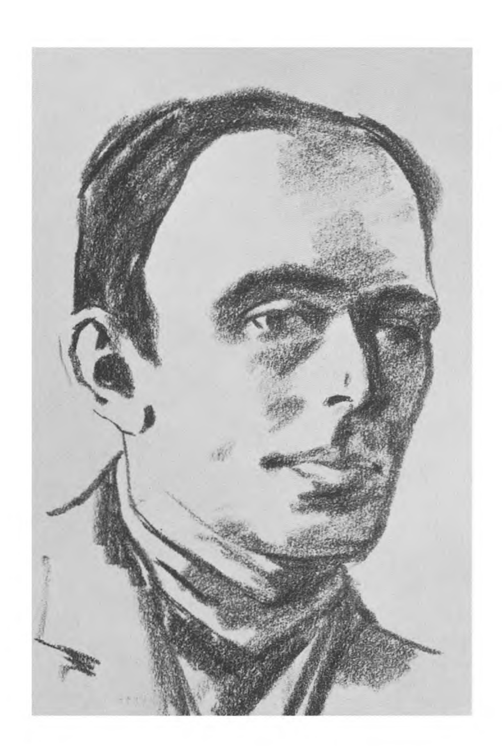
Весьма язвительно отозвался о книге Г.В. Иванов: «“Сочинения Осипа Мандельштама” — издание типа, почти не существовавшего в дореволюционной России или в старой эмиграции. Подобное “научное оформление” занесено к нам из СССР. В принципе такие издания следует приветствовать. Но, разумеется, при том условии, что они удовлетворительны. Редакторы “Сочинений Осипа Мандельштама” жалуются, что “за недостатком места” им много не удалось вместить. Возможно. Но признаюсь, после ознакомления с произведенной ими работой эта жалоба не вызывает сочувствия. В канцелярски перенумерованных “материалах по Мандельштаму” действительно собрано с академической кропотливостью множество сведений, справок, указаний. Но, с одной стороны, процент несущественного — а подчас и недостоверного — среди них “достаточно высок”. С другой — редакторы сплошь и рядом просто не знают многого, что им следовало бы знать и что как раз интересно узнать о Мандельштаме читателю. ... “Нет у Мандельштама непосредственных откликов на события 1917 года”, — утверждает Глеб Струве. Есть, есть, и даже в довольно большом количестве, десятка полтора, пожалуй. Только искать их надо не в “Аполлоне”, а во второстепенных еженедельниках и газетах того времени. Очень непосредственные отклики, хотя и довольно посредственные! Мандельштам в них бурно переживал “февральскую свободу”, прославлял Керенского и клеймил большевиков»[15].

Назвав выход книги «праздником», «событием особого рода», В.Ф. Марков писал: «Выпуском в свет “Собрания сочинений” Осипа Мандельштама Чеховское издательство заглаживает грех напечатания по меньшей мере десятка плохих или ненужных томов. Если уж и говорить о каких-то обязанностях эмиграции, то это в первую очередь издание подобных книг»; «Составители и редакторы книги… заслуживают большой и продолжительной благодарности от всех читателей и исследователей поэзии. Они сделали все, что было в их силах и возможностях, для того чтобы сделать “собрание” той “печкой”, от которой будут “танцевать” в будущем все, кто будет браться за Мандельштама». Отдавая дань предисловию Г.П. Струве как «наметке будущей биографии» поэта, статью Филиппова В.Ф. Марков назвал «лирической рапсодией, которая вызывает сожаление, что на этих шести страницах не поместили еще что-нибудь самого Мандельштама»[16].

Эпистолярный отклик с сообщением о существовании мандельштамовского стихотворения «Когда октябрьский нам готовил временщик...», по одной из версий посвященного ему, поступил от А.Ф. Керенского. Пересылая находку Филиппову 19 ноября 1956 года, Струве сообщает: «В сопроводительном письме А.Ф. пишет: “Текст и все знаки препинания — мной проверены. Переписал старой орфографией, как они появились в печати”[17]. (Моя копия — по новому правописанию.) Не знаю, кто переписывал, но… переписка явно была сделана небрежно… и я боюсь, что А.Ф. по своей почти полной слепоте (т. е. крайней близорукости) мог какие-нибудь ошибки проглядеть… особенно же в знаках препинания. Поэтому, когда дело дойдет до печатанья второго тома Мандельштама, я постараюсь сам проверить…» На роль издателя оставшихся за рамками тома материалов Филиппов рассматривал Р.Н. Гринберга, «Грани», «Посев», В.П. Камкина, М.С. Цетлину, мюнхенский Институт по изучению истории и культуры СССР.

В 1956-м Мандельштам был посмертно частично реабилитирован — по делу 1938 года. Сборник его стихотворений включен в издательский план «большой» серии «Библиотека поэта». К 1956 году относятся первые упоминания о хождении текстов в самиздате[18], в начале 1960-х они проникают на Запад. Подготовка следующего западного издания велась уже не только при участии эмигрантов, но и при тайной помощи филологов из Советского Союза, в частности Ю.Г. Оксмана[19]. Приоткрывается железный занавес и в советских архивах. «В ЦГАЛИ имеются рукописи Мандельштама… — пишет Филиппов Струве 5 октября 1965 года. — Доступ к этому московскому архиву имеет… Вилльям Эджертон из Индианского университета, и… этот Эджертон скоро поедет в Москву. Не могли ли бы Вы попросить его СПИСАТЬ для нас стихи… Мандельштама из “Нового Гиперборея” и “Из забытой поэмы о двух Гонкурах” — и — если можно — другие вещи Мандельштама (стихи, письма, едва ли удастся)…»[20]

Вместо «дополнительного томика» и тома в серии «Библиотека поэта» следующим мандельштамовским изданием стало двухтомное собрание сочинений, подготовленное теми же составителями и вышедшее в возглавленном самим Филипповым вашингтонском издательстве «Международное литературное содружество» в 1964–1966 годах. Пересмотренные



Осип Мандельштам. Рисунок С. Голлербаха (по фотографии 1923 года)

и дополненные, эти два тома вошли впоследствии в состав четырехтомника (1967–1981).

Вместо не одобренной Филипповым «рямочки» на обложках собрания сочинений был помещен ставший знаменитым профиль Мандельштама. Оформлявший издание С.Л. Голлербах вспоминает, как Филиппов уговаривал его сделать портретный набросок с «малюсенькой и мутноватой» фотографии: «Фотографий Мандельштама здесь, в эмиграции, нет, они хранятся там, в КГБ. А портрет поэта для издания нужен». Художник отвечал, что с фотографий не работает, но в конце концов согласился — «только при условии, что будет сказано: “Рисунок с фотографии 1923 года”» — «сделал несколько набросков углем и представил их на выбор Филиппову». Через некоторое время лично знавший Мандельштама поэт Г.А. Глинка рассказал Голлербаху историю о том, как вдова волжского купца заказала бедному художнику портрет покойного мужа по словесному описанию: «Телосложения мой Ванечка был крепкого, взгляд сурьезный, а борода черная с проседью». «Дура-баба, — подумал художник, но заказ ему был до зарезу нужен…» «Изобразил мрачного мужика с бородой, проскреб седину в ней, дал краске высохнуть. … — Вы уж не обессудьте, сударыня, старался как мог… Увидев портрет, купчиха ахнула, перекрестилась и запричитала: — Ванечка, мой родненький, всего шесть месяцев как помер, а как уж изменился-то!

— Вот что я Вам, Сергей Львович, могу сказать о вашем портрете», — завершил рассказ Глинка. «Я, конечно, был сконфужен и, кажется, ответил, что поэт за тридцать лет после своей кончины действительно мог измениться, — пишет Голлербах. — Но смешно мне не было, и я никогда больше не рисовал портретов с фотографий»[21].

Западные издания не обошлись без ошибок, учитывая условия подготовки, неизбежных. Одна из них — помещенное в однотомнике под № 181 стихотворение «Пылает за окном звезда...» (1923), принадлежащее не Мандельштаму, а С.А. Клычкову, — повторена и в 1-м издании 1-го тома собрания сочинений, где стихотворение опубликовано под № 168. Н.Я. Мандельштам писала: «Однажды в “Красной нови” редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова под фамилией Мандельштама[22]. Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорар на имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки: им и в голову не пришло, что когда-нибудь

встанет вопрос об авторстве этих стихов. … О.М. и Клычков и не стали настаивать на исправлении, а теперь эти стихи заканчивают американское издание О.М. Хотелось бы предупредить редакторов следующего издания об этой ошибке, да до них не дотянешься…»[23]

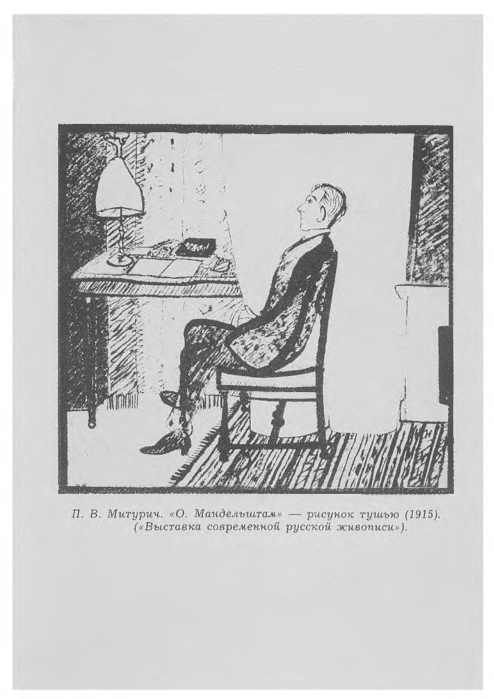
Ограниченность информации отмечалась эмигрантскими критиками. «Жизнь Мандельштама известна недостаточно. Неофициальные сведения, доходящие из СССР на Запад, отрывочны, а порой и противоречивы. … Почти все воспоминания о Мандельштаме его друзей относятся только к 10–20-м годам. По имеющимся в настоящее время в нашем распоряжении источникам можно составить лишь краткую биографическую канву», — писала И.Н. Бушман[24]. «Трудно писать его биографию, как будто жил он не в 20-м веке, а скажем — в 12-м», — отмечал Ю.П. Иваск[25]. Обильно цитирующиеся в комментариях мемуары эмигрантов вызвали резко негативные оценки близких Мандельштаму современников по другую сторону границы. «Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах “Петербургские зимы” Георгий Иванов[26], который уехал из России в самом начале 20-х годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, — мелко, пусто и несущественно, — записала Ахматова. — Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи»[27].

Н.Я. Мандельштам снабжала попадавшие к ней экземпляры томов американского Собрания заметками на полях, уточняющими биографический и историко-литературный комментарий, в частности, корректирующими восприятие образа поэта западными литературоведами. Размышление — «…каким образом Тихонов, со стальным героизмом его стихов, согнулся и пошел в прихлебатели, в то время как тонкий, высокий, не от мира сего Мандельштам не сдался и умер героем»[28]— сопровождается записью: «Какой там герой. Просто трагедия»[29]. Метафора «стальной героизм» вызывает комментарий из обсценной лексики, аналогично аттестованы мемуары многих современников.

Г.П. Струве писал критику и мемуаристу А.В. Бахраху 23 октября 1965 года: «Очень рад, что Вы так высоко оценили первый том Мандельштама. Но на всех не угодишь. Отрицательно-раздраженно отозвалась об этом томе вдова О.Э. Ей особенно не понравилась моя вступительная статья и кое-что в комментариях. Этот отзыв идет по той же линии, что и отзыв А.А. Ахматовой о Гумилеве: мол, мы приводим отрывки из мемуаров и критических статей людей, которые были зложелателями Мандельштама и врали, рассказывая о нем. … Мне и обидно, и горько, что г-жа М<андельштам> не поняла и не почувствовала, что в новом издании М<андельшта>ма я так подробно цитирую рассказ Иванова об эпизоде с Блюмкиным, чтобы изобличить Иванова в путанице и фантазировании (что он здорово врал в “Петербургских зимах”, я уже давно убедился, но игнорировать его воспоминания нельзя именно потому, что они вошли в канон биографии ОЭМ. Мы же не виноваты, что у нас нет контрпоказаний с той стороны, от людей, которые якобы единственные все знают!)»[30].

Той же осенью Надежда Яковлевна писала Н.А. Струве: «...Ос<ип> Эм<ильевич> был не по плечу своим современникам. Мало кто мог бы





Осип Мандельштам.
Рисунок А.М. Ремизова. 1920-е годы

Осип Мандельштам.
Рисунок П.В. Митурича. 1915

Иллюстрации из Собрания сочинений О. Мандельштама (Washington; New York, 1967–1981)

о нем рассказать в полную силу. Всегда предпочитали анекдот. ... Каким-то образом второстепенные поэты как бы компенсировали себя за свою второстепенность, находя смешные черты и рассказывая анекдоты про О.М. ... Что с этим делать? Думаю, что ничего. Просто игнорировать, пока это не попадает в собрание сочинений. Вы понимаете сами, какое у меня ложное положение, если такое собрание выходит без моего ведома и там еще обсуждается вопрос, был ли это счастливый брак или несчастный — по-моему, такие вопросы ставятся после смерти вдовы, а я еще пока жива»[31].

18 июля 1966 года Г.П. Струве сообщал Бахраху: «Второй том Мандельштама в значительной мере напечатан, задержка за примечаниями. Но будет еще третий том, так как, во-первых, нам обещан из России еще ряд статей, а кроме того, мы получаем около 80 писем М<андельшта>ма. Придется также исправлять многие тексты в первом томе на основании информации, полученной от вдовы ОЭМ»[32].

«Первый том этого собрания сочинений Мандельштама — поистине драгоценный подарок читателю, — писал в рецензии Ю.П. Иваск. — Можно себе представить, как будут в России рвать эту книгу из рук, и кое-кто там наверное даже многое из нее перепишет из тех немногих экземпляров, которые дойдут до советского читателя»[33]. Немногие экземпляры томов собрания сочинений, проникавшие в СССР, широко тиражировались в самиздате, изымались при обысках. Зафиксировано несколько случаев

политических процессов, где инкриминировались, как правило, не сами тексты Мандельштама, а «антисоветские» предисловия и комментарии эмигрантских литературоведов[34].

«Хочется еще раз высказать благодарность Г.П. Струве и Б.А. Филиппову за их прекрасного и изящно изданного Мандельштама», — завершал свою рецензию Иваск[35]. Отметили работу литературоведов и в СССР. В секретной записке председателя КГБ Ю.В. Андропова от 7 февраля 1969 года сообщалось: «Рассматривая “самиздат” как одно из средств ослабления социалистического общества, империалистическая реакция стремится всемерно оказывать поддержку действующим внутри нашей страны авторам и распространителям политически вредных материалов. С этой целью на Западе увеличиваются тиражи изданий “подпольной советской литературы”. При участии разведывательных органов США создано, например, “Международное литературное содружество” во главе с известными специалистами по антикоммунизму Струве и Филипповым. Одной из главных задач этого “содружества” определена публикация не издающихся в СССР произведений советских писателей. Помимо публикации за границей и передачи по радио, материалы “самиздата” засылаются по различным каналам в СССР»[36].

Струве пишет Бахраху 14 марта 1967 года: «“Известия” меня и Филиппова обвинили в грязной работе для американской разведки (CIA). В связи с этим меня в прошлый понедельник интервьюировали для газет и радиостанций и даже показывали по телевидению! ... Подлинного текста “Известий” я еще не видел. По-видимому, о существе нашей грязной работы они ничего не сказали. Если подумать, зачем им вообще это обвинение понадобилось, то, пожалуй, следует предположить, что это сделано на предмет острастки тем, кто осмеливается так или иначе сообщать нам для наших изданий какие-то материалы, т. е. попросту в целях запугивания. ... Наша грязная работа очевидно состоит в издании Пастернака, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Бродского и т. д. Но этого “Известия”, видимо, своим читателям не раскрыли».

И. Толстой, исследовавший роль ЦРУ в западной публикации на русском языке романа Пастернака «Доктор Живаго», говорил в интервью: «В 46-м и 47-м годах Джордж Кеннан объяснил, что со злом гораздо дешевле и выгоднее бороться не пушками, а словом. И американцы боролись с СССР не американским словом, а нашим, русским. ... Русская классика стала оружием против советского государства, против тоталитаризма. ... Что касается моего отношения к ЦРУ, я бы процитировал “Фауста”: “Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо”. Вот так и ЦРУ в данной истории. Я не распространяю значение ЦРУ на другие истории. ЦРУ хотело зла Советскому Союзу — да, да, да. Что совершило ЦРУ? Оно совершило благо для русской культуры»[37].

Америка стала приютом и основной части мандельштамовского архива, вывезенной во Францию в 1973 году и несколько лет хранившейся у Н.А. Струве. В июне 1976-го архив был переправлен в США и при участии К. Брауна и его ученика Э. Моссмана передан в Принстонский университет.

Первый советский посмертный поэтический сборник Мандельштама в серии «Библиотека поэта» увидел свет в 1973 году — более трети стихотворений в него не вошло. В процессе подготовки член редколлегии серии А.Т. Твардовский сообщал вдове: «...могу только заверить Вас, что эта поистине ужасная волокита — не есть следствие чьей-нибудь из редакторов "Библиотеки" злой воли... ...На самом последнем этапе непосредственной причиной задержанию книги Мандельштама уже в сверстанном виде послужили мои замечания насчет слишком явных несовершенств подготовленного издания, в частности — что особенно обидно и стыдно — по сравнению с американским изданием»[38].

Американское издание продолжалось. «Получила третий том... Дожила старушка...» — писала вдова поэта в конце 1969-го[39]. В 1981 году в парижском издательстве «YMCA-Press» вышел 4-й дополнительный том, основанный на материалах архива. Г.П. Струве сообщал Бахраху 31 марта 1981 года: «Объявление о 4-м томе ОЭМ я видел теперь в каталоге "YMCA-Press", как о находящемся в печати. ... 4-й том ОЭМ составлен фактически главным образом Никитой (Н.А. Струве. — *О.В.*) (из того, что печаталось им в Вестнике) и Филипповым, но и мое имя фигурирует как третьего редактора (и даже на первом месте)». Этот том Н.Я. Мандельштам уже не увидела. Не дожила она и до окончательной реабилитации поэта[40], которая состоялась в 1987-м — «за отсутствием состава преступления».

Близкий друг Мандельштамов ученый-биолог Б.С. Кузин писал: «Увидав американское издание Мандельштама, я вздохнул с полным облегчением. Его творения не потеряны. Пусть они будут трудно доступны русскому читателю хотя бы и еще сто лет. В великой русской литературе место Мандельштама сохранено навсегда»[41].

Ольга Василевская

---

[1] См.: Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 277.

[2] «Вторая книга» (М.; Пг. [На титуле: Пб.]: Круг, 1923) — авторский вариант книги «Tristia» (название дано М.А. Кузминым), готовившейся к печати с 1920 г. под названием «Новый камень» и на последнем этапе запрещенной. Сборник, объединивший под одной обложкой книги «Камень» и «Tristia», составленный без участия автора и выпущенный в 1922 г. издававшим книги в Берлине петроградским издательством Я.Н. Блоха ([Пг.]; Берлин: Petropolis, 1922. [На титуле: Пб.]) фактически стал первым мандельштамовским тамиздатом.

[3] За помощь в собирании произведений редакторы приносили благодарность А.П. Струве, Ю.К. Терапиано, Е.Н. Розен и О.Н. Анстей.

[4] Шуточное определение Б.А. Филиппова.

[5] Филиал американского благотворительного «Фонда Форда», созданного для финансирования программ в поддержку демократии. Проект культурной помощи русской эмиграции первой и второй волны входил в план идеологической борьбы против коммунизма и Советского Союза.

[6] Кеннан Дж. Америка и русское будущее // Новый журнал (Нью-Йорк). 1951. № 26. С. 271.

[7] Маковский С.К. Портреты современников. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 398.

[8] Мандельштам О.Э. Собр. соч. Нью-Йорк, 1955. С. 170 и 377.

[9] Письма Филиппова хранятся в архиве Г.П. Струве (Hoover Institution Archives. Coll. G. Struve. Boxes 83–84), письма Струве — в архиве Б.А. Филиппова (Beinecke rare book and manuscript library, Yale university. Coll. GEN MSS 334 (Boris Filippov Papers). Boxes 6–9). Публикатор фрагментов переписки П.М. Нерлер указывает на преобладание писем Филиппова (77 из выявленных 85), связанное «не только с тем, что он чаще писал, но и с тем, что Струве лучше хранил его письма, тогда как Филиппов, на котором лежала большая часть технической работы, по-видимому, не собирал письма Струве, а с ходу пускал их в дело» (Нерлер П.М. У истоков «Борисоглебского союза»: К истории издания первого Собрания сочинений О. Мандельштама // Новый журнал. 2010. № 258; продолжение: № 260; 2011. № 263). То же: URL: http://www.newreviewinc.com/node/285; http://www.newreviewinc.com/?q=node/60;http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ne15.html. Далее переписка цит. по этому источнику. Шрифтовые выделения принадлежат авторам писем.

[10] Представители левых политических течений (к которым имела отношение и главный редактор «Издательства имени Чехова» В.А. Шварц) составляли активную часть русской эмиграции, оказывавшую влияние на американскую советологию.

[11] Бушман И.Н. Поэтическое искусство Мандельштама // Институт по изучению СССР: Исследования и материалы. (Сер. I, вып. 70). Мюнхен, 1964. Цит. по: URL: http://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/mandelshtam/bushman01.html.

[12] Их обзор см. в указ. публ. П.М. Нерлера (Новый журнал. 2011. № 263).

[13] Завалишин В.К. Поэт сумерек культуры (Осип Мандельштам) // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1955. 23 октября.

[14] Лурье А. О книге Мандельштама // Там же. 1955. 4 декабря.

[15] Иванов Г. Осип Мандельштам // Новый журнал. 1955. № 43. С. 273–284. Цит. по: URL: http://www.pseudology.org/Mandelshtam/Memuars/Ivanov_Geoge.htm.

[16] В.М. <В.Ф. Марков> [Рец.:] Первое Собрание Мандельштама // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1956. № 30. С. 190–192. Цит. по: http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ne15.html.

[17] Воля народа (Пг.). 1917. 15 ноября.

[18] См. сайт «Антология самиздата» (URL: http://antology.igrunov.ru/authors/mandelsht-osip/).

[19] См.: Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // Stanford slavic studies. Stanford, 1987. Vol. 1; Грибанов А.Б. Ю.Г. Оксман в переписке Г.П. Струве // Седьмые Тыняновские чтения. М-лы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 495–505.

[20] Цит. по: Нерлер П.М. Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама // URL: http://mandelshtam.lit-info.ru/review/mandelshtam/004/369.htm.

[21] Голлербах С.Л. Нью-йоркский блокнот: Серия эссе // Новый журнал. 2011. № 265. Цит. по: URL: http://magazines.russ.ru/nj/2011/265/go25.html.

[22] Красная нива. 1923. № 4. 28 января.

[23] Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 278.

[24] Бушман И.Н. Поэтическое искусство Мандельштама…

[25] Иваск Ю.П. [Рец.] // Новый журнал. 1966. № 82. С. 289.

[26] Иванов Г.В. Петербургские зимы. Париж: Родник, 1928.

[27] Ахматова А.А. Листки из дневника // Ахматова А.: Проза поэта. М.: Вагриус, 2000. С. 37–38.

[28] Мандельштам О.Э. Собр. соч. Washington; N. Y., 1969. Т. 3. С. 386 (Примечания). Цитата из статьи В.Ф. Маркова в антологии: Приглушенные голоса: Поэзия за железным занавесом / сост. В.Ф. Марков. Нью-Йорк, 1952.

[29] «Любил, но изредка чуть-чуть изменял»: Заметки Н.Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама // Philologica. 1997. № 4. С. 185.

[30] Bakhmeteff archive of Russian and East European history and culture. Columbia university. Фонд А.В. Бахраха. Box 4. Опубл.: Нерлер П.М. Материалы об О.Э. Мандельштаме в американских архивах // Россика в США: сб. ст. (Материалы к истории русской политической эмиграции; вып. 7). М., 2001. С. 90–123. Цит. по: URL: http://www.pseudology.org/Mandelshtam/Memuars/PrinstonArchive.htm.

[31] Н.Я. Мандельштам — Н.А. Струве, [осень 1965 г.] (Из переписки Н.Я. Мандельштам с Н.А. Струве // Вестник РХД (Париж; Нью-Йорк; М.). 1981. № 133. С. 156).

[32] Здесь и далее письма Г.П. Струве к А.В. Бахраху цит. по: Нерлер П.М. Материалы об О.Э. Мандельштаме…

[33] Иваск Ю.П. [Рец.] // Новый журнал. 1966. № 82. С. 287.

[34] См.: «Антология самиздата» (URL: http://antology.igrunov.ru/authors/mandelsht-osip/).

[35] Иваск Ю.П. [Рец.] С. 290.

[36] Записка КГБ СССР при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении «внецензурной литературы», или «самиздата» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 668. Л. 1–4. Впервые опубл.: История советской политической цензуры: Документы и комментарии / сост. Т.М. Горяева. М.: РОССПЭН, 1997. С. 191–194. Цит. по: URL: http://evartist.narod.ru/text25/009.htm.

[37] ЦРУ сделало благо для русской культуры: [беседа В. Купчинецкой и И. Рискина с И. Толстым] // Русская Америка. 2011. 29 января. Цит. по: URL: http://therussianamerica.com/web_NEWS/articles/6123/1/.

[38] А.Т. Твардовский — Н.Я. Мандельштам, 9 февраля 1968 г. (С твердой верой в добро...: (А.Т. Твардовский и Н.Я. Мандельштам) // Дружба народов. 2003. № 1. Цит. по: URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/1/tvar.html).

[39] Н.Я. Мандельштам — Н.Е. Штемпель, 25 ноября [1969 г.] (Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. 2-е изд., испр. М.: Три квадрата, 2008. С. 376).

[40] По делу 1934 г. (за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…»).

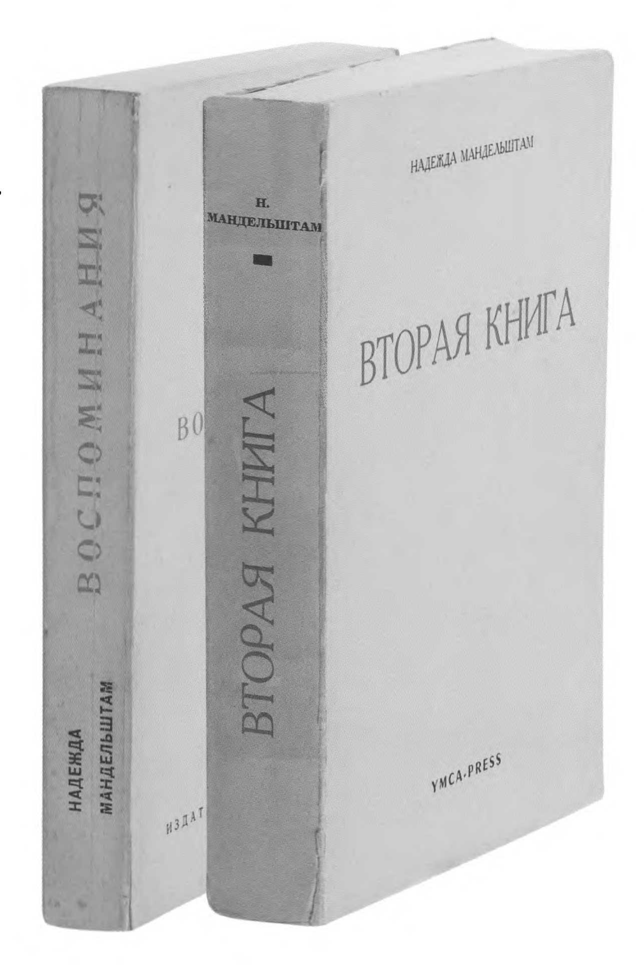
[41] Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме (1970) // Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка; Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. С. 179. Репринтное издание четырехтомника выпущено московским издательством «ТЕРРА-TERRA» в 1991-м — год столетия поэта.

51

МАНДЕЛЬШТАМ Н.Я.

Воспоминания

/ Надежда Мандельштам. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. — 432 с.; 21,5×14 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.



Вторая книга

/ Надежда Мандельштам. — Р.: YMCA-Press, 1972. — 712 с.: ил., [2] л. портр.; 19×14 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

YMCA-PRESS

«Свою роль в жизни я могу определить так: я была свидетельницей поэзии»[1], — писала в незаконченной третьей книге Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина; 1899–1980). Она родилась в Саратове, в семье крещеных евреев, отец — адвокат, мать — врач. С детства знала несколько языков. Окончила киевскую женскую гимназию, экстерном сдала экзамены за мужскую. В юности занималась в студии художницы А.А. Экстер. 1 мая 1919 года в киевском ночном клубе художников, литераторов, артистов и музыкантов «Хлам» познакомилась с О.Э. Мандельштамом. «Кто бы мог подумать, что на всю жизнь мы останемся вместе?..» — писала Н.Я. позднее[2]. «Нищенка-подруга», как называл ее Мандельштам, делила с ним отщепенство, бездомность, ссылки. «...Мы часто вместе смеялись, с ним никогда не было скучно, и мы с ним были очень счастливы даже в самые тяжелые времена. И не я была тому причиной, а он», — рассказывала Н.Я. о Мандельштаме в середине 1970-х голландским журналистам[3].

«Рождение новых стихов было для О.Э. всегда радостью, которую ему необходимо было с кем-то, и как можно скорее, разделить. Конечно, самым первым его читателем была Н.Я. Ее даже мало назвать читателем, так как обычно она, собственно, и писала стихотворения, т. е. записывала стихи или строфы...» — вспоминал друг Мандельштамов Б.С. Кузин[4]. «Осип Эмильевич неоднократно говорил: “Стихи, записанные Надей, могут идти в порядке моей рукописи”», — свидетельствует Н.Е. Штемпель[5]. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно, — писала А.А. Ахматова. — ...Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах»[6].



Надежда Мандельштам. Москва. Начало 1970-х годов (?). Фотопортрет на фронтисписе «Второй книги»

После ареста и гибели поэта жена «врага народа» скиталась по разным городам. Малоярославец, Калинин, Струнино под Загорском (ученица тазовщицы на прядильном комбинате), снова Калинин (надомница в артели по изготовлению игрушек, школьная учительница). В годы войны и эвакуации — деревня под Джамбулом, затем Ташкент, где Н.Я. начала писать диссертацию («Функции винительного падежа по материалам англо-саксонских поэтических памятников»), которую удалось защитить только в 1957-м в Ленинграде. После войны преподавала иностранные языки в вузах — Ульяновск, Чита, Чебоксары, Псков... «...В каждом вузе, где я работала... находился человек, знавший мое имя и начинавший кампанию по моему искоренению», — писала Н.Я.[7]

При бездомной, безбытной, скитальческой жизни Н.Я. удалось спасти архив Мандельштама — стихи и проза хранились в ее памяти и в домах надежных людей[8]. После того как в 1956 году Мандельштам был частично реабилитирован, Н.Я. объявляет о существовании архива поэта, предпринимает попытки публикации его текстов, в 1957-м добивается создания комиссии по литературному наследию. Тексты Мандельштама по ее спискам появляются в самиздате. Мемуары Н.Я. были не только подведением итогов: «Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период — совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью и именно так ее ощущаю, но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела... в целом — двадцать лет непрерывного ожидания... ...Третий период — с конца пятидесятых годов, когда я получила право называть свое имя, объяснять, кто я и о чем думаю. ... В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи: сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга это и есть такое письмо...»[9]

Первую книгу Н.Я. начала летом 1958-го в Тарусе, где и была написана бóльшая часть. Работа продолжалась в 1962–1964 годах в восьмиметровой комнате коммунальной квартиры во Пскове. Главы давались на прочтение тем, кому Н.Я. доверяла. В числе читателей была А.С. Эфрон, у которой «Воспоминания» не нашли сочувственного отклика: «Сплошной мрак, все — под знаком смерти; а когда так пишут, то и *жизнь* не встает. Как бы ни была глубоко трагична жизнь О.Э., но ведь она была жизнью — до последнего вздоха. В ее же воспоминаниях (Над<ежды> Як<овлев>ны), в ее трактовке основное — *обстоятельства* пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта “обстоятельств” нет, есть Рок, под них подделывающийся. Воспоминания же — обстоятельно-обстоятельственны, и от этого — мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но… “чему это учит”?»[10] 31 октября 1964 года А.К. Гладков записал в дневнике: «[Н.Я.] кончила книгу и кладет ее в “бест”[11]. Я уговаривал ее сдать экземпляр в ЦГАЛИ»[12].

«Это было время объединения сил, и любая песня (Окуджавы) звучала как марсельеза… — вспоминает годы после XX съезда Н.В. Панченко. — …Все было хорошо (за исключением, которое только подчеркивало правило), всем было хорошо (кто не поступал плохо) и, главное, все были хорошие и отлично и радостно это сознавали. “Приятно и радостно сознавать...” — уже вертелись слова вождя на розовом либеральном языке, когда появились “Воспоминания” Надежды Мандельштам и все испортили.

Они были неожиданны — как если б из праха возник протопоп Аввакум и глянул в наши перевернутые бельма (горестные и лукавые) своими горящими угольями. Только с его “Житием” могу поставить в ряд эти “Обличения”, названные “Воспоминаниями”, в которых Н.Я. напомнила нашей торжествующей интеллигенции о ее недавнем грехопадении. О времени (20–30-е годы), когда, увы, интеллигенция отменила нравственные абсолюты, подменила общечеловеческие ценности классовыми и, по сути, перестала быть интеллигенцией. … И Н.Я., не смутившись праздничным духом современников, назвала преступление — преступлением и не исключила себя из числа виновных»[13].

Высоко оценивший текст В.Т. Шаламов придумывал варианты названий для книги: «Мандельштам распятый», «Акмеизм в аду», «Голгофа акмеизма», «Черная свеча»[14]. Он писал автору: «Рукопись отвечает на вопрос — какой самый большой грех? Это — ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. Я добавлю — давление на чужую волю, игра чужой волей, распоряжение чужой жизнью. … Но велика и сила сопротивления — и эта сила сопротивления, душевная и духовная, чувствуется на каждой странице. У автора рукописи есть религия — это поэзия, искусство»[15]. К «свидетельствам духовного Сопротивления» относит книгу и духовник Н.Я., о. Александр Мень: «Получился некий срез эпохи. Портрет российской интеллигенции в годину погрома. Пусть портрет не полный и субъективный. Очень субъективный. Но кто и когда писал объективные мемуары? …Это жесткая книга. Книга о капитуляции многих мыслящих и одаренных людей, о глубинных истоках драмы»[16].

Скептически относившийся к мемуарам писательских жен редактор «Нового мира» А.Т. Твардовский записывал в Рабочей тетради 8 февраля 1968 года: «…история рассказана на таком густом фоне исторического слома понятий “абстрактного гуманизма”, нравственного онемения и глухоты общества, его подавленности не только страхом, но и “авторитетом идей” (“так надо для революции, для великой цели”) и с такими неотразимо правдивыми наблюдениями над деформацией общественной психологии, условиями и т. д., что история эта приобретает неизмеримо более широкое звучание, чем сами по себе трагические обстоятельства биографии поэта»[17]. На следующий день он пишет автору на официальном бланке журнала: «Правда, это — привилегия таланта, — бог Вас наградил им… Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, — потому и называю рукопись книгой, — только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным»[18].

Существуют две (не исключающие одна другую) версии проникновения «Воспоминаний» за рубеж. По свидетельству В.В. Шкловской, «…первая книга ушла у нее (Н.Я. Мандельштам. — *О.В.*) из-под рук. Она написала ее, давала читать на одну ночь, и Пинский[19] задержал книгу, перепечатал ее, и эта книжка вышла у нее из-под контроля, и ушла… на Запад»[20]. Эту версию поддерживает и Н.В. Панченко: «Она не рассчитывала на публикацию. Не только здесь, но и там: книга, невыправленная и невыверенная, фактически “выкраденная” Пинским, была скорее произнесена, чем написана…»[21] Согласно свидетельствам Ю.Л. Фрейдина «в 1966 г. Н.Я. отсылает рукопись книги за рубеж и отпускает ее в самиздат»[22] — «авторскую машинопись с риском вывез из Москвы… американский славист Кларенс Браун»[23].

В марте 1966 года умерла Ахматова. «Для меня кончилась эпоха и человек, с которым я прожила всю жизнь», — пишет Н.Я.[24] Вернувшись из Ленинграда с похорон, Н.Я. приступает к продолжению воспоминаний, задуманному как книга об Ахматовой. В начале 1967-го результаты труда перечеркнуты: «Очень много работаю над второй книгой. Она будет не хуже первой. Ту — летнюю — надо в печку…»[25] 22 апреля А.К. Гладков записывает: «А.А. у нее очень живая, но какая-то мелковатая, позерская и явно уступающая автору мемуаров в уме и тонкости»[26]. По свидетельству В.М. Борисова, осенью 1967-го Н.Я. уничтожила почти законченную рукопись[27]. Концепция книги изменилась. П.М. Нерлер связывает это с событиями 1967-го, повлекшими переоценку ценностей: история с мемуарами О.А. Ваксель, судебная тяжба между Л.Н. Гумилевым и И.Н. Пуниной по поводу архива Ахматовой и конфликт Н.Я. с Н.И. Харджиевым из-за архива и книги Мандельштама[28]. Ю.Л. Фрейдин считает «завинчивание гаек» причиной попытки ответить на вопрос, как все это могло случиться[29]. Из портрета Ахматовой на фоне эпохи вторая книга превращается в «суд над эпохой» и личную исповедь. При наличии текстуальных связей меняются тональность, акценты, сильнее проступает подмеченный Ахматовой «дар снижения». Название книги перекликается со сборником стихотворений Мандельштама, посвященным жене.

Н.Я. печатала текст на старенькой машинке, один экземпляр по мере готовности порциями забирала на хранение Е. Мурина[30]. «Работу кончила. Летом устраню мелочь», — сообщает Н.Я. в письме Штемпель весной 1970-го[31]. Вероятно, воронежская подруга читала рукопись, в следующем письме Н.Я. пишет: «Спасибо за доброе слово… Но я думаю, это еще сырье. Работы много впереди. До конца жизни хватит — лишь бы успеть. Я усталая и грустная»[32]. В том же 1970-м в Нью-Йорке почти одновременно вышли русское издание и английский перевод первой книги. «Воспоминания» Н.Я. послужили неким толчком к возрождению закрывшегося в 1956 году «Издательства имени Чехова», которое выпустило первое собрание сочинений О.Э. Мандельштама в 1955-м. Возглавивший издательство американский бизнесмен Э. Клайн приобрел у бывших владельцев право на название и выпускал запрещенные цензурой в СССР книги на русском языке, продолжая традицию основателей. Главным редактором стал литературовед и переводчик М. Хэйворд. Клайн вспоминает: «В 1968 г. я встретил Макса Хэйворда, который прибыл в Америку… В то время Макс переводил воспоминания Надежды Мандельштам — первоначально названные ею “Первая книга”, — опубликованные на английском под названием “Hope against hope”. Мы… оба решили, что стыдно, когда замечательные книги, написанные на русском, публикуются в переводе на английский, не будучи изданы на родном языке. … Мы пришли к общему мнению создать издательство. Стали выбирать для него название, и по многим причинам “Издательство имени Чехова” (Chekhov Publishing Corporation) было лучшим именем, потому что А.П. Чехов был в основном вне политики или, по крайней мере, его имя не связывалось с политикой. … Выбранное имя определяло наше издательство как Русский издательский дом, при том, что Макс был англичанином, а я — американцем»[33].

В октябре 1970-го машинописный текст «Второй книги» вывез на Запад московский корреспондент итальянской газеты «Corriere Della Sera» П. Сормани и в декабре передал его Н.А. Струве, которому Н.Я. предоставила право на издание и редактирование. Действия по изданию и переводу ее книг на Западе Н.Я. поручила «Комитету четырех», куда входили О. Андреева-Карлайл (с правом замещения Н. Резниковой), Н.А. Струве, К. Браун и П. Сормани[34]. «Вторая книга» вышла в Париже в издательстве «YMCA-Press» в середине 1972-го. После публикации на Западе «Воспоминаний» не покидавшее Н.Я. чувство страха за архив Мандельштама усилилось. Через год после выхода «Второй книги», в 1973-м, архив по тайным дипломатическим каналам был переправлен во Францию, а в 1976-м по желанию Н.Я., опасавшейся прихода к власти во Франции коммунистов, перевезен в США.

Широко распространившиеся в самиздате мемуары вызвали диаметрально противоположные реакции современников. «...Два тома Н.Я. Мандельштам действительно могут быть приравнены к Судному дню на земле для ее века и для литературы ее века, тем более ужасном, что именно этот век провозгласил строительство на земле рая, — писал И. Бродский. — …Эти воспоминания, особенно второй том, вызвали негодование по обеим сторонам кремлевской стены. Должен сказать, что реакция властей была честнее, чем реакция интеллигенции: власти про-

сто объявили хранение этих книг преступлением...»[35] «Интеллигенция разделилась, — говорил в интервью А.Д. Синявский. — ...Она многих задела в этой книге, причем... людей уважаемых, достойных, а не просто каких-то негодяев. ... У нее другая точка отсчета — внутренняя, психологическая, и поэтому у нее такие резкие оценки. У нее мысленно постоянно в ее книге точка отсчета — это яма, общая могила какая-то, куда брошен Мандельштам с биркой на ноге, голый Мандельштам. И она все время мерит этим критерием...»[36]

«Вы решили — ни много ни мало — доказать, что за последние пятьдесят лет нашей литературы не было, — писал автору В.А. Каверин в 1973-м. — Были только Мандельштам, Ахматова и Вы, не написавшая ни строчки. Замечу, что в первой книге Вы пишете об Ахматовой как о старшей сестре, а во второй — как о младшей, которую можно время от времени покровительственно осадить. ... Вы не вдова, Вы — тень Мандельштама. В знаменитой пьесе Шварца тень пытается заменить своего обладателя — искреннего, доброго, великодушного человека. Но находятся слова, против которых она бессильна. Вот они: "Тень, знай свое место"»[37]. В начатой в 1972 году и не законченной книге «Дом Поэта» Л.К. Чуковская относит «Вторую книгу» «к числу посмертных надругательств над Анной Ахматовой». Чужд ей сам язык мемуаров: «Вульгарность — родная стихия мемуаристки... Пересказывая чужую мысль, передавая чувство, Надежда Яковлевна переводит все на какое-то странное наречие: я назвала бы его смесью высокомерного с хамским. ... Язык, на котором изъясняется Н. Мандельштам, противостоит поэзии Анны Ахматовой...»; «[Н.Я.], рассуждая об Анне Ахматовой... говорит о ней на том вульгарном наречии, что и обо всем и обо всех, и выходит, что даже если она и не лжет в прямом смысле... она, сообщая правду, все равно лжет...» В незаконченном финале книги Чуковская заключала: «Самая главная ложь в ее книге... утверждение, что с такого-то года все делились на победителей и побежденных; она, Надежда Яковлевна, ясно видит грань между ними; побежденные раз и навсегда переходили на сторону победителей; ей, Надежде Яковлевне, дан в руки точный аршин, точная мерка, и она — только она — способна измерить степень перехода или падения каждого»[38].

По мысли Бродского, Н.Я. Мандельштам «как человек и как писатель» «была следствием, порождением двух поэтов, с которыми ее жизнь была связана неразрывно: Мандельштама и Ахматовой. ... Мало-помалу строки этих поэтов стали ее сознанием, ее личностью. Они давали ей не только перспективу, не только угол зрения; важнее то, что они стали для нее лингвистической нормой. ... Ясность и безжалостность ее письма, которая отражает характерные черты ее интеллекта, есть также неизбежное стилистическое следствие поэзии, сформировавшей этот интеллект. ... Не исключительность масштабов ее горя, а именно обладание такой призмой, полученной от лучшей русской поэзии двадцатого века, — вот что делает суждения Н.Я. Мандельштам относительно увиденной ею действительности неоспоримыми»[39].

«Античеловечной, антиинтеллигентской, неряшливой, невежественной» называет Чуковская «Вторую книгу»: авторский «литературный

слог — слог запыхавшегося репортера, который строчит размашисто, развязно, хлестко, бойко, иногда — выразительно…»; «[Н.Я.] сильно напоминает ту злую мачехину дочку, которую справедливая фея наградила отвратительным даром: стоит ей только открыть рот — оттуда выскочит жаба...»; «Книга… проникнута бесчеловечьем — вся! — от первой до последней страницы»; «Надежда Яковлевна не перечитывает того, что пишет. Но читатель-то ведь читает! (Не говорю уж об издателе.) Что же он при этом думает?»[40]

Издатель «Второй книги» Н.А. Струве, вспоминая о шестнадцатилетнем эпистолярном общении с Н.Я., говорил в интервью: «Она была человек глубокий, очень щедрый, очень добрый, а вместе с тем необычайно страстный и в каком-то смысле умно едкий, умно острый. Конечно, значение ее в истории русской культуры огромно, не только потому что, я бы сказал, она была вровень своему гениальному мужу и что она поняла и сохранила его наследие через такое лихолетье, но и потому что она все-таки создала в области мемуаров наиболее значительные вещи. … И, кроме того, у нее оказался писательский дар. Ее воспоминания именно остры не только умом, но и пером. Иногда даже эта острота ее подводила. Во втором томе она немножко, может быть, дала слишком большую волю своему острому уму. … Мы с ней спорили… я даже просил кое-какие суждения и, в частности, об Ахматовой из второй книги убрать, на что она согласилась. Но как-то потом, в дальнейшем издании, уже после смерти, они были восстановлены. Но, тем не менее, вот эти преувеличения в ее оценках нисколько не умаляют значения этих двух книг. Эти две книги останутся»[41].

В связи с «Воспоминаниями» Шаламов говорил о новой форме мемуаров, продиктованной временем: «Хронология жизни О.Э. Мандельштама перемежается с бытовыми картинками, с портретами людей, с философскими отступлениями, с наблюдениями по психологии творчества. И с этой стороны воспоминания Н.Я. М<андельштам> представляют огромный интерес. В историю русской интеллигенции, в историю русской литературы входит новая крупная фигура»[42]. «У Надежды Мандельштам, в ее воспоминаниях, есть какая-то удивительная победа и слова над материалом, и какое-то равноправие материала и слова, что позволяет говорить о ней как о великом равнозначном прозаике», — считает А.Г. Битов[43].

По определению Бродского, «ее книги являются не столько мемуарами и комментариями к биографиям двух великих поэтов, и как ни превосходны они в этом качестве, эти книги растолковали сознание русского народа. По крайней мере, той его части, которой удавалось раздобыть экземпляр»[44]. «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити. В поисках этой утраченной связи, этой ариадниной нити разорванной, молодежь тянется наугад… — писал автору Шаламов. — Вы одна из самых важных людей, восстанавливающих эту порванную связь времен»[45]. Восстановление утраченной связи времен Панченко называет «работой “по склеиванию позвонков” конца тысячелетия», итоги которой «еще будут подведены»[46].

Современники вспоминают обретенную Н.Я. на склоне жизни однокомнатную кооперативную квартиру на первом этаже дома на окраине Москвы — где «самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене»: «В те “благополучные” годы, последовавшие за публикацией на Западе двух томов ее воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер лучшее из того, что выжило или появилось в послесталинский период, собиралось вокруг длинного деревянного стола…»[47] «Как магнитом она притягивала к себе разных людей, — вспоминал о. А. Мень. — Особенно молодых. Кто только не перебывал на ее убогой кухоньке, которая надолго стала приютом свободной мысли и душевной открытости. … Для многих общение в этом кругу было настоящей школой. Оно давало глоток живительного воздуха среди удушья “застойных” лет. Здесь обсуждались вопросы философии, политики, религии, искусства. И душой всего была эта измученная страданиями, больная старая женщина»[48].

На полях американского Собрания сочинений Мандельштама к строкам — «Старушка эта была с виду обыкновенная... содержала себя самостоятельно и с шестидесяти лет жила литературным трудом» — Н.Я. делает пометку: «как я»[49]. О месте юмора в жизни Мандельштамов Б.С. Кузин вспоминал: «...несмотря на ужасную судьбу О.Э. и на трагический пафос очень многого им написанного, сам он не только не был мрачен, но наоборот — был человек веселый, как никто понимавший шутку, комизм и восхитительно умевший шутить. … Не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в котором нельзя было бы ожидать от О.Э. остроты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. Не помню, чтобы сам я когда-либо чувствовал, что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохотать можно было всегда»[50].

«На страницах “Второй книги” Надежда Яковлевна не раз говорит, будто ум у нее по природе насмешливый. Самообольщение!» — считала Л.К. Чуковская[51]. Иначе воспринимали Н.Я. младшие современники. «...Она умела смеяться и над собой, и другим позволяла смеяться над собой, — рассказывает Л. Сергеева. — …У нее распухло колено, ей было трудно ходить, и кто-то… был послан в аптеку купить змеиный яд. Времена были сложные, и лекарства было купить трудно, пришли, и сказали, что яда нет. А за это время в гости пришли Синявские. Мария Васильевна, дама весьма ироничная… сказала: а зачем вам яд? Вы поплюйте на коленку, и все пройдет. Надежда Яковлевна хорошо засмеялась, и сказала: сейчас попробую. И точно все это исполнила»[52]. «До последнего дня она продолжала шутить», — вспоминает Н.В. Панченко[53].

«Читатель ее “Воспоминаний” погружается в атмосферу тех черных лет… — писал о. А. Мень. — Однако трудно избавиться от ощущения, что “Воспоминания” написаны счастливым человеком. … Для постороннего взгляда судьба ее была изломана. На самом же деле Надежда Мандельштам — удивительный пример человека, который до конца сумел выполнить свое призвание на земле. Вот почему ее можно считать счастливой. Она спасла наследие поэта. В неимоверно трудных условиях собирала

и запоминала созданное им. Она дожила до публикации его стихов. Донесла до нас свидетельство эпохи»[54].

В 1970-х Н.Я. не раз говорила, что обдумывает третью книгу. Посмертно изданы в Нью-Йорке ее разрозненные комментарии к стихотворениям Мандельштама, воспоминания, очерки, письма, эссе и другие материалы[55]. К 50-й годовщине гибели Мандельштама в несколько ином составе в Париже вышла «Книга третья»[56], название которой — не авторское, но в русле авторской стилистики — дал Н.А. Струве. В том же 1987-м состоялась окончательная реабилитация О.Э. Мандельштама, до которой Н.Я. не дожила. На родине ее воспоминания были впервые опубликованы в 1988-м[57]. Уцелевшие авторские машинописи и первые зарубежные издания обеих книг с авторской правкой и пометами легли в основу текстологически выверенных российских изданий, выпущенных издательством «Согласие» к 100-летию со дня рождения автора, в 1999-м[58]. С 2008 года Оксфордским университетом и Мандельштамовским обществом ведется работа по созданию воссоединенного виртуального архива Мандельштама, доступного исследователям со всего мира[59].

Ольга Василевская

---

[1] Мандельштам Н.Я. Моцарт и Сальери // Мандельштам Н.Я. Третья книга. М.: Аграф, 2006. С. 222.

[2] Мандельштам Н.Я. Вторая книга: Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1990. С. 32.

[3] Надежда Яковлевна. К 100-летию со дня рождения Надежды Мандельштам / авт. И. Дадашидзе // http://archive.svoboda.org/programs/OTB/2002/OBT.020202.asp.

[4] Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме (1970) // Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка; Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. С. 175.

[5] Н.Е. Штемпель — В.М. Борисову, 25 июля 1967 г. Цит. по: Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. 2-е изд., испр. М.: Три квадрата, 2008. С. 77.

[6] Ахматова А.А. Листки из дневника // Анна Ахматова: Проза поэта. М., 2000. С. 26.

[7] Н.Я. Мандельштам — А.А. Суркову, 15 ноября 1958 г. (Неизвестные письма Надежды Мандельштам // Информпространство. 2005. № 6).

[8] См.: Нерлер П.М. Документы об Осипе Мандельштаме в российских и зарубежных архивах // http://mandelshtam.lit-info.ru/review/mandelshtam/004/351.htm.

[9] Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 154–155.

[10] А.С. Эфрон — В.Н. Орлову, 7 сентября 1964 г. (Эфрон А.С. «Моей зимы снега...»: Воспоминания. Рассказы. Письма. Стихи. Рисунки. М.: Тип. «Новости», 2005. С. 736–737).

[11] Укрытие, малоупотребимое слово из обихода Н.Я. Мандельштам.

[12] РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 142. Цит. по: Нерлер П.М. В поисках концепции: Книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками // Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. С. 9.

[13] Панченко Н.В. «Какой свободой мы располагали...» // http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pages68a9.html?Key=11748&page=467.

[14] РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Д. 131. Л. 1–76. См.: Нерлер П.М. От зимы к весне: На полях переписки Надежды Мандельштам и Варлама Шаламова: «Шерри-бренди» и «Сентенция» как цикл // http://www.polit.ru/article/2007/06/22/mandelshtam/.

[15] В.Т. Шаламов — Н.Я. Мандельштам, 29 июня 1965 г. (Шаламов В.Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2004. С. 765–766).

[16] Мень А. Свидетели // Мень А. Трудный путь к диалогу. Цит. по: http://www.krotov.info/library/13_m/myen/2_trud_20.html.

[17] С твердой верой в добро...: (А.Т. Твардовский и Н.Я. Мандельштам) // Дружба народов. 2003. № 1. Цит. по: http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/1/tvar.html).

[18] А.Т. Твардовский — Н.Я. Мандельштам, 9 февраля 1968 г. (Там же).

[19] Пинский Леонид Ефимович (1906–1981), филолог, лектор и мыслитель-эссеист. Автор послесловия к «Разговору о Данте» О.Э. Мандельштама (М.: Искусство, 1967).

[20] «Было – не было» (радио «Арсенал») 13 марта 2003 г. (http://www.echo.msk.ru/programs/bylo/21622/).

[21] Панченко Н.В. «Какой свободой мы располагали...»

[22] Фрейдин Ю.Л. Надежда Яковлевна Мандельштам и ее «Третья книга» // Мандельштам Н.Я. Третья книга. М.: Аграф, 2006. С. 481.

[23] Фрейдин Ю.Л. Ненаписанная книга // Там же. С. 3. Здесь Ю.Л. Фрейдин датирует это событие 1965 г. Ср.: «В начале 1966 года, на православное Рождество, ее увез к себе в Принстон Кларенс Браун» (Нерлер П.М. В поисках концепции... С. 13).

[24] Н.Я. Мандельштам — С.М. Глускиной, 9 мая 1966 г. (Цит. по: Нерлер П.М. В поисках концепции… С. 18).

[25] Н.Я. Мандельштам — Н.Е. Штемпель, 16 января [1967 г.] (Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. С. 350).

[26] Цит. по: Нерлер П.М. В поисках концепции… С. 19.

[27] Один экземпляр сохранился у Н.Е. Штемпель. Фрагменты впервые опубл.: Мандельштам Н. [Об Ахматовой] // публ., послесл. и примеч. П.М. Нерлера // Литературная учеба. 1989. № 3. С. 134–158. Полностью опубл.: Мандельштам Н.Я. «<Думая об А.А. …>» // Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 17–130; Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой / сост. и вступ. ст. П. Нерлера. М., 2007. С. 109–212.

[28] Подробнее см.: Нерлер П.М. В поисках концепции... С. 21 и сл.

[29] См.: Фрейдин Ю.Л. Надежда Яковлевна Мандельштам… С. 481–482.

[30] См.: Мурина Е. О том, что помню про Н.Я. Мандельштам // Мир искусства: альманах. СПб., 2001. Вып. 4. С. 138–139.

[31] Н.Я. Мандельштам — Н.Е. Штемпель, [конец мая, 1970 г.] (Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. С. 377).

[32] Н.Я. Мандельштам — Н.Е. Штемпель, 1 июня [1970 г.] (Там же. С. 377).

[33] Клайн Э. Интервью Мемориальной странице [А. Якобсона]. Цит. по: http://www.antho.net/library/yacobson/penclub/ed-kline-interview.html. (Интервью А. Зарецкому по телефону 26 марта 2006 г. Пер. с англ. А. Зарецкого.)

[34] См.: Нерлер П.М. В поисках концепции… С. 23.

[35] Бродский И.А. Надежда Мандельштам (1899–1980): Некролог // Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 1999. Т. 5. С. 108. (Авториз. пер. с англ. Л.В. Лосева.) С. 111.

[36] Надежда Яковлевна. К 100-летию со дня рождения...

[37] Письмо В. Каверина к Н.Я. Мандельштам // Вестник РСХД. 1973. № 108/110 (II/IV). С. 189, 191.

[38] Чуковская Л.К. Дом Поэта: Фрагменты книги // Дружба народов. 2001. № 9. Цит. по: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/9/chuk.html.

[39] Бродский И.А. Надежда Мандельштам… С. 110–112.

[40] Чуковская Л.К. Дом Поэта...

[41] Надежда Яковлевна. К 100-летию со дня рождения...

[42] Шаламов В.Т. О прозе (1965) // Собр. соч.: в 4 т. М.: Художественная литература; Вагриус, 1998. Т. 4. С. 359–360.

[43] Надежда Яковлевна. К 100-летию со дня рождения...

[44] Бродский И.А. Надежда Мандельштам… С. 111.

[45] В.Т. Шаламов — Н.Я. Мандельштам, 21 июля 1965 г. (Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам (1965–1968) // Знамя. 1992. № 2. С. 158–177. Цит. по: http://shalamov.ru/library/24/36.html).

[46] Панченко Н.В. «Какой свободой мы располагали...»

[47] Бродский И.А. Надежда Мандельштам (1899–1980). С. 108, 109.

[48] Мень А. Свидетели.

[49] Мандельштам О.Э. Детская литература // Собр. соч.: в 3 т. Washington; N. Y., 1969. Т. 3. С. 50; «Любил, но изредка чуть-чуть изменял»: Заметки Н.Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама // Philologica. 1997. № 4. С. 172.

[50] Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме (1970). С. 155.

[51] Чуковская Л.К. Дом Поэта.

[52] «Было – не было»...

[53] Умных жен переносят не многие: Семья Шкловских вспоминает Надежду Ман-

дельштам / беседу вели О. и М. Фигурновы // Огонек. 2008. 22–28 декабря. № 52. Цит. по: http://www.ogoniok.com/archive/2000/4669/42-42-45/.

[54] Мень А. Свидетели.

[55] Мандельштам Н.Я. Мое завещание и другие эссе / [сост. Г. Поляк]. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982.

[56] Мандельштам Н.Я. Книга третья / [сост. Н.А. Струве]. Р.: YMCA-Press, 1987.

[57] Мандельштам Н.Я. Воспоминания / публ. подгот. Ю.Л. Фрейдин и С.В. Василенко // Юность. 1988. № 8; 1989. № 7–9; первые кн. изд.: Мандельштам Н.Я. Воспоминания / послесл. Н.В. Панченко. М.: Книга, 1989; Мандельштам Н.Я. Вторая книга: Воспоминания / [подгот. текста, предисл. и примеч. М.К. Поливанова]. М.: Московский рабочий, 1990.

[58] Черновики и рабочие экземпляры воспоминаний ныне находятся в музее Мандельштама в г. Фрязино. «Авторизованная машинопись “Второй книги” позволила… устранить огромное количество искажений и пропусков, вкравшихся в парижское издание этих мемуаров 1972 года», — сообщает организатор музея, член правления Мандельштамовского общества при РГГУ С.В. Василенко (Музей-воспоминание / [беседа М. Макаровой с С. Василенко] // Литературная газета. 2009. 25 марта. № 12–13 (6216)). Цит. по: http://www.lgz.ru/article/8266/).

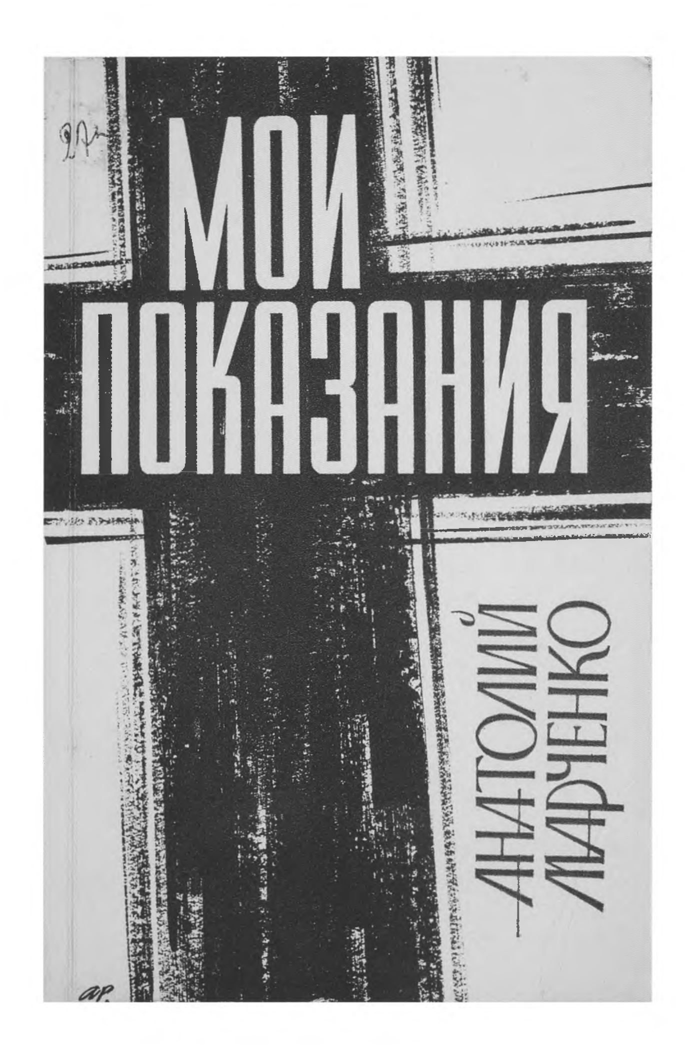
[59] См.: URL: http://www.mandelstam-world.org/intro.php.

52

МАРЧЕНКО А.Т.

Мои показания

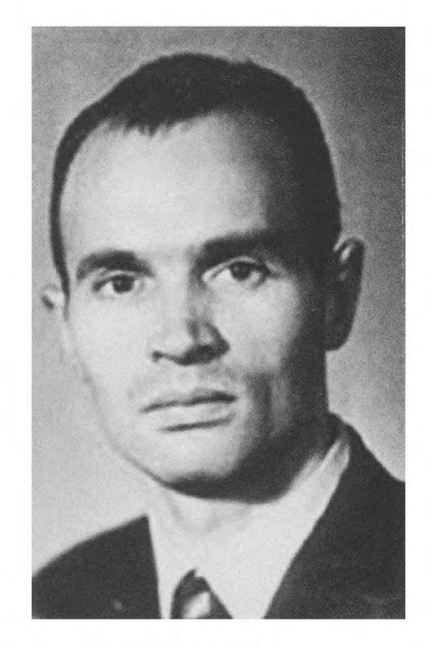
/ Анатолий Марченко; [обл. А. Русака]. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1969. — 421 с.; 16,5x10,5 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.





Анатолий Тихонович Марченко (1938–1986) родился 23 января 1938 года в городе Барабинске Новосибирской области в семье машиниста-железнодорожника. После окончания восьмилетки уехал по комсомольской путевке на строительство Новосибирской ГРЭС. Получил специальность сменного бурового мастера. В дальнейшем работал на рудниках, в геологоразведке, на Карагандинской ГРЭС. В 1958 году после массовой драки в рабочем общежитии между местными рабочими и депортированными чеченцами Марченко был арестован и приговорен к двум годам заключения в Карлаге. Отсидев год, совершил побег, перебивался случайными заработками и в итоге принял решение бежать за границу. 29 октября 1960 года он был задержан при попытке перехода государственной границы с Ираном. Третьего марта 1961 года Верховный суд Туркменской ССР приговорил его к шести годам лагерей по статье «за измену родине». Наказание Марченко отбывал в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме.

В заключении он принял решение поведать всему миру о бесчеловечных условиях жизни в лагерях и тюрьмах СССР. «Я был этой мыслью одержим, — вспоминал Анатолий Тихонович. — Мир должен знать: сталинские лагеря не кончились. Сейчас сажают много меньше, но законы лагерной жизни не менее жестоки и не более правосудны… О том, что писать трудно, что этому надо учиться, я тогда совсем не думал. Главное — СКАЗАТЬ всему свету об этой скрытой чудовищной жизни. Еще меня то бесило, что наши газеты, радио непрестанно возмущаются проявлениями бесправия в странах капитала, а того, что происходит с нашими гражданами, если они попали за решетку, даже и не по политике, никто знать не хочет…»[1] Марченко был убежден, что гласность — единственное средство в борьбе с беззаконием. Во Владимирской тюрьме его не раз охватывало отчаяние, но мысль о будущей книге поддерживала его дух: «Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть… Меня останавливало одно — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще оставались за решеткой…»[2]



Анатолий Марченко. Москва (?). 1960-е годы

В ноябре 1966 года Марченко вышел на свободу. Ему удалось вынести из лагеря две странички составленных им записей, понятных только ему: «на тетрадной обложке фамилия, или имя, или какая-нибудь оборванная фраза». Но основную информацию Анатолий Тихонович держал в памяти[3].

Марченко приехал в столицу. Лагерное знакомство с писателем Юлием Даниэлем ввело его в круг московской инакомыслящей интеллигенции. Он познакомился с правозащитниками Ларисой Богораз (женой Ю. Даниэля), Людмилой Алексеевой, Натальей Горбаневской, Борисом Шрагиным, которые приняли его как родного[4]. Новые друзья поначалу пытались отговорить Марченко писать воспоминания: они чувствовали себя ответственными за его жизнь. Но тот был непреклонен. Весной 1967-го, приехав к родителям в Барабинск, он написал несколько эпизодов и отправил их письмами в Москву. Л. Богораз показала тексты московским диссидентам, и они посоветовали Марченко продолжить работу. Хотя сам он видел, что получается все не так, как ему хотелось бы: суть часто расплывается в массе ненужных подробностей.

Анатолий и Лариса стали работать над текстом вместе, безжалостно сокращая его, и в процессе редактирования Марченко понял: писать надо проще, не втискивать в одну фразу все, что хочется сказать. Объем

написанного рос. Но то, что удалось сделать к концу лета, никак не связывалось в одно целое. Между тем оставаться долго в Москве Марченко не мог: ему было запрещено жить в крупных городах.

Друзья помогли Анатолию снять пристанище у одинокой старухи на окраине города Александрова Владимирской области. Хозяйка относилась к нему хорошо, но работа на ликерно-водочном заводе и мелкие услуги хозяйке отнимали почти все время. К тому же Марченко жил с хозяйкой в одной комнате (его угол был отделен лишь занавеской). Где писать? Где хранить написанное? Вначале выручала летняя пристройка-коридорчик. Анатолий сказал, что любит спать на свежем воздухе, и до сентября жил и писал там. А на выходные, спрятав в карманы пару тетрадок, уходил «гулять» в лес. Но подошла осень, начались дожди, прогулки пришлось прекратить. Между тем следовало торопиться: Марченко опасался, что о его «литературных занятиях» прознают власти. У Ларисы тоже не хватало времени заниматься его черновиками: она могла приезжать только по выходным, и такая усталая, что, едва взявшись за редакторскую работу, сразу же засыпала[5].

Но неожиданно им повезло: одна приятельница предложила пожить в своей комнате на базе отдыха для творческих работников. В будние дни Анатолий и Лариса сидели над рукописью по восемнадцать часов в сутки: «Никакая тяжелая физическая работа меня так не выматывала, как эта, — вспоминал Анатолий Тихонович. — И каждый вечер, усталый хуже собаки, я отодвигал рукопись неудовлетворенный: все еще не видно было, получается ли работа. А эти две недели — мой последний шанс, потом опять пойдет круговерть: работа на заводе — быт — угол за занавеской… Того и гляди КГБ пронюхает и схватит. Я страшно нервничал и злился, даже время на обед казалось мне потраченным зря…»[6] Наступило время организовать все написанное. Лариса предложила: «Пусть это будет твоя собственная история: кто ты такой, как попал в Мордовию, а дальше по порядку — Владимирская тюрьма, лагерь, что там видел». Анатолий взял листок и написал: «Меня зовут Анатолий Марченко». Дальше все пошло более или менее гладко[7]. Написанные ранее эпизоды нанизывались на хронологию жизни автора, «как бусы на нитку». К концу двухнедельного «отпуска» книга была почти закончена. Получилось около двухсот тетрадных страниц, исписанных с двух сторон мелким почерком.

Через несколько дней Анатолий, Лариса и Борис Шрагин обсуждали в Москве несколько вариантов названия. Были одобрены — «Мои показания». Далее предстоял завершающий этап работы — перепечатка рукописи, за которую взялся Шрагин. С подержанной печатной машинкой, купленной специально для этой цели, он уединился на квартире своей матери, в укромном районе, где его печатание не могло никого побеспокоить и не вызывало подозрений. Но, напечатав 20 страниц, Шрагин неожиданно бросил свое занятие, оправдываясь тем, что ему запретила это делать жена: «Ты, видно, хочешь помочь Толе сесть!» Пришлось Марченко заняться перепечаткой самому. И снова на помощь поспешили московские друзья — они снимали отдельную квартиру и предложили Анатолию поработать у них. Достали три машинки, правда одна сразу сломалась, так что четверо, умевшие печатать, работали, сменяя друг

друга. Те, кто печатать не умел, диктовали, раскладывали экземпляры, вычитывали. Работали без продыху двое суток, спали по очереди, не различая ни ночи, ни дня. Наконец работа была закончена[8].

Марченко разослал рукопись в редакции нескольких журналов, но ни один журнал ее не напечатал. Два экземпляра книги автор отдал на сохранение друзьям, три — пустил в самиздат.

Уже зимой 1967–1968 годов книга Марченко «Мои показания» была прочитана в Москве. Затем — через механизм «самиздат-тамиздат» — попала на Запад[9]. Хотя КГБ знал о ней, автора не арестовали, но в феврале 1968-го Лариса Богораз жаловалась властям на «грубые нелегальные методы его преследования»: «...агенты КГБ беспрерывно следовали за ним по пятам на протяжении нескольких месяцев — я видела их так часто, что знаю многих из них в лицо»[10].

Московские читатели говорили о книге Анатолия Марченко: «Пожалуй, это сильнее атомной бомбы». Сравнивая сталинские и послесталинские лагеря, они находили, что система не переменилась. Говорили также, что книга хорошо написана, что в ней ощущается достоверность показаний свидетеля. Когда «Мои показания» прочел знакомый Марченко по мордовскому лагерю, он, похвалив книгу, заметил: «Как же это получилось, что это написал ты, простой парень? Почему никто из нас, интеллигентов, не взялся?»[11] Псковский священник Сергей Желудков воспринял произведение Марченко как «правдивое свидетельство» о бесчеловечном обращении с советскими политзаключенными в тюрьмах и лагерях: «Речь идет не о проклятом прошлом, а о том, что происходит сегодня. Кошмарные условия перевозки. Затем, в течение всего срока — форменная пытка голодом (2400 калорий на человека в день, для провинившихся — 1300 калорий). Принудительные работы, невыносимо тяжелые при столь недостаточном питании. Опасные для здоровья бытовые условия. Совершенно неудовлетворительное медицинское обслуживание. Автор вышел из лагеря инвалидом — оглох вследствие того, что был оставлен без лечения при гнойном менингите. Он свидетельствует об избиениях заключенных, убийствах пойманных беглецов, издевательствах, доводящих людей до сумасшествий, самоубийствах... Лишение свиданий, посылок, карцер. Все это называется “строгим режимом” — на деле же является системой ускоренной смерти»[12]. А.Д. Сахаров, характеризуя книгу Марченко, писал: «“Мои показания” — первая книга о послесталинских лагерях и тюрьмах, первое развернутое свидетельство об этой позорной изнанке нашего общества. Она сыграла огромную роль в нравственном формировании движения за права человека в СССР и во всем мире. Власти никогда не могли простить Марченко его подвига»[13].

Лейн Керкленд, президент Американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов (АФТ–КПП), считал, что произведения Марченко — «памятник несгибаемости человеческого духа» и в то же время напоминание о том, каким жестоким наказаниям подвергались советские граждане, осмелившиеся открыто выражать свои взгляды[14]. Историк-искусствовед Ю.Я. Герчук назвал «Мои показания» «книгой-поступком», героическим действием одиночки, противостоящего всем карательным силам государства[15].

Марченко стал заметным публицистом самиздата. 22 июля 1968 года он выступил с открытым письмом, адресованным советским и иностранным газетам, а также радиостанции Би-би-си, об угрозе советского вторжения в Чехословакию. 28 июля Марченко был арестован, а 21 августа — осужден на год лагерей. Формально — за нарушение паспортного режима.

Свое кратковременное пребывание на свободе и жизнь в Ныробском лагере он описал в автобиографической книге «Живи как все» (N. Y., 1987). В то время как он отбывал срок, на Западе были опубликованы «Мои показания»[16]. Публикация книги разъярила власти — против автора немедленно состряпали новое дело: за антисоветские заявления, которые Марченко якобы делал в лагере, срок его заключения был увеличен еще на два года.

После освобождения в 1971 году Анатолий Тихонович поселился в Тарусе, женился на расставшейся с Ю. Даниэлем Ларисе Богораз и продолжил свою публицистическую и правозащитную деятельность. С момента выхода на свободу власти принуждали его к эмиграции, угрожая в случае отказа новым сроком. Марченко не уехал. 25 февраля 1975 года его арестовали вновь, судили по статье 198.2 УК РСФСР (злостное нарушение поднадзорного режима) и приговорили к четырем годам ссылки.

Ссылку он отбывал в поселке Чуна (Восточная Сибирь) вместе с женой и сыном Павлом, работал на лесозаготовительном комбинате, написал очерк «От Тарусы до Чуны». Тогда же стал членом Московской хельсинкской группы, подписал обращение в Президиум Верховного Совета СССР с призывом к всеобщей политической амнистии.

На свободу Марченко вышел в 1978 году, но 17 марта 1981 года его опять арестовали и этапировали во Владимирскую тюрьму, инкриминировав ему тексты, написанные в 1975–1981 годы. Марченко отказался от участия в следствии, заявив, что считает КПСС и КГБ преступными организациями. В сентябре 1981 года он был осужден по статье 70 ч. 2 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») и приговорен к десяти годам лишения свободы в лагере строгого режима и пяти годам ссылки. Отбывал срок в пермских политических лагерях. 25 октября 1985 года Анатолий Марченко был переведен в тюрьму города Чистополя (Татарская АССР). 4 августа 1986 года он объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР, с 12 сентября был подвергнут насильственному кормлению. В связи с этим обратился с письмом к Генеральному прокурору СССР, обвиняя медицинских работников тюрьмы в применении пыток. Голодовку Марченко держал 117 дней. Через двенадцать дней после выхода из голодовки почувствовал себя плохо, был направлен из тюрьмы в больницу Чистопольского часового завода, где и скончался 8 декабря 1986 года. Похоронен на кладбище города Чистополя.

Смерть Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и в зарубежной прессе. По одной из распространенных версий, его смерть и реакция на нее подтолкнули Михаила Горбачева начать процесс освобождения заключенных, осужденных по «политическим» статьям. В 1988 году Европейский парламент посмертно наградил Анатолия Марченко премией имени Андрея Сахарова.

Михаил Горинов, мл.

---

[1] Литвинова Ф. Записки об Анатолии Марченко // Знамя. 1998. № 1. С. 147.

[2] От автора // Марченко А.Т. Мои показания. Франкфурт-на-Майне, 1969. С. 5.

[3] См.: Марченко А.Т. Живи как все. N. Y.: Проблемы Восточной Европы, 1987. С. 88–89.

[4] См.: Литвинова Ф. Записки об Анатолии Марченко. С. 148.

[5] Марченко А.Т. Живи как все. С. 84–85.

[6] Там же. С. 86–87.

[7] Там же. С. 87.

[8] Там же. С. 90–91.

[9] Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. М., 1992. С. 209.

[10] Rubenstein J. Soviet dissidents: Their struggle for human rights. Boston: Beacon press, 1980. P. 69–70, 75–76.

[11] Марченко А.Т. Живи как все. С. 91, 93.

[12] Письмо священника Сергея Желудкова к председателю Христианской мирной конференции профессору Иосифу Громадке (Прага, Чехословакия) о книге А. Марченко «Мои показания», 9 мая 1968 г. (Посев. 1968. № 11. С. 10).

[13] Сахаров А.Д. [Предисловие] // Марченко А.Т. Живи как все. N. Y., 1987. С. 9.

[14] Марченко А.Т. Живи как все. С. 5–6.

[15] См.: Герчук Ю.Я. [Вступ. ст.] // Марченко А.Т. Мои показания; От Тарусы до Чуны; Живи как все / сост. Л.И. Богораз. М.: Весть; ВИМО, 1993. С. 5–8.

[16] Марченко А.Т. Мои показания. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1969; То же. Париж: La Presse libre, 1969; То же. N. Y.: E.P.Dutton & C°., Inc., 1969.

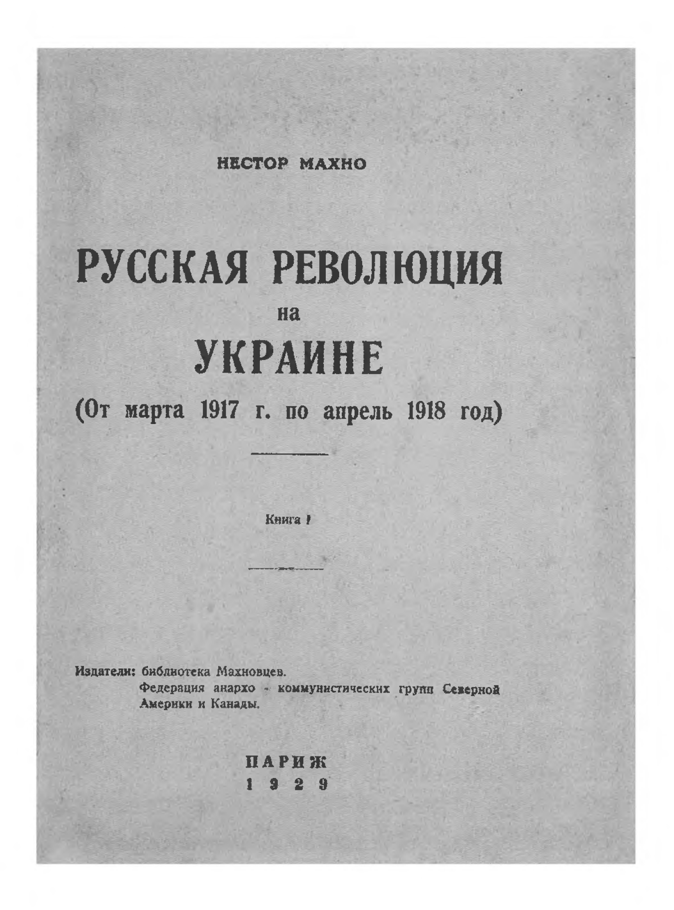
53

МАХНО Н.И.

Русская революция на Украине: (От марта 1917 г. по апрель 1918 год[а]): [в 3 кн.]

/ Нестор Махно. — Париж, 1929–1937. — Кн. 1. — Париж: Библиотека Махновцев; Федерация анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады, 1929. — 212, [4] с. — Кн. 2: Под ударами контрреволюции: (Апрель – июнь 1918 г.) / под ред., с предисл. и примеч. тов. Волина и с портретом Н. Махно. — Париж: Комитет Н. Махно, 1936. — Кн. 3: Украинская революция: (Июль – декабрь 1918 г.) / под ред. тов. Волина и с портретами некоторых деятелей движения. — Париж: Комитет Н. Махно, 1937.

Каждая книга в шрифтовой двухцветной издательской обложке.



НЕСТОР МАХНО

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
на
УКРАИНЕ

(От марта 1917 г. по апрель 1918 год)

Книга 1

Издатели: библиотека Махновцев.
Федерация анархо - коммунистических групп Северной Америки и Канады.

ПАРИЖ
1929

Издатели: библиотека Махновцев.
Федерация анархо - коммунистических групп **Северной**
Америки и Канады.

Жизнь Нестора Ивановича Махно была интереснее, чем его воспоминания. Родившийся 26 октября 1888 года в селе Гуляйполе Екатеринославской губернии, в крестьянской семье, он рано остался без отца, работать начал еще ребенком, в 1906-м примкнул к анархистской организации и в 1910 году за соучастие в убийстве полицейского пристава был осужден на пожизненную каторгу, которую отбывал в Бутырской тюрьме. Освободила молодого анархиста Февральская революция. Махно вернулся на родину, в сущности, не имея ни серьезного жизненного опыта, ни образования, ни какого-либо идейного багажа, кроме обрывочных све-

дений из анархических программ. Работал в Гуляйполе в советских учреждениях. После начала широкомасштабного австро-германского наступления уехал в Москву, но, не найдя там применения своим способностям, вернулся на Екатеринославщину, где создал партизанский отряд, во главе которого стал бороться с оккупационными войсками, а заодно заниматься погромами помещичьих усадеб и государственных учреждений «Украинской Державы» гетмана П.П. Скоропадского.



Нестор Махно в годы Гражданской войны

После падения гетманского режима и начала наступления Красной армии присоединился к ней и был зачислен (с 21 февраля 1919 года) командиром бригады в Заднепровскую советскую дивизию. После поражений от войск генерала А.И. Деникина среди большевиков начались поиски виноватых; в результате 4 июня Махно был объявлен вне закона и далее вел партизанскую борьбу против Деникина самостоятельно. Вторично он соединился с красноармейскими частями в конце 1919 года, а уже 9 января 1920-го опять был объявлен вне закона. К осени 1920 года Махно заключил с советской властью новое соглашение, выделив значительный отряд для операции против белого Крыма. Однако после занятия Крыма Красной армией махновцы немедленно подверглись предательскому нападению со стороны недавних союзников.

В течение года Махно вел партизанскую борьбу против красных, но силы были слишком неравны, и 28 августа 1921 года ему с небольшим отрядом пришлось перейти границу с Румынией.

В эмиграции с 1922 года он проживал в Польше, где находился под судом по неправдоподобному обвинению в намерении отторгнуть от Польши Восточную Галицию и присоединить ее к Советской Республике; в 1924 году, после оправдания, Махно переехал в Германию; с 1925 года жил в Париже. Занимался физическим трудом, сотрудничал в анархистской печати, тяжело болел.

Умер Махно 25 июля 1934 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Первый вариант его записок увидел свет в 1923 году на страницах берлинского «Анархического вестника» — «органа объединенных анархических организаций». «Печатаемые нами записки т. Нестора Махно написаны им уже после того, как он покинул пределы России, — сообщалось в редакционном комментарии. — Они не охватывают махновского движения во всей его широте и разнообразии, а являются главным образом повествованием автора частью о себе, частью о некоторых проявлениях революционного повстанчества в русской революции. Но повествование это построено на историческом материале и представляет огромную ценность для всякого, интересующегося личностью Махно и явлением махновщины в русской революции»[1]. Повествование было доведено ав-

тором лишь до конца 1918 года, причем последняя глава была посвящена не последовательному изложению событий, а специально «материалу по еврейскому вопросу». Завершая публикацию, редакция «Анархического вестника» сообщала: «Продолжение записок т. Махно, притом в более полном объеме, велось им в польском заключении, но по условиям заключения не могло попасть в распоряжение редакции. Со временем и это продолжение увидит свет на столбцах нашего органа»[2].

Однако, готовя более подробный и развернутый вариант своих мемуаров, Махно не сосредоточился на доведении повествования до конца (в том числе не осветил столь важного вопроса, как свои неоднократные попытки сотрудничества с советской властью и печальный финал каждой из таких попыток), а предпочел дорабатывать и разворачивать уже написанные главы. И. Метт, парижская знакомая Махно, вспоминала: «Однажды мне довелось перепечатывать на машинке его воспоминания. Занимаясь этой работой, я обратила внимание, что факты, представляющие исторический интерес, перемежаются с отрывками речей, произнесенных на митингах в первые месяцы революции. Эти тексты не отличались большой оригинальностью и не заслуживали того, чтобы цитировать их спустя годы. Да и вообще, кто и как умудрился записать эти речи в 1917 году? В то время такие речи произносились на каждом углу. Я не преминула сказать Махно, что, хотя его воспоминания очень интересны, в такой манере писать книгу нельзя, нужно отбирать факты и документы, располагать их так, чтобы получилась единая цельная книга, а он к тому времени, написав уже две книги, все еще не подошел к "махновщине", написанное было только прелюдией… Нестор внимательно выслушал меня и не подумал последовать моему совету»[3]. Более того, Махно, и завершая работу над первой частью мемуаров (1926), очевидно, продолжал считать, что подобных «отрывков речей» в них приводилось… недостаточно, а потому в авторском предуведомлении к книге «Русская революция на Украине» специально подчеркивал: «Я считаю необходимым предупредить читателя, что в этом очерке недостает ряда весьма важных и характерных постановлений и воззваний Гуляйпольского Крестьянского Союза, Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов и их идейного вдохновителя — Гуляйпольской Крестьянской Группы Анархо-Коммунистов…»[4]

Первая книга воспоминаний Махно была практически одновременно издана по-русски (на средства «Федерации анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады» и некоей «библиотеки Махновцев») и во французском переводе. И. Метт вспоминала: «Один из друзей Махно, француз, предложил ему материальную помощь, чтобы он смог завершить свои воспоминания, но, увидев, что работа никогда не кончится, перестал давать Нестору деньги. Махно оказался вынужденным зарабатывать на жизнь, и его мемуары так и не были написаны [до конца]»[5]. Вероятно, речь идет о «французском товарище Евгении Венцеле», которого Махно благодарил за «неоценимую помощь, позволившую… найти время выделить этот очерк из общих… записок, составить его и дать в печать»[6].

Продолжение записок (кн. 2 и 3) вышло уже посмертно (1936–1937) «под редакцией, с предисловием и примечаниями тов. Волина». В.М. Волин (Эйхенбаум), несколько месяцев возглавлявший Реввоенсовет махнов-

ской армии в 1919 году, в эмиграции находился с Махно в ссоре, и Махно в конце 1920-х годов даже писал о Волине: «От известного времени, после встречи с ним здесь, за границей, я его просто не считаю товарищем...»[7] Волин сам признавал это, выражая сожаление, «что личный конфликт с Нестором Махно помешал мне проредактировать первый том его воспоминаний, вышедший еще при жизни автора». Предисловие ко второй книге содержало, в сущности, довольно уничижительную характеристику первой, на которой якобы «отразилось неблагоприятно» «отсутствие опытной редакторской руки»: «Н. Махно обладал лишь элементарным образованием, а литературным языком не владел и в малой степени (что, впрочем... не мешало ему иметь собственный характерный “стиль”). Местами — в особенности там, где он увлекается пространными теоретическими рассуждениями, — его рукопись становится синтаксически безграмотной. Гораздо лучше удаются ему описания живых событий. Страницы, посвященные живому рассказу о таких событиях, могут оставаться почти нетронутыми»[8]. Однако существенной разницы между стилем первой (нередактированной) и второй – третьей (редактированных) книг незаметно, и вопрос о степени и характере редактуры Волина остается открытым.

Открытым остается вопрос и об одном из самых известных эпизодов второй книги — личном общении Махно с В.И. Лениным и Я.М. Свердловым в Москве летом 1918 года, чему посвящено тринадцать страниц (в том числе специально — глава «Моя встреча и разговор с Лениным»)[9]. Удивительно, что в журнальном варианте 1923 года Махно ни словом не обмолвился о столь важном событии, единственный раз упомянув обоих своих «собеседников» лишь в нейтральном контексте: «Когда я находился в Москве и посетил всероссийский съезд профессиональных союзов и ряд лекций таких представителей политического мира, как Свердлов, Ленин, Троцкий, М. Спиридонова, Камков, Рощин и другие, — во мне еще сильнее заработала мысль и забурлила кровь — желанием быть на Украине»[10]. На фоне того, что документальных подтверждений аудиенции у Ленина до сих пор неизвестно, такая непоследовательность мемуариста заставляет с подозрением относиться к его позднему описанию самого факта встречи.

В предисловии к третьей книге Волин писал: «Имеются... отдельные, разрозненные заметки и записки Махно, относящиеся к последующим годам. Комиссия по изданию его рукописей предполагает собрать впоследствии эти записки и издать их отдельной книгой вместе с оставшимися после него — частью в рукописях, частью же в газетных и журнальных статьях — материалами»[11], — однако такая книга никогда не была издана.

Интересно, что титульные листы второй и третьей книг выглядят довольно странно: на них нет общего заглавия («воспоминания», «записки» и т. д.), а напечатано лишь: «Нестор Махно / Книга II», «Нестор Махно / Книга III», причем «Под ударами контрреволюции» и «Украинская революция» занимают место заголовков каждого из томов соответственно. Больше всего это похоже на оформление «собрания сочинений» Махно, хотя такого заголовка также не имеется. Являясь, быть может, следстви-

ем простой редакторской небрежности, этот библиографический казус в какой-то мере становится символичным для литературного творчества Н.И. Махно — незавершенного, по-своему отражающего бедственное эмигрантское существование этого человека, чье имя некогда было известно всей России.

Андрей Кручинин

---

[1] Анархический вестник (Берлин). 1923. № 1. Июль. С. 16.

[2] Там же. № 5/6. Ноябрь – декабрь. С. 17.

[3] Метт И. Батько в Париже // Нестор Иванович Махно: Воспоминания; Материалы и документы. Киев: РИФ «Дзвін», 1991. С. 128.

[4] Махно Н.И. Русская революция на Украине. Париж, 1929. Кн. 1. С. 5.

[5] Метт И. Батько в Париже. С. 128.

[6] Махно Н.И. Русская революция на Украине. Кн. 1. С. 6.

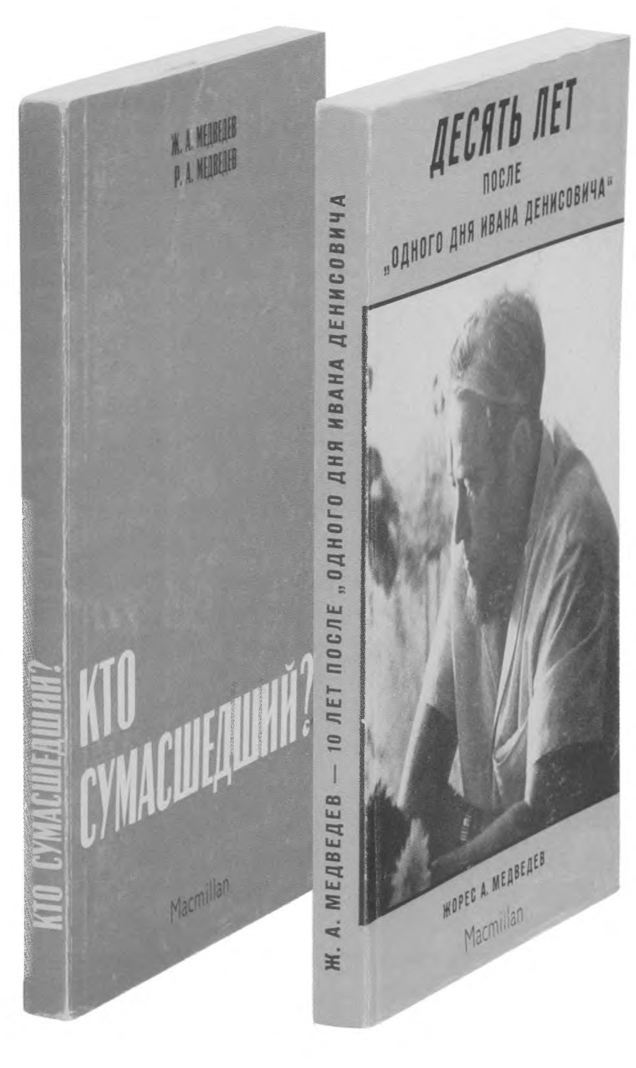
[7] Цит. по: Голованов В.Я. Нестор Махно. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 454. (Жизнь замечательных людей).

[8] Волин В.М. Предисловие // Махно Н.И. Под ударами контрреволюции. Париж, 1936. Кн. 2. С. 3–4.

[9] Махно Н.И. Под ударами контрреволюции. С. 122–135.

[10] Записки Нестора Махно // Анархический вестник. 1923. № 1. С. 28.

[11] Волин В.М. Предисловие // Махно Н.И. Украинская революция. Париж, 1937. Кн. 3. С. 3.




54


МЕДВЕДЕВ Ж.А.,
МЕДВЕДЕВ Р.А.

Кто сумасшедший?

/ Жорес Медведев, Рой Медведев. — L.: Macmillan, 1971. — 164 с.; 19,5×12 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

МЕДВЕДЕВ Ж.А.

Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича»

/ Жорес Медведев = Medvedev Zh.A. Ten Years After Ivan Denisovich. — L.: Macmillan, 1973. — 223 с., 13 л. портр., ил., факс.; 19,5×12,2 см.— [1000 экз.]
В шрифтовой трехцветной издательской обложке с портретом А.И. Солженицына на первой сторонке.

Macmillan

Братья-близнецы Жорес Александрович и Рой Александрович Медведевы родились 14 ноября 1925 года в Тбилиси, в семье военного. Вскоре семья переехала в Ленинград. В 1938 году отца братьев, дивизионного комиссара, заведующего кафедрой Военно-политической академии, арестовали, и он навсегда сгинул в колымских лагерях (в 1956-м его, как и многих, реабилитировали).

В 1939 году семья переехала в Ростов-на-Дону, а в 1941-м, с началом войны, эвакуировалась в Тбилиси. В феврале 1943-го братьев призвали в армию: Жорес принял участие в боях на Таманском полуострове, был тяжело ранен и в сентябре того же года демобилизован; Рой служил



Рой и Жорес Медведевы. Фотография на клапане обложки книги «Кто сумасшедший?» (Лондон, 1971)

в Закавказском военном округе, в частях, занимавшихся ремонтом военной техники и охраной железнодорожных и воздушных сообщений. После войны оба брата успешно окончили институты: Жорес — Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, Рой — философский факультет Ленинградского государственного университета; оба блестяще защитили кандидатские диссертации.

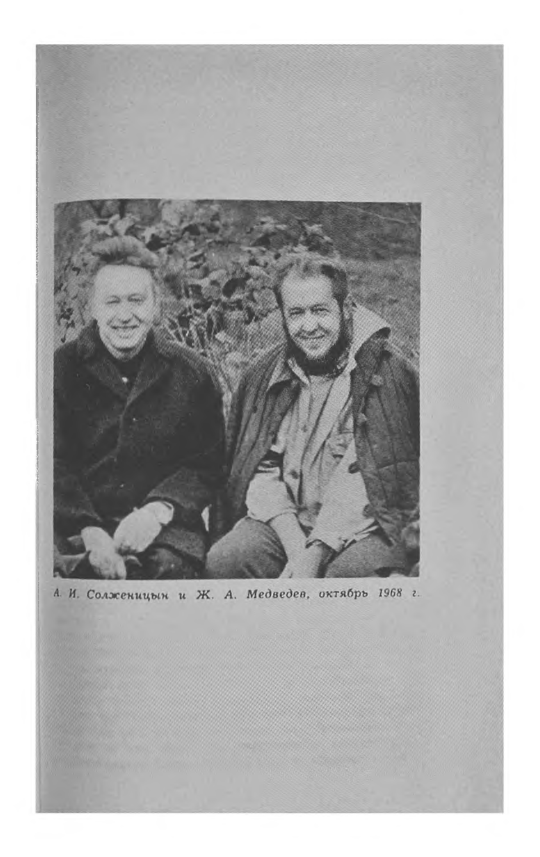
Жорес с 1951 года работал в «Тимирязевке», на кафедре агрохимии и биохимии, но в 1962-м его уволили — за широко распространившуюся в самиздате книгу «Биологическая наука и культ личности»[1], посвященную разгрому генетики в СССР. Устроившись на работу в Институт медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске, он организовал там лабораторию молекулярной радиобиологии, однако и из этого института в 1969 году был уволен — за критику академика Лысенко и вышедшую в США книгу «The Rise and Fall of T.D. Lysenko» («Подъем и падение Т.Д. Лысенко»).

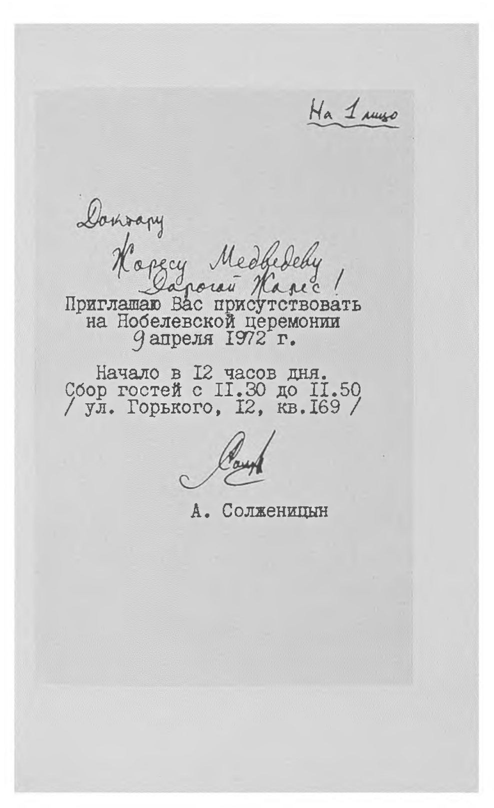
В 1972 году, будучи сотрудником Института физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске, Ж. Медведев получил приглашение на работу в отдел генетики Национального института ме-



Похороны А. Т. Твардовского
Первий ряд: В. Я. Лакшин, вдова Твардовского, А. И. Солженицын
Второй ряд: дочь Твардовского с мужем

Похороны А.Т. Твардовского. Иллюстрация из книги Ж. Медведева «Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича"» (Лондон, 1973)


А. И. Солженицын и Ж. А. Медведев, октябрь 1968 г.


На 1 лицо

Доктору
Жоресу Медведеву
Дорогой Жорес!
Приглашаю Вас присутствовать
на Нобелевской церемонии
9 апреля 1972 г.

Начало в 12 часов дня.
Сбор гостей с 11.30 до 11.50
/ ул. Горького, 12, кв.169 /

А. Солженицын

Иллюстрации из книги Ж. Медведева «Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича"» (Лондон, 1973)

дицинских исследований в Лондоне (сроком на один год), куда и выехал в январе 1973-го, чтобы больше в СССР никогда не вернуться.

Судьба Роя Медведева была менее драматичной, хотя тоже далеко не безоблачной. Отработав в 1950-е годы учителем средней школы в Свердловской области, а затем директором семилетки в Ленинградской области, он стал редактором, позже — заместителем главного редактора Учпедгиза. В начале 1960-х годов в качестве старшего научного сотрудника и заведующего сектором перешел на работу в НИИ производственного обучения Академии педагогических наук СССР. С 1970 года он — свободный ученый. В перестройку — народный депутат СССР (1989–1992), член Верховного Совета СССР.

С начала 1960-х годов Рой Медведев принимал активное участие в движении диссидентов, редактировал самиздатовские издания: журнал «Политический дневник», альманах «XX век». 19 марта 1970 года вместе с академиком А.Д. Сахаровым и В.Ф. Турчиным он опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы.

С 1959 года Рой Медведев был членом КПСС, однако в 1969-м за написание книги «К суду истории» его из КПСС исключили. Двадцать лет спустя ученый обратился в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС с просьбой о восстановлении его в рядах партии, и просьба эта была удовлетворена — за Р. Медведевым даже сохранили стаж с 1959 года.

После распада СССР, будучи сопредседателем Социалистической партии трудящихся, Рой Медведев рассматривался как один из тех, кто мог бы возглавить движение за демократический социализм.

История возникновения книги «Кто сумасшедший?» такова.

В мае 1970 года Жореса Медведева насильственно поместили в калужскую психиатрическую больницу. Месяц спустя благодаря массовым протестам авторитетных академиков (П.Л. Капица, А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, Б.Л. Астауров и др.) и писателей (А.Т. Твардовский, А.И. Солженицын, В.Д. Дудинцев, В.Ф. Тендряков, В.А. Каверин и др.) внутри страны и протестам общественности за рубежом его освободили. По признанию главврача этого заведения, основанием для принудительной госпитализации послужили отрывки из рукописей ученого, которые «вызвали… сомнения в психическом здоровье Ж. Медведева».

В те годы психиатрия стала орудием борьбы с антисоветизмом. Специфическим видом наказания было принудительное, по определению суда, помещение инакомыслящего человека в психиатрическую клинику, что с юридической точки зрения не являлось репрессивной санкцией. Суд, напротив, «освобождал от наказания» и направлял на бессрочное — до полного «выздоровления» — лечение. Это объяснялось тем, что определить заранее, в течение какого срока будет продолжаться «заболевание» и «больной будет нуждаться в лечении», невозможно, потому срок принудительного лечения не устанавливался. В 1956 году в спецбольницах МВД СССР содержалось 3350 заключенных[2]. Самыми распространенными диагнозами были «вялотекущая шизофрения» и «сутяжно-паранойяльная психопатия». Примечательно, что под «вялотекущую шизофрению» можно подвести практически любого человека, поскольку у такого больного на всем протяжении болезни могут сохраняться внешне правильное поведение и социальная адаптированность. В разное время через систему психиатрических больниц прошли В. Буковский, П. Григоренко, О. Иоффе, В. Новодворская, И. Яхимович и др. Ж. Медведев писал в связи с этим: «Кому-то пришла в голову простая мысль о том, что рост числа политических заключенных и числа политических процессов — это весьма плохой социальный показатель, а рост числа больничных мест — это очень хороший, социальный признак прогресса общества»[3].

Что касается идей, то Рой Медведев, являясь идеологом партийно-демократического течения, отстаивал положение о том, что в условиях социализма вполне допустима широкая демократия, если избавиться от сталинских деформаций социализма и вернуться к подлинному ленинизму[4].

Название книги «Кто сумасшедший?» стало своего рода диагнозом советской системе[5]. Позднее в одном из интервью Рой Медведев будет вспоминать о Твардовском в связи с заключением его брата в сумасшедший дом: «Был момент, когда он повел себя именно как друг. В мае 1970 г. Жореса, ученого-биолога, жившего в Обнинске и давно раздражавшего власти своей "антисоветской" публицистикой, принудительно поместили в калужскую психбольницу. Я делал все, чтобы его вытащить. Это нашумевшая история, мы с Жоресом описали ее в книге "Кто сумасшедший?" (в 1971-м вышла в Лондоне, в перестройку — и у нас). И вот меня отыскивает Наташа Тендрякова, жена писателя Владимира Тендрякова: "Володя

и Александр Трифонович спрашивают, что нужно делать?" Но никто не знал, что делать, я тоже. Ответил: "Пусть просто подъедут к нему в больницу!" Твардовский уже не был редактором "Нового мира", но имя-то вся страна знала! Что ж — Тендряков сел за руль своей "Волги", Твардовский рядом... Встретились с Жоресом, потом побеседовали с главврачом»[6].

Книга Жореса Медведева «Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича"» является, как пишет автор во вступлении, «"Фестшрифтом" по случаю юбилея» — это юбилей не в жизни человека, а «юбилей публикации определенной работы»[7].

Книга снабжена интереснейшими иллюстрациями, среди которых письмо А.И. Солженицына Ж. Медведеву от 2 сентября 1964 года, фотография участников последнего заседания редколлегии «Нового мира» в январе 1970 года, в котором приняли участие А.Т. Твардовский, А.Г. Дементьев, А.И. Кондратович, В.Я. Лакшин, Б.Г. Закс, Е.Я. Дорош, И.И. Виноградов, И.А. Сац, А.И. Марьямов, М.Н. Хитров и др.

В отзыве, появившемся в «Новом журнале» в 1973 году, Роман Гуль отмечал: от книги Жореса Медведева трудно оторваться, потому что «она из благородного металла искренности»[8] — эта искренность передается читателю, захватывает его целиком, но после прочтения остается гнетущее чувство, потому что с разных сторон Медведев «показывает страшное подавление пробуждающейся к свободе России». «Книга Медведева ведет читателя по всему крестному пути Солженицына, который начался с изъятия с книжного рынка "Одного дня". А затем, после выхода за границей романов "В круге первом", "Раковый корпус", пошла невиданная еще в истории русской литературы травля писателя»[9].

Любовь Пухова

---

[1] См.: Медведев Ж.А. Биологическая наука и культ личности // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1969. № 71.

[2] См.: Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М.: Наука, 2000. С. 139.

[3] Медведев Ж. Кто сумасшедший? L.: Macmillan, 1971. С. 17.

[4] См. подробнее: Медведев Р. Книга о социалистической демократии. Амстердам; Париж: Фонд имени Герцена, 1972.

[5] См.: Костырченко Г. Время Жореса // Родина. 2011. № 1. С. 6.

[6] «Уже равняла всех судьба...»: К 100-летию Александра Твардовского // Аргументы недели. 2010. 9 июня.

[7] Медведев Ж.А. Десять лет после одного дня «Ивана Денисовича». L.: Macmillan, 1973. С. 7.

[8] Гуль Р. Книга Жореса Медведева // Новый журнал (Нью-Йорк). 1973. № 113. С. 226.

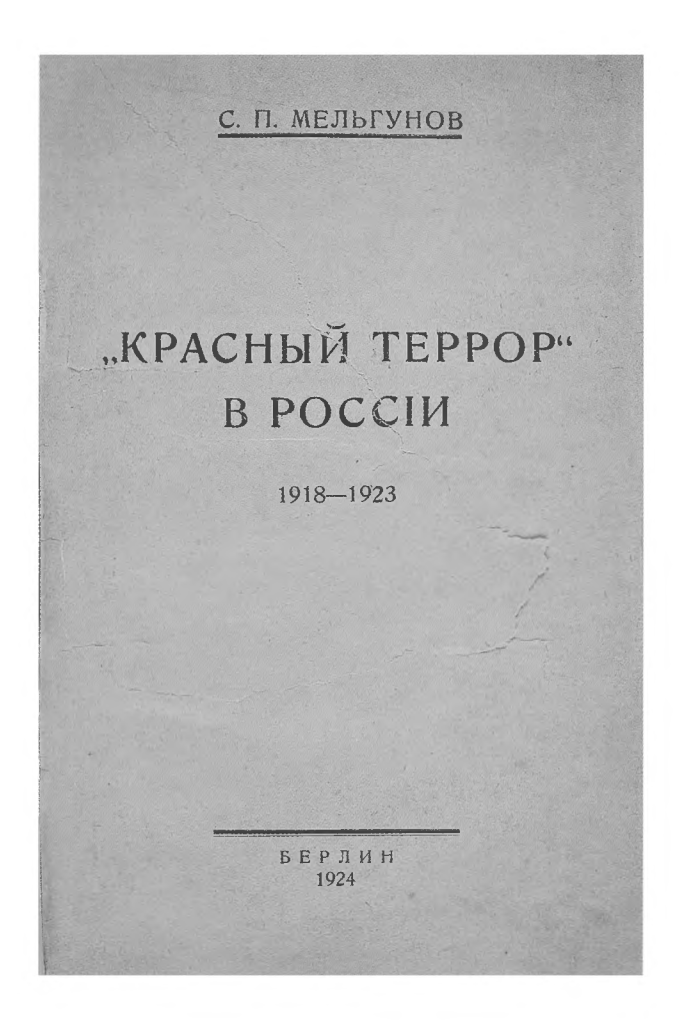
[9] Там же. С. 227.

55

МЕЛЬГУНОВ С.П.

«Красный террор» в России:
1918–1923

/ Сергей Мельгунов. — Берлин: Ватага, 1924. — 209 с.; 17,5×11 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Выходец из старинного дворянского рода, известный историк, публицист, политический деятель, издатель Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956) родился в Москве, в семье преподавателя истории Московского Николаевского сиротского института и гимназии Ф. Креймана П.П. Мельгунова. В 1904 году он окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1900–1910-х годах активно сотрудничал в газете «Русские ведомости», был одним из редакторов журнала «Голос минувшего» и руководителем кооперативного издательского товарищества «Задруга», которое создал в 1911 году. Его основные труды по истории церкви, русского общественного и революционного движения были написаны с либерально-народнических позиций.

В марте 1917 года Временное правительство назначило С.П. Мельгунова ответственным за обследование и прием архивов Министерства внутренних дел, Московской духовной консистории и Миссионерского совета, а затем поставило его во главе Комиссии по разработке политических дел

Москвы (Архива политических дел), что позволило ему приступить в 1918 году к изданию серии «Материалы по истории общественного и революционного движения в России». Из всех предполагавшихся сборников удалось выпустить лишь один — сборник документов Московского охранного отделения «Большевики» (М.: Задруга, 1918). Это издание было истолковано новой властью как стремление представить большевизм в искаженном свете. В соответствии с декретом от 19 апреля 1918 года Комиссия была ликвидирована, а в созданный вместо нее Архивно-политический отдел при СНК Москвы и Московской области Мельгунов допущен не был.



Сергей Мельгунов. Фотография из книги: Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. Париж, 1964

С 1918 по 1922 год Сергей Петрович неоднократно арестовывался органами ВЧК. Так, он оказался в числе лиц, задержанных чекистами после покушения на В.И. Ленина в ночь с 31 августа на 1 сентября 1918 года. Допрашивал его сам Ф.Э. Дзержинский, после чего ученый был отпущен на свободу, но через несколько дней арестован вновь; тогда его освобождения удалось добиться лишь благодаря заступничеству В.Г. Короленко. Вскоре последовали новые репрессии: Мельгунов прошел через двадцать три обыска, пять арестов, шесть месяцев подполья, полтора года заключения в тюрьме. В 1920 году по делу «Тактического центра» его приговорили к смертной казни, заменив ее десятилетним тюремным сроком. И все же в 1921-м по инициативе В.Н. Фигнер, П.А. Кропоткина и В.Г. Короленко, под давлением научной общественности ученого освободили. Когда новая власть стала готовить списки лиц, подлежащих высылке из советской России, в эти списки благодаря хлопотам В.Н. Фигнер попали и Мельгунов с женой. В октябре 1922 года они навсегда покинули Россию.

Полученные до выезда из РСФСР полномочия от Совета издательства «Задруга» открыть заграничный отдел товарищества и распоряжаться его средствами позволили Мельгунову создать в Берлине издательство «Ватага», выпускавшее в 1923–1925 годах сборники «На чужой стороне». Публиковавшиеся в них исторические исследования и мемуары принадлежали участникам недавно развернувшихся в России драматических событий.

С 1926 года Мельгунов жил в Париже. Под его редакцией (совместно с Т. Полнером) издательство товарищества «Н.П. Карбасников» выпускало сборники «Голос минувшего на чужой стороне» (1926–1928), унаследовавшие курс закрытого большевиками московского журнала и основной состав его сотрудников. Мельгунов был членом Заграничного комитета Трудовой народно-социалистической партии. В 1926–1931 годах вместе с В. Бурцевым, Т. Полнером, А. Карташевым и Н. Рыссом сотрудни-

чал в политическом еженедельнике «Борьба за Россию». В феврале – мае 1931 года там публикуются фрагменты его работы «Чекистский Олимп» — портреты Ф. Дзержинского, В. Менжинского, М. Кедрова, Н. Крыленко, с которыми историк вынужденно общался во время арестов в 1918–1920 годах. Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов Мельгунов выступал за создание единого антикоммунистического фронта русской эмиграции, допуская возможность интервенции, контактировал с военными организациями русского зарубежья, ведущими на территории СССР террористическую деятельность. Но после ряда провалов отошел от политики и с начала 1930-х годов целиком занялся историческими исследованиями.

Работы, опубликованные Мельгуновым в России, были собраны им в книге «Дела и люди Александровского времени» (Берлин, 1923). В дальнейшем его научные интересы сосредоточились на истории событий 1917 года и Гражданской войны. В книге «На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед революцией 1917 года» (Париж, 1931) Мельгунов развенчал эмигрантскую легенду о Февральской революции как результате заговоров в военных и дворцовых кругах и пришел к выводу о «несерьезности» действий оппозиции с целью низложения Николая II. В книге «Золотой немецкий ключ большевицкой революции» (Париж, 1940) историк доказывал, что германский Генеральный штаб субсидировал при содействии немецких социал-демократов партию большевиков. Российским событиям 1918–1920 годов посвящены труды «Н.В. Чайковский в годы Гражданской войны» (Париж, 1929), «Гражданская война в описании Милюкова» (Париж, 1929) и «Трагедия адмирала Колчака» (Белград, 1930).

В годы Второй мировой войны после занятия Франции германскими войсками Мельгунов отверг возможность сотрудничества с оккупантами. С окончанием войны он выступал против просоветских настроений, бытовавших в эмиграции, утверждая, что «Сталину нельзя верить», что «надежда на мирную эволюцию власти, на мирное сожительство с красным самодержавием — утопия»[1]. В 1948 году Мельгунов возглавил Союз борьбы за свободу России, а с 1951-го стал председателем Координационного центра антибольшевистской борьбы. В 1950–1954 годах Сергей Петрович редактировал журнал «Возрождение». В последние годы жизни он издал в Париже книги «Судьба императора Николая II после отречения» (1951), «Как большевики захватили власть: октябрьский переворот 1917 года» (1953), «Мартовские дни 1917 года» (1956).

Скончался С.П. Мельгунов от рака легких. Уже после смерти ученого вышли его книги «Легенда о сепаратном мире» (1957) и «Воспоминания и дневники»[2]. Многие труды Мельгунова еще при его жизни были переведены на иностранные языки, с началом перестройки пришли к советскому, а затем и к российскому читателю.

Уже в 1923 году в издающихся в Германии русских газетах появляется сообщение, что Мельгунов готовит к печати труд о терроре большевиков. В декабре книга «“Красный террор” в России» поступает в продажу; в 1924-м выходит дополненное издание (с добавлением новых очерков, а также очерка «Чекистский Олимп», где представлены портреты

руководителей ЧК). Вскоре книгу переводят на основные европейские языки.

Сам автор формулировал задачи своей работы так: «Мне хотелось бы, чтобы у того, кто возьмет в руки эту книгу, хватило мужества вчитаться в нее. Я знаю, что моя работа, во многих отношениях не отделанная литературно, появилась в печати с этой стороны преждевременно. Но, сознавая это, я все же не имел и не имею в настоящее время сил, ни физических, ни моральных, придать ей надлежащую форму — по крайней мере соответствующую важности вопроса, которому она посвящена. Надо иметь действительно железные нервы, чтобы спокойно пережить и переработать в самом себе весь тот ужас, который выступает на последующих страницах… Я хотел бы прежде всего восстановить реальное изображение и прошлого и настоящего, которое так искажается и под резцом исторических исследований и в субъективной оценке современного практического политика. По плану моя работа естественно распадается на три части: исторический обзор, характеристика “красного террора” большевиков и так называемого террора белого. Лишь случайное обстоятельство побудило меня выпустить первоначально как бы вторую часть работы, посвященную “красному террору”»[3].

В предисловии Мельгунов указал на разницу между террором «красным» и «белым» (естественно, не оправдывая последнего). Если террор большевиков был важнейшим инструментом их государственной политики, то «“белый” террор — явление иного порядка — это прежде всего эксцессы на почве разнузданности власти и мести. Где и когда в актах правительственной политики и даже в публицистике этого лагеря вы найдете теоретическое обоснование террора как системы власти? Где и когда звучали голоса с призывом к систематическим официальным убийствам? Где и когда это было в правительстве ген. Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля?»[4]

Естественно, что на создание книги повлияли и личные впечатления автора, в полной мере ощутившего на себе проявления красного террора. Но в основном работа основана на свидетельских показаниях, собранных Мельгуновым из разных источников — в первую очередь из печатных органов самой ВЧК («Еженедельник ВЧК», журнал «Красный террор»).

Мельгунов пишет жестко, не скрывая эмоционального отношения к фактам циничного ежедневного истребления людей во имя устрашения — ради утопических идей мировой революции и создания такого же утопического «царства труда». Многие приведенные им факты нельзя воспринимать без содрогания — это и описания изощренных пыток в чекистских подвалах, и мотивы, по которым людей лишали жизни («тонкий, неуловимый контрреволюционер», «была в курсе дел мужа (жена)», «ряд сыновей и дочерей генералов», «за популярность среди рабочих»), и многое другое…

Естественно, что в СССР книга Мельгунова была под запретом. О ней, как и о других трудах ученого, посвященных Гражданской войне, не упоминали даже в историографических работах, в которых писали

о самом Мельгунове как об историке XIX века. Первое знакомство отечественного читателя с книгой «Красный террор в России» состоялось только в 1990 году, когда вышла в свет перепечатка берлинского издания (1924).

Никита Кузнецов

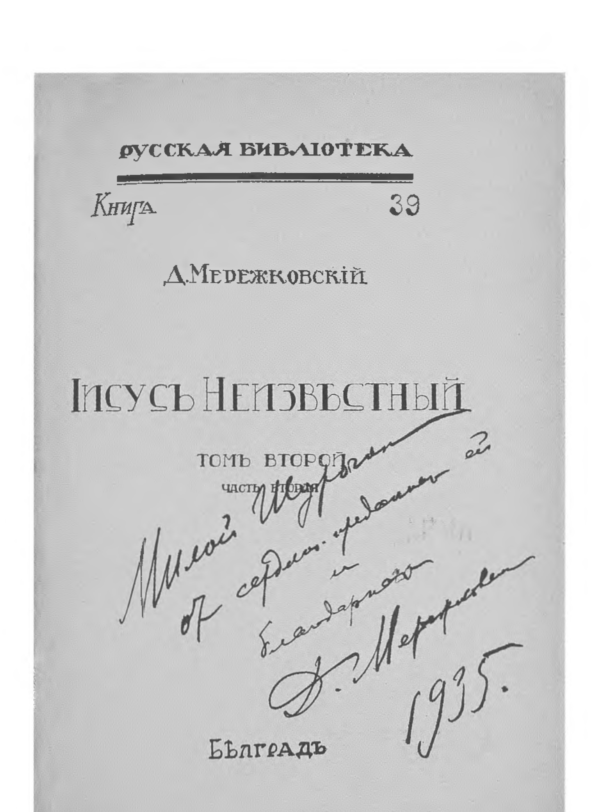
---

[1] Мельгунов С.П. Эмиграция и советская власть // Новый журнал (Нью-Йорк). 1945. № 11. С. 364.

[2] См.: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М.: Наука, 1965. С. 327–328. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН, 1997. С. 403–405.

[3] Мельгунов С.П. Красный террор в России. М.: PUIGO; P.S., 1990. С. 3, 4–5.

[4] Там же. С. 6.



56

МЕРЕЖКОВСКИЙ Д.С.

Иисус Неизвестный: [в 2 т.]

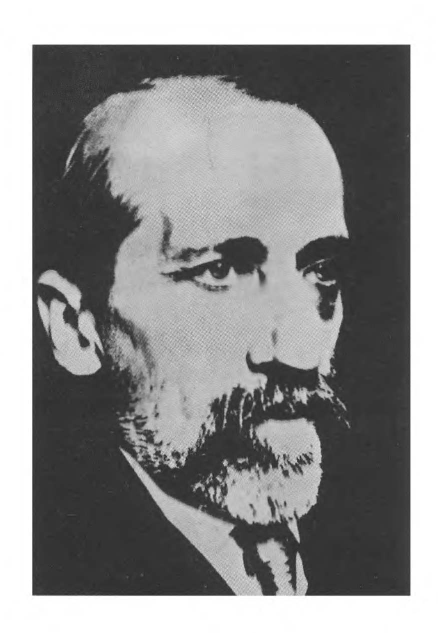
/ Дмитрий Мережковский. — Белград: Изд. комиссия Палаты Академии наук (Славија), [1932–1934]. — (Русская библиотека; кн. 36-40). — Т. 1. — 1932. — 368, XXVIII, [4] с. — Т. 2, ч. 1. — 1933. — 312, XII, [1] с. — Т. 2, ч. 2. — 1934. — 344, XXIV, [2] с.; 22×15 см.

В составном переплете эпохи. Экземпляры с автографами автора: Т. 1 — на странице с эпиграфом: «Дорогим Шурочке и Мишелю Дюмениль от любящего и благодарного Д. Мережковского. 1932»; Т. 2, ч. 2 — на титульном листе: «Милой Шурочке от сердечно преданного ей и благодарного Д. Мережковского. 1935»[1].

РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА

В ослепительной плеяде Серебряного века Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) занимает совершенно особое место. Прекрасное образование (историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета) и феноменальная начитанность (в древних и новейших авторах), виртуозное владение стихом (дебютировал в 15 лет, тогда же выслушав напутствие лично от Ф.М. Достоевского — «страдать надо, страдать») и прозой (общепризнанный жанровый новатор), зоркость критика и проницательность публициста, оригинальность религиозного мыслителя позволили ему оставаться «властителем дум» не одного поколения.

Прозревающий «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю», увлеченный «демоническим» началом в гениях прошлого (Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи[2]), предлагающий антипетровский взгляд на Петра I и готовый две тысячи лет европейской истории рассматривать через призму борьбы Христа и Антихриста (демонизируя, среди прочих, Гоголя и Лермонтова,



Дмитрий Мережковский. Париж. 1920-е годы. Фото П. Шумова

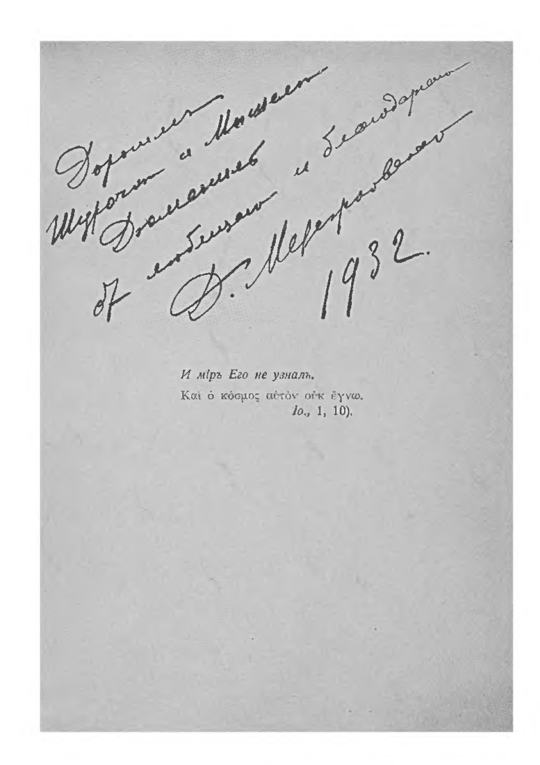
Достоевского и Толстого[3]), он оказался тем русским просветителем, который познакомил европейского читателя со «святой русской литературой» (Т. Манн) и заставил полюбить ее. Авторитет Мережковского был огромен, публикации его неизменно вызывали резонанс — взять хотя бы сборник статей «Грядущий хам» (1905). Вместе с тем для своих современников Мережковский оставался «мучительной загадкой» (Вяч. Иванов). Понимание — но какое! — он встретил лишь однажды, зато на всю жизнь: в 1889 году женился на Зинаиде Николаевне Гиппиус, с которой не разлучался ни на день все 52 года их брака.

«Еще можно было просто жить, в Петербурге, быть известным писателем, писать замечательные книги... — но в жизни ничего особенного не случалось»[4]. Вмешалась история — мировая война (Мережковские тогда путешествовали и не остались на Западе, вернулись в Россию, в гущу событий), затем революции — обольстивший интеллигенцию февраль 1917-го и большевистский переворот в октябре, вызвавший у обоих супругов страстное неприятие. Попытки жить в революционном Петрограде, среди ужаса грабежей и расстрелов, писать — в том числе и для «победившего народа» — успехом не увенчались. В ночь на 24 декабря 1919 года чета Мережковских, их друг Д.В. Философов и секретарь Гиппиус, студент филологического факультета Петербургского университета В.А. Злобин покинули Петроград. После недолгого, но деятельного пребывания в Польше и еще более краткого — в Германии они навсегда перебрались в Париж, где с довоенных времен у четы Мережковских была собственная квартира. Там супруги прожили весь срок эмиграции, там же собиралось и созданное ими в 1927 году религиозно-философское общество (кружок, по определению З.Н. Гиппиус) «Зеленая лампа». «Родина моя — прошлое и будущее», — утверждал Дмитрий Сергеевич[5].

Согласно Мережковскому, настроенному яростно антибольшевистски[6], в России «настало царство Антихриста»; он «предпочел бы, чтобы Россия не существовала вовсе», если бы знал, что «Россия и свобода — несовместимы». В зарубежье писатель необычайно расширяет содержание своего творчества. Интенсивно работая в 1920–1930-е годы, он создает трилогию о Третьем Завете Св. Духа — «Тайна трех. Египет и Вавилон» (1923), «Тайна Запада. Атлантида – Европа» (1929–1930), «Иисус Неизвестный» (1934), биографические книги «Наполеон» (1929) и «Данте» (1939), а также ряд религиозно-философских эссе о святых («Св. Франциск Ассизский», «Жанна д'Арк и Третье Царство Духа», 1938), мистиках (о св. Терезе Иисуса, св. Иоанне Креста, «маленькой Терезе», 1940–1942),

реформаторах (Лютере, Кальвине, Паскале) и др.

Наиболее ожесточенными критиками идей и особенно личности Мережковского, облачающегося в мантию пророка, становятся И.А. Ильин и Н.А. Бердяев. Мысль о Мережковском как о художнике, чье творчество лишено жизни и живых чувств и представляет «атмосферу больного искусства и больной мистики; некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту», составляет пафос лекции И. Ильина «Творчество Мережковского», прочитанной в 1934 году[7]. Бердяев в статье «Новое христианство. Д.С. Мережковский» упрекает писателя в «сектантской, кружковой психологии», в том, что вся его религиозная мысль «вращается в тисках одной схемы», что его «блестящий литературный талант… его дар художественных схематических конструкций, его исключительное умение пользоваться цитатами скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку», что он «гипнотизирует блестящими словесными антитезами, противоположениями, соединениями и сопоставлениями, которыми и сам загипнотизирован»[8].



Автограф Д. Мережковского на первом томе книги «Иисус Неизвестный» (Белград, 1932)

Летом 1941 года, вскоре после нападения Гитлера на СССР, в оккупированном Париже Мережковский выступил по радио с речью «Большевизм и человечество», назвав «подвигом» «крестовый поход» Германии против большевиков. 7 декабря того же года Д.С. Мережковский скоропостижно скончался. Похоронили писателя на русском православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На белом его надгробии, поставленном иждивением французских издателей, высечены слова: «Да приидет Царствие Твое».

Четверть века Мережковский жил с апокалиптическим ощущением нарастающей трагедии. Европа же после Первой мировой войны и Париж после версальского триумфа в особенности веселились напропалую. Что бы ни думать и ни говорить о Мережковском, но он, писатель с широкой известностью, знающий иностранные языки, в том числе французский, мог бы сделать научную или журналистскую карьеру, эксплуатируя тему России и русской революции, — спрос был огромный. Однако Мережковский неожиданно погрузился в «тайны» Востока и Запада.

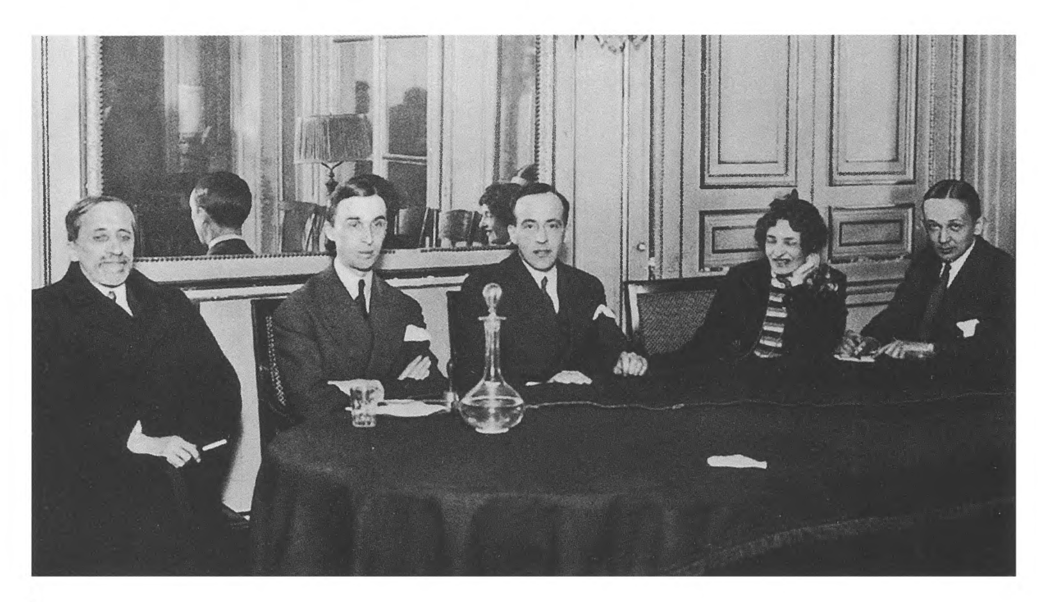
Почти одновременно им были созданы дилогия о зарождении христианства («Рождение богов. Тутанкамон на Крите», «Мессия») и трилогия «Тайна трех» — о «Третьем Завете Святого Духа», — центральное место

в них занимает трактовка загадок и тайн древнейших цивилизаций (Египта, Вавилона, Древней Греции), отразившихся в христианской религии и философии.

Среди крупных и малых трактатов Мережковского «Иисус Неизвестный» выделяется уже самим названием, звучащим как ересь и как откровение. Неискушенные в религиозно-философских дискуссиях читатели с благодарным простодушием восприняли «своеобразнейшую» книгу Мережковского, «написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира». «“Иисус Неизвестный” волнует читающего, как волновал он писавшего, — признавался Б. Зайцев. — Как составлял часть жизни автора, так частью жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением»[9]. Куприн вторил Зайцеву: «Несомненно, эту замечательную книгу должны были бы прочитать истинные философы и глубокомысленные богословы. Дать же о ней отчет могут лишь люди, чья вера в Иисуса Христа и в Евангелие свободна, проста, любовна и полна умилительной благодарности»[10]. Угадал Александр Иванович: ученейшие умы эмиграции книгу даже не разрезали[11]. По согласному общему мнению интеллектуалов, не было в Мережковском «детской простоты», без чего волновавшие его темы звучали едва ли не кощунственно. Те же, в ком эта детская простота сохранялась, кто веровал, подобно Куприну, «слабо, лениво и наивно; как веруют плотники, солдаты, деревенские бабы и пчеловоды», поневоле умилился и прочитал «странную, страшную и нежную книгу» от корки до корки, благодарно уловив «незримое ощущение понятного, доброго, простого, близкого Христа; Христа за пазушкой, как говорил Достоевский»[12].

В среде «образованной» эмигрантской интеллигенции книга вызвала смущение и ропот. Так, Ю. Терапиано мучился вопросом, возможно ли вообще допустить мысль, что уже многие столетия в восприятии Евангелия существует «инерция» и что следует перечитать его как «неизвестное»: «Правомочна ли она для христианина»?[13] Но Д.С. Мережковский не видел здесь ни противоречия, ни тем более нарушения каких-либо заповедей. Его смущало и удручало другое — по его подсчетам, развитие христианской мысли, христианского учения остановилось в VI веке, когда Евангелие отлилось в каноническую форму и превратилось в догму. А за полтора тысячелетия разрыв христианства с жизнью стал катастрофическим: люди считают текст Евангелия привычным, слепо доверяют ему и не пытаются задуматься над ним; впрочем, это и не поощряется Церковью. «В лучшем случае думают, — иронизировал Мережковский, — галилейская идиллия. Второй неудавшийся рай, божественно прекрасные мечты земли о небе; но если исполнить ее, то все полетит к черту».

Мысли страшные, смущающие, но Мережковскому жутко другое — сила слепой привычки закрывает от верующих подлинный смысл и подлинный свет Евангелия, уводя христианский мир в тупик. Слишком неисполнимы нравственные требования, слишком непостижимы умом мистерийные положения — вот почему бунтует гений Толстого, путается в острых противоречиях Розанов. Но святое благовествование жизни не



На заседании «Зеленой лампы». Слева направо: Д. Мережковский, Г. Иванов, Н. Оцуп, З. Гиппиус, Г. Адамович. Париж. 1930-е годы

может отвергать самое жизнь, оно повествует о преображении и освящении земли, а не о гибели, смерти, мраке. Главное, что утрачено в знании о Христе, полагает Мережковский, это личное к Нему отношение, отношение как к человеку. Мережковский «шел к Иисусу Неизвестному через все свои прежние построения и увлечения, издалека глядя в него как в завершение и цель»[14].

Книгу «Иисус Неизвестный» можно отнести к особой разновидности христологической литературы, достигшей гигантских объемов ко времени написания этого произведения. Создавая ее, автор «использовал все итоги западноевропейской научно-богословской научной критики, которая сравнительно мало была известна русскому читателю»[15]. Он цитирует апокрифы, сочинения отцов Восточной и Западной церквей, богословов, философов, сопоставляет мнения различных авторов, активно критикует атеистическую традицию (в частности, версии о жизни Христа Б. Бауэра, Э. Ренана, Д. Штрауса). Мережковский опирается на источники с таким непринужденным размахом, с такой легкостью пользуется именами и идеями, названиями трактатов и религиозных течений, так виртуозно расправляется с «заблуждениями» предшественников, что достигает сразу двух целей. Сначала читателю, особенно не искушенному ни в догматах веры, ни в источниках, накопившихся за две тысячи лет, открывается бездна премудрости, и каждое слово Мережковского падает каплями живительного дождя на жаждущую просвещения душу. Но тут возникает и обратный эффект: откомментированный Мережковским обширный историософский цитатник оказывается куда более рассудочным, чем святая простота Евангелия, — и слегка ошарашенный читатель невольно тянется к животворной силе Писания.

В книге много задушевности. «Мережковский не был в Палестине, — замечает Б. Зайцев. — Пейзаж взят им условно и “вообразительно”. Я считаю, что очень удачно по тону: Иисус Пастушок, например, в оди-

ноких горах с козами — прозрачностью, чистотой красок напоминает раннеитальянское: Симоне Мартини или сиенцев. Рождение в яслях — Беато Анджелико. И своеобразный, текуче-мрачный тон в Искушении... Вообще, надо сказать, что вся книга написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзительное»[16].

Книга членится на два тома, части, в свою очередь подразделены на небольшие, точно соотнесенные с евангельскими текстами подчасти. Каждая из них дробится на множество главок, помеченных арабскими цифрами, внутри которых прослеживается еще более мелкое деление на текстовые фрагменты под римской нумерацией (порой таких фрагментов в главе содержится более тридцати). Кроме того, основной текст произведения сопровождается авторским комментарием, где не только указаны источники цитируемых высказываний, но и даны дополнительные комментарии как к приводимым в основном тексте цитатам, так и к высказываниям самого писателя.

Б. Зайцев не случайно вспомнил ранних итальянцев с их прозрачно-чистыми, насыщенными, не утратившими связи с византийской праздничностью красками. Мережковский пядь за пядью «реставрирует» евангельское мозаичное панно, успевшее покрыться патиной, пылью, копотью от долгих веков догматической долбежки. Вот, к примеру, последняя часть — «Страсти Господни». Вроде бы все знакомо, хотя Мережковский охотно привлекает и неканонические тексты — апокрифы: «Страшный суд», «Иуда-предатель», «Тайная вечеря», «Гефсимания» — вплоть до финального двойного аккорда: «Воскрес» и «Воистину воскрес».

Вот бредут по пыльной дороге двое учеников Христа: «Пешего пути из Иерусалима в Эммаус — часа два, а обратно, в ночную пору, по тогдашним плохим дорогам и с крутым подъемом на Иерусалимскую гору, часа три-четыре». Дорогого стоит это «по тогдашним плохим дорогам», словно и не было двух тысяч лет, да и в самом деле — что изменилось в мироустройстве? «Так же, как тогда, сквозь круглое, в куполе, окно, мерцает звездное небо, и в приносящемся сверху небесном веянии, как в чьем-то неземном дыхании, колеблются огни догорающих лампад...» И в опаленной солнцем Иудее все по-прежнему — «так же золотая дымка окутывает Генисаретское озеро подобно славе Божией; так же на голубой воде белеют паруса рыбачьих лодок, острые, как крылья чаек; так же, сидя в лодках, чинят сети рыбаки или моют их и развешивают на кольях сушиться; так же запах теплой воды и рыбы смешан с благоуханием лимонных и апельсинных цветов в прибрежных садах Вифсаиды; так же под ногою путника, идущего по берегу озера, хрустит на мелком черном песке множество белых известковых ракушек. А на берегу заливов, кажется, только что стояла полукругом толпа, слушая внятно по воде доносившийся голос учащего с лодки рабби Иешуа. Кажется, здесь, как нигде, люди могли бы услышать Блаженную Весть: все готово: приходите на брачный пир (Мт. 22, 44). Но не услышали. И отныне вся эта земля — как опустевший и опечаленный рай. Плачет пастушья свирель, унылая, как шум ночного ветра в озерных камышах...»

Мережковский признавался в чтении «маленькой книжечки», Евангелия, как в главной и интимнейшей потребности души: «...читаю каждый день, и буду читать, пока видят глаза, при всех, от солнца и сердца идущих светах, в самые яркие дни и в самые темные ночи; счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и неверующий, чувствующий и бесчувственный. И кажется, всегда читаю новое, неизвестное, и никогда не прочту, не узнаю до конца; только краем глаза вижу, краем сердца чувствую, а если бы совсем — что тогда?»[17] Обычно в признаниях людей о самом сокровенном остается некая недосказанность — у Мережковского же, напротив, всегда сказано чуть больше, чем следовало бы: полноты чувств не хватает для молчания — их место заступают слова, единственность и выстраданность которых порой хочется оспорить. Но случается, что афоризмы бьют без промаха: «Или Евангелию, или этому миру конец».

Книга русского мыслителя и обращена к мыслителям, к ученым, утратившим наивную простую веру. «Был ли Христос?» — сурово ставит вопрос Мережковский, то есть живой человек из плоти, проповедовавший легшее в основу христианства учение; в ответе на него — судьба христианства, а значит — спасение. Стоит задуматься, в какие годы пророчествовал Мережковский: тьма сгущалась над Европой, тьма фашизма, и разговор о путях спасения не был праздным. «Вечный путь Церкви, — утверждал писатель, — от Иисуса Земного ко Христу Небесному; миру, чтобы спастись, надо пойти обратным путем, не против Церкви, а к ней же, от Христа к Иисусу; путь мира — к Христу Неизвестному».

В книге «Иисус Неизвестный» автор сумел наиболее полно отразить идейное содержание и логическую форму своей концепции Третьего Завета. Царство Божие, с точки зрения Мережковского, существуя в вечности, совершается также во времени и истории, в нем происходит взаимодействие двух сил — человеческой, постепенной, и Божеской, внезапной. Церковь второго пришествия чудесным образом соединена с церковью первого пришествия — апокалиптическое христианство примет все предания, таинства и откровения исторического христианства. Таким образом, Третий Завет Мережковского исполняется в исторически-реальном, небесно-земном и духовно-плотском Царствии Божием — воплощении Третьей Божеской Ипостаси (Святого Духа-Матери). Это будет также означать образование на этапе Третьего Завета единой Вселенской Церкви Богочеловечества, где, по убеждению Мережковского, совершится неизвестная Евхаристия Иисуса Неизвестного и каждая отдельная личность станет реально частью тела Христова и победит физическую смерть[18].

Выход «Иисуса Неизвестного» был встречен неоднозначно, вызвав особое негодование со стороны философов-традиционалистов и богословов. Осторожно и позитивно высказался о книге Б.П. Вышеславцев: «Главное достоинство книги Мережковского в абсолютной оригинальности его метода: это не “литература” (литература о Христе — невыносима), не догматическое богословие (никому, кроме богословов, непонятное); это и не религиозно-философское рассуждение — нет, это интуитивное постижение скрытого смысла, разгадывание таинственного “Символа” веры, чтение метафизического шифра, разгадывание евангельских притч, каковыми

в конце концов являются все слова и деяния Христа»[19]. И.А. Ильин, с позиций традиционного православия возмущаясь, что книга Мережковского об Иисусе Христе «полна духовного соблазна», так характеризовал его религиозные идеи: «Целый ряд лет Мережковский носился с мыслью создать некое неохристианство, причем он, по-видимому, совершенно не замечал, что содержание этой идеи укрывает в некоем велеречивом тумане; что темпераментность и агрессивность его проповеди соответствуют чрезвычайно смутному и вечно меняющемуся содержанию; что, строго говоря, он вряд ли и сам знает, чего он, собственно, хочет, — что объем его идеи укрывает в себе не живую глубину, а мертвенно-рассудочную пустоту»[20].

Несомненно, «опыт непрерывного интеллектуального экстаза» Мережковского[21], соединяющий рационалистический схематизм с пышной метафоричностью, мало кому пришелся по вкусу и оказался по зубам. «Иисус Неизвестный» требует интуитивного постижения скрытого смысла, разгадывания символа веры, чтения метафизического шифра. Еп. Кассиан (Безобразов) принял книгу как «сладчайший дар любви», плод интуитивного постижения истины, хотя и не без искажения и передергивания источников[22]. На страницах бердяевского журнала «Путь» М. Лот-Бородина обвинила Мережковского в гностическом извращении источников, в языческом обольщении человеческой сутью Христа «во плоти» и отказала книге и ее автору в искуплении и благодати[23].

Современные исследователи также не солидарны во взглядах на итоговую книгу Мережковского, его самое сокровенное сочинение. Так, например, В.В. Полонский авторитетно полагает, что «перед нами… типичный вариант эрото-модернизированной христологической ереси»[24]. Что ж поделаешь? Пророк никогда не бывает догматиком, но часто — еретиком.

Татьяна Марченко

---

[1] Дюмениль де Грамон (урожд. Долгополова) Александра Петровна (1887–1953) — библиотекарь и библиотечный деятель, проживавшая во Франции с 1900-х гг.; в 1920–1930-е гг. собрала для Международной библиотеки современной документации огромный архив русского зарубежья, сгоревший в 1944 г. во время бомбардировки Парижа; и Дюмениль де Грамон Мишель, известный французский переводчик русских авторов (в том числе и Д.С. Мережковского).

[2] Подлинную мировую известность Мережковскому принесла трилогия «Христос и Антихрист»: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист: Петр и Алексей» (1904–1905).

[3] Мережковский первым предложил рассматривать литературное творчество сквозь призму религии: «Лев Толстой и Достоевский» (1901–1902), «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (1909), «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1911).

[4] Зайцев Б.К. Странное путешествие: Рассказы, очерки, письма / вступ. ст., публ. и коммент. М. Мироновой // Наше наследие. 1990. № 3. С. 91.

[5] Звено (Париж). 1925. 16 марта.

[6] «В России нет социализма, нет диктатуры пролетариата, а есть лишь диктатура двух людей: Ленина и Троцкого!» — заявлял Мережковский (Виленский курьер. 1920.

28 февраля). Л.Троцкий, впрочем, никогда не рассматривал Мережковского как серьезного противника: «В борьбе за свое самосохранение Мережковский отгородился от всех и строил себе свой личный храм, изнутри себя. Я и культура, я и вечность — вот его центральная, его единственная тема…» (см.: Киевская мысль. 1911. 19 мая; 22 мая).

[7] Ильин И.А. Одинокий художник: Статьи, речи, лекции. М.: Искусство, 1993. С. 160.

[8] Бердяев Н.А. Типы религиозной мысли в России. Париж: YMCA-Press, 1989. С. 499, 490.

[9] Зайцев Б.К. Странное путешествие. С. 93.

[10] Куприн А. [Рец.:] Мережковский Д.С. «Иисус Неизвестный» // Возрождение (Париж). 1932. 27 октября. С. 4.

[11] Эта судьба постигла, в частности, экземпляр из личной библиотеки В.И. Иванова с дарственной надписью автора: «Дорогому Вячеславу Ивановичу Иванову на память о римских беседах. Д.М. 1934» (см.: URL: http://www.v-ivanov.it/literatura/biblioteka-vyach-ivanova/knigi-i-zhurnaly-na-russkom-yazyke).

[12] Куприн А. [Рец.:] Мережковский Д.С. «Иисус Неизвестный».

[13] См.: Терапиано Ю. [Рец.:] Мережковский Д.С. «Иисус Неизвестный». Ч. I. Белград, 1932 // Числа (Париж). 1933. № 9. С. 214–216.

[14] Адамович Г. Мережковский // Адамович Г. Одиночество и свобода. М.: Республика, 1996. С. 28.

[15] Демидов И. Д. Мережковский. Иисус Неизвестный // Последние новости (Париж). 1932. 10 ноября.

[16] Зайцев Б.К. Странное путешествие. С. 92.

[17] Цит. по: Там же. С. 91.

[18] См.: Жуков В.Н. Третий завет Дмитрия Мережковского // URL: http://merezhkovski.ru/proizved/jesus39.php.

[19] Вышеславцев Б.П. Д. Мережковский. Иисус Неизвестный // Современные записки (Париж). 1934. № 55. С. 430–431.

[20] Ильин И.А. Одинокий художник. С. 143.

[21] Поплавский Б. По поводу «Атлантиды – Европы» // Числа. 1930/1931. № 4. С. 161.

[22] Безобразов С. (Кассиан). Книга Мережковского («Иисус Неизвестный») // Путь (Париж). 1934. № 42. С. 38–42.

[23] Лот-Бородина М. Д. Мережковский. Иисус Неизвестный // Путь. 1935. № 47. С. 71–86.

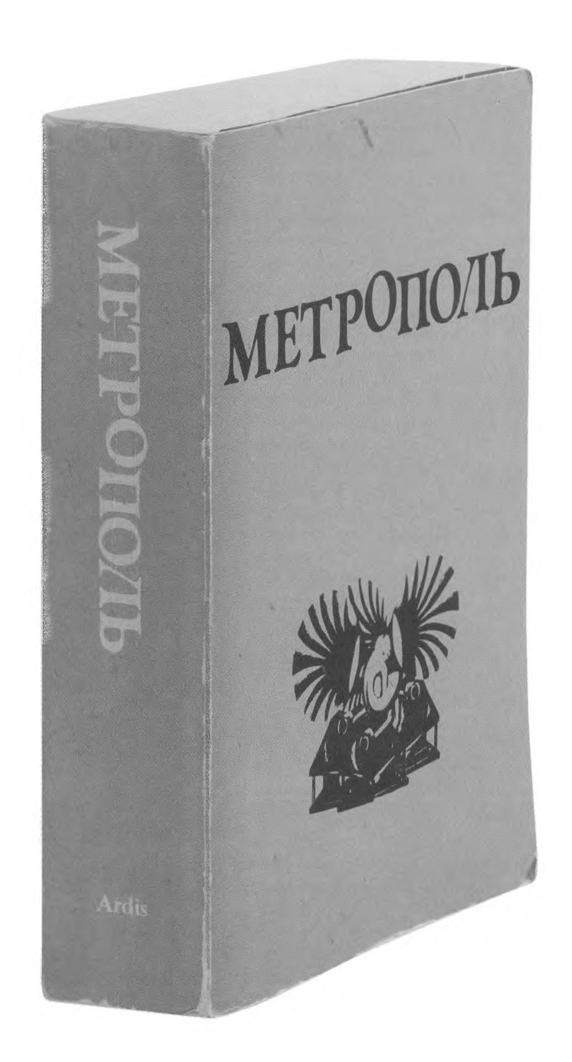
[24] Полонский В.В. Биографический жанр в творчестве Д.С. Мережковского 1920–1930-х годов: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1998. С. 43.

57

МЕТРОПОЛЬ:

Литературный альманах

/ [сост. В. Аксенов, А. Битов, Вик. Ерофеев, Ф. Искандер, Евг. Попов]. — Анн Арбор: Ардис, 1979. — 760, [3] с.: ил.; 18,5×13 см.
В иллюстрированной трехцветной издательской обложке.
Экземпляр с автографами Ю. Алешковского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Ф. Искандера, М. Розовского.





«Метрополь» — литературно-художественный иллюстрированный альманах, представляющий неподцензурные, то есть увидевшие свет без разрешения Главлита, тексты как уже известных литераторов, так и авторов, ранее не печатавшихся, — был выпущен в Москве самиздатом в 1979 году. В том же году он вышел на Западе — в американском издательстве «Ардис». Сборник составили произведения В. Аксенова, Ю. Алешковского, Д. Апдайка, А. Арканова, Б. Ахмадулиной, Л. Баткина, А. Битова, Б. Вахтина, А. Вознесенского, В. Высоцкого, Ф. Горенштейна, Вик. Ерофеева, Ф. Искандера, Ю. Карабчиевского, П. Кожевникова, Ю. Кублановского, С. Липкина, И. Лиснянской, Е. Попова, В. Ракитина, Е. Рейна, М. Розовского, Г. Сапгира, В. Тростникова. Оформили альманах художники Б. Мессерер и Д. Боровский. Художник А. Брусиловский представил в нем свою графическую серию, иллюстрирующую стихи Сапгира.

Идея создания свободного от цензуры альманаха — своеобразного «устроительства “бульдозерной” выставки литературы»[1] — принадле-



Участники альманаха «Метрополь». Слева направо: в 1-м ряду — Б. Мессерер, Ф. Искандер, А. Битов, В. Аксенов; во 2-м ряду — Е. Попов, Вик. Ерофеев, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский. Москва. 1979. Фото В. Плотникова

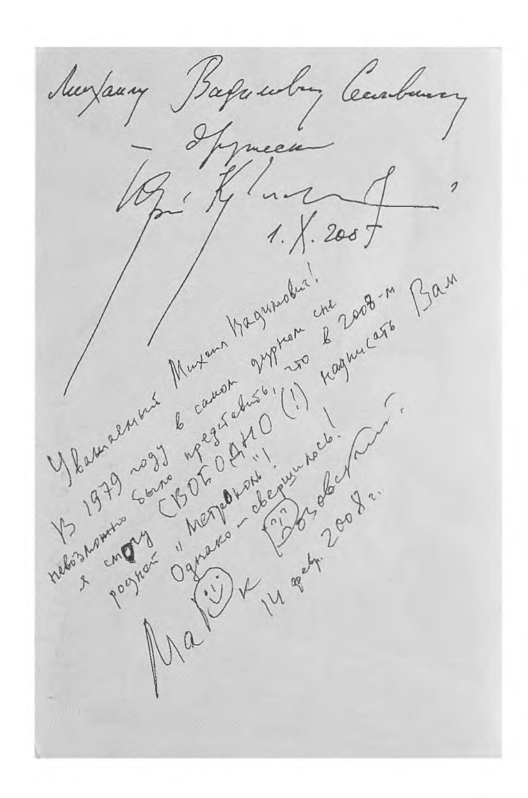
жала Виктору Ерофееву. По замыслу составителей, «Метрополь», как «столичный шалаш над лучшим в мире метрополитеном» (см. предисловие к альманаху), был призван «дать крышу над головой» «непохожей», «внекомплектной» литературе, «обреченной порой на многолетние скитания и бездомность». Создатели альманаха не ставили перед собой цель опубликовать «крамольные» тексты — это была попытка дать модель «плюралистической литературной жизни, чего в СССР никогда не было»[2], «последняя попытка раздвинуть рамки нашей существующей советской литературы… расширить ее возможности, как-то оживить, влить какую-то живую струю в дряхлеющее тело»[3].

Представленные в альманахе писатели и поэты принадлежали к разным поколениям, но все они были объединены пониманием непременного условия истинного творчества — «сознанием того, что только сам автор отвечает за свое произведение». Вот как характеризовали цели и задачи альманаха его участники много лет спустя. Андрей Битов: «“Метрополь” не был политически направленным изданием. Он был направлен против цензуры, которая пронизала все возможности текста»[4]. Евгений Попов: «Для нас… это было чисто литературное мероприятие… когда я уже в 1998 году слышу от Кузнецова, что это была политическая провокация, то, простите, это уже чистое вранье»[5].

Но притязание на создание литературы в обход политики попало в самый эпицентр общественной жизни и обернулось политическим скандалом. А. Битов: «“Метрополю” вышел, как теперь говорят, хороший пиар из-за того, что в тот момент наступило значительное напряжение в холодной войне. Ждали сначала потепления, а потом мы вошли в Афга-

нистан. И пришлось это как раз на тот период, когда была разыграна история с “Метрополем”»[6].

12 экземпляров самиздатовского альманаха были выполнены в формате А-2: на ватманской бумаге наклеены по четыре машинописные страницы, листы вложены в папку из картона в виде зеленоватой мраморной плиты. Два экземпляра альманаха были вывезены в США и во Францию — «на сохранение». Альманах, оговаривали авторы, «может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются».

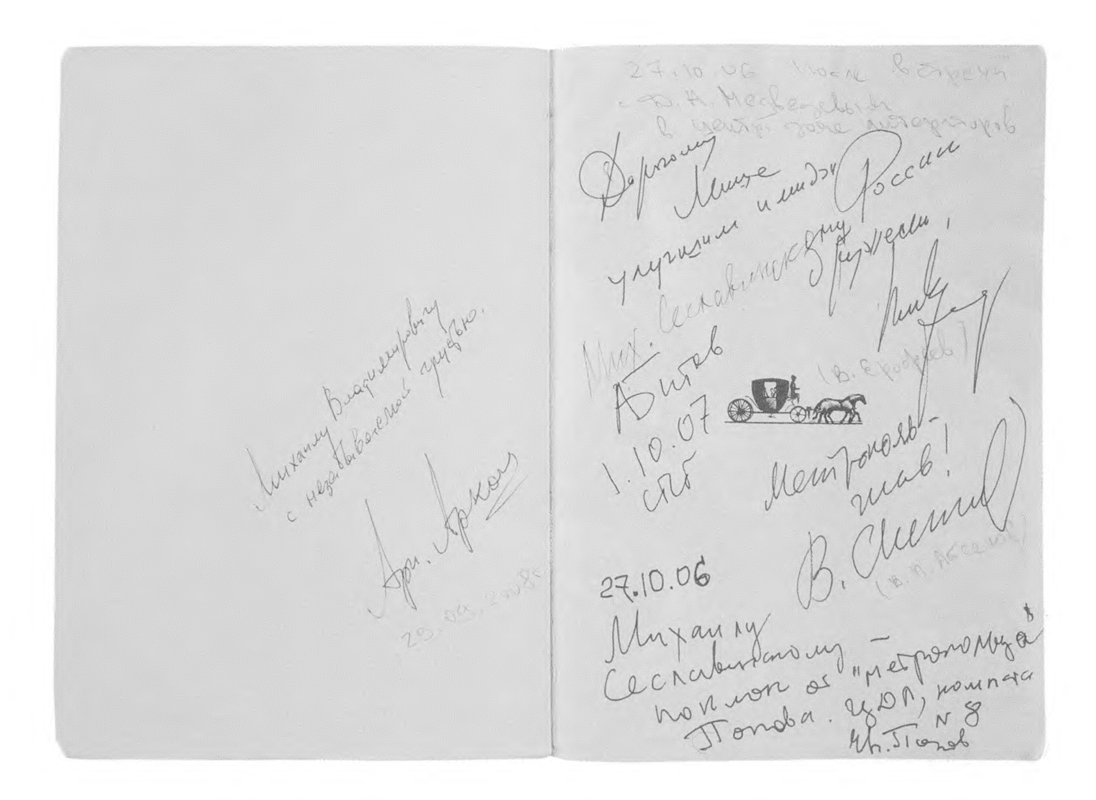


Автографы участников «Метрополя»

Было решено: в одном из московских кафе провести 23 января 1979 года «вернисаж», чтобы «представить» альманах специально приглашенным гостям — журналистам и литераторам. Однако со стороны Союза писателей последовала незамедлительно «жесткая реакция». Как вспоминал позже Е. Попов, они с Вик. Ерофеевым вручили один из экземпляров «Метрополя» первому секретарю Московской писательской организации Феликсу Кузнецову, «после чего и начались все репрессии. Попытка заключалась в следующем. Он (альманах. — *А.З.*) был принесен в Союз писателей, Кузнецову, он был принесен в ВААП, в Комитет по печати, отовсюду его возвратили без разговоров. Кроме “кузнецовского” экземпляра, который тут же был передан в ЦК КПСС. А так — даже не хотели брать»[7]. Скандал разгорался все сильнее. В секретариате Московской писательский организации с составителями (кроме В. Аксенова, который от встречи отказался) были «проведены беседы». После чего участники «Метрополя» отправили на имя Л.И. Брежнева и М.В. Зимянина письмо с просьбой обратить внимание на неадекватное отношение Союза писателей к инициативе издать альманах, единственная задача которого — «расширить творческие возможности современной советской литературы»[8].

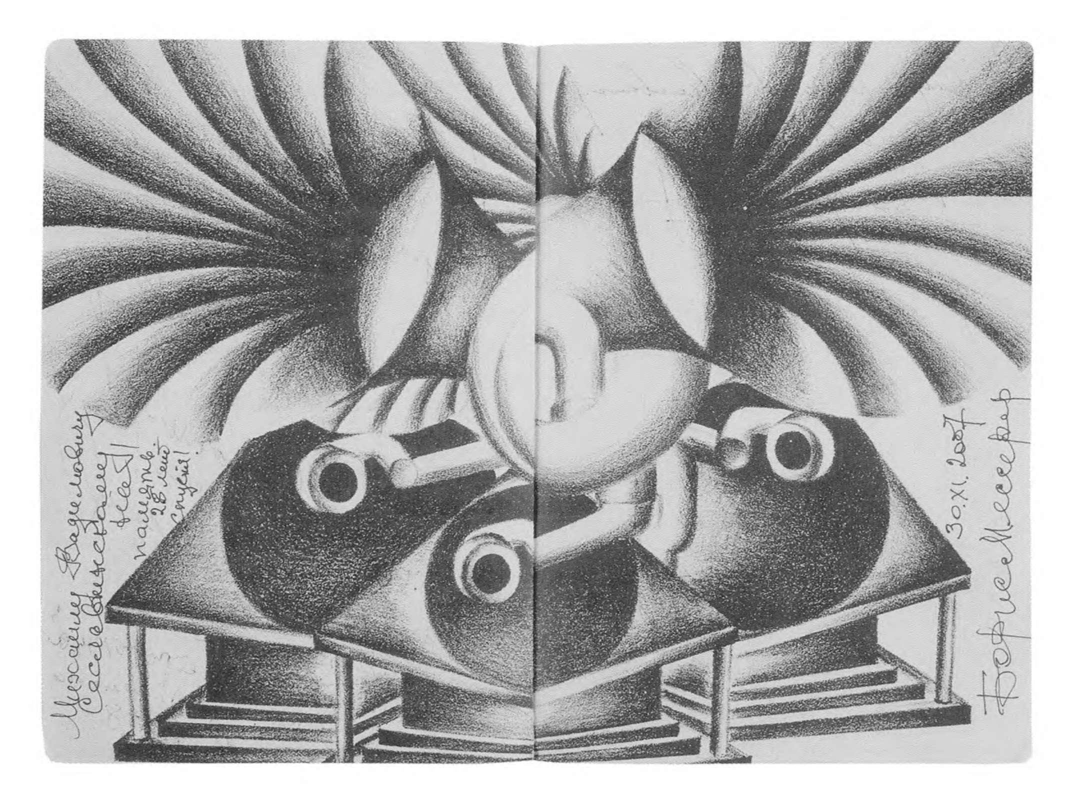
22 января 1979 года состоялось расширенное заседание секретариата Московской писательской организации, где участники альманаха подверглись резкой критике; было вынесено постановление: считать альманах недопустимым, противоречащим своим ультимативным характером практике советской литературы[9]. Это, по сути, и предопределило дальнейшую судьбу «Метрополя» — его издание на Западе.

Несмотря на то что авторы альманаха в связи с разгоревшимся скандалом отказались от идеи проведения «вернисажа», запланированного на 23 января, в назначенный день кафе, где планировалось отметить



выход «Метрополя», было закрыто «на санитарный день» и оцеплено усиленными нарядами милиции. Месяц спустя, 23 февраля, в многотиражной газете «Московский литератор» была опубликована статья, где известные писатели и критики подвергли «Метрополь» единодушному осуждению, назвав его «порнографией духа» (использована фраза одного из участников альманаха, А. Вознесенского). В тот же день в эфире радиостанции «Голос Америки» один из основателей издательства «Ардис» Карл Проффер заявил, что на Западе готовы издать альманах — сначала в США, а затем во Франции, на французском языке (в издательстве «Галлимар»).

Экземпляр «Метрополя», растиражированный американским издательством спешным порядком сначала в виде репринта, а затем и в виде книги, перевел альманах из разряда «самиздата» в «тамиздат», после чего его участники столкнулись с рядом карательных мер — под запретом оказались готовившиеся публикации, книги, спектакли, публичные выступления, а работавшие в учреждениях были уволены. Незадолго до этих событий принятые в Союз писателей, но еще не получившие членских билетов Е. Попов и Вик. Ерофеев были из Союза исключены. В знак протеста В. Аксенов, С. Липкин и И. Лиснянская заявили о своем выходе из Союза писателей. В. Аксенов, Ю. Кублановский, Ю. Алешковский, В. Ракитин были вынуждены эмигрировать. Но, как ни странно, для некоторых писателей скандал вокруг «Метрополя» сыграл и положительную роль. По воспоминаниям Е. Попова, «мера напряженности в отношениях с властями — все это было личным делом каждого, потому что там разные люди были, в альманахе. Карабчиевский печатался уже в “Гранях” тогда… Кублановский печатался на Западе вовсю, и для них



Фронтиспис альманаха «Метрополь» с автографом художника Б. Мессерера

участие в “Метрополе” было не минусом, а плюсом. Потому что они были уже на грани посадки, понимаете? А здесь они все-таки в компании со “звездными людьми”»[10].

Теперь уже можно со всей определенностью сказать, что «Метрополь» выдержал проверку временем. Ныне его участники — признанные таланты, известные деятели культуры, творчество которых имеет своих почитателей в разных странах мира. Несколько раз альманах был переиздан в России (первая публикация — в издательстве «Текст» в 1991 году), ему посвящались вечера, читательские конференции, к участникам альманаха проявлялось повышенное внимание прессы, отмечавшей роль и значение «Метрополя».

В настоящее время первое типографское издание альманаха — большая библиографическая редкость. Уникальный экземпляр — с любопытными дарственными надписями авторов альманаха — принадлежит М.В. Сеславинскому.

Анна Зорина

---

[1] Ерофеев В. // Антология самиздата: в 3 т., 4 кн. // URL: http://antology.igrunov.ru/after_75/periodicals/metropol/1087390559.html.

[2] См.: Как бесцензурность приравняли к нецензурщине // Время и Деньги. 2004. Вып. 8 // URL: http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-5261-print-1.htm.

[3] Толстой И. Писатель Василий Аксенов размышляет об альманахе «Метрополь» — последней попытке раздвинуть рамки существующей советской литературы: Эфир радио «Свобода» 1 августа 1980 г. // URL: http://www.svobodanews.ru/articleprintview/2117567.html.

[4] Гений грабит всех, или Беседа с Мастером: Беседа с прозаиком Андреем Битовым / беседу вел Ю. Беликов // Дети Ра. 2009. № 4(54) // URL: http://magazines.russ.ru/ra/2009/4/bi20.html.

[5] Попов Е. «Человек никогда не бывает счастлив» / беседу вел Е. Шкловский // Дружба народов. 1998. № 6. Цит по: URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/6/popov-pr.html.

[6] Гений грабит всех, или Беседа с Мастером…

[7] Ореховский П., Попов Е. Динамика поколений: 60-е – 90-е… // День и ночь. 2009. № 1/2. Цит по: URL: http://lib.rus.ec/b/213094/read.

[8] Продолжается работа по размежеванию участников «Метрополя» / вступ. ст., публ. и примеч. З. Водопьяновой, Т. Домрачевой, Г.-Ж. Муллека // Вопросы литературы. 1995. № 5. С. 323.

[9] Дело «Метрополя»: Стенограмма расширенного заседания секретариата МО СП СССР от 22 января 1979 года / подгот. текста, публ., вступ. ст. и коммент. М. Заламбани // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. Цит по: URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/de14.html.

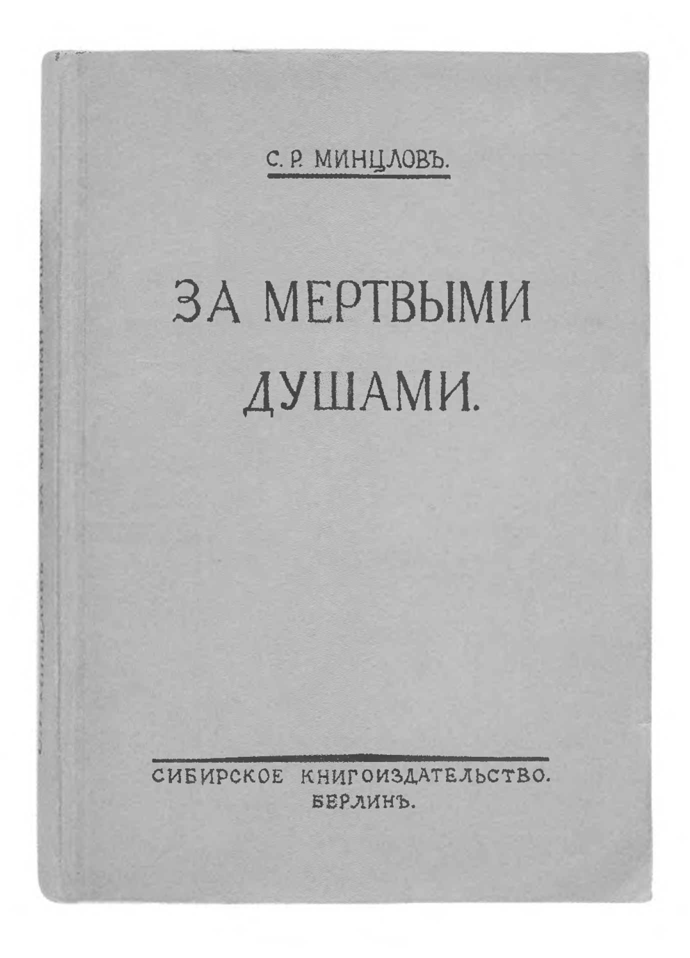
[10] Ореховский П., Попов Е. Динамика поколений: 60-е – 90-е…

58

МИНЦЛОВ С.Р.

За мертвыми душами: Очерки

/ Сергей Минцлов. — Берлин: Сибирск. книгоизд-во, [1921]. — 355 с., [1] л. портр.; 20×13 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

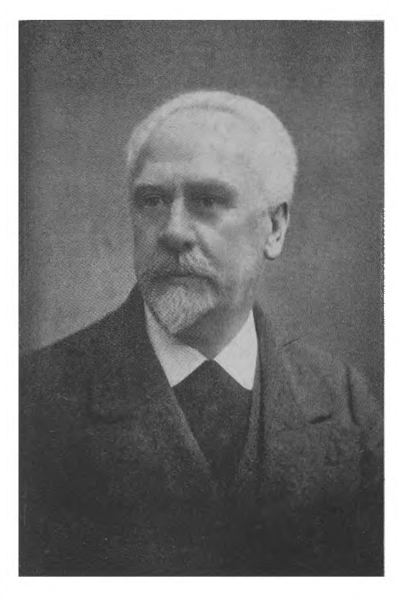


СИБИРСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО.

Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) происходил из древнего литовского рода, первое упоминание о представителях которого относится к временам Грюнвальдской битвы. Дед Минцлова, Рудольф Иванович (Карл Рудольф) Минцлов (1811–1883), видный русский историк и библиограф середины XIX века, с 1847 года и до своей кончины работал в Императорской публичной библиотеке[1], а в 1856–1860 годах преподавал немецкий язык будущему императору Александру III и его братьям.

Первоначальное образование С.Р. Минцлов получил в реальном училище. После смерти матери в 1885 году отец перевел его в Нижегородский им. графа Аракчеева кадетский корпус, по окончании которого Сергей Рудольфович поступил в московское Александровское военное училище, где, по успехам, был зачислен в роту его величества, а в 1890 году произведен в офицеры. Два года спустя он подал в отставку и женился на своей дальней родственнице М.А. Пеньковой, впоследствии видной деятельнице тифлосурдопедагогики и детской писательнице. В 1892–1895 годах Минцлов учился в Нижегородском археологическом институте, с октября 1892-го служил в Таможенном департаменте Министерства финансов,

в связи с чем много путешествовал — сначала по Кавказу, затем по землям вдоль западной границы Российской империи: от Балтийского до Черного моря.



Сергей Минцлов. 1920-е годы. Фотография из книги

С 1895 по 1899 год Минцлов жил в Одессе. С этого периода его основным занятием стала литература. В 1900 году он переехал в Петербург, где один за другим стали выходить его исторические повести и романы: «Клад» (1900), «На заре века» (1901), «Беглецы» (1901), «В грозу» (1903), «В лесах Литвы» (1905), «Во тьме» (1907), «На крестах» (1911), «На заре XVII века» (2-е изд. — 1912) — они быстро приобрели известность и выдержали ряд переизданий.

Все произведения Минцлова написаны с использованием документального материала и не содержат фактографических погрешностей; действие их происходит, как правило, в XVI–XVIII веках в Литве, на Украине, в Крыму или на Кавказе. Мастерски выписанные пейзаж и исторический фон, увлекательный сюжет, обращение к наиболее значимым эпизодам российской истории (борьба прибалтийских народов против германской экспансии, Смутное время, эпоха Петра I) обеспечили Минцлову успех у читателей. С 1910 по 1913 год он занимал ряд чиновничьих должностей в Уфимской, Нижегородской и Полтавской губерниях. В 1914–1915 годах по поручению Министерства земледелия совершил поездку в Урянхайский край. С конца 1916 по 1917 год был редактором военной газеты в Трапезунде, но к концу 1917-го вернулся в Петроград и на фоне революционных событий принял решение поселиться в своем фамильном имении под Выборгом, чтобы заняться творчеством. В 1918 году Выборг был присоединен к Финляндии, и Минцлов автоматически оказался на территории чужой страны. В 1922 году, после переездов по Сербии и Германии, он окончательно обосновался в Риге и в дальнейшем жил исключительно литературным трудом, став одним из наиболее популярных русских авторов. Основная часть его произведений была опубликована принадлежащим ему издательством «Восток». В 1925 году Минцлов был вынужден расстаться со своей библиотекой, значительную часть которой — через посредничество одной из антикварных фирм Лейпцига — приобрела Прусская государственная библиотека в Берлине; сведений о судьбе собрания после 1945 года не имеется.

Страстный потомственный библиофил, Минцлов еще в 1890 году приступил к формированию собственной библиотеки, что, по сути, стало главным делом его жизни[2]. Ему удалось создать уникальное собрание, где были редкие рукописи и книги по генеалогии, геральдике, дипломатике, путешествиям, краеведению, вспомогательным историческим дисциплинам, дневники, эпистолярное наследие, мемуары; основной

раздел составляла Rossica. На основе своего собрания Минцлов подготовил аннотированный «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России»[3]. Особо ценной в библиотеке Минцлова была уникальная коллекция конфискованных изданий начиная с книг 1816 года, каталог этого раздела был опубликован[4]. В поисках раритетов для своего собрания Минцлов с 1895 по 1913 год совершил ряд специальных поездок в Смоленскую, Нижегородскую, Рязанскую, Орловскую и другие губернии; итоги его разысканий были обобщены им в докладе «О собственном книгохранилище и помещичьих библиотеках России», прочитанном 25 января 1914 года на заседании Русского библиологического общества при Императорской академии наук. Основные положения этого доклада и послужили сюжетной канвой для наиболее известной из мемуарных книг Минцлова — «За мертвыми душами». Мысль о ее создании подсказал Сергею Рудольфовичу заинтересовавшийся его докладом хранитель Славянского отдела библиотеки Императорской академии наук Эдуард Александрович Вольтер. Однако путешествие Минцлова в Урянхайский край, Первая мировая война и последовавшая за ней эмиграция на несколько лет отодвинули задуманное. В эмиграции Минцлов смог переосмыслить свои дневниковые записи и, вспоминая самые яркие впечатления от поездок по стране, взяться наконец за труд о книгах и людях.

В увлекательных очерках Сергей Рудольфович рассказал о своих археографических путешествиях, о чувствах и раздумьях, вызванных встречами с книгами и их владельцами. Особое внимание опытного знатока русской книжной культуры привлекали вымирающие «дворянские гнезда», хранившие художественные сокровища минувших эпох. Не без удивления читатель узнавал в персонажах Минцлова словно бы чудом сохранившихся Собакевича, Коробочку, Плюшкина, Ноздрева. Влияние поэмы Н.В. Гоголя на очерки «За мертвыми душами», начиная с их заглавия, несомненно, однако в очерках нет никакого «перепева» классического образца. Путешественнику за книгами мастерски удалось показать в новой предреволюционной России старых героев, судорожно, скорее по привычке цеплявшихся за остатки былых привилегий, уничтожавших и продававших культурные ценности, по крупицам собранные предками. Образы, созданные Минцловым, его яркие наблюдения позволяют рассматривать эту книгу как источник по истории быта русской провинции.

Парижский «Временник Общества друзей русской книги» от 8 марта 1925 года отмечал: «Редкая книга читается с таким напряженным интересом, как только что вышедшая “За мертвыми душами”, хотя в ней нет ни занимательной фабулы, ни злободневных вопросов. В ней — лишь художественное изображение недавно ушедшего быта. Все эти дворянские гнезда, по которым автор охотится за остатками книжных сокровищ, разрушены. Но автору удалось из случайных встреч и коротких разговоров дать цельную картину того, что было».

Полностью разделял эту точку зрения в берлинской газете «Руль» и Ю. Айхенвальд: «Россию ушедшую, ее усадебный уклад, ее бытовые образы с большим мастерством живописует С.Р. Минцлов в своей книге “За мертвыми душами”… Непринужденное перо его полно юмора, и как-

то неожиданно, легко, сами собою даются ему яркие в своей образности выражения и меткие штрихи. Без нажима пишет он, без усилия; одна за другою, в занимательной смене, выплывают у него картины недавнего прошлого. Почти на каждой странице можно найти у него острое словцо, милые блестки остроумия, так что не раз отвечаешь ему благодарной улыбкой удовольствия»[5].

«Непосредственно вслед за романом Зайцева идут превосходные очерки Минцлова "За мертвыми душами", — писал в парижском еженедельнике «Звено» Б. Шлецер. — Это не чистая беллетристика, скажут мне, скорее очерки действительности; но ведь в этих очерках, в этих портретах чудаковатых помещиков, набросанных просто небрежно, как будто шутя, больше подлинного искусства, больше острой выдумки и тонкой наблюдательности, бытовой и психологической, чем хотя бы в уныло-глубокомысленных рассуждениях Переслегина и в поэтических излияниях героини Б. Зайцева»[6].

Василий Дударев

---

[1] Р.И. Минцлов составил первый путеводитель по фондам Императорской публичной библиотеки в Петербурге (СПб., 1872).

[2] См.: Минцлов С.Р. Опись книгохранилища С.Р. Минцлова. СПб., 1905; Он же. Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова. СПб., 1913.

[3] Обзор был издан в пяти выпусках в Новгороде с 1911 по 1912 г. и переиздан в Лейпциге в 1973 г.

[4] Минцлов С.Р. Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке. СПб., 1904.

[5] Руль. 1925. 11 марта.

[6] Шлецер Б. Заметки о «Записках» («Современные записки» кн. XVI-я) // Звено (Париж). 1923. 20 августа. С. 2. В 1923 г. очерки С.Р. Минцлова «За мертвыми душами» были напечатаны в 16-й кн. журнала «Современные записки». Шлецером упоминаются публиковавшиеся в «Современных записках» романы Ф.А. Степуна «Николай Переслегин» и Б.К. Зайцева «Золотой узор».

59

МУРОМЦЕВА-БУНИНА В.Н.

Жизнь Бунина: 1870–1906

/ Вера Муромцева-Бунина; Изд. автора. — Париж: [Б. и.], 1958. — 170, [6] с.; 27x18,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогому Леониду Давыдовичу Леонидову в знак уважения и признательности. В. Муромцева-Бунина. Париж. 28 X 58»[1].



Переводчица и мемуаристка Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881–1961) осталась в благодарной памяти потомков прежде всего как терпеливая и заботливая жена И.А. Бунина и автор воспоминаний о нем. Трижды сводила их судьба (первые две встречи были мимолетны), прежде чем 4 ноября 1906 года в Москве, на квартире Б.К. Зайцева они познакомились «по-настоящему». Дочь члена Московской городской управы и племянница председателя Первой Государственной думы С.А. Муромцева, барышня «с козьими глазами», как она запомнилась знавшей ее в юности Марине Цветаевой[2], Вера Муромцева изучала иностранные языки, пробовала переводить, отважилась на русское переложение Флобера, Мопассана, А. Шенье, Теннисона. Впрочем, литературные дарования открылись у нее лишь после того как благодаря мужу она попала в творческую среду. До знакомства с Буниным Верочка училась на Высших женских курсах — осваивала химию.

Первые обращенные к ней вопросы Бунина — на вечере у Б.К. и В.А. Зайцевых — были не совсем учтивы — кроткая барышня (пальцы обожжены

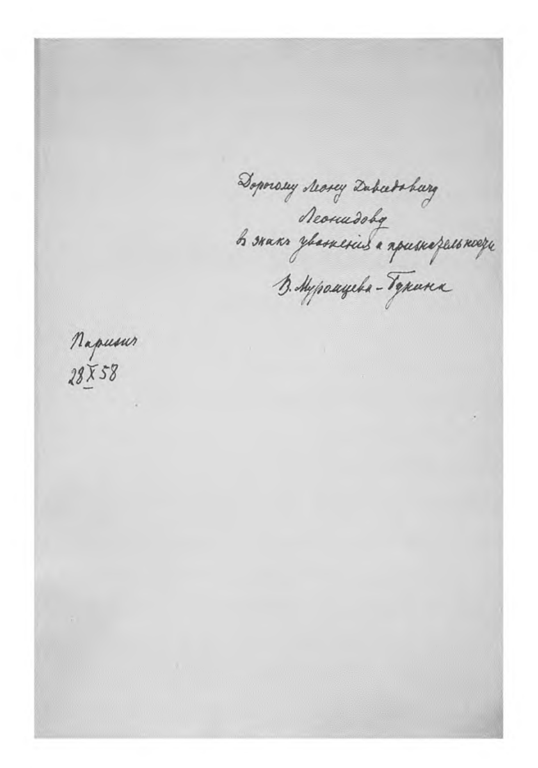
реактивами), очевидно, произвела на него сильное впечатление, и Бунин слегка растерялся: «Как вы сюда попали? — Так же, как и вы... — Чем вы занимаетесь? — Химией»[3]. В ближайшую субботу, когда у Муромцевых «принимали», Бунин был на Поварской — просил «черного кофия», навестил девичью келейку Веры Николаевны, звал ее с собой «на самый север Финляндии» — смотреть северное сияние. Еще через несколько дней, на очередном литературном собрании, между ними случился новый разговор: «Вам не скучно жить? — Нет. А вам? — Мне не скучно, я поэт. — Я не поняла, почему поэтам не бывает скучно, но не спросила»[4]. И правильно — около полувека провели они вместе, и, кажется, «скучно» ей не было никогда.



Иван и Вера Бунины. Путешествие в Палестину. Весна 1907

«Дусик», «Тишка», «Волчонок» — их отношения развивались почти идиллически, если бы... если бы Иван Алексеевич вдруг не срывался с места и не уносился в деревню, оставив Веру в Москве в ночь под Новый год, если бы Муромцевы переменили свое «отрицательное» отношение к богемному писателю, если бы над ним не витал ореол сомнительных любовных похождений...

10 апреля 1907 года Бунин и Вера Николаевна отправились из Москвы в страны Востока — Египет, Сирию, Палестину. 12 мая, совершив свое «первое дальнее странствие», в Одессе сошли на берег. С этого путешествия и началась их совместная жизнь. Бунин описал его в цикле рассказов «Тень птицы» (1907–1911), но в книге и тенью не промелькнул образ спутницы жизни. Вообще, ни рассказов, ни стихов, посвященных Вере Николаевне, Бунин не оставил. Разве что в знаменитой «Розе Иерихона» (1924): «Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — долы Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...»[5] А ведь ей, девушке из православной, хотя и прогрессисткой русской семьи, было не просто решиться на гражданский брак; только в 1922 году, уже во Франции, в эмиграции, Иван Алексеевич получил наконец официальный развод с А.Н. Цакни (своей первой женой) и Бунины смогли обвенчаться.



Авантитул книги «Жизнь Бунина» с автографом В.Н. Муромцевой-Буниной

А с 1926 года для Веры Николаевны начались новые душевные испытания — на арендуемой Буниным вилле «Бельведер» в Грассе поселилась молодая, недавно разошедшаяся с мужем писательница Галина Кузнецова, с которой у Бунина начался многолетний, творчески плодотворный, но тяжелый роман — с разрывами и новыми сближениями. Закончился он для писателя драматически: прекратив близкие отношения с Буниным в 1934 году, в 1942-м Кузнецова окончательно оставила его.

Все сорок шесть с половиной лет совместной жизни с Буниным Вера Николаевна была безгранично предана Ивану Алексеевичу, став во всех делах верной помощницей и безропотно снося его причуды и капризы. Человек большой духовной силы, глубоко верующий, она несла в себе великий дар терпения и всепрощения, что при жизни с таким трудным и непредсказуемым человеком, как Бунин, было немаловажно. Но ей открывалось и другое, заветное — его «нежная душа».

Обладая незаурядными литературными способностями, В.Н. Муромцева-Бунина оставила нам две замечательные книги о муже — «Жизнь Бунина. 1870–1906» и «Беседы с памятью». Закончить последнюю (где повествование должно было продлиться до 1918 года[6]) она не успела.

«Жизнь Бунина», изданная в Париже тиражом 500 экземпляров («и еще 50 экземпляров типография отпечатала на бумаге люкс для автора — в знак уважения»[7]), — это и самые первые мемуары о Бунине, и одновременно его первая биография. Книга основана на архиве писателя, который вдова разбирала в последнее десятилетие своей жизни, на бунинских полудетских и юношеских записях, конспектах, переписке. Но не только. Проводя каждое лето до революции 1917 года у родственников мужа в Орловской губернии, Вера Николаевна знала об «истоках жизни» Бунина от его ближайшего окружения, впитывала устные рассказы Ивана Алексеевича, запоминала семейные предания и анекдоты. Свой бесхитростный рассказ она начинает с самого детства писателя и доводит до 4 ноября 1906 года — дня их знакомства. «Хорошо известно, какую роль для исследователя жизни и творчества выдающихся писателей играют свидетельства людей, бывших близкими к писателю в жизни. Трудно представить себе работы о Толстом или Достоевском без тех свидетельств, которые оставили нам С.А. Толстая и А.Г. Досто-

евская. Поэтому особенно отрадно, что В.Н. Муромцева-Бунина издала первую часть своих воспоминаний о покойном И.А. Бунине», — писал современник[8].

«Жизнь Бунина» — ключ к его личности и творчеству, честное изложение семейной саги по семейным документам. Вера Николаевна, по сути, «преследует цель опровергнуть сложившуюся, по вине некоторых критиков, легенду, согласно которой книга Бунина “Жизнь Арсеньева” является автобиографией. Со свойственным этой чистой натуре простодушием, заставлявшим иных знакомых и вовсе отказывать спутнице жизни Бунина в уме, автор его первой биографии показывает, что “Жизнь Арсеньева”, хотя и заключает в себе много автобиографических черт, является в то же время плодом творческого воображения, которое требовало переработки и изменения фактического автобиографического материала»[9]. Читая параллельно «Жизнь Арсеньева» и «Жизнь Бунина», легко можно понять, где вымысел, а где подлинная автобиография.

Продолжающие «Жизнь Бунина» «Беседы с памятью» основаны на дневниках В.Н. Муромцевой-Буниной (которые она вела всю свою жизнь), но, в отличие от собственно дневниковых записей[10], подчас дышащих горькой правдой, текст воспоминаний сглажен: Вера Николаевна хорошо понимала, что пишет о «классике», и посмертно продолжала мифологизировать его образ.

Душеприказчик вдовы писателя Л.Ф. Зуров сообщал в письме А.К. Бабореко 26 апреля 1961 года: «Вера Николаевна долго верила, что “Жизнь Бунина” в Советском Союзе переиздадут. Эта надежда ей помогала работать над воспоминаниями»[11]. Находившийся в переписке с Муромцевой-Буниной А.К. Бабореко, многое сделавший для возвращения и ее, и бунинского наследия на родину, долгие годы безуспешно пытался издать «Жизнь Бунина» в СССР. Сделать это ему удалось лишь на излете перестройки — в 1989 году[12].

Между тем вся жизнь этой женщины была подвигом. Подвигом и подарком исследователям, читателям и почитателям Бунина стал и ее «труд», «большая работа», где «интересно все»[13].

Татьяна Марченко

---

1 Леонидов Леонид Давыдович (1885–1983) — известный актер и антрепренер. С 1922 г. в эмиграции.

2 См. в письме М.И. Цветаевой к В.Н. Муромцевой-Буниной от 24 октября 1933 г.: «Вера, по описанию… у Вас, не сердитесь, КОЗЬИ глаза. Вы когда-нибудь видели козьи глаза? Не ланьи (карие, влажные и т. д.), а именно козьи, у самой простой козы: светлые, длинные, даже изогнутые (mit einem kecken Schwung, как бывает смелый росчерк), холодные и в тысячу раз более гадательные, притягательные, чем пресловутые русалочьи, в которых, как у рыбы, только испуг и вода» (Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1995. Т. 7: Письма. С. 258–259).

3 Муромцева-Бунина В.Н. Беседы с памятью // Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина: 1870–1906. Беседы с памятью / сост., предисл. и примеч. А.К. Бабореко. М.: Советский писатель, 1989. С. 264.

[4] Там же. С. 268, 269, 272.

[5] Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Художественная литература, 1988. Т. 4. С. 166–167.

[6] Жизни в Париже и Грассе Вера Николаевна с самого начала работы над мемуарами предпочитала не касаться — это было сложное время, сложные отношения между несколькими людьми (Бунины, Л. Зуров, Г. Кузнецова).

[7] Бабореко А. Дороги и звоны: Воспоминания. Письма. М.: Скифы, 1993. С. 63.

[8] Кирилл (Фотиев), прот. Жизнь писателя // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1959. № 47. С. 236.

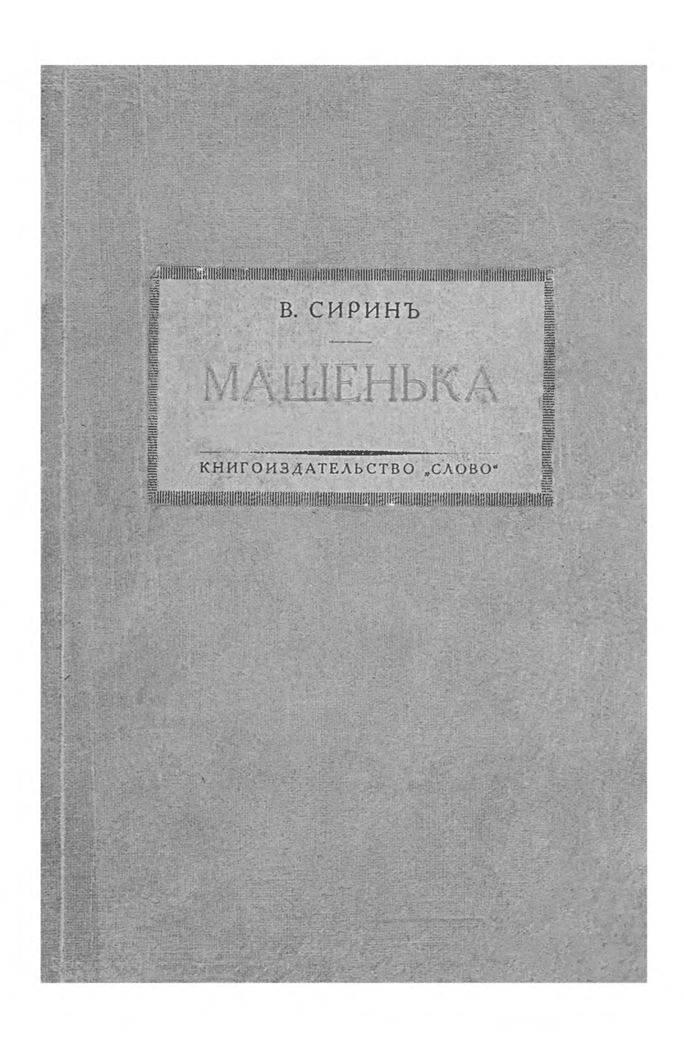
[9] Там же.

[10] Согласно описи архив В.Н. Буниной содержит 287 единиц хранения (от нескольких до сотен листов) мемуарно-биографического характера и 113 (!) единиц хранения в рубрике «Дневники»; еще 107 единиц хранения составляют заметки и записные книжки (см.: Heywood A.J. Catalogue of the Bunin, Bunina, Zurov and Lopatina Collections. Leeds: Leeds university press, 2000. P. 213–229). Кое-что из дневников издано — см.: Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: в 3 т. / под ред. М. Грин. Frankfurt a/M, 1977. В этом издании дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны даны вперемешку и сильно купированы — главным образом потому, что для наследницы архива Буниных многое осталось «неразборчивым» и непонятным.

[11] Цит. по: Белобровцева И.З. Попытка мемуаров: Леонид Зуров о Бунине // Мемуары в культуре русского зарубежья: сб. ст. М., 2010. С. 109.

[12] См. примеч. 3.

[13] Гуль Р. [Рец.:] Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. 1870–1906 // Новый журнал (Нью-Йорк). 1959. № 56. С. 295–297.



60

НАБОКОВ В.В.

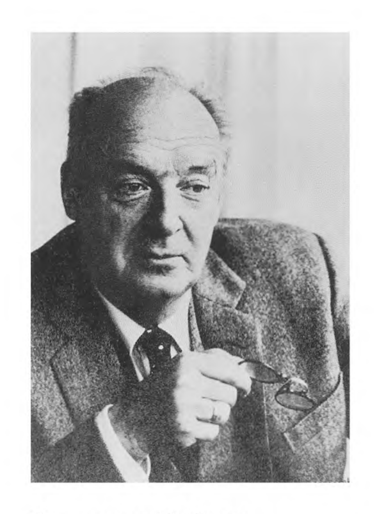
Машенька:
Роман

/ Владимир Сирин. — Berlin: Слово, 1926. — 168, [1] с.; 20×13 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.



Отпрыск богатейшего аристократического семейства, проведший «сказочное оранжерейное детство» и получивший превосходное образование (помимо русского, в совершенстве владел английским и французским языками), Владимир Владимирович Набоков (псевд. В. Сирин; 1899–1977) покинул Россию в апреле 1919-го и долгое время вел образ жизни бедного литератора-эмигранта, вынужденного зарабатывать на жизнь репетиторством и уроками тенниса. В 1940 году Набоков вместе с женой и сыном перебрался в США, где почти двадцать лет преподавал литературу в различных американских университетах и вплоть до сенсационного успеха романа «Лолита» (1955) не был особенно известен массовой читательской аудитории.

Свою литературную карьеру он начал как поэт: еще в 1916 году, будучи учащимся Тенишевского училища, на собственные деньги издал книгу стихотворений, которую, как потом чистосердечно признавался в автобиографии «Другие берега» (1954), «по заслугам немедленно рас-


Владимир Набоков. Монтрё. 1970

терзали те немногие рецензенты, которые заметили ее»[1].

Схожая участь постигла выпущенные уже в эмиграции лирические сборники «Гроздь» (1923) и «Горний путь» (1923), вызвавшие обвинения немногочисленных рецензентов в творческой незрелости и подражательности (прежде всего Фету и Блоку). Не прекращая писать стихи, Набоков обратился к прозе и уже в рассказах второй половины 1920-х годов, позже вошедших в сборник «Возвращение Чорба» (1930), обрел свой неповторимый стиль и выработал новаторскую повествовательную технику, в основе которой лежит принцип варьирования лейтмотивов, складывающихся в изящные тематические узоры, и утонченная авторская игра с читательскими ожиданиями; благодаря парадоксальным развязкам, введению «ненадежного» повествователя или воспроизведению нескольких, порой противоречащих друг другу субъективных точек зрения на происходящее, в набоковских произведениях создается атмосфера смысловой зыбкости, амбивалентности, которая позволяет с равной степенью убедительности предлагать взаимоисключающие версии описываемой действительности. Многогранное творческое наследие русско-американского писателя охватывает все литературные роды и жанры (лирику, драматургию, критику, эссеистику), однако с наибольшей силой и яркостью его творческая индивидуальность реализовалась в жанре романа.

Уже дебютный роман Набокова «Машенька» (1926), показывающий безрадостное прозябание русских беженцев и внешне выдержанный в духе традиционного социально-бытового повествования, содержит в себе черты его новой поэтики: трепетный лиризм, одухотворенный ностальгией по утраченной России и угасшей первой любви, совмещается с ироничной отстраненностью автора от большинства персонажей (поданных в комически сниженном плане и противопоставленных романтичному герою); «тонкий и глубокий психологизм, подчеркнутый внешний реализм описаний, любовная зоркость к мельчайшим подробностям жизни причудливо сочетаются с овевающей весь роман символической призрачностью»[2].

Набоков начал писать роман весной 1925 года, вскоре после женитьбы на Вере Слоним. Созданию «Машеньки» предшествовала работа над романом «Счастье», замысел которого так и остался невоплощенным, — правда, от ненаписанного романа отпочковался, обретя собственное бытие, один из лучших рассказов «раннего» Набокова «Письмо в Россию» (1925), включенный затем в сборник «Возвращение Чорба».

В отличие от стихотворных сборников, первый и наиболее автобиографичный роман Владимира Набокова встретил сочувственный прием в эмигрантской прессе. М. Осоргин признал «Машеньку» «одной из удачнейших повестей, написанных в эмиграции»[3]; по мнению А.С. Из-

гоева, «“Машенька” вносит кое-что в национальное самопознание русской интеллигенции»[4]. Правда, обоими рецензентами роман был истолкован несколько односторонне — как добротная социально-бытовая повесть из эмигрантской жизни. М. Осоргин счел главной удачей автора правдивое изображение «мелочей быта»: «Маленький пансион, населенный ненужными человеками, отлично вмещает великую тоску, беспочвенность, бессмыслицу беженского быта, его духовную истощенность, его безвольную испошленность. Правда, из сложного явления эмиграции Сирин взял лишь беженство, массу, быт без бытия, инерцию без идеи. Но зато эту часть эмиграции он почти исчерпывающе воплотил в немногих фигурах, художественно нарисованных и типически завершенных»[5].

Ю. Айхенвальд, написавший сразу две рецензии на «Машеньку» (Руль. 1926. 31 марта. С. 2–3; Сегодня. 1926. 10 апреля. С. 8), напротив, последовательно утверждал, что содержание романа не исчерпывается реалистически жизнеподобным воспроизведением эмигрантского быта, что безрадостное эмигрантское настоящее, воссозданное автором, — «скорее призрак, тень и фантастика, чем реальность: оно менее действительно, нежели те далекие дореволюционные годы, когда герои жили в России, у себя дома, а не в берлинском пансионе, где свели их судьба и автор. Пансион этот очень убедительно и выразительно и с юмором изображенный в тонах уныния и тоски, неуютное убежище русских эмигрантов, жертв “великого ожидания”, не производит впечатления подлинника, яви: как будто люди здесь снятся самим себе. И именно этот колорит сновидения отличает “Машеньку”, и это тем примечательнее, что Сирин искусно связал его с самой неоспоримой фактичностью, от которой больно, и жестко, и жутко»[6]. Вполне резонно утверждая, что в этом произведении «бытовое не замкнуто в самом себе, собою не ограничено… оно продолжается в даль и в глубь, оно, по Достоевскому, “касается мирам иным”»[7], Айхенвальд одним из первых среди интерпретаторов набоковского творчества затронул тему «потусторонности». Отмечая «внутренний лиризм» произведения, «яркость лиц и сцен, жизненность диалога, красоту пейзажа… чувство большого города… которым удивительно обладает… молодой писатель», критик обратил особое внимание на второй, символический план повествования, связанный с образом возлюбленной главного героя, Машеньки: «Машенька светится отблеском России, и потому вдвойне очарователен ее облик — и сам по себе, и своим отраженным светом; она пленяет как личность, она пленяет как символ, и не только она, но и самый роман, который окрещен ее ласковым именем»[8]. На символичность образа Машеньки и его связь с образом утраченной родины указывал и Г. Струве: «Легкая символика образа Машеньки, сливающегося иногда с образом утраченной и обретенной России, чуть-чуть, без всякой аллегорической грубости намеченная автором, ничуть не портит роман, а, наоборот, углубляя его, придает ему значительность»[9].

С подобной трактовкой образа Машеньки (равно как и с высокой оценкой, данной произведению) в корне была не согласна сотрудница пражского журнала «Воля России» Н. Мельникова-Папоушек: «“Машенька” — вещь не скверно задуманная, но слабо исполненная…

У Сирина как еще неопытного писателя много не удается, несмотря на добрую волю. Его психологические разборы впадают в длинность и в скуку, то есть в самое опасное для литературы… Что касается того, что Машенька будто бы является символом России, как заметил один критик, то мы просто недоумеваем. Правда, один довольно отдаленный философ заметил, что если бы у треугольников было понятие о Боге, то они бы его представляли тоже в виде треугольников. Очевидно, "Машенька" и есть тот треугольный Бог, который соответствует понятию критика. Ну что же, каждый мерит на свой аршин, — у нас мерка иная»[10]. Прохладно отозвался о «Машеньке» и К. Мочульский, по мнению которого «большая литературная культура автора» помешала ему «найти свой собственный стиль»: «В романе В. Сирина, написанном с литературным умением, есть какая-то дряхлость. Он читается с легкостью и без волнения»[11].

Более серьезные (и обоснованные) нарекания со стороны критиков вызвал образ главного героя, противопоставленного всем остальным персонажам романа. В отличие от неприкаянных обитателей берлинского пансиона, Ганин, по уверениям автора, из породы «людей, которые умеют добиваться, достигать, настаивать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству». Вопреки очевидным авторским стараниям водрузить Ганина на романтические ходули и придать ему ауру загадочности и байронической исключительности, рецензенты отказали протагонисту «Машеньки» в цельности и сильной индивидуальности, отнеся его к типу «лишнего человека»: «Сам герой повести, его сила и здоровье, его искание жизни и борьбы, — все это в повести довольно спорно и неоправданно. Приходится верить автору на слово, а на деле Ганин такой же бродяга-эмигрант, бесцельно живущий, как и все другие обитатели пансиона "на железном сквозняке", — только помоложе, посильней физически, поподвижнее. От тоски он бродяжит, от бесцельности озорничает, в душе же его пустота. Как и полагается русскому автору — положительный тип ему не удался» (М. Осоргин)[12]; «Для Ганина у автора другой язык, другие краски: ему хочется сделать его сильным и значительным; это ему не удается. Ганин, несмотря на свое надменное отчуждение от "пошляков" и довольно резкие поступки, вполне сливается с общим серо-бытовым тоном. Он, как и все, бескостный, расхлябанный, "беспочвенный"» (К. Мочульский)[13].

И все же, несмотря на критические замечания, именно с выходом «Машеньки» Владимир Набоков (Сирин) обратил на себя внимание как подающий большие надежды прозаик молодого поколения эмиграции.

В позднейших статьях эмигрантских критиков «Машенька» оценивалась как «обещание великих возможностей» (Н. Андреев)[14], которые писатель с блеском реализовал в последующих произведениях.

Сам автор, став уже известным американским писателем, называл «Машеньку» «неудачной книгой» и в знак того, что его первый роман далек от совершенства, надписывая подарочные экземпляры книги, рисовал на титульном листе не бабочку, а куколку, личинку — эмблему творческой незрелости. Тем не менее, когда в 1970 году вышел английский перевод

«Машеньки», выполненный Набоковым в соавторстве с Майклом Гленни[15], в предисловии писатель признался в «сентиментальной привязанности» к своему первому роману и самим фактом перевода в какой-то степени реабилитировал «неудачную книгу».

Николай Мельников

---

[1] Цит. по: Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 2. С. 291.

[2] Струве Г. Творчество Сирина // Россия и славянство (Париж). 1930. 17 мая. С. 3.

[3] Мих. Ос. <М. Осоргин> [Рец.:] Машенька. Берлин: Слово, 1926 // Современные записки (Париж). 1926. № 28. С. 476.

[4] Изгоев А.С. Мечта и бессилие // Руль (Берлин). 1926. 14 апреля. С. 5.

[5] Мих. Ос. <М. Осоргин> [Рец.:] Машенька… С. 475.

[6] Руль. 1926. 31 марта. С. 2.

[7] Там же.

[8] Там же. С. 3.

[9] Возрождение. 1926. 1 апреля. С. 3.

[10] Воля России (Прага). 1926. № 5. С. 196–197.

[11] Мочульский К. Роман Сирина // Звено. 1926. 18 апреля. № 168. С. 3.

[12] Мих. Ос. <М. Осоргин> [Рец.:] Машенька… С. 475.

[13] Мочульский К. Роман Сирина // Звено (Париж). 1926. 18 апреля. № 168. С. 2.

[14] Цит. по: Классик без ретуши: литературный мир о творчестве Владимира Набокова / под общ. ред. Н.Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 189.

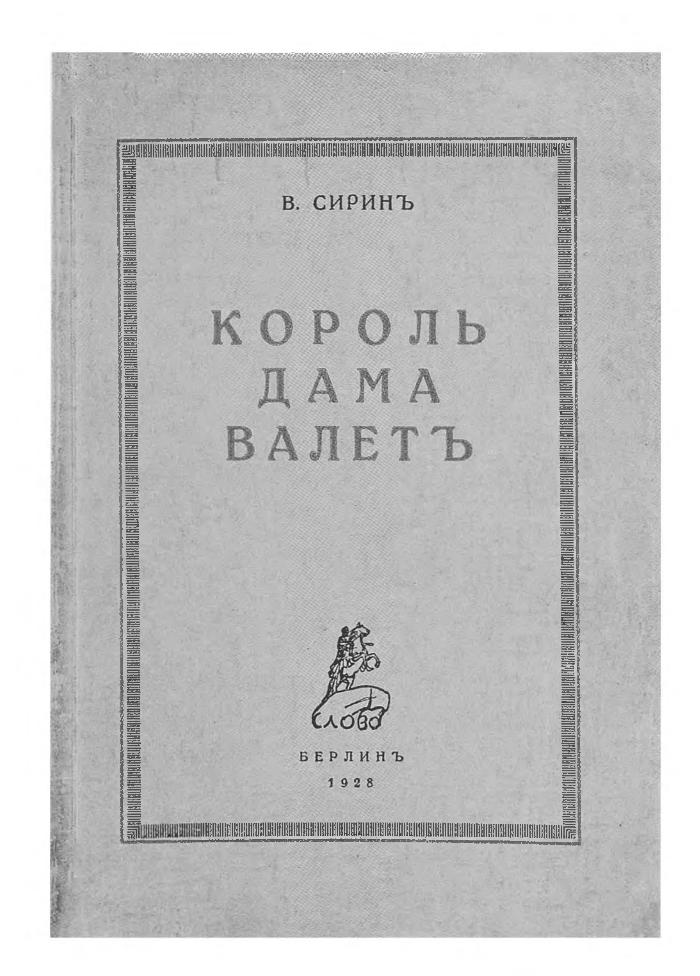
[15] Nabokov V. Mary. N.Y. : McGraw-Hill, 1970.

61

НАБОКОВ В.В.

Король, дама, валет: Роман

/ Владимир Сирин. — Берлин: Слово, 1928. — 260, IV с.; 21×14,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогой, любимой Анюте от автора. Берлин. 1928».





Замысел самого «нерусского» из русскоязычных произведений В. Набокова возник летом 1927 года, когда вместе с женой (и двумя берлинскими учениками, при которых он выполнял функцию воспитателя) писатель отдыхал в курортном местечке Бинц, расположенном на берегу Померанского залива. «Зачатый на приморском песке Померании летом 1927 года, сочинявшийся в продолжение зимы следующего года в Берлине и законченный летом 1928 года»[1], роман был издан в октябре того же года.

В этом произведении писатель обратился к малознакомому, в какой-то степени даже «экзотическому» быту и образу жизни немецких буржуа, вовлеченных в водоворот незамысловатой любовной интриги. В предисловии к англоязычной версии романа Набоков объяснял выбор «нерусского» материала тем, что «независимость от всяких эмоциональных обязательств и сказочная свобода, присущая неизвестной среде», соответствовали его мечте о «чистом вымысле»: «Эмиграция, нищета, тоска по родине никак не сказались на его увлекательном и кропотливом созидании»[2].

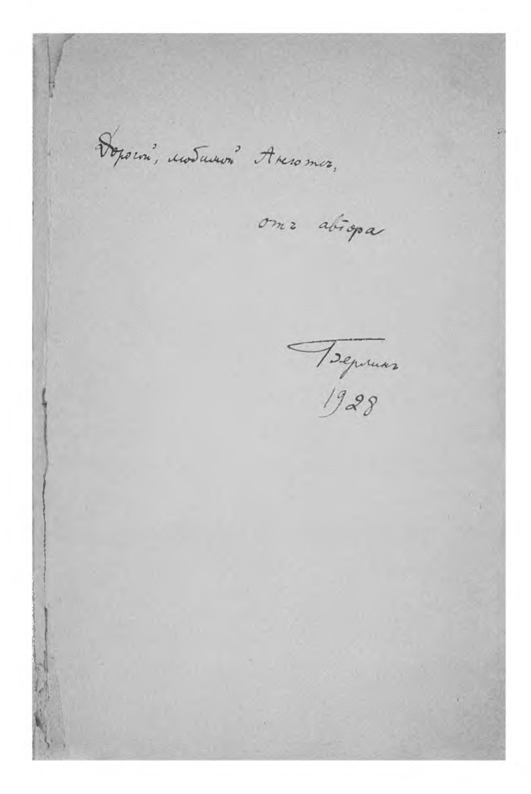
По замечанию З. Шаховской, «Король, дама, валет» был написан с расчетом «пробиться в переводы»[3], что вполне объяснимо: к концу 1920-х годов «русский книжный рынок, раздувшийся было в годы инфляции в Германии, с обеднением эмиграции или с ее денационализацией… все больше и больше сжимался. Существовать писательским трудом могли только те писатели, которых переводили на иностранные языки и которые в переводах имели успех»[4].

Вскоре после выхода книги в свет крупнейший немецкий книжный концерн «Ульштайн» за две с половиной тысячи марок приобрел права на немецкое издание романа. Еще пять тысяч марок писатель получил за публикацию немецкого перевода «Короля, дамы, валета» в газете «Фоссише цайтунг» («Vossische Zeitung»). Это был, пожалуй, самый крупный гонорар за весь русскоязычный период набоковского творчества. Из всех предыдущих и последующих русских романов (за исключением разве что «Камеры обскуры») в коммерческом плане «Король, дама, валет» можно считать наиболее удачным сиринским проектом, изначально рассчитанным на успех у массового, прежде всего иностранного, читателя.

Фабула романа во многом соответствует стандартам тривиальной бульварной беллетристики (где в угоду занимательности и ради эффектной развязки не принято заботится о психологической глубине персонажей и мотивировках их поступков); в нем повествуется о том, как удачливому коммерсанту Курту Драйеру — человеку жизнерадостному, увлекающемуся, обладающему, что называется, артистической жилкой, — изменяет его с виду буржуазно-добродетельная красавица-жена Марта (пошловатая и недалекая мещанка, с довольно убогим кругозором, таящая под маской холодной чопорности поистине тигриную страстность и жар неутоленной чувственности). Не удовлетворенная добряком-мужем, который «в любви… не был ни силен, ни очень искусен», она соблазняет драйеровского племянника Франца — внешне привлекательного, хотя и пустоватого молодого человека из бедной семьи, приехавшего в Берлин «делать карьеру».

Сблизившись, Марта и Франц замышляют убить Драйера, который вдруг представляется им пугающим и ненавистным препятствием на пути к счастью. С маниакальной настойчивостью они перебирают всевозможные планы умерщвления Драйера — от банального отравления до изощренного спектакля (в стиле драйзеровского Клайда Гриффитса) с «нечаянно» перевернутой лодкой и благополучным потоплением не умеющей плавать жертвы. Преступные любовники удачно заманивают Драйера в ловушку, но, услышав от него о назревающей выгодной сделке, сулящей огромную прибыль, откладывают экзекуцию на ближайшее будущее. Возвращаясь в отель, заговорщики и их жертва попадают под дождь, после чего Марта — идейная вдохновительница преступного заговора, буквально поработившая бесхарактерного Франца, — простужается и умирает, оплакиваемая мужем.

Несмотря на лежащую в основе сюжета банальную адюльтерную интригу, позаимствованную из бульварного чтива, художественное своеобразие романа во многом определяется пародийно-игровой стихией, с годами все более вторгавшейся в набоковскую поэтику. Автор виртуозно



Авантитул книги с автографом автора

балансирует между банальностью литературного штампа и остроумной пародией. Идя навстречу массовому читателю, он, на первый взгляд всерьез, следует тривиальной схеме, но в то же время «остраняет», пародирует ее, порой выворачивая наизнанку. Кровавые планы, которые — в оглядке на привычные штампы бульварной литературы — строят энергичная Марта и ее безвольный любовник, порой выглядят откровенно комичными. «Безотчетно вспоминая подробности хитрых убийств, описанных когда-то в газетке, в грошовой книжке, и совершая тем самым невольный плагиат», преступные любовники разрабатывают один нелепый проект за другим, почти совершенно теряя представление о реальнсти. Свою жертву — живого и энергичного Драйера — они ставят «в положение какого-то готового, запакованного, перевязанного товара», послушного манекена (чем, по сути, и является условная фигура жертвы в криминальных романах). Более того, все больше и больше погружаясь в навязчивый бред преступных замыслов, они сами постепенно теряют человеческий облик, становятся похожими на роботов, запрограммированных на нехитрые жизненные операции. Не случайно господствующий в романе мотив человека-автомата, манекена, связан прежде всего с Францем: «…был магазин, где он, как веселая кукла, кланялся, вертелся… были ночи, когда он, как мертвая кукла, лежал навзничь в постели, не зная, спит ли он или бодрствует»; «Ход его дня был машинальный. Утренний толчок будильника был как монета, падающая в автомат»[5].

Таким образом, отчасти оправдывается психологическая одномерность героев романа и вполне закономерным выглядит финал, когда, вопреки читательскому ожиданию, умирает не добродушный и недогадливый «король», а одержимая идеей убийства «дама». По справедливому замечанию Ю. Айхенвальда, «торжествует в романе совсем не добродетель, а беспощадный дух иронии»[6]. Банальность фабулы преодолевается здесь благодаря волшебному словесному мастерству и виртуозной повествовательной технике автора — его умению «облекать самые что ни на есть тривиальные ситуации в безупречную в стилистическом плане форму»[7].

Принеся писателю солидный гонорар (позволивший Набоковым отправиться на отдых в Испанскую Ривьеру и даже внести денежный взнос на покупку земельного участка под Берлином), «Король, дама, валет»

привлек внимание эмигрантских критиков, на которых произвел двойственное впечатление.

Ю. Айхенвальд, автор в целом доброжелательной рецензии на «Король, дама, валет», похвалив «нарядный словесный костюм Сирина», по достоинству оценив его «редкую наблюдательность и приметливость по отношению к внешнему миру», позволяющую ему «рассыпать по всей книге множество бликов и блесток, бесконечно малые величины и оттенки наблюдений, мозаику... блистательных подробностей», в то же время усомнился в главном — в психологической оправданности и необходимости возникновения преступного замысла у Марты и Франца.

М. Осоргин, после «Машеньки» с надеждой смотревший на Сирина как на бытописателя русской эмиграции, «первого настоящего художника беженского быта», не скрывая разочарования, констатировал: «Расчет наш совершенно не оправдался, и место бытовика беженства остается незанятым»[8]. Тем не менее он дал высокую оценку роману: «В. Сирин написал очень хорошую книгу, умную, художественную и занимательную в чтении». Выделив в качестве смысловой доминанты романа мотив «людей-манекенов», критик уловил в нем нотки социальной критики и сатиры: «В. Сирин с художественным чутьем русского психолога перенес центр тяжести на характеры своих “героев” и в этих характерах угадал и изобразил настоящий ужас эпохи. Приемами подлинного искусства он вывел перед нами живых людей, почти первых встречных, которых мы видим и знаем, — и вдруг эти люди оказались теми манекенами-модерн, которых мы тоже знаем и видим... в витринах модных магазинов... Эти “люди” — европейские буржуа, агенты прочной государственности, потребители и производители антиискусства, созидатели той морали уже близкого будущего, в которой устаревшие понятия добра и зла будут окончательно заменены рубриками “дебет” и “кредит”»[9].

Тема автоматизации и обезличивания современного человека, выбор персонажей — ничем не примечательных немецких обывателей — и как следствие отчужденно-ироничное отношение к ним автора, порой выставляющего главных героев в самых неприглядных положениях, — все те идейно-художественные особенности «Короля, дамы, валета», которые позволили М. Осоргину писать о едва ли не антибуржуазном пафосе романа, вызвали совершенно иную реакцию у К. Зайцева: «С огромной поэтической зоркостью, с исключительным стилистическим блеском автор воспроизводит абсолютное ничтожество и бессодержательность жизни... Герои Сирина — “человекоподобные”. Они физиологически подобны людям, но жуть, исходящая от книги Сирина, именно определяется тем, что это именно лишь подобия людей, более страшные, чем механические гомункулусы. Люди как люди, но только без души. Страшный, фантастический гротеск, написанный внешней манерой изощренного реализма»[10].

Николай Мельников

---

[1] Nabokov V. King, Queen, Knight. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1968. P. VI.

[2] Ibid.

[3] Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 55.

[4] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996. С. 164.

[5] Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 2. С. 230, 260.

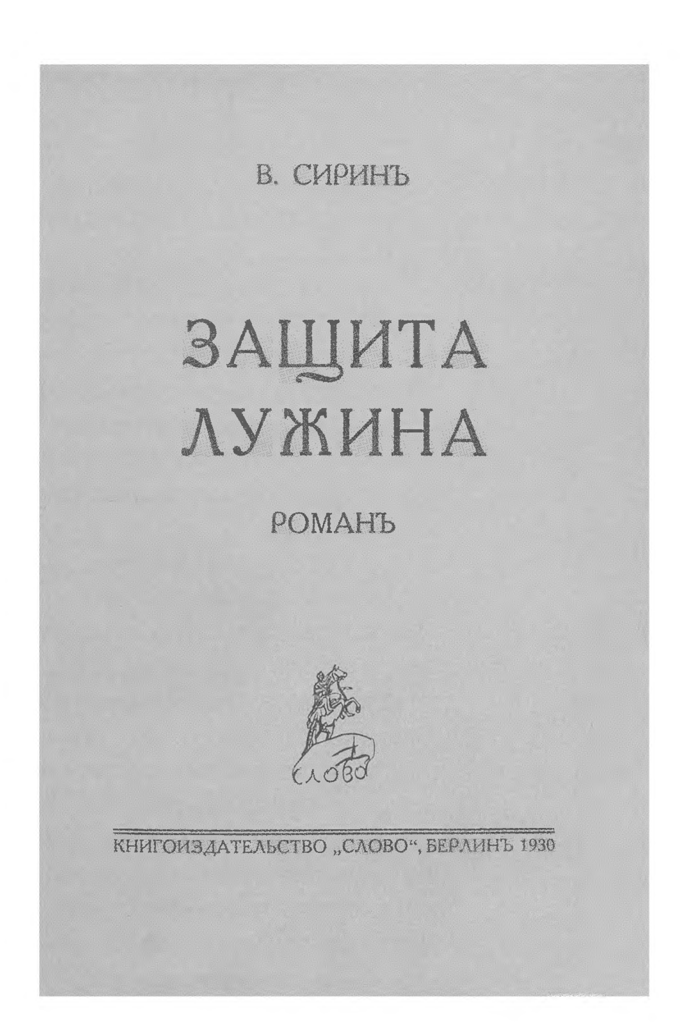
[6] Айхенвальд Ю. Рец.: В. Сирин. «Король, дама, валет» // Руль (Берлин). 1928. 3 октября. С. 2.

[7] Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 63.

[8] Осоргин М. Рец.: В. Сирин. «Король, дама, валет» // Последние новости (Париж). 1928. 4 октября. С. 3.

[9] Там же.

[10] Зайцев К. Защитный цвет // Россия и славянство (Париж). 1929. 23 марта. С. 3.



62

НАБОКОВ В.В.

Защита Лужина:
Роман

/ Владимир Сирин. — Берлин: Слово, 1930. — 233 с.; 21x14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Роман, составивший Набокову громкое литературное имя и выведший его в первый ряд писателей русского зарубежья, был создан в относительно короткий отрезок времени: с февраля по август 1929 года. Впервые он увидел свет на страницах главного журнала эмиграции «Современные записки» (1929–1930. № 40–42).

В романе, рассказывающем о трагической судьбе талантливого шахматиста Лужина, отгородившегося от «живой жизни» и раздавленного собственным даром, прозвучали темы, которым (при всем многообразии их воплощений и полифонии порождаемых ими смысловых обертонов и ассоциаций) суждено было пройти через все творчество писателя: это темы двоемирия (противопоставления земной жизни и потусторонности, мира мечты — повседневной реальности) наряду с ключевой для Набокова романтической темой творческого дара, трагического одиночества художника и удушающей человеческой пошлости.

По словам набоковского биографа Б. Бойда, «в своем романе Набоков предлагает нам исследование аномалии, гениальности и безумия,



Владимир Набоков во время работы над романом «Защита Лужина». Восточные Пиринеи, Ле-Булю. 1929

смешную трагедию и горькую картину одиночества ранимого человеческого “я”. Он рассматривает ребенка во взрослом человеке, отношения индивидуума и семьи. Он анализирует роль художника в человеческой жизни и, кроме того, подвергает критике сентиментальность и бесплодную виртуозность. Он размышляет о памяти и о нашей связи с прошлым, о судьбе и нашем отношении к будущему, о нестерпимом для человека беге времени. Он открывает новые странные координаты человеческого сознания и обращается к взаимоотношениям потусторонности с временем и личностью, которые могут оказаться намного сложнее, чем мы думаем»[1].

Как и «Машенька», «Защита Лужина» — моноцентричный роман: авторское внимание сосредоточено на Лужине; остальные персонажи сгруппированы вокруг протагониста и за редким исключением показаны в перспективе его помутненного сознания, в котором русское прошлое часто наслаивается на эмигрантское настоящее, не различаются сны и явь, а окружающая действительность чем дальше, тем последовательнее воспринимается сквозь призму шахматных образов и ассоциаций.

Шахматы для набоковского гроссмейстера — самоценный и самодостаточный мир, исполненный восхитительной гармонии: «Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что все, кроме шахмат, только очаровательный сон... Лучи его сознания, которые, бывало, рассеивались, ощупывая окружавший его не совсем понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам». Шахматы поглощают все жизненные и умственные силы протагониста, и даже любящая невеста, а затем и жена Лужина оказывается не способной предотвратить его выпадение из жизни в «ужас шахматных бездн». Во время рокового поединка с Турати, противником более сильным и одаренным, музыка шахматных образов, заполнивших сознание Лужина, превращается в дикую, неуправляемую какофонию. Не выдерживая чудовищного напряжения борьбы, он не может найти «тайный ход победы» и чувствует, что теряет власть над шахматным царством, в котором прежде ощущал себя всемогущим демиургом, находил успокоение и надежное убежище от «невозможного, неприемлемого мира» других людей. С ужасом осознавая неспособность совладать с пугающим

хаосом и найти защиту от преследующих его зловещих образов, Лужин решается «выпасть из игры» и кончает жизнь самоубийством.

Уже журнальная публикация «Защиты Лужина» стала событием в литературном мире русского зарубежья. Поскольку каждая книга «Современных записок» обстоятельно рецензировалась в крупнейших газетах русского рассеянья, о произведении молодого и доселе малоизвестного автора так или иначе высказались ведущие эмигрантские критики, в подавляющем большинстве воспринявшие «Защиту Лужина» как «необычайную удачу не только для Сирина, но для всей современной русской прозы»[2].

Берлинский критик Савелий Шерман с удовлетворением констатировал: «Роман написан безукоризненно чистым, вольно льющимся и вместе с тем своеобразным, одному автору принадлежащим языком. Он переполнен свежими, меткими и четкими образами… Появление романа В. Сирина утешительно свидетельствует о наличии крупного молодого таланта, возвращающегося на те пути, которые с такой мощью были положены в мировой литературе славными создателями литературы русской»[3].

«Если уже “Король, дама, валет” и “Возвращение Чорба” дают Сирину право на совершенно особое и большое место в русской литературе, то последняя его вещь — “Защита Лужина”… это право окончательно за ним закрепляет. Не может быть спора о том, что “Защита Лужина” — произведение выдающееся», — утверждал Г. Струве, в своей статье постаравшийся отмести от писателя обвинения в холодности и бездушии, которые периодически предъявлялись ему в эмигрантской печати. «Сирин в своем подходе всегда художнически бесстрастен и безжалостен… Однако в “Защите Лужина” Сирин — может быть, вопреки своей воле — выходит как будто из этого круга “нелюбви к человеку”: в судьбе душевно и духовно беззащитного урода и морального недоноска Лужина есть что-то подлинно и патетически *человеческое*»[4].

«Все в этом произведении увлекательно, совершенно и гармонично: нечаянная и возвышающая радость среди ровной обычности литературного дня, — писал Н. Андреев. — Уже самая тема “Защиты Лужина” — счастливая находка. Рассказ ведется о жизни гениального шахматиста, обреченного судьбой, как и всякое подлинное дарование, своему призрачному, нереальному искусству… о его вдохновенном и безумном мире шахматных сил, проникающих всю реальную действительность, о его упорной и трагической защите против всех злых неизвестностей, стремящихся пленить, подвести под последний непоправимый удар его свободную личность, о бреде души необыкновенного человека. Сложнейшее задание оказывается для Сирина только трамплином для блистательного прыжка в ошеломляющие просторы творчества, в глубинные тайны человеческой психологии. Изумительно (другого определения, менее восторженного, не найти) сделанный, роман опрокидывает все общепринятые архитектонические формы. Сюжет несколько раз рвется хронологически, но художественно остается неизменно цельным. Опрокинуты все привычные мерки глав, постепенное нарастание действия. Архитектонически роман — ослепительный спектр, талантом автора не

рассыпанный на отдельные цвета, но вновь соединенный в потоке творческого света…

Труднейшая задача показать жизнь глазами гениального, больного воображением человека и не спутать при этом основного повествования с этим пленительным и страшным бредом — автором исполнена с почти пугающей отчетливостью»[5].

Из общего хора хвалебных рецензий выделялись настороженно-скептические отзывы ведущего критика русского Парижа Г. Адамовича, усмотревшего в «Защите Лужина» налет «ремесленности, которой в подлинных произведениях искусства нет»[6], и обвинившего автора в подражательности: «“Защита Лужина” написана чрезвычайно искусно и, так сказать, по последней литературной моде. Первая часть романа особенно ясно отражала французские влияния, — в характеристике “исключительности” маленького Лужина, в его неумении поладить со всем окружающим… Несомненно, что для русской литературы сиринская тема еще не является общим литературным местом. Но что по существу она не оригинальна, что это не “первоисточник” — в этом тоже сомневаться невозможно»[7].

За время публикации романа в «Современных записках» Адамович не раз писал о нем, парадоксально совмещая в своих отзывах (зачастую в рамках одного абзаца, одного предложения) убийственные критические выпады с изящными реверансами, один из которых позволил себе на страницах еженедельника «Иллюстрированная Россия»: «О “Защите Лужина”… можно составить себе твердое мнение… Роман, бесспорно, очень талантлив. Если мне лично он и не нравится, то — как говорят французы, ce n'est pas une raison pour en degouter les autres [Это не повод, чтобы расхолаживать других *(фр.)*]»[8].

Лишь спустя три десятилетия после первой публикации романа, в предисловии к его парижскому изданию, выпущенному под эгидой ЦРУ фиктивным издательством «Éditions de la Seine», Адамович изменил свое мнение и назвал «Защиту Лужина» «едва ли не наиболее совершенным» среди набоковских романов, а самого Набокова отрекомендовал как «единственного большого русского писателя нашего столетия, органически сроднившегося с Западом и новой западной литературной культурой»[9].

Сам Набоков, будучи уже маститым американским писателем, порой очень строго судившим о своих ранних произведениях, с приязнью писал о «Защите Лужина» в предисловии к указанному парижскому изданию: «Из всех моих написанных по-русски книг “Защита Лужина” заключает и излучает больше всего “тепла”, — что может показаться странным, если принять во внимание, до какой степени шахматная игра почитается отвлеченной. Так или иначе, именно Лужин полюбился даже тем, кто ничего не смыслит в шахматах или попросту терпеть не может всех других моих книг. Он неуклюж, неопрятен, непривлекателен, но — как сразу замечает моя милая барышня (сама по себе очаровательная) — есть что-то в нем, что возвышается и над серой шершавостью его внешнего облика, и над бесплодностью его загадочного гения»[10].

Николай Мельников

[1] Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. М.; СПб.: Изд-во «Независимая газета»; Симпозиум, 2001. С. 397–398.

[2] Андреев Н. Сирин. Цит. по: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / под общ. ред. Н.Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 192.

[3] Савельев А. <С. Шерман> [Рец.:] «Современные записки», книга 40 // Руль (Берлин). 1929. 20 ноября. С. 5.

[4] Струве Г. Творчество Сирина // Россия и славянство (Париж). 1930. 17 мая. С. 3.

[5] Андреев Н. Сирин. С. 192–193.

[6] Адамович Г. [Рец.:] «Современные записки», книга 40 // Последние новости (Париж). 1929. 31 октября (№ 3144). С. 2.

[7] Адамович Г. [Рец.:] «Современные записки», книга 41 // Последние новости. 1929. 13 февраля (№ 3249). С. 3.

[8] Адамович Г. Литературная неделя // Иллюстрированная Россия (Париж). 1930. № 25. 14 июня. С. 18.

[9] Цит. по: Классик без ретуши. С. 72.

[10] Цит. по: Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / ред.-сост. Н.Г. Мельников. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002. С. 516.

63

НАБОКОВ В.В.

Лолита:
Роман

/ Владимир Набоков; пер. с англ. автора. — N. Y.: Phaedra Publishers, 1967. — [8], 304 с.; 21×14 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.



PHAEDRA PUBLISHERS, New York, N.Y.

Роман, принесший своему создателю мировую славу и сыгравший решающую роль в утверждении его творческой репутации, имеет длительную предысторию. Его фабульный зародыш содержится уже в третьей главе «Дара» — в прочувственном рассказе «бравурного пошляка» Щеголева: «Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума можно сойти»[1].

Год спустя после журнальной публикации «Дара» «первая маленькая пульсация “Лолиты”» воплотилась в новеллу «Волшебник» (1939). Забраковав свою «пра-Лолиту» (при жизни автора новелла так и не была опубликована), Набоков вернулся к разработке прежнего замысла уже будучи американским писателем. В 1946 году был написан черновик первых двенадцати глав романа, получившего рабочее название «Королевство у моря». По признанию автора, сделанному в предисловии

к американскому изданию «Лолиты» 1958 года, «книга подвигалась медленно, со многими перебоями» и была завершена лишь в 1954 году. Первые попытки издать ее в США были неудачны: рукопись отвергли несколько американских издателей, посчитавших ее порнографией, за публикацию которой, как уверял один из них (Паскаль Ковичи из «Вайкинг-пресс»), «мы все отправимся за решетку». Отчаявшись издать «Лолиту» в Америке, Набоков пристроил ее в парижском издательстве «Олимпия-пресс», где наряду с книгами авангардных писателей выпускались порнографические опусы.



Рисунок и автограф В. Набокова

Высочайший уровень художественной трансформации пикантно-эротической фабулы, сам метод изложения вызывающе неприличной истории «неслыханного, безнравственного сожительства» сорокалетнего педофила и его двенадцатилетней падчерицы позволяют отмести от романа и по сей день раздающиеся обвинения в непристойности. И хотя некоторые «мускатно-сладкие эпизоды», по признанию самого писателя, «имеют отчетливо чувственный характер», это произведение не имеет ничего общего с той «порнографической дрянью», к которой ее приравнивали иные недоброжелатели. Даже при передаче довольно откровенных сцен автор счастливо избежал дотошной «анатомической дословности» и присущего порнографии «вульгарного описания сексуальной техники»[2], подчинив эротические мотивы теме нравственного прозрения героя-индивидуалиста, мучительно изживающего наваждение «бесплодного и эгоистического порока».

Как и его литературные предшественники (например, «подпольные» герои Ф.М. Достоевского, особенно Свидригайлов и Ставрогин), протагонист «Лолиты» подчиняет реальность прихоти безумной фантазии, проецируя на обесцененный мир «других» необузданные желания своего гипертрофированного «я». Стремясь к поэтическому преображению действительности, пытаясь «остановить мгновенье» и воскресить райское блаженство обожествленной им детской любви, набоковский нимфолепт эгоистически калечит судьбу своей избранницы, в которой видит воплощение давней эротической грезы: нимфетку, «маленького смертоносного демона», обладающего «сказочно-странной грацией... неуловимой, переимчивой, душеубийственной прелестью». Превращая Лолиту в бесправную рабыню «гнусной, жгучей мечты», в «лишенный воли и самосознания — и даже всякой собственной жизни» — объект при-

ложения преступной страсти, «старый павиан» Гумберт поначалу совсем игнорирует ее человеческую сущность и лишь по ходу повествования, будучи действительно талантливым художником, правдиво воссоздает облик своей возлюбленной, сочетавшей в себе «нежную мечтательную детскость и жутковатую вульгарность».

Символ поруганной и опошленной красоты (в современном массовом сознании уже утративший метафорическую сложность и глубину, выродившийся в банальную эмблему сексапильной девочки-подростка), Лолита, безусловно, является самым совершенным женским образом Набокова. Показанная с точки зрения одержимого неотвязным влечением героя-повествователя, она обладает двойственной природой — реальной и мифологической — и выступает на страницах покаянной исповеди Гумберта в разных обличьях: обольстительной нимфетки, наделенной «баснословной властью» над набоковским «очарованным странником», и капризной американской школьницы, уже тронутой пошлостью и развратом и в то же время скрывающей за броней «дешевой наглости» и «невыносимых подростковых штампов» страдающую душу тягостно одинокого и беззащитного ребенка. Продукт пошловатой мещанской среды, персонификация бездумной массовой культуры, она соотносится эрудированным повествователем со множеством литературных и мифологических персонажей: с апокрифической Лилит, с Лесбией (адресатом любовной лирики Катулла), с Дантовой Беатриче, Жюстиной маркиза де Сада, Кармен и т. д.

Столь же многопланов и образ Гумберта Гумберта, который показан автором в двух ипостасях: непосредственного участника описываемых событий — мученика неразделенной любви и одновременно «сорокалетнего изверга», «старого тирана», выставленного в довольно непривлекательном, а порой и комическом свете, — и отделенного от него временнóй и эмоциональной дистанцией повествователя, который если и не преодолел до конца губительную власть «рокового вожделения», то, во всяком случае, сумел осудить собственный эгоцентризм.

Раздвоение героя-повествователя усугубляется введением мотива удачливого соперника-«двойника». Циничный развратник Клэр Куильти — это не только реальное лицо — популярный драматург и сценарист, «в частном порядке» сделавший «фильмы из “Жюстины” Сада и других эскапакостей восемнадцатого века», — но и своего рода «черный человек», порочная тень Гумберта, олицетворение его низменных страстей.

Принцип смысловой амбивалентности и контраста, лежащий в основе системы персонажей, проявляется на всех формально-содержательных уровнях «Лолиты», где напряженный драматизм «неотразимо увлекательной фабулы» сочетается с «дьявольской закрученностью приемов»[3], едкая сатира на сытое общество массового потребления — с его стандартизированным жизненным укладом и духовным убожеством — уживается с озорной интертекстуальной игрой и изощренной лингвистической эквилибристикой, реалистическая разработка характеров — с элементами фарса и гротеска, а живописная красочность и пластичность описаний дополняется экспрессивностью, свойственной поэтической речи. В исповедальном монологе Гумберта, разрывающегося между самобичевани-

ем и попытками собственной реабилитации перед воображаемым судом присяжных заседателей, совмещаются проникновенный лиризм и ядовитый сарказм, высокая патетика и фамильярное многословие, находящее выражение в бесчисленных каламбурах и насмешливых обращениях к предполагаемому читателю, «крылатым господам присяжным» и даже типографскому наборщику еще не завершенной книги.

Точно так же и автор, стоящий за спиной героя-повествователя, сплавляет воедино элементы противоположных эстетических систем, умело балансируя между условностями массовой литературы и пародией на ее формулы и стереотипы. Иронично обыгранные и лукаво «остраненные» автором стандартные ситуации и расхожие приемы популярных жанрово-тематических канонов (в частности, сенсационного эротического чтива, мелодрамы и детектива) во многом обусловливают своеобразие сюжетного развития и образного строя набоковского романа, который, по замечанию С. Лема, «покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой... между литературой “для масс” и элитарной литературой»[4].

Выйдя из печати осенью 1955 года, «Лолита» поначалу не привлекла к себе особого внимания — до тех пор, пока вокруг нее не разгорелся бурный скандал в английской прессе. После того как Г. Грин назвал набоковское произведение одной из лучших книг 1955 года[5], редактор газеты «Санди экспресс» Д. Гордон обрушился на роман с гневной критикой: «Без сомнения, это грязнейшая книжонка из всех, что мне доводилось читать. Это отъявленная и неприкрытая порнография. Ее главный герой — извращенец, имеющий склонность развращать, как он их называет, “нимфеток”. Это, как он объясняет, девочки в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет. Вся эта книга посвящена откровенному, бесстыдному и вопиюще омерзительному описанию его похождений и побед. Книжка вышла во Франции. Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку»[6].

Завязавшаяся полемика вскоре перекинулась на страницы американской периодики, вызвав там настоящую газетно-журнальную бурю. Между тем во Франции, наряду с другой англоязычной продукцией «Олимпии-пресс», парижское издание «Лолиты» было арестовано по просьбе министра внутренних дел Великобритании, где набоковский роман в свою очередь попал в пекло парламентских дебатов о новом цензурном законе. Благодаря этим обстоятельствам «чистое и аскетически строгое создание» Набокова получило скандальную известность и было обречено на успех у самой широкой читательской аудитории. Первое американское издание романа разошлось стремительно. Сделавшись мировым бестселлером, «Лолита» обогатила своего создателя (только за права на ее экранизацию он получил от кампании «Харрис-Кубрик-Пикчерз» 150 000 долларов) и превратила «незаметнейшего писателя с непроизносимым именем»[7] (как шутливо аттестовал себя сам Набоков в интервью 1964 года) во всемирно известного автора.

Немногочисленные лолитофобские отзывы — в них довольно безапелляционно говорилось об «атрофии нравственного чувства» автора[8] — были заглушены дружным хором со стороны подавляющего большинства

Вх. 1207-14 // гр. 28.09.1991 г.

В архив

В редакцию газеты "Литературная Россия"

Уважаемая редакция!

Пишет вам сотрудник конструкторского бюро оборонного характера Алексей Анатольевич Васильчиков. Всю жизнь я работал на укрепление обороноспособности нашей Родины, ковал оружие Победы вместе с миллионами граждан Советского Союза. Я считаю себя современным образованным человеком, интересуюсь литературой и искусством.

На прошлой неделе я купил у спекулянта-перекупщика около Московского дома книги на Калининском проспекте кж романчик белоэмигранта Владимира Набокова "Лолита", изданный в библиотечке журнала "Иностранная литература" не шуточным 100-тысячным тиражом.!! Книжный проходимец пытался содрать с меня 12 рублей, но, в конце концов, отдал за 8 рублей, да и то после получасового торга. Это, между прочим, стоимость 9 кг сахарного песка, которого нам с женой хватает на три месяца при обычной норме потребления (летом, конечно, больше, т.к. мы заготавливаем на зиму до 20 литров варенья). Книжный спекулянт уверял меня, что это высокохудожественная литература о любви, которую я мне ещё не приходилось читать.

Мне потребовались всего одни выходные, чтобы прочитать это "художественное произведение". Затем его прочитала моя жена. Мы до сих пор не можем придти в себя и поверить, что такое извращение могло быть напечатано в нашей стране. Роман о сорокалетнем двоеженце, совращающем свою 12-летнюю падчерицу, их половых отношениях, преступных оргиях и прочих прелюбодеяниях, - это фактически приговор по нескольким статьям Уголовного кодекса!! Не знаю, жив ли господин Набоков, но если жив - нам немедленно надо обращаться в Интерпол с требованием задержать этого литературного садиста и извращенца.

А о чём думало некогда уважаемое издательство "Иностранная литература"? Разве перестройка, гласность и ускорение - это вседозволенность? Разве такой судьбы мы желаем нашим советским девушкам? Разве такой маньяк может быть героем литературного произведения (причем автор подчас якобы даже сочувствует ему!)?

От имени ветеранов оборонного комплекса требую призлечь к строгой уголовной ответственности руководство издательства, а также лиц, распространяющих подобную литературу по спекулятивным ценам.

Одновременно, пользуясь случаем, направляю в адрес редакции машинописную рукопись автобиографической повести "Дело жизни" и прошу рассмотреть возможность её публикации (можно отрывков) в нескольких номерах "Литературной России". ?

А.А.Васильчиков, ветеран труда,
Ленинградский пр-т, д. 32, кв.15, т. 151-43-96

Читательское письмо в редакцию газеты «Литературная Россия» от 28 сентября 1991 г. Частное собрание

рецензентов, воспринявших «Лолиту» как образец «в высшей степени живой, образной и прекрасной английской прозы»[9]. Писательская репутация Набокова выросла настолько, что уже в июне 1958 года рецензент из журнала «Нью рипаблик» с полным основанием утверждал: «Владимир Набоков — художник первого ряда, писатель, принадлежащий великой традиции. Он никогда не получит Пулитцеровскую или Нобелевскую премию, но тем не менее "Лолита" — вероятно, лучшее художественное произведение, вышедшее в этой стране... со времен фолкнеровского взрыва в тридцатых годах. Он, по всей вероятности, наиболее значительный из ныне живущих писателей этой страны. Он, да поможет ему Бог, уже классик»[10].

Вслед за самим Набоковым, считавшим «Лолиту» своим вершинным достижением — «серьезной книгой, написанной с серьезной целью», — и неустанно защищавшим честь любимого детища в письмах и интервью, ведущие американские и европейские критики сошлись на том, что «никакой особой "половой смелости" в "Лолите" нет... По существу, "Лолита" — не эротический роман, а печальный рассказ о человеческих страстях и силе пошлости»[11].

Николай Мельников

---

1 Цит. по: Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 4. С. 366.

2 Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче. Цит. по: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / под общ. ред. Н.Г. Мельникова; сост., подгот. текста Н.Г. Мельникова, О.А. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 324.

3 Льоса М.В. Правда в вымыслах. «Лолита» // Иностранная литература. 1997. № 5. С. 225.

4 Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче. С. 333.

5 Green G. Books of the Year — 1 // London Sunday Times. 1955. December 25. P. 4.

6 Gordon J. Current events // Sunday Express. 1956. January 29. P. 16.

7 Цит. по: Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / ред.-сост. Н.Г. Мельников. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002. С. 227.

8 Amis K. She Was a Child and I Was a Child // Spectator. 1959. November 6. P. 635–636.

9 Toynbee P. In love with language // Observer. 1959. November 8. P. 22.

10 Brenner C. Nabokov. The Art of the Perverse // New Republic. 1958. Vol. 138. June 23. P. 21.

11 Слоним М. «Лолита» В. Набокова // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1958. 19 октября. С. 8.

64

ОДОЕВЦЕВА И.В.

На берегах Невы

/ Ирина Одоевцева; [рис. на обл. Ю. Анненкова]. — Washington: Victor Kamkin Inc., 1967. — 490, [4] с., 1 л. фронт. (портр.); 21×14,5 см. — 2 000 экз.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.





Ирина Владимировна Одоевцева (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990) родилась в Риге, в семье адвоката. В 1914 году переехала в Петроград. После революции, будучи ученицей Н.С. Гумилева, примыкала к акмеистам. Входила во второй «Цех поэтов», в группу «Звучащая раковина», публиковалась в сборниках «Дом искусств». В 1921 году вышла замуж за поэта Георгия Иванова. Незадолго до эмиграции издала в Петрограде свой первый сборник стихов — «Двор чудес» (1922). В 1922-м вслед за мужем она эмигрирует через Ригу в Берлин, в 1923-м переезжает во Францию.

В межвоенный период Одоевцева редко публикует свои стихи и больше становится известна как прозаик. В 1920–1930-е годы ее рассказы, появившиеся в газетах «Сегодня», «Звено», в журналах «Новый дом», «Числа», «Иллюстрированная Россия», обратили на себя внимание критики. Еще в большей степени снискала она известность как автор трех романов: «Ангел смерти» (1927), «Изольда» (1931) и «Зеркало» (1939). Проза Одоевцевой была отмечена И.А. Буниным, Г.В. Адамовичем, Ю.И. Айхенвальдом, В.В. Вейдле, В.С. Варшавским и др., ее романы

были переведены на несколько языков. Одоевцева-прозаик заняла заметное место в литературе русского зарубежья. Тонкий и взыскательный критик Г.В. Адамович дал меткое определение основным достоинствам романной прозы писательницы, отметив «вкус, простоту, которую только самый неопытный глаз примет за небрежность, свободу, точность...»[1] Хотя, случалось, ее критиковали: «Когда читаешь Одоевцеву, всегда кажется, что она способна на большее», — писал Г. Газданов[2]. Еще два ее романа выходят после войны: «Оставь надежду навсегда» (1954) и «Год жизни» (1957). Последние годы совместной жизни Одоевцева и Г. Иванов испытывали большую нужду, из недорогого отеля они были вынуждены перебраться в старческий приют в Йере, на юге Франции, потом — в «Русский дом» в пригороде Монморанси, к северу от Парижа, затем снова вернуться в Йер. Чтобы справиться с материальными затруднениями, Ирина Владимировна работала над сценариями и переводами, занялась журналистикой: ее статьи, рецензии, очерки появлялись во всех важнейших периодических изданиях зарубежья. После смерти Георгия Иванова в 1958 году писательница переехала в дом для престарелых в Ганьи.



Ирина Одоевцева. 1920-е годы. Фотопортрет на фронтисписе книги

В 1950–1970-е годы были опубликованы сборники ее стихов: «Контрапункт» (1951), «Стихи, написанные во время болезни» (1952), «Десять лет» (1961), «Одиночество» (1965), «Златая цепь» (1975), «Портрет в рифмованной раме» (1976).

Успела Одоевцева издать и две книги мемуаров — «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На берегах Сены» (Париж, 1983). Третью, «На берегах Леты», завершить не удалось.

Дар Одоевцевой-мемуариста раскрылся во многом благодаря ее друзьям — Г.В. Адамовичу, инициировавшему появление мемуаров, и Ю.К. Терапиано, которому писательница посвятила «На берегах Сены». Рождение замысла обеих книг находит отражение в переписке Адамовича и Одоевцевой: вскоре после смерти Г. Иванова в письме от 12 сентября 1958 года Адамович советует ей «приняться писать большой труд “Моя жизнь с Г<еоргием> И<вановым>”... обо всем, с первой... встречи, и всю ambiance, до конца, от Гумилева до Hyeres»[3]. Одоевцева прислушивается к мнению близкого друга и пишет книгу об эпохе Серебряного века. «На берегах Невы» обращены к петербургскому периоду ее жизни — от поступления в «Институт Живого слова» до отъезда из советской России. Адамович чутко распознал в писательнице яркого мемуариста: воспоминания написаны настолько живо, искренне и тепло, что временная дистанция в сорок лет автором с легкостью преодолевается. «Я пишу эти воспоми-

нания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю… И тем самым подарите им бессмертие», — пишет она в предисловии. Перед читателями проходят А.А. Блок, А. Белый, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, Г.В. Иванов, Ф. Сологуб, К.И. Чуковский и др., однако в центре повествования оказывается ее кумир Николай Гумилев — его образ скрепляет сюжет книги, становится ключевым. Об Иванове она пишет скупо и в первой книге воспоминаний, и во второй, «На берегах Сены», посвященной эмиграции. Вместе с тем, несмотря на осторожность мемуаристки в обращении к имени Иванова («самого замечательного» человека в ее жизни), образ его мышления, его характер, его внутренний мир становятся для нас яснее.



Портрет Г. Иванова работы П. Митурича. Иллюстрация из книги

Первые эпизоды «На берегах Невы» начали выходить в 1962 году — в газете «Русская мысль» (6 и 8 февраля), в альманахе «Мосты» (№ 9. С. 109–120), в «Новом журнале» (№ 68. С. 66–90). Адамович мгновенно отреагировал и уже 10 февраля 1962 года написал Одоевцевой письмо: «Я прочел “На берегах Невы” с удовольствием, вниманием и всякими другими чувствами того же рода. “Продолжайте, mademoiselle!” Правда, очень хорошо, Гумилев особенно. И о Ваших чувствах при лицезрении Ахматовой тоже. Я думаю, что Ваша книга — ежели книга будет! — останется надолго, как памятник и свидетельство среды, эпохи, правда, чуть-чуть сумасшедшей. Но это от Вас не зависит, в те годы все чуть-чуть сошли с ума, и мы с Вами в том числе»[4]. Шутливым одобрением «Продолжайте, mademoiselle!» критик отсылал к известному «призыву» Льва Троцкого в адрес Одоевцевой, прозвучавшему парадоксально и одиноко на страницах газеты «Правда» в разносной обзорной статье «Внеоктябрьская литература» (1922. 19 сентября)[5].

Когда «На берегах Невы» вышли в свет отдельным изданием, эмигрантская пресса оценила мемуары более чем положительно. «Книга Ирины Одоевцевой замечательна во многих отношениях, — писала З.А. Шаховская. — Воспоминания ее отличаются от всех других воспоминаний литераторов своей молодостью, легкостью, беззлобностью… И хотя почти все те, о ком пишет Ирина Одоевцева, — мертвы, читая страницы “На берегах Невы” кажется, что читаешь не о мертвых и не о прошлом… Стираются годы холода, голода, казней, разрушения российской культуры — и на черном фоне действительности Ирина Одоевцева ведет свою искристую повесть о молодости и о счастье… Эти воспоминания



Участники поэтической студии «Звучащая раковина». Иллюстрация из книги

поэта о поэтах отличаются “лица необщим выраженьем”. Желая, как она говорит, стать “только глазами, видевшими поэтов — страшных лет России, только ушами, слышавшими их голоса”, Ирина Одоевцева, конечно, не стала просто передаточной инстанцией, — она их для нас осветила светом не покинувшей ее молодости, оживила их памятью своего нестареющего сердца, — ни с жизнью, ни с людьми не сводя личных счетов…»[6]

«Память — как магический хрустальный шар гадалки, только не в будущее, а в прошлое направлен ее взгляд. В нем чудесно оживает это прошлое — становится “видимым”, глазами памяти и воображения», — замечает Е.Ф. Рубисова и вторит Шаховской: «Читая книгу, мы как бы присутствуем при всех перипетиях и переменах в литературной среде города, сопутствуем автору, наблюдаем, как молоденькая дебютантка превращается в полноправного члена Цеха поэтов.

Язык Одоевцевой — легкий, живой, пластичный, разговорный язык, и пишет она почти всегда в настоящем времени: “я иду” (а не “я шла”), “он говорит” (а не “говорил”) и т. д. И это — как прямой разговор с читателем и слушателем… Читая книгу, видишь и слышишь живых людей и как будто живешь среди них. И мне думается, что “На берегах Невы” можно было б представить как театральную пьесу, и пьеса получилась бы захватывающая, глубоко правдивая, со многими настоящими героями — ведь бескорыстное служение искусству в холодном-голодном городе было часто делом героическим»[7].

Р.Б. Гуль в отзыве во многом совпал с оценками других рецензентов: «У прозаика Одоевцевой редкий дар: если вы раскрыли ее книгу, вы от нее не оторветесь, пока не дочитаете до конца. Проза Одоевцевой всегда заразительна, увлекательна, легка. Такова и отчетная книга, тем более что действующие в ней лица — Гумилев, Мандельштам, Сологуб, Кузмин, Ахматова, А. Белый, Г. Иванов и др. — все люди литературно-интересные. Под пером Одоевцевой все они живы и характеристики их ярки. Всякий, кто будет писать, например, о Гумилеве или Мандельштаме, никак не сможет обойти “На берегах Невы”. И не только из-за меткости и интересности характеристик поэтов, но и потому, что “свидетель истории” Ирина Одоевцева дает множество неизвестных дотоле фактов, которые и могла дать только она, почти последняя из петербургской “стаи славных”… не счесть алмазов в этой талантливой, увлекательной книге, которая, я ду-

маю, будет оценена не только в русском зарубежье, но будет особенно ценна для советского читателя и писателя, как последние страницы о последних поэтах "Серебряного века"»[8].

Гуль не обманулся в надеждах. Ирина Одоевцева, снискав известность в эмиграции как яркая поэтесса и романистка, на родине прославилась прежде всего как автор мемуаров.

В апреле 1987 года Ирина Владимировна, пережив смерть второго мужа — писателя и литературного критика Я.Н. Горбова, возвратилась в Ленинград, «на берега Невы». Ее воспоминания наконец-то были изданы в СССР. В 1988 и 1989 годах одна за другой в Москве вышли «На берегах Невы» и «На берегах Сены», тираж которых, составив в первом случае 250 000, а во втором — 500 000 экземпляров, значительно превзошел общий тираж всех ее книг за годы эмиграции.

Умерла И.В. Одоевцева в Ленинграде 14 октября 1990 года в возрасте 95 лет. Похоронили ее на Волковском православном кладбище.

Мария Васильева

---

[1] Адамович Г. Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут // Звено (Париж). 1928. № 6. С. 293.

[2] Газданов Г. [Рец. на кн.: Одоевцева И. Зеркало. Брюссель, 1939] // Русские записки (Париж). 1939. № 15. С. 197.

[3] «Верной дружбе низкий поклон»: Письма Георгия Адамовича Ирине Одоевцевой (1958–1965) / публ. Ф.А. Черкасовой // Диаспора: Новые материалы. Париж; Санкт-Петербург: Athenaeum; Феникс, 2003. Вып. 5. С. 570.

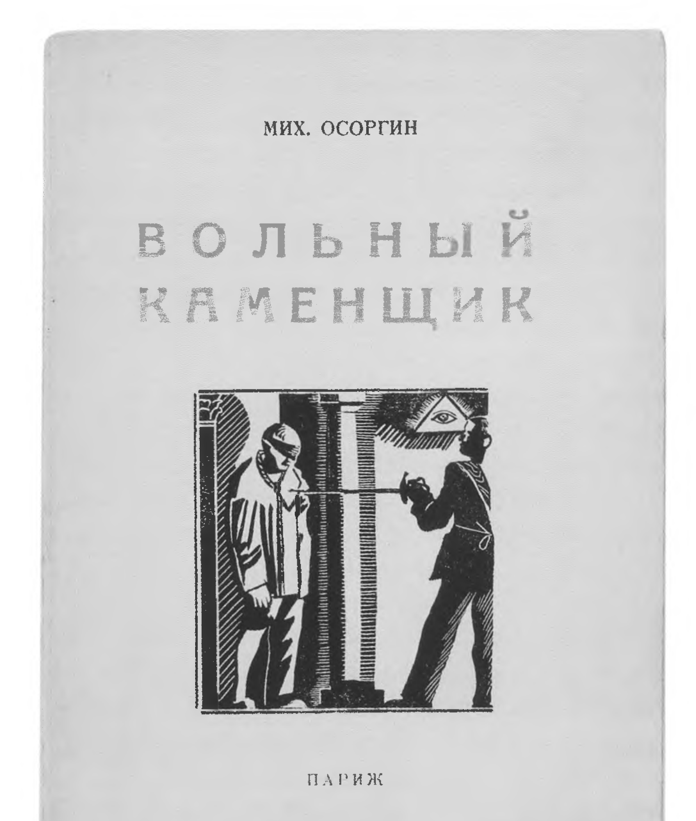
[4] Там же.

[5] Об этой «путевке в жизнь» Адамович вспоминал неоднократно: «…даже Лев Троцкий, в одном из своих "обозрений" брезгливо брюзжавший что-то о пережитках буржуазного искусства, на минуту повеселел, заговорив об Ирине Одоевцевой» (Адамович Г. Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут. С. 293).

[6] Шаховская З. [Рец. на кн.: Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон: Изд. Камкина, 1967] // Возрождение (Париж). 1968. № 169. С. 116–118.

[7] Рубисова Е. [Рец. на кн.: Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон: Изд. Камкина, 1967] // Современник (Торонто). 1968. № 17/18. С. 134–137.

[8] Гуль Р. [Рец. на кн.: Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон: Изд. Камкина, 1967] // Новый журнал (Нью-Йорк). 1968. № 92. С. 288–289.



65

ОСОРГИН М.А.

Вольный каменщик:
Повесть

/ Михаил Осоргин; Изд. автора; [обл. Ф.С. Рожанковского]. — Париж: [Б. и.], 1937. — 258 с.; 20×14 см.
Экземпляр № XXXIV Игоря Александровича Кистяковского[1]. В иллюстрированной цветной издательской обложке. На авантитуле номер экземпляра и адресат экземпляра вписаны от руки чернилами, ниже инскрипт автора: «Paris. 1937. Мих. Осоргин».

Михаил Андреевич Осоргин (наст. фам. Ильин; 1878–1942) родился в Перми, в семье столбового дворянина юриста А.Ф. Ильина. Окончив юридический факультет Московского университета и став скромным присяжным поверенным, он начал пробовать себя в литературе и журналистике. В 1904 году вступил в партию эсеров, примкнув к ее левому крылу, участвовал в первой русской революции. В 1907 году, после ареста и пребывания в Таганской тюрьме, Осоргин нелегально покинул Россию и жил в Италии, сотрудничая с русской прессой. Он выработал особый жанр беллетризованного эссе, нередко окрашенного лирической иронией («Очерки русской Италии», 1913).

В июле 1916 года Осоргин полулегально возвратился в Россию и, как газетный репортер, многое успел увидеть и понять в неспокойном отечестве. Довольно быстро разочаровавшись в Февральской революции, он резко отрицательно и с большой прозорливостью отнесся к большевистской диктатуре. Но, откровенно ее не приемля и обличая в печати, Осоргин ратовал за то, чтобы интеллигенция включалась в созидательную работу. До высылки из советской России осенью 1922 года Осоргин

успел дважды побывать в тюрьме (второй арест, за работу в Помголе, едва не закончился расстрелом, выручило активное вмешательство Ф. Нансена), перевести по просьбе Е.Б. Вахтангова пьесу К. Гоцци «Принцесса Турандот» (изд. 1923), спектакль по которой станет триумфальной визитной карточкой сначала студии, а затем и театра, и начать свой первый роман.

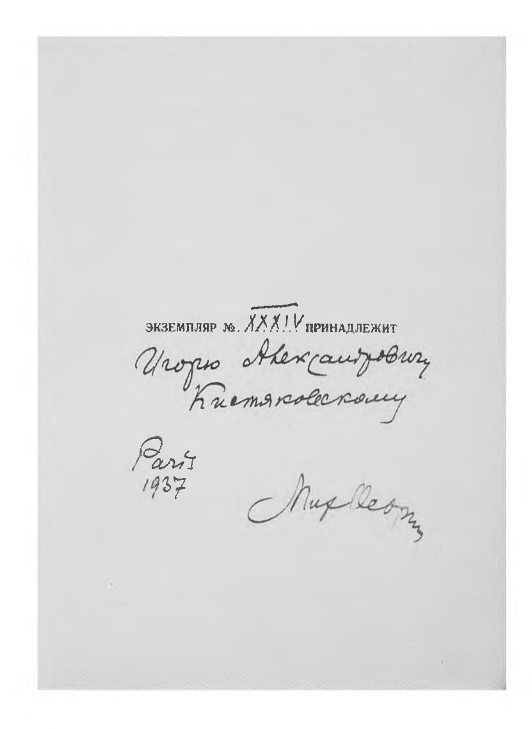
С 1923 года Осоргин обосновался в Париже. До 1937-го жил по советскому паспорту, заслужив у определенной части эмиграции прозвище «большевизан». Печатался он главным образом в газетах «Дни» и «Последние новости», но, как заметил М. Алданов, если бы «ненавистник партий», «анархист» Осоргин «хотел сотрудничать в газетах, его взгляды разделявших, то ему сотрудничать было бы негде». Тяготел к циклизации статей, серии которых печатались иногда по многу месяцев и даже лет; со временем в них начал преобладать мемуарный оттенок. Общую любовь в эмигрантской среде заслужить было трудно, однако за незлобивый юмор и неизменно джентльменское поведение Осоргин пользовался симпатией многих.

Не отрекаясь от журналистики, Михаил Андреевич горячо предался литературному творчеству. Роман «Сивцев Вражек» (отд. изд. 1928), начатый еще в Казани и Москве и повествующий о крушении жизни и идеалов интеллигенции под ударами войн и революций, «имел совершенно неожиданный успех и принес Осоргину и славу, и деньги»[2]. Воодушевившись, Осоргин смело выступает в разных литературных жанрах («Повесть о сестре», 1930; рассказы — «Чудо на озере», 1931, «Повесть о некоей девице», 1938; романная дилогия «Свидетель истории», 1932, и «Книга о концах», 1935; лирические очерки «Происшествия зеленого мира», 1938; мемуары «Времена», 1955).

О чем и о ком бы ни писал Осоргин, о «старинных людях» или о современниках, о природе или о «вещах», он никогда не останавливается только на предмете своего повествования: «Дальше тянется Россия, дальше история, природа, — Осоргин никогда не забывает целого за частностями. Может быть, потому каждая его страница оживлена дыханием настоящей жизни», — отмечал Г. Адамович[3].

«Осоргин своей простоте учился у Тургенева и Аксакова, он связан с ними не только литературно, но и кровно, от них у него — пристальность взгляда, чувство русской природы, любовь к земле, верность прошлому, светлая печаль по давно ушедшему. Его язык — выразительный и точный — близок народному складу. В нем есть вещественность и прямота, убеждающие нас сразу. Автор не боится показаться несовременным, напротив, он настаивает на своей старомодности и провинциальности. Этим мотивируется весь чувствительно-умиленный тон его писаний... “Любовь к жизни” — единственная философия автора (если уж необходимо говорить о его философии). В ней — вся сила его изобразительного таланта. Этой любовью заражает он читателя, возвышаясь до поэзии “реальности”. Как только любовь эта слабеет, художественная убедительность рассказов падает. Появляется шутливый тон, забавность и небрежность. Без любви Осоргин и не видит, и не понимает. Без “чувствительности” он был бы просто неплохим рассказчиком»[4].

В 1914 году в Италии Михаил Осоргин был посвящен в масонство; в 1925-м, в Париже, он присоединился к мастерской «Северной Звезды», подчиненной «Великому Востоку Франции», в 1938-м стал ее мастером[5]. 17 ноября 1932 года писатель открыл собственную независимую ложу «Северные братья». Название как нельзя более точное, поскольку братство было основной идеей масонского служения для Осоргина, стремившегося к объединению единомышленников в «союз нравственной взаимопомощи», открытый для всех на условиях искренности и терпимости. В эмигрантской писательской среде Осоргина удручала разобщенность, вот почему он деятельно поддерживал молодых писателей, а Г. Газданов даже стал его братом по ложе[6]. В одной из своих масонских речей (1931) Осоргин постулировал: «Братство вольных каменщиков есть организация людей, искренне верящих в приход более совершенного человечества. Путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанными обещанием такой же над собой работы. Значит — познай себя, работай над собой, помогай работе над собой другого, пользуйся его помощью, умножай ряды сторонников этой высокой цели»[7].



Авантитул книги «Вольный каменщик» с автографом автора

В середине 1930-х годов жена писателя Т.А. Бакунина-Осоргина выпустила две популярные книжки по истории русского масонства — «Русские вольные каменщики» (1934) и «Знаменитые русские масоны» (1935). Судя по времени их написания, похоже, что именно она и подвигла Осоргина на создание повести о современных масонах (1937).

Одна из главных тем повести — противостояние русского обывателя-эмигранта, увлеченного благородными идеалами всеобщего братства, мещански-расчетливой среде парижан. Персонаж Осоргина, природный «русак», провинциал-обыватель, как и сам автор, воинствующий атеист, счастлив оттого, что «у него есть свой собственный храм и свой Великий Строитель Вселенной, не пахнущий ладаном, не рожденный от девицы, не обладающий деспотической властью и не посягающий на свободу умозаключений».

Вместе с тем страницы «Вольного каменщика» окрашены всеми оттенками юмора — от задушевной иронии и добродушной насмешки до горького сарказма.

История из эмигрантского быта разворачивается в «русском Париже» и повествует о том, как незначительный почтовый служащий из Казани,

Егор Егорович Тетехин, «человек со смешной фамилией и прекрасным сердцем», по обывательским меркам недурно устроившийся на чужбине, вступил в масонское братство и горячо воспринял его идеалы и заветы всем своим недалеким, но очень добрым существом. Существование Тетехина, заведующего мелкой конторой, банально и ничтожно. Жена его — «неприятная женщина и гораздо ниже его», а офранцузившийся сын Жорж болтает на макароническом жаргоне, от всего русского отвык и в идеалы уверовать не спешит. Все заурядно и ничтожно, но тут Егору Егоровичу, благодаря сослуживцу-французу, открылось новое знание, и история о Хираме, строителе Храма, становится вторым сквозным сюжетом «Вольного каменщика».

Осоргин подробно описывает масонский обряд посвящения: «Ждать пришлось долго. Глаза Егора Егоровича присмотрелись к полумраку. Было, конечно, очень любопытно, но нестрашно: мишура явная. Скелет не настоящий… Егор Егорович решился посмотреть, что в вазах: в одной оказалась самая обыкновенная поваренная соль, крупная, грязная и влажная, на дне другой вазы — пропылившийся желтый порошок. Мимо запертой на ключ двери шаркали ноги: рядом с этой комнатой была уборная». Однако Осоргин со вкусом передает все масонские легенды, очень наивные в популярном изложении для профанов, воодушевленно описывает всю декоративную атрибутику, пребывая в глубоком убеждении: «Искусство без символов невозможно. Масонство — есть искусство». Не прочувствовав всего этого лично, автор вряд ли смог бы сказать о своем герое: «Он видел чудо превращения, он приобщился к тайне посвященности. Он сам — маленький конторский служащий, никогда бы не узнавший ни бунта, ни радостей прозрения, если бы благодетельная рука однажды не простерла над ним бутафорский пламенеющий меч, если бы в руку его не сунули долото и деревянный молоток». Названные строительные инструменты необходимы масону для работы над душой; в тексте повести таких деталей, связанных с масонской атрибутикой и символикой, требующих реального комментария, наберется великое множество.

Известный промышленник, историк и меценат П.А. Бурышкин, пристально наблюдавший за деятельностью Осоргина в масонской мастерской, много лет спустя выпустил, совместно с Т.А. Осоргиной, масонские речи писателя 1932–1939 годов под названием «Северные братья» (Париж, 1957). Эта книжечка, изданная «на правах рукописи» мизерным тиражом в 50 экземпляров, сопровождена кратким изложением истории создания и деятельности ложи, великим магистром которой состоял Осоргин, на основе материалов, почерпнутых из протоколов заседаний[8]. Бурышкин оставил весьма ценные свидетельства о том, как роман «Вольный каменщик» был воспринят братьями автора по ложе. Произведение Осоргина вызвало весьма неоднозначную реакцию — ложа собралась на специальное заседание по обсуждению опуса, многих сконфузившего и озадачившего. Бурышкин писал: «Некоторые указывали, что автор зашел слишком далеко в раскрытии "масонской тайны"; другие считали, что масонство изображено слишком непривлекательно, что может также повредить Ордену. Наконец, было мнение, что свойственный автору слишком субъективный подход к масонству, его задачам и его обрядности

должен дать профанскому читателю неверное и худшее представление об Ордене вольных каменщиков»[9].

Но что же читатель-профан мог в действительности почерпнуть из этой повести? Как только Тетехин становится масоном, жизнь его наполняется смыслом и мистикой. Осоргин виртуозен, когда сплетает ироничный, полный забавных и трогательных подробностей рассказ об эмигрантском житье-бытье с адаптированными для обычного читателя — «профана» — масонскими мифами и легендами. Реальное существование героя начинает обретать призрачные черты, а усвоенные им, скромным служащим, предания и ритуалы, напротив, становятся вполне осязаемыми приметами действительности. Повесть интересна привнесением в эпическую прозу приемов кинематографа и газетного репортажа, а в общем строе повествования не удивительно, что «Марианна сходит с обложки журнала…» Комизм заключается в том, что «Марианна» — вовсе не соблазнительная красотка, а название популярного и весьма солидного литературно-критического издания. И Егор Егорович потихоньку начинает бунтовать против скучнейших будней с их мелочным, заведенным порядком, смущая коллег-конторщиков новым патетическим отношением к жизни и не шутя сердясь на самого царя Соломона.

Жгучих «тайн» масонства Осоргин не раскрывает и ни на каких сильных мира сего — членов ложи — не намекает. Он касается лишь тех «тайн», которые и так хорошо известны. Собственно, это и не тайны вовсе, а прекрасные идеалы, мечта о всеобщем братстве и любви.

Книга получилась очень добрая, русских эмигрантов среди ее персонажей почти не встретишь, зато ни в одном эмигрантском произведении нет столько симпатичных французов (несимпатичных, впрочем, тоже хватает). «Вольный каменщик» — повесть и смешная, и грустная, речь в ней не столько об обращении в масонство обычного, ничем не примечательного человека, сколько о пробуждении в его заурядной, как казалось, душе светлых и чистых чувств. Но некий зазор между русскими поисками правды и французским постижением истины в книге все же остается. Вот, поучая Егора Егоровича, разглагольствует старый масон брат Жакмен: «Чего мы ищем и добиваемся? Мы ищем в веках потерянное слово. Наука говорит, что человек никогда не был блажен и не был всеведущ, а что был он скорее всего обезьяной; и наука, конечно, права, — да что толку в ее правоте? Все равно нам невозможно и невыносимо жить без веры, что должен быть ключ к загадке бытия — и слово должно быть найдено. И вот мы ищем его, зная, что найти его невозможно, но наслаждаясь его исканием». Если для француза главное — слово, то для русского — чувство доброе, которое в конце концов и поселяется в груди нескладного недотепы — «тетехи» Егора Егоровича.

«“Вольный каменщик”, — отмечал в рецензии на книгу В. Жаботинский, — есть повесть о каждом из нас, кто только умеет взбунтоваться против подвала и обручиться с богиней Иштар. Произойдет ли это в форме торжественного принятия в некую “посвященную” среду или просто в собственной душе; будут ли встречные на этом пути называться Юбелас, Юбелос, Юбелюм или еще как-нибудь по-другому — это мелочь несущественная. Существенна в замысле этой повести только вера в то,

что каждому человеку, если он воистину хочет быть человеком, нужно открыть для себя вторую, высшую жизнь. Она будет полна потрясающих похождений; все ее трагедии будут радостями, все неудачи — победами; и кто надышится час в неделю ее кислородом, уж тому не страшен мелкий чад нашего быта в подвале»[10].

Тетехин добр по природе, и масонство — лишь ключик к раскрытию его доброго любящего сердца. Да, Вольный Каменщик Осоргин и его герой понимают, что в Братстве немало мерзавцев, стяжателей, карьеристов, ищущих выгоды от членства во влиятельной ложе: «Могут, вероятно, и в такой отборной среде оказаться не совсем хорошие или даже совсем нехорошие люди (Егор Егорович ни на кого не намекает), но в каком же обществе они не встречаются? Вольные Каменщики — обыкновенные люди и за святых себя не выдают...» Великодушие и снисходительность — конечно, лучшие стороны избранных человеческих натур, но в человеческом обществе эти качества не помогают бороться ни с безработицей, ни с прочими социальными язвами и политическими интригами. Герой повести Осоргина, лишившись работы и жалованья, сбегает из Парижа на крошечный загородный садовый участок — такой же, каким владел сам Осоргин в Сент-Женевьев-де-Буа. Но Тетехин еще полон сил, и, главное, он обрел веру, которую было утратил в долгом беженстве и эмиграции. Это неожиданный, новый поворот в самоидентификации русских эмигрантов. Осоргин, последовательный в своих левых взглядах и личной независимости, предлагает свой, масонский путь самоусовершенствования. Но окончательный выбор его героя мало согласуется с патриотизмом самого писателя, с его искренней любовью к России — ведь Тетехин замыкается в индивидуализме, в копании на грядках, равно чуждый и русской эмиграции, и французским братьям по ложе.

Это, кстати, не укрылось от П.М. Бицилли. Рецензент собрал целую коллекцию лестных для писателя имен его литературных предшественников — от Сервантеса и Мольера до Свифта, Стерна, Жан-Поля, Щедрина. Но именно это литературное родство и заставляет критика констатировать, что «с точки зрения реальной истории» «остроумнейшая» книга Осоргина — «анахронизм»: «Она относится к той прекрасной поре, когда люди владели способностью к юмору и иронии, то есть к свободному, человеческому отношению ко всему на свете, к самим себе и к всяческим “вопросам” и ценностям, и когда выше всего ставили именно эту свою способность»[11]. Однако, заключает Бицилли, «напоминать людям об их человечности всегда надобно. Сейчас, кажется, нужнее, чем когда-либо. Одного из тысячи, может быть, и проймет. И это — выигрыш»[12].

Между прочим, в Интернете мелькает вопрос: «А не собираются ли переиздавать “Вольного каменщика”?» Переиздадут — проймет еще одного. Из тысячи.

Татьяна Марченко

---

[1] Кистяковский Игорь Александрович (1876–1940) — юрист, специалист по гражданскому праву, политический и общественный деятель. С 1919 г. в эмиграции.

[2] Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996. С. 185.

[3] Адамович Г. Литературные беседы. «Сивцев Вражек» М.А. Осоргина. Цит. по: URL: http://az.lib.ru/o/osorgin_m_a/text_0030.shtml.

[4] Мочульский К. [Рец.:] Мих. Осоргин. Чудо на озере // Современные записки (Париж). 1931. № 46. С. 495.

[5] Подробнее см.: URL: http://samisdat.com/5/23/523f-lsz.htm, а также в изд.: Серков А.И. Русское масонство 1731–2000 г.: Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001.

[6] Современники единодушны во мнении, что Осоргин «был самым молодым по духу представителем русской эмиграции, и эта вечная его молодость делала из него вождя не только всей русской литературной молодежи за границей, но и вообще русской молодежи в эмиграции» (Гурвич Г. Памяти друга // Новый журнал (Нью-Йорк). 1943. № 4. С. 354–357).

[7] В.С.В.С.В. Северные братья. Париж, 1957 (РГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 1–2).

[8] Масонское наследие М.А. Осоргина было тщательно собрано его вдовой Т.А. Бакуниной-Осоргиной и опубликовано в двух малотиражных книгах, предназначенных лишь для «вольных каменщиков»: Доклады и речи. Члена Д<остопочтенной> Л<ожи> Северная Звезда. В<осток> г<орода> Парижа, [1949]; Северные братья. В<осток> г<орода> Парижа, [1957]; книгам она предпослала небольшие вступительные статьи. Незадолго до своей смерти Т.А. Бакунина-Осоргина передала А.И. Серкову и неопубликованные доклады М.А. Осоргина, которые она снабдила росписью всех его докладов.

[9] Воспоминания не опубликованы. Цит. по: Авдеева О.Ю., Серков А.И. Воспитание души // Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992. С. 3–15.

[10] Жаботинский В. [Рец.:] Мих. Осоргин. Вольный каменщик. Париж, 1937 // Последние новости (Париж). 1937. 11 февраля.

[11] Бицилли П. [Рец.:] Мих. Осоргин. Вольный каменщик. Париж, 1937 // Современные записки. 1937. № 63. С. 409.

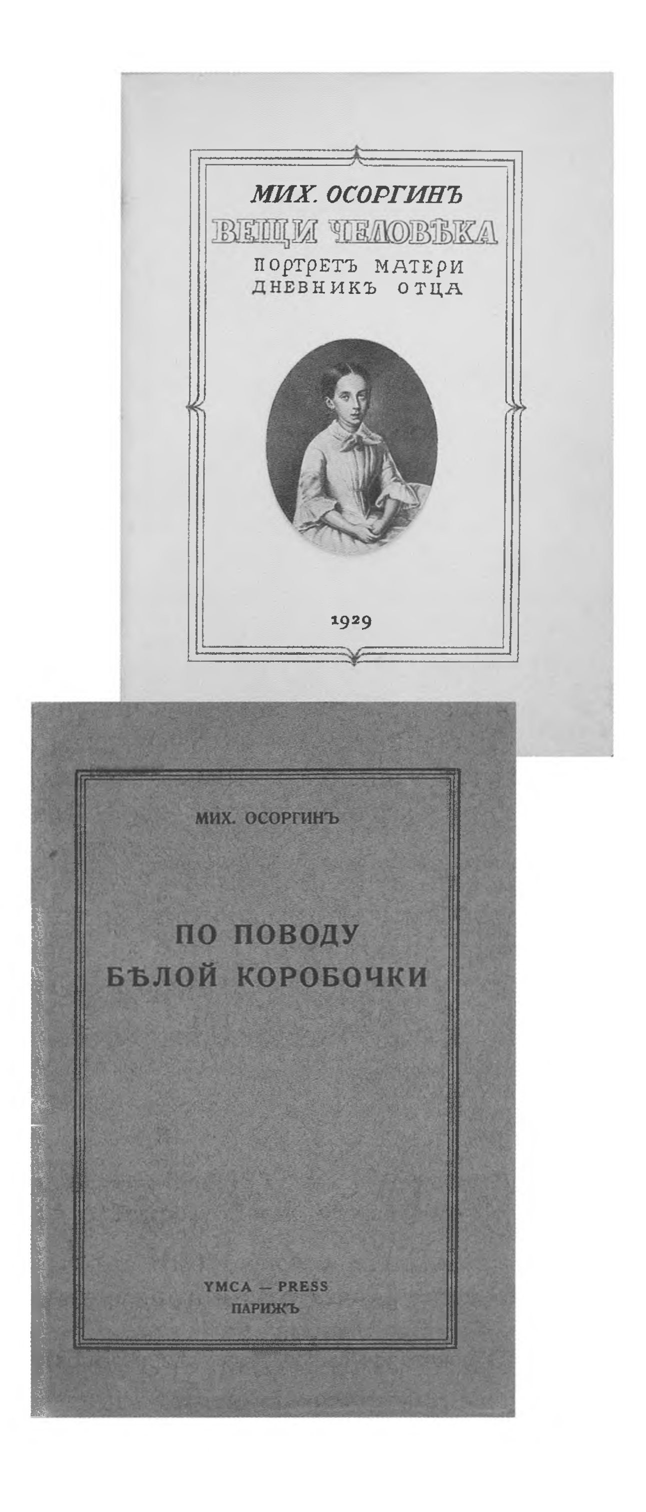
[12] Там же. С. 410.

66

ОСОРГИН М.А.

Вещи человека. Портрет матери. Дневник отца

/ Михаил Осоргин; [обл. А. Шема]. — Р.: Родник, 1929. — 64 с.; 20×14,5 см. — [150 экз.], из которых 100 поступают в продажу (№№ 1–100), все за собственноручной подписью автора.
В коричневом переплете из кожи вепря. Двухцветная издательская обложка с детским портретом на первой сторонке сохранена в переплете. Составные иллюстрированные форзацы. На авантитуле отпечатано: «Экземпляр № I-й принадлежит Танечке»[1] — номер и адресат экземпляра вписаны чернилами от руки; ниже инскрипт автора: «Мих. Осоргин. 21 февр. 1929. Париж».



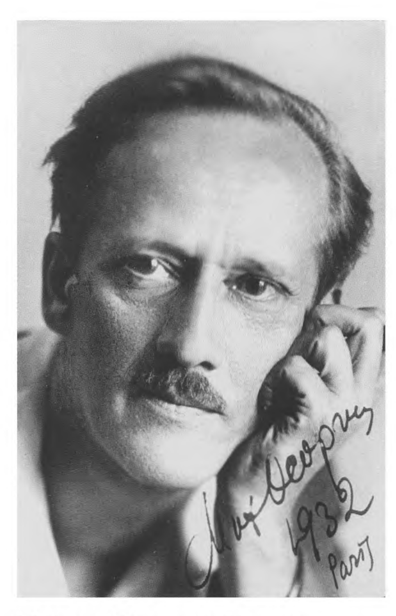
По поводу белой коробочки: (Рассказы)

/ Михаил Осоргин. — Париж: YMCA-Press, 1947. — 173, [2] с.; 20,5×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО ДѢЛА „РОДНИКЪ“ LIBRAIRIE „LA SOURCE”, 106, RUE DE LA TOUR. PARIS

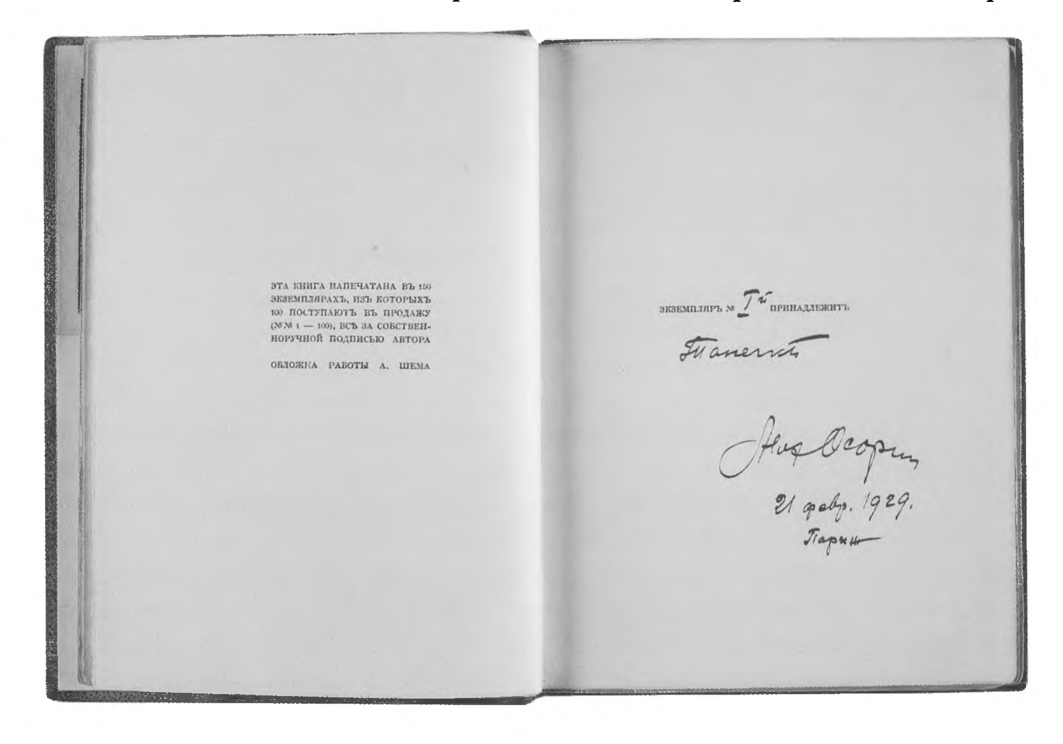
YMCA-PRESS

«У каждой вещи есть своя душа», — утверждал Михаил Осоргин. Слова символические в устах изгнанника, эмигранта, несколько десятилетий жизни проведшего на чужбине. Что могли захватить с собой русские беженцы, подхваченные волной послереволюционной эмиграции и уплывающие от родных берегов в неизвестность?



Михаил Осоргин. Париж. 1932. Фото П. Шумова

М.А. Осоргин не был из тех, кому пришлось мыкаться с остатками Белой армии в Константинополе — его выслали на одном из философских пароходов в 1922 году. В Москве, где в голодные и холодные первые годы революции он с другими писателями организовал Книжную лавку, возглавил Союз журналистов, работал в Помголе, была брошена на разграбление собранная им библиотека. Осоргин, влюбленный в книгу, в книжные редкости, в печатное слово, умел наслаждаться и качеством старинной бумаги, и особенностями шрифта, и причудливостью рисованной заставки. Старая, потрепанная книга, просто старопечатные листки со следами тления были для него несомненным свидетельством времени, сохраняли аромат прошлого. Оставленная высылаемым писателем библиотека пропала, исчезла, как исчезла и первая библиотека, собранная молодым юри-



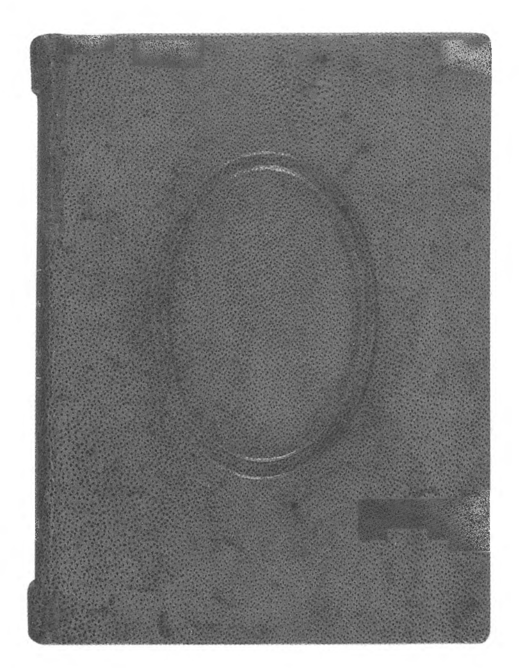
ЭТА КНИГА НАПЕЧАТАНА ВЪ 150 ЭКЗЕМПЛЯРАХЪ, ИЗЪ КОТОРЫХЪ 100 ПОСТУПАЮТЪ ВЪ ПРОДАЖУ (№№ 1 — 100), ВСѢ ЗА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ АВТОРА

ОБЛОЖКА РАБОТЫ А. ШЕМА

ЭКЗЕМПЛЯРЪ № I-й ПРИНАДЛЕЖИТЪ

21 февр. 1929.

Первые полосы книги М. Осоргина «Вещи человека» с автографом автора

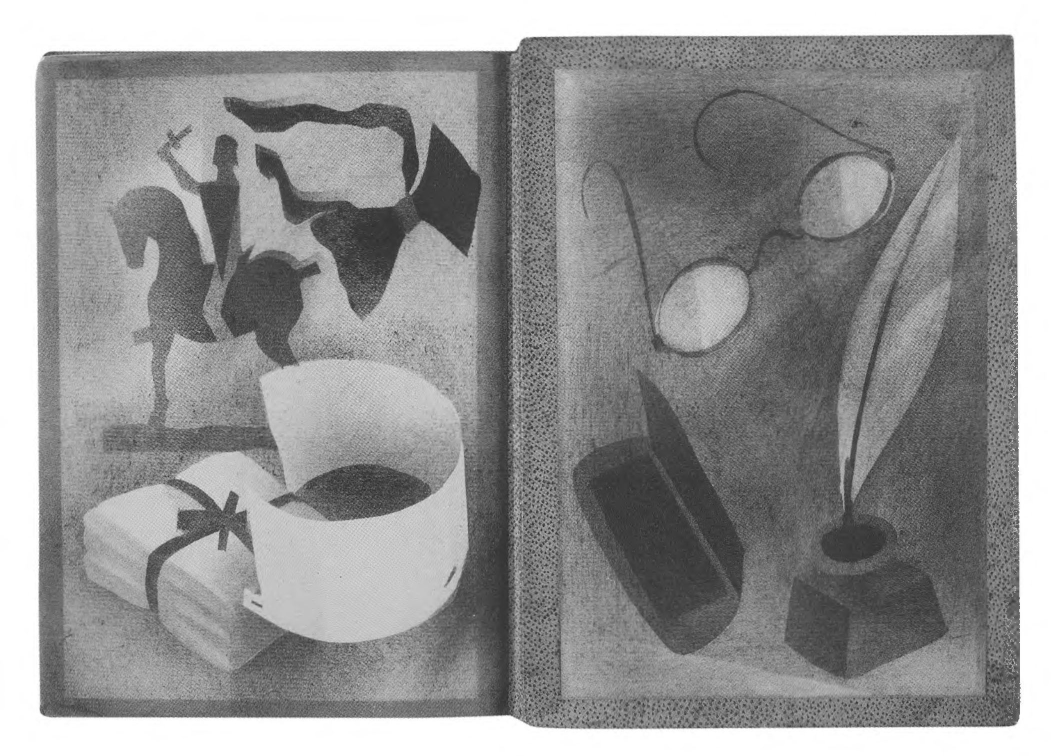

Кожаный переплет книги «Вещи человека»

стом М. Ильиным, эсером, впервые вынужденным бежать за границу после первой русской революции. Погибла и третья библиотека, с особым тщанием, с чувством острой тоски по родине собранная в 1920–1930-е годы в Париже и ошеломлявшая современников размерами и богатством: Осоргин, масон высокого градуса, был вынужден в одночасье покинуть Париж, когда к городу приближались гитлеровские войска. Ничего не уцелело и от архива; пропали «тысячи писем близких и далеких, живых и умерших людей, преимущественно писателей рубежа двух веков, собранные за 35 лет моих блужданий», — горевал писатель[2]. Пропала ставшая обезличенным мусором и «белая коробочка».

Что же это за драгоценная, бережно хранимая вещица, «по поводу» которой появился сначала рассказ[3], а затем и целая книга? Обычный хлам, из тех ненужных мелочей, которые принято грудами вычищать из дома при генеральной уборке или избавляться от них иным способом: «…коробки накапливаются десятками, сотнями, колоннами, тоннами, загромождают квартиру, пока не находится благодетель, радостно ахающий и уносящий их в три приема, причем я убежден, что и он не знает, что с ними делать». Но почему-то писателю «не дает покоя белая деревянная коробочка от патентованного лекарства, потерянно гуляющая по моему столу: и она найдет свое место!»

Место, подобное тому, которое уже обрели в прозе одного из самых задушевных лириков и одновременно первого из насмешников русского зарубежья семейные реликвии: в 1929 году М. Осоргин выпустил «любительское издание» под, казалось бы, обыденным названием — «Вещи человека». Всего три рассказа вошли в эту «интимную» книжечку — давший ей название, «Портрет матери» и «Дневник отца».

Фотокарточка матери в юности и дневник отца ценны только для их сына; но, поведав о них, он приобщился к великому и безвестному сонму людей, дорожащих семейными реликвиями, памятью семьи и рода, он этих людей оправдал и прославил. «Эти воспоминания нельзя читать без волненья. Чувство, проникающее их, заражает читателя, и черты девочки с приложенной к книге миниатюры, ее “худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевой пальчики”, все заботы и мелочи ее жизни трогают нас, как судьба близкого человека»[4]. Возникает закономерный вопрос: где границы интимного в литературе? И стоит ли придерживаться этих границ эмигрантам, утратившим все, кроме нескольких уцелевших мелочей?



Форзацы книги «Вещи человека»

Но именно откровенность личных воспоминаний Осоргина «придает им такую саднящую остроту»[5].

«Истлеют страницы этой книжки; уйду я; уйдет и все. Что останется?» — спрашивает Осоргин. И сам отвечает: «Прекрасное и неповторимое останется святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается».

Память о давно ушедших близких людях для Осоргина неотделима от их вещей, пусть и самых незначительных, но не утративших своего главного смысла. Вещи человека — это прежде всего *человеческие вещи*, обретающие душу от общения со своим владельцем и потом частицу его души сохраняющие. Вот почему так тяжело, так немыслимо расстаться со старым хламом, с тряпками, с бумажками, с коробочками — они соприкасались с теплом человеческих рук, впитывали в себя радость и горе, сопровождали человека в его жизни; даже когда человека уже нет, его душа кротко и незримо присутствует в оставшихся от него пустяках и «коробочках».

В замечательном эссе «По поводу белой коробочки» автор поэтизирует вещи как будто и ненужные, однако хранимые и хранящие таинственную энергию. Не этой ли энергией овеществленного слова, душевного и духовного начала и заряжается тысячелетиями человечество? «Незначительные» сюжеты особенно притягивали Осоргина, а интимность, душевная обнаженность его переживаний «по пустякам» неизменно смущала критиков, хотя именно эти качества и составляли «неповторимое очарование» создаваемого Осоргиным художественного мира. Мудрая простота его рассказов, их особая прозрачность и безыскусный слог, его

способность исповедаться «от чистого сердца… и главное, без ложного стыда»[6] находят отклик у читателей русского зарубежья: по статистическим данным, в 1932 году Осоргин был одним из самых читаемых авторов Тургеневской библиотеки[7].

В среде давно утративших цену ветхих вещиц Михаил Осоргин чувствовал себя в своей стихии, и нельзя не задуматься над тем, какую трагическую символику мир вещей обретал в литературе русской эмиграции, отражавшей не только личную драму изгнанника, но и библейского уровня трагедию отвергнутого народа — несколькомиллионного по любым подсчетам. Что за вещи окружали эмигранта в его скудном быту? Несколько уцелевших реликвий, обломков Атлантиды — тысячелетней России, казавшейся навсегда погибшей, и новые приобретения на чужбине, пусть скромные и дешевые, но свидетельства как-никак оседлого быта. Михаил Осоргин склонен был видеть в привязанности к миру вещей природные свойства русской души и подметил «несомненную духовную связь между Плюшкиным и Иваном Калитой», коренящуюся в «мудрости людей кондовых, от земли» («По поводу белой коробочки»). Это — мудрость собирания в противовес катастрофе русского рассеяния. В новых исторических условиях, когда на Русь писателю-эмигранту поневоле приходится смотреть «из прекрасного далека», многое из происходившего на родине видится теперь по-другому, а полемика с хрестоматийными образами и некогда непогрешимыми утверждениями классиков русской литературы становится неизбежной. «Плюшкин напрасно Гоголем изображен в таком неприглядном виде, — досадует Осоргин. — Имея достаточно оснований не любить людей (даже родная дочь его обидела), неистраченную любовь он перенес на вещи… Он был по природе скопидомом, и в это слово следует вдуматься: оно по корню своему имеет смысл положительный. И Плюшкин был виноват лишь в том, что пришла старость и пришло одиночество, и он перестал отряхивать пыль с накопленных вещей и вещичек и уже не берег вещей, а губил их — заплесневел сухарь, засох лимон, высохли чернила, как в чахотке, пожелтела зубочистка и в рюмку попали три мухи. А пройдись Плюшкин по вещам пылесосом,— и заблестели бы они спокойной красотой и уютом домовитости. Не ценил Плюшкин только человеческих мертвых душ, почему и продал их Чичикову по столь невероятно низкой цене: по 32 копейки ассигнациями за штуку». В рассказах писателя раскрывается трагедия исторического Плюшкина. «Как плесенью сухарь, покрываются паутиной времени милые вещи, и у каждой из них есть своя биография», — настаивает Осоргин. Их не решаешься выбросить, «потому что... как же все-таки бросить вещь, связанную с какими-то смутными воспоминаниями? И должен был прийти такой день, — и он пришел, — когда ко внешне ничтожному вернулась внутренняя ценность, понимаете: вместе с листками пожелтевшей от времени бумаги, с выцветшими снимками милых и смешных лиц, ну, там еще с чем-нибудь, что способно вернуть обратно ленту жизни». Кинематографический образ не случаен: экранные интерьеры населены вещами тех времен, о которых повествует фильм, как населена ими человеческая память. Вещи — осязаемые знаки памяти.

С этой удивительной мудростью бывший революционер, анархист по убеждениям[8], посвященный масон идет к читателю. «Осоргину необходимо доверие читателя, — уверяет К. Мочульский. — Все, что он пишет, должно производить впечатление непринужденной, безыскусственной беседы, интимного общения. Автор не сочиняет, не приукрашивает, а "просто" рассказывает то, что было, без литературных претензий. Он знает, что старая реалистическая манера, которой он остается верен, в наше время несколько обветшала; что многое в его рассказах может показаться "наивным и чувствительным" (по его собственному выражению), и, чтобы оправдать "старомодность" своего стиля, он прибегает к фикции "самого обыкновенного человека", который не пишет, а так, "пописывает"... Этот прием — наивного рассказчика — вполне в традиции русской литературы: Белкин у Пушкина, Рудый Панько у Гоголя, рассказчики у Тургенева. Простота и обычная форма — характерное для Осоргина стремление быть вне "литературы".

Этот выход из литературы удается ему блестяще. У читателя полная иллюзия простоты и правды: все надоевшие ему литературные условности как будто преодолены. Ни трагизма бытия, ни веяния смерти, ни философских глубин, ни психологических сложностей, ничего этого нет. И сюжеты самые обыкновенные, и стиль как будто ничем не замечательный. Читателю кажется, что люди и предметы, о которых говорит Осоргин, существуют сами по себе, независимо от писателя; он входит в этот давно исчезнувший прекрасный мир, узнает знакомое и забытое, живет в нем, не оглядываясь на автора; а тот стоит в сторонке, в скромной роли гида. Цель его достигнута: реальность созданного им мира очищена от всякого привкуса "литературности". Снова оживлена и оправдана старая реалистическая манера; то, что казалось "вне литературы", стало искусством»[9].

Михаил Осоргин скончался в Шабри, на нейтральной французской земле, 27 ноября 1942 года. Мрачным пессимизмом окутаны последние написанные им страницы «писем из Франции», публиковавшихся в нью-йоркском «Новом русском слове»[10]. Война как трагедия человечества ставится Осоргиным в один ряд с революцией как трагедией русского народа.

Через пять лет после его смерти, почти сразу после войны, в Париже был издан сборник рассказов писателя «По поводу белой коробочки». Не пропала, значит, коробочка, отыскались вещи, книги, письмена. И не замечательным ли венком писателю стал именно этот сборник — о незначительных, но пропитанных светлым человеческим духом, душевно теплых вещах?

Через полвека после ухода Осоргина из жизни в России началось новое, на государственном уровне собирательство — возвращение духовного наследия русской эмиграции. Музейщики, архивисты, библиофилы, исследователи стали воссоздавать по крупицам «Россию, которую мы потеряли» и которую, благодаря сохраненным вещам и русскому слову, печатному и рукописному, вновь постепенно обретаем. Пришло время собирать камни, строить, а не разбрасывать, хранить и изучать. Вот какая глубокая мудрость скрывалась в «белой коробочке».

Татьяна Марченко

[1] Бакунина-Осоргина Татьяна Алексеевна (1904–1995) — третья жена писателя, его верный друг, спутник, издатель и библиограф его сочинений.

[2] Осоргин Мих. В тихом местечке Франции. Июнь – декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 86.

[3] Он же. По поводу белой коробочки // Последние новости (Париж). 1938. 23 января.

[4] Цетлин М. [Рец.:] Мих. Осоргин. Вещи Человека. Портрет Матери. Дневник Отца. Изд. книжного дела «Родник» // Современные записки (Париж). 1930. № 40. С. 542.

[5] Там же. С. 543.

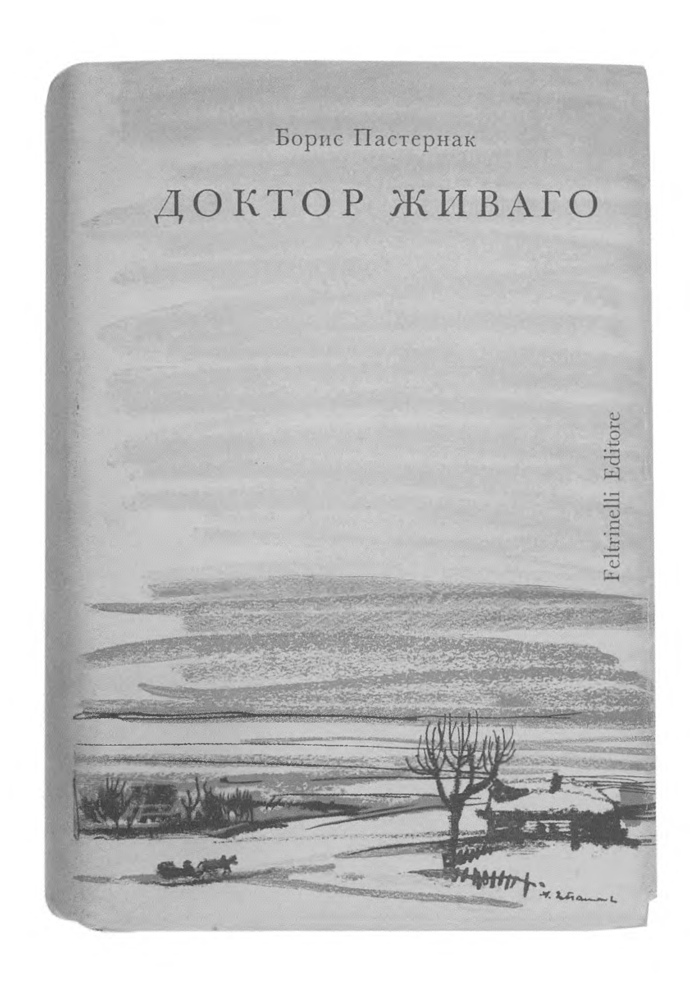
[6] Мочульский К. [Рец.:] Мих. Осоргин. Чудо на озере // Современные записки. 1931. № 46. С. 495.

[7] Последние новости. 1941. 20 октября. С. 3.

[8] «Сущность осоргинской идеологии — анархизм, если и не “мистический”, который процветал у нас после 905 года, то, во всяком случае, лирический», — писал Г.В. Адамович (Адамович Г. <«Сивцев вражек» М.А. Осоргина> // Собр. соч.: в 2 кн.: Литературные беседы: «Звено» (1923–1928) / вступ. ст., сост. и примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1998. Кн. 2: «Звено» (1923–1926). С. 388).

[9] Современные записки. 1931. № 46.

[10] Отразившие трагическое мировосприятие писателя очерковые книги «В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном» (1952) вышли посмертно.



67

ПАСТЕРНАК Б.Л.

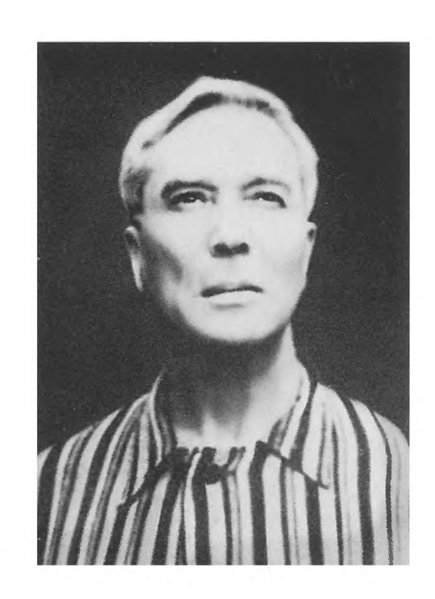
Доктор Живаго: [Роман]

/ Борис Пастернак. — Milano: Feltrinelli, 1957. — [4], 568 с.; 22,5×15 см.
В издательском картонаже. Часть тиража в твердом переплете с суперобложкой.



Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), родившийся в семье известного художника Леонида Осиповича Пастернака, с раннего детства демонстрировал разностороннюю одаренность своей натуры: помимо рисования, его привлекала музыка. По окончании гимназии поступив в Московский университет, он учится сначала на юридическом факультете, а затем переводится на философское отделение историко-филологического факультета. Перед ним открывается возможность сделать карьеру профессионального философа, но в начале 1910-х годов происходит решительный поворот Пастернака к литературному творчеству. Как говорил его сын, «молодость Бориса Пастернака — это цепь успешных опытов с неожиданным преодолением достигнутого и почти необъяснимым от него отказом»[1].

В 1913 году Пастернак опубликовал пять стихотворений в коллективном альманахе «Лирика», а осенью того же года им был составлен первый собственный поэтический сборник — «Близнец в тучах» (1914). Далее последовали сборники «Поверх барьеров»



Борис Пастернак.
Переделкино. 1950-е годы

(1917), «Сестра моя — жизнь» (1922), «Темы и вариации» (1923), «Второе рождение» (1932) и др. Параллельно Пастернак публикует несколько прозаических произведений, в том числе автобиографическую повесть «Детство Люверс» (1922).

На конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится пора официального признания его творчества советской властью. Так, Н.И. Бухарин на Первом съезде писателей СССР даже противопоставил поэзию Пастернака поэзии Маяковского, назвав последнюю «отжившей агиткой». Однако во второй половине 1930-х годов отношение власти к поэту меняется, на Пастернака начинаются серьезные критические нападки, связанные с его независимым поведением. Во второй половине 1930-х Пастернака почти не печатают, и он вынужден заняться переводами.

Зимой 1945–1946 годов Пастернак приступает к написанию романа «Доктор Живаго», главного замысла своей жизни. Работа над романом заняла около десяти лет. Значение и ценность этого произведения сам автор определял так: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...»[2] Для автора важна историческая сущность личности, и не случайно, что главного героя, врача по профессии, автор наделяет творческим даром. Завершается роман циклом из 24 стихотворений главного героя, где сошлись любовь, природа, вечность, религия...

Десять стихотворений под названием «Стихи из романа в прозе “Доктор Живаго”» были опубликованы с авторским предисловием в журнале «Знамя» (1954. № 4).

В 1955 году в текст романа были внесены последние правки, после чего началась история злоключений. Весной Пастернак отправляет готовую рукопись сразу в два журнала — «Новый мир» и «Знамя». В мае того же года по московскому радио проходит сообщение на итальянском языке о скором выходе романа. Серджио Д’Анджело, член итальянской компартии и сотрудник итальянского радиовещания в Москве, просит у Пастернака рукопись для ознакомления и передает ее миланскому издателю Дж. Фельтринелли. В июне Пастернак пишет Фельтринелли, что будет рад публикации романа в переводе, но добавляет: «Если его публикация здесь, обещанная многими нашими журналами, задержится, и Вы ее опередите, ситуация для меня будет трагически трудной»[3].

В сентябре 1956 года Пастернак получает от членов редколлегии «Нового мира» коллективное письмо с отказом печатать роман. Суть письма сводится к обвинениям главного героя в «патологическом индивидуализме», «зоологическом отщепенстве», а также в том, что «весь путь Живаго последовательно уподобляется евангельским "Страстям Господним"»; «в Вашем представлении доктор Живаго — это вершина духа русской интеллигенции. В нашем — это ее болото». Авторы отказа писали: «Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально». Итоговый вывод звучал так: «Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала "Новый мир" не может быть и речи»[4].

В январе 1957 года Пастернак заключает договор на публикацию романа с Гослитиздатом, соглашаясь на некоторые сокращения. Но после смерти А.К. Котова, директора Гослитиздата, публикация романа остановлена. В августе Пастернака вызывают в ЦК КПСС с требованием запретить издание «Доктора Живаго» в Италии. Тем не менее в ноябре 1957-го книга выходит на итальянском языке в Милане, и вскоре Дж. Фельтринелли выпускает русское издание, что обеспечивает ему авторские права во всем мире, кроме СССР. К концу 1958 года роман уже переведен на многие европейские языки.

За прошедшее время Пастернак дважды номинировался на Нобелевскую премию — в 1946 и в 1954 году — за свои лирические произведения. 23 октября 1958 года Шведская академия объявила о присуждении ему Нобелевской премии «за значительный вклад как в современную лирику, так и в область великих традиций русских прозаиков». Реакция в СССР не заставила себя ждать. В советской печати была организована травля Пастернака. События развивались стремительно: 23 октября была присуждена премия, и в тот же день принято постановление Президиума ЦК КПСС «О клеветническом романе Б. Пастернака», где Союзу писателей предписывалось произошедшее событие осудить. На следующий день Пастернака посетил первый секретарь СП СССР К.А. Федин, которому поручено убедить нового лауреата от премии отказаться. 25 октября «Литературная газета» опубликовала вместе с редакционной статьей «Провокационная вылазка международной реакции» и отзыв членов редколлегии «Нового мира» с отказом печатать роман, а в «Правде» появилась злобная статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». 27 октября состоялось заседание правлений СП СССР и Московской писательской организации, на которое Пастернак, сказавшись больным, не явился — вместо этого он прислал объяснительную записку, где просил не считать его отсутствие «знаком невнимания». В записке также говорилось: «…ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью». Пастернак просил коллег не торопиться с осуждением и предлагал де-

О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя

Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР

Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР на совместном заседании обсудили действия Б. Пастернака и пришли к единодушному выводу, что эти действия не совместимы со званием советского писателя, направлены против традиций русской литературы, против народа, против мира и социализма. Начав когда-то с деклараций о «чистом искусстве», Б. Пастернак кончил тем, что стал орудием буржуазной пропаганды, выгодным объектом спекуляции для тех кругов, которые организуют холодную войну, стараются оболгать все прогрессивные и революционные движения. Реакционные круги встретили морально-политическое падение Б. Пастернака с одобрением совсем не потому, что ценят в нем какой-то писательский талант, а потому, что он присоединился к их ожесточенной, но безнадежной борьбе против поступательного движения истории.

Литературная деятельность Б. Пастернака давно иссякла в эгоцентрическом затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор Живаго», вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли, является воплем перепуганного обывателя, обиженного и устрашенного тем, что история не пошла по кривым [...] избежать морального падения. Но Б. Пастернак порвал последние связи со своей страной и ее народом, превратил свое имя и свою деятельность в политическое орудие в руках реакции. Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии по существу за роман «Доктор Живаго», наспех прикрытое высокопарными фразами о его лирике и прозе, в действительности подчеркивает политическую сторону нечистоплотной игры реакционных кругов. Симптоматично и показательно, что одни и те же силы организуют походы против национально-освободительных движений, военный шантаж против арабских народов, устраивают провокации против народного Китая и поднимают шум вокруг имени Б. Пастернака. Присуждение Нобелевской премии Б. Пастернаку сопровождается усилением антисоветской кампании, что уже само по себе свидетельствует о пропагандистском, а не литературном характере этого награждения.

Факты состоят в том, что, к сожалению, не в первый раз литературные Нобелевские премии присуждаются тем, кто служит человеконенавистническим силам холодной войны, организующим крестовые походы против социального прогресса и гуманизма. Литературный Нобелевский комитет не заметил всемирно известных художественных ценностей, созданных Львом Толстым, Чеховым, Горьким, Маяковским, Шолоховым, но зато в поле его внимания попал Бунин только тогда,

«О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя» (Литературная газета. 1958. 28 октября. № 129. С. 3)

путям, которые он хотел бы ей предписать. Идея романа фальшива и ничтожна, вытащена с декадентской свалки. В самом деле, Б. Пастернак силится доказать, что Октябрьская революция была незакономерна и не нужна, в то время когда Советский Союз празднует свою сорок первую годовщину, как могучая и просвещенная держава, стоящая в первых рядах мировой культуры и науки. Победа социализма уже исторически утверждена на огромных территориях Европы и Азии. Прогрессивной мысли и преобразующему деянию Б. Пастернак пытается противопоставить цинично индивидуалистическую философию героя романа «Доктор Живаго». Исчерпывающая оценка романа «Доктор Живаго» дана в письме писателей — членов редколлегии журнала «Новый мир» в сентябре 1956 года.

Союз советских писателей, бережно относясь к творчеству писателей, на протяжении ряда лет стремился помочь Б. Пастернаку понять свои заблуждения, когда он стал активным политическим эмигрантом, а теперь — отщепенец Б. Пастернак. И вполне понятно, почему премия Б. Пастернаку оценена в буржуазной прессе, как «Нобелевская премия — против коммунизма». Честные люди и в самой Швеции, и в других странах открыто высказывают мнение, что Нобелевская премия присуждена Б. Пастернаку исключительно по политическим мотивам.

Поэтому, учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны, — президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР.

(Принято единогласно).

◇ ◇

ЕДИНОДУШНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

Вопрос о действиях члена Союза писателей СССР Б. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя, обсуждался вчера на совместном заседании президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей.

После вступительного слова председательствовавшего на заседании Н. Тихонова и выступления секретаря правления Союза писателей СССР Г. Маркова развернулось горячее обсуждение, в котором приняли участие С. Михалков, В. Катаев, Г. Гулиа, Н. Зарян, В. Ажаев, М. Шагинян, М. Турсун-заде, Ю. Смолич, Г. Николаева, Н. Чуковский, В. Панова, М. Луконин, А. Прокофьев, А. Караваева, Л. Соболев, В. Ермилов, С. Антонов, Н. Грибачев, Б. Полевой, С. С. Смирнов, А. Яшин, П. Нилин, С. В. Смирнов, А. Венцлова, С. Щипачев, И. Абашидзе, А. Токомбаев, С. Рагимов, Н. Атаров, В. Кожевников, И. Анисимов и другие писатели.

Все участники заседания единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем. Выступавшие призывали всех советских литераторов еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии, быть еще более бдительными и непримиримыми борцами за чистоту советской идеологии.

«Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, — говорится в единогласно принятом постановлении, — лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР».

нежную часть полученной им премии передать в фонд Совета Мира[5]. Записка была расценена как акт «возмутительной наглости и цинизма»[6], и Пастернак был единогласно исключен из членов Союза писателей. Постановление этого заседания «О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя» было опубликовано на следующий день в «Литературной газете». В постановлении говорилось: «Литературная деятельность Б. Пастернака давно иссякла в эгоцентрическом затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман "Доктор Живаго", вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли... В самом деле, Б. Пастернак силится доказать, что Октябрьская революция была незакономерна и не нужна...» Далее указывалось, что «литературный Нобелевский комитет не заметил всемирно известных художественных ценностей, созданных Львом Толстым, Чеховым, Горьким, Маяковским, Шолоховым, но зато в поле его внимания попал Бунин — только тогда, когда он стал активным политическим эмигрантом, а теперь — отщепенец Б. Пастернак». Сам факт присвоения Нобелевской премии приравнивался в постановлении к «разжиганию холодной войны»[7]. На следующий день, 29 октября, секретарь ЦК комсомола В.Е. Семичастный, выступая на пленуме ЦК ВЛКСМ, сравнил Пастернака со свиньей — «он нагадил там, где ел», и предложил: «Почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался?.. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух»[8]. На следующий день доклад Семичастного был опубликован «Комсомольской правдой». Стало ясно: речь идет о возможном изгнании и эмиграции, что для Пастернака было немыслимо, и он принимает решение от премии отказаться. 29 октября писатель уведомляет об этом телеграммой секретаря Шведской академии: «В связи со значением, которое Вашей награде придает то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ»[9].

Однако маховик травли уже запущен. На 31 октября было назначено общее собрание московских писателей, которым, по традиции, следовало одобрить предыдущее постановление Правления СП СССР. Заранее была проведена «обработка» ряда видных писателей: их вызывали «на ковер» в ЦК и на парткомы, где на них оказывали давление. Среди не устоявших под натиском партийного пресса были А.Т. Твардовский, С.С. Смирнов, В.Ф. Панова, Н.К. Чуковский, Б.А. Слуцкий... Впрочем, среди желающих заклеймить автора романа было немало и «добровольцев»: С.В. Михалков, Г.М. Марков, А.А. Прокофьев, Л.С. Соболев и др.

Вот как высказался о собрании присутствовавший на нем А. Мацкин: «Удивительная была аудитория — все дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией, обнаружили себя в этой вакханалии... Хотя это был конец 50-х годов, расправа шла по ритуалу процессов 30-х»[10].

Заявление ТАСС

В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б. Л. Пастернака товарищу Н. С. Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б. Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б. Л. Пастернаку отказано в праве выезда за границу, являются грубым вымыслом.

Как стало известно, Б. Л. Пастернак до настоящего времени не обращался ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу и что со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы.

В случае, если Б. Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении «Доктор Живаго», то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все «прелести капиталистического рая».

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ

Уважаемый Никита Сергеевич,

Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

Б. ПАСТЕРНАК

31 октября 1958 г.

Заявление ТАСС и обращение Б.Л. Пастернака в ЦК КПСС и к Н.С. Хрущеву от 31 октября 1958 г. (Московская правда. 1958. № 233. С. 3)

В тот же день Пастернак подписывает составленное его близкими письмо к Н.С. Хрущеву, в котором говорится об отказе от Нобелевской премии и о том, что он не мыслит «своей судьбы отдельно и вне»[11] России.

В ответ ТАСС опубликовало заявление, сообщающее, что правительство не намерено как-либо препятствовать Пастернаку в поездке за премией, но в то же время нет сведений о том, чтобы автор обращался в государственные органы за визой для выезда. Сообщение завершалось важным уточнением: «...если Б.Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении "Доктор Живаго", то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий...»[12]

Сохранилась секретная записка в ЦК КПСС о реакции «общественности» — рабочих, студентов Литературного института, отдельных писателей. Вот некоторые из приводимых в ней и весьма характерных откликов:

«Молодая прядильщица фабрики им. Фрунзе, комсомолка Валя Бобракова заявила: "Решение Президиума Союза писателей об исключении Пастернака из членов Союза советских писателей правильное, и мы, рабочая молодежь, его горячо одобряем. Стихи Пастернака знают немногие, а те, кто их читал, мало в них что понял. Он писал для людей, которые выродились в нашей стране, а для нас — его идеи чужды. Мы от всего сердца говорим: Сорняк — с поля вон!"

Слесарь-механик 2-го часового завода т. Сучатов при беседе сказал: "Люди — будь они писатели или кто-либо другие, — совершающие поступки, подобные тем, который совершил Пастернак, достойны нашего презрения. Мы не читали романа Пастернака, но члены Правления Союза писателей знают роман и правильно сделали, что Пастернака, предавшего интересы нашего народа, лишили звания советского писателя. Пастернаку нет места в нашей среде".

Мастер механического цеха троллейбусного завода т. Федоров заявил: "Меры, принятые Союзом советских писателей к Пастернаку, правильны. Пастернак был слишком обеспечен. Ему легко доставались деньги, и он пожинал все блага жизни в советской стране. Надо лишить его всех благ и указать дорогу к господам капиталистам. Пусть испытает судьбу человека без Родины"»[13].

В истории травля Пастернака запечатлелась знаковой фразой: «Не читал, но осуждаю!»

6 ноября в «Правде» было опубликовано открытое «покаянное» письмо автора «Доктора Живаго». Так же как и в случае с письмом к Хрущеву, предложение написать его было подано Пастернаку через близкую ему О.В. Ивинскую, участвовавшую в составлении обоих писем.

Не менее активная полемика о романе развернулась в зарубежных и эмигрантских средствах массовой информации. В защиту Пастернака выступили Г. Грин, А. Камю и другие видные деятели западной культуры.

30 мая 1960 года Б.Л. Пастернак скончался в Переделкине.

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено, а в следующем году роман был опубликован в журнале «Новый мир» (№ 1–4).

Вера Соколова

---

[1] Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. М.: Советский писатель, 1989. С. 64.

[2] Из письма к О. Фрейденберг от 13 октября 1946 г. // Пастернак Б. Собр. соч.: в 5 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 5. С. 453.

[3] Цит. по: Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. С. 631.

[4] Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б. Пастернаку // Литературная газета. 1958. № 128. С. 1–4.

[5] См.: Горелик П., Елисеев Н. По теченью и против теченья. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 228.

[6] Там же.

[7] О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя: Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР // Литературная газета. 1958. 28 октября. № 129. С. 3.

[8] Семичастный В.Е. Речь на пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 г. // Комсомольская правда. 1958. 30 октября. С. 3.

[9] Горелик П., Елисеев Н. По теченью и против теченья. С. 237.

[10] Мацкин А. Борис Слуцкий — его поэзия, его окружение // Борис Слуцкий: воспоминания современников. СПб.: Журнал «Нева», 2005. С. 310.

[11] Письмо Б. Пастернака в Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Никите Сергеевичу Хрущеву от 31 октября 1958 г. // Правда. 1958. 2 ноября. С. 2.

[12] Заявление ТАСС // Правда. 1958. 2 ноября. С. 2.

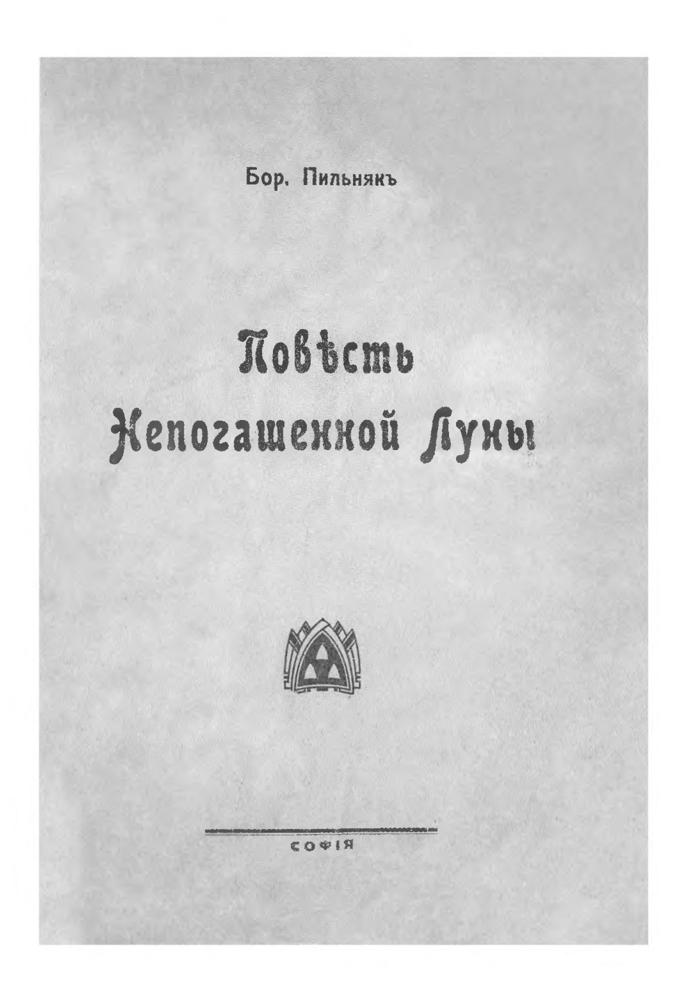
[13] Информация ЦК КПСС // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 61. Л. 69–72.

68

ПИЛЬНЯК Б.А.

Повесть непогашенной луны

/ Борис Пильняк. — София: Тип. газ. «Русь», [1926]. — 32 с.; 20,5×14 см.
В составном переплете эпохи.





СОФІЯ

Борис Андреевич Пильняк (наст. фам. Вогау; 1894–1938) родился в семье ветеринарного врача: отец его был из поволжских немцев, мать — русская, из купеческой семьи. Литературный псевдоним писатель взял от названия хутора Пильнянка[1] в Харьковской губернии, жители которого именовались пильняками: там в юности он жил у своего дяди, живописца и реставратора (позже — академика) А.И. Савинова.

Впечатления детства, проведенного в провинциальных городах (Саратове, Богородске, Нижнем Новгороде, Коломне), отразились на формировании мировоззрения Пильняка и его писательской самобытности. Первое произведение, лирическая миниатюра «Весна», было опубликовано в марте 1909 года в журнале «Копейка», но начало постоянной литературной деятельности принято относить к 1915 году, когда ряд рассказов «из земской жизни» появился в журналах и альманахах. Тогда же возник и псевдоним писателя.

В 1918 году увидела свет первая книга Пильняка — сборник рассказов «С последним пароходом». Вторая книга, «Былье», вышедшая в сле-

дующем году, обратила на себя внимание как одна из первых попыток отразить новый «революционный быт». Выросший из нее роман «Голый год» (1921) принес Пильняку известность: в рукописи его читал и одобрил Горький, а Луначарский рекомендовал к изданию в Гослитиздате. Это первая книга о революции, написанная в авангардной манере.



Борис Пильняк. 1920-е годы

В 1922 году Пильняк побывал в Германии, представляя новых писателей, «родившихся в революции». «Голый год» произвел на читающую публику очень благоприятное впечатление, и автора романа приняла практически вся эмиграция (в том числе А. Ремизов, способствовавший знакомству писателя с «русским Берлином»). В Берлине у Пильняка вышло тогда две книги. В 1923-м он побывал в Англии, где также встречался с видными писателями (Г. Уэллсом, Б. Шоу). Побывал Пильняк и в Греции, Турции, Палестине, на Памире, в Монголии, Китае, Японии, США и других странах.

Однако с самого начала творчество Пильняка вызывало споры, а его произведения получали неоднозначные оценки. Критика, отмечая его талант и новаторство, говорила об отсутствии в произведениях Пильняка коммунистического стержня. Несмотря на идеологические требования, писатель стремился отстаивать собственный взгляд на вещи. Для него «человеческое» предпочтительнее «сверхчеловеческого», по отношению к революции он предпочел бы быть историком.

В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной луны», где просматривается намек на отношения Сталина и Фрунзе и обстоятельства гибели последнего. Герои повести — два старых революционных товарища: один из них стал партийным работником, второму (прославленный командарм Гаврилов) предстоит умереть, и сам он знает об этом, вынужденно соглашаясь на навязанную ему операцию. Впервые в советской литературе обозначен культ личности, ставилась проблема произвола тоталитарной власти и был продемонстрирован механизм уничтожения неугодных соратников. Публикация повести упрочила за Пильняком репутацию человека, «идущего на рожон». Однако ее ценность социально-политическим планом не исчерпывается. В произведении ярко проявляется уникальная художественная манера автора: «импрессионистические» крупные мазки, повторы, «монтажные» приемы и пр.

Повесть имела посвящение А. Воронскому — им были подсказаны идея и сюжет, на что сам Пильняк неоднократно указывал позже в объяснительных письмах. В развернувшейся тогда внутрипартийной борьбе Воронский явно тяготел к идеям и позиции Троцкого.

Любопытная ремарка. 6 марта 1926 года Пильняк первым из «красных писателей» официально посетил Японию. Об этом событии сообщали передовицы советских газет. Во время визита Енэкава Масао, будущий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ПОВЕСТИ Б.А.ПИЛЬНЯКА "ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ"

13 мая 1926 г.

№ 25. п.22 - О № 5 "Нового мира" (тт. Молотов, Скворцов-Степанов, Полонский, Воронский, Лебедев-Полянский).

а) Признавая, что "Повесть о непогашенной луне" Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги "Нового мира".

б) Поставить на вид членам редакционной коллегии "Нового мира" Луначарскому и Степанову-Скворцову (за) помещение в "Новом мире этого рассказа Пильняка, а тов. Полонскому, как члену редколлегии, ответственному за художественный отдел, объявить строжайший выговор.

в) Предложить т. Воронскому письмом в редакцию "Нового мира" отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК.

г) Редакционной коллегии "Нового мира" одновременно с письмом тов. Воронского опубликовать своё заявление о том, что, присоединяясь к мнению тов. Воронского, она считает напечатание этого рассказа явной и грубой ошибкой.

д) Снять Пильняка со списка сотрудников журналов "Красная новь", "Новый мир" и "Звезда" (Ленинград).

е) Запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка "Повесть о непогашенной луне".

ж) Поручить тов. Бройдо пересмотреть договор, заключённый ГИЗом с Пильняком, в целях устранения из издания тех сочинений Пильняка, которые являются неприемлемыми в политическом отношении.

з) Поручить отделу печати ЦК распространить то же и на остальные советские издательства.

и) Предложить отделу печати ЦК дать печати закрытую директиву по вопросам, связанным с закрытием "Новой России" и изъятием пятой книги "Нового мира", особенно подчеркнув в ней необходимость строго соблюдать разграничение между критикой, направленной на укрепление советской власти, и критикой, имеющей своей целью её дискредитирование.

к) Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка "Повесть о непогашенной луне" не могли быть созданы Пильняком иначе, как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о повести Б.А. Пильняка «Повесть непогашенной луны». 13 мая 1926. Копия на правах оригинала (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 560. Л. 5–6)

переводчик полного собрания сочинений Достоевского на японский язык, сблизился с Пильняком, и советский писатель вручил Енэкаве вариант рукописи «Повести…», который слегка отличался от того, что был отдан автором для публикации в Москве. Долгое время эта — последняя — версия произведения существовала лишь в японском переводе. Только в конце 1980-х ее машинописная рукопись с пометками, сделанными рукой Пильняка, была передана сыну писателя.

«Повесть непогашенной луны» была опубликована в майском номере «Нового мира» (1926. № 5). Сразу после выхода тираж журнала прямо в типографии был конфискован и уничтожен, а к тем, кто все же успел получить экземпляр журнала, являлись сотрудники ГПУ и изымали его под расписку. Повесть Пильняка срочно заменили повестью А. Сытина «Стада Аллаха» (о борьбе с басмачеством), и тираж был отпечатан заново.

Повесть Пильняка Сталин воспринял как инициированную троцкистской оппозицией и враждебную по отношению лично к нему.

Последовавшие вслед за этим события отражены в документах и письмах.

Сразу после выхода номера «Нового мира», 13 мая 1926 года Политбюро принимает решение, где «Повесть непогашенной луны» названа зловредной, контрреволюционной, клеветнической, направленной против ЦК и партии[2]. В постановлении предлагалось: Воронскому «письмом в редакцию “Нового мира” отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК», а редколлегии «Нового мира» — «одновременно с письмом тов. Воронского опубликовать свое заявление», «снять Пильняка со списка сотрудников журналов “Красная новь”, “Новый мир” и “Звезда”». Там же предписывалось «запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка “Повесть о непогашенной луне”», «констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка “Повесть о непогашенной луне” не могли быть созданы Пильняком иначе как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор». Строжайший выговор был объявлен и редактору «Нового мира» В.П. Полонскому. Также в тексте постановления было предложено пересмотреть и при необходимости приостановить публикацию других произведений Пильняка. Интересен факт, что в документе Политбюро упоминается как правильное, так и искаженное название повести.

Уже в июньском номере «Нового мира» было напечатано письмо Воронского, назвавшего «Повесть…» злостной клеветой на партию. Редакция присоединилась к его мнению, считая «помещение в “Новом мире” повести Пильняка явной и грубой ошибкой»[3].

Главлит истрактовал постановление по-своему: приостановил печать произведений Пильняка вообще, и писателя изгнали из всех редколлегий[4].

Обеспокоенный Пильняк пишет письмо председателю СНК А.И. Рыкову, в котором, оправдываясь, утверждает, что не вкладывал в свое произведение приписанного ему смысла, что по окончании «Повести…» он

«собрал группу писателей и… знакомых партийцев, чтобы выслушать их критику, в том числе был и редактор “Нового мира” В.П. Полонский. Повесть была выслушана, одобрена…» Ссылка Пильняка на авторитетные мнения «уважаемых партийцев» для Сталина выглядела вполне однозначно, поскольку практически все названные Пильняком лица были троцкистами или зиновьевцами. На письме Пильняка поставлены две знаковые резолюции. Первая принадлежит В. Молотову: «С месяц тому назад я передал отделу печати ЦК, чтобы Пильняка с год не пускали в основные три журнала, но дали возможность печататься в других». Вторая — Сталину: «Думаю, что этого довольно. Пильняк жульничает и обманывает нас».

Эти резолюции смягчили тяжесть предыдущего решения. Пильняку также дали понять, что ему следует написать покаянное письмо — обратиться к читателям со страниц «Нового мира». 26 ноября 1926 года такое письмо им было подготовлено. Однако в том виде, в каком оно было написано, печатать его не стали: Пильняк перекладывал ответственность со своих плеч на «контрреволюционную обывательщину», которая, по его мнению, неправильно истрактовала его текст.

28 ноября Пильняк представил второе, более подходящее письмо, и Рыков собственноручно дописал в нем финальную покаянную фразу: «Теперь я знаю, что многое, написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы. Поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как написание, так и напечатание “Повести непогашенной луны”»[5].

В таком виде письмо Пильняка в редакцию появилось в январском номере «Нового мира» за 1927 год. После этого, 24 февраля, было принято новое постановление Политбюро ЦК ВКП(б), вернувшее Пильняка в состав редколлегий журналов «Красная новь», «Новый мир» и «Звезда».

Несмотря на случившееся, критика продолжала высказываться о творчестве Пильняка. В том же 1927 году Полонский публикует посвященную Пильняку статью, где дается характеристика художественного мира писателя и где «Повесть непогашенной луны» вовсе не упоминается. «Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем. Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его рукой. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность возбуждала большие сомнения», — пишет Полонский. Он акцентирует внимание на противоречивости творчества Пильняка, «двойственности его произведений, неустойчивости социальных воззрений», на том, что «и в новейших своих произведениях Пильняк все еще не преодолел хаоса»[6].

«Повесть непогашенной луны» явилась шагом на пути к еще более громкому скандалу, в центре которого оказалась другая повесть Пильняка — «Красное дерево» (1929), опубликованная в берлинском издательстве и однозначно оцененная как пасквиль на советскую действительность. После ее выхода в СССР началась настоящая травля писателя.

Показательно, что в Литературной энциклопедии 1934 года в биографической статье о Пильняке «Повесть непогашенной луны» — в отличие от «Красного дерева» — не упоминается вообще.

«Повесть непогашенной луны» публиковалась за границей. Одно из первых изданий — отпечатанное по дореволюционной орфографии — было выпущено в Софии типографией газеты «Русь».

Вера Соколова

---

[1] Украинское слово «пильнянка» означает место лесоразработок.

[2] Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о повести Б.А. Пильняка «Повесть непогашенной луны» // Сарнов Б. Сталин и писатели. М.: Эксмо, 2010. С. 282–283.

[3] От редакции // Новый мир. 1926. № 6. С. 184.

[4] Блюм А. За кулисами «министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917–1928. СПб.: Академический проект; Абрис, 1994. С. 229.

[5] Сарнов Б. Сталин и писатели. С. 417.

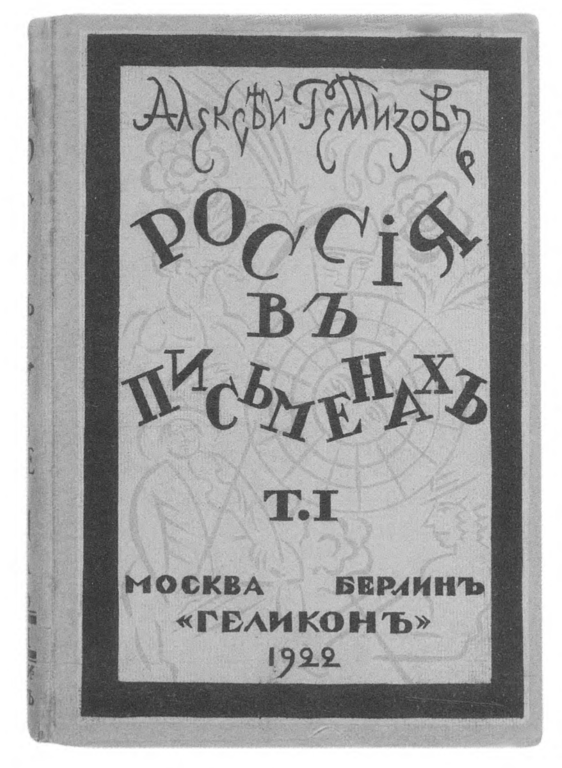
[6] Полонский В. Критические заметки: Шахматы без короля: (О Пильняке) // Новый мир. 1927. № 10. Цит. по: Полонский В. О современной литературе. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. С. 76.

69

РЕМИЗОВ А.М.

Россия в письменах. Т. 1

/ Алексей Ремизов; [обл. резал на дереве В. Масютин]. — М.; Берлин: Геликон, 1922. — 220, [6] с.; 23,5×16 см. — [3100 экз., из коих 100 нум. оттиснуты на особой бумаге и переплетены].
Экземпляр № III книгочея василеостровского и князя обезьяньего обезвелволпала Якова Петровича Гребенщикова[1].
В иллюстрированном цветном издательском картонаже.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Cancellarius 15 VI 1922 Charlottenburg».





МОСКВА БЕРЛИНЪ «ГЕЛИКОНЪ»

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) родился в «облаговествованной колоколами» Москве в семье, соединившей два купеческих рода — Ремизовых и Найденовых. В ранние годы творчества Ремизов испытал заметное влияние символизма, особенно Андрея Белого. Однако более существенным для его формирования как писателя был с юности пробудившийся интерес к духовному наследию Древней Руси. Православная обрядность, неотделимая от уходящего корнями в допетровскую Русь быта, национальная мифология, старопечатная книга и памятники народной культуры — в этом темном, поэтическом, полусказочном мире берет начало и жизненное поведение, и художественное творчество А.М. Ремизова.

В 1895 году он стал студентом физико-математического факультета Московского университета, а уже в 1897-м был арестован за участие в студенческих беспорядках. Шесть лет провел в ссылке. Первые пробы его пера отличались причудливым смешением модного декадентства с древней книжностью и фольклором.

В 1902 году был опубликован первый рассказ Ремизова, и в том же году в Усть-Сысольске молодой автор познакомился с Серафимой Павловной Довгелло (1876–1946), тоже революционеркой, неудавшейся террористкой, мечтавшей о «мученическом венце»; на ней он и женился в 1903 году. За первое десятилетие нового века Ремизов издал целый ряд произведений, сразу снискавших ему известность: автобиографический роман «Пруд» (1905; отд. изд. 1908), роман «Часы» (1908), повести «Крестовые сестры» (1910), «Неуемный бубен» (1910; отд. изд. 1922)... В 1910–1912 годах вышло восьмитомное собрание сочинений Ремизова, и его признали одним из самых своеобразных прозаиков России, наследником Ф.М. Достоевского, «великим жалостником» (А.А. Блок).

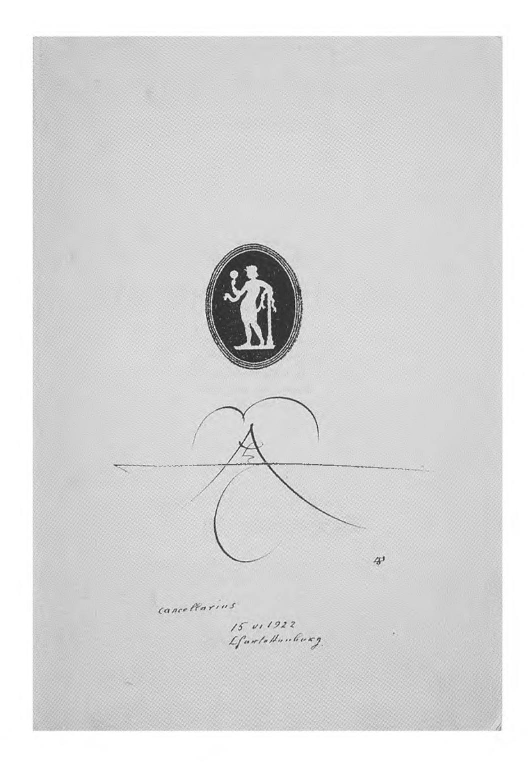


Алексей Ремизов. Портрет работы Б. Кустодиева. 1907

Фантасмагоричность происходящего, иррациональность бытия, пронизанного снами и видениями, становятся характерными признаками ремизовского художественного письма, одновременно символического и конкретно-бытового, хотя в ранних романах писателя отчетливо прослеживается и социальная тенденция. В автобиографии «Подстриженными глазами» (1951) Ремизов, рассуждая об истоках и специфических чертах своего творчества, отмечает важность идеи прапамяти («сна»), которая и определяет характер построения многих его произведений: «С двух лет начинаю отчетливо помнить. Я словно проснулся и был как брошен в мир... населенный чудовищами, призрачный, со спутанной явью и сновидением, красочный и звучащий нераздельно».

Другой ярчайшей особенностью писателя стало его ни на что не похожее неканоническое христианство — православие на фольклорной языческой подкладке («Николины притчи и сказания», 1917; «Звенигород окликанный», 1924). Ремизов попытался на страницах своей мистериально-фантастической прозы восстановить и одухотворить целостность народного миросозерцания, сотворить старый мир новыми художественными средствами. Безусловной творческой удачей на этом пути становится книга «Посолонь» (1907), успех которой подвиг Ремизова и на продолжение — «Лимонарь» (1907). В том же ряду стоят ремизовские пересказы известных легенд — «Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония» (1951) и «О Петре и Февронии Муромских» (1951).

На вопрос, где источник его словесного творчества, Ремизов отвечал: «Песня, величание, молитва. Я рассказчик на новеллу, не больше, и эпос не мое. И снова повторяю, я никакой романист, а я пытался, но не вышло. У меня нет дара последовательности, а все срыву. С каким трудом я протискивал свое песенное в эпическую форму»[2].



Авантитул книги «Россия в письменах» с автографом автора

В разгар утонченного творческого процесса, когда изощренными модернистскими методами Ремизов открывал забытые пласты русской духовной и народной культуры, писателя застигла революция. Самые страшные ее годы — 1917–1921-й — писатель прожил в Петрограде. В 1919-м он был даже ненадолго арестован (вместе с А. Блоком, Е. Замятиным). Впечатлений от «панельной своры», всеобщего одичания и редких просветлений хватило на несколько произведений, опубликованных уже за границей: в день смерти Александра Блока Ремизов выехал из Петербурга и после остановки в Ревеле (Таллине) приехал в Берлин, где прожил 1921–1923 годы, а затем навсегда перебрался в Париж.

Быстро написаны и изданы были «Шумы города» (1921), «Ахру: Повесть петербургская» (1922), книга этюдов и зарисовок «Россия в письменах» (1922).

«Россия в письменах» была задумана Ремизовым в двух томах, однако из печати вышел только первый том — записи, сделанные в России с 1914 по 1918 год.

В повести «ZOO, или Письма не о любви» В.Б. Шкловский сообщал: «Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет… книгу, составленную из кусков, — это “Россия в письменах”, это книга из обрывков книг…»[3]

Воплотить своего рода «мемуарное житие» о книжниках, о словесной культуре — печатной и рукописной — А.М. Ремизову хотелось в форме великолепного фолианта, своего рода памятника людям, буковкой или цифиркой, письмом или молитвой, деловым посланием или записанной безделицей, но зацепившимся в российской истории. Истории не великой — истории «маленьких людей», грамотность которых и тяга к слову позволяют писателю необычайно расширить наши представления о трех веках жизни наших предков. Единственный том «России в письменах» был выпущен немалым для послевоенной Европы и советской России тиражом — 3100 экземпляров. Бумажную обложку для книги нарисовал и надписал сам автор. За более чем полвека «Россия в письменах» превратилась в библиографическую редкость и в 1982 году была репринтно переиздана О. Раевской-Хьюз (N. Y.: Russica publishers).

Книга напечатана по старой орфографии; интересно и ее графическое оформление, и причудливое размещение текста на странице — в соот-

ветствии со старинным документом, так, что даже визуально «Россия в письменах» представляет собой и остросовременное экспериментаторство, и словесно-книжную архаику — сохраненный старинными листами аромат ушедших эпох. «То, что дает Ремизов в своей книге, не история и не археология. Он вычитывает и раскрывает в памятниках старины то сокровенное, что доступно только художнику», — отзывался современник о книге, возникшей из русской смуты[4]. Ремизов уводит читателя туда, куда «только он один знает путь»[5].

Память — главная тема А.М. Ремизова, это само содержание его книг. Ремизов избирательно подходил к воспоминаниям, полагая, что писать надо лишь о том, «чего не могу позабыть». «И это не историческое ученое сочинение, а новая форма повести, где действующим лицом является не отдельный человек, а целая страна, время же действия — века», — говорит Ремизов о «России в письменах». В этой книге память особая — «документальная». Здесь толчок ей дают книги, документы, случайные записки, надписи… Ремизов «вспоминает», хотя результат этого процесса никак нельзя назвать «воспоминаниями» в обычном смысле слова. Это не воспоминания, а попытка творческим актом заново воссоздать далекие и недавние времена. В «России в письменах» Ремизов «раскрывает перед читателем свою связь с прошлым, которое продолжает жить для него какой-то странной, потусторонней жизнью»[6]. Автор воскрешает творческим воображением жизнь людей, о которых известно очень немногое, «вспоминает» свое присутствие в веках: «иногда, ухватившись за какую-нибудь печатку… набрасывает пером подлинного художника картинку жизни целого поколения»[7]. И так же неожиданно, как он начинает вспоминать себя в семнадцатом или в восемнадцатом веке, обрывается эта память — «а дальше не помню...».

Память Ремизова не просто личное припоминание — она укоренена в веках русской культуры. Ремизов человек книжный, рукописный, не зря и женился на палеографе. Никто в России не говорил о книгах с такой искренней любовью; ни в чьих устах слово «книжник» не звучало с такой похвалой и нежностью. В его творчестве многое идет от переработки фольклора, древних легенд. «Россия в письменах» — это своеобразный опыт прочтения некоторых старинных рукописей, оказавшихся во владении писателя, и комментария к ним. Ремизов — настоящий писатель-труженик, не в одном, а во многих смыслах: даже сам его почерк — тщательное и искусное воспроизведение скорописи XVII столетия.

Каким же образом памятники русской письменности попадали в его руки? Об этом он не прочь поведать сам, чтобы и поизумляться, и посмеяться вместе с читателем: дело на Руси обычное — в исписанную предками бумагу и пирожки заворачивают, и для другой надобности используют. В главе «Грамотка (узорное)» рассказывается о некоей бабе, привезшей на базар рыбу продавать, «ерша к ершу». Их-то торговка и заворачивала в грамотку с дивным, «узорным», но «темным» письмом. Помянув наваристую уху, Ремизов, как бы и не меняя тона, переходит к строго научному описанию попавшего в его руки старинного рукописного списка, не упустив и точного палеографического описания его: «Грамотка — обрезанный лист коричневатой бумаги, водяной знак неясный, подобием

тюльпан-цвет. Судя по отличительному *ж* и *в* грамотка — южнорусская скоропись второй половины XVII века». А дальше следует сам текст — как разобрал его Ремизов и как может он его прокомментировать по книгам Священного Писания и сочинениям отцов церкви. В тексте говорится о человеческих беззакониях, о страшных делах, о растленных нравах, но горькая ирония Ремизова в том и состоит, чтобы показать нам всю тщету увещеваний и усовещеваний. От великих слов и деяний остается одна обертка и, «дивны дела Твои, Господи», «привозила баба на базар рыбу…» Главка датируется 1914 годом.

Вновь, как и в переработках легенд и апокрифов, Ремизов выступает изумительным стилистом, повествование его окрашено лукавым и капризным юмором. Это «подмигивание», порой шутливое, порой жутковатое, и есть, пожалуй, истинное выражение ремизовской личности. Только на первый взгляд кажется, что сюжеты ремизовских «письмен» — вневременные, что писатель роется в «хронологической пыли» и наугад вытаскивает из пестрого рукописного собрания разрозненные листы. На самом деле историческое время России, ее предреволюционных, военных и первых послереволюционных лет пульсирует во всех главках книги, и «письмена» отсвечивают кровавым пожаром, которым занялась вся Россия. Вот, к примеру, глава «Гадальные карты (волшебное)». Если бы не дата — 1916 год, могло бы показаться, что Ремизов чуть ли не развлекает провинциальных барышень, скуки ради раскладывающих пасьянсы. Оказывается, однако, что истолковываемые символы сулят бедствия, несчастья, пророчествуют о грядущих катастрофах, о бренности спокойствия и простых человеческих чаяний.

Ремизов не скрывает того, что занимает все его мысли: «…сижу я так, с одной думой о земле нашей русской, — о страде ее». А какой-нибудь документик из прошлого, скажем, частное письмо 1814 года, где речь о том, что «тьма покрывает еще теперь большую часть земли и густая мгла лежит на народе», только углубляет историческую перспективу. И дальше, в главе «Странник (пророческое»), Ремизов пересказывает библейские пророчества, заканчивая их так: «Одна область будет спрашивать другую, соседнюю: не проходила ли по тебе правда, делающая праведным? И та скажет: нет» (1914).

Впрочем, «праведники» в ремизовском мире есть, им открыт доступ в его Обезьяню Вольную палату: это книгочеи, библиофилы — собиратели и знатоки «старопечатного» слова, «любители книжные», которые «на Руси есть и всегда будут и никаким указом и декретом не выведешь и уравнением не изведешь». В главе «Писмовник (погодинское)» Ремизов проводит параллель между влечением к книжным «сокровищам» и страстью к лакомствам. Кажется, в голодные трудные времена разве не еда должна занимать все помыслы даже hominis legens (человека читающего)? Однако в самые страшные времена, убежден писатель, спасение приносит не еда, а именно книга: «Дела — делами, дела — для жизни, а книга — для души, заветное, чем жив человек». В этом особом мире книжников-библиофилов есть и свои святые, например «щетинистый старик», хозяин «древлехранилища», великолепной, наполненной реликвиями библиотеки историк М.П. Погодин. «После смерти Михаила Петровича все пошло

прахом, в конюшне — шесть стойл завалены были книгами — куда все девалось? Дворники продали за десятку и сюртук Пушкина, и жилетку Гоголя. Все растащили»[8]. Возможно, горькое сознание того, что любовно воссоздаваемые им «биографии» книг и книжников оборвутся, а сами книги, документы исторического бытия России пойдут прахом, и заставило Ремизова взяться за «Письмена».

Если от кого-то остался хотя бы клочок письменной культуры — уцелела записка, дневник, «календарь» — или если о ком-то могут поведать «святцы», Ремизов восстанавливает память об этом человеке в своей книге, где биография и хронология претворены в увлекательное, полусказочное повествование. Это своего рода эпический зачин — как в первой песни гомеровской «Илиады». В «России в письменах» оживает «Русь уходящая», ушедшая, но не растворившаяся бесследно в небытии, а спасенная благодаря книгам и рукописям грамотеев-подвижников. «В начале бе слово» — это для Ремизова непреложный и главный закон бытия и смысл жизни. «Для души — молитва, для дому — своя молитва. А есть такая молитва — такое слово, что и о душе и о доме. Есть такое слово — оберег всей жизни: всю твою жизнь стеной огородит, и в сем веке и в будущем» («Святцы (сошное)»). Такими словами сочинял поэтические молитвы дьякон Василий Яковлевич Звездкин, «кондовый русак». Не о таком ли слове мечтал всю жизнь и сам Ремизов, не такого ли слова искал, соединяя русскую книжную и устную традиции, связывая модернизм с архаикой, стилизацию и пародию с живым великорусским языком?

Последняя главка книги — «Азбука (букварное)». То, с чего все начиналось у каждого из нас, у Ремизова оказывается в самом конце — это цифры и буквы; некогда сложенный из них мир распался, три столетия русской письменной культуры, покоящиеся у писателя на книжных полках, на письменном столе, образовали «Россию в письменах», но сколько материала пропало или осталось неописанным, а значит, канувшим в Лету — вместе со всеми безвестными авторами, носителями, знатоками, любителями русского слова!

В короткий период пребывания в «русском Берлине» Ремизов выпустил в свет плод своих многолетних трудов — по мнению А. Вольского, «одну из самых своеобразных исторических хрестоматий», где «под магическим дуновением ремизовской любви к русской старине, таящей в себе столько трогательного, наивного, почти маниакального, волшебно оживает… Старая Русь, и мы прикасаемся к глубочайшим сокровенным источникам русской культуры»[9].

Татьяна Марченко

---

[1] Гребенщиков Яков Петрович (1887–1935) — библиотековед, библиограф и библиофил.

[2] Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. Париж: Etoile, 1959. С. 109.

[3] Шкловский В.Б. Жили-были. М.: Советский писатель, 1964. С. 141.

[4] П.Ш. [Рец.:] Алексей Ремизов. Россия в письменах. Изд. Геликон. Берлин, 1922 // Руль (Берлин). 1922. 4 июня.

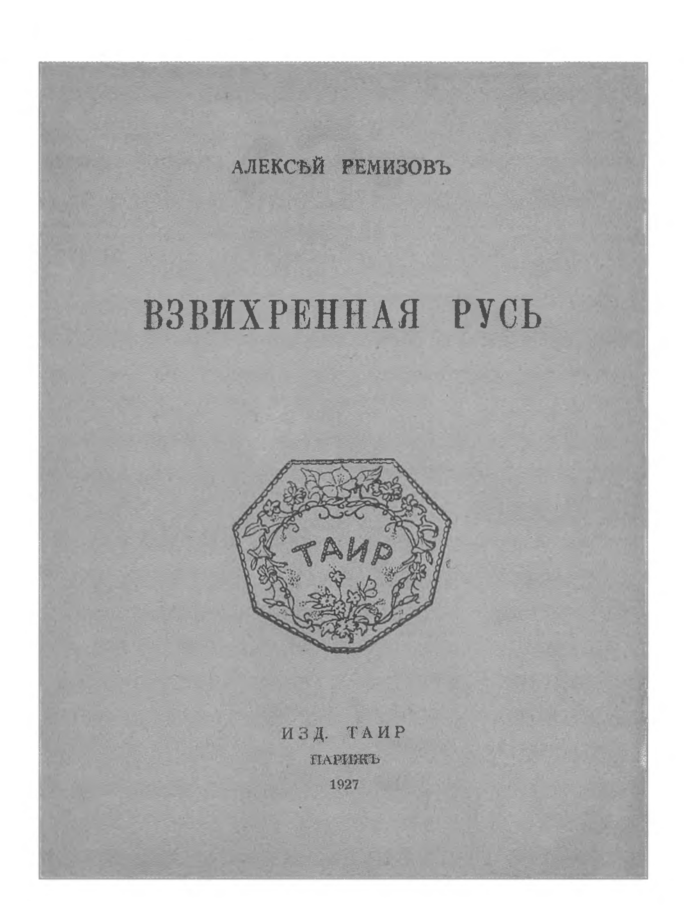
[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Все-таки художественный перегиб: в Российской национальной (бывш. Публичной) библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге хранится большая, хотя и до сих пор не полностью каталогизированная коллекция «Рукописей Погодинского собрания».

[9] Вольский А. [Рец.:] А. Ремизов. Россия в письменах. Берлин: Геликон, 1922 // Накануне (Берлин). 1922. 13 апреля.



70

РЕМИЗОВ А.М.

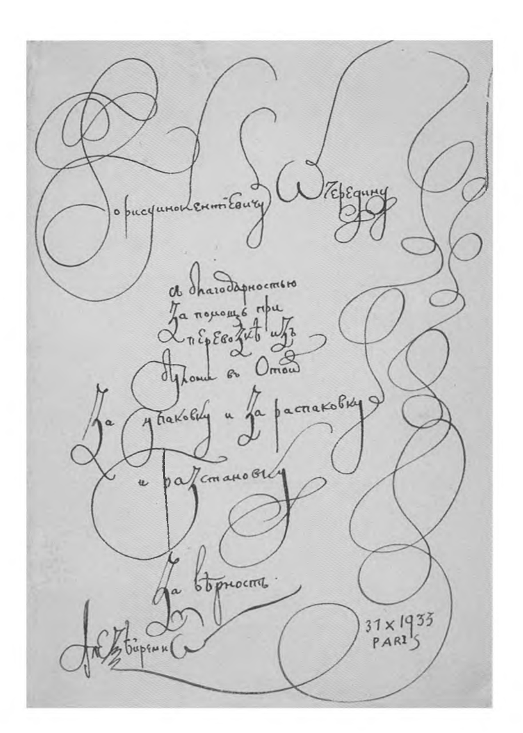
Взвихренная Русь

/ Алексей Ремизов. — Париж: Таир, 1927. — 530, [4] с.; 19×14,5 см.
В коричневом цельнокожаном переплете, выполненном в третьей четверти XX века.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Борису Иннокентиевичу Очередину с благодарностью за помощь при перевозке из Булони в Отой. За упаковку и за распаковку и расстановку, за верность. Алексей Ремизов. 31 X 1933. Paris»[1].



«Взвихренная Русь» — одно из главных произведений, созданных Ремизовым в эмиграции, «символистский роман-коллаж»[2]. Воспоминания о предреволюционных и жестоких, «звериных» послереволюционных годах оставили многие писатели — современники Ремизова. Но ремизовское повествование не столько обращено к действительным событиям и их участникам (героями повествования становятся А.А. Блок, Д.С. Мережковский, философ Л.И. Шестов, молодой прозаик М.М. Пришвин), не столько восстанавливает страшные подробности быта той поры, сколько освещает их символически, позволяя во временном, сиюминутном разглядеть искаженные черты вечности.

Как и предшествующие книги Ремизова, «Взвихренная Русь» представляет собой, по характеристике автора, «новую форму повести, где действующим лицом является не отдельный человек, а целая страна, время же действия — века». Пишется эта книга по канонам жития, герой которого отвергал неправедный мир, подвергался мытарствам, страдал, терпел, скитался и наконец очищался духовно от пережитой скверны. Сам Ремизов назвал свои записи революционных лет «эсхатоколом» — своего рода заключительным протоколом (по дипломатической терминологии),



Авантитул книги «Взвихренная Русь» с дарственной надписью автора

в котором явственно слышится крушение мира.

Даже современникам книга Ремизова казалась странной, не всегда доступной пониманию. Еще в 1920-е годы Д.П. Святополк-Мирский обозначил «проблему Ремизова», предупреждая критиков о том, что ухватить «сущность ремизовской личности или понять принцип, объединяющий его творчество, — труднейшая, почти невыполнимая задача, настолько он неуловим и многогранен»[3].

«Взвихренная Русь» — первая по времени написания книга воспоминаний Ремизова. Отдельные новеллы первых трех глав («Весна-красна», «Медовый месяц», «В деревне») создавались им «по горячим следам событий» и уже в 1922 году были объединены в самостоятельные циклы (их первоначальные названия: «Весенняя рынь», «Орь», «Мятенье») с красноречивым общим заглавием «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова», а также со свойственным жанру временника, или «летописной повести», как определил сам автор, указанием дат (23/27.II.1917; 27.II–1.VI.1917; l.VI–10.VII.1917). Они были опубликованы в берлинском журнале «Эпопея» (1922. № 1–3), а первый цикл еще и в московском еженедельном журнале «Народоправство» (1917. № 5, 10, 12, 18, 19). Тогда же писались рассказы цикла «Современные легенды», включенного в книгу «Шумы города», которые составили затем главы «Современные легенды» и «Шумы города» во «Взвихренной Руси», а также многие другие будущие «главки» книги. Они публиковались в периодических изданиях русского зарубежья (журналах «Современные записки», «Воля России», «Звено», «Беседа», «Перезвоны»; газетах «Дни», «За свободу!», «Последние новости» и др.) и уже с 1925 года имели общий гриф — «Из книги “Взвихренная Русь”».

Отдельным изданием книга вышла в 1927 году в парижском издательстве «Таир». Ее тема — жизнь в России с 1917 по 1921 год. И потому в общей хронологии ремизовского мемуарного цикла — «Подстриженными глазами» (1877–1897), «Иверень» (1897–1905), «Петербургский буерак» (1905–1917), «Взвихренная Русь» (1917–1921), «Учитель музыки» (1923–1939), «Сквозь огонь скорбей» (1940–1943; опубл. 1952 — в составе книги «В розовом блеске») — она занимает срединное место.

«Взвихренная Русь», по словам М.А. Осоргина, пронизана «высокой человечностью, освящена тем светом откровения, который дается мученичеством»[4]. Отношение Ремизова к революции было высказано им уже в «Слове о погибели Русской Земли», вскоре после октябрьских

событий опубликованном в эсеровской «Воле народа» (во «Взвихренную Русь» оно вошло без заглавия). «Слово...» несет в себе прямые переклички с древнерусским плачем о разорении Руси татаро-монголами в 1237 году. Описывая время революции, когда исключительно ярко «горела... мечта человека о свободном человеческом царстве на земле», в пламени которой обуглились все прекраснодушные утопии и иллюзии, автор с горечью восклицает: «Русский народ, что ты сделал? Искал свое счастье. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз. Поверил... Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся...»

«Взвихренная Русь» — это «плач о России, и лирическая песня о России и любви к России, и личный дневник автора», наполненный незабываемыми по достоверности и пронзительности картинами революционного быта — «кровавого мора»[5]. Это «запись кошмара, многими пережитого, но не многими оправданного. Она останется непонятной для тех, кто не пережил в России страшных 18–20-х годов революции, кто не видел их снизу, из глубин человеческой мясорубки, из-под пресса, а не со стороны или с высот командующих»[6].

Но это и сугубо модернистский роман, автор которого использует монтажно-коллажный принцип и «обнажает прием» склеивания разнородного материала. Мозаичная картина событий во «Взвихренной Руси», перемешанная со сном, лирическим плачем, молитвой, анекдотом, композиционно и даже графически — неровными нервными строками — передает картину драматического слома эпохи. Впечатление такое, что книга написана спонтанно, — столь живо в ней ощущение времени, всего происходящего на глазах у автора и одновременно в его душе. Традиционный роман деформирован, но в революционном огне и вихре (ключевые образы книги) рождается символистская эпопея, переполненная литературными реминисценциями, воспоминаниями, снами.

«Рассказать книгу Ремизова невозможно. Тому, кто ее только перелистает, она покажется набором мелких рассказиков, сценок, чудачеств, отступлением случайных записей, неправдоподобных снов, пестрящих подлинными именами. Время от времени тон бытовой повести (или нарочитого гаерства) переходит в неожиданную, высокую, как бы даже преувеличенную лирику и вновь завершается какой-то заметкой, годной для газетного отдела курьезов и анекдотов. Нужно привыкнуть к письму Ремизова, чтобы прежде, чем дойдешь до последней умиротворяющей страницы, где-то на полустроке, внезапно — но с полной ясностью, — понять, что вся эта суета манеры, вся эта неслитая смесь быта и бытия, бодрствования и сна, крови и анекдота, великого горя и мизерных радостей, — все это и есть олицетворение *взвихренной* России, той самой, которую мы воочию видели и горю которой приобщились», — взволнованно писал Осоргин[7].

Рассказ ведется в форме свободного соединения событий большого общественного значения (например, приезд Ленина в Петроград весной 1917-го) и частных свидетельств — вплоть до записи разговоров в очередях или сцен издевательства толпы над разоруженными городовыми. Из разрозненных вроде бы фрагментов Ремизову удается создать монтаж «взвихренной» исторической бурей жизни. Скрепляет этот «лоскутный»

текст авторский сказ — с его неподдельно живой, искренней интонацией, с мгновенной реакцией на события.

«Люди и предметы повернуты к нам той стороной, которой мы никогда еще не видели», — изумлялся оригинальности ремизовского мировидения К. Мочульский[8]. «Автобиографическое пространство» «Взвихренной Руси» раздвинуто вширь и вглубь, оно вмещает в себя современное и вечное, «важное» и «домашнее». Пораженный всеохватностью историко-революционной «торжественной и скорбной» поэмы, критик осмысляет ее структуру как отражение душевных движений автора: «В “Взвихренной Руси” краткие заметки перемежаются с рассказами; большие повести вставлены между двумя снами — и лирические монологи чередуются с сухими записями дневника»[9].

Писатель, отталкиваясь от факта, объясняет историю с помощью предания, легенды, сказки, насыщает фактографическую память ничем не сдерживаемым воображением. Создаваемая им иллюзия летописной хроникальности то и дело им же самим и нарушается. Из «туманности событий я выбираю образ, — объяснял свой метод Ремизов. — Череда этих образов дает картину жизни». Роман-хроника как будто написан с установкой на документальность, однако при всей достоверности каждого происшествия, каждой реплики, каждой мелочи все они не просто особым образом интерпретируются и осмысляются, но и мифологизируются.

Д. Святополка-Мирского во «Взвихренной Руси» потрясли «Окнища» («раскрытые прямо в ад»), рассказы о скотских зимах 1918–1920 годов, еще больше — глава с названием из детской заклички «Весна-Красна» — о зверствах «бескровной» Февральской революции[10]. Во «тьме кромешной» (Мочульский), в «застенке людского быта» (Осоргин) копошатся миллионы застигнутых революцией людей, и среди них — сам автор, «малюсенький человек, копошащийся в огромной истории, щепка, которую вертит горный поток» (Осоргин). Темы личной и общей судьбы неразделимы в эпопее Ремизова, как неотделимо в каждом персонаже реальное от вымышленного, «домысленного» автором. «Писатель в своих произведениях дает все заветное, человеческое»[11] и одновременно на глазах читателя записывает «не по-журналистски» (Святополк-Мирский), сочиняет эпопею. С «мукой страстной и великой любовью» (Мочульский) ведется повествование о жертвенности русского народа, о «хождении по мукам простых русских людей» (Святополк-Мирский). И среди этого бесконечного страстотерпчества Ремизов выискивает примеры доброго, сердечного, чистого. В очерке, «служащем как бы предисловием ко всей книге» (Осоргин), появляется образ костромской старушки Евпраксии, олицетворяющей Россию-бабушку («это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша — Россия»).

Ремизов ни Февраля, ни Октября не принял, еще в годы первой русской революции разглядев своими «подстриженными глазами», как быстро и необратимо превращается вихрь в бесовскую пляску. И, однако, уникальность взгляда Ремизова на «огненную стихию Руси» состоит не просто в его вере в страну и народ, а в интуитивном понимании неизбежности революции. Сам писатель свидетельствовал, что «подсмотрел»

события великих дней «глазом, для которого ничего не примелькалось»: «...столько наслушался я горьких жалоб, столько слез увидел, в глазах черно». Но Ремизов, «уйдя из быта и унеся о нем память, — осветил эту память светом любви, веры и человечности. Поэтому его книга... находит для эпохи и для революции лучшие слова оправдания»[12].

Уже самых первых читателей «Взвихренной Руси» поразил свет, идущий от ремизовского повествования, словно действительно «неугасимые огни горят над Россией». Н.К. Кульман твердо полагал, что «эпопея Ремизова — чисто русская эпопея. Иностранцы ее не поймут», — и столь же твердо называл «Взвихренную Русь» одним из выдающихся произведений русской литературы[13].

Татьяна Марченко

---

[1] Очередин Борис Иннокентьевич (? – после 1942) — поэт, прозаик, член парижского Союза молодых писателей и поэтов.

[2] Лавров А.В. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: символистский роман-коллаж // Ремизов А.М. Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 2000. Т. 5. С. 544.

[3] Мирский Д. История русской литературы / пер. Р. Зерновой. L.: Overseas publications interchange, Ltd, 1992. С. 784.

[4] Ос<оргин> Мих. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Париж: Таир, 1927 // Современные записки (Париж). 1927. № 31. С. 453.

[5] Гофман М.Л. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927 // Последние новости (Париж). 1927. 4 августа.

[6] Ос<оргин> Мих. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь... С. 453.

[7] Там же. С. 454.

[8] Мочульский К. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927 // Звено (Париж). 1927. 10 апреля.

[9] Там же.

[10] Мирский Д. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927 // Версты (Париж). 1928. № 3. С. 155.

[11] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж: Etoile, 1959. С. 90.

[12] Ос<оргин> Мих. [Рец.:] Алексей Ремизов. Взвихренная Русь... С. 456.

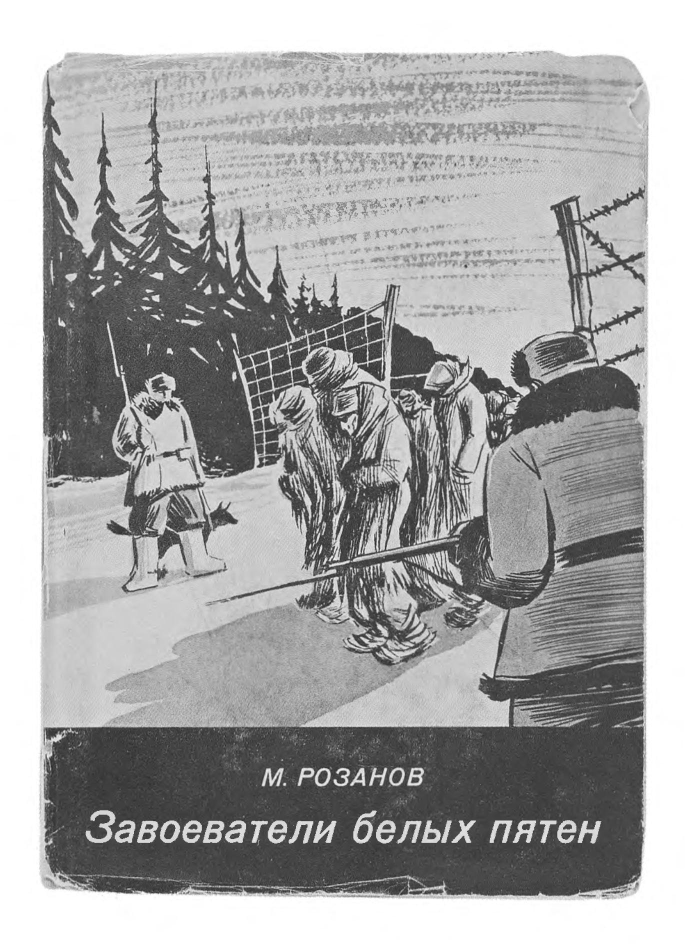
[13] Кульман Н. [Рец.:] А.М. Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927 // Возрождение (Париж). 1927. 1 июля.

71

РОЗАНОВ М.М.

Завоеватели белых пятен

/ Михаил Розанов. — Лимбург: Посев, 1951. — XXXVI, 287 с., [2] л. табл.; 21×15 см.
В белом картонажном издательском переплете и иллюстрированной суперобложке работы Н. Нико.



«ПОСЕВ»

Михаил Розанов — человек с непростой судьбой, биография его изобилует пробелами. В эмиграции он оказался после окончания Великой Отечественной войны. Его книга «Завоеватели белых пятен» посвящена воспоминаниям о годах, проведенных автором в ГУЛАГе. Произведение автобиографично и отражает суть злоключений Розанова на родине, в СССР.

Родился Михаил Михайлович Розанов в деревне Саюкино Тамбовской губернии в 1902 году. В начале 1920-х годов работал на Дальнем Востоке — был журналистом владивостокской газеты «Красное знамя». В 1928 году по неизвестным причинам нелегально перешел границу СССР с Китаем и оказался в Маньчжурии. Побег не был особо удачным: добраться до русского Харбина Розанов не сумел — устроился на лесозаготовки в районе приграничной станции Хайлар Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая с 1924 года находилась в совместном советско-китайском управлении. На границе в то время было неспокойно, постоянно случались вооруженные стычки, переходившие подчас в настоящие бои между крупными китайскими и советскими воинскими

подразделениями. В 1929 году в ходе очередного конфликта («конфликт на КВЖД») Красная армия многократно переходила границу, нанося удары по противнику, а к концу года Хайларская наступательная операция Особой Дальневосточной армии под командованием В.К. Блюхера привела к тому, что советские войска на 200 километров углубились в китайскую территорию. На занятой советскими войсками местности чекисты произвели аресты «белогвардейцев». В общей сложности было взято более 400 человек, в их число попал и перебежчик Розанов. 4 декабря 1929 года — день его ареста и начало дальнейшего «лагерного» пути.

25 марта 1930 года в Хабаровске, где проходило следствие по его делу, тройка ОГПУ приговорила Михаила Розанова к десяти годам лишения свободы[1].

Начало срока он отбывал на Соловках. 1930–1931 годы в жизни Розанова связаны с материковой частью СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения). Работал Розанов землекопом на постройке тракта Лоухи – Кестеньга; к его счастью, на общих работах он находился недолго, вскоре стал десятником, а затем счетоводом на лесозаготовке на одном из островов озера Выг. Это свое положение сам Розанов определял как принадлежность к «лагерной элите»: «...к тем пяти процентам заключенных, которые не страдают зимой от морозов, а летом от комаров, и у кого не ноет поясница и не трясутся от усталости и слабости колени. Благодаря этому я сохранил жизнь»[2].

В 1931 году его, как «склонного к побегу», перевели с материка на Соловецкие острова. Там он трудился нормировщиком на лесозаготовках и занимался оформлением выпуска печатной лагерной газеты — был ее техническим редактором. Осенью 1932-го Розанов вместе с уголовниками-рецидивистами отправился с острова в добровольный этап — в Ухто-Печерский исправительно-трудовой лагерь. Причиной, которая подвигла его на этот шаг, стали опасения последствий усиления лагерного режима. 5 октября Розанов прибыл в Ухтпечлаг. В декабре его в качестве экономиста направили на Судострой — подразделение Ухто-Печерского ИТЛ, занимавшееся строительством речных барж для лагерных грузоперевозок. Здесь Розанов провел большую часть своего срока.

В 1937 году по Ухтпечлагу пронеслась волна репрессий. В мае 1937-го Розанов был обвинен во вредительстве, а в феврале следующего года осужден выездной сессией Верховного суда Коми АССР при Ухтпечлаге еще на пятнадцать лет.

Свой второй срок Розанову предстояло отбывать уже в Воркутинском ИТЛ. В конце 1939 года он некоторое время находился в Воркуте, а оттуда в феврале 1940-го его с лесозаготовительным отделением направили в Усть-Усу.

Неожиданно настойчивые ходатайства Розанова о пересмотре дела дали результат — его признали невиновным и освободили. В 1941 году приговор Розанову был отменен. Вместо назначенных двадцати пяти лет в лагерях он провел одиннадцать.

Дождавшись открытия навигации, 10 июня 1941 года Розанов покинул Усть-Усу. 21 июня приехал к родным в Тамбовскую область. А на следующий день началась война.

Приложение 2

II. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОВ

А. ОБЩИЙ ИТОГ

	1941 г	1928 г.	1912 г.
1. В концлагерях и спецпоселках НКВД	5.150.000	300.000	—
2. В тюрьмах	1.050.000	160.000	32.000
3. В исправительно-трудовых колониях	900.000	400.000	—
4. В ссылке в отдаленных местностях	3.950.000	200.000	—
Всего	11.050.000	1.060.000	32.000

Б. В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЙОНАМ СССР

	В концлагерях и спецпоселках: Всего	В концлагерях и спецпоселках: в т. ч. в спецпос.	в тюрьмах	в исправ.-труд. колон.	в ссылке в отдаленных местн.	итого
Ленинградская область	100.000	—	40.000	15.000	—	
Карело-Мурманский край	250.000	50.000	5.000	5.000	—	
Печорский бассейн	750.000	150.000	—	—	—	
Проч. обл. европ. севера СССР	350.000	100.000	25.000	10.000	—	
Итого на европ. севере	1.450.000	300.000	70.000	30.000	1.300.000	2.850.000
Европ. ч. РСФСР (без севера)	600.000	—	600.000*)	500.000		
Украина			200.000**)	150.000		
Белоруссия	—	—	30.000	30.000		
Кавказ	50.000	—	30.000	40.000		
Итого по этим районам	650.000	—	860.000	720.000		2.230.000
Всего в европ. части СССР	2.100.000	300.000	930.000	750.000	1.300.000	5.080.000
Азиатская часть						
Западная Сибирь	500.000	150.000	60.000	80.000	2.000.000	
Восточная Сибирь	1.400.000	200 000				
Колыма	400.000	—	—	—	—	
Урал	250.000	50.000	20.000	20.000	400.000	
Южн. ч. Дал.Востока	200.000	—	10.000	20.000	100.000	
Караганда	200.000	—	—	—	—	
Среднеазиатские республики	50.000	—	30.000	30.000	150.000	
Всего в азиат. части	3.000.000	400.000	120.000	150.000	2.650.000	5.920.000
На остр. Лед. ок. и Охотск. м.	50.000	—	—	—	—	50.000
Итого по СССР	5.150.000	700.000	1.050.000	900.000	3.950.000	11.050.000

Примечания:
*) В том числе в Москве 40.000
**) В том числе в Киеве и Харькове 50.000
3) Сюда не включены ссыльные и высланные в соседние области и районы — таких несколько миллионов и на особом учете Москвы они не состоят.

4

Приложение 5

УСЛОВИЯ В ЛАГЕРЕ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

(По степени их ухудшения)

По роду работы

1. Счетно-конторский и управленческий аппарат.
2. Бригадиры, десятники, контролеры.
3. Инж.-технический персонал производства.
4. Лагерная обслуга (кухня, баня, портные и т. п.).
5. Квалифицированные рабочие.
6. Вспомогательные рабочие.
7. Основные рабочие.
8. Рабочий состав изоляторов
9. Рабочий состав штрафных командировок.

По фактическому питанию

1. Средний и высший технический персонал.
2. Лагерная обслуга.
3. Конторский аппарат.
4. Десятники, бригадиры, контролеры.
5. Квалифицированные рабочие.
6. Основные и вспомогательные рабочие.
7. Состав штрафных командировок и изоляторов.

Жилищно-бытовые

1. Инж.-технический персонал.
2. Счетно-конторский и управленческий аппарат.
3. Десятники, бригадиры, контролеры.
4. Лагерная обслуга.
5. Квалифицированные рабочие.
6. На массовых работах:
   а) в «обжитых» лагерях.
   б) на «ударных» стройках.
7. Штрафные командировки.
8. Изоляторы.

По размеру денежного премиального вознаграждения

1. Инж.-технический персонал от 30 до 60 р. в месяц
2. Средн. адм.-тех. персонал 20–30 р.
3. Конторский персонал 10–25 р.
4. Квалифицированные рабочие 12–25 р.
5. Лагерная обслуга на нормированных работах (сапожники, портные и др.) 15–25 р.
6. Рабочие основного производства 8–15 р.
7. Вспомогательные рабочие и ненормированная лагерная обслуга 5–10 р.
8. Штрафные командировки 5–10 р.

Эти таблицы показывают ту же закономерность большевистской действительности, что и на воле: кто создает продукцию, тот хуже питается, живет и оплачивается.

Приложение 3

СТРОГОСТЬ РЕЖИМНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

(По степени их морального угнетения)

1. Осужденные за служебные проступки и бытовые преступления.
2. Осужденные за расхищение социалистической собственности.
3. Уголовный элемент (воры, конокрады, притоносодержатели).
4. Бандиты (статья уголовн. кодекса 59, пункт 3).
5. Осужденные по прочим пунктам 59-й статьи (контрабандисты, хранение оружия и т. п.).
6. Политические (статья 58 уголовного кодекса):
   а) За агитацию и как социально-опасный элемент (подразделяются в свою очередь на краткосрочников 3-5 лет и долгосрочников — свыше 5 лет).
   б) Вредители и саботажники.
   в) Враги народа.
   г) Шпионы и террористы.
   д) Троцкисты и члены заграничных компартий.

Осужденные по пунктам: в, г, и д с 1935 года, как правило, подлежат содержанию только на подконвойных тяжелых физических работах.

Приложение 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Анализ ведомостей на выплату премиального вознаграждения заключенным приводит к следующим выводам:

На первом месте по размеру премии (а, следовательно, и по производительности труда) стоят осужденные за контрреволюционную агитацию и социально-опасный элемент;

На втором — бытовые преступники (обычно из крестьян: за убийства, поджоги, изнасилование);

На третьем — шпионы и террористы;

На четвертом — расхитители социалистической собственности (в основном колхозники);

На пятом — вредители и саботажники;

На шестом — осужденные за преступления по службе (бывшие чиновники);

На седьмом — враги народа (бывшие члены партии);

На восьмом — бандиты и бывшие уголовники, направленные в лагерь «по изоляции», в порядке профилактики по 35-й статье.

На девятом — троцкисты;

И на последнем, десятом, месте — уголовники-рецидивисты.

Лист со статистическими данными о деятельности концлагерей на территории СССР.
Приложения 2–5
Иллюстрации из книги

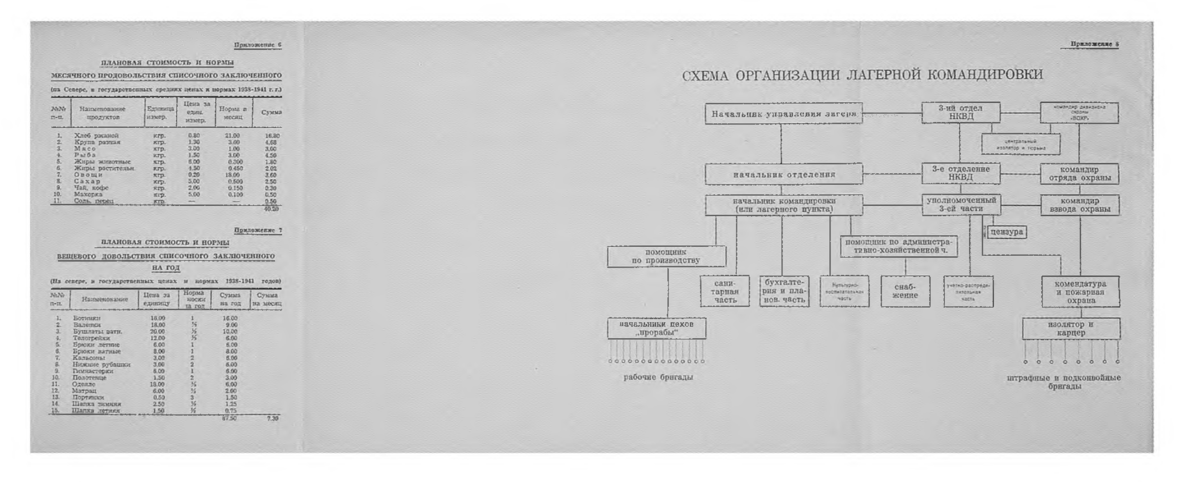
Далее был фронт. В 1941-м Розанов служил бойцом в Оборонстрое НКВД, затем попал в плен и вновь оказался за пределами СССР. Обстоятельства его нахождения в плену неизвестны, но после окончания войны Розанов не захотел вернуться на родину, остался в Германии.

Он был связан с лагерем ди-пи[3] у селения Менхехоф, неподалеку от Касселя. Там в 1945 году возникло русское издательство «Посев», выпускавшее одноименный журнал, орган Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС), первый номер которого был отпечатан на пишущей машинке в лагере для ди-пи. В 1947-м издательство перебралось в город Лимбург-на-Лане, примерно в это же время Розанов начал работать над книгой воспоминаний. Предисловие к ней датировано 1–10 декабря 1947 года. В 1949-м «Завоеватели белых пятен» были опубликованы на страницах журнала «Посев», а в 1951-м произведение вышло отдельной книгой.

В предисловии дан краткий обзор истории и причин формирования в СССР системы лагерей. Как отмечают М.Б. Рогачев и Е.А. Зеленская, авторы исследования «Михаил Розанов и его книга», «размышления М. Розанова о сути лагерной системы, названные им “Краткий курс истории концлагерей ВКП(б)”, очень интересны и поучительны, хотя и небесспорны»[4].

Основное содержание книги отражает вехи лагерного пути Розанова: «Соловецкие фактории (1930–1932)», «В Ухто-Печерских лагерях (1933–1935)», «Печерский судострой (1936–1939)», «В далеком Заполярье (1940–1941)», «С путевкой в жизнь». В приложении даны таблицы — «Основные формы прямого принудительного труда в СССР», «Схема организации лагерной командировки» и др.

Ценность первых неподцензурных воспоминаний о ГУЛАГе крайне высока. Важно и то, что написаны они вскоре после освобождения автора, когда впечатления были еще свежи. Особый колорит произведению придает описание финансовой стороны происходящего. Ведь, как уже говорилось, Розанов работал экономистом, что позволило ему увидеть бухгалтерию



Приложение 6

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ И НОРМЫ
МЕСЯЧНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СПИСОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО

(на Севере, в государственных средних ценах и нормах 1938-1941 г. г.)

№№ п-п.	Наименование продуктов	Единица измер.	Цена за един. измер.	Норма в месяц	Сумма
1.	Хлеб ржаной	кгр.	0.80	21.00	16.80
2.	Крупа разная	кгр.	1.30	3.60	4.68
3.	Мясо	кгр.	3.00	1.00	3.00
4.	Рыба	кгр.	1.50	3.00	4.50
5.	Жиры животные	кгр.	6.00	0.300	1.80
6.	Жиры растительн.	кгр.	4.50	0.450	2.02
7.	Овощи	кгр.	0.20	18.00	3.60
8.	Сахар	кгр.	5.00	0.500	2.50
9.	Чай, кофе	кгр.	2.00	0.150	0.30
10.	Махорка	кгр.	5.00	0.100	0.50
11.	Соль, перец	кгр.	—	—	0.50
					40.20

Приложение 7

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ И НОРМЫ
ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СПИСОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО
НА ГОД

(На севере, в государственных ценах и нормах 1938-1941 годов)

№№ п-п.	Наименование	Цена за единицу	Норма носки за год	Сумма на год	Сумма на месяц
1.	Ботинки	16.00	1	16.00	
2.	Валенки	18.00	½	9.00	
3.	Бушлаты ватн.	20.00	½	10.00	
4.	Телогрейки	12.00	½	6.00	
5.	Брюки летние	6.00	1	6.00	
6.	Брюки ватные	8.00	1	8.00	
7.	Кальсоны	3.00	2	6.00	
8.	Нижние рубашки	3.00	2	6.00	
9.	Гимнастерки	6.00	1	6.00	
10.	Полотенце	1.50	2	3.00	
11.	Одеяло	18.00	½	6.00	
12.	Матрац	6.00	½	2.00	
13.	Портянки	0.50	3	1.50	
14.	Шапка зимняя	2.50	½	1.25	
15.	Шапка летняя	1.50	½	0.75	
				87.50	7.30

Лист со статистическими данными о деятельности концлагерей на территории СССР. Приложения 6–8

лагерной системы изнутри, в том числе и многие ее махинации. Он показывает причины экономической и политической выгоды лагерей для режима, а также рассказывает о сути экономики ГУЛАГа, демонстрируя способы НКВД добиваться от заключенных максимальной производительности труда и способы заключенных выживать в этих условиях.

Следует отдать должное и языку, которым написаны воспоминания, — Розанов был профессиональным журналистом.

Цель написания книги Розанов сформулировал следующим образом: «Я отдал концлагерям свыше одиннадцати лет жизни — срок, который выдерживают единицы на миллион. По настоянию друзей и зову совести, я решился еще раз пережить прошлое, беспристрастно описывая не только факты, но и причины их... В моей книге нет ни одного выдуманного факта... Описывая концлагерь, я не выпячивал его мрачных сторон, о которых и так уж достаточно известно из пропагандной литературы, мой труд — не для игры на нервах читателей и не для упрощенной пропаганды... Читателю дается лишь социально-экономический очерк концлагерей, чтобы он понял, как устроены эти тресты НКВД и как, несмотря на сатанизм системы, рабы умудряются выживать и порою даже издавать звуки, похожие на смех... Улыбаясь отдельным отрадным или забавным фактам, не впадайте в ошибку и не относите их на счет режима. И в концлагерях встречаются хорошие люди, которые, даже служа большевизму, пытаются как-то облегчить участь заключенных. Режим и люди — не одно и то же. Режим страшнее людей, самых свирепых. Я обвиняю режим»[5].

Розанов составил и свою личную периодизацию развития лагерей в довоенные годы, опираясь на личный опыт и собственные наблюдения, — сверить ее с архивными источниками НКВД он по объективным причинам не мог. «За четверть века концлагери совершили сложный путь развития, постепенно изменяя свой облик, определяемый составом заключенных, характером и степенью важности производственных задач лагеря и политикой большевизма, превратившись под конец в гигантского спрута со щупальцами, протянутыми по всей стране», — писал он[6].

К моменту публикации книги в 1951 году Розанов уже жил в США, куда переселился из Германии в 1949-м. В Америке он прожил более сорока лет. Под конец жизни на собственные деньги опубликовал небольшим тиражом двухтомник «Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939: Факты — Домыслы — “Параши”: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами». Книга написана им на основе пятнадцати книг воспоминаний других узников СЛОНа и собственных впечатлений. В 1987 году Розанов в качестве туриста посетил СССР.

Скончался М.М. Розанов в США — по одним сведениям, в 1989-м, по другим, в 1990 году.

Вера Соколова

---

[1] По ст. 58-3, 4 (в другом документе — по ст. 84, 58-6) УК РСФСР. Статья 58, п. 3 — сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством; п. 4 — оказание помощи международной буржуазии в борьбе с советской властью; п. 6 — шпионаж; статья 84 — нелегальный переход границы.

[2] Розанов М. Завоеватели белых пятен. Лимбург: Посев, 1951. С. V.

[3] Аббревиатура от английского «displaced person»; означает перемещенное лицо, вынужденное покинуть место постоянного проживания в силу внешних обстоятельств (в случае М.М. Розанова — это война и плен).

[4] Розанов М.М. Завоевание белых пятен // Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 2006. Т. 8, ч. 2 / Коми республ. обществ. фонд «Покаяние»; сост. Е.А. Зеленская, М.Б. Рогачев. С. 19. [Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=12111.

[5] Розанов М. Завоеватели белых пятен. С. V–VI.

[6] Там же. С. XXVIII.

А. Д. САХАРОВ

Действительный член АН СССР

Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

72

САХАРОВ А.Д.

Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе
/ С приложением Всеобщей декларации прав человека

/ Андрей Сахаров, действительный член АН СССР. — Frankfurt a/M: Посев, 1968. — 62, [2]с.; 20,5×13,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве, в семье преподавателя физики Д.И. Сахарова. В 1938 году он стал студентом физического факультета МГУ, сделав выбор во многом под влиянием отца. Окончив университет с отличием в 1942 году, Сахаров отказался от обучения в аспирантуре, так как посчитал, что продолжать учебу во время войны неправильно, и поехал по распределению на военный завод в Ульяновск. Вернувшись после войны в Москву, молодой инженер-изобретатель поступил на работу к известному специалисту по квантовой физике Игорю Евгеньевичу Тамму в Физический институт имени П.Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). Экспериментируя в обстановке строжайшей секретности, Сахаров, Тамм и их коллеги создали водородную бомбу, успешно прошедшую испытания в августе 1953 года. В октябре того же года Сахаров был избран действительным членом Академии наук СССР и с этих пор трудился над совершенствованием ядерного оружия. Однако с течением времени в ученом зародилось чувство протеста против



Андрей Сахаров.
Москва. 1960-е годы

ядерных испытаний, несущих в себе биологическую опасность. Сахаров посчитал необходимым для себя принять участие в разработке советско-американского договора 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах (в атмосфере, на земле и под водой), после чего он работал над проблемами мирного использования термоядерной энергии.

Но интересы Сахарова не ограничивались ядерной физикой. В 1964 году он резко выступил на заседании общего собрания Академии наук против избрания членом академии Н.И. Нуждина, одного из ближайших «сподвижников» Т.Д. Лысенко, а в 1968-м написал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», где попытался рассмотреть глобальные проблемы, грозящие человечеству гибелью, и где сформулировал тезис «о сближении (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом, как единственной альтернативе гибели человечества». Писал эту статью Сахаров на «объекте» (Арзамас-16) и закончил в середине апреля.

Приехав в Москву с уже отпечатанной на машинке рукописью, он дал ее для ознакомления Рою Медведеву и разрешил пустить в самиздат[1]. Первыми читателями «Размышлений...» стали кинорежиссер М.И. Ромм, многолетняя узница сталинских лагерей, автор распространявшейся в самиздате книги «Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург, историк В.П. Данилов, философ Г.С. Батищев и писатель Е.А. Гнедин. Кто-то из них ограничился устными комментариями, кто-то написал развернутый отзыв. Сахаров внимательно отнесся к их замечаниям, но принял далеко не все. Продолжая интенсивно работать над текстом своего «меморандума», он вносил в него исправления и затрагивал все новые темы. Эта деятельность не могла не остаться незамеченной «органами» — и квартира, и телефон Сахарова прослушивались. К тому же он и сам не считал нужным прибегать к конспирации[2]. 27 мая 1968 года председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов отправил в ЦК КПСС текст статьи Сахарова со следующей запиской: «Оперативным путем установлено, что этот документ уже распространяется людьми из окружения Сахарова». В июне – июле 1968 года члены Политбюро ознакомилось с сахаровскими «Размышлениями...» и восприняли их крайне настороженно и негативно[3].

Во время встреч ученого с отдельными представителями руководства (в частности, с министром машиностроения Е.П. Славским) ему — в приватных беседах — выражалось несогласие практически со всеми тезисами его статьи: конвергенция невозможна, так как обе стороны не хотят идти на сближение; сохранение мира может быть обеспечено только с позиции противопоставления силы; привилегии необходимы для создания лучших

бытовых условий людям, выполняющим ответственную государственную работу; критиковать «сталинизм» у Сахарова нет права, так как его поколение пользуется результатами труда предшественников[4].

Зато огромный интерес вызвали «Размышления…» у читателей самиздата. В конце 1960-х — начале 1970-х годов на страницах самиздата развернулась настоящая дискуссия по основным поднятым Сахаровым проблемам. Практически все ее участники выразили свое положительное отношение к самому факту появления «Размышлений…», подчеркивая их своевременность и актуальность. Однако многим, даже сочувствующим критикам мысли Сахарова казались наивными, прожектерскими. Вот как вспоминает об этом правозащитница Л. Богораз: «Наивный человек, — подумала я о Сахарове после "Размышлений". — Обратит ли кто внимание на его прекрасные, но столь неосуществимые пожелания?»[5]

Но внимание — обратили. Как оказалось, высказанные академиком идеи разделяла значительная часть советской интеллигенции, в том числе влиятельная группа ученых (П.Л. Капица, И.Е. Тамм, М.А. Леонтович, Л.А. Арцимович и др.).

В центре внимания самиздата оказалась проблема «интеллектуальной свободы». Оппоненты Сахарова сходились во мнении, что обществу, особенно советскому, интеллектуальная свобода, выраженная в праве на «свободу получения и распространения информации, свободу непредвзятого и бесстрашного обсуждения», необходима, но для этого надо выработать некие «разумные рамки». М. Марковский видел выход из ситуации в привлечении к управлению страной «талантливых, убежденных людей»[6]. Священник С. Желудков, указывая на кризис духовности, полагал, что проблеме следует придать религиозный характер[7]. Его поддержали представители эстонской интеллигенции, писавшие о необходимости возвращения к морально-нравственным ценностям христианства, для чего необходимы свободы, политические и интеллектуальные, а также гражданская активность людей[8]. Многие авторы самиздата, выразив свое согласие с Сахаровым, увидевшим в утрате интеллектуальной свободы «угрозу независимости и ценности человеческой личности, угрозу смыслу человеческой жизни», указывали на то, что без интеллектуальной свободы невозможно разрешить глобальные проблемы, что ее отсутствие — одна из предпосылок для формирования тоталитарного режима. Эти выводы подталкивали к обсуждению и затронутой Сахаровым темы «сталинизма» и его последствий. Марковский поставил вопрос о персональной ответственности и вине Сталина за возникновение такого явления, как «культ личности», и высказался против того, чтобы «сталинизм» и «фашизм» ставить на одну доску[9]. А.И. Солженицын, наоборот, считал, что Сахаров преуменьшил преступления Сталина и напрасно отделил от него Ленина, так как это был «единый процесс уничтожения и развращения» страны и ее народа[10]. Писатель упрекал ученого за то, что Сахаров критиковал не социализм, а сталинизм[11].

Обсуждались в самиздате и различные варианты реформирования социализма. Полностью была поддержана предложенная Сахаровым идея борьбы с бюрократией. Предлагалась демократизация политической системы. «Деятельность органов власти должна быть под общественным

контролем. Избирательная система должна быть построена на основе многопартийности»[12], — настаивали представители эстонской интеллигенции. Однако последний тезис вызвал неодобрение Солженицына, выразившего свою приверженность беспартийной системе, считая, что «всякая партия — это насилие над убеждениями ее членов ради интересов ее заправил»[13].

В центре дискуссии оказалась концепция конвергенции, получившая как активных сторонников, так и противников. Сторонники (их было большинство) стремились обосновать справедливость постулата Сахарова новыми доводами: «Я поддерживаю представления о конвергенции как неизбежном процессе. В обеих системах происходят сходные социологические и экономические процессы, и там и здесь личность находится в зависимости от крупномасштабных организаций, демократический контроль — злободневная задача, и в результате возникают сходные нравственные проблемы», — размышлял Е.А. Гнедин[14]. Другие считали конвергенцию всего лишь красивой утопией. Были и принципиальные противники: журналист Э. Генри заявлял, что идея конвергенции зачеркивает пятидесятилетнюю историю страны, ведет к отказу от ленинских идей и к капитуляции перед капитализмом, но если «сделать коммунизм демократическим», то это привлечет к нему все человечество[15]; не поддержал идею конвергенции и Солженицын, посчитав, что сама ее перспектива «довольно безотрадна»: «два страдающих пороками общества, постепенно сближаясь и превращаясь одно в другое, что могут дать? — общество, безнравственное вперекрест»[16], — спасение для русского народа писатель видел в возврате к духовным ценностям и в православии.

В середине июня 1968 года диссиденты Андрей Амальрик и Павел Литвинов передали «Размышления...» московскому корреспонденту голландской газеты «Хет Пароол» Карелу Ван Хет Реве, который незамедлительно перевел статью на голландский язык и передал ее текст по телефону в газету, понадеявшись, что московские телефонные цензоры по-голландски не понимают. Первая публикация статьи Сахарова состоялась в «Хет Пароол» 6 июля 1968 года[17]. Карел передал копию статьи и Рею Андерсону, тогда молодому и еще не очень опытному корреспонденту «Нью-Йорк таймс». Рей принес статью Генри Шапиро, тогда главному корреспонденту Юнайтед Пресс интернэшнл в Москве, отличавшемуся крайней осторожностью, и услышал от него: «Это подделка! Никакого Сахарова не существует! Литвинов сам написал эту статью. Не вздумай ее публиковать. Это плохо кончится». Но Андерсон, поколебавшись, все же отослал статью в США, и 22 июля ее опубликовала «Нью-Йорк таймс»[18]. Последовали новые переводы и новые публикации в крупных европейских газетах и журналах. В августе 1968 года в Германии вышло первое на русском языке издание «Размышлений...» в виде отдельной брошюры[19]. Статья стала мировой сенсацией. В 1968–1969 годах она была издана на семнадцати языках общим тиражом 18 миллионов экземпляров.

Меморандум Сахарова вызвал широкую дискуссию на Западе. Сам он так вспоминал об этом: «Начался поток публикаций, отзывов... Высокую оценку за рубежом “Размышления” получили в интеллигентно-либеральных кругах. Принадлежащие к ним люди увидели в моей статье

не только большое совпадение с их взглядами, но и подтверждение реальности их надежд! Ведь родственный голос донесся с той стороны железного занавеса... Некоторые считали даже, что моя статья — это пробный шар Советского правительства, желающего сделать новый, реальный шаг к ликвидации опасности войны, и что я — чуть ли не подставное лицо. Моя статья нравилась также и людям более консервативных взглядов, увидевшим в ней острую критику реально осуществленного в СССР общества. Экологические, гуманитарные, научно-футурологические аспекты статьи были по душе всем. В общем, по широте и глубине воздействия на общественное мнение Запада статья стала событием»[20].

Первым изданием, предоставившим свои страницы для обсуждения «Размышлений…», был журнал «Tech Engineering News» (Массачусетс, США), в апрельском номере 1969 года поместивший отклик редактора «Бюллетеня атомных ученых» Бернарда Фельда. Называя Сахарова героем за его «готовность говорить с той же ясностью и силой о проблемах своей страны, как и о мировых», Фельд утверждает, что американским ученым следует почаще напоминать о жизненно важных вопросах и что взгляд Сахарова на мир именно таким напоминанием и является[21]. Большинство участников дискуссии ограничились комментарием только по традиционно близким им проблемам, таким как опасность термоядерной войны и помощь слаборазвитым странам. Почти все были единодушны, что Сахаров неадекватен в своем подходе к помощи слаборазвитым странам. Обсуждение этой темы сводилось к тому, что помощь не может быть слишком большой, — иначе она причинит ущерб экономике и инфраструктуре таких стран[22].

Политические и общественные деятели Запада, за немногими исключениями, отнеслись к меморандуму Сахарова с большой настороженностью и скепсисом. Его предложения казались им нереальными. К тому же они были доведены до сведения западной общественности не по привычным международным каналам[23].

«Я крайне восхищен смелостью и честностью профессора Сахарова и рад бы первым сообщить ему об этом. Но скажите мне, пожалуйста, находится ли он по-прежнему на свободе и не повредим ли мы ему нашими письмами?» — задавался вопросом крупнейший кибернетик Денис Габор (Стэнфорд, США). Западных ученых смущало: как можно вести диалог, если одна из сторон лишена возможности использовать для этого прессу своей страны? И какой смысл может иметь такой диалог, если советское правительство остается глухим к требованиям своей общественности? В этом духе писал французский нобелевский лауреат по медицине Жак Моно: «Я полагаю, что на базе текста меморандума могла бы быть открыта плодотворная международная дискуссия. Но можно ли ожидать, что чисто материальные, технические условия позволят дискуссии развернуться?» Впрочем, сомнения не означали отказа от участия в дискуссии: «Что бы там ни было, я безоговорочно присоединяюсь к тем, кто выразит желание сотрудничать с Сахаровым и кто с ним полностью согласен в основных пунктах», — отмечал французский философ-экзистенциалист Габриель Марсель. Благодаря меморандуму многие ведущие ученые Запада убедились, что их русские коллеги — вовсе не «иной породы», что и в СССР

есть люди, настроенные критически, не лишенные чувства личной ответственности, близкие им по взглядам и настроениям[24].

В официальной советской прессе «Размышления...» Сахарова первоначально замалчивались. Но после появления текста меморандума в западной печати «заговор молчания» был прерван характерным для того времени способом. «Известия» опубликовали статью доктора экономических наук Виктора Чепракова «Проблемы последней трети века», автор которой, не упоминая имени академика, давал идеологический отпор его убеждениям: «Только коммунизм может решить коренные проблемы общества — избавить человечество от угнетения и эксплуатации, от голода и нищеты, от милитаризма и войн и обеспечить на нашей планете действительную демократию, мир и дружбу между народами, расцвет цивилизации»[25]. Идея конвергенции была подвергнута жесточайшей критике и в «Правде» — в статье «Актуальные вопросы борьбы против антикоммунизма» за подписью трех авторов — А. Румянцева, М. Митина и В. Мшвениерадзе. В ней, в частности, заявлялось: «...различные "теории сближения" есть плод досужего вымысла. Современный империализм имеет ряд новых черт: широко использует государственное финансирование программ развития промышленности и научных исследований, составляет программы экономического развития, внедряет рациональные формы управления хозяйством. Но, с другой стороны, современный империализм невиданно усиливает эксплуатацию трудящихся, милитаризует экономику, ведет разбойничьи войны против свободолюбивых народов. Если не видеть этой диалектически противоречивой природы империализма, а глубинный анализ в корне противоречивых социальных последствий современной научно-технической революции при капитализме и социализме подменить лишь поверхностной констатацией внешне сходных черт (напр., использование новой техники), то при таком подходе может возникнуть иллюзия о "коренном сходстве" между "капитализмом" и "социализмом"... Теория "конвергенции" служит некой наукообразной основой для тактики с отдельными социалистическими странами, для "наведения мостов" и "закапывания рвов", чтобы с помощью "тихой контрреволюции" вырвать эти страны из социалистического содружества, реставрировать в них капитализм и подорвать мощь мирового социализма»[26]. Поскольку Румянцев и Митин были академиками, критика теории Сахарова звучала со страниц «Правды» вполне авторитетно. Кстати, появилась эта статья вскоре после того, как на пресс-конференции в Вашингтоне П.Л. Капица заявил, что «идея Сахарова о сближении двух систем — правильная идея» (см. «Нью-Йорк таймс» от 9 октября 1969).

Еще одно обращение к сахаровским идеям появилось в советской прессе четыре с половиной года спустя, когда в «Литературной газете» ее главный редактор А.Б. Чаковский выступил со статьей «Что же дальше? Размышления по прочтении новой книги Гаррисона Солсбери». «Так называемая "декларация" Сахарова, — писал он, — мне показалась наивным конгломератом выборочных мест из Евангелия, "Общественного договора" Руссо, советской и американской конституций и собственных благих пожеланий, напоминающих мечту жреца Калхаса из оперетты "Прекрасная Елена", благостно повторявшего, что было бы хорошо, если

Письма читателей в газету «Правда» (Правда. 1973. 4 сентября. № 247. С. 3)

3

Письма в «Правду»

ВОЗМУЩЕНЫ!

Коллектив нашей бригады с возмущением узнал о поведении академика Сахарова, порочащем честь и достоинство советского гражданина, ученого.

Мы, рабочие, горячо поддерживаем миролюбивую внешнюю политику ленинского Центрального Комитета КПСС и Советского правительства, которая так необходима для успешного построения коммунизма в нашей стране.

Наша бригада возводит жилые дома для москвичей. В то время, когда мы своим трудом стремимся досрочно выполнить задания пятилетки и тем самым вносим свой вклад в укрепление экономического могущества Родины, упрочение мира на земле, находятся люди, порочащие миролюбивую внешнюю политику Советского государства.

Поведение Сахарова вызывает у нас, рабочих бригады СУ-111 управления «Зеленоградстрой», гнев и возмущение.

Н. Злобин, бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда; члены бригады: И. Шишков, Д. Куприн, Н. Кириллов, Н. Афонин.

ГРЯЗНАЯ ПОПЫТКА

Наши колхозники до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова. Можно еще понять, когда против внешней политики КПСС, против потепления международной обстановки выступают различные западные реакционеры...

Подобные заявления мы, советские люди, расцениваем как злостную клевету на наш государственный и общественный строй, как грязную попытку бросить тень на миролюбивую ленинскую внешнюю политику Советского государства, как желание призвать капиталистические державы вернуться к временам «холодной войны». Поведение Сахарова вызывает у нас, как и у всех советских людей, чувства глубокого негодования, презрения и осуждения.

Члены нашей бригады колхоза им. Кирова Чиназского района Ташкентской области считают позицию Сахарова несовместимой с высоким званием советского ученого. Мы полностью поддерживаем письма членов Академии наук СССР, коллективов предприятий и организаций, всех советских людей, в которых решительно осуждается подлый поступок Сахарова.

От имени членов бригады: бригадир бригады № 5, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии депутат Верховного Совета СССР Т. Ахунова; члены бригады: Б. Тилланазаров, К. Саотова, Х. Хамракулов, Ю. Ниязматов, И. Алимов, Т. Рахимов, Ж. Халиков.

С ДРУГОГО ПОЛЮСА

Мы, члены Академии художеств СССР, целиком поддерживаем протест членов Академии наук СССР, опубликованный в газете «Правда», и решительно осуждаем клеветнические заявления академика Сахарова. Мы считаем его поведение недостойным высокого звания советского ученого.

Сейчас, когда последовательная борьба Советского Союза, всех стран социалистического лагеря за мир вызывает полную поддержку всего передового человечества, с чем вынуждены считаться и трезво мыслящие политики в капиталистических странах, когда появились важные сдвиги в разрядке международной напряженности,— на другом полюсе происходит активизация реакционных сил, выступающих со злостными измышлениями и антисоветской клеветой. Выступления академика Сахарова и писателя Солженицына объективно смыкаются с лживыми нападками на Коммунистическую партию Советского Союза и наш социалистический строй.

Академия художеств, в составе которой выдающиеся представители большого многонационального коллектива советских художников, выражает свое полное одобрение миролюбивой ленинской политике Коммунистической партии Советского Союза, ее Центральному Комитету и Советскому правительству.

М. К. Аникушин, Е. В. Вучетич, А. М. Грицай, У. М. Джапаридзе, В. И. Касиян, В. С. Кеменов, А. П. Кибальников, Е. А. Кибрик, П. Н. Крылов, М. В. Куприянов, А. К. Лебедев, Д. А. Налбандян, Ю. М. Непринцев, В. М. Орешников, Ф. П. Решетников, В. Ф. Рындин, Н. А. Соколов, П. М. Сысоев, У. Тансыкбаев, Н. В. Томский, Д. А. Шмаринов.

бы “люди были как цветы…” Не новыми показались мне и пути, которые Сахаров предлагает к достижению мира на земле, в частности главный “путь” — создание “мирового правительства”, которому, дескать, “все” будут подчиняться — советские рабочие и колхозники и техасские нефтяные короли, генералы Пентагона и героические патриоты Южного Вьетнама, американские “Черные пантеры” и расисты из “общества Джона Берча”, современные неоколонизаторы и участники национально-освободительного движения в Родезии и Анголе. Эта уже давно используемая на Западе в антисоветских целях сахаровская утопия отвращает меня не своей “благостью”, а демонстративным кокетством, позой человека, величественно стоящего “над схваткой”, помахивающего, будто веером, оливковой веткой и благосклонно принимающего комплименты от того самого военно-промышленного комплекса, который снисходительно относится к безвредным для него политическим юродствам, но безжалостно зажимает рот струями из брандспойтов, отравляет газами, а то и просто уничтожает каждого, кто реально угрожает его власти»[27].

10 июля 1968 года А.Д. Сахаров был отстранен от работы на секретном объекте Арзамас-16. Позже он был взят на должность старшего научного сотрудника в Физический институт имени П.Н. Лебедева, где продолжал теоретические исследования элементарных частиц, гравитации и структуры Вселенной. В ноябре 1970 года Сахаров стал одним из основателей созданного в Москве Комитета прав человека. Академик выступал в защиту А.И. Солженицына, А.Т. Марченко и многих других, подвергавшихся преследованию со стороны государства. В 1973 году, несмотря на предупреждение заместителя Генерального прокурора М.П. Малярова, Сахаров устроил пресс-конференцию для западных журналистов, на которой осудил не только угрозу преследования инакомыслящих, но и то, что назвал «разрядкой без демократизации». Это послужило поводом для травли ученого в печати.

В 1975 году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира — за «бескомпромиссную борьбу против злоупотреблений властью во всех их проявлениях». В январе 1980-го, после того как Андрей Дмитриевич открыто выступил против введения советских войск в Афганистан, Президиум Верховного Совета СССР издал «Указ о лишении Сахарова А.Д. государственных наград СССР» и «О выселении в административном порядке из г. Москвы». Ставший к тому времени неформальным лидером демократического движения в СССР, ученый был сослан в военно-промышленный город Горький (ныне Нижний Новгород), закрытый для иностранцев, и помещен там под домашний арест.

В конце 1986 года Политбюро ЦК КПСС постановило вернуть академика Сахарова из ссылки. В июне 1988-го Андрей Дмитриевич был избран председателем общества «Мемориал», а в марте 1989-го — депутатом I съезда народных депутатов СССР. Он принимал активное участие и в работе съезда, и в работе Межрегиональной депутатской группы, сопредседателем которой стал. Будучи членом Конституционной комиссии съезда, Сахаров представил свой проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии — в ее основе лежала защита прав личности.

14 декабря 1989 года, после напряженного трудового дня, Андрей Дмитриевич Сахаров скончался. Проститься с ним пришли тысячи людей.

Михаил Горинов, мл.

---

[1] См.: Коваль Б., Шиханович Е. «Размышления...»: варианты и издания // 30 лет «Размышлений...» Андрея Сахарова: Материалы конференции / Фонд Андрея Сахарова. М.: Права человека, 1998. С. 24.

[2] См.: Медведев Р.А. Солженицын и Сахаров. М.: Права человека, 2002. С. 46.

[3] См.: Коваль Б., Шиханович Е. «Размышления...»: варианты и издания. С. 25.

[4] См.: Сахаров А.Д. Воспоминания. М.: Права человека, 1996. Т. 1. С. 394–399.

[5] Строки из воспоминаний об А.Д. Сахарове // Вестник АН СССР. 1990. № 3. С. 62.

[6] См.: Панова М., Пивовар Е. Дискуссия о «Размышлениях...» в самиздате (1968–1974 гг.) // 30 лет «Размышлений...» Андрея Сахарова. С. 43–44.

[7] См.: Там же. С. 42.

[8] См.: Группа технической интеллигенции Эстонской ССР. «Надеяться или действовать?»: О брошюре академика А.Д. Сахарова «Размышления об интеллектуальной свободе» // Меморандум академика А. Сахарова: Текст, отклики, дискуссия. Frankfurt a/M: Посев. 1970. С. 66–67.

[9] См.: Панова М., Пивовар Е. Дискуссия о «Размышлениях...» в самиздате... С. 43–44.

[10] Сахаров А.Д. Воспоминания. Т. 1. С. 406.

[11] См.: Солженицын А.И. На возврате дыхания и сознания: (По поводу трактата А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе...») // Из-под глыб: сб. статей. P.: YMCA-Press, 1974. С. 17–18.

[12] Там же. С. 67.

[13] Там же. С. 22.

[14] Гнедин Е.А. Выход из лабиринта. М.: Мемориал, 1994. С. 150.

[15] См.: Панова М., Пивовар Е. Дискуссия о «Размышлениях...» в самиздате... С. 49.

[16] Цит. по: Медведев Р.А. Солженицын и Сахаров. С. 7.

[17] Sacharow A. Hartekreet van een Russisch geleerde // Het Parool (Амстердам). 1968. 6 Juli; In vier etappen naar een leefbare wereld. 1968. 13 Juli (Окончание).

[18] Sakharov A.D. Progress, Coexistence and Intellectual Freedom // New York times. 1968. 22 July. P. 14–16.

[19] Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе / С прилож. Всеобщей декларации прав человека. Frankfurt a/M: Посев, 1968.

[20] Сахаров А.Д. Воспоминания. Т. 1. С. 399–400.

[21] См.: Янкелевич Т. Реакция американских ученых на «Размышления…» // 30 лет «Размышлений…» Андрея Сахарова. С. 64.

[22] См.: Там же. С. 57.

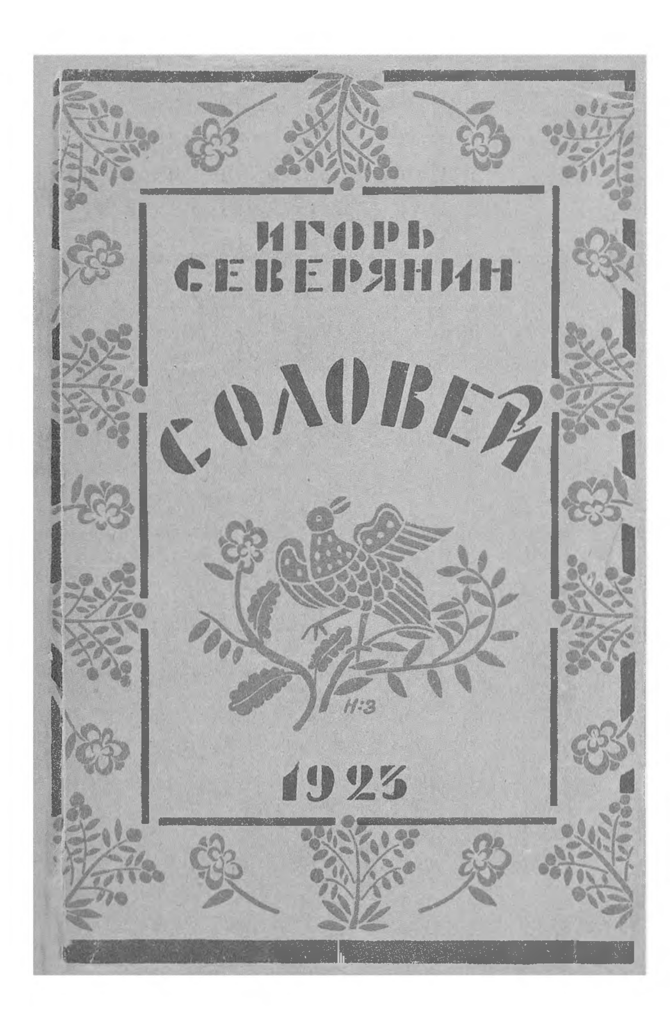
[23] См.: Поремский В.Д. Дискуссия по меморандуму академика А.Д. Сахарова в иностранном мире // Меморандум академика А. Сахарова… С. 74.

[24] См.: Там же. С. 75–77.

[25] Известия. 1968. 9 августа. С. 3.

[26] Правда. 1969. 13 октября. С. 5.

[27] Литературная газета. 1973. 14 февраля. С. 14.



73

СЕВЕРЯНИН И.

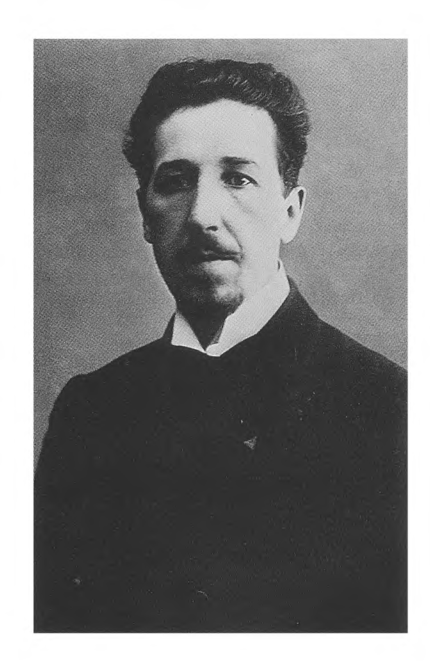
Соловей

/ Игорь Северянин. — Берлин; М.: Накануне, 1923. — 205, [3] с.; 18,7×12,5 см. — [1000 экз.] В иллюстрированной цветной издательской обложке.



Давно уже стало привычным говорить просто — «Северянин». Многие пребывают в простодушной уверенности, что именно это слово и есть псевдоним, литературная (по крайней мере, на первых порах) «псевдофамилия» поэта. Однако на самом деле именно как поэт Игорь Васильевич Лотарев вообще отказался от фамилии, даже литературной. Обычно он подписывался так: Игорь-Северянин, то есть Игорь с Севера. Впрочем, уже при жизни поэта дефис из его псевдонима исчез, и Северянин из «прозвища», грамматического приложения, в конце концов действительно как бы превратился в «фамилию».

Родился Игорь Северянин 4 (16) мая 1887 года в Петербурге, в семье, где любили литературу и музыку, в особенности оперную. Эти семейные пристрастия и стали в дальнейшем главными источниками северянинского вдохновения. «Музыка и Поэзия — это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить»[1], — признавался впоследствии поэт. Недаром названиями многих его стихов служат музыкальные термины:


Игорь Северянин. 1930-е годы

ноктюрн, интермеццо, увертюра, рондо и т. п.

По матери — Наталии Степановне, урожденной Шеншиной, Северянин приходился дальним родственником А.А. Фету и одновременно Н.М. Карамзину. Отец — Василий Петрович Лотарев, происходивший из владимирских мещан, был по специальности военным инженером, штабс-капитаном железнодорожного батальона. Около 1896 года между родителями произошел разрыв, и юный Игорь уехал вместе с вышедшим в отставку отцом в Череповец, который до революции относился к Новгородской губернии. Здесь будущий «король поэтов» окончил четыре класса реального училища, на каникулы и в выходные дни приезжал в Сойволу — так называлась стоявшая на берегу речки Суды усадьба тетушки, сестры отца — Елизаветы Петровны Журовой. Природа этого северного края навсегда оставила след в душе Игоря. В память о годах, проведенных на череповецкой земле, он и назвался впоследствии «Северянином».

В 1903 году отец и сын Лотаревы уехали в Порт Дальний. Однако уже через полгода Игорь вернулся к матери и стал жить у нее в Гатчине. Здесь он в полной мере отдался поэтическому творчеству. Начавший сочинять стихи еще с восьми лет, Игорь привез из своих странствий множество впечатлений о Севере и Дальнем Востоке. В Гатчине он много писал, неустанно и притом безуспешно пытаясь пристроить свои творения в разные газеты и журналы. Лишь в начале 1905 года упорство юного поэта было вознаграждено: в № 2 (февральском) солдатского журнала «Досуг и дело» увидело свет его патриотическое стихотворение «Гибель Рюрика». Эту публикацию Северянин считал началом своей творческой карьеры.

В дальнейшем, с 1905 по 1912 год, Северянин за собственный счет выпустил тридцать пять поэтических сборников (почти все они были изданы в провинции). Однако критика их как бы не замечала. Первым на стихи молодого автора обратил внимание и горячо их одобрил К.М. Фофанов, с которым Северянин познакомился в 1907 году и которому он поначалу откровенно подражал. Другим его кумиром был некоторое время Н.А. Некрасов. Однако довольно скоро Северянин осознал, что его мировосприятие имеет мало общего с некрасовским, и дал в стихах волю своему причудливому эстетству. Называя себя учеником «русской Сафо» Мирры Лохвицкой, провозгласившей в русской поэзии рубежа веков свободу чувств, культ красоты, он сделал своим девизом собственные же слова из «Увертюры»: «Я трагедию жизни превращу в грезофарс».

Настоящая известность — причем с привкусом скандальности — пришла к Северянину после появления сборника «Громокипящий кубок» (1913), предисловие к которому написал Ф. Сологуб. Хотя сам Северянин

считал, что скандальной его слава стала гораздо раньше — благодаря негативному отзыву Л.Н. Толстого о стихотворении «Хабанера II» («Вонзите штопор в упругость пробки...») из сборника «Интуитивные краски». В 1909 году совсем еще молодой писатель И.Ф. Наживин, будучи в Ясной Поляне, прочитал Толстому эту «поэзу» (так Северянин называл свои стихи), и «великий старец» был возмущен ее «безнравственностью». Впоследствии Северянин утверждал: «...об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики... после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого... меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них — в вечерах, а может быть, и в благотворителях, — участие»[2].

В «Громокипящем кубке» поэт выступил как приверженец им же самим основанного в 1911 году течения — «эгофутуризма». Главными чертами северянинской поэтики того времени стали откровенные жеманство и самолюбование, порой комические в своей пошлости и безвкусице, воспевание условной и вполне эстетско-снобской «реальности» с «ананасами в шампанском», «мороженым из сирени», «ландо», «маркизами», «экстазами», «шумным платьем муаровым» и т. п., а также необузданное словотворчество. Чего стоят такие, например, строки из «Эпилога»:

Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

Прозой же он говорил о себе так: «Благодаря чтению... в особенности же благодаря оперной музыке... мое творчество стало развиваться на двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность»[3].

Используя разнообразные стихотворные размеры, до него почти не применявшиеся, Северянин вводил новые и, комбинируя их, изобрел ряд стихотворных форм — таких как «гирлянда триолетов», «квадрат квадратов», «миньонет», «дизель», «поэметта», «лириза», «квинтина» и др. У поэта появились поклонники — в основном представительницы прекрасного пола: гимназистки, курсистки, эмансипированные дамы. Однако и многие признанные литературные авторитеты — В.Я. Брюсов, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, М. Горький — высоко оценивали лирическое дарование «эгофутуриста».

До 1917 года Северянин выпустил еще ряд книг, укрепивших его «повсеградную» славу, пиком, кульминацией которой стало избрание Северянина «королем поэтов» в московском Политехническом музее 27 февраля 1918 года. Главными претендентами на этот «титул», помимо него, были В.В. Маяковский и К.Д. Бальмонт.

В том же 1918 году новоявленный «король поэтов» стал вынужденным эмигрантом: приехав с больной престарелой матерью в эстонский дачный поселок Тойла, где они и раньше, до революции, часто проводили лето,

Северянин оказался отрезанным от России. Начавшаяся вскоре немецкая оккупация самопровозглашенной Эстонской Республики, а затем заключение Эстонией Тартуского мирного договора с советской Россией (1920) и, соответственно, установление между двумя странами государственной границы помешали Северянину вернуться на родину. Впрочем, сам он как-то сказал о себе в беседе с советским полпредом Ф.Ф. Раскольниковым: «...я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 года»[4].

В 1921 году Северянин женился на дочери хозяина тойлаского дома, в котором они с матерью остановились, — поэтессе и переводчице Фелиссе Круут и принял эстонское гражданство. Некоторые исследователи пишут, что именно Ф. Круут не позволила Северянину уехать в Россию, однако и после разрыва с женой в 1935 году, когда поэт сошелся с В.Б. Коренди (Кореневой), и даже после включения Эстонии в состав СССР Северянин так и не смог (или не захотел) вернуться в Россию. Последние годы жизни он провел в бедности и недомоганиях, в непрестанных скитаниях между Таллином и Нарвой.

Умер поэт 20 декабря 1941 года в оккупированной немцами эстонской столице.

В отличие от многих русских литераторов, оказавшихся на чужбине и в силу этого испытывавших на первых порах творческий кризис, Северянин ни в начальные, ни в последующие годы своего пребывания в Эстонии охоты к стихотворству не терял. За время своего вынужденного изгнанничества он выпустил семнадцать новых поэтических книг, много печатался в русской прессе Прибалтики, переводил эстонскую поэзию, выступал с чтением собственных «поэз» в разных странах Европы. Однако это был уже не тот Игорь-Северянин, каким его знала дореволюционная публика. Русская катастрофа явно наложила на поэта свой отпечаток, заметно преобразив его. Едва ли не первым свидетельством этого преображения явился сборник «Соловей», выпущенный при содействии В.В. Маяковского берлинским акционерным обществом «Накануне» тиражом 1000 экземпляров и включивший 92 «импровизации в ямбах», написанные бывшим «эгофутуристом» в 1918 году преимущественно в Петрограде и Тойле.

В этой книге Северянин как бы обозначил свой поворот к традициям классической русской поэзии. По сравнению с прежними северянинскими сборниками, в «Соловье» гораздо меньше наносного, нарочитого, стилизаторского. В книге нет ни «грезэрок», ни «эксцессэрок», равно как «экстазов» и «ананасов», зато в избытке появились разнообразные реалистические детали, иногда — откровенные прозаизмы. Суровая природа северо-востока Эстонии, воспоминания о былом, тоска по утраченной России, неприятие современности с ее борьбой, бедствиями, страстями, судьба русской культуры — вот главные темы «Соловья». Особое место в сборнике занимают стихотворные посвящения знаменитым современникам: Ф. Сологубу, М. Лохвицкой, А.Н. Толстому, И.Г. Эренбургу, Г.А. Шенгели и др. В этом отношении «Соловей» как бы предвосхитил сборник сонетов «Медальоны» (1934), куда вошли исключительно стихотворные портреты любимых или, по крайней мере, ценимых Северянином «классических» и современных ему поэтов, писателей, композиторов.

Существенно изменился и слог бывшего «эгофутуриста»: он стал более простым, ясным, свежим. Даже в столь свойственной поэту страсти к сло-

вотворчеству, которой он остался верен и в годы эмиграции, уже не было прежней нарочитой эпатажности: северянинские неологизмы «эстонского» периода во многом сродни неологизмам есенинским и, подобно им, кажутся вполне естественной, неотъемлемой частью авторского текста.

И все же в «Соловье» еще слышится отголосок прежней северянинской поэтики. Автор не до конца отказался от столь привычного ему в недалеком прошлом провокационного позерства. Так, в «программном» стихотворении «Интродукция», которым открывается сборник, поэт не без привычной запальчивости — и притом в духе теории «чистого искусства» и собственной «эгофутуристской» ее интерпретации — заявляет:

Я — соловей! на что мне критик
Со всей небожностью своей? —
Ищи, свинья, услад в корыте,
А не в руладах из ветвей!

Я — соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
Я так бессмысленно чудесен,
Что Смысл склонился предо мной!

Вероятно, именно поэтому критика не усмотрела в «Соловье» принципиальной новизны. Например, А.В. Бахрах — совсем еще молодой в ту пору литератор — едко писал в берлинской газете «Дни»: «Времена меняются, земля вертится, гибнут цари и царства… а Игорь Северянин в полном и упрямом противоречии с природой безнадежно остается на своем старом засиженном месте… Открываешь книгу, и просто не верится, что на ней пометка “1923”. Все те же надоевшие нюансы, фиоли, фиорды, фиаско, рессоры, вербена — Шопена, снова то же самое, затасканное самовосхваление… Для нового издания все это даже не перечесано заново: старый, довоенный фиксатуар так и лоснится со страниц книги»[5]. Свою рецензию Бахрах завершает уничтожающим приговором: «Северянин еще во время о́но закончил делать *свое*, ценное. Ныне регресс превратился в падение и бесконечные, как оказалось, бездны безвкусицы и ноющего провинциализма. Северянина-поэта, подлинного поэта, было жалко. От Северянина-виршеслагателя, автора книги поэз “Соловей”, делается нудно, уныло»[6].

Весьма своеобразным оказалось отношение к первой эмигрантской книге Северянина в советской России. Сборник не был запрещен к ввозу в СССР — вероятно, потому, что издательство «Накануне» существовало на советские деньги. Однако на титульной странице тех экземпляров «Соловья», что попали в Страну Советов, указание на Москву почему-то неизменно вымарывалось, некоторые из них снабжались треугольным цензурным штампом, при этом во всех экземплярах отсутствовали страницы 181–184, где были напечатаны стихотворения «Вне политики» и «Доказательство рабства». Сам факт изъятия этих двух «поэз» лишний раз свидетельствует о параноическом характере тогдашнего режима: никакой идеологической опасности они не представляли. В одном стихотворении констатировалось, что в свободной, «братолюбивой» и якобы аполитич-

ной «Эстии» (так поэт называл Эстонию) «нет ни одного “кадета”, / Ни одного “большевика”»[7]. Другое не угодило советским цензорам тем, что в нем автор выступил в защиту прав «культурников» (они же и «культурные рабы») на водку и на вызываемые ею «свободные грезы» и обозвал власть, отобравшую эти «радости», «разнузданной»:

И что же? Запрещенье водки —
Лишенье вас свободных грез —
Вы, — апатичны, вялы, кротки, —
Перенесли, как жалкий пес.

Вы без малейшего протеста
Позволили вас обокрасть, —
И ваше грезовое место
Взяла разнузданная власть![8]

Разумеется, по процитированным строкам нельзя судить обо всем сборнике. Составившие его «импровизации в ямбах» очень неровны, неравнозначны. Есть среди них и откровенно бледные, легковесные, поразительно однообразные в своей неиссякаемой, навязчивой мажорности, порой беспомощные, порой корявые стихи. Но при всех недостатках они, выражаясь словами И.А. Бунина, «дьявольски» музыкальны — как обычно у Северянина. Они звенят, поют, журчат, струятся, переливаются, но по-настоящему глубокого следа в душе читателя не оставляют. Тем не менее «Соловей» обозначил новый важный этап в творческой биографии Игоря Северянина и стал для него как бы началом пути к большей простоте и естественности поэтической речи.

Антон Бакунцев

---

[1] Цит. по: Терехина В., Шубникова-Гусева Н. За струнной изгородью лиры…: (Легенды и факты из жизни Игоря Северянина) // Игорь Северянин: Царственный паяц: сб. / сост., вступ. ст. и коммент. В.Н. Терехиной и Н.И. Шубниковой-Гусевой. СПб.: Росток, 2005. С. 26.

[2] Северянин И. Образцовые основы // Игорь Северянин: Царственный паяц. С. 43.

[3] Там же. С. 41.

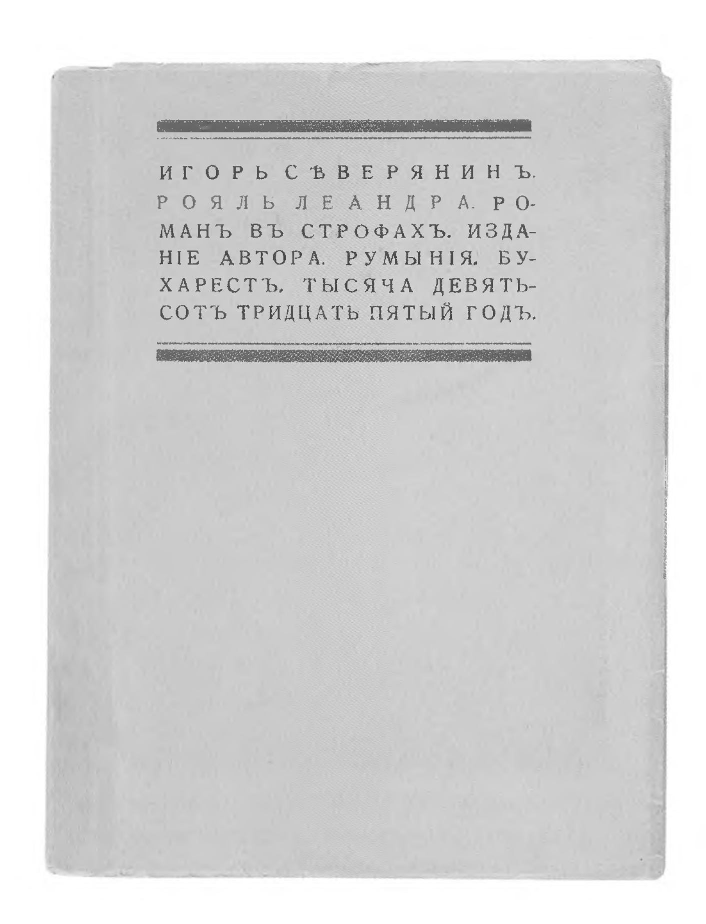
[4] Цит. по: Филькина Е. Предисловие // Северянин И. Тост безответный: Стихотворения. Поэмы. Проза / сост., авт. предисл. и коммент. Е. Филькина. М.: Республика, 1999. С. 9.

[5] Бахрах А. Рецензия на книгу И. Северянина «Соловей. Поэзы» // Игорь Северянин: Царственный паяц. С. 548.

[6] Там же. С. 549.

[7] Цит. по: Северянин И. Тост безответный. С. 324.

[8] Там же.



74

СЕВЕРЯНИН И.

Рояль Леандра.
(Lugne):
Роман в строфах

/ Игорь Северянин; Изд. автора. — Бухарест: [Б. и.], 1935. — 66 с.; 16×12 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

ИЗДАНІЕ АВТОРА.

Названия большинства книг Игоря Северянина необычны, причудливы, эпатажны. Но, пожалуй, ни одно из них не сравнится по этим качествам с «Роялем Леандра». В самом деле, что может быть непостижимее такого сочетания: «рояль» и «Леандр»? Музыкальный инструмент, изобретенный в XVIII веке, — и герой античного мифа, юноша из Абидоса в Троаде, полюбивший девушку по имени Геро, жрицу Афродиты, жившую в Сесте, на другом берегу Геллеспонта, неподалеку от нынешнего Стамбула. Согласно мифу Леандр каждую ночь переплывал пролив, чтобы быть с Геро, и та указывала ему путь, зажигая огонь на башне. Однажды огонь погас, и Леандр не смог добраться до берега, утонул. Утром его тело волнами прибило к ногам Геро, и она в отчаянии бросилась в море со своей башни, которая с тех пор называется «Девичьей башней» или «Башней Леандра». Впрочем, в мировой литературе был и другой Леандр — юный повеса из мольеровских «Проделок Скапена». Но и там ни о каком «рояле» речь не шла. Откуда же он взялся у Северянина?

Все просто: Леандром поэт назвал главного героя своего «романа в строфах» — полуреального композитора и пианиста. Возникший в сновидениях героини — скучающей молодой генеральши Елены, — он однажды обретает плоть и кровь и оказывается в Петербурге начала

1910-х годов. Елене он является сначала в монастыре (как пушкинский Дон Гуан — Донне Анне), затем в гостиной ее дома на Мойке, где исполняет свои этюды и сонаты. Кульминацией романно-любовной интриги становится объяснение между влюбленными: Леандр умоляет Елену развестись с мужем, но та остается верна супружескому долгу... Таков банальный — и весь пронизанный литературными реминисценциями — сюжет «Рояля Леандра».

В литературе, посвященной Северянину, имеются разночтения в датировке этого произведения. Наряду с цифрой «1935» нередко встречается и другая: «1925». Что это — досадная ошибка или...? В том-то и дело, что никакой ошибки, оказывается, нет. Просто в одном случае речь идет о дате выхода северянинского «романа в строфах» отдельным изданием, в другом — о дате его написания. В самом деле, «Рояль Леандра» был создан «королем поэтов» в 1925 году в Тойле. Первая его публикация состоялась годом позже — в варшавской эмигрантской газете «За свободу!» И лишь через девять лет после этого он увидел свет в виде книги, которая стала во всех смыслах последней книгой поэта.

Чем был мотивирован этот временной разрыв, почему Северянин не напечатал свой роман тогда же, в середине 1920-х годов, сказать трудно. А ведь это было бы более чем логично: к тому времени уже были изданы поэмы «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1925), «Колокола собора чувств» (1925), в которых поэт рассказывает о себе с момента рождения и вплоть до обретения своей «двусмысленной», «повсеградной» славы. «Рояль Леандра», несмотря на известную отвлеченность сюжета, по самой своей сути вплотную примыкает к этому лиро-эпическому триптиху: он столь же демонстративно, насквозь автобиографичен; тема творческого и личностного самоутверждения находит в нем дальнейшее развитие. История отношений Леандра и Елены представлена на фоне бурной литературно-художественной и общественно-политической жизни России начала XX века, что позволяет некоторым литературоведам называть «Рояль Леандра» северянинской «энциклопедией русской жизни», намекая на его родственность «Евгению Онегину».

При всей внешней парадоксальности подобного сближения надо признать, что у него имеются некоторые формальные основания. Дело в том, что «Рояль Леандра» написан «онегинской строфой», и в этом, пожалуй, состоит его главная «изюминка». До Северянина к этой стихотворной форме отваживались обращаться единицы, и результаты таких обращений, в общем, не слишком удачны. Даже «Тамбовская казначейша» — этот лермонтовский «скверный анекдот» — не идет ни в какое сравнение с «Онегиным». Так что Северянин проявил известную смелость — или дерзость, — прибегнув к «Онегина размеру» и тем самым как бы заявив о своих притязаниях на литературное «соседство» с великими предшественниками.

Впрочем, подобные притязания — по крайней мере, в отношении А.С. Пушкина — Северянин обнаруживал и до «Рояля Леандра». С детства хорошо знавший и любивший пушкинскую поэзию, он всегда считал себя ее прямым наследником. И, как ни странно, некоторые современники поэта придерживались того же мнения. Так, «Петербургская газета» в отчете о вечере футуристов 29 ноября 1913 года сообщала, что художник

и меценат Н.И. Кульбин «договорился до того, что у Северянина “очень много общего с Пушкиным”»[1]. Критик и литературовед В.В. Гиппиус в статье «Русская хандра», написанной в том же 1913 году по поводу северянинского сборника «Громокипящий кубок», отмечал: «…пред нами новый Онегин со старой русской хандрой, с возможностью забыться лишь в нарушении обычностей, в случайных развлечениях, в случайных жестокостях»[2].

Правда, сам Северянин в одной из своих «поэз» 1910-х годов, видимо, под влиянием общего тяготения к «новым формам» утверждал: «Для нас Державиным стал Пушкин, — / Нам надо свежих голосов!»[3] Но уже с 1918 года его отношение к Пушкину изменилось. Не в последнюю очередь этому способствовало превращение «короля поэтов» из простого «дачника» в формального (во всяком случае, для него самого) «эмигранта». С этого времени и вплоть до конца 1930-х годов пушкинская тема и ее вариации то и дело звучали в произведениях Северянина. Так, в «Поэзе истребления», «У моря и озер», «Поэзошпильках», «Разборе собратьев», «После “Онегина”» отчетливы аллюзии на пушкинский «роман в стихах». Посвящения Пушкину: «Он, это — чудное мгновенье…» и «Есть имена, как солнце! Имена…» — вошли в сборники «Соловей» (1923) и «Медальоны» (1934) соответственно. А в «Росе оранжевого часа» Северянин и вовсе (что называется, «без ложной скромности», которая, впрочем, ему и так никогда не была свойственна) провозгласил:

Мне Пушкин дал свою корону:
Я — тоже царь, но царь стихов![4]

Тем не менее совершенно очевидно, что при написании «Рояля Леандра» Северянин равнялся не только на Пушкина, но и на Лермонтова.

Так, одна из начальных фраз северянинского «романа в строфах»: «Не из задора, не для славы / Пишу Онегинской строфой», — сразу законным образом вызывает в памяти знаменитые лермонтовские строки: «Пускай слыву я старовером, / Мне все равно — я даже рад: / Пишу Онегина размером; / Пою, друзья, на старый лад» («Тамбовская казначейша»), — и не менее знаменитые пушкинские: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв» («Поэт и толпа»). А в строках «Рояля…» о Первой мировой войне: «…в груде / Мясной столкнулись лбы и груди, / За “благо родины” в бою / На карту ставя жизнь свою», — явно слышится переиначенное лермонтовское из «Бородина»: «Земля тряслась — как наши груди; / Смешались в кучу кони, люди, / И залпы тысячи орудий / Слились в протяжный вой…»

Словом, «Рояль Леандра» является чем-то вроде «коктейля» из разнообразных пушкинско-лермонтовских мотивов, приправленных чисто северянинской фразеологией и пропущенных сквозь призму авторского представления о собственной роли в истории русской литературы. Этим последним обстоятельством и обусловлена подлинная специфика «Рояля…», а также его ярко выраженная полемичность.

В самом деле, нельзя не заметить, что Северянин в своем романе не только рисует картину предреволюционного Петербурга – Петрограда, но и явно

сводит счеты с «неугодными» ему современниками. В эту категорию входят, во-первых, те, кто в свое время не признал в Северянине «гения»; во-вторых, те, кто «предал» поэта, покинув его эгофутуристский «ковчег» ради других литературных направлений 1900–1910-х годов. В «Рояле…» достается, например, З.Н. Гиппиус, «кубофутуристам» Д.Д. Бурлюку, А.Е. Крученых, В. Хлебникову, акмеистам Н.С. Гумилеву и С.М. Городецкому, «отступникам» — бывшим «эгофутуристам» К. Олимпову (К.К. Фофанову), Грааль-Арельскому (С.С. Петрову), Г.В. Иванову. Последние двое после разрыва с Северяниным в 1912 году «переметнулись» в гумилевский «Цех поэтов», о котором в северянинском романе сказано особенно резко:

Уж возникает «цех поэтов»
(Куда бездари, как не в цех!),
Где учат этих, учат тех,
Что можно жить без триолетов,
И без рондо, и без… стихов! —
Но уж никак не без ослов!..

Впрочем, ничего нового Северянин этими строками не сказал. Своей неприязни к гумилевскому «Цеху поэтов» и вообще ко всем своим «недоброжелателям» и «конкурентам» он никогда не скрывал, и еще в 1913 году в «исповеди» для «Синего журнала» говорил: «Не выношу очень многих, в особенности Ратгауза и Городецкого. “Акмеизм” возбуждает у меня хохот: какой же истинный поэт не акмеист?! Ведь так можно и “соловьизм” изобрести! Смешит меня и “Цех поэтов”, в котором положительно коверкают начинающих. Вообще, этот “Цех” — выдумка никчемная. Я называю его “обезьянизмом”. Сухо, бездушно, посредственно в нем все. Да, не радует меня наша молодая поэзия, и прав Брюсов, писавший мне как-то: “…работы много, а работников нет”»[5].

И все же не все северянинские обличения в «Рояле Леандра» инспирированы его личными пристрастиями и обидами. Временами поэт старается быть если и не объективным, то, во всяком случае, «гражданственным» и выносит свой приговор царской власти, войне, характерному для рубежа веков расшатыванию нравственных устоев, «культурной суете», а также отдельным странам и целым континентам. Например, в строфах 25–26 Северянин разражается филиппикой против Америки, неприятно удивляя идейной банальностью, шаблонностью и словесным бессилием:

Америка! злой край, в котором
Машина вытеснила дух,
Ты выглядишь сплошным монтером,
И свет души твоей потух.
Твой «обеспеченный» рабочий,
Не знающие грезы очи
Раскрыв, считает барыши.
В его запросах — для души
Запроса нет. В тебе поэтом
Родиться попросту нельзя.
Куда ведет тебя стезя?

Чем ты оправдана пред светом?
В марионеточной стране
Нет дела солнцу и луне.

Примечательно, что эмигрантская печать к выходу «Рояля Леандра» в 1935 году отнеслась в целом довольно безразлично. Парижские «Современные записки», «Последние новости», «Возрождение» книгу проигнорировали. Рижская газета «Сегодня» отозвалась на нее несколькими довольно двусмысленными строками в статье П.М. Пильского «Странствующий рыцарь», приуроченной к тридцатилетию литературной деятельности Северянина. В этой статье ни слова не было сказано ни об «онегинской строфе», ни о содержании романа: все свое внимание критик сосредоточил исключительно на словесной стороне произведения, в том числе на авторских неологизмах, от которых Северянин не отказался и здесь. «Сейчас вышла последняя книжка его стихов “Рояль Леандра” (Бухарест, 1935), — писал Пильский, — и тут я нашел глагол “обрандясь”: это — от ибсеновского героя Брандта. Если б стихотворная строка сама не разъяснила, пришлось разгадывать, что значит “обрандясь”. Вообще наш слух, наш вкус к слову не всегда мирится с дарами Северянина, и все-таки в каждой его книге чувствуется личность. Кажется, что Северянин пишет свои стихи сразу набело, тут же отдает их в печать, — не исправляет, не совершенствует, публикует их, как Бог на душу положил. В этом искренняя, хотя и греховная самоуверенность»[6].

Разумеется, «Рояль Леандра» — это совсем не «”Евгений Онегин” XX века», и не только потому, что романы Пушкина и Северянина объективно не сопоставимы ни по каким литературным параметрам. Тем не менее последняя книга «короля поэтов» не лишена известного интереса — например, как еще одно правдивое, хотя и не беспристрастное, свидетельство о замечательной эпохе, уроки которой и по сей день недостаточно изучены и осмыслены.

Антон Бакунцев

---

[1] Цит. по: <Шумаков Ю.Д.> Примечания // Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918–1941: сб. / сост., послесл. и примеч. Ю. Шумакова. М.: Современник, 1990. С. 476.

[2] Гиппиус В. Русская хандра // Игорь Северянин: Царственный паяц: сб. / сост., вступ. ст. и коммент. В.Н. Терехиной и Н.И. Шубниковой-Гусевой. СПб.: Росток, 2005. С. 359.

[3] Северянин И. Тост безответный: Стихотворения. Поэмы. Проза / сост., авт. предисл. и коммент. Е. Филькина. М.: Республика, 1999. С. 51.

[4] Там же. С. 399.

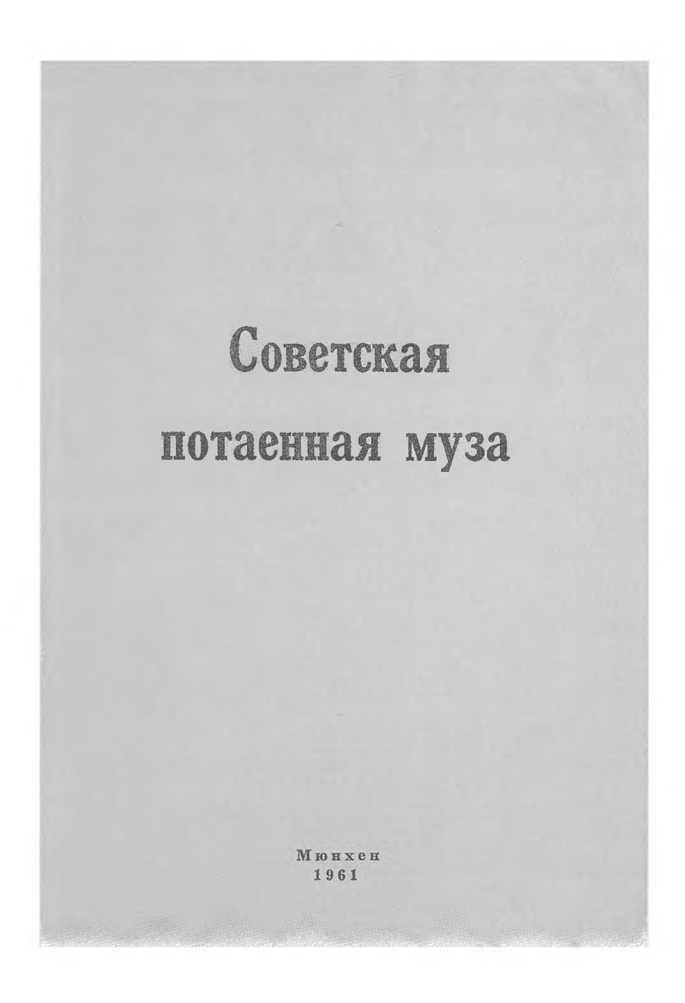
[5] Северянин И. Моя поэзия: Исповедь Игоря Северянина для «Синего журнала» // Игорь Северянин: Царственный паяц. С. 36.

[6] Пильский П. Странствующий рыцарь // Сегодня. 1935. 28 января. С. 3.

75

Советская потаенная муза: Из стихов советских поэтов, написанных не для печати

/ под ред. Б. Филиппова. — Мюнхен: Buchdruckerei, I. Baschkirzew Verlag, 1961. — 154, [5] с.; 21×14,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Druck: Buchdruckerei I. Baschkirzew, München 8, Hofangerstr. 73,
Printed in Germany

Литературовед, прозаик, поэт, мемуарист, библиограф Борис Филиппов (наст. имя Борис Андреевич Филистинский; др. псевдонимы: Ф. Борисов, Фабий Зверев, Георгий Петров; 1905–1991) родился в Ставрополе, в семье офицера. В 1927 году, во время учебы в Ленинградском институте восточных языков, за участие в религиозно-философском кружке С.А. Аскольдова «Братство св. Серафима Саровского» он был арестован и провел в заключении два месяца. В 1936-м Филиппов окончил Ленинградский вечерний институт промышленного строительства, в том же году снова был арестован и несколько лет находился в заключении в лагерях Республики Коми.

После освобождения в 1941 году поселился в Новгороде. Когда город оккупировали немецкие войска, Филиппов стал заместителем редактора псковской профашистской газеты «За Родину» — в ней он публиковал статьи о репрессированных деятелях русской культуры. В августе 1941-го в составе инициативной группы петербургской интеллигенции, пострадавшей от советской власти, выразил желание помочь немцам

в борьбе с большевизмом. Члены этой группы получили от немецкого командования должности. Филиппов возглавил оккупационную полицию Новгорода, участвовал в массовых расстрелах и лично убил свыше 150 своих сограждан (в том числе делая смертельные инъекции пациентам новгородской Колмовской психиатрической больницы). В 1944-м Филиппов уехал в Латвию, а оттуда переселился в Германию, где жил близ Касселя под Мюнхеном, получив немецкое гражданство как человек, особо ценный для Третьего рейха. В 1950 году он переехал в Нью-Йорк, с 1954-го проживал в Вашингтоне. Принял американское гражданство, был сотрудником радиостанции «Голос Америки», преподавал русскую литературу в ряде американских университетов. Умер в Вашингтоне.

Борис Филиппов — автор предисловий к первым собраниям сочинений Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Ходасевича, подготовил к изданию свыше 70 книг русских писателей (в т. ч. совместно с Г.П. Струве). Автор более 30 книг: «Град невидимый» (1944), «Кресты и перекрестки» (1957), «Ветер Скифии» (1959), «Непогодь» (1960), «Сквозь тучи» (1960), «Пыльное солнце» (1961), «Бремя времени» (1961), «Рубежи» (1962), «Полустанки» (1962), «Музыкальная шкатулка» (1963), «Стынущая вечность» (1964), «Кочевья» (1964), «Живое прошлое» (Т. 1 — 1965, Т. 2 — 1973), «Тусклое солнце» (1967), «Ветер свежеет» (1969), «Мимоходом» (1970), «Преданья старины глубокой» (1971), «За тридцать лет» (1971), «Миг, к которому я прикасаюсь» (1973), «Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе» (1973), «Память сердца» (1974), «Сквозь тучи» (1975), «Шкатулка с двойным дном» (1977), «Мысли нараспашку» (Т. 1 — 1979, Т. 2 — 1982), «Статьи о литературе» (1981), «Всплывшее в памяти» (1990) и др. За рубежом печатался в альманахах, журналах и сборниках «Встречи», «Литературное зарубежье», «Литературный современник», «Мосты», «Отклики», «Перекрестки», «Пестрые рассказы», «Русская литература в эмиграции», «Вестник РСХД», «Возрождение», «Дело», «Грани», «Континент», «Новый журнал», «Посев».

В сборник самиздатовских стихов «Советская потаенная муза» Б. Филиппов включил стихи советских поэтов, издать которые в России было в то время невозможно: М. Цветаевой, Б. Слуцкого, А.С. Есенина-Вольпина. Стихи эти переписывались от руки и ходили в списках по всему Советскому Союзу. Некоторые из них с риском для жизни переправлялись на Запад. Не случайно эпиграфом к сборнику стали строки Максимилиана Волошина, отражающие настроения, царившие в советской нелегальной печати:

> Мои ж уста давно замкнуты. Пусть!
> Почетней быть твердимым наизусть
> И списываться тайно и украдкой,
> При жизни быть не книгой, а тетрадкой[1].

Об истории создания сборника Борис Филиппов рассказал читателям в предисловии:

«...в поисках заработка, зашел я к своему давнему знакомому, поэту и прозаику весьма немалого ранга, литературному генералу и сталинскому

лауреату. Меня интересовал вопрос: не смогу ли я получить хотя бы самую скромную литературную работу, конечно, отнюдь не “творческую”, а хотя бы по собиранию материалов и библиографии. Маститый литератор вздохнул, печально покачал головой и вздохнул еще унылее:

— Какое уж тут творчество! И мы-то пишем на заказ — для хлеба и безопасности. Ведь не только писать опасно, но и не писать не менее опасно: почему не пишешь? Затаился? Выжидаешь?! И пойдет писать губерния! Вот и пишешь такое, что самому оскомину набивает. А для души, в стол — ну, рискуешь, конечно, но все-таки не удержишься — пишешь»[2].

Вот тогда-то у него и зародилась идея публикации стихотворений, которые не могли быть допущены к печати советской цензурой.

Все подлинные имена в книге заменены инициалами или псевдонимами, некоторые авторы опубликованы анонимно. Например, писатель, поэт, литературовед, переводчик Андрей Николаевич Егунов (1895–1968) скрывался под псевдонимом Андрей Николев, под которым в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1931 году вышла его единственная увидевшая свет проза — роман «По ту сторону Тулы». Александр Котлин — псевдоним его брата, поэта Александра Николаевича Егунова (1905–1980), отбывшего пятилетний срок заключения в лагерях НКВД за «контрреволюционную пропаганду». Стихотворения, появившиеся за подписью «Аноним», приписывают Борису Слуцкому. Одна из важнейших тем, к которой поэт обращался неоднократно, — тема наследия сталинской эпохи. Слуцкий был среди первых советских поэтов, осудивших Сталина и слепую преданность ему и его режиму еще до XX съезда КПСС в 1956 году (стихи «Бог», «Хозяин», «Современные размышления»). Эти и другие злободневные стихи Слуцкого широко распространялись в самиздате уже с начала 1950-х годов. Свое авторство опубликованных в сборнике «Советская потаенная муза» стихов поэт не подтверждал, но и не отрицал. «Угловатый» стих Слуцкого, намеренно сближенный с прозой и разговорной речью, несомненно, повлиял на поэзию начала 1960-х годов, в частности на И. Бродского.

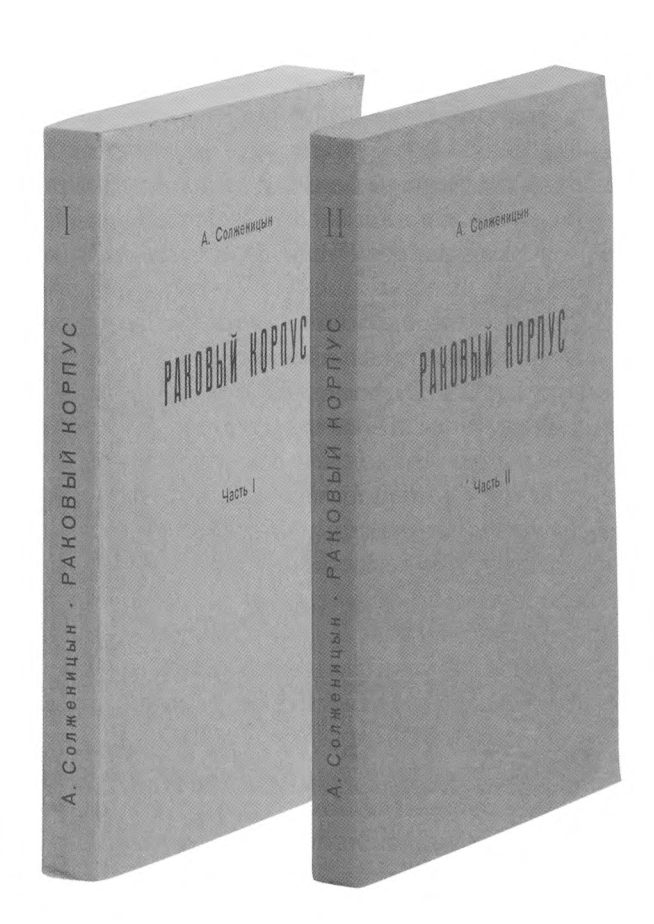
Для сборника «Советская потаенная муза» редактор Б. Филиппов отбирал стихи поэтов, достаточно известных, но, по его словам, не настолько значительных, чтоб издавать их собрания сочинений. Исключение составили лишь шесть стихотворений Марины Цветаевой. Все произведения — разных направлений и литературных стилей, в некоторых прослеживается влияние русских «парнасцев», в других — Хлебникова, Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого. Тем не менее все они, по словам Бориса Филиппова, отличаются искренностью и непосредственностью, так как писались безо всякой оглядки на советскую цензуру, писались не для печати.

Василий Дударев

---

[1] Из стихотворения М. Волошина «Дом Поэта».

[2] Советская потаенная муза: Из стихов советских поэтов, написанных не для печати. Мюнхен, 1961. С. 5.



76

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

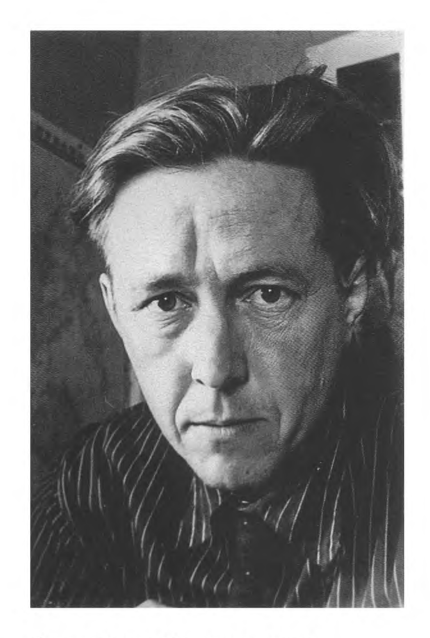
Раковый корпус:
Повесть

/ Александр Солженицын. — Frankfurt a/M: Посев, 1968. — Ч. 1. — 317 с., — Ч. 2. — 255 с.; 14,5×10 см.
Каждый том в шрифтовой двухцветной издательской обложке.

ПОСЕВ

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) родился в Кисловодске. В 1941 году окончил физико-математический факультет Ростовского университета. В Великую Отечественную войну служил в артиллерийском дивизионе командиром звукоразведывательной батареи. 9 февраля 1945-го был арестован — поводом послужила переписка с другом, в которой военная цензура обнаружила критику сталинских порядков. Приговоренный к восьми годам исправительно-трудовых лагерей, часть срока он отбывал в спецтюрьмах («шарашках», этот опыт запечатлен им в романе «В круге первом»), где работал математиком, а часть срока — на «общих работах» в особом (каторжном) лагере в Экибастузе. В 1953 году Солженицын был отправлен в ссылку в Казахстан. Лечился от рака в онкологическом диспансере в Ташкенте. В апреле 1956-го был освобожден из ссылки, а в 1957-м полностью реабилитирован. Работал учителем во Владимирской области, затем — в Рязани. В 1962 году журнал «Новый мир» опубликовал его рассказ «Один день Ивана Денисовича», который сразу принес писателю мировую известность.

После снятия Н.С. Хрущева с должностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР начинается период



Александр Солженицын в ссылке. Аул Кок-Терек (Казахстан). 1954

гонений и травли писателя и его мужественного противостояния власти. КГБ захватывает часть его архива, в советской печати произведения Солженицына больше не публикуются, распространяются в самиздате. После выхода в «тамиздате» в 1968 году повести «Раковый корпус» и романа «В круге первом» его исключают из Союза писателей. А в 1970 году Нобелевский комитет присуждает Солженицыну премию по литературе. Активное противостояние власти показано писателем в автобиографической книге «Бодался теленок с дубом». Осенью 1973-го, после того как КГБ захватил экземпляр «Архипелага ГУЛАГа», автор дает разрешение напечатать книгу на Западе — и она выходит в издательстве «YMCA-Press». В феврале 1974-го Солженицын арестован и выслан из СССР в ФРГ. На Западе семья живет сначала в Швейцарии, затем в США (Вермонт). Солженицын работает над исторической эпопеей «Красное Колесо», пишет публицистику. В 1994 году писатель смог вместе с семьей вернуться на родину. Последние годы жизни он жил под Москвой, в Троице-Лыкове.

В основу задуманной еще в 1954 году повести «Раковый корпус» легли следующие события. В 1952 году у заключенного Экибастузского особого лагеря «Щ-232» Александра Солженицына была обнаружена раковая опухоль, прооперированная хирургом-заключенным. После освобождения из лагеря писатель был этапирован в ссылку, на поселение «навечно», в аул Кок-Терек Джамбульской области Казахской ССР. В конце декабря в связи с резким ухудшением здоровья поселенца направили в Ташкент, в онкологический диспансер. Пребывание в онкодиспансере, готовность встретить там смерть и чудо исцеления и стали сюжетом повести, над которой Солженицын работал в 1963–1964 годах и к которой вернулся в 1966-м, когда на него начались гонения. В автобиографической книге «Бодался теленок с дубом» он так характеризует это время: «Определив весною 1966, что мне дана долгая отсрочка, я еще понял, что нужна *открытая*, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займет в сознании общества тот объем, куда не прорвались конфискованные вещи. Очень подходил к этой роли “Раковый корпус”»[1]. Автор почти не надеялся, что повесть сможет пробиться в советскую печать, но дружеская договоренность с А.Т. Твардовским требовала в первую очередь предложить новую вещь в «Новый мир». Да и открытое предоставление рукописи в органы советской печати и обсуждение в московской секции прозы могли «легализовать бесконтрольное распространение ее»[2] в самиздате. Пока главный редактор «Нового мира» пытался получить «сверху» разрешение на печать повести, рукопись лежала в «редакцион-

ном столе» и продолжала множиться в самиздатовских списках. Долгие месяцы редакция не могла окончательно сказать автору ни «да», ни «нет». В конце 1967 года Твардовский решил рискнуть и велел набрать первые восемь глав для январского номера журнала. Автору даже выплатили аванс. Но надежды не оправдались. Солженицын пишет: «Совершился акт "набора", за рассыпку которого еще будет долго попрекать западная пресса наших верховных злодырей, — совершился от наплыва слабости в ЦК и от прилива твердости у издателя. Мне продлило это денег почти на два года жизни, важных два года. Но очень скоро в ЦК очнулись, подправились (кто сказал ту неосторожную фразу — так и неизвестно, а может, и никто не говорил, на подхвате не дослышали и переврали; кто теперь запретил — тоже неизвестно, вроде опять-таки Брежнев) — и засохло все на корню»[3]. Однако и после, в начале 1968-го, напряженная неопределенность, связанная с возможностью публикации повести в журнале, продолжалась: автора то обнадеживали, то брали свои слова обратно. Главной фигурой писательского сообщества, противостоявшей появлению «Ракового корпуса» в печати, был первый секретарь Союза писателей СССР Константин Федин. Твардовский написал ему смелое письмо (17 страниц на машинке), пытаясь отстоять произведение Солженицына, но все было напрасно[4].

В этой ситуации и «грянула» телеграмма из журнала «Грани», полученная 9 апреля в редакции «Нового мира»: «Ставим вас в известность, что Комитет Госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экземпляр "Ракового корпуса", чтобы этим заблокировать его публикацию в "Новом мире". Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу»[5]. Возмущенные новомировцы потребовали от писателя «дать отпор»: немедленно составить гневную запретительную телеграмму в «Грани», с тем чтобы опубликовать ее потом в «Литературной газете». Александр Исаевич категорически отказался рубить с плеча («Я ведь не знаю, что это за журнал. Чтобы через 20 лет не было стыдно»[6]) и попросил отсрочку до утра. «Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться», — сказала ему на это Л.К. Чуковская. Вместо составления срочного ответа Солженицын всерьез задумался над содержанием телеграммы. Вот вопросы, которые он решил попробовать выяснить: «1) действительно ли она подана редакцией журнала "Грани" или подставным лицом (это можно установить через международный телеграф, запросом московского телеграфа во Франкфурт-на-Майне)? 2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он подданный? Действительно ли он вывез из Советского Союза экземпляр "Ракового корпуса", кому передал, где грозит публикация еще? И какое отношение имеет к этому Комитет Госбезопасности?»[7] Выяснилось, что самое непосредственное отношение. Одна из солженицынских «невидимок», бывшая зэчка Наталья Ивановна Столярова, «приносит дивный букет: никакой не Луи, а Виталий Левин, сел недоучившимся студентом, подторговывал валютой с иностранными туристами; в лагере был известным стукачом, после лагеря не только не лишен Москвы, но и стал корреспондентом довольно "правых" английских газет, женат на дочери английского богача, свободно ездит за границу, имеет избыток валюты и сказочную дачу в генеральском поселке

в Баковке, по соседству с Фурцевой. И рукопись Аллилуевой на Запад отвез — именно он»[8].

В ходе всех этих событий в середине 1968 года и выходит на Западе «Раковый корпус» — почти одновременно в нескольких издательствах. Связанное с «Гранями» франкфуртское издательство «Посев» стоит в библиографических списках первым: может быть, именно благодаря указанной в телеграмме спешке оно и опередило незначительно другие: лондонское издательство «Бодли Хед»[9], с которым связана история со словаком Павлом Личко, продавшим издательству авторские права якобы от имени Солженицына[10], миланское издательство «Мондадори», получившее рукопись из самиздата и даже не знавшее фамилии автора (на обложке стоит: Аноним)[11], французское «ИМКА-Пресс»[12] (издание, которому библиографы до сих пор отдают предпочтение за самое бережное отношение к тексту). Различные издательства спорили между собой о правах на «Раковый корпус». А.И. Солженицын не раз подчеркивал, что именно эту книгу он сам специально на Запад никогда не переправлял («...пусть плывет, как плывет, без моего прикосновения, безо всякой опеки и соглашений...»[13]) Именно поэтому на межиздательские тяжбы (между «Бодли Хед» и «Мондадори») и на обвинение его властями в передаче рукописи на Запад он счел нужным ответить «Письмом в редакции газет “Монд”, “Унита”, “Литгазета” от 25 апреля 1968»: «Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать ее»[14].

А тем временем книгу с огромным интересом читал русскоязычный Запад, ее переводили на иностранные языки: мастерски написанная, она затрагивала одну из фундаментальных опасностей XX века, причем такую, от которой не застрахован никто: болезнь, рак. Повесть описывает, как встречают диагноз и смертельную опасность люди, оказавшиеся в раковом диспансере. Реакция на такой «вызов» каждого персонажа различна, что позволяет автору нарисовать целую галерею жизненно важных образов: от бывшего зэка и ныне ссыльного Олега Костоглотова, мужественно принимающего болезнь (в образе много автобиографических черт), до трусливого партийного функционера Русанова, совершившего на своем веку немало подлостей.

В эмигрантской печати сразу появляются восторженные рецензии. Журнал «Часовой» откликается уже на публикацию в издательстве «Посев» первой части «Ракового корпуса»: «Повесть Солженицына, запрещенная советскими литературными держимордами, является, несомненно, одним из наиболее талантливых произведений русских писателей подъяремной России»[15]. Развернутая рецензия, появившаяся в журнале «Посев» уже в апреле 1968 года, помимо мертвости русановщины отмечает и мотив освобождения, ярко выраженный в книге: «В этом корпусе люди — больные раком и боящиеся смерти — постепенно освобождаются от раковых осадков в их сердцах, в душах и мозгах»[16]. В парижской газете «Русская мысль» Н. Татищев приводит «сравнение Солженицына с Толстым» и распространяет метафору раковой опухоли на всю современную российскую действительность: «И в этом ужасе главная беда, последнее испытание или та разновидность духовной раковой опухоли,

которую ввели в кровь русского человека 51 год назад. Большинство теряет рассудок, немногие сильные становятся еще сильнее»[17]. Рецензент В.И. из «Вестника РСХД» отмечает, что «автор предельно тонко знает оба мира: мир рака искусственного и мир рака естественного» и что при этом, «несмотря на обилие трагических сцен, читатель оставляет чтение и закрывает книгу духовно окрепшим, возросшим и просветленным»[18]. «Прочтите его книгу. Вы ее не забудете никогда», — добавляет в том же номере журнала о солженицынской повести В. Вейдле[19].

В СССР проникновение на Запад «Ракового корпуса», а также романа «В круге первом» было отмечено лишь обширной ругательной статьей в «Литературной газете» — с фальсификацией биографических данных и партийным окриком, касающимся повести: «в идейном отношении» она нуждается «в существенной переработке»[20]. В газету стали поступать гневные ответы читателей на эту статью, в частности в самиздатовских списках ходил ответ Л.К. Чуковской, напечатанный в «тамиздате» и содержащий проницательный анализ «Ракового корпуса»[21]. Шумиха, поднятая в СССР в связи с публикацией книги, закончилась исключением Солженицына из Союза писателей. Тогда как на Западе, переведенная на европейские языки, повесть совершала триумфальное шествие. Вот как писал об этом автор: «Получил французскую премию “за лучшую книгу года” (дубль — и за “Раковый”, и за “Круг”) — *наши* ни звука. Избран в американскую академию *Arts and Letters* — *наши* ни ухом. В другую американскую академию, *Arts and Sciences* (Бостон), и ответил им согласием, — *наши* и хвостом не ударили»[22]. Книга стала еще одним аргументом для Нобелевского комитета в его решении присудить автору премию по литературе.

Наталья Ликвинцева

---

[1] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 142.

[2] Там же. С. 143.

[3] Там же. С. 196.

[4] А.Т. Твардовский в упомянутом письме к К.А. Федину, в частности, писал: «...думаю, Константин Александрович, что, по существу, мы даже более заинтересованы в опубликовании этого романа, чем автор. Дело не только в том, что столь значительное произведение попросту преступно утаивать от широчайших кругов читателей, успевших полюбить Солженицына, и что роман уже распространился, может быть, в тысячах списков среди наиболее дотошных читателей. Но роман, как мне известно из достоверных источников, на днях может выйти в свет (если уже не вышел) во Франции и готовится к печати в Италии. Этими внешними обстоятельствами нельзя пренебрегать, — не хватает нам еще повторения истории с Пастернаком! — но и внутренние не менее серьезны... Опубликование “Ракового корпуса”, которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей “пробку”... Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем ее, скажу прямо, кризисном, весьма невеселом этапе, разрядило бы атмосферу глухой “молчанки”, тяжелых недоразумений, неясности, бездейственного выжидания...» (Цит. по: Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и док. об А.И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 307).

[5] Цит. по: Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 619.

[6] Цит. по: Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 600.

[7] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 619.

[8] Там же. С. 204–205.

[9] Солженицын А.И. Раковый корпус. [Ч. 1–2.] Лондон: The Bodley Head, 1968.

[10] Подробнее об истории с П. Личко см.: Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть первая (1974–1978) // Новый мир. 1998. № 11. С. 94–97. См. также: Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 602.

[11] Солженицын А.И. Раковый корпус. Milano: Il Saggiatore di Alberto Mondadori, 1968. (ITEC) — 320 с.; мягк. обложка. На обл. и тит. л. автор указан как Аноним.

[12] То же: Р.: YMCA-Press, 1968. 447 с.: 1 л. портр. автора на фронтисписе; обл. Ю.П. Анненкова; мягк. обложка; список опечаток.

[13] Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир. 1998. № 11. С. 94.

[14] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 619.

[15] [Б.п.]. [Рец.:] А. Солженицын. Раковый корпус. Часть 1-я. Издание «Посева» // Часовой (Брюссель). 1968. Ноябрь. № 509. С. 17.

[16] [Б.п.]. Он только «посылал сигналы»: (О «Раковом корпусе» Александра Солженицына) // Посев (Франкфурт-на-Майне). 1968. Апрель. № 4. С. 17.

[17] Татищев Н. Под небом страха // Русская мысль (Париж). 1968. 21 ноября. С. 6.

[18] В.И. «Раковый корпус» — А.И. Солженицын // Вестник РСХД (Париж). 1968. № 89/90. С. 105.

[19] Вейдле В. Два слова о «Раковом корпусе» А. Солженицына // Вестник РСХД. 1968. № 89/90. С. 94.

[20] [Б.п.]. Идейная борьба: Ответственность писателя // Литературная газета. 1968. 26 июня. С. 5.

[21] См.: Чуковская Л. Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» // Посев. 1968. № 11. С. 39–43. О повести Л. Чуковская пишет так: «Это скорее философская, нежели историческая повесть. Тут, как в повести Льва Толстого “Смерть Ивана Ильича”, автор ставит своих героев лицом к лицу со смертью и каждого принуждает оглянуться на прожитую жизнь и задуматься над ее смыслом. Над смыслом жизни — своей и общей… повесть совершает то великое дело, которое и должна творить литература: она учит работать мысль читателя».

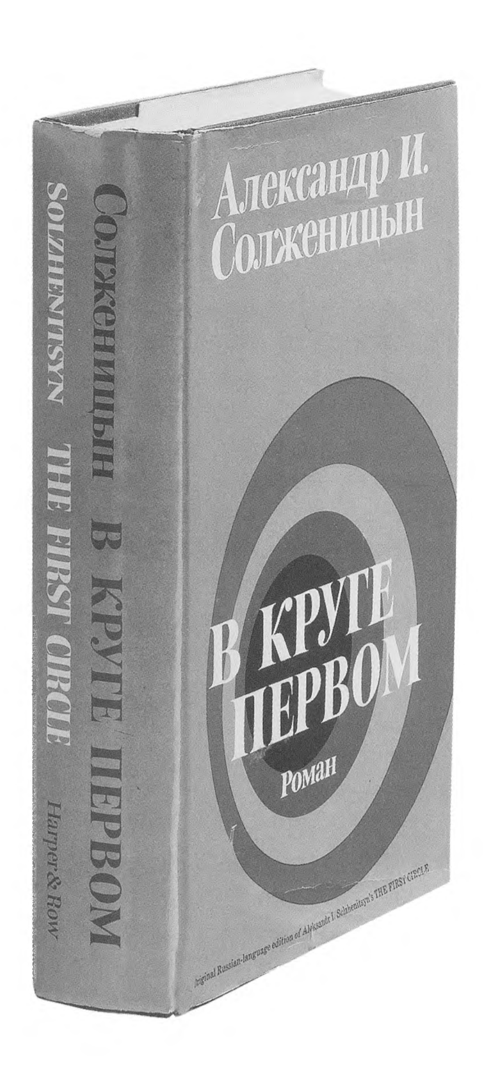
[22] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 241–242.

77

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

В круге первом:
Роман

/ Александр Солженицын. — N. Y.; Evanston: Harper & Row Publ., 1968. — 515 с.; 21×13,5 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке.



Harper & Row

В основу романа «В круге первом» лег автобиографический материал: в 1948–1949 годах Солженицын отбывал срок в Марфинской «шарашке» — спецтюрьме МГБ, где труд заключенных использовался для разработки телефонных шифраторов и других приборов «секретной телефонии» — техники для засекреченной связи и для радиоразведки. Первый вариант романа, состоящий из 96 глав (так называемый «Круг-96»), был написан еще в 1955–1958 годах «в стол», в подполье. В 1964-м, когда появилась слабая надежда на публикацию, автор создал новую версию романа (так называемый «Круг-87» из 87 глав), смягчив наиболее острые места и изменив сюжет. Дипломат Иннокентий Володин звонил в облегченном варианте романа не в американское посольство с предупреждением о попытке перехвата советской разведкой деталей производства атомной бомбы, а врачу, изобретшему новый лекарственный препарат, — предупредить, что за передачу секрета французским врачам

он будет обвинен в измене родине. Летом 1964 года А.Т. Твардовский попробовал получить разрешение на напечатание в «Новом мире» первых глав романа, но безуспешно[1].

После свержения Н.С. Хрущева, пытаясь хоть как-то обезопасить написанные вещи, писатель принимает решение отправить на Запад давно подготовленную им капсулу. На помощь приходит одна из «невидимок» — Наталья Ивановна Столярова: в конце сентября она знакомит писателя с гостившим в то время в Москве женевцем, сыном писателя Леонида Андреева Вадимом Леонидовичем и его женой. Вот как описывает эту встречу Солженицын: «В.Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, — и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе — для русской литературы да и для советских лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Говорила мне потом Наталья Ивановна, что В.Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищенные не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В.Л. перешел в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), — они брались увозить взрывную капсулу — все, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до "Круга"!.. Я смотрел на супругов стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понговского мяча, — приоткрыл, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же — о синтаксисе, о месте прилагательного относительно своего существительного, о жанрах, о книге "Детство" самого В.Л., вышедшей в СССР и которую я читал»[2]. 31 октября 1964 года «маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В.Л., он не знал никаких приемов, — а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы не сын писателя? И дальше пошел разговор о писателе, досмотра серьезного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева»[3].

Решив, что на квартире у друзей больше шансов уберечь роман, Солженицын часть своего архива отдал на хранение В.Л. Теушу: там и был арестован архив 11 сентября 1965 года — так роман попал в руки КГБ. Вот как вспоминает об этом автор: «А провал мой в сентябре 1965 был самой большой бедой за 47 лет моей жизни. Я несколько месяцев ощущал его как настоящую физическую незаживающую рану — копьем в грудь, и даже напрокол, и наконечник застрял, не вытащить»[4].

Весной 1967-го, закончив работу над «Архипелагом ГУЛАГом», А.И. Солженицын «оказался перед необходимостью и возможностью решать: как жить моим двум романам — "Кругу" и "Корпусу". Ведь на родине, исключая самиздат, им — стена»[5]. И если «Раковый корпус» автор

решил пустить «по воле волн», не вмешиваясь в его литературную судьбу, то с «Кругом» задумано было иначе: «А “Круг” — куда опаснее, и я сам буду его печатать, сам выберу и пути, и *руки*, и момент взрыва (так, чтоб и успеть к нему подготовиться)»[6]. Н.И. Столярова посоветовала для этой цели обратиться к дочери Вадима Андреева Ольге Карлайл: она может забрать у отца в Женеве уже переправленную через границу пленку, она «замужем за американским писателем, вращается в издательском мире, — все стекается удобно»[7]. После переговоров было выбрано американское издательство «Харпер энд Роу». Именно там и вышел роман в 1968 году: известие о его публикации автор получил 2 июня, в тот самый день, когда был отснят на пленку и подготовлен к отправке на Запад «Архипелаг ГУЛАГ». Чуть позже там же вышел и английский перевод «Круга»[8], после чего роман стали переводить и на другие европейские языки. Тем же летом, после выхода романа, автор работает над восстановлением изначальной, более полной (и еще доработанной) версии романа «Круг-96»[9].

Почти одновременная публикация на Западе романа и повести «Раковый корпус» привела не просто к замалчиванию имени писателя в СССР, но и к его травле: начало было положено ругательной статьей «Идейная борьба. Ответственность писателя» в «Литературной газете» от 26 июня 1968 года[10]. Биограф Солженицына Людмила Сараскина так пишет об этом периоде: «Впрочем, зависимость Солженицына от цензурных зверств упала фактически до нуля: его уже не то что не печатали, его имя уже нигде и не упоминали. Книги, вышедшие на исходе 1968 года, и отклики на них были опубликованы не в СССР, а на Западе, и “наши” были не в силах остановить этот поток. 22 января отдел культуры ЦК подготовил записку “О литераторе А. Солженицыне в связи с публикацией его произведений за рубежом”. “В СП СССР высказывается мнение, что назрело время рассмотреть вопрос о пребывании А. Солженицына в рядах Союза...” Механизм исключения был запущен»[11].

Роман недаром казался советской власти столь «опасным»: действие его происходит в Москве в течение трех декабрьских дней 1949 года. Звонок дипломата Иннокентия Володина (с которого начинается его спуск в круги гулаговского ада и внутреннее распрямление и освобождение) КГБ записывает на магнитную ленту. Запись передают в «шарашку», где заключенные инженеры занимаются разработкой секретной телефонии. Коллеге главного героя Глеба Нержина (в котором много автобиографических черт) и одному из главных его собеседников (это в первую очередь роман идей) Льву Рубину и дано задание определить по голосу звонившего человека. Перед читателем предстают и министр Абакумов, и сам Сталин, требующие от института конкретных результатов по разработкам. В развязке Нержин, отказавшийся перейти с отвлеченных лингвистических исследований на разработку математического аппарата для секретной телефонии, покидает «шарашку» с ее привилегиями и отправляется из «первого круга» ада в глубины ГУЛАГа.

В «тамиздатовской» прессе сразу стали появляться рецензии на книгу. Статья В.О. «Солженицын» в журнале «Часовой» посвящена главным образом этому роману[12]. В парижском журнале «Возрождение» опубликована пространная статья Людмилы Келер «Торжество духа (О романе

А. Солженицына “В круге первом”)», где говорится: «Весь роман — новое свидетельство о ”неугасимом” духе, да и о фактической его неугасимости в самых нечеловеческих, казалось бы, условиях»[13]. «А. Солженицын стоит на пороге мировой славы, несмотря на то, что на родине его не печатают»[14]. Ряд статей был посвящен образу Сталина в романе[15].

Роман принес автору не только «малую», эмигрантскую, но и «большую», мировую славу: «...в списке десяти книг “исключительного значения и мастерства” за 1968 год книжного обзора “Нью-Йорк таймс” указан только один роман — “В круге первом”»[16]. Генрих Бёлль в рецензии «Мир под арестом. О романе Солженицына “В круге первом”» сравнивает построение книги со сводами собора и пишет: «Я вижу в книге Солженицына откровение, бесстрастное откровение не только о ее чисто историческом предмете — о сталинизме, но и об истории страданий человечества»; книга «современная искусностью построения, которое устойчиво и крепко; у нее дыхание Толстого и дух Достоевского, хотя в XIX веке да и в сегодняшнем литературоведении они считаются парой противоположных духов; и при всем этом в ней безошибочно узнается Солженицын»; «Через сто лет после “Преступления и наказания” и ”Войны и мира” вышла эта книга, к сожалению, только на Западе, не для которого она написана»[17]. Зимой 1969 года в Париже Премию французских журналистов за лучшую книгу года получают сразу две вещи Солженицына — «В круге первом» и «Раковый корпус», американцы избирают автора почетным членом нью-йоркской Академии искусства и литературы и еще ряда американских академий[18]. В январе 1970 года роман «был назван Грэмом Грином лучшей книгой года»[19]. В западной прессе автора все чаще и чаще упоминают как возможного лауреата Нобелевской премии.

Наталья Ликвинцева

---

[1] В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын так вспоминает об этом: «Из-за глав моего романа раздражение еще усилилось. Лебедев объявил их клеветой на советский строй. А.Т. попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером: “Разве наши министерства работали ночами? Да еще так — в шашки играют...” И посоветовал: “Спрячьте роман подальше, чтобы никто не видел”» (Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 105).

[2] Там же. С. 491–492.

[3] Там же. С. 492–493.

[4] Там же. С. 119.

[5] Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть первая (1974–1978) // Новый мир. 1998. № 11. С. 94.

[6] Там же.

[7] Там же. С. 98.

[8] История публикации романа была изложена Ольгой Карлайл в кн.: Carlisle O.

Solzhenitsyn and the secret circle. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1978. См. также: Андреева-Карлайл О. Солженицын: В круге тайном / [предисл. Д. Урнова]; пер. [с англ.] О. Кириченко // Вопросы литературы. 1991. № 1–5. Солженицын возражал против такой интерпретации событий, изложив свою точку зрения. См.: Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть первая (1974–1978) // Новый мир. 1998. № 11. С. 94–102; Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть вторая (1979–1982) (Прилож. [3]: примеч. об Ольге Карлайл к американскому изданию «Теленка») // Новый мир. 2000. № 9. С. 181–182.

[9] Впервые подробно проследила историю создания романа Мира Геннадьевна Петрова, сделавшая сравнительный анализ всех его версий по оригиналам сохранившихся редакций романа, предоставленных ей автором. Итогом стало издание «Круга» в серии «Литературные памятники», сопровождаемое комментариями и подробной текстологической статьей М.Г. Петровой. См.: Солженицын А.И. В круге первом / изд. подгот. М.Г. Петрова. М.: Наука, 2006. (Литературные памятники). См. также краткий сравнительный анализ двух версий романа в статье: Нива Ж. «Круги» Александра Солженицына // Солженицын: мыслитель, историк, художник: Западная критика 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 597–614 (пер. с фр. М.А. Руновой).

[10] О статье и самиздатовских ответах на нее см. примеч. 20 и 21 к статье о повести «Раковый корпус» (с. 476 наст. изд.).

[11] Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 610.

[12] См.: В.О. <В. Орехов>. Солженицын // Часовой (Брюссель). 1969. № 514 (4). С. 18–19. См. также: [Ред. послесловие: К публ. главы из романа «В круге первом»] // Часовой. 1969. № 515 (5). С. 13.

[13] Келер Л. Торжество духа: (О романе А. Солженицына «В круге первом») // Возрождение (Париж). 1969. № 209. С. 71.

[14] Там же. С. 86.

[15] См.: Белинков А. Сталин у Солженицына: Из незавершенной книги «Судьба и книги Александра Солженицына» // Новый колокол: Лит.-публицистич. сб. Лондон, 1972. С. 429–430; Русланов С. <В. Краснов>. Эпигон Великого Инквизитора: К портрету Сталина в романе А.И. Солженицына «В круге первом» // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1974. № 92/93. С. 279–294.

[16] Келер Л. Торжество духа: (О романе А. Солженицына «В круге первом») // Возрождение. 1969. № 209. С. 71. В той же рецензии приводятся и другие восторженные отклики на роман в американских газетах.

[17] См.: Бёлль Г. Мир под арестом: О романе Александра Солженицына «В круге первом» // Иностранная литература. 1989. № 8. С. 228–233 (пер. с нем. Г. Дашевского).

[18] Подробнее см.: Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 241–242; Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 634.

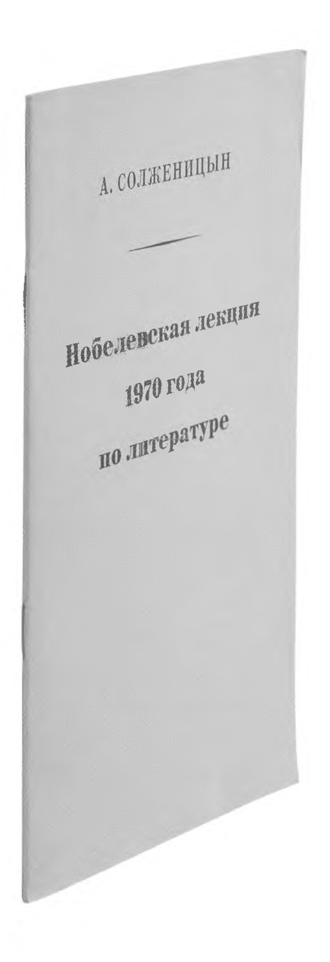
[19] Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 634.

78

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

Нобелевская лекция 1970 года по литературе

/ Александр Солженицын. — Frankfurt a/M: Possev, 1972. — 21 с.; 20,5×14 см. — (Из журнала «Грани». № 85).
В шрифтовой двухцветной издательской обложке[1].



Из журнала «Грани» № 85
World © The Nobel Foundation 1972
Possev-Verlag, V. Gorachek KG.
Frankfurt am Main

В мемуарах «Бодался теленок с дубом» А.И. Солженицын так писал об известии о присуждении ему в 1970 году Нобелевской премии: «А тут премия — свалилась, как снегом веселым на голову! Пришла, как в том анекдоте с Хемингуэем: от романа отвлекла, как раз две недельки мне и не хватило для окончания “Августа”!.. Еле-еле потом дотягивал. Пришла! — и в том удача, что пришла, по сути, *рано* я получил ее, почти не показав миру своего написанного, лишь “Ивана Денисовича”, “Корпус” да облегченный “Круг”, все остальное — удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягченные гравитацией: три тома “Архипелага”, “Круг”-96, “Пленники”, “Знают истину танки”, лагерную поэму… Пришла — прорвалась телефонными звонками на дачу Ростроповича»[2]. Александр Исаевич дал по телефону согласие на свой приезд (насколько это будет зависеть от него) и послал ответную телеграмму Шведской академии: «Рассматриваю Нобелевскую премию как дань русской литературе и нашей трудной истории». Голосом этой трудной истории, за которым стоят все ее жертвы, все зэки ГУЛАГа, и чувствовал себя писатель на протяжении всей своей «нобелианы».

В советских газетах начинается травля лауреата, «кампания по превращению праздника русской литературы в политический скандал»[3]. Солженицын предполагал (и, как потом оказалось, догадка была совершенно верной), что, как только он пересечет границу, его лишат советского гражданства и не позволят вернуться. Писатель решает отказаться от поездки и обращается к Нобелевскому фонду с предложением вручить ему нобелевские диплом и медаль в Москве в любое удобное для шведов время. Однако шведский посол, хорошо усвоивший «правила игры», разработанные советской властью, соглашался вручить почетные знаки в шведском посольстве только в приватном порядке, тихо, без шума и прессы, — на что лауреат согласиться не мог. В результате 10 декабря, в день вручения премии, Солженицын на квартире Ростроповича слушал по радио, как звучит в Стокгольме отправленное им приветственное слово: «…не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днем Прав человека. Нобелевским лауреатам нельзя не ощутить ответственности перед этим совпадением. Всем собравшимся в стокгольмской ратуше нельзя не увидеть здесь символа»[4].

Солженицын начинает работать над текстом Нобелевской лекции: «Моя нобелевская лекция заранее рисовалась мне колокольной, очистительной, в ней и был главный смысл, зачем премию получать. Но сел за нее, даже написал — получалось нечто, трудно осиливаемое»[5]. Это была неожиданная трудность: говорить о сути и природе искусства, как прежние лауреаты, он не мог, это было вторично по сравнению с той правдой, что жгла его изнутри: «И *такую* лекцию мою — каково будет прочитать бывшим зэкам?» Политическое же заявление ломало всю традицию Нобелевских лекций. Не находя возможным «соединить тему общества и тему искусства»[6], автор сообщает шведам о том, что хочет от лекции отказаться.

Однако постепенно, в 1972-м, и эта трудность преодолена: «При новой редакции мне удалось освободить лекцию от избытка публицистики и политики, стянуть ее точнее вокруг искусства и, может быть, приблизиться к — еще никем не определенному и никому не ясному — жанру нобелевской лекции по литературе»[7]. В переписке с секретарем Шведской академии Карлом Рагнаром Гировым продолжает обсуждаться возможность вручения знаков и прочтения лекции в Москве. Поскольку в проведении торжественной церемонии в шведском посольстве опять отказано, Солженицын предлагает устроить ее на квартире Светловых. Гиров отвечает согласием. Намечен срок церемонии — 9 апреля 1972 года, на первый день православной Пасхи. Писатель готовится к приему, рассылает приглашения. Однако 4 апреля выясняется, что Гирову отказали во въездной визе в СССР: власть испугалась предстоящего события. «И так была бы исчерпана полуторагодичная Нобелиана, если б не осталось главное в ней — уже готовая лекция. Чтоб она попала в годовой нобелевский сборник, надо было побыстрей доставить ее в Швецию. С трудом, но удалось это сделать (разумеется, снова тайно, с большим риском)»[8]. В конце августа она появилась в официальном сборнике Нобелевского комитета «Le prix Nobel en 1971» на шведском, русском и английском

языках, а затем была опубликована в эмигрантской печати и переведена на основные европейские языки.

Нобелевская лекция в своей новой редакции по праву стала одним из шедевров солженицынской публицистики. Писателю удалось найти нужную тональность, соединив мучившую его боль, желание донести до Запада весть о советских лагерях и жертвах режима с размышлением о самой сути искусства. Он раздумывает над фразой Достоевского «Мир спасет красота», над «старым триединством Истины, Добра и Красоты», признает, что говорит не от себя только, но и за тех, кто, может быть, был лучше и талантливее его, но канул в ГУЛАГе: весть о них мир не слышит или не хочет слышать. Солженицын искренне и предельно честно размышляет о единстве и разделенности мира, в каждой части которого судят только по своей шкале и мерке, и о роли писателя: он может способствовать единству, донося при помощи искусства чужой жизненный опыт до тех, кто сам лично его не пережил. Такая передача опыта возможна как в пространстве — от нации к нации, так и во времени — от поколения к поколению (тут литература становится «живой памятью нации»). Призывая писателей нести ответственность за все происходящее в мире и стать противодействием натиску зла, лауреат указывает самый прямой путь к этому: поскольку насилие всегда прикрывается ложью, неучастие во лжи и будет уже ответом насилию и злу, первым шагом, началом боя. Александр Исаевич заканчивает лекцию словами русской пословицы: «Одно слово правды весь мир перетянет».

Лекцию печатали на Западе, читали по радио[9], на нее появлялись отклики, — но они как будто били мимо цели, выдвигая на первый план частности, а не то самое главное, что прокричал в ней миру Солженицын[10]. У автора осталось острое чувство непонятости и неуслышанности, он пишет в «Теленке»: «Пресса была довольно шумная, больше недели. Но две неожиданности меня постигли, показывая неполноту моих предвидений: лекция не вызвала ни шевеления уха у *наших*, ни — какого-либо общественного сдвига, осознания на Западе. Кажется, я очень много сказал, я даже все главное сказал — и проглотили? А: лекция была хоть и прозрачна, но все же — в выражениях общих, без единого имени собственного. И *там*, и *здесь* предпочли н е п о н я т ь»[11]. Чтобы не услышать было уже нельзя, нужен был следующий шаг, главный удар этого неутомимого борца за правду: книга «Архипелаг ГУЛАГ».

Наталья Ликвинцева

---

[1] Это издание вышло первым: оно относится к октябрьскому 85-му номеру журнала «Грани». В ноябре вышло еще одно издание лекции: То же. P.: YMCA-Press, 1972. (Вступ. слово от изд-ва на с. 3). — 30 с., мягк. обложка.

[2] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 277.

[3] Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 641. Вот характерные отзывы в советской прессе: «Приходится сожалеть, что Нобелевский комитет позволил вовлечь себя в недостойную игру, затеянную отнюдь не в интересах

развития духовных ценностей и традиции литературы, а продиктованную спекулятивными политическими соображениями» (Известия. 1970. 10 октября); «...Нобелевская премия есть каинова печать за предательство своего народа» (Коммунист Вооруженных Сил. 1971. № 2). Ср. с одним из откликов в эмигрантской печати: «Радость тех, кому дорого подлинное искусство, кто чает духовного обновления России, была беспредельна. Мы все верим, вопреки многочисленным Сальери наших дней, что есть правда выше. Но часто горький опыт заставляет задуматься: а проникает ли эта правда сюда, на землю? В день присуждения премии Александру Исаевичу, поздравляя друг друга, мы могли сказать уверенно и с облегчением: "есть правда на земле". Пожелаем лауреату здоровья, сил и безмятежных дней, чтобы он продолжал отражать в своем творчестве лучи высшей Красоты и Правды» (Струве Н. А. Солженицын — нобелевский лауреат // Вестник РСХД (Париж). 1970. № 97. С. 2–3).

[4] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 633.

[5] Там же. С. 286.

[6] Там же.

[7] Там же. С. 301.

[8] Там же. С. 306.

[9] Вот как вспоминает диктор радио «Свобода» Юлиан Панич о своем чтении в эфире солженицынской Нобелевской лекции, с которой и началось его сотрудничество с радиостанцией: «А потом, я случайно приехал в Мюнхен на пробу летом 1972 года. Случайно, я совершенно не собирался идти на радиостанцию Свобода... На станцию Свобода я просто приехал, честно скажу, потому что сказали, что можно бесплатно смотаться из Иерусалима нам с Людмилой в Мюнхен. Когда еще выедешь? Мы поняли, что эмигранты народ небогатый. Приехали. А в это время случилось убийство спортсменов израильских, и меня попросили сказать несколько слов у микрофона. А после этого сказали, что голос у вас ничего вроде бы, вот есть текст, все дикторы наши сейчас в отпусках, можете почитать текст? И принесли нам текст, отпечатанный на пишущей машинке — Нобелевская лекция Солженицына. И когда я это прочел... Мы с Людмилой читали в эфир, просто из студии нам подсовывали полученные телексы. Тогда телекс был странный, на папиросной бумаге. Людмила расшифровывала плохо видимые буквы, а я читал. Это был настоящий live. И вот когда я прочел Нобелевскую лекцию Солженицына, я определил свою новую родину — Радио Свобода. А потом был "Архипелаг ГУЛАГ", потом была вся неподцензурная русская литература в передачах культурных программ Радио Свобода...» (Из интервью Юлиана Панича с Иваном Толстым «Фирменный голос»; цит. по: URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24183251.html) (дата обращения: 22.05.2011).

[10] Вот, например, реакция на Лекцию эмигрантского журнала «Посев»: «БЕЗНРАВСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БЕЗНРАВСТВЕННОГО МИРА назвал Солженицын ООН. В речи, с которой он хотел выступить на церемонии вручения ему Нобелевской премии в Москве, он зовет писателей к открытым выступлениям против насилия и порабощения, выступает против "опасных тенденций современного мира"» (см.: [Б.п.]. С комментариями и без них // Посев (Франкфурт-на-Майне). 1972. № 9. С. 12).

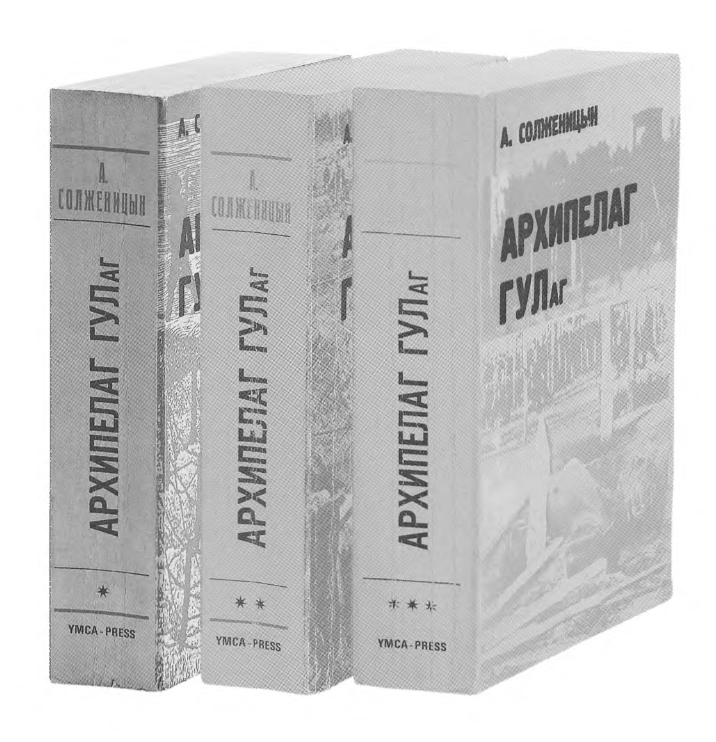
[11] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 306. Эту же неуслышанность Нобелевской лекции отмечает в своей книге «Солженицын» и Жорж Нива, правда, связывая ее с необычностью и оригинальностью мысли автора: «Однако Нобелевская лекция озадачивает читателя, знакомого с современным искусством: призыв к этой всеобщности Красоты-Истины-Добра не нашел ни отзыва, ни отклика. Кажется, будто современное западное искусство живет на другой планете» (Нива Ж. Солженицын / пер. с фр. С. Маркиша в сотрудничестве с автором. М.: Художественная литература, 1992. С. 44).

79

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

Архипелаг ГУЛАГ:
Опыт художественного исследования:
1918–1956:
[в 3 т.]

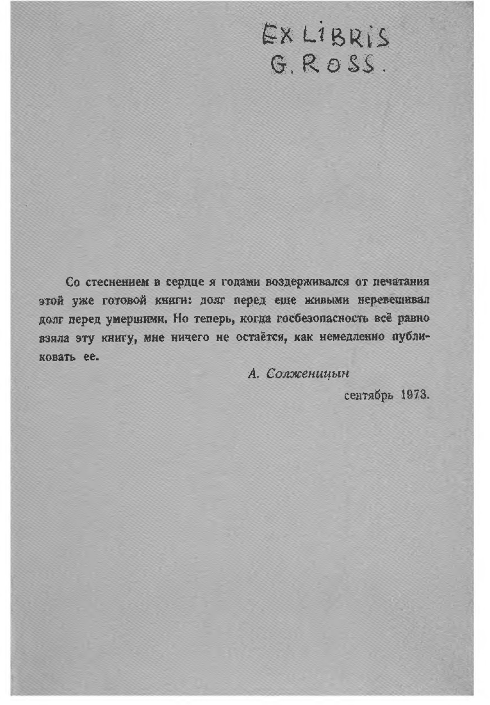
/ Александр Солженицын. — P.: YMCA-Press, 1973–1975. — Т. 1, [ч.] 1–2. — 1973. — 607 с.: портр., ил. — Т. 2, [ч.] 3–4. — 1974. — 660 с.: портр., ил. — Т. 3, [ч.] 5–7. — 1975. — 584 с.: портр., ил.; 19,5×13,5 см.
Каждый том в иллюстрированной цветной издательской обложке.



YMCA-PRESS

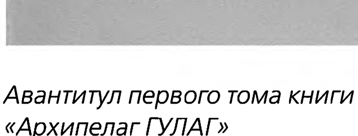
Это самая известная книга А.И. Солженицына, получившая беспрецедентный мировой резонанс и ставшая не только литературным, но и историческим событием. Ее создание и решение ее обнародовать требовало от автора огромного мужества. Благодаря ей мир впервые смог расслышать правду о лагерях в СССР: книга представляет собой не только и не столько личные воспоминания, сколько объемную картину, созданную в опоре на свидетельства многих жертв ГУЛАГа, как выживших, так и погибших. Читатель может проследить их путь: от ареста, тюрьмы, пыток следствия до разных видов лагерей и лагерных судеб.

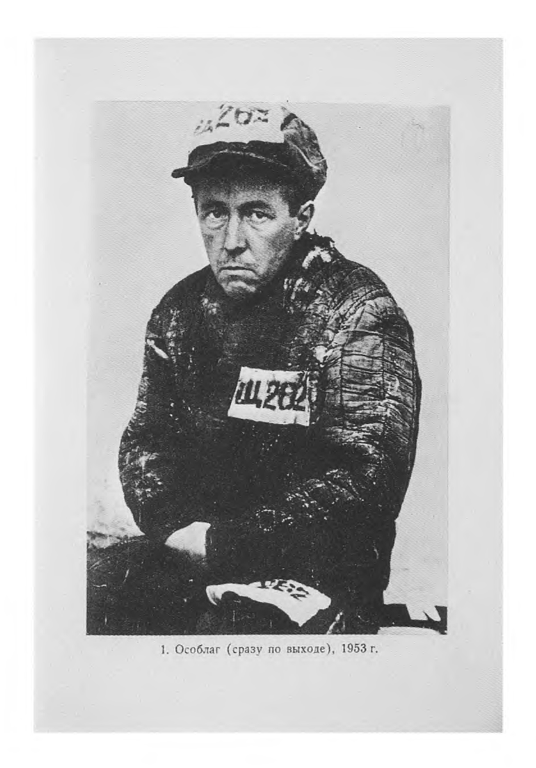
Написал Солженицын «Архипелаг…» главным образом за две зимы 1965–1966 и 1966–1967 годов в Эстонии, в «Укрывище», на действительно хорошо укрытом от глаз КГБ и всех посторонних хуторе Марты Порт, огромным напряжением писательского труда претворяя все собранные уже материалы и авторский замысел в готовые страницы книги. Он вспоминал потом: «Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойком пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей»[1]. Весной 1968-го на даче в Рождестве «Архипелаг…» был закончен, перепечатан и отснят на пленку. 2 июня, в тот день, когда пленка была свернута в капсулу и пришло известие о выходе на Западе романа «В круге первом», Ева (Н.И. Столярова) сообщила писателю о том, что на днях будет возможность отправить пленку на Запад — с Сашей Андреевым,


Ex Libris
G. Ross.

Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать ее.

А. Солженицын
сентябрь 1973.


Авантитул первого тома книги «Архипелаг ГУЛАГ»



1. Особлаг (сразу по выходе), 1953 г.

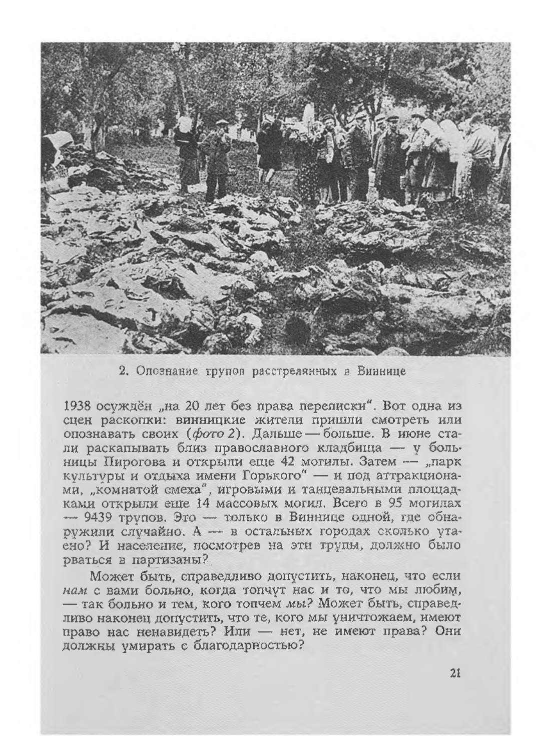
Александр Солженицын. 1953. Фотография из третьего тома книги «Архипелаг ГУЛАГ»

сыном Вадима Андреева (вывезшего «Круг»), приехавшим в Москву в командировку с группой ЮНЕСКО. Подробности той рискованной «троицкой» (дело было под православную Троицу) отправки ее участники долго вспоминали с волнением: капсулу должны были спрятать в контейнер, в котором киномеханик отправлял киноматериалы группы. Однако за Сашей обнаружилась слежка: капсулу все же отправили, но долго все пребывали в лихорадочном состоянии полной неизвестности о том, как прошла операция. Риск был огромным, однако обошлось: «Трое суток удушливого ожидания закончились ликующим известием: и Сашу выпустили, и капсула перебралась через границу!»[2]

Солженицын ждет переводов книги на европейские языки и снова и снова откладывает ее публикацию: дело не только в том, что сигнал к публикации «Архипелага...» он всегда воспринимал как подписание себе смертного приговора, не только в том, что полным ходом шла работа над «Красным Колесом», которую придется прервать, дело не только и не столько в нем самом: «...многие из 227 зэков, дававших показания для моей книги, могут жестоко пострадать при ее опубликовании. И для них — хорошо бы она вышла попозже. А для тех, похороненных, — нет! скорей!»[3]

Весной 1971-го пришлось повторить отправку текста на Запад: старый экземпляр «застрял» у людей, медливших с подготовкой издания[4]. На этот раз «бомбу» переслали через «канал» Аси Дуровой, католической монахини русского происхождения, работавшей во француз-

ском посольстве, удивительного человека: на этот «канал» Солженицына вывел отец Александр Мень. Для надежности Александр Исаевич сообщался с Анастасией Борисовной не напрямую, а через посредников, знал лишь конспиративную ее кличку — «Вася», и только после высылки на Запад смог познакомиться с ней лично и узнать все подробности второй, не менее рискованной отправки: «А в мае 1971 еще с какой-то случайной пассажиркой (но знавшей, что везет серьезное) Ася отослала и главный мой груз, все мое освобождение — набор пленок “Сейф”. На аэродроме в Орли ту пассажирку встретил Никита Струве с семьей, они пошли в кафе на семейное чаепитие и поставили на полу рядом сумки, чтобы потом “перепутать” их, взять чужую. (Дети нервничали: какая-то дама поблизости очень уж пристально следила за всеми ними.)»[5]



2. Опознание трупов расстрелянных в Виннице

1938 осуждён „на 20 лет без права переписки“. Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих (*фото 2*). Дальше — больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища — у больницы Пирогова и открыли еще 42 могилы. Затем — „парк культуры и отдыха имени Горького“ — и под аттракционами, „комнатой смеха“, игровыми и танцевальными площадками открыли еще 14 массовых могил. Всего в 95 могилах — 9439 трупов. Это — только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А — в остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в партизаны?

Может быть, справедливо допустить, наконец, что если *нам* с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, — так больно и тем, кого топчем *мы*? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или — нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?

21

Страницы книги «Архипелаг ГУЛАГ»

Однако толчком, побудившим именно теперь печатать книгу, стала еще одна смерть, прибавившаяся ко всем смертям, уже описанным в ней: 23 августа 1973 года «в темной “достоевской” да еще коммунальной квартире на Роменской улице в Ленинграде кончала с собой или убивали несчастную Елизавету Денисовну Воронянскую, открывшую ГБ, где хранится в земле “Архипелаг”»[6]. Перед этим был арест, обыск и пять суток допроса с пристрастием. Это была одна из солженицынских «невидимок», уже пожилая женщина, помогавшая перепечатывать «Архипелаг»: из любви к этой книге она оставила на хранении лишний экземпляр, заверив Александра Исаевича, что сожгла его: именно он и попал в руки КГБ. Писатель узнал обо всем только в начале сентября — жена вот-вот должна была родить третьего сына. Решение было принято сразу: «…я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Во всем этом августсентябрьском бою, при всем нашем громком выигрыше — разве бы я сам решился? разве понял бы, что *пришло время пускать* ”Архипелаг”?»[7] Директору издательства «YMCA-Press» Никите Струве немедленно дан сигнал: сдавать книгу в набор и печатать (в строгом секрете) как можно быстрее. Издательство обещает выпустить первый том к 7 января 1974 года. Однако благодаря самоотверженной работе наборщика книги и хозяина типографии Леонида Лифаря и самого Никиты Струве с супругой, читавших — по мере набора — текст в качестве корректоров, это удалось даже раньше[8]. 28 декабря на даче у Чуковских в Переделкине автор слышит по Би-би-си известие о выходе первого тома «Архипелага…»: «Через час

ревнование между лагпунктами, сооружениями, бригадами! „Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр! — он целыми днями играет по-



Оркестр на канале

бедителям во время работы и во время вкусной еды"! (Вкусной еды на снимке не видно, но вы видите также и прожектор. Это — для ночных работ, Волгоканал строится круглосуточно.) (34) В каждой бригаде заключенных — тройка по соревнованию. Учет — и резолюции! Резолю-

(34) Оркестр использовался и в других лагерях: поставят на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключенные без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И.Д.Т. был оркестрантом на Беломоре и вспоминает: оркестр вызывал озлобление у работающих (ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму). Им кричали: "Филоны! Дармоеды! Идите сюда вкалывать!" На снимке — ничего похожего.

106

полного сил и воли сподвижника — министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел.

И падение Шефа Архипелага трагически ускорило развал Особых лагерей. (Какая это была историческая непоправимая ошибка! Разве можно было потрошить министра интимных дел! Разве можно было ляпать мазут на небесные погоны?!)



11. На воркутинской свалке. Так проходит слава мира...

Величайшее открытие лагерной мысли XX века — лоскуты номеров, были поспешно отпороты, заброшены и забыты! Уже от этого Особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решётки с барачных окон и замки с дверей тоже были сняты, и Особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличавшие их от ИТЛ. (С решётками наверное поспешили! — но и опаздывать было нельзя, такое время, что надо было отмежеваться!)

521

опалило мне руку из газового котла, пришлось с ожогом ехать в Москву, я подумал: символ? А ощущался со всеми близкими — праздник, так и провели вечер. И какое ж освобождение: скрывался, таился, нес — донес! С плеч — да на место камушек неподъемный, окаменелая наша слеза. Даже держать не смели дома, а сейчас — кому не лень, друзья, приходите читайте! Много лет я так понимал: напечатать "Архипелаг" — заплатить жизнью. Не отрубить за него голову — не могут они: перестанут быть сами собой, не выстоит их держава»[9]. Поединок мужественного писателя со всей мощью власти входил в решающую стадию: Солженицын назвал ее «встречным боем».

Все усиливающееся давление госбезопасности вылилось в прямой шантаж семьи по телефону: звонили с угрозами непрерывно с шести утра до часу ночи, кроме выходных. «4 января Секретариат ЦК дал старт кампании по дискредитации писателя и его новой книги…»[10] В Политбюро ЦК шли совещания: колебались между принудительной высылкой и «внутренним вариантом» с максимальным сроком в лагерях строгого режима (предлагали Верхоянск). Атака прессы началась со статьи в «Правде» «Путь предательства», перепечатанной затем всеми остальными газетами[11]. Чтобы передать атмосферу газетной травли, достаточно перечислить заголовки статей, отражающие «гневное возмущение советских масс» книгой, которую они не читали: «Кому выгодна антисоветская шумиха: По поводу очередного пасквиля литературного власовца», «Позор клеветнику», «Цена предательства», «Гнев и презрение народа», «Всеобщее презрение», «Саморазоблачение клеветника», «Кощунство», «Крайняя степень падения», «Отповедь отщепенцу», «Одно слово: предатель!», «Докатился до края», «Осуждение предательства», «Как Солженицын воспел предательство власовцев» и т. п.[12]

ПУТЬ ПРЕ

НЕУКЛОННЫЙ рост международного авторитета и влияния СССР, успехи ленинской внутренней и внешней политики КПСС вызывают бешеную ненависть международной империалистической реакции и ее идеологических наемников. Это ненависть тех, кто направлял армии интервентов против молодой Страны Советов, кто пытался задушить ее блокадой, кто двинул в разбойничье нападение на нее фашистские орды, кто долгие годы вел против нас «холодную войну», а теперь пытается вновь повернуть мировое развитие вспять, выступая против разрядки напряженности, разжигая вражду между народами. Это ненависть тех, кто организует заговоры и диверсии против свободолюбивых народов, тех, чьими усилиями вскормлены «гориллы» кровавой чилийской хунты, фашистские и расистские диктаторы, беспощадным террором подавляющие волю народов к свободе и национальной независимости.

В идеологической борьбе против социализма империалистическая реакция не брезгует никакими средствами, вплоть до фальсификации и клеветы.

В последние дни буржуазная печать развернула антисоветскую шумиху в связи с публикацией на Западе очередного клеветнического сочинения А. Солженицына под названием «Архипелаг Гулаг». На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отщепенца, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу зарубежными издательствами и органами печати, включая белоэмигрантские.

Там, за рубежом, Солженицын опубликовал уже не одно свое сочинение, направленное против советского общественного строя, против нашего народа. В книгах «В круге первом» и «Раковый корпус» Солженицын с позиций воинствующего реакционера отвергал наши социалистические завоевания, ставя под сомнение сами основы советского общества. Антисоциалистическую направленность имеет и роман Солженицына «Август Четырнадцатого», посвященный началу первой мировой войны. Нет в этом романе ни исторической, ни художественной правды, а господствует одна, совершенно определенного толка, тенденция. Солженицын выступает против революционеров, против социалистической революции. Зато с умилением пишет он о кайзеровских войсках, превозносит их генералов и офицеров. Раньше он настойчиво восхвалял все дореволюционное — в сравнении с советским, а здесь уже русскому ставится в пример милитаристско-прусское. Роман «Август Четырнадцатого» — произведение антипатриотическое и антинародное, характерное особенно тем, что в нем явно сквозит «обида» автора на революцию, лишившую его — отпрыска крупного землевладельца — наследственных привилегий и богатства.

В «Августе Четырнадцатого» отчетливо проявилась политическая платформа Солженицына как сторонника помещичье-капиталистических порядков, эпигона кадетской идеологии, готового ценой предательства по отношению к Родине добиваться реставрации буржуазного строя.

Перу Солженицына принадлежит и пьеса в стихах «Пир победителей», также переправленная за рубеж, но не напечатанная там, ибо сам Солженицын до сих пор заявляя о нежелательности ее публикации.

Разумеется, нельзя объяснить это очевидной художественной беспомощностью пьесы, ибо критерий художественности не имеет никакого значения для антисоветчиков, публикующих любую низкопробную писанину, лишь бы она содержала клевету на советское общество. Все дело в том, что «Пир победителей» с предельной очевидностью разоблачает Солженицына не только как активного антисоветчика, но и как человека, глубоко безнравственного, пытающегося оболгать и унизить героев советского народа, воинов Советской Армии, ценою крови и жизни своей спасших человечество от угрозы фашистского рабства. В то же время с нескрываемой симпатией говорится в пьесе о власовцах — наемниках фашизма — и выражается сожаление о том, что гитлеровцы слишком поздно стали формировать власовские банды, в которых ему, Солженицыну, хотелось видеть силу, способную «избавить» Россию от большевизма.

Солженицын глумится над самым светлым и святым в нашей жизни, оскорбляет память лучших сынов и дочерей народа — Александра Матросова и Зои Космодемьянской. До такого кощунства по отношению к людям, сложившим головы в борьбе с фашизмом, редко опускаются даже самые оголтелые антикоммунисты.

Теперь в очередном сочинении «Архипелаг Гулаг» Солженицын уже не устами героя пьесы, а от своего имени заявляет, что гитлеровцы были якобы «снисходительны» и «милостивы» к порабощенным народам, что Сталинградскую битву Советская Армия выиграла благодаря штрафным батальонам. Вновь, как и в «Пире победителей», он глумится над жертвами, понесенными советским народом в войне против фашизма, оправдывает преступления власовцев и бандеровцев. Он вещает: «Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским».

Книга «Архипелаг Гулаг» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Автор этого сочинения буквально задыхается от патологической ненависти к стране, где он родился и вырос, к социалистическому строю, к советским людям.

Книгу эту, замаскированную под документальность, можно было бы назвать плодом больного воображения, если бы она не была начинена циничной фальсификацией, состряпанной в угоду силам империалистической реакции. Если чем и может поразить читателя названное сочинение, так это, пожалуй, предельной степенью саморазоблачения человека, который смотрит на новое, строя-

Статья И. Соловьева «Путь предательства» (Правда. 1974. 14 января. № 14. С. 4)

...ЕДАТЕЛЬСТВА

щееся общество глазами тех, кто расстреливал и вешал коммунистов, революционных рабочих и крестьян, отстаивая черное дело контрреволюции.

Такова логика морального падения, такова мера духовной нищеты этого внутреннего эмигранта, лишенного всякой связи с реальной жизнью нашего общества.

Убийственно метко охарактеризовал в свое время В. И. Ленин породу пресмыкающихся перед капиталистическим миром политиканов: «Ваши слова о свободе и демократии — напускной лоск, заученные фразы, модная болтовня или лицемерие. Это размалеванная вывеска. А сами по себе вы — гробы повапленные. Душонка у вас насквозь хамская, а вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции. Ибо вы продаете свои души и продаете не только из нужды, но и из «любви к искусству»! (Полн. собр. Соч., т. 16, стр. 40).

Реакционные круги, которым угодливо прислуживает Солженицын, разумеется, умалчивают о своих подлинных, далеко идущих целях. Но любому непредубежденному человеку ясно: главная задача тех, кто стоит на страже устоев капиталистической эксплуатации,— любыми средствами оклеветать Советский Союз — оплот мира и социализма на земле, очернить историю нашего народа-творца, ослабить притягательную силу коммунистических идей, нанести ущерб растущему и крепнущему мировому социализму, подорвать дело взаимопонимания и сотрудничества между народами.

Но те господа на Западе, которые усердно курят фимиам Солженицыну, вряд ли наживут на столь малопочтенном занятии какой-нибудь капитал. Слишком уж очевидны мерзостность и ничтожество этой фигуры — и в нравственном, и в политическом отношения. Уместно напомнить здесь дошедшие до нас из древности слова: «Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу». Так было и так будет.

Как известно, советская общественность, Союз писателей неоднократно предупреждали Солженицына о недопустимости его поведения, позорящего звание советского гражданина. Но Солженицын ничему не внял и ничему не научился. Он был и остался антисоветчиком и антикоммунистом, сознательно перешедшим в лагерь врагов мира, демократии и социализма. Он выступает в роли провокатора и подстрекателя, заклинающего империалистов проводить по отношению к СССР «политику силы».

Буржуазная пропаганда пытается представить Солженицына в роли некоего «страдальца», влачащего нищенское существование. Распространению этого мифа активно содействовал сам Солженицын, играя роль некоего юродствующего во Христе.

Но разве можно назвать бедствующим человека, который может позволить себе за короткое время купить три автомашины, приобрести дачу и — к слову говоря — содержать в Швейцарии собственного адвоката для контроля за своими банковскими счетами? Матерый делъга, делающий бизнес на своем антисоветизме, ловко разжигающий вокруг себя спекулятивный ажиотаж и извлекающий из него дивиденды,— таков подлинный облик этого отщепенца.

Буржуазная пропаганда пытается изобразить дело так, будто сочинения Солженицына не печатаются в Советском Союзе потому, что он-де пишет «правду» о некоторых драматических моментах в истории Советского государства, в особенности об имевших место незаконных репрессиях.

Это злонамеренная выдумка. Коммунистическая партия Советского Союза открыто подвергла бескомпромиссной критике связанные с культом личности нарушения социалистической законности, полностью восстановила ленинские принципы и нормы жизни в партии и в обществе, обеспечила дальнейшее развитие социалистической демократии.

В нашей стране издан ряд произведений, содержащих критику недостатков и ошибок прошлого, о которых идет речь, и советская общественность положительно восприняла эти произведения, потому что их авторы писали подлинную правду, не впадая в односторонность, не теряя чувства исторической перспективы.

Солженицын подходит к этим вопросам с прямо противоположных позиций. Он тщится доказать, будто нарушения законности были не отступлением от норм социалистического общества, а вытекали из самой природы социализма.

Понятно, что публикация его клеветнических произведений, направленных против социализма как общественной системы, против всего, что создано и утверждено созидательным творчеством советского народа, исключается в Советском Союзе.

Реакционность писаний Солженицына, его враждебность делу мира, социализма, взаимопонимания и дружбы между народами вызывают возмущение общественности братских стран социализма, печать которых разоблачает развернутую на Западе спекуляцию вокруг имени этого пасквилянта. Подлинная суть этой спекуляции становится все более очевидной и для широких общественных кругов многих стран, о чем убедительно свидетельствует резкая отповедь органам империалистической пропаганды, которая дается на страницах прогрессивных изданий во Франции, Англии, ФРГ, Австрии, США, Канаде и других государствах.

Солженицын удостоился того, к чему столь усердно стремился,— участи предателя, от которого не может не отвернуться с гневом и презрением каждый советский труженик, каждый честный человек на земле.

И. СОЛОВЬЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

12 февраля А.И. Солженицын был арестован и доставлен в тюрьму Лефортово: ни ему, ни его семье не сообщалось о его дальнейшей судьбе (лишь позднее писатель узнает, как до последнего колебались «наши»: высылка из страны или верхоянская ссылка), сутки его держали в неведении в камере, затем зачитали приказ о высылке и под конвоем отправили в аэропорт Шереметьево. Даже в самолете он не знал, куда летит. Самолет приземлился в ФРГ. 29 марта 1974 года к писателю в Швейцарию, куда он в это время перебрался, смогла выехать его семья. Из советских библиотек были изъяты все произведения Солженицына.

А мир тем временем читал «Архипелаг…». Книга печатается в Германии (тираж распродан за несколько часов), в Швеции; в европейской прессе раздаются призывы: «Руки прочь от Солженицына!»; за писателя вступаются Гюнтер Грасс и Генрих Бёлль. Е.Ц. Чуковская (едва книга вышла, в самиздате стала распространяться рецензия ее матери, Л.К. Чуковской, «Прорыв немоты»[13]) вспоминает: «Так случилось, что именно “Архипелаг” выполнил важнейшую миссию: книга была сразу прочитана. На Западе начали распадаться коммунистические партии — Франции, Италии, возникло движение “Дети Солженицына”... Это был могучий удар по мировому коммунистическому движению, представляющему огромную угрозу для жизни человечества. До сих пор у нас в стране не прошел суд над преступлениями коммунизма. Реакция, вызванная “Архипелагом ГУЛАГом”, была и остается таким единственным судом. Когда я прочитала “Архипелаг”, у меня было такое чувство, что я открыла книгу одним человеком, а закрыла ее — другим»[14].

Масштаб события сразу был замечен и оценен эмигрантской критикой. Никита Струве писал в «Вестнике РСХД»: «*Архипелаг* — книга воздаяния, суда, покаяния. В ней — мертвые встают с безумных строек, загубивших их, со дна подвалов и каналов, и взывают, как призраки в Ричарде III, о воздаянии. Страницы *Архипелага* — как скрижали страшного суда. “Вся правда сказана, и никому уже ее не стереть”»[15]. Михаил Геллер: «“Архипелаг ГУЛАГ” вбирает в себя все сказанное до него, расширяет, дополняет, углубляет, отвергает или принимает. Выбрав в качестве главной темы, в качестве точки отсчета — лагерь, важнейший симптом болезни государства и общества, А. Солженицын анализирует поведение больного… Описав историю Архипелага, Солженицын создал энциклопедию советского общества»[16]. В № 2 журнала «Континент» за 1975 год появилась рецензия на все три тома: «…это кусок истории, записанный пером художника... Это и свидетельство и обобщение разом, вернее, это показания свидетеля, одаренного драгоценной способностью видеть суть»[17]. Д. Пронин называет книгу «эпохальной», «так как она правильно изображает эпоху жизни нашей родины от октябрьского переворота до наших дней»[18]. Отец Александр Шмеман приводит отзывы на книгу левых французских интеллектуалов: «...невозможно узнать все это и продолжать жить!» — говорящие о том, что «сила солженицынского свидетельства подлинно всемирная»[19]. Журнал «Посев» приводит подробный обзор многочисленных рецензий в западной прессе на этот «документ времени»[20]. Иосиф Бродский писал: «Возможно, что через 2 тысячи лет чтение “ГУЛАГа” будет доставлять то же удовольствие, что

чтение "Илиады" сегодня. Но если не читать "ГУЛАГ" сегодня, вполне может статься, что гораздо раньше, чем через 2 тысячи лет, читать обе книги будет некому»[21].

В 1974 году А.И. Солженицын основал Русский общественный фонд помощи заключенным, действующий и по сей день: туда идут все гонорары от изданий и переизданий книги «Архипелаг ГУЛАГ».

Наталья Ликвинцева

---

[1] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 434–435.

[2] Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 604.

[3] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 287.

[4] Солженицын так об этом пишет: «Саша Андреев… вел себя геройски. Вадим Леонидович дрожал над этой книгой, даже закупил набор шрифтов, чтобы стать самому первым издателем "Архипелага" по-русски. А дальше у Карляйлей влипла наша капсула в сухой расчет — и многие годы американский текст "Архипелага" не был готов… Лежал "Архипелаг" на Западе — и как будто не лежал» (Там же. С. 501).

[5] Там же. С. 541–542.

[6] Там же. С. 316. Л. Сараскина пишет: «…в перестройку А.И. получит юридическое подтверждение ее самоубийства: повесилась на шнуре электропровода, без насилия» (Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 682).

[7] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 319.

[8] «Никита обещает издать Первый том рекордно быстро, в три месяца. Пишет: наборщик "Архипелага" со слезами сказал: когда я умру — положите эту книгу в мой гроб» (Там же. С. 558).

[9] Там же. С. 345–346.

[10] Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 688.

[11] См.: Соловьев И. Путь предательства // Правда. 1974. 14 января; Советская культура. 1974. 15 января. С. 8; Красное знамя (Томск). 1974. 18 января; Литературная Россия. 1974. 18 января. С. 14.

[12] См.: Литератор. Кому выгодна антисоветская шумиха: По поводу очередного пасквиля литературного власовца: [В связи с выходом книги «Архипелаг ГУЛАГ»] // Литературная газета. 1974. 16 января. С. 9; Кербель Л. Позор клеветнику; Захава Б. Без роду, без племени; Лебеденко П. Цена предательства; Сизко В. Гнев и презрение народа // Советская культура. 1974. 18 января. С. 8. (Письма читателей); Всеобщее презрение / ТАСС // Правда. 1974. 19 января; Приокская правда. 1974. 20 января; Красное знамя (Томск). 1974. 22 января; Михалков С. Саморазоблачение клеветника; Бровка П. Лишь бы очернить…; Гончар О. Кощунство; Абашидзе Г. Крайняя степень падения; Смирнов О. Политический слепец: [Примеч. ред.]; Светов Б. Рыбак рыбака видит издалека; [Б.п.]. Ничего удивительного: [Излож. ст. С. Лейрака «Сахаров вновь подает голос» из фр. газ. «Юманите»] // Литературная газета. 1974. 23 января. С. 9. (Отпор литературному власовцу); Отповедь отщепенцу / ТАСС // Правда. 1974. 23 января; Афанасьев Н. Отщепенец; Железнов П. Власовец от литературы; Заиков Г. Верх цинизма; Горев А.

Одно слово: предатель! // Вечерняя Москва. 1974. 25 января. (Позор и презрение); Иванов А. Докатился до края // Комсомольская правда. 1974. 25 января; «Осуждение предательства: [Письма в ред.] / Оганесян С.; Анисимов Б.; Нечаев А.; Ефименко В. и др.; [Б.п.]. Заявление Социалистического союза студентов Финляндии / [пер. с фин.] // Комсомольская правда. 1974. 27 января; Жилин П. Как Солженицын воспел предательство власовцев // Известия. 1974. 28 января (моск. веч. вып.); 29 января. См. подборку характерных отрывков из подобных статей: Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и док. об А.И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 439–443. Одна из публикаций в «Кировской правде» от 23 февраля 1974 г. под заголовком «Клеймим позором» подписана: «Учащиеся 1 "б" курса Слободского педучилища». Заканчивается она так: «Формально Солженицын считается гражданином нашей страны. А на самом деле это не советский человек, это предатель. Мы презираем его!»

[13] См.: Чуковская Л. Прорыв немоты // Слово пробивает себе дорогу. С. 454–455.

[14] Чуковская Е. Александр Солженицын: От выступления против цензуры к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГе // Между двумя юбилеями. 1998–2003: альм. М.: Русский путь, 2005. С. 369.

[15] Струве Н. Архипелаг ГУЛАГ // Вестник РСХД (Париж). 1973. № 108/110. С. IV.

[16] Геллер М. Возвращение памяти // Вестник РСХД. 1974. № 111. С. 94–95 (статья посвящена первому тому). О втором томе см.: Он же. Воскрешение духа («Архипелаг ГУЛАГ», ч. III и IV) // Вестник РСХД. 1974. № 112/113. С. 204–217.

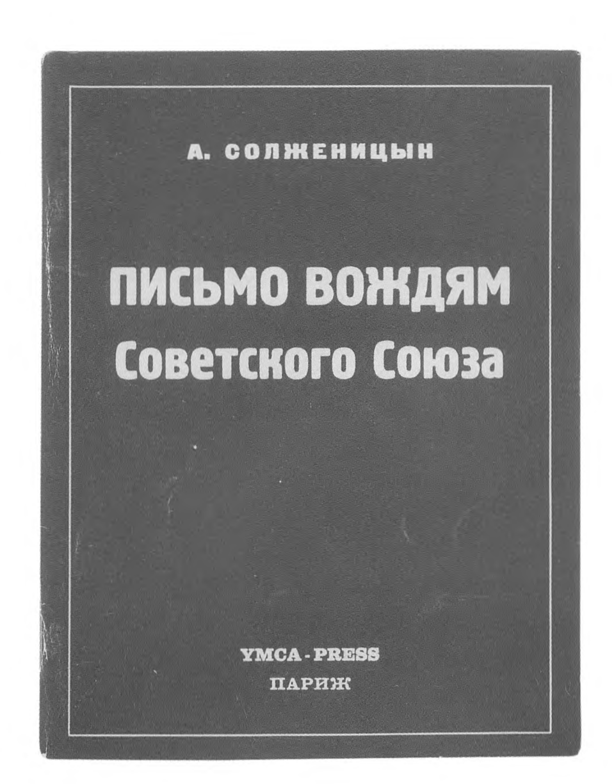
[17] [Б.п.] А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ // Континент (Париж). 1975. № 2. С. 472–473.

[18] Пронин Д. Второй том «Архипелаг ГУЛАГ» // Часовой (Брюссель). 1974. № 579 (9). С. 17.

[19] Шмеман А., прот. «Все было именно так…»: Вокруг «Гулага» // Зарубежье (Мюнхен). 1976. № 314. С. 38, 39.

[20] Из иностранной прессы: Мир о ГУЛАГе // Посев (Франкфурт-на-Майне). 1974. № 2. С. 6–11.

[21] См.: Бродский И. География зла // Литературное обозрение. 1999. № 1. С. 4–8. Статья 1977 года, была опубликована по-английски: Brodsky J. The Geography of Evil. Review of From Under the Rubble by A. Solzenicyn et al; The Gulag Archipelago III, IV by A. Solzenicyn; On Socialist Democracy by R. Medvedev // Partisan Review. 1977. Vol. 44, № 4. (Winter.) P. 637–645.



80

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

Письмо вождям Советского Союза

/ Александр Солженицын. — Париж: YMCA-Press, 1974. — 51 с.; 16×12 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

YMCA - PRESS

А.И. Солженицын вспоминал, как летом 1973 года написалось это, «толчком родившееся, никогда прежде не задуманное “Письмо вождям”»: «И так сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной посыпались соображения и выражения, что я на два дня в начале августа должен был прекратить основную работу и дать этому потоку излиться, записать, сгруппировать по разделам. Все эти статьи легко и быстро писались потому, что это была как бы уборка урожая — использование накопленных текущих и беглых заготовок, естественное распрямление»[1]. Время словно сгустилось, сконцентрировав в себе важные события в жизни писателя. 29, 30 и 31 августа он пишет «Письмо вождям...», еще не зная о том, что КГБ уже захватил экземпляр «Архипелага ГУЛАГа». Первые, еще не точные вести об этом доходят до него 1 сентября, окончательно узнает он о провале главной книги своей жизни 3 сентября: «3-го вечером я узнал, тут же с Алей мы решались, накануне ее родов, третьего нашего сына; 5-го вечером посылал не только извещение о взятии “Архипелага” — но распоряжение: немедленно печатать!.. И в тот же день — послал и “Письмо вождям”»[2]. Именно эта дата: 5 сентября 1973 — и стоит под опубликованным вариантом «Письма...».

Это один из характернейших образцов солженицынской публицистики: прямое обращение к партийным лидерам, проникнутое болью за родину: «Это письмо родилось, развилось из единственной мысли:

как избежать грозящей нам национальной катастрофы?»[3]; попытка вызвать если не на диалог, то хотя бы на мысль о будущем России и о необходимости реформ. Еще в предисловии автор оговаривает, что его заботит прежде всего судьба русского и украинского народов как наиболее пострадавших от советского режима: их будущее и составляет предмет мысли автора. В первых главах Солженицын описывает и подробно разъясняет «вождям» две главные опасности, стоящие в данный исторический момент перед страной: это война с Китаем и экологическая катастрофа, «гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли». Выходом, по его мнению, будет перенос взгляда с внешних задач на внутренние, отказ от внешней экспансии (в том числе и от опеки над Восточной Европой, и от насильственного удержания окраинных наций, от имперской идеологии) в пользу внутреннего развития страны. Здесь главными моментами становятся: освоение русского Северо-Востока, отказ от технологии гигантизма (построение «рассредоточенных городов, мягких для человека»[4]), отказ от марксистко-ленинской идеологии, ставшей главным тормозом в развитии страны (предлагается лишить ее государственной поддержки: пусть существует наравне и в соревновании с другими теориями), от вражды к религии. В главе «А как это могло бы уложиться?» Солженицын, называя «вождей» реалистами, предполагает, что они ни за что не откажутся от власти и не согласятся на мгновенный переход к многопартийной парламентской демократии. Вспоминая об опасности революций как насильственного свержения одной власти и замены ее другой, автор предлагает «реалистический» выход: постепенный переход к демократии через «авторитарный строй», при котором руководство страны сохранит всю пирамиду власти, но немедленно начнет экономические и социальные реформы.

Письмо тогда же было передано в Кремль: «Лишь через 20 лет подлинник этого письма был обнаружен в архиве Политбюро с пометками его членов. Эти пометки свидетельствовали, что сам генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев прочитал письмо Солженицына в октябре 1973 года и вновь просматривал его в декабре того же года»[5]. Никакого ответа автор, конечно, не получил. Сначала он решил сразу же напечатать письмо на Западе. «Каналом» для передачи текста послужил на этот раз один из верных друзей-иностранцев, шведский журналист Стиг Фредриксон. Этот канал писатель называл Великим Северным Путем (ВСП): Стиг передавал рукописи через дипломатические почты разных стран, а с Солженицыным у него была отлаженная система связи. По договоренности они встречались в заранее условленном месте каждые десять дней, а на случай экстренной надобности был придуман «ошибочный звонок»: Александр Исаевич звонил Стигу рано утром, до прихода советской секретарши, и спрашивал: «Скажите, это химчистка?» или «Скажите, это бюро заказов гастронома?» Узнанный голос и был сигналом к внеочередной встрече. Солженицын так вспоминает об этой сентябрьской «передаче»: «...все было удачно — и такой “ошибочный” звонок из пригородной тесноты Ленинградского вокзала, и сама встреча. Вечером с тройной осторожностью я долго путал: с дачи уходил другими переулками, в метро делал пересадки на быстро пустеющих станциях... В этот

вечер… я что-то много передал: и известие об “Архипелаге”, и “Письмо вождям”, и много распоряжений на Запад, и пленку свою какую-то»[6].

По первоначальному замыслу «Письмо…» должно было выйти на Западе ровно через двадцать пять дней после появления из печати первого тома «Архипелага…»: поскольку том вышел даже раньше, то срок перенесся с 31 января на 22-е. Однако когда началась вызванная «Архипелагом…» буря, газетная травля писателя, кампания по его дискредитации, мягкий, увещевательный тон обращения к власти в письме мог показаться уступкой и попыткой пойти на попятный. Жена советует Солженицыну дать время власти подумать над «Письмом…»[7]; один из «невидимок», А.А. Угримов, «предупреждает, что на Запад оно подействует отталкивающе»[8]. Тогда Солженицын решил отложить выход на Западе «Письма вождям…»: 10 января со случайной оказией он отослал в Париж сообщение об этом. Письмо опоздало, но весть удалось передать в издательство условным телефонным звонком, и в последний момент уже запущенную в набор книгу успели остановить. 11 февраля 1974 года, ожидая ареста и готовя вещи для тюрьмы, в ночную бессонницу писатель вносит окончательную правку в текст письма — снимает «прежний уговорительный тон»[9]: «…последние поправки остались при аресте на моем письменном столе в Козицком переулке (но Аля уже сумела, вот, дослать их Никите Струве)»[10]. И когда уже в тюрьме Солженицына обряжают в костюм, у него появляется проблеск надежды: может, *они* все же решились пойти на диалог, поговорить? Но вместо разговора — высылка. И уже в Цюрихе, еще без семьи, писатель дает сигнал печатать «Письмо…». Книга выходит в Париже в начале марта и сразу вызывает бурную полемику в западной, эмигрантской и самиздатской прессе.

«А для Запада, — пишет Солженицын, — теперь это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и социалистического героя… Спасли меня — а я, оказывается, нисколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры, и даже с давностью полгода. Так я — не единомыслящий Западу, а то и противник? Кого ж они спасали? И после близких недавних восторгов — полилась на меня уже и брань западной прессы, крутой же поворот за три недели!.. Не резче ли всех хлестала “Нью-Йорк таймс”, отказавшаяся мое “Письмо” печатать? Но прослышав от Майкла Скеммела, что внесены какие-то поправки, добыла у простодушного Струве именно список поправок и напечатала не само письмо, а только поправки, раздувая скандал»[11].

Из критических отзывов о книге одним из самых интересных стал развернутый отклик А.Д. Сахарова, переданный из Москвы в Нью-Йорк по телефону[12]. Начав с того, что «Солженицын, несомненно, является одним из самых выдающихся писателей и публицистов современности»[13], ученый переходит к критике тех моментов, которые вызывают у него «беспокойство и чувство неудовлетворенности»: это сфокусированность внимания на страданиях и жертвах именно русского народа, переоценка роли марксистской идеологии в современном советском обществе, которое к ней индифферентно и использует ее лишь в качестве «фасада», драматизация ситуации с китайской угрозой. Разбирая по пунктам программу

Солженицына и частично с ней соглашаясь, Сахаров особенно горячо возражает против идеи о временной необходимости авторитарного строя: «Я считаю единственным благоприятным для любой страны демократический путь развития. Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не национальным здоровьем»[14]. Академик опасается, как бы не появились у писателя последователи — практические политики с националистическими и антизападными идеями: «Попав на подобную благодатную почву, ошибки Солженицына могут стать опасными»[15]. Солженицын ответил Сахарову сборником «Из-под глыб»[16] и статьей «Сахаров и критика "Письма вождям"»[17].

Полемика, развернувшаяся в «тамиздате», почти всегда принимала во внимание обе позиции спорящих сторон. В. Поремский в статье «Две перспективы» писал, что подходы обоих авторов значительны: «Это различие — свидетельство живительного проявления разномыслия и тем самым чувствительный удар по системе, которая поставила себе целью установление единомыслия на вечные времена»[18]. Разница мнений обусловлена главным образом тем, что Сахаров исходит из «расчета ближнего прицела», тогда как «путь, начертанный Солженицыным, более соответствует сравнительно дальним перспективам»[19]. М. Агурский в статье «Международное значение "Письма вождям"» подчеркивал, что писатель разрушает «догмы интеллигенции». По его мнению, программа Солженицына конструктивна, и, если бы она была реализована, «выиграли бы не только народы СССР, но и народы всего мира»[20]. Журнал «Континент» напечатал польскую статью «Как я понимаю "Письмо вождям"», анализирующую западную реакцию на книгу. Автор считал, что «Солженицына прочитали неверно, в западной печати цитировали, не заботясь о передаче сущности его взглядов и стремлений, всячески, однако, стараясь представить дело в самом сенсационном свете»[21].

В самиздате появился целый сборник откликов на книгу (четырнадцать статей) — «Что ждет Советский Союз?» (М., 1974), подробный обзор которого был опубликован в самиздатовской же «Хронике текущих событий» (вып. 34 от 31 декабря 1974).

Наталья Ликвинцева

---

1 Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 313.

2 Там же. С. 320.

3 Солженицын А.И. Письмо вождям Советского Союза. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 5.

4 Там же. С. 33.

5 Медведев Р. Андрей Сахаров и Александр Солженицын // Медведев Ж., Медведев Р. Солженицын и Сахаров. Два пророка. М.: Время, 2005. С. 23. Л. Сараскина так описывает реакцию ЦК: «"Письмо вождям" было взято в работу только через месяц, в конце сентября 1973 года. Сначала с ним, по указанию Суслова, ознакомились

только Косыгин, Подгорный и Андропов. 4 октября появилась резолюция Брежнева: "Ознакомить членов ПБ (вкруговую)". К концу декабря появилась еще одна резолюция генсека: "Мы обсуждали вопрос о Солженицыне по частям на нескольких заседаниях ПБ — считаю, что необходимо, чтобы все товарищи прочли его письмо". На документе расписались все до единого члены ПБ, но автору "Письма" никакого ответа никогда не было» (Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 683 (примеч.)).

[6] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. С. 570.

[7] «"Письмо вождям" я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: это бессмысленно и убивает промиль надежды, что внимут, а сразу как пропаганда, дай им подумать в тиши! Дал. "Письмо завязло", как крючок, далеко закинутый в тину. Закинутый, но потянем же и его» (Там же. С. 320).

[8] Там же. С. 559. Солженицын писал: «Не задержи мы "Письма" — кончилось бы со мной скорее тюрьмой, а не высылкой за границу: никто б меня на Западе тогда не отстаивал» (Там же).

[9] Там же. С. 361.

[10] Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть первая (1974–1978) // Новый мир. 1998. № 9. С. 61.

[11] Там же. С. 63–64.

[12] Сахаров А. О письме А. Солженицына «Вождям Советского Союза», 3 апреля 1974. Нью-Йорк: Хроника, 1974; То же: Сахаров А. О стране и мире. Нью-Йорк: Хроника, 1976. С. 109–120.

[13] Там же С. 109.

[14] Там же. С. 116.

[15] Там же. С. 119.

[16] Из-под глыб: сб. ст. Париж: YMCA-Press, 1974.

[17] См.: Солженицын А.И. Публицистика: в 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1995. Т. 1: Статьи и речи.

[18] Поремский В. Две перспективы // Посев. 1974. № 6. С. 32.

[19] Там же. С. 36.

[20] Агурский М. Международное значение «Письма вождям» // Вестник РСХД. 1974. № 112/113. С. 225.

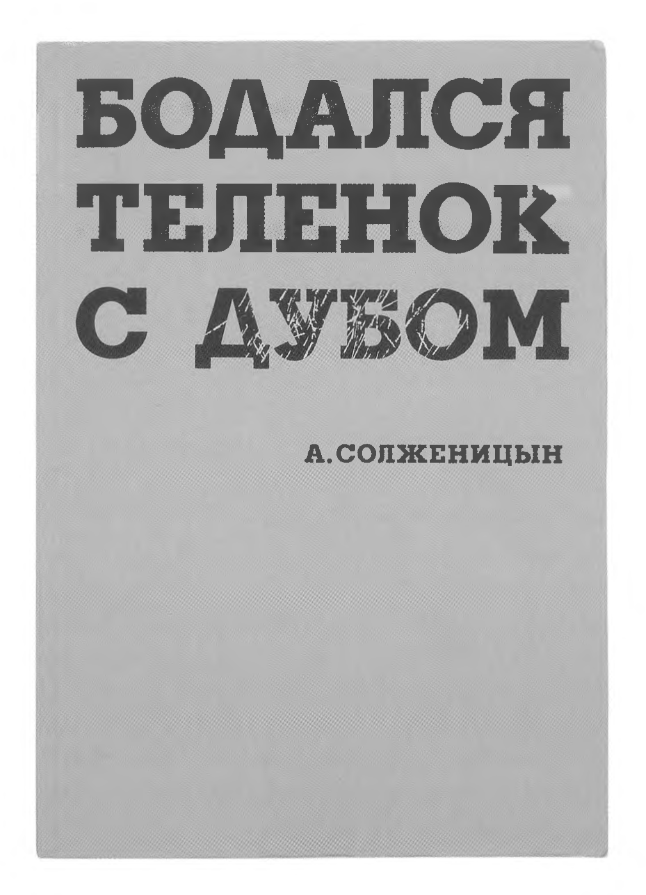
[21] Голос из Варшавы. Редакция журнала «Культура». Как я понимаю «Письмо вождям» // Континент. 1974. № 1. С. 247.

81

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.

Бодался теленок с дубом:
Очерки литературной жизни

/ Александр Солженицын. — Париж: YMCA-Press, 1975. — 629 с.; 20×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Экземпляр с автографом автора на титульном листе: «Доктору Светлане Андреевне Аникеевой с признательностью. 29.11.95. А. Солженицын».



«Бодался теленок с дубом» — одна из самых необычных мемуарных книг XX века. Необычность ее напрямую связана с историей ее создания: это не только и не столько воспоминания о литературной жизни и окружающих людях, сколько удивительное сочетание почти дневниковой фиксации этой жизни с работой памяти, предполагающей уже спокойное обдумывание и осмысление событий; это также хроника борьбы писателя со всей громадой власти, схватки не на жизнь, а на смерть, даже по форме очень напоминающая военные хроники. Первая часть очерков, составившая основу книги, была написана весной 1967 года на даче, в Рождестве-на-Истье, перед письмом автора IV съезду советских писателей, понимаемым им как смертельный выпад в борьбе. Солженицын пояснял: «Я потому только писал, что еще несколько дней — и разлетится мое письмо съезду, и не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам. И больно, что это никем потом не распутается, не объяснится. Не я весь этот путь выдумал и выбрал — за меня выдумано, за меня выбрано. Я — обороняюсь. Охотники знают, что подранок бывает опасен»[1].

Необычный характер книги, соединившей в себе и писательский дневник, и хронику битвы, повлиял на ее форму: тесно связанная с ходом самой жизни, по мере развития событий она требовала все новых и новых дополнений и продолжения сюжета. Так были последовательно написаны три Дополнения: в ноябре 1967-го, феврале 1971-го и декабре 1973-го, созданные в промежутках между основной работой над Узлами «Красного Колеса». Солженицын писал: «Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаешь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом, и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей — как велика будет и куда пойдет. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть ее, можно продолжать, пока жизнь идет, или пока теленок шею свернет о дуб, или пока дуб затрещит и свалится. Случай невероятный, но я очень его допускаю»[2]. Главным Дополнением, которое уже тогда зрело в авторском замысле, но которое писатель до высылки не считал возможным даже записать, чтобы не повредить живым и бескорыстно помогавшим ему людям, была будущая глава «Невидимки», которая станет одной из принципиально важных частей книги, но увидит свет на родине лишь после крушения «дуба» советской власти[3].

После выхода «Архипелага…», ставшего кульминацией описанной в книге борьбы, автор оказывается в изгнании. Биограф Солженицына Людмила Сараскина пишет: «Рассказ о том, как силой уводили его из квартиры, как везли в Лефортово и там предъявили обвинение по расстрельной 64-й статье УК (измена родине), как держали в тюремной камере еще ночь и день, как прочитали указ о высылке, переодели в казенное и доставили в аэропорт "Шереметьево", как под усиленным конвоем завели в самолет, как летели (а он до самого конца не знал куда) и как выпустили наружу одного, составит самые драматические, самые захватывающие страницы "Теленка". Солженицын напишет об этом в изгнании, четыре месяца спустя как о еще свежей ране»[4]. Добавив в текст Четвертое дополнение «Пришло молодцу к концу», описывающее эти драматические события (а Пятое, о Невидимках, уже написанное, ощущаемое как насущно необходимое, но пока невозможное в печати[5], отложив до лучших времен), писатель и решается издать эту книгу: она выходит в Париже, в издательстве «YMCA-Press» в феврале 1975 года.

Неизбежность бурной реакции на книгу, содержащую воспоминания о ныне живущих людях, предвидел и сам автор. В «Угодило зернышко промеж двух жерновов» он пишет: «"Теленок", как он дописался после высылки, должен был появиться вот-вот. Есть много опасностей — и творческих, и личных (а на Западе — и судебных, как выяснилось) — в печатании слишком свежих воспоминаний, в том числе и потеря пропорций, и потеря дружб. Л.К. Чуковская отозвалась "по левой" из Москвы, что это ошибка моя была, мемуары не должны так печататься, надо всему остыть. Другие приятели из Москвы шутили, что я "оставляю своим будущим биографам выжженную землю" (и в шутке есть правда: пока вот успеваю не оставить прожитого в хламе). А я считаю: тут верный срок угадан. "Теленку" никак было невозможно остывать, это не мемуары,

а репортаж с поля боя. Вот нынешнему второму тому Очерков придется, наверно, полежать и полежать»[6].

Одним из таких спорных моментов, вызывающих возражения и обиды, стал нарисованный писателем образ редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского: Солженицын рисует поэта с любовью, но при этом дает портрет реального, живого человека, с его слабостями, сложностями характера и исканиями. Он не скрывает от читателя споров и подчас полного несовпадения своих литературных и тактических позиций с представлениями человека, много сделавшего для литературы, но остающегося последовательным коммунистом, верящего в возможность «социализма с человеческим лицом». Обиженная дочь Твардовского Валентина 11 июля 1975 года опубликовала в газете итальянских коммунистов «Унита» полное возмущения открытое письмо Солженицыну. Позднее спор с Солженицыным за Твардовского продолжит и один из редакторов «Нового мира», заведовавший там в 1960-е годы отделом критики Владимир Лакшин: в 1977 году в опубликованном в Лондоне альманахе «Двадцатый век» выйдет его статья «Солженицын, Твардовский и “Новый мир”»[7].

Полемичностью книги о теленке не преминул воспользоваться и сам дуб, с которым теленок так упрямо бодался. Л. Сараскина приводит реакцию властей: «“Публикация пасквиля “Бодался теленок с дубом”, — торжествовал Андропов, — в котором Солженицын допустил оскорбительные выпады в адрес известных советских писателей и творческой интеллигенции в целом, способствовала окончательной дискредитации пасквилянта даже перед теми, кто ранее оказывал ему практическую помощь и поддержку. Характерно в этом отношении резко осуждающее Солженицына открытое письмо дочери А. Твардовского, которое опубликовано в газете “Унита” и получило одобрительную оценку со стороны известных советских писателей”. Письмо в “Унита” Андропов назвал… “мероприятием по дискредитации Солженицына и его антисоветских сочинений”; правда, ему была важна не столько оценка личности главного редактора “Нового мира”, сколько то, что его дочь ... “обвиняет Солженицына в гипертрофированном самомнении и попытках трактовать мировые события “сквозь призму своей предназначенности”»[8].

«Военный» характер этих необычных мемуаров, упоенность автора своей борьбой вызывает критический отклик и у одного из самых вдумчивых читателей Солженицына, написавшего целый ряд глубоких и восторженных статей о его творчестве, — отца Александра Шмемана. 16 февраля 1975 года он заносит в дневник свое письмо-отзыв к Никите Струве: «Вчера весь день, не отрываясь, читал — и прочел — “Теленка”. Впечатление очень сильное, ошеломляющее и даже с оттенком испуга. С одной стороны — эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор — восхищают… Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига… С другой же стороны — пугает этот постоянный расчет, тактика… Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего — своей потрясающей интересностью. Мне же после нее еще страшнее за него… Или все же это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир?»[9]

Тут же стали появляться рецензии и в «тамиздатской» печати. Один из крупнейших критиков русского зарубежья Роман Гуль писал в «Новом журнале»: «Основное чувство, овладевающее при чтении “Теленка”, это прежде всего удивление духовной (да и физической) *силе* Солженицына. Ведь “Теленок” — это эпопея борьбы одиночки-писателя Солженицына со всей тоталитарной левиафановской властью большевицкого полицейского государства… страшная эпопея этого невероятного духовного сопротивления — всему ленинскому государству — писалась в самой берлоге этой державы-концлагеря, зовущегося — СССР… Без преувеличения надо установить: *ТАКОЙ* книги в мире не появлялось. И в этом непреходящая историко-литературная ценность “Теленка”»[10]. Рецензия появилась и в «Континенте»: «Богатый отчет! По-солженицынски ярко обрисован в нем литературный — да и не только литературный — мир нашего последнего десятилетия». Автор видит в рецензируемой книге «материал, не только призывающий к борьбе, но указующий и ее основной тактический принцип: не ремонтировать, не разряжаться и не искать компромиссов, а БОДАТЬ и БОДАТЬ!»[11] В журнале «Часовой» появились сразу две рецензии. В. Ингул: «...хочется сказать несколько слов о самом авторе книги, об этом исключительном явлении в русской жизни. Кто он такой, этот человек?.. Новый Ермоген, воскресший из пепла Аввакум?.. Или нечто совсем новое, небывалое еще на русской земле? Общее, что роднит Солженицына с подвижниками-страстотерпцами земли русской, — это, конечно, мужество, бесстрашие, непоколебимость в своих убеждениях...»[12] Н. Кремнев: «Несомненно, что эта книга является детальным свидетельством для будущих историков Советского Союза не только страшного угнетения русской литературы, но даже и свободной человеческой мысли»[13]. В 1977 году в «Вестнике РХД» вышла развернутая статья Ф. Светова «Разделение», полемизирующая со статьей В. Лакшина и сравнивающая форму «Теленка» с романом, в центре которого взаимоотношения Солженицына и Твардовского, — различие и противостояние их и оказывается залогом художественной гармонии книги: «...два столба, подпирающих все здание произведения, создающих в своем противостоянии художественную гармонию...»[14]

Наталья Ликвинцева

---

[1] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 165.

[2] Там же. С. 189.

[3] Это Пятое дополнение Солженицын стал писать (уже не только мысленно, а на бумаге) сразу же после высылки, как самую насущную потребность ощущая желание выразить «невидимкам» переполнявшую его благодарность. После воссоединения с семьей летом 1974 г. писалось Четвертое дополнение «Пришло молодцу к концу», об аресте и высылке. И затем, после завершения работы над Четвертым дополнением, летом 1975 г. писатель продолжил работу над «Невидимками».

[4] Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 694.

[5] Уже в феврале 1971 г. автор пишет во Втором дополнении: «И первое, что вижу: не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки. Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный — как это я не переломлюсь? как это я выстаиваю в одиночку, да еще и махинную работу проворачиваю, когда-то ж успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и цитаты проверять, и старых людей опрашивать, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать, — выходят книга за книгою в Самиздат (а через одну и в запас копятся), — какими силами? каким чудом? И миновать этих объяснений нельзя, а назвать — еще нельзее. Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит — допишу» (Бодался теленок с дубом. С. 187).

[6] Солженицын А.И. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Часть первая (1974–1978) // Новый мир. 1998. № 9. С. 102.

[7] Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир»: (Писатель, редактор и журнал) // Двадцатый век: Общественно-политический и литературный альманах. Лондон, 1977. № 2. С. 151–218. Полемика продолжится в 1989–1990 гг., с выходом произведений Солженицына на родине: за солженицынскую позицию вступится, в частности, писатель Б. Можаев. См.: Лакшин В. Еще о Твардовском и Солженицыне: Как разгоняли «Новый мир» — полемические заметки участника событий // Аргументы и факты. 1989. 30 декабря – 1990. 5 января. С. 4–5; Гусев В. Дух дышит // Литературная Россия. 1990. 26 января. С. 16; Можаев Б. Каинова печать и нательный крест: Письмо в редакцию // Аргументы и факты. 1990. 26 января. С. 5; Лакшин В. В запале полемики // Вечерняя Москва. 1990. 28 февраля; [Б.п.] По следам одной публикации // Аргументы и факты. 1990. 30 марта / 6 апреля. С. 4; Можаев Б. Еще о Каиновой печати и нательном кресте: Об авторе «Архипелага», о судьбе книги «Бодался теленок с дубом» и прочих «старых историях» // Книжное обозрение. 1990. 6 апреля. С. 5, 7.

[8] Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 724–725.

[9] Шмеман А., прот. Дневники. 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 153.

[10] Гуль Р. А.И. Солженицын в СССР и на Западе // Новый журнал (Нью-Йорк). 1975. № 120. С. 235.

[11] [Б.п. Рец.:] А. Солженицын. Бодался теленок с дубом // Континент (Париж). 1975. № 4. С. 471, 472.

[12] Ингул В. [Рец.:] «Бодался теленок с дубом» // Часовой (Брюссель). 1975. № 590/591. С. 15.

[13] Кремнев Н. [Рец.:] «Бодался теленок с дубом» // Там же. С. 17.

[14] Светов Ф. Разделение...: (После «Очерков литературной жизни» А. Солженицына «Бодался теленок с дубом») // Вестник РХД (Париж; Нью-Йорк; М.). 1977. № 121. С. 203–204.



82

Жить
не по лжи.
Август 73 –
февраль 74:
[Сборник материалов]

Самиздат — Москва. — Париж: YMCA-Press, 1975. — 203, [5] с.; 19,5×13,5 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.

YMCA - PRESS

Статью «Жить не по лжи!» А.И. Солженицын писал в 1972 году, снова возвращался к ней в 1973-м — окончательный вариант текста был готов к сентябрю. Сначала автор думал обнародовать ее одновременно с «Письмом вождям…», но жизнь вносила поправки: в сентябре 1973-го писатель узнал, что КГБ схватил «Архипелаг ГУЛАГ», и с риском для жизни принял решение его обнародовать — печатать за рубежом. Тогда же было решено отложить статью «Жить не по лжи!» как запасной выстрел, на случай ареста или смерти: текст воззвания был заложен в несколько тайных мест с уговором — в случае ареста «пускать» через сутки, уже не ожидая более никакого подтверждения от автора.

Вот как описывает писатель чувства жены на следующий день после своего задержания 12 февраля, когда еще ничего не было известно о его дальнейшей судьбе: «Да не постираешь долго, набегают вопросы, а голова помраченная. Что делать с Завещанием-программой? А — с “Жить не по лжи”? Оно заложено на несколько стартов, должно быть *пущено*, когда с автором случится: смерть, арест, ссылка. Но — что случилось сейчас? Еще в колебании? еще клонится? Еще есть ли арест? А может,

уже и не жив? Э-э, если уж *пришли*, так решились. Только атаковать! *Пускать!* И метить вчерашней датой. (*Пошло* через несколько часов.) Тут звонит из Цюриха адвокат Хееб: "Чем может быть полезен мадам Солженицыной?" Сперва — даже смешно, хотя трогательно: чем же он может быть полезен?! Вдруг просверкнуло: да конечно же! Торжественно в телефон: "Прошу доктора Хееба немедленно приступить к публикации всех до сих пор хранимых произведений Солженицына!" — пусть слушает ГБ!..»[1] Наталия Дмитриевна «приняла истинно солженицынское решение — *атаковать*»[2]: воззвание писателя, его призывное обращение к соотечественникам тут же вышло в самиздате, помеченное датой ареста — 12 февраля 1974 года. В ту же ночь, с 12 на 13 февраля, через иностранных корреспондентов оно было передано на Запад.

Это одна из самых пламенных статей Солженицына, которая, как искра, способна разжечь большое пламя. Удивительное «мы» уже в самом обращении, речь, где перемежаются хлесткая критика, пламенный призыв и горячая надежда на то, что каждый может найти в себе силы и внутреннее достоинство жить по совести, соединяет автора-бунтаря со всеми его читателями вместе и с каждым в отдельности. Эффект распрямления, внутреннего освобождения начинается с первой же строчки воззвания: «Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот читаем Самиздат…» Открывается путь: «наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости»: путь личного неучастия во лжи, круговой порукой сковавшей общество, поддерживающей бесправие и насилие. «Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся: пусть владеет *не через меня*!» Не писать и не подписывать того, что содержит ложь; не произносить ложных фраз даже в частной беседе; не пользоваться «руководящими» цитатами; не ходить против воли на митинги и демонстрации; покидать те места, где звучит ложь; не покупать и не читать лживых газет и книг. Да, можно лишиться работы, да, это трудный путь, но при этом — «самый легкий из возможных», путь освобождения, уже сейчас начинающегося и захватывающего каждого отзывчивого читателя.

Статья быстро была издана в периодике — и зарубежной, и «тамиздатской»[3]. А в 1975 году в издательстве «YMCA-Press» выходит сборник «Жить не по лжи», как бы подводящий итог неравной борьбе писателя с властью, посвященный выходу в свет «Архипелага ГУЛАГа» и последствиям появления книги. Аннотация, тут же появившаяся в «Гранях», сообщает: «Этот сборник делится на пять частей: "Архипелаг ГУЛАГ" выходит в свет; Травля; Арест; Изгнание; Перечень бесцензурных документов… В нем, с одной стороны, помещены материалы — обращения, письма, интервью и т. д., — направленные на защиту писателя, с другой — выдержки из советской прессы и высказывания различных деятелей, поддерживающих мнение советской власти о Солженицыне и его творчестве»[4]. Венчала сборник, с его свидетельствами о борьбе правды и лжи, солженицынская статья «Жить не по лжи!». Вышедший вначале в самиздате, парижский сборник носил необычное, двойное указание на место издания: «Самиздат – Москва. YMCA-Press, Париж».

Отзыв В. Ингула на книгу сразу появился в журнале «Часовой». Рецензент писал: «Хоть и трудно в условиях тотальной несвободы жить не по лжи, но все же возможно, как это доказало движение инакомыслящих под советским небом. Пусть не много их, отринувших ложь, пусть навешивают на них ярлык шизофреников, но факт остается реальностью: жить, не принимая участия в залившей всю страну лжи, все же возможно. Призыв Солженицына жить не по лжи — это действенный призыв к свободе, подготовительный путь к ней, и он, конечно, "для засидевшихся нас будет нелегок"»; «Раздавлены и искалечены духовно народы России, и только чудом можно назвать такие явления, как Солженицын, Сахаров, Шафаревич и другие, не согнувшие своих спин перед жестокой деспотией»[5].

В заключение приведем еще одно удивительное свидетельство о том, как солженицынский призыв «жить не по лжи» стал толчком к внутреннему росту и освобождению человека. Это — слово священника Иоанна Привалова, настоятеля храма Сретения Господня в селе Заостровье Архангельской области. Он вспоминает, как солженицынский призыв привел его к Богу, в Церковь, к священству, определил его судьбу и призвание:

«Моя первая встреча со словом Александра Исаевича произошла летом 1989 года. В то время я, восемнадцатилетний молодой человек, находился в поисках духовной жизни и еще не был до конца уверен в том, есть Бог или Его нет. Эта реальность то приоткрывалась мне, то закрывалась. Я склонялся к тому, что Бог есть, но нужен был пример конкретного человека, который показал бы мне веру "из дел своих". Спросить было не у кого. О Солженицыне я тогда ничего не знал, кроме того, что нам говорили на политинформациях, а именно: что "это человек с большим талантом, но возомнивший о себе, впавший в критиканство, обиды и высланный за это на Запад". Первый материал, который мне удалось прочитать, был опубликован в газете "За рубежом". Это была перепечатка одного "западного" интервью. Как только я к нему прикоснулся, тут же почувствовал голос глубокой правды. Я уже не помню, спрашивали там Александра Исаевича о вере или нет, — это неважно. Его слово было исполнено веры в присутствие Божье в нашей жизни… Его тон — это тон Правды. Сила его слова раскрепощает меня и освобождает от глубинного страха. Так Солженицын становится *моим* "учителем жизни" на несколько лет.

Мысль о том, что нужно "жить не по лжи", сопровождает меня всюду, в том числе и тогда, когда я переступаю пороги храмов, и тогда, когда я устраиваюсь на постоянную работу в церковь в качестве сторожа и дворника. Меня вдохновляет и удивляет жизнь "невидимок" — их опыт слаженной жизни в сотрудничестве и служении Правде и Истине. Я улавливаю в их опыте отголоски первохристианства, той общинно-братской жизни, которую ищу в церкви и никак не могу найти. Слово, образ, пример Солженицына побуждают меня не допускать праздности, особенно тогда, когда открываются язвы современного церковного общества. Солженицын показывает, что "и один в поле воин", поэтому не нужно дожидаться, что кто-то другой будет решать проблемы твоей и окружающей тебя жизни…

…Само наше братство в определенном смысле является отголоском явления Солженицына. Это братство воспринимает, реципиирует творчество Александра Исаевича не тем, что хочет превратиться в клуб его почитателей, а тем, что хочет жить не по лжи, т. е. хочет жить в *настоящей* реальности, где миражи теряют свою власть над людьми»[6].

Наталья Ликвинцева

---

[1] Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 388–389.

[2] Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 699.

[3] 18 февраля 1974 г. статью опубликовала лондонская «Дейли экспресс» («Daily Express»). По-русски она появилась в парижском журнале «Вестник РСХД», см.: Солженицын А.И. Жить не по лжи // Вестник РСХД. 1973 [реально вышел в 1974]. № 108/110. С. 1–3. То же: Новое русское слово (Нью-Йорк). 1974. 16 марта; Русская мысль (Париж). 1974. 21 марта. С. 3; Посев (Франкфурт-на-Майне). 1974. № 3. С. 8–10.

[4] Грани. 1975. № 97. С. 281. Краткая аннотация опубликована в рубрике «Коротко о книгах».

[5] Ингул В. Жить не по лжи // Часовой (Брюссель). 1975. № 592. С. 11, 12.

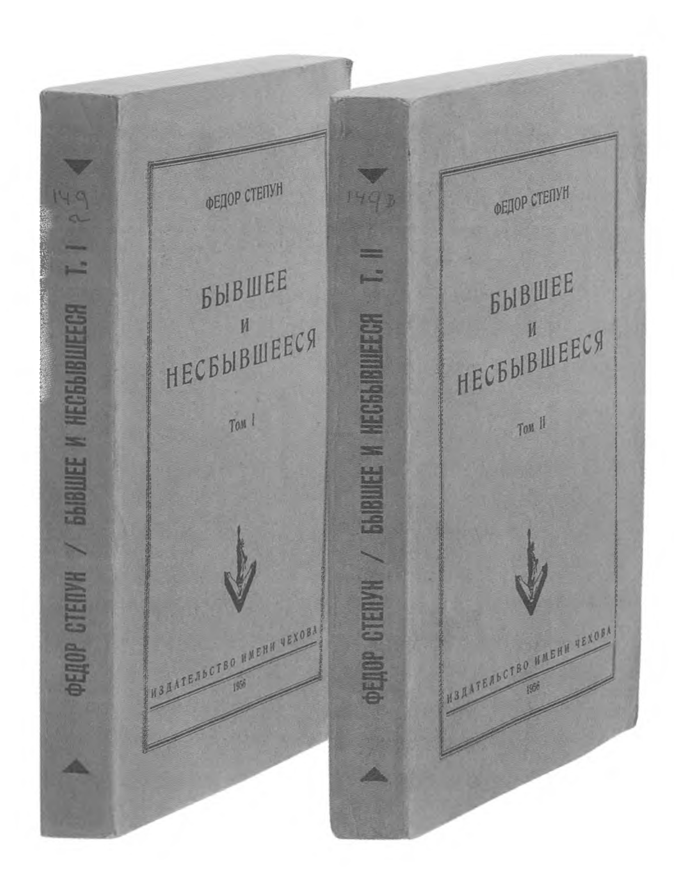
[6] Иоанн (Привалов), свящ. Явление Солженицына и опыт его церковной рецепции // Между двумя юбилеями. 1998–2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: сб. / сост. Н.А. Струве и В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 534–535, 540.

83

СТЕПУН Ф.А.

Бывшее и несбывшееся: [в 2 т.]

/ Федор Степун. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — Т. 1. — 398 с. — Т. 2. — 432 с.; 21,5×14 см. Каждый том в шрифтовой двухцветной издательской обложке.





Русский философ и литератор Федор Августович Степун (1884–1965) родился в Москве, детство провел в имении родителей в Кондрово Калужской области, где его отец занимал пост директора писчебумажной фабрики. Закончив по настоянию отца реальное училище Св. Михаила (Москва), Степун в качестве вольноопределяющегося отбыл воинскую повинность. С 1902 по 1909 год он изучал философию в Гейдельбергском университете, где его научным руководителем был В. Виндельбанд. В 1910 году молодой ученый защитил докторскую диссертацию «Философия Владимира Соловьева». В 1910–1914 годах он входил в редакционный совет журнала «Логос», выступал в роли литературного и театрального критика. Артиллерийским офицером прошел Первую мировую войну. По политическим взглядам был близок к эсерам и после Февральской революции стал депутатом Всероссийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, работал в политическом отделе Военного министерства Временного правительства.

После Октябрьской революции сотрудничал в созданной Н.А. Бердяевым Вольной академии духовной культуры, публиковался в журналах «Искусство театра» и «Театральное обозрение», преподавал в театральных училищах. В 1922 году был выслан из России. С 1926 года Степун — про-



Федор Степун

фессор социологии Высшего технического училища в Дрездене. В 1931–1939 годах вместе с Г.П. Федотовым издавал журнал «Новый град», в котором развивал идеи христианского социализма. В 1937 году был лишен нацистами права преподавательской деятельности и публикации своих сочинений. С 1946 года — профессор философского факультета Мюнхенского университета. Умер в Мюнхене.

Оказавшись в 1937 году отстраненным от преподавания и получая небольшую пенсию, Федор Августович решил, что пора подвести итоги своей жизни, и начал писать воспоминания, работа над которыми продолжалась до 1948 года и заняла в общей сложности около одиннадцати лет. Первая глава первого тома имеет датировку «Сентябрь – ноябрь 1937 г.», а последняя глава второго тома — «20 декабря 1948 г.».

После окончания Второй мировой войны Степун был вынужден ради гонорара издать свои мемуары на немецком языке; они вышли в трех томах (Vergangenes und Unvergängliches. München: Verlag Josef Kösel, 1947–1950. Bd. 1–3). Затем долгое время философ пытался издать воспоминания на русском языке. Наконец ему удалось договориться с нью-йоркским «Издательством имени Чехова», где в 1956 году и выходят его мемуары, но — в урезанном виде: три первоначальных тома трансформировались в два.

О том, как готовились воспоминания Степуна на русском языке, и о причинах их сокращения исчерпывающая информация содержится в архивных материалах, опубликованных в журнале «Вопросы литературы»[1].

Начало работы над мемуарами Степун описал в письме к М.М. Кульман: «У нас стоит осень, — не такая прекрасная и прозрачная, как тогда в Селиньи, но все же “живописно краснеет, желтеет и облетает листва кленов, осин и каштанов”. Для меня осень всегда наиболее творческая пора. Эту же осень я как-то особенно радостно ежедневно сижу за письменным столом своей комнаты. Работаю над первою частью моей книги, которая представляет собою попытку в форме своеобразной автобиографии нарисовать образ нашей с Вами, Мария Михайловна, России. За первой частью воспоминаний должна последовать вторая часть раздумий и третья — чаяний. Думаю, лет на 5–6 мне работы хватит»[2].

Степун пишет в предисловии о жанре своих воспоминаний: «“Бывшее и несбывшееся” не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что “зачалось и быть могло, но стать не возмогло”, раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как

политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую».

Повествование объемлет период от детских лет автора до октября 1917 года.

На книгу «Бывшее и несбывшееся» в немецком переводе откликнулись рецензиями М.В. Вишняк[3] и Н.П. Полторацкий[4]. Позднее вышли статьи А. Шика[5] и Л.А. Зандера[6]. Рецензенты, при всем стремлении к взвешенному анализу, не могли скрыть восторга от воспоминаний Степуна. Марк Вишняк в самом начале рецензии заявлял: «Автор предает не только “голые” факты, но и запах, и вкус эпохи. Он рисует обстановку: где, когда и как событие произошло, и в каких условиях мемуарист был тому свидетелем. Это увлекательная книга»[7]. Далее Вишняк отметил важную художественную особенность мемуаров: «В воспоминаниях Степун-художник, и художник-импрессионист, борется со Степуном-историком, бытописателем, философом и политиком, и первый нередко одерживает верх над последними: изображаемое часто соответствует больше думам Степуна, нежели подлинной реальности»[8]. Николай Полторацкий, пытаясь взглянуть на мемуары Степуна критически, находил в них парадоксальность некоторых утверждений и «страсть к талантливым эффектам»; но и он пришел к выводу о высокой художественной ценности книги: «Основная особенность дарования и литературной манеры Федора Степуна есть сочетание художественного образа с философской, социологической и культурно-исторической характеристикой. Он достиг подлинного мастерства в том, что назвал когда-то “артистической практикой духовного портретирования”»[9].

Александр Шик, пересказав в своей статье содержание книги, указал на опечатки и отдельные неточности. Л.А. Зандер выделил наиболее, на его взгляд, характерные особенности авторской манеры письма и прокомментировал их, чтобы нагляднее продемонстрировать творческие возможности Степуна. «Несколькими словами, двумя-тремя чертами, — отмечал Зандер, — он рисует портрет, живописует пейзаж, рассказывает событие, и притом так, что читатель чувствует себя не зрителем, не слушателем, а участником той жизни, о которой идет речь. Поэтому воспоминания Ф.А. Степуна читаются с неослабным интересом: взяв книгу в руки, не выпускаешь ее, пока не прочтешь до конца»[10].

В России первое издание книги «Бывшее и несбывшееся» вышло в 1994 году, второе — в 2000-м[11]. Несмотря на то что после первого издания прошло более пятидесяти лет, полный вариант воспоминаний Степуна на русском языке до сих пор так и не издан.

Олег Ермишин

---

[1] См.: Как издают шедевры: О публикации русского варианта мемуаров Ф. Степуна «Бывшее и несбывшееся». Письма Федора Степуна в «Издательство имени Чехова» / вступ. ст., публ. и коммент. В. Кантора // Вопросы литературы. 2006. № 3.

[2] Там же. С. 283–284 (цитата из письма, хранящегося в Бахметевском архиве Библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке).

[3] Вишняк М. [Рец.:] Fedor Stepun. Vergangenes und Unvergängliches // Новый журнал (Нью-Йорк). 1949. № 22. С. 299–304.

[4] Полторацкий Н. Философ-артист // Возрождение (Париж). 1951. № 16. С. 171–174.

[5] Шик А. Бывшее и несбывшееся // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1956. № 31. С. 203–205.

[6] Зандер Л. О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах // Мосты (Мюнхен). 1963. № 10. С. 318–340.

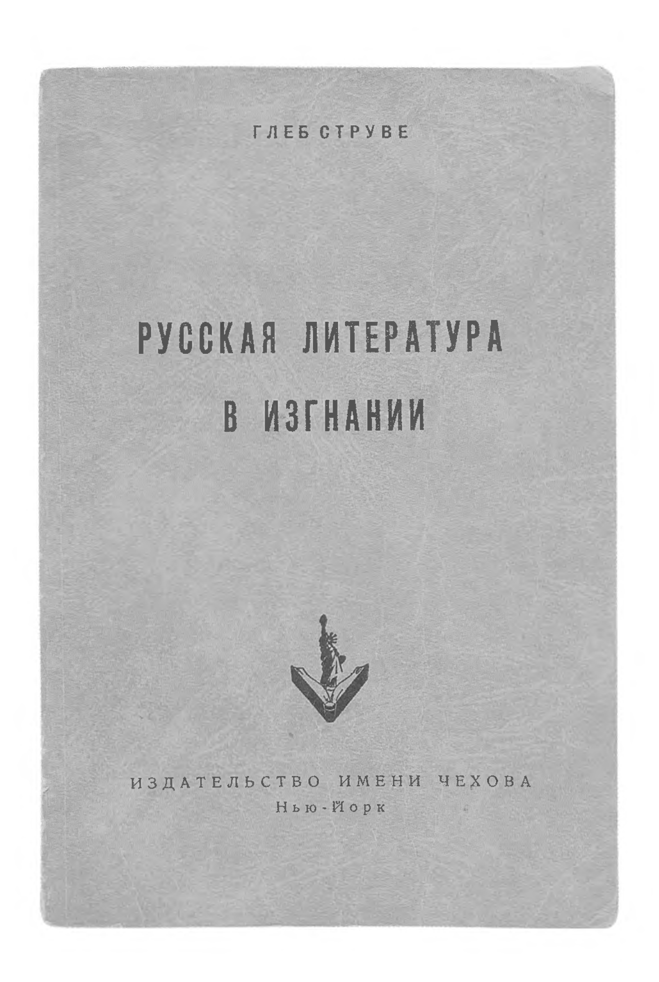
[7] Вишняк М. [Рец.:] Fedor Stepun. Vergangenes und Unvergängliches. С. 299.

[8] Там же. С. 301.

[9] Полторацкий Н. Философ-артист. С. 173.

[10] Зандер Л. О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах. С. 330–331.

[11] Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 1994; 2-е изд., испр. — 2000.



84

СТРУВЕ Г.П.

Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы

/ Глеб Струве. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — 408, [6] с.; 22×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



Глеб Петрович Струве (1898–1985) родился в Петербурге, в семье известного социолога и общественно-политического деятеля Петра Бернгардовича Струве (1870–1944). Еще учеником Выборгского коммерческого училища он стал посещать кружок петербургских поэтов, связанных с семинаром известного историка литературы С.А. Венгерова, где царил культ Пушкина. После окончания училища Струве был мобилизован и с 1917 года служил в артиллерийской гвардии, а весной 1918-го вступил в Добровольческую армию. Военная его карьера оказалась недолгой: в декабре 1918-го он по фальшивому паспорту выехал в Финляндию, а оттуда — в Англию. Учился в Оксфорде, который окончил в 1921 году. Весной 1922-го переехал в Берлин, принимал участие в издании журнала «Русская мысль», редактором которого был его отец. В журнале он вел рубрику «Письма о русской поэзии», следуя Николаю Гумилеву, печатавшему под таким же заглавием свои рецензии в журнале «Аполлон». В «Русской мысли» появилась и его первая поэтическая публикация — стихотворение «Петроград», написанное еще в октябре 1917 года. Стихотворение пере-

дает настроения, волновавшие начинающего поэта: пророчествуя о гибели империи, оно несет в себе — через воспоминание о Медном всаднике, памятнике Петру Великому, — чаяние о воскресении России:

Когда же наступят сроки
И небо уронит звезду,
Император, властный и строгий,
Натянет тугую узду,

Чтоб снова прыжком безумным
Ускорить поступь времен.
Отбрось ненужные думы!
Услышь пророческий звон![1]

Эту верность русскому прошлому и русской культуре Глеб Струве пронесет через всю жизнь.

Время от времени стихи и критические работы Струве появлялись в периодике — газетах и журналах «Дни», «Звено», «Руль», «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство», «Современные записки». Много позже он издаст сборник избранной лирики под названием «Утлое жилье» (1965, 2-е изд. — 1978). Но подлинное призвание Струве не стихи и не критика, а история литературы.

С 1932 года он преподает русскую словесность в Лондонском университете (Высшая школа славистики). Во время Второй мировой войны сотрудничает с Британским радио. В 1946-м переезжает в США, где начинает читать лекции в американских университетах. С 1947-го и до самого своего выхода на пенсию в 1967-м он — профессор кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли.

Г.П. Струве был одним из организаторов журнала «California Slavic Studies», участвовал в работе издательства «Международное литературное содружество». Интересовался и русской литературой пушкинской поры, и писателями XX века. Особое место в его научном наследии занимают исследования творчества и публикации Гумилева[2]. Вместе с другими филологами он участвовал в издании известных собраний сочинений Б.Л. Пастернака (Анн-Арбор, 1961), Н.С. Гумилева (Вашингтон, 1962–1968), О.Э. Мандельштама (Вашингтон, 1964–1967), Н. Клюева (Мюнхен, 1969), М.А. Волошина (Париж, 1982–1984). Известны его публикации из наследия И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой. Еще до войны Струве выпустил и книгу о советской русской литературе — «Soviet Russian literature» (L., 1935), которая позже переиздавалась с дополнениями.

Один из главных его трудов — монография «Русская литература в изгнании», выдержавшая три издания[3]. В предисловии автор четко описал сложности, с которыми ему пришлось столкнуться при работе над книгой: недостаток словарей, отсутствие библиографии и хоть сколько-нибудь серьезных, претендующих на полноту исследований предшественников[4]. В сущности, «Русская литература в изгнании» и была первым значительным явлением в этой области. Автору, правда, пришлось отказаться от замысла дать полную панораму развития литературы русского зарубежья

с самого ее начала до середины 1950-х годов и сосредоточиться главным образом на периоде 1920–1930-х годов. Но и в таком виде, вынужден был заметить Струве, его монография «не притязает быть ни полной и окончательной историей русской зарубежной литературы в период между 1920 и 1939 годами, ни критическим подведением итогов»[5]. Всего скорее, это лишь «материал для будущего историка»[6]. Однако и по сей день книга сохраняет свою основополагающую роль среди трудов, посвященных этому периоду истории литературы. В значительной мере сохраняет свое значение и авторская периодизация, положенная в основу книги: 1920–1924 годы — становление зарубежной литературы, 1925–1939 годы — самоопределение зарубежной русской литературы (хотя, разумеется, можно выделить и более малые периоды ее развития). Важным оказалось и деление писателей на представителей разных поколений. Сохраняет свое особое значение и сама структура описания истории русской литературы, с характеристиками периодических изданий, гнезд рассеяния (и выделением двух городов — Парижа и Берлина), с изображением общественно-политической ситуации. Важное место уделено в книге полемикам, особенно длительному спору критиков — Г. Адамовича и В. Ходасевича, а также полемике 1936 года о молодой эмигрантской литературе. Значительная часть монографии посвящена отдельным писателям, среди которых важное место занимают Бунин, Мережковский, Шмелев, Куприн, Зайцев, Ремизов, Тэффи, Алданов, Ходасевич, Цветаева, Набоков-Сирин и др. Автору не всегда удается остаться беспристрастным в оценках (хотя он к этому стремится), — это сказалось в характеристике творчества Георгия Иванова, в недооценке советской литературы[7]. Из-за отсутствия необходимых источников Струве лишь едва коснулся еженедельника «Звено» (Париж, 1923–1928), который многие критики были готовы поставить рядом с журналом «Современные записки»[8]. Вместе с тем в книге заметно стремление к всеохватности. Довольно широкое понимание понятия «литература» позволило Струве включить в монографию публицистическую прозу и эссеистику, что в отношении литературы русского зарубежья сделать было необходимо — здесь она достигла высоких результатов, об этом говорит уже простое перечисление имен: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Л.И. Шестов, Н.О. Лосский, Б.П. Вышеславцев, К.В. Мочульский, А.Л. Бем, В.В. Вейдле, П.М. Бицилли, Г.В. Адамович, Д.И. Чижевский, И.А. Ильин, Г.П. Федотов, Ф.А. Степун и др.



Глеб Струве. 1970-е годы

Заключал книгу очерк «Война и послевоенный период», где среди прочего Струве коснулся и темы встречи первой и второй волн эмиграции, а также проблемы литературной «смены».

Откликнувшиеся на издание рецензенты отмечали важность предпринятого Струве историко-литературного труда. В монографии видели и веху в «самосознании» русского зарубежья (Н. Андреев)[9], и ценный

«опыт исторического обзора» эмигрантской литературы (М. Карпович)[10], и еще одну «легенду о зарубежной литературе»[11], в сотворении которой Г.П. Струве остается исследователем «и с большой объективностью передает чуждые и даже враждебные ему критические суждения» (Ю. Иваск)[12]. При всей разнице характеристик каждый из рецензентов отметил важность появления книги на свет. А слова Н. Андреева о том, что «Русская литература в изгнании» способна стать «уверенным проводником по русской зарубежной литературе»[13], сохраняют свое значение и поныне.

Сергей Федякин

---

[1] Русская мысль (София). 1921. № 3/4. С. 48.

[2] См.: Неизданный Гумилев. Отравленная туника и другие неизданные произведения. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

[3] 1-е изд.: Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956; 2-е изд.: Париж: YMCA-Press, 1984; 3-е изд., испр. и доп.: Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996. Последнее издание стало наиболее представительным, т. к. было дополнено и вступительной статьей К.Ю. Лаппо-Данилевского, и кратким биографическим словарем русского зарубежья (сост. — Р.И. Вильданова, В.Б. Кудрявцев, К.Ю. Лаппо-Данилевский).

[4] Об этом говорил и самый кропотливый его рецензент, постаравшийся по возможности дополнить те сведения о литературе, которые дает книга Г.П. Струве. См.: Андреев Н. Литература в изгнании // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1957. № 33. С. 165.

[5] Струве Г.П. Предисловие // Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. С. 21.

[6] Там же.

[7] См.: Там же. С. 22.

[8] См.: Третьяков В. «Звено», еженедельный литературный журнал // Сегодня (Рига). 1927. № 50.

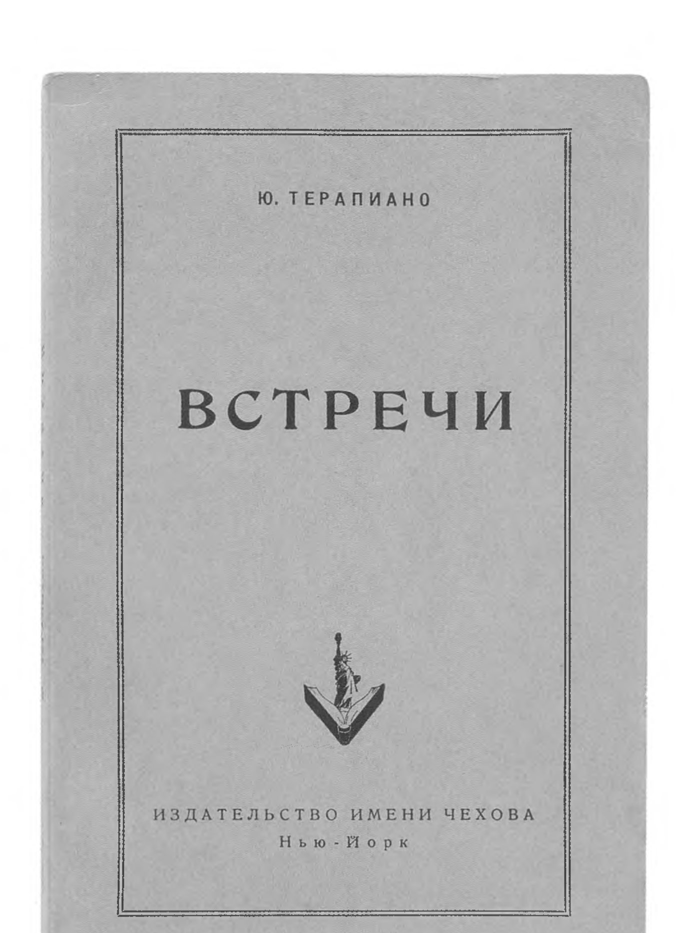
[9] Андреев Н. Литература в изгнании. С. 175.

[10] См.: Новый журнал (Нью-Йорк). 1956. № 46. С. 252.

[11] См.: Опыты (Нью-Йорк). 1956. № 7. С. 106. (Рец. опубл. за подп. Ю.И.).

[12] Там же.

[13] Андреев Н. Литература в изгнании. С. 176.



85

ТЕРАПИАНО Ю.К.

Встречи

/ Юрий Терапиано. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 204, [2] с.; 22×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



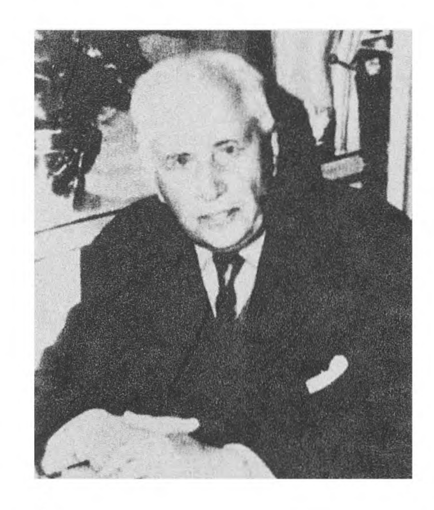
Юрий Константинович Терапиано (наст. фам. Торопьяно) родился 9 (21) октября 1892 года в Керчи, в семье карантинного лекаря. В 1911 году, окончив керченскую Александровскую классическую гимназию, он поступил на юридический факультет Киевского университета, по окончании которого был призван в 1916 году на военную службу. Прапорщиком воевал на фронтах Первой мировой войны, затем — в рядах Добровольческой армии.

В ночь с 28 на 29 октября 1920 года он покинул Крым и оказался в Константинополе. Переехав в 1922 году в Париж, Терапиано сразу же погрузился в литературную жизнь, став одним из основателей Союза молодых поэтов и писателей (1925), соредактором журналов «Новый дом» (1926–1927) и «Новый корабль» (1927–1928). Сотрудничал он и в газетах «Дни», «Возрождение», журналах «Своими путями», «Современные записки»; активно посещал «воскресенья» Мережковских и заседания литературно-философского общества «Зеленая лампа». В 1928 году

принял деятельное участие в создании литературного объединения «Перекресток» (1928–1937), куда вошли молодые поэты парижской группы (П. Бобринский, Ю. Мандельштам, Г. Раевский, В. Смоленский, Д. Кнут) и группы из Белграда (И. Голенищев-Кутузов, К. Халафов, А. Дураков, Е. Таубер). В своих творческих установках «Перекресток» во многом ориентировался на художественные принципы поэзии В.Ф. Ходасевича. «В. Ходасевич и Н. Берберова, — вспоминал Терапиано в книге «Встречи», — не принадлежа официально к “Перекрестку”, участвовали не только в его литературных выступлениях, перекресточники бывали у Ходасевича, который входил в их поэтические, а порой и личные дела и участвовал не только в литературных беседах “Перекрестка”, но и в некоторых “эскападах”». В 1930 году были изданы два поэтических сборника «Перекресток». В том же году в Париже начинают выходить знаменитые «Числа» (1930–1934) — программное периодическое издание молодого поколения писателей русского зарубежья, где Терапиано также принял участие. Становится он и постоянным участником собраний у И.И. Фондаминского — одного из духовных лидеров молодого поколения русской эмиграции в предвоенную пору, организатора объединения «Круг», редактора одноименного альманаха (1936–1938) и религиозно-философского журнала «Новый град» (1931–1939).

С годами известность Терапиано растет — и как глубокого поэта, автора поэтических сборников «Лучший звук» (Мюнхен, 1926), «Бессонница» (Берлин, 1935), «На ветру» (Париж, 1938), «Странствие земное» (Париж, 1950), «Избранные стихи» (Вашингтон, 1960), «Паруса» (Вашингтон, 1965), и как блестящего литературного критика, чьи статьи и рецензии регулярно появляются на страницах «Последних новостей», «Русской мысли», «Нового русского слова» и других ведущих периодических изданий русского зарубежья.

В 1953 году в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова» вышла в свет книга его воспоминаний «Встречи», со временем вошедшая в золотой фонд эмигрантской мемуаристики. Как первопроходец Терапиано во многом задал вектор, наметил важнейшие темы, к которым другие мемуаристы — Н.Н. Берберова, В.С. Варшавский, Р.Б. Гуль, И.В. Одоевцева, А. Седых, В.С. Яновский — неоднократно потом обращались. Воссоздав галерею ярчайших представителей эпохи (К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Г.В. Адамович, В.Ф. Ходасевич, Б.Ю. Поплавский, А.С. Штейгер, Ю.В. Мандельштам, К.В. Мочульский, Ю. Фельзен, И.Н. Кнорринг, И.И. Фондаминский, мать Мария и др.), Терапиано постарался обрисовать литературную ситуацию тех лет объективно, указав на ее отличительные особенности и «стратегические» линии. Открыто разделяя в 1930-е годы установки «Перекрестка», ставшего альтернативой другим поэтическим объединениям, в 1950-е Терапиано старался смотреть на ушедшее время отстраненным зрением, выступая в книге и как очевидец, и как ответственный летописец. Он воссоздает заседания «воскресений» и «Зеленой лампы» у Мережковских, пунктуально воспроизводя протоколы тех собраний; историю возникновения нового литературного течения «парижская нота» и объединения «Перекресток»; поэтические чтения в кафе «Ла Боле»; собрания «Православного дела» и «Круга»;


Юрий Терапиано. 1960-е годы

наконец, общую духовную атмосферу русского Парижа между двумя мировыми войнами. Книга выходит за рамки просто перечня имен и событий, ее цель масштабнее — воссоздать образ целого поколения русской эмиграции, зажатого социальными потрясениями и «сломами», распыленного войной и очень быстро «ушедшего в историю». Глава «Расставание с эпохой» — общий знаменатель, к которому автор приходит, рисуя портрет человека 1930-х годов. Речь в ней не столько о ясной и завершенной «формуле», на которую автор и не претендует, сколько об общей «ноте» («парижской ноте», по определению Г.В. Адамовича), объединившей многих: «…трещина, образовавшаяся в душах “детей страшных лет России”, отравленность пережитым, невозможность забыть о гибели, о смерти, и осознание, что образовавшуюся в душах пустоту уже не заполнить одними словами и красивыми образами, отвращение от риторики и неискренности — вот истоки того ощущения, которое сделалось общим в начале 30-х годов… люди 30-х… увидели тему о человеке не так, как видели ее до них, произвели выбор, отбросили то, что ощутили фальшивым, возненавидели легкость ответов на проклятые вопросы, а особенно — “метафизическую” риторику».

Добросовестность в обращении с близким прошлым, трезвость суждений и общая спокойная, доброжелательная интонация отличают воспоминания Терапиано от многих других созданных в эмиграции мемуаров. Насколько выгодно это отличие, читатели судили по-разному. Довольно жестко отреагировал на книгу Р.Б. Гуль: «Автор пробует дать описание парижской эмигрантской литературной жизни именно тех писателей, которые уцелели от “Башни” и “Бродячей собаки” и, работая уже на берегах Сены, привлекли к себе некоторых начинающих поэтов. Автор публикует в книге протоколы заседаний литературного кружка Мережковских “Зеленая лампа”. Эти протоколы в некотором отношении интересны… Кроме протоколов, остальное в “Встречах” не представляет интереса. В небольших (3–4 стр.) заметках об отдельных эмигрантских поэтах автор, к сожалению, не дает ни живой оценки их поэзии, ни живых портретов. Жаль также, что… в “Встречах” совершенно не передан “воздух” Монпарнаса и Парижа вообще. Автор описывает Монпарнас, точно источником его описания была телефонная книга»[1]. Со временем В.П. Крейд даст мемуарам Терапиано совсем иную оценку: «Эти четкие и уравновешенные статьи обнаруживают точный вкус, большие познания, оригинальность мышления, меткость литературных оценок»[2]. Именно «уравновешенность» отмечал и Ю.П. Иваск как основную черту в творчестве Терапиано-критика и Терапиано-мемуариста, подчеркивая, что «не любил он крайностей — ни авангардных, ни романтических и был чужд модного в 30-х гг. пессимизма»[3].

Сам Терапиано в письме к американскому слависту В.Ф. Маркову так определил «задание» своей книги: «Мне очень ценно то, что Вы пишете о "парижской школе" — точнее, о довоенной литературной атмосфере в Париже. В моей книге я хотел, поскольку возможно, дать кое-какое представление о ней, об идеях, об отношении к делу поэта и писателя, о той работе, которую произвели мои сверстники в смысле пересмотра прежнего и поисков "своего", "главного". Почти все мы работали в самых неподходящих условиях (днем — маляр, приказчик в магазине, шофер или рабочий), а судьба некоторых была еще более тяжелой... Чего искали мы, что мы отстаивали — и от натиска старшего поколения, от "отцов-общественников", и от советских образцов "социалистического реализма", и от соблазна новейших французских течений — дадаизма, сюрреализма, христианства а ля Мориак — это прежде всего честность и правдивость, чувство ответственности поэта и писателя, отказ от внешней красивости, от погони за громкими формулами и за дешевым успехом»[4]. Письмо датировано 1953 годом, как и сама книга «Встречи», когда атмосфера межвоенного Парижа была уже полностью утрачена. В том же письме к Маркову Терапиано пишет: «...погибли прежние газеты и журналы, Париж до сих пор лишен права голоса (современные издания — правые и левые — литературу признают только в виде привеска к политике) — и говорить удается лишь некоторым из "парижан", и то — в Америке, где атмосфера совсем не походит на прежнюю парижскую... Франция до первой войны, Франция до второй войны и современная Франция — это три различных мира»[5].

Во многом именно в силу желания сохранить и запомнить мир Франции «до второй войны» и были созданы «Встречи». И во многом из-за желания преодолеть «отсутствие воздуха» в новом Париже, «несмотря на "ночь"»[6], Терапиано продолжал вести активную творческую работу: в 1960 году во Франкфурте-на-Майне издал под своей редакцией антологию русской зарубежной поэзии «Муза диаспоры», куда вошли стихи поэтов первой волны эмиграции и поколения послевоенных лет; став председателем «Медонских вечеров», организованных на квартире Р. Герра при участии его близких друзей И.В. Одоевцевой и С.И. Шаршуна, выступал с лекциями и докладами...

Умер Ю.К. Терапиано 3 июля 1980 года в Ганьи, куда переехал из Медона еще в 1955-м и где провел последний период своей жизни в пансионе «Русский дом».

Мария Васильева

---

[1] Гуль Р. [Рец. на кн.: Иванов Г. Петербургские зимы. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953; Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953] // Новый журнал (Нью-Йорк). 1953. № 32. С. 310–311.

[2] Крейд В. Юрий Терапиано // Ковчег: Поэзия первой эмиграции. М.: Изд-во политической литературы, 1991. С. 491.

[3] Иваск Ю. Памяти ушедших: Юрий Терапиано // Новый журнал. 1981. № 144. С. 142.

[4] Из письма Ю.К. Терапиано к В.Ф. Маркову от 13 июня 1953 г. Цит. по: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 223.

[5] Там же. С. 223–224.

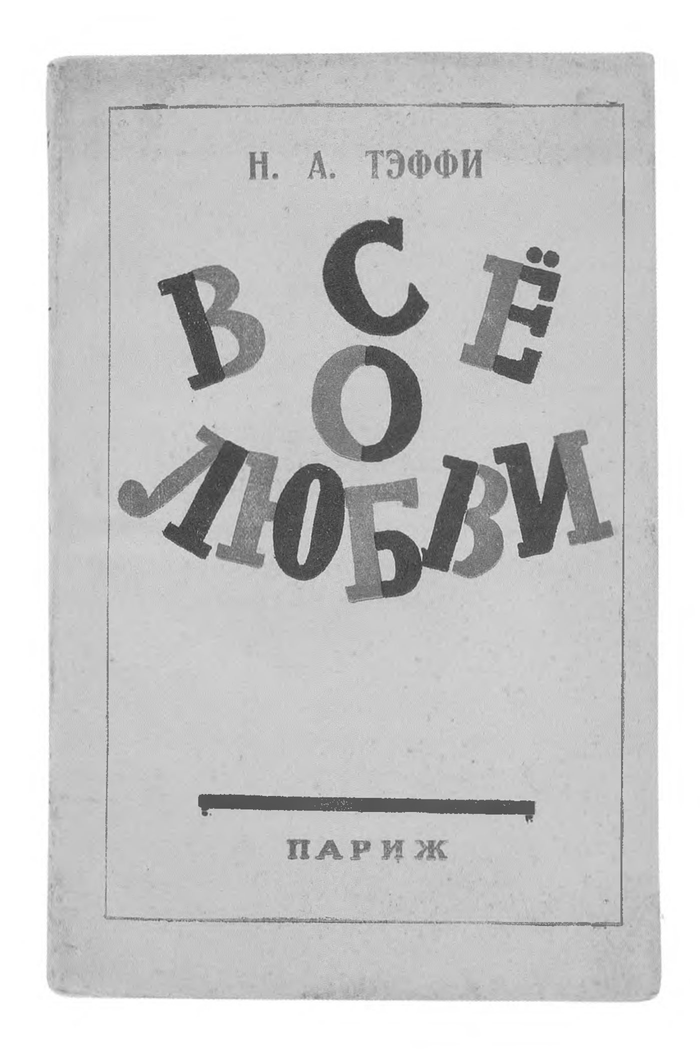
[6] Там же. С. 224.

86

ТЭФФИ Н.А.

Всё о любви:
Рассказы

/ Надежда Тэффи; Ed. O. Zeluck. — Париж: La Presse Française et étrangère, [1946]. — 272 с.; 19×12 см.
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.



LA PRESSE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
O. ZELUCK, ÉDITEUR

Самою писательницей запущены в оборот не только различные версии происхождения литературного имени, но и разные даты собственного рождения. По одной, псевдоним Taffy, взятый во избежание путаницы со старшей сестрой поэтессой Миррой Лохвицкой, восходит к рассказу Р. Киплинга, по другой — к его песне. По третьей, псевдоним задумывался для обретения удачной литературной судьбы: «Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы», — и стало им чуть измененное домашнее имя одного из относящихся к данной категории знакомых начинающего автора[1]. Годом рождения Надежды Александровны Бучинской (урожд. Лохвицкой) разные источники указывают 1872 (который принято считать настоящим), 1875, 1876 (анкеты ее рукой) и 1885 (французские удостоверения личности). «Я родилась в Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь, — говорила Тэффи. — По-

этому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее»[2].



Надежда Тэффи. Париж. 1920-е годы. Фото П. Шумова

По некоторой иронии судьбы, как будто принявшей участие в мистификациях писательницы, первый некролог о Тэффи появился не после, а задолго до ее кончины. «Очень любопытно почитать. Может быть, такой плохой, что и умирать не стоит», — комментировала Тэффи[3]. «Расцвет литературной деятельности и известности Н.А. Тэффи относится к дооктябрьским дням, — говорилось в некрологе. — Ее тогдашнюю известность можно без преувеличения назвать славою: в те годы существовали духи "Тэффи", конфеты "Тэффи". Кто не знал и не повторял ее словечек? Кто не помнит, как во время первой войны, когда не хватало мяса и ели конину, кухарка в ее фельетоне анонсировала обед словами: "Барыня, лошади поданы!"

В эмиграции Тэффи продолжала свою литературную и театральную деятельность. И тут опять, начиная с недоуменного вопроса ее старого генерала на парижской площади: "Ке фэр?[4] фэр-то ке?" — рассыпала она бесчисленные блестки своего остроумия. Жизнь эмиграции без ее еженедельных фельетонов была бы беднее и скучнее. Она смеялась и над эмиграцией, и порой ее шутки были злы. ... Быть может, о Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени...»[5]

Эмигрантское творчество Тэффи пронизано ностальгией. «Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут, — пишет она в одном из рассказов. — Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа — душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь»[6].

В отличие от произведений других писателей-эмигрантов, тексты Тэффи издавались в СССР, но — пиратским образом и представленные весьма своеобразно. Советская пропаганда преподносила фельетоны Тэффи как живописание «зловонных язв эмиграции». После выступления Тэффи с заметкой «Вниманию воров!» издания в СССР прекратились[7].

По воспоминаниям писательницы и журналистки С.С. Виноградской, работавшей в газете «Правда», начало контрафакту было положено В.И. Лениным, который выписывал и регулярно читал эмигрантские издания. По его предложению летом 1920 года под рубрикой «Наши за границей» «Правда» перепечатала рассказ Тэффи «В мировом пространстве»[8], сопроводив его следующим предисловием: «...фельетон чрезвычайно выпукло рисует настроения буржуазных беженцев, удирающих от русского пролетариата под сень международного капитала. Редакция "Правды"

весьма благодарна госпоже Тэффи за сотрудничество и выражает надежду, что и впредь эта веселая женщина будет писать такие фельетоны. А мы их будем перепечатывать, ибо ничто не говорит о грядущей мировой победе пролетариата так убедительно, как тот факт, что наиболее беспечные буржуа хохочут над самими собой на краю собственной могилы…» После перепечатки в следующем номере «Правды» рассказа «Ке фер?»[9], «так ярко рисующе[го], чем живет в прямом и переносном смысле русская эмиграция», в 1920-е годы знаменитая фраза стала крылатой не только в русском Париже, но и в Москве[10]. Комментарием к «правдинскому» пассажу могут служить слова Тэффи из более позднего ее рассказа: «Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут»[11].

Перу Тэффи принадлежат около 500 рассказов и фельетонов, три книги стихов, 11 сборников пьес, роман, сценарии фильмов, воспоминания, описания путешествий, оперетта, песни, критические статьи. «Все о любви» — одна из последних прижизненных ее книг. Сборник составлен из рассказов, публиковавшихся в эмигрантской периодике, иногда одновременно в двух городах: в Париже — в газетах «Возрождение» (1931–1936) и «Последние новости» (1937–1938) и в Риге — в газете «Сегодня». Исследователь Л.А. Спиридонова предполагает связь идеи книги с письмом И.А. Бунина (писатели обменивались творческими замыслами)[12]. В 1944 году, посылая Тэффи рассказы из «Темных аллей», Бунин писал ей: «…все рассказы этой книги только о любви, о ее “темных” и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях»[13].

В отличие от «темных» бунинских, «аллеи любви», по которым ведет читателя Тэффи, освещены ее неизменным юмором, в котором, по определению Цетлина, «в какой-то ей одной свойственной пропорции смешаны смех и слезы»[14]. Повествуя о «странностях и даже несправедливостях», бывающих в судьбе женской, вскрывая «тайники человеческой души, столь удивительные, что лучше бы им и не вскрываться», Тэффи проводит перед читателем яркую вереницу женских образов разных возрастов и типов. Девочка с огромными и счастливыми глазами, женщины «известных лет (которые вернее было бы назвать “неизвестными”)», дамы «более чем пожилые», «безответная и робкая» старая дева, «вакханка», красующаяся «мрамором плеч и алебастром спины», «меланхолическая блондинка», «развеселая корова», «растяпа подшибленного жизнью образца», «фатальная женщина», у которой если муж застрелится, «ни одна фибра лица не дрыгнет», «не женщина, а птичья дура», «бог, черт, змея» и просто «русская дура»…

Строгий критик Г.В. Адамович назвал «Все о любви» «путеводителем по нашему повседневному существованию»[15], в котором, по определению Тэффи, «наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно…»[16] «Тэффи усмехается, — писал Адамович. — Но, вероятно, с тем же насмешливым удивлением, с которым глядит она на своих незадачливых героев, взглянула бы она и на читателя, который ничего, кроме шуток, в рассказах ее не обнаружил»[17]. Нельзя не отметить и связь сборника с составленной из рассказов тех же лет книгой «О нежности» (Париж, 1938), где Тэффи, различая любовь-страсть и любовь-нежность,

определяет последнюю как «самый кроткий, робкий, божественный лик любви». «Сестра нежности — жалость…»[18]

Фоном для создания рассказов были тяжелые обстоятельства личной жизни Тэффи — ее близкий друг П.А. Тикстон лежал в параличе. В начале 1934 года она писала в письме: «Я абсолютно никуда не могу двинуться, т. к. держу экзамен на ангела. … Тяжело болен мой лучший друг. … Здоровье его требует больших забот, которые всецело лежат на мне. Прислуги постоянной у меня нет, в т. ч. я исполняю три функции: я писатель, я сиделка и я кухарка. … Беда в том, что ангелы существа бесплотные, а я плотная и у меня все болит и устала я до волчьего воя»[19].

Знакомая Тэффи вспоминала: «За стеной ее рабочего кабинета медленно угасал тяжело больной, день и ночь нуждавшийся в ее присутствии, заботах и уходе. И она годами окружала его своей нежностью, бдела над ним неотступно и… писала развлекающие читателей веселые рассказы»[20]. Сама Тэффи не считала себя писателем развлекающим. По воспоминаниям современников, откровенничать она не любила, но в рассказах и письмах рассеяны автопризнания: «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь — это сплошной анекдот, т. е. трагедия»[21].

В конце 1920-х и в 1930-е годы Тэффи посещает заседания религиозно-философского и литературного общества «Зеленая лампа», созданного Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус. В лекции «О единстве любви» на одном из заседаний Тэффи говорила: «Слишком многое называем мы любовью. Ее именем называем мы и поэтический экстаз Петрарки, и супружеские отношения четы Собакевичей, и содомические развлечения барона Шарлюса, рассказанные нам Марселем Прустом, и скорбную лирику Вертера, и горькие радости мазохистов и всего Содома, и всей Гоморры, и всех патологических типов Крафта-Эбинга». Тэффи выделяет «из всего этого хаоса» «солнечное зерно, луч, радиус от твари к Создателю». Устремляющиеся по этим радиусам души становятся ближе друг к другу «и восходят… многими путями к единому, к центру, к Богу». По Тэффи, цветок «земной любви, поруганной и темной» в саду Бога оказывается «благословенным» и «радостным»[22].

В некотором роде дополняющие друг друга книги Бунина и Тэффи вышли в одном и том же 1946 году, в одном и том же издательстве «Франко-русская печать» («La Presse Française et étrangère»), основанном в 1921-м журналистом и издателем О.Г. Зелюком. Изначально задачей издательства предполагалось знакомство русских и французов с культурой друг друга, планировалось издание книг на русском и французском языках. Но выпускались в основном книги политической тематики на русском (сб. «Правда о Сионских протоколах: Литературный подлог» с предисловием П.Н. Милюкова, «Черный год» М.В. Вишняка, «Россия после четырех лет революции» С.С. Маслова, «Третья Россия» А. Ветлугина и др.). Книги Бунина и Тэффи представляют исключение из издательской политики.

Орест Григорьевич Зелюк, по характеристикам современников по обе стороны границы, — «типичный нэпман с большими связями в Советской России»[23], «человек жестокий и сентиментальный»[24], с «богатым

воображением»[25], — был героем запутанных кредитных историй и шуточных стихотворений классиков русской литературы. Пародия Бунина, описывающая поиски авторами издателя, отражает ситуацию с эмигрантским книгоизданием в Париже:

Отвечает им Зелюк:
Всем, писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов[26]:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает ИМКА: Мы
Издаем одни псалмы![27]

1946-й год, когда во Франции вышли книги Бунина и Тэффи о любви, в СССР ознаменовался выходом указа Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи» и постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», объявлявшего вне закона Ахматову и Зощенко. Для «разъяснения» первого из документов в Париж прибыла советская делегация, в составе которой был К.М. Симонов. В тех же пропагандистских целях видных писателей настоятельно уговаривали вернуться на родину. Через много лет Г.В. Адамович вспоминал: «...Атмосфера была напряженная. Бунин как будто “закусил удила”, что с ним бывало нередко… Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: “Не могу знать”. … Симонов сидел бледный, наклонив голову. … Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина эта была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно-смешное. Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку — шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара, и обед кончился в полнейшем благодушии»[28].

Тэффи произвела на Симонова впечатление человека «очень живого, озорного нрава, с очень современными повадками»[29].

К новому году Тэффи получила из советского посольства поздравление с пожеланием успехов в «деятельности на благо советской Родины»[30]. «И... отвечала на все приглашения так: “Знаете что, милые мои друзья, вспоминается мне последнее время, проведенное в России. Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город и вижу через всю дорогу огромный плакат: “Добро пожаловать в первую советскую здравницу!” Плакат держится на двух столбах, на которых качаются два повешенных. Вот теперь я и боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с надписью: “Добро пожаловать, товарищ Тэффи”, а на столбах, его поддерживающих, будут висеть Зощенко и Ахматова”»[31].

Советская «Литературная энциклопедия» писала о Тэффи: «Иногда в поле зрения автора попадают представители трудового народа… это большей частью кухарки, горничные, маляры, представленные тупыми и бессмысленными существами. … В эмиграции Т<эффи> написаны рассказы… отражающие крушение надежд белоэмиграции на возвраще-

ние прошлого, полную бесперспективность неприглядной эмигрантской жизни. … Эти произведения свидетельствуют о жестоком разочаровании писательницы-эмигрантки в людях, с к<ото>рыми она связала свою судьбу»[32].

Иные оценки творчества Тэффи оставили соотечественники, «с которыми она связала свою судьбу», разделив эмиграцию. «Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущей-ся за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи. Не “женщину-писательницу”, а писателя большого, глубокого и своеобразного», — писал Саша Черный[33]. «Тэффи — большая писательница, и никто, пожалуй, не умеет так глубоко и внимательно заглянуть в человеческую душу», — размышлял А. Седых[34]. «Лучшая изящнейшая юмористка нашей современности, Тэффи своим смехом продолжает традицию великого Гоголя», — считал А.В. Амфитеатров[35]. «Серьезная Тэффи — неповторимое явление русской литературы — подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться», — прогнозировал Г.В. Иванов[36]. А.А. Кашина-Евреинова писала: «От ее рассказов, даже грустных… подымается чувство жалости к тем, над кем она добродушно посмеивается. … В ее рассказах, как и в романах Диккенса, много христианского всепрощения, евангельской примиренности и трогательного добродушия при самых печальных, а иногда и трагических обстоятельствах»[37].

Не оставило творчество Тэффи равнодушными и французских коллег по перу: «Она чувствовала особенно глубоко трагичность жизни, но эта трагичность редко проявляется в ее рассказах, написанных простым и ясным языком и в которых преобладает юмор, беспримерный в женской литературе, не только русской, но, я думаю, и мировой»[38], — отмечала французская писательница и переводчица Банин.

Последние годы «королевы смеха» прошли в тяжелой болезни, одиночестве, нужде. Свидетельства этих лет сохранили письма. «Третьего дня добрался (с превеликим трудом!) до Тэффи, — писал Бунин, — жалко ее бесконечно: все то же — чуть ей станет немного легче, глядь, опять сердечный припадок. И целый день, день за днем, лежит одна-одинешенька в холодной, сумрачной комнатке»[39]. «...Несколько дней тому назад навестила Бунина, — писала Тэффи. — С аппетитом поговорил о смерти. Он хочет сжигаться, а я его отговаривала. Все мои сверстники умирают, а я все чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста. Он вызывает пациентов, явно путая очереди, и мне неловко сказать и сижу, усталая и злая...»[40]

Тэффи умерла 6 октября 1952 года. В последние дни, а может быть, часы жизни она записала на вырванном из блокнота листке: «Нет выше той любви, как если кто морфий свой отдаст брату своему. Вот!!! Н.Т.»[41]

Ольга Василевская

---

[1] См.: Тэффи. Псевдоним // Возрождение (Париж). 1931. 20 декабря.

[2] Цит. по: Верещагин В. Тэффи // Русская мысль (Париж). 1968. 21 ноября.

[3] Цит. по: Николаев Д.Д., Трубилова Е.М. «Единственная, оригинальная, чудесная…» // Тэффи Н.А. Собр. соч. М.: Лаком, 1997. [На титуле: 1998.] Т. 1. С. 25.

[4] «Que faire?» — Что делать? (искаж. *фр.*)

[5] Цетлин М.О. Н.А. Тэффи // Новый журнал (Нью-Йорк). 1943. № 6. С. 384–386.

[6] Тэффи Н.А. Ностальгия // Собр. соч. М.: Лаком, 1998. [На титуле: 1999.] Т. 3 / сост. и подгот. текстов Д.Д. Николаева и Е.М. Трубиловой. С. 37.

[7] См.: Тэффи. Вниманию воров! // Возрождение. 1928. 1 июля.

[8] Последние новости (Париж). 1920. 13 мая. № 14.

[9] Последние новости. 1920. 27 апреля. № 1.

[10] Цит. по: Русская литература и культура: Учебно-методический комплекс / Барнаульский гос. педагогич. ун-т. Барнаул, 2007. С. 14.

[11] Тэффи Н.А. Ностальгия. С. 37.

[12] См.: Спиридонова Л.А. Противление злу смехом: Тэффи // Спиридонова Л.А. Бессмертие смеха: Комическое в литературе русского зарубежья. М., 1999. URL: http://www.teffi.ru/.

[13] И.А. Бунин — Н.А. Тэффи, 23 февраля 1944 г. (Подъем. 1977. № 1. С. 135). Цит. по: URL: http://russianway.rchgi.spb.ru/Bunin/bun24.html.

[14] Цетлин М.О. Н.А. Тэффи. С. 384.

[15] Адамович Г.В. Литературные заметки. Н.А. Тэффи. Всё о любви // Русские новости (Париж). 1947. 4 апреля.

[16] Тэффи Н.А. Воскресенье // Собр. соч. Т. 3. С. 54.

[17] Адамович Г.В. Литературные заметки. Н.А. Тэффи…

[18] Тэффи Н.А. О нежности // Собр. соч. М.: Лаком, 2000. Т. 4 / сост. и подгот. текстов Д.Д. Николаева и Е.М. Трубиловой. С. 192.

[19] Хейбер Э. «Дела как сажа бела»: Переписка Тэффи и Амфитеатрова // «В рассеянии сущие...»: Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 15–16 февраля 2005): сб. докл. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. С. 226–227.

[20] Васютинская В.Д. Надежда Александровна Тэффи // Возрождение (Париж). 1962. № 131.

[21] Цит. по: Седых А. Далекие, близкие / сост., подгот. текста проф. К. Каллаура. М.: Московский рабочий, 1995. С. 96.

[22] Тэффи Н.А. О единстве любви (Из беседы в «Зеленой лампе») // Тэффи Н.А. Печальное вино: Рассказы, фельетоны, воспоминания. Воронеж: Изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2000. С. 354, 360. Цит. по: URL: http://nativitas.ru/Teffi_O_edinstve_ljubvi.

[23] Справка об издательствах, издания которых не пропускаются в РСФСР Главлитом // Блюм А.В. Еврейский вопрос под советской цензурой: 1917–1991. Цит. по: URL: http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/?id=537.

[24] Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти / предисл. С. Довлатова. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 239.

[25] П.Н. Милюков — А. Седых, 14 января 1941 г. Цит. по: Седых А. Далекие, близкие. С. 176.

[26] Гукасов Абрам Осипович (1872–1969) — нефтепромышленник, на средства которого была основана парижская эмигрантская газета «Возрождение».

[27] Цит. по: Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути / предисл. и примеч. В.И. Коровина. М.: Вагриус, 2000. С. 318.

[28] Адамович Г.В. Бунин: Воспоминания // Новый журнал. 1971. № 105. С. 115–137.

[29] Симонов К.М. Об Иване Алексеевиче Бунине // Голос Родины. 1966. № 61. Июль. Цит. по: URL: http://scepsis.ru/library/id_2152.html.

[30] См.: Литература русского зарубежья, 1920–1940. М.: Наследие, 1993. С. 260.

[31] Дни А. Добро пожаловать, товарищ Тэффи! // Русская жизнь (Сан-Франциско). 1946. 14 ноября. Цит. по: Новые известия. 2005. 14 октября.

[32] Н.Л. Тэффи // Литературная энциклопедия: в 11 т. М.: Художественная литература, 1939. Т. 11. Стб. 466–467.

[33] Цит. по: Трубилова Е.М. В поисках страны нигде // URL: http://ocr.krossw.ru/html/teffi/teffi-vstupl-ls_1.htm.

[34] Цит. по: Там же.

[35] Цит. по: Спиридонова Л.А. Противление злу смехом: Тэффи.

[36] Цит. по: Трубилова Е.М. В поисках страны нигде.

[37] Цит. по: Спиридонова Л.А. Противление злу смехом: Тэффи.

[38] Цит. по: Там же.

[39] И.А. Бунин — М.А. Алданову, 2 июня 1948 г. Цит. по: http://www.college-edu.ru/upload/pic/pdf/literatura_11.pdf.

[40] Цит. по: Седых А. Далекие, близкие. С. 96.

[41] Цит. по: Никоненко Ст. Несравненная Тэффи // Тэффи. Моя летопись / сост., вступ. ст., примеч. Ст. Никоненко. М.: Вагриус, 2004. С. 14.

О журналах „Звезда“ и „Ленинград“

Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безидейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда» № 5—6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 г. и т. д.). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более понизила идейный уровень журнала.

Допустив проникновение в журнал чуждых идейных произведений, редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого литературного материала. Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и рассказами («Дорога времени» Ягдфельда, «Лебединое озеро» Штейна и т. д.) Такая неразборчивость в отборе материалов для печатания привела к снижению художественного уровня журнала.

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений («Случай над Берлином» Варшавского и Реста, «На заставе» Слонимского). В стихах Хазина «Возвращение Онегина» под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале «Ленинград» помещаются преимущественно бессодержательные, низкопробные литературные материалы.

Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безидейности и аполитичности?

Какой смысл ошибок редакций «Звезды» и «Ленинграда»?

Руководящие работники журналов, и в первую очередь их редакторы тт. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности.

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.

Поэтому всякая проповедь безидейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.

Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские. Из-за нежелания

боязни обидеть приятелей пропускались в печать явно негодные произведения. Такого рода либерализм, при котором интересы народа и государства, интересы правильного воспитания нашей молодёжи приносятся в жертву приятельским отношениям и при котором заглушается критика, приводит к тому, что писатели перестают совершенствоваться, утрачивают сознание своей ответственности перед народом, перед государством, перед партией, перестают двигаться вперед.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что редакции журналов «Звезда» и «Ленинград» не справились с возложенным делом и допустили серьёзные политические ошибки в руководстве журналами.

ЦК устанавливает, что правление Союза советских писателей и, в частности его председатель т. Тихонов, не приняли никаких мер к улучшению журналов «Звезда» и «Ленинград» и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов.

Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко и Ахматовой, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его «творчеству», Ленинградский горком (тт. Капустин и Широков),

«О журналах “Звезда” и “Ленинград”. Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.» (Смена. 1946. № 196. С. 1)

на физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — «искусства для искусства», не желающей итти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе.

Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 год и т. д.). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и ещё более принизила идейный уровень журнала.

Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении произведений, редакция

В чем смысл ошибок редакций «Звезды» и «Ленинграда»?

Руководящие работники журналов, и в первую очередь их редакторы тт. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодёжи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодёжи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности.

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы, состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.

Поэтому всякая проповедь безидейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.

Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские. Из-за нежелания портить приятельских отношений притуплялась критика. Из-за

не имея на то права, утвердил решением Горкома от 26. VI с. г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в который был введен и Зощенко. Тем самым Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку. «Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с. г.

Управление пропаганды ЦК ВКП(б) не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать редакцию журнала «Звезда», Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных.

2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда».

3. В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьёзного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несёт полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нем произведений.

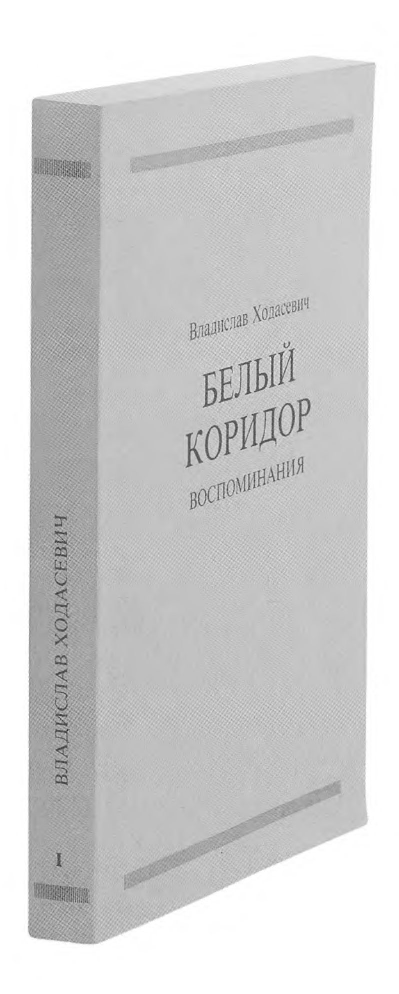
4. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» тов. Еголина с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б).

87

ХОДАСЕВИЧ В.Ф.

Белый коридор:
Воспоминания

// Владислав Ходасевич. Избранная проза: в 2 т. — Т. 1: Белый коридор: Воспоминания / под общ. ред. И. Бродского. — Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. — 307, [2] с.; 21×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Экземпляр с автографом Н.Н. Берберовой на авантитуле: «Эта книга получена была в день нашей встречи в мае 1983 года. Н. Берберова».

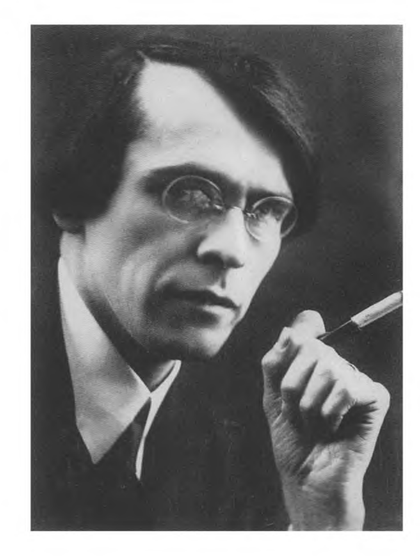


СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) родился в Москве, в семье польского дворянина; его дед по матери перешел из иудаизма в православие, а мать была воспитана ревностной католичкой. Сам он, однако, считал, что наиболее значительная роль в духовном воспитании детских лет принадлежала его кормилице, тульской крестьянке Е.А. Кузиной. Неукорененность в российской почве и ощущение чуждости польскому менталитету создали особый психологический комплекс, проявившийся в его поэзии с самой ранней поры.

Учился Ходасевич в Московском университете на двух факультетах — сначала на юридическом, затем на историко-филологическом, — но так их и не окончил. В 1906 году он начал выступать как литературный критик — дар историка и интерпретатора литературы, возможно, наиболее сильная сторона его таланта, а в 1908-м дебютировал поэтической книгой «Молодость. Стихи 1907 года» (1908), которую впоследствии считал крайне незрелой, более снисходительно оценивая свой второй сборник — «Счастливый домик» (1914).

В автобиографическом фрагменте «Младенчество» (1933), включенном затем в мемуарный очерк «Белый коридор», Ходасевич придает особое значение тому факту, что «опоздал» к расцвету символизма. Тем не менее его раннее творчество позволяет говорить, что он прошел выучку В.Я. Брюсова, считавшего, что вдохновение должно жестко контролироваться знанием тайн ремесла, осознанным выбором и безупречным воплощением формы.



Владислав Ходасевич. Париж. 1920-е годы. Фото П. Шумова

Рано появившиеся у Ходасевича предчувствия ожидающих Россию потрясений побудили его с оптимизмом воспринять октябрьской переворот, однако очень скоро пришло отрезвление. Мысли и переживания, связанные с войной и революцией, отразились в книге его стихов «Путем зерна» (1920), где идея смерти ради нового рождения обретает отчетливое трагическое звучание.

В первые пореволюционные годы Ходасевич вел занятия с молодыми литераторами, входившими в московский Пролеткульт, заведовал московским отделением организованного М. Горьким издательства «Всемирная литература». В начале 1921-го переехал в Петроград, получив жилье в «Доме искусств», где образовалась своего рода писательская коммуна. Там он познакомился с Н.Н. Берберовой, спутницей его жизни в первое эмигрантское десятилетие: 22 июня 1922 года они выехали из Петрограда в Ригу по командировке, подписанной А.В. Луначарским, и назад не вернулись.

В эмигрантской среде Ходасевич долгое время ощущал себя таким же чужаком, как и на оставленной родине. Живя в Берлине, а затем в Сорренто, он был главной фигурой журнала «Беседа», задуманного Горьким как издание, стоящее над политикой и призванное восстановить единство русской культуры, расколотой отношением к революции. Прекращение журнала, запрещенного к ввозу в СССР и закрывшегося из-за отсутствия средств, совпало для Ходасевича с необходимостью либо продлить, либо вернуть свой советский паспорт. В 1925 году поэт переехал в Париж, сделав окончательный выбор в пользу эмиграции, так как «при большевиках литературная деятельность невозможна»[1].

«Поэзия, — считал он, — может быть вечной, но она черпает свои источники в современности. Поэзия должна быть созвучна благу, которое заключается в эпохе. Это благо либо еще не открыто, либо его еще нет»[2].

В Париже Ходасевич стал (совместно с М.А. Алдановым) редактором литературного отдела газеты А.Ф. Керенского «Дни», регулярно печатался в «Последних новостях», а с 1927 года до конца жизни возглавлял литературный отдел газеты «Возрождение», где еженедельно публиковал обширные материалы о современной литературе эмиграции, метрополии,

а также о русской классике. Как поэт он печатался все реже, постепенно уверившись в том, что поэзия, вынужденная иметь дело с современной действительностью, лишается творческой силы, оставаться же вне своего времени или над ним она не в состоянии. Решимость «омертвелою душой / В беззвучный ужас погрузиться / И лиру растоптать пятой»[3] далась Ходасевичу ценой большого страдания, но к 1927 году, когда вышла его итоговая книга «Собрание стихов», он поэзию уже оставил, по праву заслужив высокое признание Горького: «...крайне крупная величина, поэт-классик и большой строгий талант»[4]. С 1928 года, продолжая свою литературно-критическую деятельность, Ходасевич начал работать над мемуарами.

В его поэзии эмигрантского периода главенствует тема «сумерек Европы», пережившей крушение цивилизации: за границей им написаны многие стихотворения большого цикла «Европейская ночь». Обращение к злободневным социальным мотивам не заглушает в них иных лирических сюжетов, непосредственно соотносимых самим Ходасевичем с поэзией пушкинской плеяды.

Заветы Пушкина остаются для него непреложными и в оценках явлений современной литературы, и в понимании сущности русского классического наследия. Ожидалось, что к 100-летию со дня гибели великого поэта Ходасевич выступит с его биографией (опираясь на раннюю свою работу «Поэтическое хозяйство Пушкина», 1924). Однако создано было лишь несколько фрагментов — они вошли в переработанное издание старой книги, увидевшей свет под заглавием «О Пушкине» (1937) и строившейся на предположении, что стихи в конечном счете «почти всегда дают обильный материал для биографии». Та же предпосылка была положена Ходасевичем и в основу книги «Державин» (1931). Строго следуя фактам, автор стремился показать своего героя и как поэта, и как государственного деятеля, поскольку для Державина поэзия и служба являлись «как бы двумя поприщами единого гражданского подвига»[5]: редчайший в своем роде пример единства вдохновения и долга.

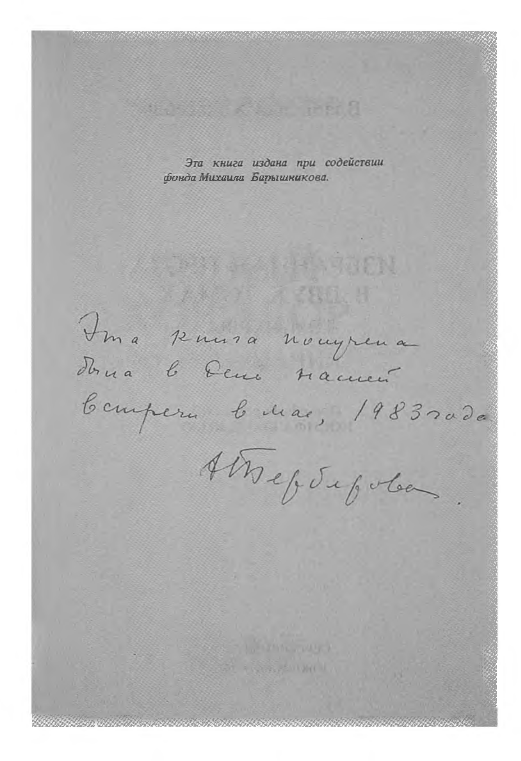
Ходасевич любил повторять, что впереди у него одно прибежище — могила на Ваганьковском кладбище в родной Москве. Но умер он в Париже, в больнице для бедных. За несколько недель до смерти из печати вышла его книга «Некрополь» (Bruxelles: Les Editions Petropolis, 1939) — воспоминания о В.Я. Брюсове, А.А. Блоке, М. Горьком, А. Белом, Н.С. Гумилеве, М.О. Гершензоне и др.

Следующий сборник произведений Ходасевича — «Литературные статьи и воспоминания» — увидел свет лишь полтора десятилетия спустя (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954; издание было подготовлено Н.Н. Берберовой).

«Белый коридор» — третья мемуарная книга Ходасевича, текстуально и хронологически продолжение «Некрополя», — была выпущена в Нью-Йорке в 1982 году издательством «Серебряный век» при содействии фонда Михаила Барышникова. Тексты в ней сгруппированы по трем разделам: «Автобиографическая проза», «Воспоминания» и «О Горьком».

«Белый коридор» (коридор одного из зданий Кремля, куда выходили двери начальственных квартир) — невероятно познавательное, человечное

и остроумное повествование, где беспристрастно представлены не только коллеги по перу, но и вожди, и даже… экзотические животные: «Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Моховой, взрывая снежные кучи, под свист мальчишек, выбрасывая из ноздрей струи белого пара, широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи жались к сторонке и шептали: — С нами крестная сила!» Это — эпоха военного коммунизма, когда в Кремле жили сановники и приближенная к ним знать от литературы — Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Иногда для деятелей культуры у Каменевых устраивались чаепития. «Стол в столовой не только был “сервирован”, но и, так сказать, — маскирован, — пишет Ходасевич. — Сервирован узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это — дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанного топленым маслом, а в сахарнице — куски грязного, так называемого “игранного” сахару: свое название он получил от того, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощенья хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы».



Авантитул книги «Белый коридор» с автографом Н. Берберовой

Протоиерей Михаил Ардов вспоминает:

«Осенью шестьдесят второго года я впервые прочел книгу Ходасевича “Белый коридор”. В частности, он там описывает, как ему пришлось в голодном Петрограде торговать селедкой. (Каждому писателю тогда выдали полмешка селедки, и В.Ф. пошел ее продавать, чтобы купить себе масла.) Приступая к торговле, Ходасевич вдруг увидел, что неподалеку от него из такого же точно вонючего мешка селедку продает Ахматова. При первой же встрече я пересказал это Анне Андреевне, она выслушала и произнесла:

— Вполне могло быть»[6].

В Дом искусств, рассказывает в книге Ходасевич, «в зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в штиблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бы-

вали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась».

Слушая однажды рассказ О.Д. Каменевой, ведавшей тогда в Кремле искусством, о том, как ее сын, подросток, бесстрашно сопровождал в поездке по Волге «тов. Раскольникова», Ходасевич замечает: «Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей!»

Последняя часть книги «Белый коридор» посвящена Горькому — и образу самого писателя, и его сыну Максиму, и смерти обоих. Но это — совершенно особый разговор, выходящий за рамки данного текста. Выделим лишь наблюдение Ходасевича, дающее ключ к его пониманию личности Горького: «...крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь».

Ольга Мартыненко

---

[1] Ходасевич В.Ф. Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. С. 51.

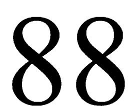
[2] Цит. по: Седых А. Парижские встречи // Время и мы. 1999. № 141. С. 244.

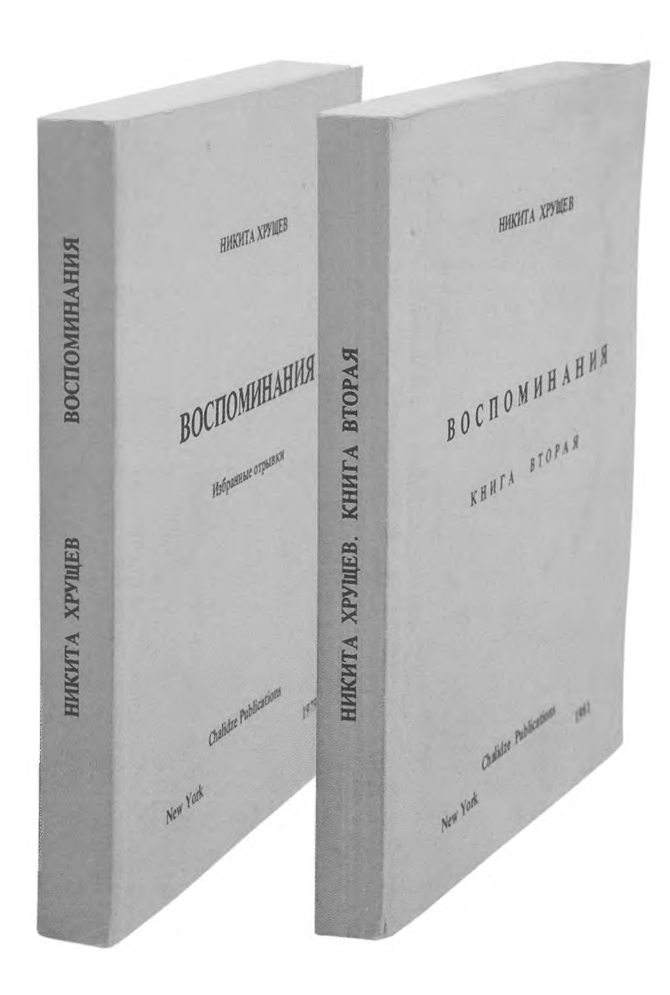
[3] Ходасевич В.Ф. К Лиле: С латинского (1929).

[4] Из письма М. Горького к Е.К. Феррари от 2 октября 1922 г. (Огонек. 1986. № 48. С. 28).

[5] Ходасевич В.Ф. Державин / вступ. ст., сост. прилож., коммент. А.Л. Зорина. М.: Книга, 1988. С. 123.

[6] Ардов М. Возвращение на Ордынку. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 38–39.





ХРУЩЕВ Н.С.

Воспоминания
= Memoirs: [Кн. 1–2]
[Кн. 1:] Избранные отрывки

/ Никита Хрущев; сост. В. Чалидзе. — N. Y.: Chalidze publ., 1979. — 303 с.

Воспоминания.
[Кн. 2]

/ Никита Хрущев; [Ed. by V. Chalidze]. — N. Y.: Chalidze publ., 1981. — 288 с.; 13,3×10 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке

Chalidze Publications

Никита Сергеевич Хрущев родился 5 (17) апреля 1894 года в селе Калиновка Курской губернии, в шахтерской семье. Получил начальное образование в церковно-приходской школе. С 1908 года работал слесарем, чистильщиком котлов, состоял в профессиональных союзах, участвовал в рабочих стачках. В годы Гражданской войны воевал на стороне большевиков. В 1918 году вступил в коммунистическую партию (РКП(б)).

В начале 1920-х годов Хрущев работал на шахтах, учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института. В дальнейшем занимался хозяйственной и партийной работой в Донбассе и Киеве. В 1920-е годы руководителем компартии на Украине был Л.М. Каганович, и, по-видимому, Хрущев произвел на него благоприятное впечатление, потому что вскоре после отъезда Кагановича в Москву Хрущев был направлен на учебу в Промышленную академию. С января 1931 года Хрущев находился на партийной работе в Москве, в 1935–1938 годах он — первый секретарь Московского областного и городского комитетов партии — МК и МГК ВКП(б). В январе 1938-го он был назначен первым секретарем ЦК



Никита Хрущев. Выступление на Генеральной ассамблее ООН. Нью-Йорк. 1960

компартии Украины. В том же году стал кандидатом, а в 1939-м — членом Политбюро.

В годы Второй мировой войны Хрущев занимал пост политического комиссара высшего ранга (члена Военных советов ряда фронтов) и в 1943 году получил звание генерал-лейтенанта; руководил партизанским движением за линией фронта. В первые послевоенные годы возглавлял правительство на Украине, в то время как Л.М. Каганович возглавлял партийное руководство республики. В декабре 1947 года первым секретарем ЦК КП(б) Украины вновь стал Хрущев; занимал он этот пост до своего переезда в Москву в декабре 1949-го, где опять стал первым секретарем Московского комитета партии и секретарем ЦК ВКП(б).

Хрущев выступил инициатором укрупнения коллективных хозяйств (колхозов). Эта кампания привела к тому, что в течение нескольких лет численность коллективных хозяйств снизилась примерно с 250 тысяч до менее чем 100 тысяч. В начале 1950-х годов Хрущев вынашивал еще более радикальные планы, желая превратить крестьянские села в агрогорода, чтобы колхозники жили в таких же домах, как рабочие, и не имели приусадебных участков. Опубликованная по этому поводу речь Хрущева в «Правде» была на следующий день опровергнута редакционной статьей, где подчеркивался дискуссионный характер его предложений. И все же Хрущев в октябре 1952 года был назначен одним из главных докладчиков на XIX съезде партии.

После смерти Сталина, когда председатель Совета министров Г.М. Маленков оставил пост секретаря ЦК, Хрущев стал «хозяином» партаппарата, хотя вплоть до сентября 1953 года не имел титула первого секретаря. Когда Л.П. Берия предпринял попытку захвата власти (март – июнь), Хрущев в целях его устранения пошел на союз с Маленковым. После ареста Берии в июне 1953-го между Маленковым и Хрущевым началась борьба за власть, победу в которой одержал Хрущев. В сентябре 1953 года он занял пост первого секретаря ЦК КПСС.

Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был состоявшийся в 1956 году XX съезд КПСС. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально неизбежной», а на закрытом заседании выступил с осуждением Сталина, обвинив его в массовом уничтожении людей и ошибочной политике, едва не закончившейся ликвидацией СССР в войне с нацистской Германией. Результатом этого выступления стали волнения в странах восточного блока — Польше (октябрь 1956 года) и Венгрии (октябрь и ноябрь того же года). Эти события подорвали позиции Хрущева, особенно после того как в декабре 1956 года выяснилось, что из-за недостаточных капиталовложений срывается выполнение пятилетнего плана. Однако

в начале 1957-го Хрущеву удалось убедить ЦК принять план реорганизации управления промышленностью на региональном уровне.

В июне 1957 года членами Президиума ЦК КПСС был организован заговор с целью смещения Хрущева с поста первого секретаря. После своего возвращении из Финляндии он был приглашен на заседание Президиума, который семью голосами против четырех потребовал его отставки. Хрущев оперативно созвал Пленум ЦК, отменивший решение Президиума, и отправил в отставку «антипартийную группу» Молотова, Маленкова и Кагановича. Укрепив президиум своими сторонниками, в марте 1958 года он занял и пост председателя Совета министров, взяв в руки все основные рычаги власти.

В 1957 году, после успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты и вывода на орбиту первых спутников, Хрущев выступил с заявлением, потребовав от стран Запада «покончить с холодной войной». Его требования об отдельном мирном договоре с Восточной Германией в ноябре 1958-го, который включал бы возобновление блокады Западного Берлина, привели к международному кризису. В сентябре 1959-го президент США Д. Эйзенхауэр пригласил Хрущева посетить Соединенные Штаты. После поездки по стране Хрущев провел с Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде переговоры. Международная обстановка заметно потеплела после того, как Хрущев согласился отодвинуть сроки решения вопроса о Берлине, а Эйзенхауэр — созвать конференцию на высшем уровне для рассмотрения этого вопроса. На 16 мая 1960 года была намечена новая встреча на высшем уровне. Однако 1 мая советские средства ПВО сбили над Свердловском разведывательный самолет США У-2, и встреча была сорвана.

«Мягкая» политика в отношении США вовлекла Хрущева в скрытую, хотя и жесткую идеологическую дискуссию с китайскими коммунистами, осуждавшими его переговоры с Эйзенхауэром и не признававшими предложенной Хрущевым версии «ленинизма». В июне 1960 года Хрущев выступил с заявлением о необходимости «дальнейшего развития» марксизма-ленинизма и учета в теории изменившихся исторических условий. В ноябре, после трехнедельной дискуссии, съезд представителей коммунистических и рабочих партий принял компромиссное решение, позволявшее Хрущеву вести дипломатические переговоры с Западом по вопросам разоружения и мирного сосуществования, но при этом призывавшее активизировать борьбу против капитализма всеми средствами, кроме военных.

В сентябре 1960 года Хрущев во второй раз посетил США — в качестве главы советской делегации на Генеральной Ассамблее ООН. В ходе ассамблеи ему удалось провести широкомасштабные переговоры с главами правительств целого ряда стран. В его докладе на ассамблее содержались призывы к всеобщему разоружению, немедленной ликвидации колониализма и принятию Китая в ООН. В июне 1961 года Хрущев встретился с президентом США Дж. Кеннеди и вновь высказал свои требования в отношении Берлина. В течение лета 1961 года советская внешняя политика становилась все более жесткой, и в сентябре СССР прервал трехлетний мораторий на испытания ядерного оружия, проведя серию взрывов.

Осенью 1961 года на XXII съезде КПСС Хрущев выступил с нападками на коммунистических лидеров Албании за то, что они продолжали поддерживать философию «сталинизма». При этом он имел в виду и лидеров коммунистического Китая.

14 октября 1964 года Пленумом ЦК КПСС Хрущев был освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. На этих постах его сменили Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин.

После 1964 года Хрущев, сохраняя свое место в ЦК, по существу, находился в отставке. Умер он в Москве 11 сентября 1971 года.

По сведениям сына Хрущева, Сергея, впервые Никита Сергеевич начал задумываться о мемуарах в 1966 году, после болезни. В августе 1966-го началась работа — Хрущев надиктовывал свои воспоминания на диктофон, а журналист Лев Петров расшифровывал эти записи. Диктовал Никита Сергеевич по памяти, не пользуясь никакими источниками, надеясь только на себя.

С самого начала Хрущев заявил, что не собирается описывать свою жизнь с детских лет: он терпеть не мог хронологических повествований, они навевали на него тоску. Его цель — рассказать о наиболее драматических моментах нашей истории, свидетелем и участником которых пришлось стать. В первую очередь — о Сталине, о его ошибках и преступлениях. «Надо сказать правду» — так сформулировал Хрущев свою задачу.

С.Н. Хрущев вспоминал, что в апреле 1968 года отца вызывали в ЦК и требовали прекратить работу над мемуарами, а что есть — сдать в Комитет партийно-государственного контроля. «Мерзавцы! — возмущался Н.С. Хрущев. — Я сказал все, что о них думаю: в нарушение Конституции утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир — и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать». Во время прогулок с сыном, вдали от микрофонов, он все повторял: «Они не успокоятся. Все заберут и уничтожат». «Возможные варианты хранения пленок и распечаток внутри страны, — продолжает С.Н. Хрущев, — были абсолютно ненадежны. Мы вернулись к мысли об укрытии рукописи за границей. Тогда же впервые возникла мысль, что в случае чрезвычайных обстоятельств — вроде изъятия надиктованного материала или других карательных мер — в качестве ответной меры воспоминания нужно будет опубликовать. Публикация окончательно решала проблему сохранности. Приближался май. Мне удалось нащупать пути передачи копии материалов за рубеж»[1].

Первый том «Воспоминаний» появился еще при жизни «царя Никиты», как порой называли Хрущева в иностранной печати, в американском издательстве «Литтл, Браун и К°». В июне 1974 года вышел второй том.

Уже первый том — объемистая книга в 639 страниц — вызвал не только большой интерес во всем мире, но и раскол в среде «кремлинологов» — иностранных специалистов по Советскому Союзу. Многие из них считали, что «Воспоминания» — подделка, состряпанная неизвестно кем. Если Дэвид Флойд, напечатавший свой отклик в английской газете «Дейли телеграф», утверждал, что они написаны «кем-то на Западе», то

крупный специалист по истории КПСС Леонард Шапиро считал, что текст воспоминаний «сфабрикован» в КГБ: в его статье, появившейся 24 января 1971 года в «Сандей таймс», обстоятельно рассказывалось о том, как ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ на протяжении десятилетий занимались и занимаются дезинформацией; а Виктор Зожа напечатал в «Манчестер гардиан» целых пять статей, где старался доказать, что воспоминания Никиты Хрущева сработаны при помощи ножниц и клея в… Центральном разведывательном управлении США[2].

Любовь Пухова

---

[1] См.: Добрюха Н. Тайная месть Хрущева // Аргументы и факты. 2008. 11 июня. № 24. Цит. по: URL: http://www.aif.ru/society/article/18854.

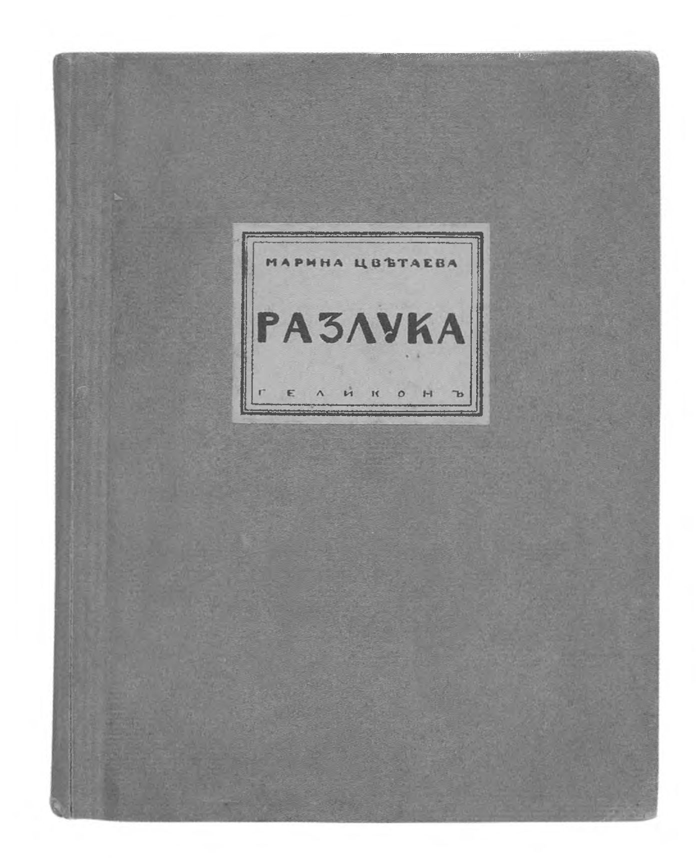
[2] См.: Коряков М. Покаяние Хрущева: По страницам воспоминаний бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР. [Б.м.], 1989. С. 1.

89

ЦВЕТАЕВА М.И.

Разлука:
Книга стихов

/ Марина Цветаева; [обл. А. Арнштама]. — М.; Берлин: Геликон, 1922. — 38 с.; 16,3×12,5 см.
В шрифтовом двухцветном издательском картонаже.





Имя Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) — одно из самых значительных в русской поэзии XX века. «Первый русский поэт нашей эпохи»[1] — так еще в 1942 году ее назвал известный философ и историк Георгий Федотов. «Цветаева — первый поэт XX века. Конечно, Цветаева»[2], — утверждал и Иосиф Бродский, — «самый искренний русский поэт»[3]. О Цветаевой не напишешь в нескольких строках. Стихи ее необычайно индивидуальны, их узнаешь сразу, с первой строки, поражаясь их открытости и доверительному тону или их высокому пафосу. «Цветаеву очень трудно втиснуть в цепь поэтической традиции — она возникает не из предшествовавших ей поэтов, а как-то прямо из-под Арбатской мостовой. Анархичность ее искусства выражается и в чрезвычайной свободе, и разнообразии форм и приемов, и в глубоком равнодушии к канону и вкусу… но, когда она удачлива, она создает вещи невыразимой прелести, легкости невероятной, почти прозрачной»[4].

Вхождение Марины Цветаевой в литературу состоялось в 1910 году, когда тиражом 500 экземпляров на собственные деньги она издала первый сборник «Вечерний альбом». Книга получила одобрительные отзывы ведущих поэтов — В. Брюсова, М. Волошина, Н. Гумилева. Ее первые стихи, немного наивные, романтические и по-детски восторженные, так

обнажали душу молодой поэтессы, что их местами даже «неловко было» читать.

Летом 1911 года в Коктебеле у Макса Волошина Марина знакомится со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. В 1912-м выходит вторая книга ее стихов — «Волшебный фонарь», и у них с Эфроном рождается дочь Ариадна. Еще через год Цветаева издает сборник «Из двух книг» — избранное из «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря» — и предпосылает ему «Предисловие», датированное январем 1913 года, где формулирует свои взгляды на задачу творчества:


Марина Цветаева. Понтайяк. 1928

«Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму руки, его кинувшей; не только вздох — и вырез губ, с которых он, легкий, слетел. Не презирайте “внешнего”! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы?.. Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души»[5].

Из автобиографии: «…с начала революции по 1922 г. живу в Москве. В 1920 г. умирает в приюте моя вторая дочь, Ирина, трех лет от роду. В 1922 г. уезжаю за границу, где остаюсь 17 лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во Франции. В 1939 г. возвращаюсь в Советский Союз — вслед за семьей и чтобы дать сыну Георгию (родился в 1925 г.) родину»[6].

Творческое наследие Марины Цветаевой многолико: лирика и драматургия, проза — очерки и эссе, статьи, воспоминания о современниках, переводы, эпистолярный жанр, — и все-таки для нас и для будущих поколений Марина Цветаева прежде всего Поэт — именно так, с большой буквы.

Цветаева формально не принадлежала ни к одному литературному направлению, ни к одной литературной школе, но логика внутреннего развития вела ее от реализма первых книг к символизму «Верст», «Разлуки», поэмы «На Красном коне».

Стихи сборника «Разлука» написаны в Москве и обращены к мужу, Сергею Эфрону, о судьбе которого после поражения Добровольческой армии Цветаева не имела достоверных сведений. Шел 1921 год, от Сергея

давно не было вестей, и в стихи вылилась вся боль неизвестности и разлуки. «Стихи, которые трудно писать и немыслимо читать. (Мне — другим.) — Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С., — да нéкому... Эти стихи — попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса», — отметит она в частном письме[7].

Начинается цикл темой разлуки — биографической, как в жизни, но трансформирующейся в тему разлуки вечной — вселенской.

Все круче, все круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, — разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже —
Неотъемлем.

Стремит столбовая
В серебряных сбруях.
Я рук не ломаю!
Я только тяну их
— Без звука! —
Как дерево-машет-рябина
В разлуку,
Во след журавлиному клину…

Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» вспоминает: «Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С.Я. Эфрон жив и находится в Праге; я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте»[8].

После поражения Белого движения Эфрон, как и тысячи других солдат и офицеров разгромленной армии, оказался в Праге. Президент Чехословакии Т.Г. Масарик предоставил изгнанникам убежище, при этом студенты получили возможность завершить образование, все расходы, связанные с их обучением и проживанием, взяло на себя чешское правительство.

Бывший белый офицер не мог вернуться в Москву, и Марине другого выбора не оставалось, как ехать к мужу в Прагу. Получить разрешение на выезд стало возможно, но нужны были большие деньги на дорогу и время, чтобы их собрать.

В начале 1922 года в Берлине — благодаря стараниям Эренбурга — выходят две крохотные книжечки Цветаевой: «Стихи к Блоку» и «Разлука», «просто чтобы окупить дорогу», как сообщает она в письме, посылая их Б. Пастернаку.

В 1922 году ей разрешают покинуть советскую Россию, и 15 мая она с маленькой дочерью Алей приезжает в Берлин, чтобы через Германию следовать дальше, в Прагу.

«В 1922 г. в Берлине, еще до меня, появляются книжки (собственно, отрывки из Ремесла) — Стихи к Блоку и Разлука, — отмечает Цветаева в тетради. — Приехав, издаю — Ремесло (стихи за 1921 г. по апрель 1922 г., т. е. отъезд из Р<оссии>), Царь-Девицу — с чудовищными опечатками и Психею (сборник, по примете романтики), купленную Гржебиным еще в Р<оссии>. Потом, в Праге, в 1925 г. — Мóлодца. Потом, в Париже — каж<ется> в 1927 г. — После России»[9].

«Разлука» — эта тоненькая книжечка, состоящая из восьми стихотворений и поэмы «На Красном коне», — стала заметным явлением в культурной жизни эмиграции. Цветаева в Москве еще только готовилась к отъезду, когда во втором номере библиографического журнала «Новая русская книга» И. Эренбург опубликовал — в форме письма к ней — дружественный отзыв на «Стихи к Блоку» и «Разлуку», где так рассуждал о ее творческом пути: «Вы были своевольной — Вы стали мудрой... Вы героически ощущаете мир, без позы, в буднях, растапливая печку на чердаке в Борисоглебском… Это зной, духота, зенит. Дерзость, радость — раньше. Слава, тихость — после. Но не в этом ли часе высшее таинство проступающей в муках завязи. Не поздравляю, тихо скажу: Вы — Марина Цветаева»[10].

Несколько слов нужно сказать о художнике, оформившем оба сборника. Александр Мартынович Арнштам (1880–1969)[11] иллюстрировал книги для русских издательств — «Геликон», «Огоньки», «Русское универсальное издательство». В России он входил в объединение «Мир искусства», сотрудничал с журналами «Золотое руно», «Аргус», «Солнце России», оформлял и иллюстрировал книги М. Волошина, И. Анненского, В. Брюсова. В 1921 году, эмигрировав в Берлин, он учредил там «Берлинский союз русских художников». Берлинский период в творчестве А.М. Арнштама — время всеобщего признания в художнике книжного графика и портретиста. В своих графических работах Арнштам тонко сочетал кубистические ритмы и формы с гармоничным общим декоративным эффектом и мастерски прорисованными деталями. В такой манере в 1922 году он и оформил обложки для «Стихов к Блоку» и «Разлуки».

Многими новыми литературными знакомствами Марина Ивановна была обязана Эренбургу. «У меня сохранилась ее книга “Разлука”, — упоминает в мемуарах Эренбург, — на которой она написала: “Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года”. (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к тому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)»[12]

В первые дни приезда Цветаевой в Берлин Эренбург представил ей издателя «Геликона» Абрама Григорьевича Вишняка. Тогда же она познакомилась с Романом Гулем, как и Сергей Эфрон, участником Ледяного похода, и с Марком Слонимом, литератором, сотрудником пражского журнала «Воля России» (на долгие годы он останется одним из самых верных ее друзей).

Еще до приезда Цветаевой, 7 мая, газета «Накануне» поместила хвалебный отзыв о книге «Разлука» за подписью «Ант.»[13]: «Марина Цветаева

кровью и духом связана с нашими днями. Она жила на студеном чердаке с маленькой дочерью, топила печь книгами, воистину, как в песне, "сухою корочкой питалась" и с высоты чердака следила страшный и тяжкий путь Революции. Она осталась мужественна и сурова до конца, не обольстилась и не разочаровалась, она лишь прошла за эти годы — сто мудрых лет... Марина Цветаева — поэт нашей эпохи... Она — честна, беспощадна к себе, сурова к словам...»[14] Автор рецензии особо отметил поэму «На Красном коне».

Стихи этого сборника были настолько не похожи на прежние, что критики, писавшие о них, все как один говорили о «переломе» в творчестве поэта.

«Эта маленькая книжка не только "разлука", но и уход, и отказ. Уход от прежней Марины Цветаевой. Трудно сказать, окончательно ли избрала она этот новый путь — или после ухода будет возврат, — но сейчас по-новому зазвучали ее стихи.

Далеко ушла она от первых своих воскрешений прошлого — теней прабабки, от любовной четкой лирики, от нежности материнства, от задорной жажды жизни. Путь жизни лежит через героическое преодоление», — писал под инициалами М.С. один из наиболее ревностных почитателей Цветаевой М. Слоним[15].

«Символическая поэма "На Красном коне", близкая творениям Вячеслава Иванова, изображает всю жизнь точно стремительный скок огненного коня, точно жертвенный отказ от радости во имя победы духа пламенного»[16].

«И настежь, и настежь
Руки — две.
И навзничь! — Топчи, конный!
Чтоб дух мой, из ребер взыграв — к Тебе,
Не смертной женой —
Рожденный!

Это — почти загадка. В шести строчках опущены три глагола. Строки нужно прочесть трижды, чтобы понять, что в этой скупой, колючей формуле — вся Марина Цветаева, что это — лишь упавшие на землю угольки ее пожара. Далее — поэма "На Красном коне", такая же скупая, трудная и вдохновенная, — песня закованного в тяжкую, мучимую плоть Духа о вечной свободе.

Сей страшен союз. — В черноте рва
Лежу, — а Восход светел.
О кто невесомых моих два
Крыла за плечом —
Взвесил.
Немой соглядатай
Живых бурь —
Лежу — и слежу
Тени.

Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красном коне —
Мой Гений!»[17]

Андрей Белый, знакомый с Цветаевой еще по Москве, был поражен «Разлукой» — ее стихи показались ему родственными его собственным поэтическим поискам. 21 мая в берлинской газете «Голос России» появилась его рецензия, которую он назвал «Поэтесса-певица». Отметив скудость образов ее нового сборника, он проводит восторженный стиховедческий анализ, доказывая, что в стихах главное — «порывистый жест, порыв» и что стихи Цветаевой, как вся русская поэзия, «от ритма и образа явно восходят к мелодии»[18].

«Все читал, все читал: оторваться не мог. В чем же сила? В порывистом жесте, в порыве. Стихотворения “Разлуки” — порыв от разлуки. Порыв изумителен жестикуляционной пластичностью, переходящей в мелодику целого… подымается хориямбический лейтмотив, ставший явственным мелодическим жестом, просящимся через различные ритмы. И забываешь все прочее: образы, пластику, ритм и лингвистику, чтобы пропеть как бы голосом поэтессы то именно, что почти в нотных знаках дала она нам. (Эти строчки читать невозможно — поются.)… Мелодия Марины Цветаевой явлена целым многообразием ритмов. Но не в лингвистике и не в пластике сила ее; если Блок есть ритмист, если пластик, по существу, Гумилев, если звучник есть Хлебников, то Марина Цветаева — композиторша и певица… мелодии же Марины Цветаевой неотвязны, настойчивы...»[19]

А. Бахрах в рецензии на книгу «Ремесло», куда, собственно, и была включена «Разлука», пишет, что «Разлука», «Версты», «Стихи к Блоку» — это «дальнейшее шествование… к пропасти, в бездну, в сторону от поэзии к чистой музыке…»[20]

В целом все рецензенты сходятся во мнении, что «Разлука» отмечает важный этап в творчестве одной из лучших русских поэтесс и является примечательным литературным явлением, с каждым новым сборником Цветаева обновляется и совершенствуется, с каждой новой книгой выявляет себя все большим мастером.

«Есть в стихах Цветаевой, кроме вызова, кроме удали, непобедимая нежность и любовь. Не к человеку, не к Богу идут они, а к черной, душной от весенних паров земле, к темной России. Мать не выбирают, и от нее не отказываются, как от неудобной квартиры. Марина Цветаева знает это и даже на дыбе не предаст своей родной земли»[21].

«Впрочем, — как писал позднее Илья Эренбург, — все это забудется — и кровавая схватка веков, и ярость сдиравших погоны, и благоговение на эти золотые лоскуты молившихся. Прекрасные стихи Марины Цветаевой останутся, как останутся жадность к жизни, воля к распаду, борьба одного против всех и любовь, возвеличенная близостью подходящей к воротам смерти»[22].

Марина Мелкова

---

[1] Федотов Г. О парижской жизни // Ковчег: сб. Нью-Йорк, 1942. С. 190.

[2] Бродский о Цветаевой: Интервью, эссе. М.: Изд-во «Независимая газета», 1997. С. 55.

[3] Там же. С. 53.

[4] Святополк-Мирский Д. Современное состояние русской поэзии: Марина Цветаева // Новый журнал (Нью-Йорк). 1978. № 131. С. 93–94.

[5] Цветаева М. Из двух книг. М.: Оле-Лукойе, 1913. С. 3.

[6] Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 5. С. 8.

[7] Из письма В. Познеру // Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 7. С. 353.

[8] Цит. по: Марина Цветаева в воспоминаниях современников. М.: Аграф, 2002. [Т. 1:] Рождение поэта. С. 125.

[9] Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 27.

[10] Новая русская книга (Берлин). 1922. № 2. С. 17.

[11] См.: Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: Биогр. словарь: в 3 т. М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. Т. 1.

[12] Марина Цветаева в воспоминаниях современников. [Т. 1:] Рождение поэта. С. 125.

[13] Кто скрывается за этой подписью, достоверно не установлено. Скорее всего, это либо П.Г. Антокольский, либо А.Н. Толстой, тогдашний редактор литературного приложения газеты.

[14] Накануне: Литературное приложение (Берлин). 1922. № 39. 13 мая. С. 8.

[15] Воля России (Прага). 1922. № 13. 1 апреля. С. 24.

[16] Там же.

[17] Антокольский П. [Рец.:] Марина Цветаева. Разлука: Книга стихов. Москва – Берлин, 1922 // Накануне: Литературное приложение. 1922. № 39. 13 мая. С. 8.

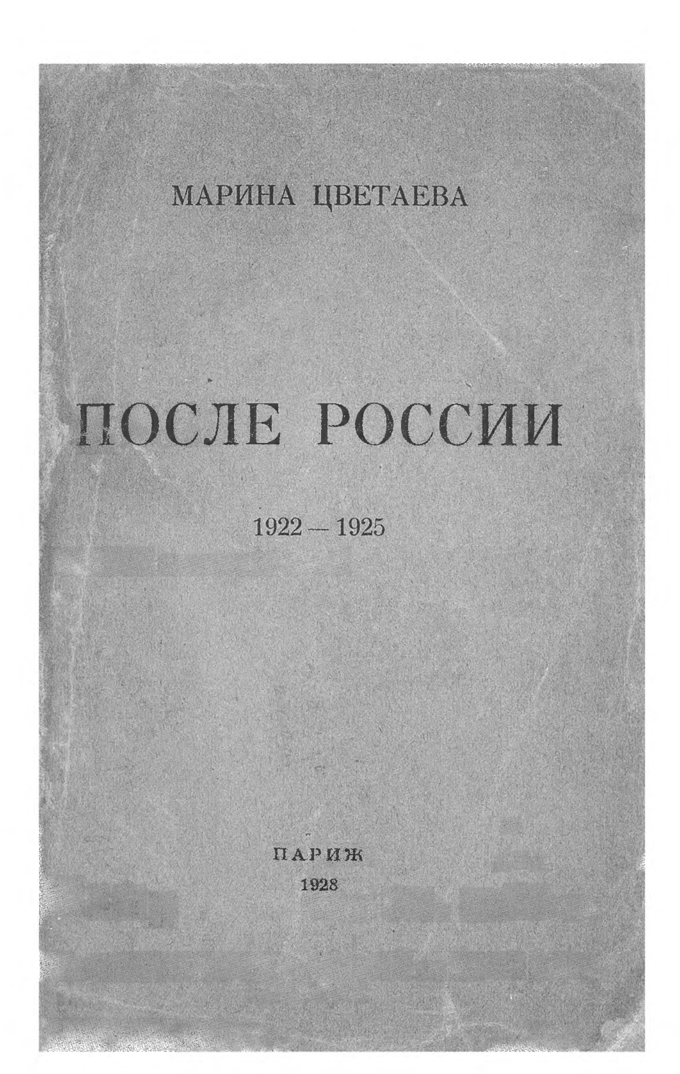
[18] Голос России (Берлин). 1922. 21 мая.

[19] Там же.

[20] Дни (Берлин). 1923. 8 апреля.

[21] Эренбург И.Г. Портреты современных поэтов. М.: Первина, 1923. С. 73.

[22] Там же. С. 74.



90

ЦВЕТАЕВА М.И.

После России:
1922–1925

/ Марина Цветаева. — Париж: Imp. union, 1928. — 153, [11] с.; 19×12,5 см. — [500 экз.]. 100 нум. экз. этого издания отпечатаны на роскошной бумаге и в продажу не поступили.
В розовом цельнокожаном переплете, выполненном в конце XX века. Шрифтовая двухцветная издательская обложка сохранена в переплете.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Петру Петровичу Сувчинскому — в знак будущего. Марина Цветаева. Медон, 31-го мая 1928 г.»[1].

Эта книга — последнее прижизненное издание Марины Цветаевой, своеобразное подведение итогов первого периода эмиграции. В сборник вошли стихи берлинского и пражского периодов, он разностилевой и охватывает множество тем. Здесь и размышления о поэтической стезе, о многогранности человеческой души, и попытка разобраться в самой себе; здесь тема отказа и отречения от жизни становится доминирующей.

Замысел книги возник у Цветаевой задолго до ее выхода. Еще в апреле 1924 года она просит Р. Гуля переговорить с председателем Госиздата о возможности издания в России новой книги ее стихов «Умыслы»: «Книга зá два года (1922–1924 гг.), — все, написанное за границей. Политического стихотворения ни одного»[2]. Позже в ответах на анкету «Писатели о современной русской литературе и о себе» Цветаева отмечает: «Среди написанного с весны 1922 года по нынешнюю осень 1925 года — "Умыс-

лы" — книга стихов 1922–1925»[3]. Размышляя о смысле этого слова, она вписывает в тетрадь целую палитру его значений:

«Умыслы:

Тайное, никогда не становящееся явным.

Последнее, с чем считаются земные судьи, и единственное, что зачтется на Страшном суде.

Пример: интонация: голосовой умысел.

Умысел не цель, а некий тон поступка.

Умысел — исток поступка. Так: не с какой целью? А: из каких побуждений?

Разница между умыслом и замыслом. Умысел: тайное побуждение. Замысел: явная воля к...

Умысел — в нас, замысел — наш.

Замысел учтим, поэтому часто неудачен. (Неудачный замысел вещи.) Умысел, как неучтимый, ни удаче ни неудаче не подвержен…

Замысел и есть поступок. Плохо замыслил — плохо и вышло»[4].

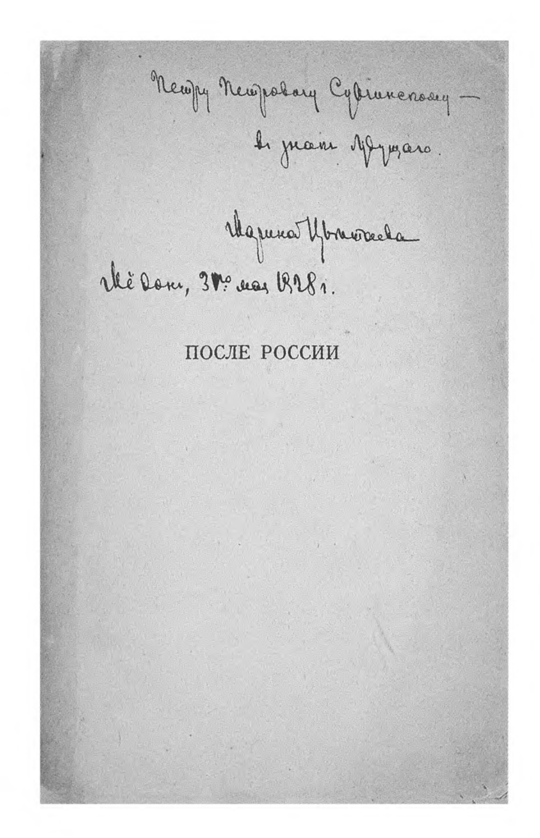
И еще очень важное замечание, объясняющее творческий метод Цветаевой при подготовке книги: «Умыслы — в мире дословном (дословесном) то же, что тайнопись в мире сем. Умыслы можно передать только тайнописью»[5].

«Умыслы» — одно из предполагаемых названий сборника. Намечались и другие. В объявлении газеты «Дни» от 8 февраля 1925 года был анонсирован сборник стихов Цветаевой «Тетрадь», это название нашло позднее отражение в заголовках частей вышедшей книги — «Тетрадка первая (Берлин – Прага, 1922–1923)» и «Тетрадь вторая (1923–1925)». В рабочей тетради упоминаются еще два «названия для книги»: «Игры слов и смыслов» и «Соломонов перстень»[6].

В книге 160 стихотворений, написанных в первые годы эмиграции, бóльшая их часть написана в Чехии («Пусть чехи убедятся, что недаром давали мне иждивение все те годы»[7]). В периодической печати («Дни», «Последние новости», «Воля России», «Окно», «Записки наблюдателя», «Современные записки», «Своими путями» и др.) было опубликовано менее трети из них. В отличие от предыдущих сборников, книга напечатана по новой орфографии («согласна на новую орфографию, ибо читатель ее — в России»[8]), кроме эпиграфа из Тредиаковского, который напечатан с ятями и ерами.

Надо отметить, что ощущение оскудения прежнего непрерывного лирического тока Цветаева почувствовала еще в начале 1925 года, записав в черновой тетради: «Для других я еще — Кастальский ток, для себя — иссякла». С середины 1925 до середины 1928-го, живя уже в Париже, она написала всего несколько стихотворений, продолжая работать преимущественно над поэмами, литературно-философскими эссе и приступив к созданию очерка «Наталья Гончарова». «Стихов я почти не пишу... Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно — и проза *моя*, и лучшее в мире после стихов — это лирическая проза, но все-таки — *после* стихов!» — напишет она своей чешской приятельнице Анне Тесковой[9].

В письме 1927 года к ней же Цветаева объясняет, почему книга получила такое название: «Книга (только Вам!) называется После Рос-


Петру Петровичу Сувчинскому —
в знак дружбы.

Марина Цветаева

Медон, 30-го мая 1928 г.

ПОСЛЕ РОССИИ

Авантитул книги «После России» с дарственной надписью автора

сии — хорошо? Я в этом названии слышу многое. Во-первых — тут и слышать нечего — простая достоверность: всё — о стихах говорю — написанное после России. Во-вторых — не Россией одной жив человек. В-третьих — Россия во мне, не я в России... В-четвертых: следующая ступень после России — куда? — да почти что в Царство Небесное! А в общем название скромное и точное»[10].

Одним из первых читателей сборника был Б.Л. Пастернак. Цветаева послала ему рукопись книги и получила от него восторженный отзыв. В ответном письме от 15 июля 1927 года она писала: «Ты наверное переоцениваешь мою книгу стихов. Только и цены в ней, что тоска. Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь, — не до́лжно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, — точно *поэмы* не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) — служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня, топя меня — и заводя каждый час по-своему, по-моему»[11].

Издатель нашелся в апреле 1927 года — Иосиф Ефимович Путерман, бывший пайщик издательства «Плеяда» Я.Е. Поволоцкого, в то время уже возглавлявший свое небольшое издательство. «Издатель, очень любящий мои стихи и хотящий, чтобы они были»[12], — писала о нем Цветаева. Издание осуществлялось за счет средств, собранных по подписке, — каждый подписчик должен был получить свой нумерованный и подписанный экземпляр.

Несмотря на то что в эмиграции Цветаева держалась особняком, были у нее и «союзники», единомышленники, которые помогали печататься, устраивать литературные вечера: М.Л. Слоним, Д.П. Святополк-Мирский, П.П. Сувчинский, В.Н. Бунина, С.Н. Андроникова-Гальперн, А.А. Тескова. К ним же обращается Цветаева с просьбой распространить подписки на книгу.

«Милый Петр Петрович, — пишет она Сувчинскому. — Обращаюсь к Вам с большой просьбой: сделайте все возможное, чтобы пристроить прилагаемые билеты, издатель взял на себя 25, на мою долю пало 15, тогда только книга начнет печататься. Техника такова: подписчик заполняет бланк (нужно для нумерации) и направляет по указанному адресу,

издателю… Бланк важен только с деньгами, иначе он называется *посул*. Простите, ради Бога, за просьбу. МЦ»[13].

Знакомство Цветаевой с Сувчинским, одним из основателей евразийского движения, состоялось, по-видимому, во время ее непродолжительного пребывания в Берлине летом 1922 года. Мимолетное знакомство перешло в более близкое уже после переезда Цветаевой в Париж в конце 1925 года, где они оба сотрудничали в журнале «Версты». Журнал выходил под редакцией Д.П. Святополка-Мирского, П.П. Сувчинского, С.Я. Эфрона при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова. Просуществовал он недолго, вышло всего три номера, первый — в 1926 году, последний — в 1928-м. В эти годы Цветаева ведет с Сувчинским активную переписку и находит в нем достойного собеседника.

Книга «После России» вышла в апреле 1928 года. После некоторого затишья в июне в течение нескольких дней сразу три парижские газеты — «Дни», «Последние новости» и «Возрождение» — поместили рецензии на сборник.

М. Слоним откликнулся на выход сборника большой статьей:

«Нет ничего неправильнее ходячего представления о Цветаевой как о непонятном поэте. Наоборот, ее стихи до того определенны, их выражения до того точны и сжаты, что порою они достигают почти математической четкости. Они требуют лишь одного — сосредоточенности внимания. Они рассчитаны на читателя, который способен на некоторое духовное усилие и в поэзии ищет некоего “полета души”, некоей возвышенной серьезности эмоций и мыслей… стихи Цветаевой… и в самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, — им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой….

Ее творчество — не только постоянный “бег”… но и порыв — от земного, и прорыв — в какую-то истинную реальность, где нету “веса, счета, времени, дроби”.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

Удивительно, что этот романтизм Цветаевой, эта ее “безмерность” заключены в сжатые, прерывистые строки…

Цветаева — своеобразный и большой поэт. Вместе с Пастернаком она, пожалуй, является наиболее яркой представительницей современной русской поэзии. И новая книга ее, где так полно даны все особенности ее творчества, не только значительное явление для нашей зарубежной поэзии, но и крупный и ценный вклад в русскую литературу вообще»[14].

По мнению Вл. Ходасевича, «эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока. Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, каждым душевным движением, что главной ее заботой становится — за-

крепить наибольшее число их в наиболее строгой последовательности, не расценивая, не отделяя важного от второстепенного, ища не художественной, но скорее психологической достоверности. Ее поэзия стремится стать дневником...»[15]

«В этой книге лучше всего то, что Цветаева… отрываясь от дневника (всего лишь человеческого документа), находит в себе силу и волю создавать вещи законченные и цельные, подчиненные замыслу художника. И тогда мы имеем такие стихотворения, как “Сивилла — младенцу”, “Педаль”, “Попытка ревности”, “Так вслушиваются”, “Ночь”, “Занавес”, “Наклон”, “Расстояние”…»[16]

Г. Адамович дает противоречивую оценку сборнику, упрекая Цветаеву в неуместном «идеализме и взлетах»[17], установке на недосказанность, зашифрованность стихов (не случайно первоначально книга должна была называться «Умыслы»), в то же время отмечая достоинства цветаевской поэзии: «…“плюсы” их в моем представлении перевешивают “минусы”… стихи Цветаевой эротичны в высшем смысле этого слова, они излучают любовь и любовью пронизаны, они рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. Это — их главная прелесть. Стихи эти писаны от душевной щедрости, от сердечной расточительности… Нельзя все-таки сомневаться, что Марина Цветаева — истинный и даже редкий поэт… есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т. е. врожденное сознание, что все в мире — политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно все — составляет один клубок, на отдельные ниточки не разложимый. Касаясь одной какой-либо темы, Цветаева всегда касается всей жизни… ее поэзия на редкость “органична”»[18].

Отмечает этот сборник и П. Пильский: «…все песни… мчащиеся, несущиеся, захлебывающиеся в своем беге, в своей страсти, в этой быстрой, спешащей судорожности, в горячей скороговорке, рвущиеся и рвущие мозг, сердце, слух, трепещущие и бьющиеся, как пойманная птица в кулаке охотника.

Минутами становится утомительно, минутами страшно, испытываешь нетерпение, ощущаешь сердцебиение, хочется самому сорваться и тоже лететь и тоже не зная куда, — может быть, в ночную даль, во тьму, в мрак, а может быть, с пятого этажа вниз, головой на мостовую, чтобы разбиться вдребезги, но летишь, лишь бы лететь, непременно лететь!

…Эта книга — горячая, бунтующая, нервная, конечно, талантливая, отданная не пониманию, а прочувствованию, не логике, а чутью. Это — откровение в темпе, раскрытие души в ритме. Ее смысл и ценность в непрестанных колебаниях, внутренней дрожи, безмерном страстном порывании вперед»[19].

Марина Мелкова

---

[1] Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) — философ, музыковед, литературный критик, пианист. С 1920 г. в эмиграции.

[2] Из письма к Р. Гулю от 11 апреля 1924 г. (Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 6. С. 535).

[3] Своими путями (Прага). 1925. № 8/9. С. 8.

[4] Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 289.

[5] Там же. С. 298.

[6] Там же. С. 285.

[7] Из письма к А.А. Тесковой от 20 октября 1927 г. // Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. С. 360.

[8] Из письма к О.Е. Колбасиной-Черновой от 25 мая 1925 г. // Там же. С. 746.

[9] Из письма к А.А. Тесковой от 24 ноября 1933 г. // Там же. С. 406.

[10] Из письма к А.А. Тесковой 1927 г. // Там же. С. 357.

[11] Из письма к Б.Л. Пастернаку от 15 июля 1927 г. // Там же. С. 272–273.

[12] Из письма к А.А. Тесковой 1927 г. // Там же. С. 357.

[13] Письмо к П.П. Сувчинскому от начала февраля 1928 г. // Там же. С. 325.

[14] Дни (Париж). 1928. 17 июня. С. 4. Подписана инициалами М.С.

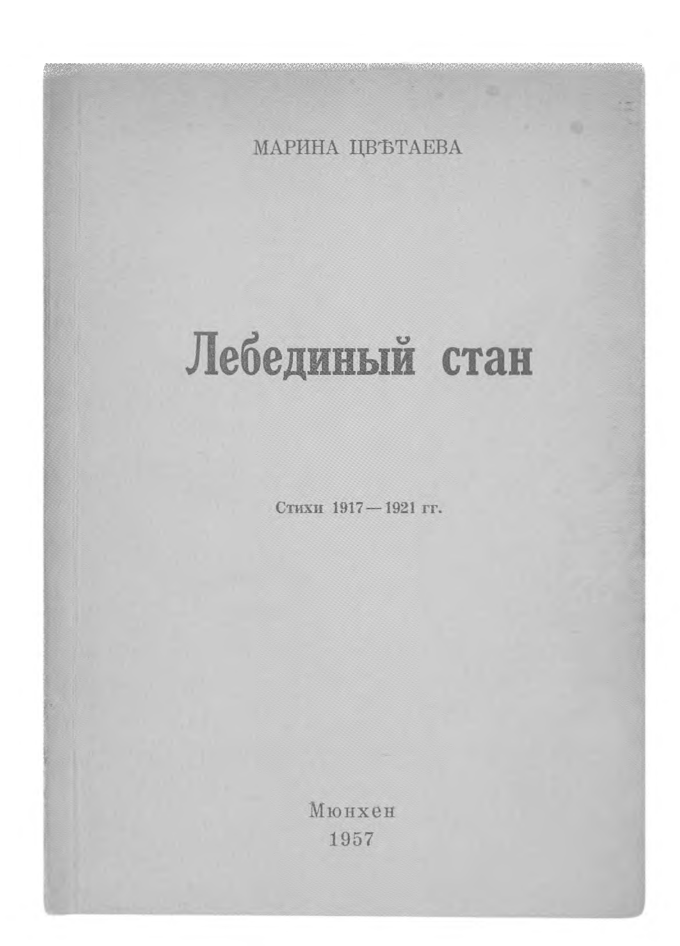
[15] Возрождение (Париж). 1928. 19 июня. С. 3.

[16] Там же.

[17] Последние новости (Париж). 1928. 21 июня. С. 3.

[18] Там же.

[19] Сегодня (Рига). 1928. 25 августа. С. 8.



91

ЦВЕТАЕВА М.И.

Лебединый стан: Стихи 1917–1921 гг.

/ Марина Цветаева; пригот. к печ. Г.П. Струве; вступ. ст. Ю.П. Иваска. — Мюнхен: [Buchdruckerei Einheit, Inh. I. Baschkirzew], 1957. — 62, [2] с.; 21×15 см. — [500 экз.]
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.

«В современной Русской поэзии не найдешь других таких стихов, как стихи Марины Цветаевой, которые бы являлись таким страстным прославлением “белогвардейской рати святой”»[1], — писал один из участников Белого движения, офицер Марковского полка Г. Месняев. С этой оценкой перекликаются и слова Г.П. Струве: «Что Цветаева войдет в историю русской поэзии как большой и подлинный поэт, не подлежит сомнению. Но в истории русской эмиграции “возвращенка” Цветаева не будет забыта и как поэт, который еще в большевистской Москве воспел Добровольческую армию и Белое движение»[2].

Стихи о «белой гвардии» написаны Мариной Цветаевой в 1917–1920 годах и посвящены мужу, Сергею Яковлевичу Эфрону, добровольцу, участнику Ледяного похода. Цветаева не имела о нем никаких известий. Эти стихи она не раз читала в революционной Москве на поэтических вечерах — перед коммунистами, красноармейцами, курсантами, и, что удивительно, встречали их слушатели аплодисментами.

К концу 1921 года Цветаева объединила их в сборник «Лебединый стан». Уезжая в мае 1922-го из России, Марина Ивановна везла подго-

товленную к изданию рукопись с собой. Судьба книги оказалась драматичной: при жизни Цветаевой она так и не была напечатана. Некоторые стихи из нее публиковались в сборниках «Тринадцать поэтов» (Пг., 1917), «Весенний салон поэтов» (М., 1918), в журналах «Современные записки» (1921. № 6), «Русская мысль» (1922. № 8/12), в изданной И. Эренбургом антологии «Поэзия революционной Москвы» (Берлин, 1922). И. Эренбург пытался содействовать изданию книги. «При всем несогласии с подходом ее, — писал он Е. Ляцкому в 1921 году, — считаю стихи прекрасными»[3].

В июне 1923-го в надежде найти издателя Цветаева просит Р.Б. Гуля поместить в журнале «Новая русская книга» объявление о подготовленных ею к печати сборниках, среди которых перечислен и «Лебединый стан» (с пометкой: «белые стихи»). В декабре 1924-го она пишет П.Б. Струве: «Обращаюсь к Вам за советом: у меня до сих пор не издана книга так называемых “контрреволюционных” стихов (1917–1921 г.), — все нашли издателей, кроме этой. Книжка небольшая, — страниц на 60. Некоторые из стихов печатались в “Русской мысли”. Хотелось бы, чтобы она существовала целиком, потому что, с моего ведома, такой книги еще не было. Левые издательства, естественно, от нее отказываются. Называется она “Лебединый стан”, в России ее — изустно — хорошо знали. Если есть какая-либо надежда на ее устройство — отзовитесь, тогда перепишу и представлю Вам. Вопрос оплаты здесь второстепенен, — мне важно, чтобы тогдашний голос мой был услышан»[4].

После вечера в Лондоне 12 марта 1926 года, на котором Цветаева читала стихи из этой книги, она писала П.П. Сувчинскому: «Вечер прошел удачно… Стихи доходили. Хочу на часть денег издать Лебединый Стан, он многим нужен, убедилась»[5].

В 1926 году в статье «Поэт о критике» Цветаева вспоминает, как рождалась эта книга: «За 1917–1922 г. у меня получилась целая книга так называемых гражданских (добровольческих стихов)... Писала ли я книгу? Нет. Получилась книга. Для торжества белой идеи? Нет. Но белая идея, в них, торжествует. Вдохновленная идеей добровольчества, я о ней забывала с первой строки — помнила только строку — и встречалась с ней лишь по проставлении последней точки: с живым, помимо воли моей воплощенным добровольчеством. Залог действенности так называемых гражданских стихов именно в отсутствии гражданского момента в процессе писания, в единоличности момента чисто-стихотворного»[6].

В 1938 году, перед отъездом на родину разбирая свой архив, Цветаева переписывает набело стихотворения сборника и снабжает их примечаниями. Эти столь подробные и страстные комментарии свидетельствуют, что со временем эта книга не потеряла для автора своей актуальности и значимости.

Ю.П. Иваск рассказывает: «В конце 1938 г. я провел около двух недель в Париже. Почти ежедневно встречался с Мариной Ивановной. Она жила тогда с сыном в жалком отеле. Муж пропал без вести; может быть, скрылся в Россию. Перед моим отъездом она сказала мне, что

собирается уехать в Москву, но печататься в России не предполагает: "я еду туда по обстоятельствам семейным, а зарабатывать буду переводами..."»[7]. Во время этих встреч Цветаева упоминает о своем архиве, предлагая передать Иваску перед отъездом «некоторые материалы». Тот отказывается, мотивируя это тем, что вот-вот грянет война и Эстонию, где он живет, оккупирует Красная армия, и советует передать архив профессору Базельского университета Елизавете Эдуардовне Малер. Так Цветаева и сделала, может быть, потому, что лично знала Е. Малер.

Когда архив был каталогизирован и вошел в состав Базельской библиотеки, началась Вторая мировая война. Поэтому неудивительно, что на протяжении нескольких лет им никто не интересовался. И только в 1956 году приехавший из Беркли в Базель профессор русской литературы Г.П. Струве при встрече с Е.Э. Малер просит ее о приобретении фотокопии рукописи «Лебединого стана» и поэмы «Перекоп». Вначале он собирался издать оба эти произведения, однако впоследствии, в интересах еще проживавшей в СССР дочери Цветаевой А.С. Эфрон, на время отказался от печатания «Перекопа» и в 1957 году выпустил в Мюнхене только «Лебединый стан».

В дальнейшем Струве подготавливает более полный и аккуратный текст и в 1971 году публикует второе издание «Лебединого стана» — вместе с «Перекопом» и тремя приложениями.

«Лебединый стан» — это настоящая летопись революции и Гражданской войны, поэтический дневник, почти все стихи которого так или иначе тематически связаны с революционными событиями тогдашних дней. Очень многие из них посвящены Добровольческой армии. Тональность «белой темы» меняется от года к году, от стихотворения к стихотворению. Наиболее героическая она в 1917 году («Царю на Пасху», «Юнкерам, убитым в Нижнем», «Корнилов», «Повеяло Бонапартом…»). Для романтического сознания Цветаевой характерно восприятие российских событий 1917 года в образах Великой французской революции: Андрей Шенье, Консьержерия, эшафот, чернь…

Во вступительной статье к первому изданию Ю.П. Иваск писал: «Благородная, страстная и горестная Цветаева — поэт хвалы и хулы — всегда на стороне побежденных. Победители, будь они даже освободители, ей чужды»[8].

«Подлинно хороши — стихи о Белой Армии, — отмечал в рецензии на «Лебединый стан» Р.Б. Гуль. — Этой теме в эмигрантской поэзии, как ни странно, не повезло. Несколько хороших стихов о Белой Армии было у рано умершего поэта И. Савина, были у Н. Туроверова, у В. Смоленского... Стихи Цветаевой как бы заполняют этот пробел в зарубежной (и общей) русской литературе»[9].

«Белое» — то, что против тьмы, черни (независимо от сословия), то, что от Бога, — вот что вкладывает Цветаева в понятие «белая идея». «Для восхваления и прославления ее ("белогвардейской рати святой"), для выявления ее святой сущности поэтесса нашла слова и образы редкой убедительности и остроты:

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая,
Белым видением тает, тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

Для тех, кто некогда входил в лебединую стаю белого воинства, стихи Марины Цветаевой скажут и напомнят очень многое», — утверждал Г. Месняев[10].

Упомянув цикл «Дон» и «Плач Ярославны», «пронизанные реминисценциями из “Слова о полку Игореве”, Г.П. Струве писал: «Уподобление Дона — Вандее характерно для неисправимого романтика Цветаевой. Но о сути белой борьбы как патриотического долга и приятия мук никто не сказал лучше и целомудреннее, чем Цветаева»[11].

«Стиль Цветаевой порывист и неоднороден, — отмечал в статье «Поэзия благородства» С. Сокольников. — Рядом со стихами нежнейшей и законченной акварельности (“Высокой горести моей...”) — стихи-восклицания, где каждое слово — образ и символ, исполненный тоски и нежности (“Где лебеди?” — “А лебеди ушли...”). И — излюбленный поэтический прием Цветаевой — властная цезура, которая рвет ткань стиха и тем самым сообщает мысли ее последнюю трагическую законченность и напряженность (“Мракобесие. — Смерч. — Содом”). Причина такой неоднородности в исключительном богатстве поэтического инструментария Цветаевой. Мысль и чувство не идут за счет формы стиха, а наполняют его до предела и вынуждают стих биться в ритм с сердцем. В этой исключительной близости стихов к живой личности поэта, дыхание которого они сохранили, — тайна совершенства стихов Цветаевой»[12].

Определяя место «Лебединого стана» в творчестве Марины Цветаевой, Г.П. Струве сказал: «Такого поэтического памятника добровольческому рыцарству никто из самих участников Движения не создал»[13].

Широкому кругу российских читателей стихи «Лебединого стана» впервые стали доступны только через семьдесят лет после их создания[14].

Марина Мелкова

---

[1] Месняев Г. [Рец.:] Марина Цветаева. Лебединый стан: Стихи 1917–1921 гг. Мюнхен: Inh. I. Baschkirzew, 1957 // Вестник: Издание Общекадетского объединения (Париж). 1958. № 58. С. 3.

[2] Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 154.

[3] Эренбург И. Письма: в 2 т. М.: Аграф, 2004. Т. 1. С. 105.

[4] Из письма к П.Б. Струве от 4 декабря 1924 г. // Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Т. 6. С. 312.

[5] Из письма к П.П. Сувчинскому от 15 марта 1926 г. // Там же. С. 317.

[6] Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. С. 286–287.

[7] Из парижского дневника Ю. Иваска 1938 г. Цит. по: Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 7. С. 411.

[8] Иваск Ю. Благородная Цветаева // Цветаева М.И. Лебединый стан: Стихи 1917–1921 гг. Мюнхен: Inh. I. Baschkirzew, 1957. С. 62.

[9] Новый журнал (Нью-Йорк). 1958. № 53. С. 280.

[10] Месняев Г. [Рец.:] Марина Цветаева. Лебединый стан… С. 3.

[11] Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 155.

[12] Грани (Франкфурт-на-Майне). 1958. № 37. С. 236–237.

[13] Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 156.

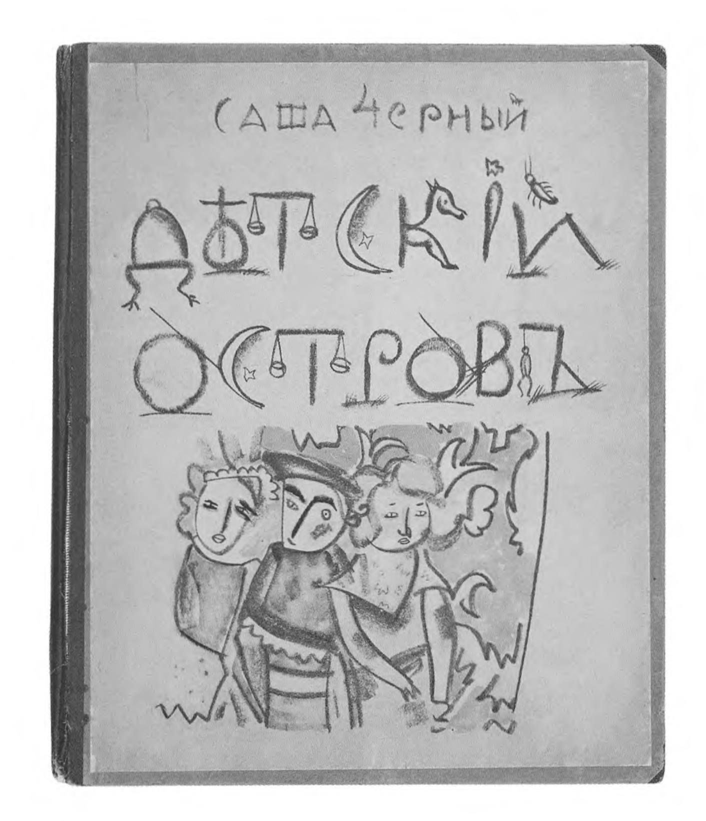
[14] См.: Цветаева М. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. Е.Б. Коркиной. Л.: Советский писатель, 1990. С. 154–188. (Библиотека поэта. Большая серия).

92

ЧЕРНЫЙ С.

Детский остров

/ Саша Черный; [рис. Б. Григорьева]. — Danzig: Слово, 1921. — 160 с.: ил.; 31,5×26 см.
В иллюстрированном цветном издательском картонаже.

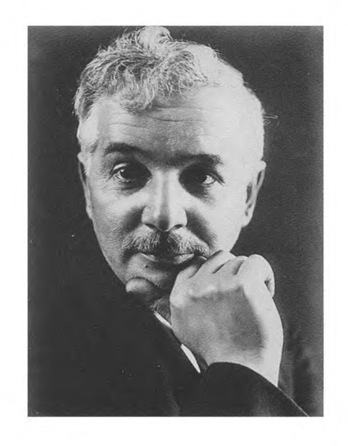




Саша Черный — псевдоним. Настоящее имя замечательного поэта, прозаика, переводчика, детского писателя — Александр Михайлович Гликберг (1880–1932). Родился он в Одессе, в семье провизора. Счастливого детства был лишен из-за тяжелой обстановки в семье и отсутствия взаимопонимания с родителями, — в пятнадцатилетнем возрасте бежал из дома и фактически оказался без средств к существованию. Вспоминать о своем детстве он не любил. Лишь однажды дал волю чувствам, но это было не его собственное сочинение, а перевод автобиографии австрийского юмориста и сатирика Сафира:

«У меня не было детства! У меня не было юности! В книге моей жизни недостает этих двух золотых вступительных страниц. Детство, яркая, пестро окрашенная заглавная буква, вырвана из длинных строк моего бытия! У меня не было ни детства, ни юности... У меня не было ни именин, ни дня рожденья! У меня не было свивальника, и для меня не зажигалась елка! У меня не было ни игрушек, ни товарищей детских игр! У меня никогда не было каникул, и меня никогда не водили гулять! Мне никогда не доставляли никакого удовольствия, меня никогда ни за что не награждали, меня никогда не радовали даже самым пустяшным подарком, я никогда не испытывал ласки! Никогда меня не убаюкивали ласкающие звуки и никогда не пробуждал милый голос! Моя судьба залепила черным

пластырем два сияющих глаза жизни — детство и юность. Я не знаю их света и их лучей, а только их ожоги и глубокую боль»[1].

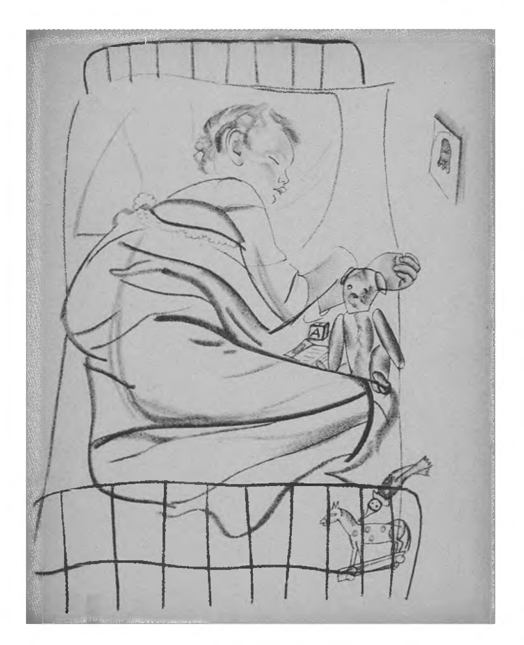


Саша Черный. Париж. 1928. Фото П. Шумова

Саша Черный начал печататься с 1904 года: в житомирской газете «Волынский вестник» появляется его сатирическая хроника местной жизни «Дневник резонера» (статьи, театральные рецензии, стихи под псевдонимами Сам-по-себе и Мечтатель). Впервые под псевдонимом Саша Черный он дебютировал в Петербурге в сатирическом журнале «Зритель», имевшем антиправительственную направленность. 27 ноября 1905 года здесь было напечатано его стихотворение «Чепуха», в котором сатирически изображалась правящая верхушка, включая царскую фамилию. Стихотворение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Этот номер был конфискован, а журнал вскоре закрыт. Первый поэтический сборник Саши Черного «Разные мотивы» (1906), в который вошли гражданские, сатирические стихи, был запрещен, и автор вспоминал о нем впоследствии с неохотой. В 1908 году Саша Черный вошел в число сотрудников нового журнала «Сатирикон» и стал его бесспорным поэтическим лидером, завоевав всероссийскую известность как «король поэтов "Сатирикона"»[2]. «Такого оригинального: смелого, буйного лирико-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появлялось на Российском Парнасе со времен почти что незапамятных»[3], — отмечал Александр Амфитеатров.

Как вспоминает К.И. Чуковский, «сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть»[4].

Саша Черный вошел в большую литературу как язвительный поэт-сатирик, и, на наш взгляд, сам его псевдоним можно расценивать как явную пародию на псевдоним известного символиста Андрей Белый. Почти в каждом номере еженедельника появлялись сатирические стихи, подписанные именем Саши Черного, и скоро читатель узнавал их, даже если они печатались без подписи. «Талантливый, но еще застенчивый новичок из волынской газеты приобрел в несколько недель — и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благодарное признание публики, всегда руководимой своим безошибочным… вкусом… в ее душевный обиход вошел милый поэт, совсем своеобразный, полный доброго восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы. И дружески интимной, точно родной, стала сразу читателям его простая подпись под прелестными юморесками — Саша Черный»[5], — писал о нем Александр Куприн.

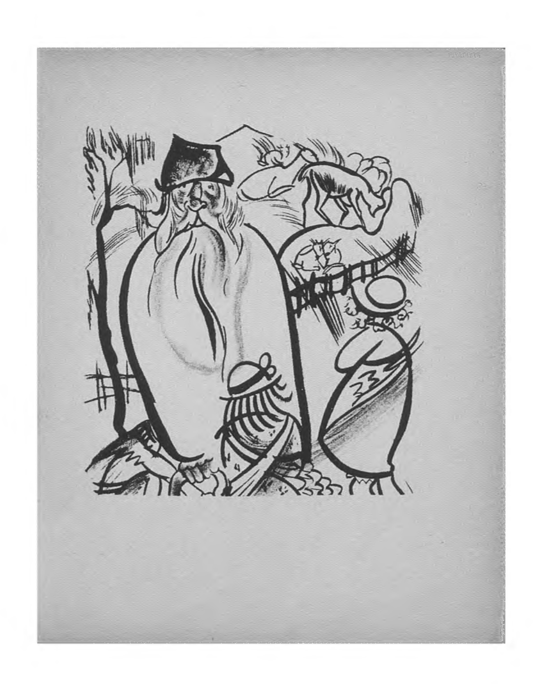



Иллюстрации к книге. Художник Б. Григорьев

В 1910–1911 годах у Саши Черного вышли книга стихов «Сатиры», объединившая произведения, публиковавшиеся в «Сатириконе» и других журналах, и сборник «Сатиры и лирика». До 1917 года обе книги выдержали пять переизданий. Поэт пробует себя в новых жанрах: переводит Гейне (в 1913 году под его редакцией выходит учебное пособие «Генрих Гейне. Книга песен. Избранные стихотворения»), начинает писать для детей — принимает участие в альманахе «Жар-птица» под редакцией К.И. Чуковского, сам готовит сборник для детей «Голубая книжка», привлекая к участию в нем М. Горького, высоко оценившего его дарование («Он гораздо интересней и талантливее своих двух книжек и кажется мне способным написать превосходные вещи»[6]), совместно с художником В. Фалилеевым выпускает книгу стихов «Тук-тук» (1913) и «Живую азбуку» (1914).

В августе 1914-го Саша Черный ушел на фронт, в качестве вольноопределяющегося был зачислен в 13-й полевой госпиталь в Варшаве. В 1917 году он служил в Пскове, где после Февральской революции был назначен заместителем народного комиссара. Однако Октябрьской революции не принял, в 1918–1920 годах жил в Литве (Вильно и Каунасе), затем эмигрировал в Берлин. В Германии провел около двух лет, сотрудничал в газете «Руль», в журнале «Сполохи», редактировал литературный отдел в журнале «Жар-птица», издал книгу стихов «Жажда. 1914–1922» (1923). В книге повествуется о трудном и горестном странствии поэта «под чужим солнцем», о безумной жажде вновь обрести потерянную родину. Прежний мир теперь окружен для него поэтическим ореолом, и все, что Саша Черный так остроумно высмеивал раньше, кажется ему дорогим и милым.

«Детский остров» — первая книга Саши Черного, изданная за рубежом. Судя по тому, что первые рецензии появились в декабре 1920-го,



книга вышла в конце того же года в Берлине, где располагалось издательство «Слово»; Данциг (ныне Гданьск) был обозначен лишь формально, для сокращения таможенных затрат, так как имел статус «вольного города». Из воспоминаний вдовы поэта об этом издании: «Я встретила случайно одну из моих слушательниц на Высших женских курсах в Петербурге, которая была замужем за адвокатом Б.И. Элькиным, который занимал теперь видное место в большом берлинском издательстве Ульштейна. Он устроил сейчас же издание сборника Сашиных детских стихов “Детский остров”, который взялся иллюстрировать наш петербургский знакомый художник Борис Григорьев. Несмотря на довольно высокую цену, эта книга достаточно быстро разошлась»[7]. Рисунки органично соответствовали лирическому тону стихотворений Саши Черного — тут по-настоящему раскрылось мастерство Григорьева как художника-книжника. «От всей книги веет чисто русским духом природы, — отмечала в рецензии на книгу А. Белокопытова. — Этому способствуют и деревенские рисунки Григорьева характерных мужицких силуэтов, сбора, сенокоса»[8]. Борис Дмитриевич Григорьев (1886–1939) — самобытный живописец и график, один из престижных портретистов России 1910-х годов, эмигрировал годом раньше Саши Черного, переплыв с семьей на лодке Финский залив. Какое-то время он жил в Берлине, а с конца 1920 года поселился в Париже. Его эмигрантская судьба складывалась удачно: Григорьев провел множество персональных выставок в галереях Парижа, Милана, Праги, Нью-Йорка. Преподавал в академиях Чили, Парижа, Нью-Йорка, дважды путешествовал по Южной Америке. Он был далек от идеализации натуры, в острой, порой гротескной манере писал портреты знаменитых современников: К.С. Станиславского, Ф.И. Шаляпина, А.М. Ремизова, С.В. Рахманинова, а также многочисленных безымянных персонажей-типов из повседневной жизни. В «Детском острове» Борисом Григорьевым выполнены тридцать пять графических иллюстраций: двадцать одна — страничного формата, четырнадцать — в тексте, — все они сродни детским рисункам. «Рисунки Б. Григорьева сделаны с нередкой для этого талантливого художника небрежностью. Кроме того, дети не любят подделку под их манеру рисовать. Но умел же — или, вернее, захотел — Б. Григорьев чудесно нарисовать Индюка, спящего ребенка и в особенности древнего двухсотлетнего Попку, профессора классической филологии», — отмечал в своей рецензии А.И. Куприн[9].

Большая часть стихов «Детского острова» родилась на хуторе близ станции Турмонт под Вильно. Кроме них, в книгу включены и ранее печатавшиеся детские стихи, и сборник для детей «Тук-тук». Известный прежде всего своими сатирическими произведениями на злобу дня, поэт, оказавшись на Западе, потерял свою читательскую аудиторию. Его острая и язвительная сатира на актуальные для российской действительности темы оказалась здесь никому не интересной. Тихая мирная жизнь в уединении на хуторе создавала иллюзию острова, далекого от войн, революций и прочего мирового зла. Этим островом для поэта стали стихотворения для детей, с оттенками легкой иронии и шутки, добрые и задушевные. «Удивительной тайной владеет Саша Черный: его стихи и рассказы одинаково увлекательны и для детей, и для взрослых дядей — признак высокого мастерства и художественной правды. А главное, с детьми он не фамильярничает и у них не заискивает»[10].

Рукопись книги чуть было не изъяли при пересечении германской границы — таможенная полиция при досмотре листы со стихами приняла за агитационные материалы. К счастью, нашелся служащий, который знал по-русски и которому были известны сатириконские стихи Саши Черного, и недоразумения удалось избежать[11].

Это издание поражает добротностью и своими размерами — большого «подарочного» формата, с картинками, — оно явилось воплощением мечты поэта о хорошей детской книге, предназначенной для чтения в семейном кругу. Как было сказано в одной из первых рецензий на книгу: «Это действительно остров — и не только для детей: поэт сам отдохнул здесь на простых темах от общих и страшных мыслей, для которых не подыщешь нужного слова, потому что трудно соперничать в силе и выразительности с войной, мором и голодом»[12]. Эту мысль повторяет рецензент в «Русской книге»: «Саша Черный спрятался на время на детский остров и сам стал ребенком, который и прост, и ясен, и не умеет еще болеть взрослыми болями»[13].

Один из секретов «волшебства» Саши Черного в том, что он и сам становится одним из героев своих произведений, в стихотворном предисловии «Детям» сразу представляясь маленьким читателям:

Может быть, слыхали все вы — и не раз, —
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас.
. . . .
Он хоть взрослый, но совсем такой, как вы:
Любит сказки, солнце, елки, —
То прилежнее он пчелки,
То ленивее совы.
. . . .
Ну так вот, — такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовется «Саша Черный»…
Почему? Не знаю сам.

В книге «Детский остров» три раздела: «Веселые глазки», «Зверюшки» и «Песенки». Они объединены образом автора, его поистине детским мироощущением, что было отмечено А.И. Куприным: «Раскрываешь наугад любую страницу — и очаровываешься прелестью красок и теплотою содержания. И чувствуешь, что все они у него живые: и дети, и зверюшки, и цветы. И что они — родные. Тонкими, точными, забавными и милыми чертами обрисованы: и кот, и барбос, и таракан, и попка, и мартышка, и слон, и индюк, и даже крокодил, и все прочие. И всех видишь в таком наивном и ярком освещении, как видел летним свежим утром в раннем детстве бронзового чудесного жука или каплю росы в зубчатом водоеме гусиной травы. Помните? А как хороши у Саши Черного детские игры и вечерние песенки!»[14]

«Веселые глазки» — под таким ласковым заглавием объединены стихотворения о мире детей, светлом, жизнерадостном мире любознательных «человечков», смешливых и простодушных, сострадающих и отзывчивых, которым хочется «все пересмотреть, перетрогать, повертеть». Они — часть этой природы, слиты с нею неразрывно. И описывает их поэт с нескрываемой симпатией и любовью. Детские образы у него всегда конкретные, запоминающиеся, маленькие герои стихотворений наивны и простодушны. Вот мальчик Боб кормит игрушечную лошадку шоколадкой:

Распорол брюшко лошадке,
Всунул ломтик шоколадки
И запел: «Не хочешь в рот,
Положу тебе в живот!»
. . . .
Лошадь кушала, старалась,
Только кошка удивлялась:
«Отчего все таракашки
Растолстели, как барашки?»

В этой наивности ребенка есть для поэта своя привлекательность и прелесть, он сам где-то рядом с понимающей улыбкой наблюдает за мальчиком.

Весело и беззаботно Саша Черный предается ребячьим забавам. Детские заботы и радости понятны ему. Это память собственного детства возвращает ему волшебные минуты шалостей и озорства:

А летом всего веселей
Вишневый обкусывать клей,
Купаясь, всплывать на волну,
Гнать белку с сосны на сосну,
Костры разжигать у реки
И в поле срывать васильки...

Наряду с детьми Саша Черный заселяет свой остров и зверюшками. Каждое стихотворение «Детского острова» знакомит маленьких

читателей с чем-то новым, неизвестным. Тут и пчелки, делающие мед, и аисты в гнезде, и лягушки, размышляющие «а мальчишки не кусают?», и цветочки-иммортелли, и целый зоопарк: крокодил и слон, мартышка и говорящий попугай… Иногда стихотворение заканчивается неожиданно, как про крокодила, что, несомненно, вызывает улыбку у детей:

Эй ты, мальчик, толстопуз,
Ближе стань немножко...
Дай немножко откусить
От румяной ножки!

Яркие сценки из жизни детей, истории со зверюшками, веселые игры и песенки с малышами — вот прибежище для его уставшей души, его спасение от мучительной тоски по России, но звучат иногда в его стихах и ностальгические нотки:

Ветер чуть скрипит крючком.
Тишь и тьма. Шуршит солома.
Пахнет теплым молоком.
Хорошо тому, кто дома…

Отклики на «Детский остров» в газетах и журналах русского зарубежья были единодушно положительны. В дальнейшем книги Саши Черного не имели такой широкой прессы. Вероятно, многие критики были поражены фактом, что поэт-сатирик обратился вдруг в поэта для детей. Н. Дризен под инициалами Н.В.Д. пишет: «Когда-то Саша Черный был синонимом юмористики по преимуществу. Мало кто за ним знал нежного поэта, любящего детей и могущего вдохновляться детской жизнью. В этом отношении “Детский остров” — книга любопытная одинаково для детей и для взрослых. Я бы сказал, что взрослые, может быть, найдут в ней больше поучительного»[15]. О том же рецензия А. Дроздова: «Вы тоже, милостивый государь мой, прочтите эту чудесную книгу, она — как сон, под него расправляет крылья даже подбитая душа, она открывает вам двери в детскую, которую вы сами досадливо заперли на ключ»[16].

Саша Черный ведет своих маленьких друзей не только в детскую, но и в такие явно непоэтичные (зато преинтересные) места, как жестяная крыша, хлев, задворки, околица. И не требует от ребят обязательного послушания. Как пишет А. Даманская: «И кому придет в голову усомниться хотя бы на миг в том, что рассказывает, “играя звонким словом” — этот поэт, великий Детовед? Можете важничать теперь, ходить на голове, брылять ногами в воздухе, все вы, неугомоны, полуночники, приставалки, всем мешалки, ревуны, драчуны, — верный, надежный рыцарь оказался у вас. Поэт, “беззаботный и беспечный”...»[17] По высказыванию А. Авдеева, «все прежнее творчество Саши Черного, едкое и полынное, получает такой неожиданный отсвет. Словно света луч прорвался в хмурую комнату, — щедрый солнечный луч осветил чьи-то морщины, чью-то скорбную маску»[18].

Впоследствии в советской России были изданы — без согласования с автором и уплаты ему гонорара — выборки стихов из «Детского острова» в виде книжек: «Детский остров» (1928), «Индейский петух» (1930), «Трубочист» (1930) — в Госиздате; «Катюша» (1926) — в Ростове-на-Дону; «Мартышка», «Крокодил. Как кот сметану поел», «Дождик», «Дети» (1928–1929) — в Киеве. В 1920-е годы стихи из «Детского острова» включались в хрестоматии и детские сборники, выходившие в СССР. «По-видимому, единственным утешением этому прекрасному обокраденному русскому писателю разве что может служить сознание, что литературные воры в России и эмиграции выпустили его книги все-таки для обслуживания русского ребенка...»[19]

«Детский остров» оказался последним стихотворным сборником поэта для детей, хотя Саша Черный продолжал писать стихи для маленьких читателей и публиковал их в «Иллюстрированной России» на «Страничке для детей» и в газете «Последние новости» в авторской рубрике «Детский остров».

Огромным событием в литературной жизни Советского Союза было издание в 1960 году книги Саши Черного «Стихотворения» с предисловием Корнея Чуковского. Впервые за многие годы советскому читателю стало доступно творчество одного из ярчайших сатириков и прекрасного детского писателя.

На наш взгляд, лучшую характеристику творчеству Саши Черного дал его давний знакомый и друг А.И. Куприн: «Саша Черный необычайно мил, прост, весел, трогателен и бесконечно увлекателен, когда он пишет для детей или о детях. Произведения последнего рода читаются и воспринимаются с одинаковым наслаждением как взрослыми, так и детьми… это свойство дарования есть признак несомненного большого, искреннего таланта... несмотря на разнообразие мотивов, тем и настроений, редкое качество, отличающее избранников, — свой собственный, единственный, ни на кого не похожий тембр. Читатель с чутким ухом, прочитавши или услышавши любые его четыре строчки, непременно радостно воскликнет: “Ах, боже мой! Да ведь это Саша Черный!”»[20]

Марина Мелкова

---

[1] Цит. по: Иванов А. Волшебник // Саша Черный. Собр. соч.: в 5 т. М.: Эллис Лак, 1996. Т. 5. С. 525.

[2] Золотое руно. 1909. № 7/8. С. 145.

[3] Амфитеатров А. Записная книжка: О Саше Черном // Одесские новости. 1910. 29 июня/12 июля. № 8152. С. 2.

[4] Чуковский К.И. Саша Черный // Собр. соч.: в 6 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 2. С. 373.

[5] Куприн А. Саша Черный // Возрождение (Париж). 1932. 9 августа.

[6] Архив М. Горького. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 7. С. 111.

[7] Гликберг М.И. Из мемуаров // Российский литературоведческий журнал. М., 1993. Вып. 2. С. 242.

[8] Белокопытова А. Детский остров // Воля России (Прага). 1921. 18 января.

[9] Куприн А. Саша Черный. Детский остров // Общее дело (Париж). 1921. 9 мая.

[10] Там же.

[11] Гликберг М.И. Из мемуаров. С. 242.

[12] Н.В. [Рец.:] Саша Черный. Детский остров // Руль (Берлин). 1920. 26 декабря.

[13] -въ. [Рец.:] Саша Черный. Детский остров // Русская книга (Берлин). 1921. № 2. С. 10.

[14] Куприн А. [Рец.:] Саша Черный. Детский остров // Общее дело (Париж). 1921. 9 мая.

[15] Н.В.Д. [Рец.:] Саша Черный. Детский остров // Общее дело. 1921. 3 января.

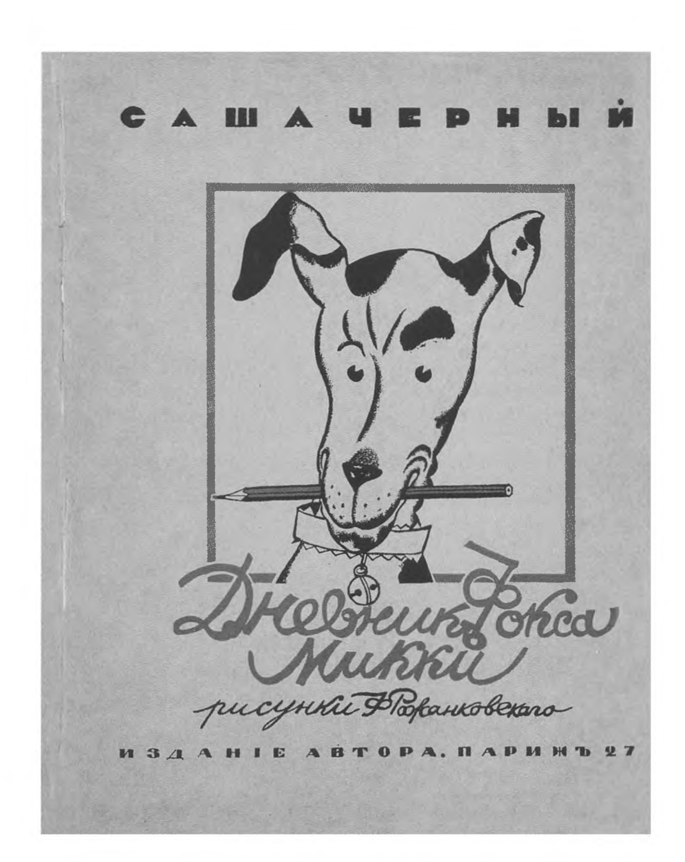
[16] Дроздов А. Сашин остров // Голос России (Берлин). 1921. 8 января.

[17] Даманская А. Волшебный остров // Народное дело (Ревель). 1921. 18 февраля.

[18] Авдеев А. // Театр и искусство (Берлин). 1922. № 10. С. 6.

[19] Покровский Н. // Заря (Харбин). 1930. 27 апреля.

[20] Куприн А. Поэт-одиночка: О Саше Черном // Журнал журналов. 1915. № 7.





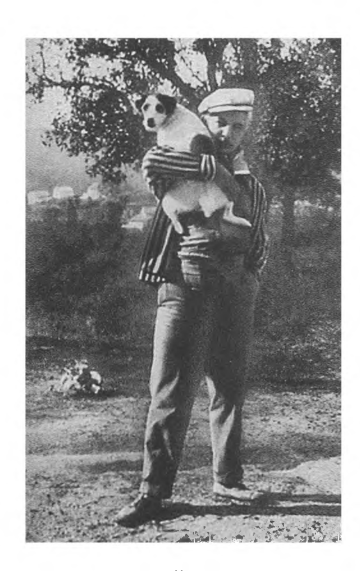
ЧЕРНЫЙ С.

Дневник фокса Микки

/ Саша Черный; Изд. автора; [рис. Ф. Рожанковского]. — Париж: [Б. и.], 1927. — 51, [1] с.: ил.; 28,6×22 см. — [200 нум. экз.].
В иллюстрированной цветной издательской обложке.

В начале 1910-х годов Саша Черный пробует свои силы в прозе, публикует несколько рассказов. Но в полной мере его талант прозаика проявляется в эмиграции. В различных русских газетах и журналах, издававшихся во Франции, Германии, Латвии, Литве, Сербии, с начала 1920-х годов печатаются его рассказы, сказки, детские истории, статьи, заметки.

Его солдатские и библейские сказки, рассказы и сказки для детей отмечены оригинальностью, душевным теплом и добротой. Все, знавшие лично Сашу Черного, говорят о его любви к детям и животным, ко всему живому — прыгающему, порхающему, плавающему... «Там, где другой пройдет мимо, не удостоив вниманием крохотную тварь, попавшуюся на пути, — Саша Черный обязательно наклонится и бережно поместит это существо в стихотворение»[1]. Эту особенность творчества Саши Черного отметил еще В. Набоков: «Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — так в гостиной или кабинете можно найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного»[2]. Пожалуй, особенно неравнодушен Саша Черный к собакам и кошкам, стихи о них могли



Саша Черный с фоксом Микки в окрестностях Ла-Фавьера. Конец 1920-х — начало 1930-х годов

бы составить целую антологию, а кот Бэппо («Кошачья санатория») и пес Микки («Дневник фокса Микки») стали героями любимых детских книг.

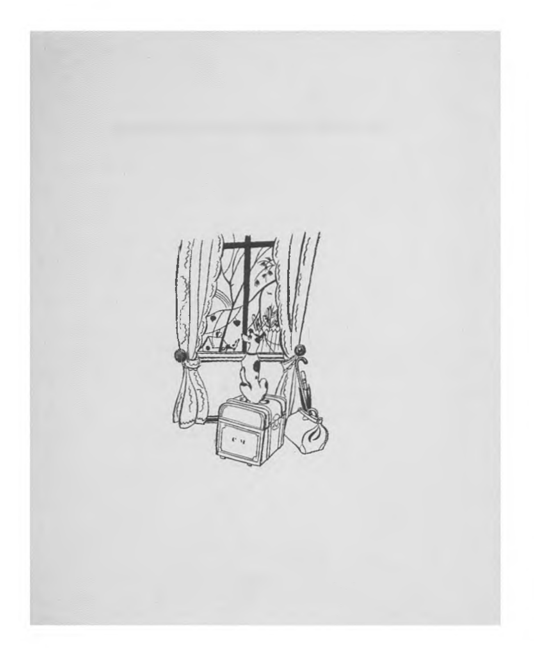
Литературный Микки имел вполне реального «прототипа» — короткошерстного фокстерьера, жившего в семье Саши Черного с тех пор, как поэт обосновался в Париже. Беззаветно преданный хозяину и умевший выделывать всякие «штуки», песик был любимцем и поистине равноправным членом семьи. «Фокс был презабавный, половина головы черная, половина белая, и он был умница — понимал каждое слово своего хозяина. Были у Микки свои обязанности. Каждое утро, в половине восьмого, он садился в передней у двери и не сводил глаз со щелки у пола. Проходили минуты. Микки не двигался и только постепенно от нетерпения и внутреннего волнения начинал дрожать всем телом… Наконец, часов в восемь, консьержка, разносившая почту, начинала просовывать в щелку номер “Последних новостей”. Сначала показывался кончик сложенной газеты, потом больше… Наконец наступал блаженный момент: Микки хватал газету зубами и стрелой летел в спальню, прыгал на постель Александра Михайловича и с торжеством подавал ему номер. В конце концов песик дождался литературной известности. Саша Черный начал печатать “Дневник фокса Микки”»[3].

В 1924–1925 годах главы «Дневника…» появлялись в парижском еженедельнике «Иллюстрированная Россия», где Саша Черный в течение трех лет заведовал литературной частью. С главы «На пляже» под публикациями вместо «сообщил Sandro» стало появляться «сообщил Саша Черный». Отдельной книгой «Дневник фокса Микки» вышел в издании автора в 1927 году. Дело обстояло так. Группа русских эмигрантов решила приобрести на паях земельный участок в Провансе, на средиземноморском побережье вблизи поселка Ла-Фавьер. Саша Черный тоже решил вступить в долю, но средств было недостаточно. Тогда-то он и надумал выпустить в «издании автора» книжный раритет, рассчитанный не на маленьких читателей, а на богатых «русского Парижа», — такой книгой стал «Дневник фокса Микки». Это — воистину библиофильское издание: формат in folio, тираж 200 экземпляров, подписанных автором. Книга моментально разошлась, несмотря на высокую цену. В воспоминаниях вдовы поэта говорится: «Саша получает от одного издателя предложение переиздать эту книгу в большем количестве экземпляров по дешевой цене... В этом году нам удалось осуществить нашу мечту: купить участок...»[4] Так фокс Микки способствовал осуществлению мечты своего хозяина обзавестись собственным участком, где поэт провел, быть может, самые безмятежные и счастливые последние годы своей эмигрантской жизни.

Два главных героя книжки относятся к излюбленным персонажам Саши Черного — маленькая девочка и ее маленькая собачка. Автор подчеркивает сходство в их поведении: «Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю — нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает, — уж я бы подсмотрел».

Дневниковые записи ведутся от имени симпатичного и забавного существа на четырех лапах — фоксика Микки. Этот Микки — великий озорник и фантазер, игрун и хвастун, мечтатель и философ, и к тому же он сочиняет стишки. Главное в его натуре — непосредственность и доброжелательность, особенно к детям и котятам, а еще — ироничный склад ума и насмешливый взгляд на мир двуногих. Фокс такой же выдумщик, как и сам автор, Саша Черный; у него множество псевдонимов: то просто Микки, Фокс Микки, а то и Мокс Фикки; ну и, конечно же, он —всеобщий детский друг, или — в зависимости от обстоятельств и настроений — главный собачий фильм-директор, старый морской волк и знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист и наездник, одинокий, несчастный, холодный и голодный или чудесный и замечательный Фокс Микки. Это и в его записках отмечено: «Они все похожи друг на друга, хозяева — на своих собак, а собаки — на своих хозяев». Собачьи наблюдения — это детский взгляд самого Саши Черного, так достоверно перевоплощающегося в песика и его глазами смотрящего на мир. Кстати, позиция «из-под стола» позволяет писателю дать ряд прекрасных зарисовок людских нравов. Вот одна из них, «курортная»: «Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними стояли третьи в лодке. Называется: группа... Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть... А та передвинула назад. А первая опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!»

Перед читателем проходят несколько бытовых эпизодов из жизни рядовой семьи русских эмигрантов во Франции. Воруя карандаши из папашиного кабинета, Микки ведет трогательный дневник, делая массу проницательных наблюдений и неожиданных выводов: «Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу, — его тычут в нее носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку... Тыкать — так всех!» Он может быть грустен (глава «Я один»), напуган (глава «Проклятый пароход»), как и ребенок, он задает много-много разных вопросов, записывает свои огорчения, сны и мысли, почти афоризмы («Вода замерзает зимой, а я каждое утро»), иногда теряет присутствие духа, иногда бывает хвастлив, иногда скучает, растит котят, когда их бросила кошка, и рыдает, когда кошка вернулась, а котята о нем забыли, и пишет «собачьи стихи»:





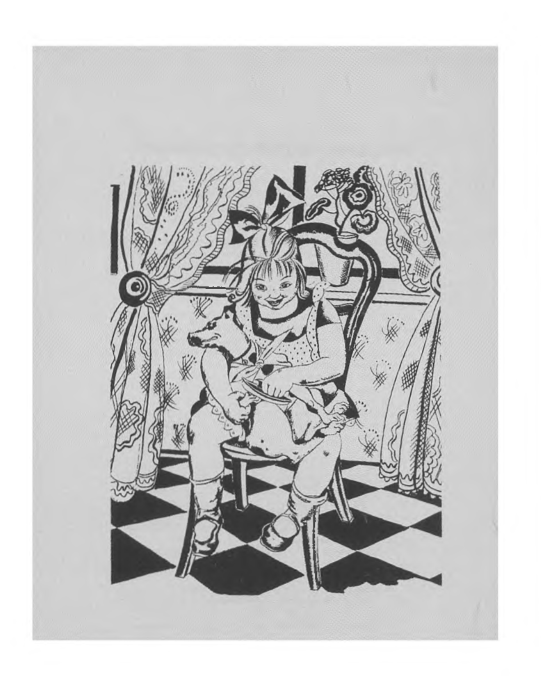
Иллюстрации к книге. Художник Ф. Рожанковский

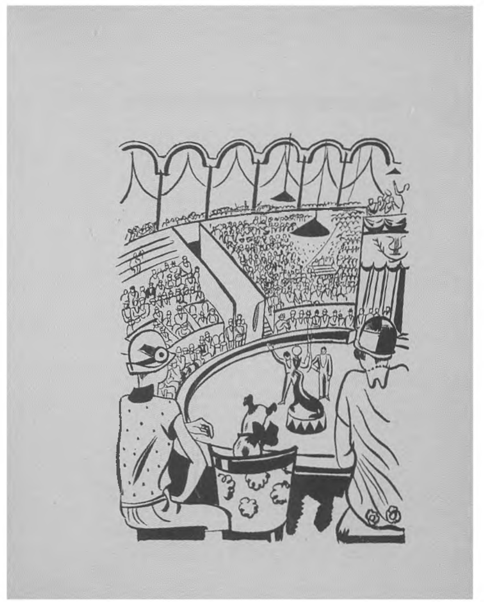
По веранде ветер дикий
Гонит листья все быстрей.
Я, веселый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Когда в 1929 году «Дневник фокса Микки» был переиздан в уменьшенном формате, но увеличенным тиражом, издание наконец попало к тем, кому оно и было предназначено: «И в каждом доме, где есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя Микки».

Книжка быстро получила признание как среди детей, так и среди взрослых читателей. Успех ей обеспечили не только замечательные тексты, но и чудесные иллюстрации Ф.С. Рожанковского, выдающегося мастера книжной графики, причисленного к мировой элите иллюстраторов детской книги. В детском восприятии иллюстрация неразрывно связана с содержанием. Как писал В. Набоков в рецензии на одну из детских книг Саши Черного, «ребенок бессознательно требует от книг изысканную простоту слога, — без сюсюканья... — и тщательную изящность иллюстраций»[5]. Легкий юмор и детское простодушие рисунков, буквиц, заставок, выполненных Рожанковским, под стать стилистике Саши Черного.

Федор Степанович Рожанковский (1891–1970) иллюстрировал множество детских книг, и не было среди них такой, которая не вызывала бы восторженных отзывов критики о художественном оформлении. Как художник он заявил о себе во время Первой мировой войны, когда его зарисовки с «театра военных действий» стали регулярно появляться на страницах журнала «Лукоморье». В Гражданскую войну Рожанковский сотрудничал во фронтовых изданиях Добровольческой армии. Эмигриро-





вав, он стал одним из ведущих иллюстраторов детской книги во Франции. Особым успехом у детворы пользовались его альбомы, издаваемые в серии «Папаша Кастор». Впоследствии, уже после Второй мировой войны, Рожанковский много и плодотворно работал в США. Ему была присуждена медаль Кольдекотта (1956) как самому выдающемуся американскому иллюстратору книг (за лучшее оформление книги «Fog» («Сватовство лягушонка»)). В январе 1957 года Фриц Эйхенберг писал в журнале «Американ артист» по поводу награждения художника медалью Кольдекотта: «Награду эту нужно было присудить Рожанковскому уже давно... Его рисунки понятны и близки в одинаковой степени и эскимосским, и африканским детям, юным янки и юным парижанам». Сам художник рассказывал, что рисунки для детей привлекали его с того времени, когда он сам был еще ребенком. Два больших события стали решающими в его детстве: его взяли в зоологический сад — и там он увидел «самых замечательных существ в мире», и одновременно ему подарили цветные карандаши. Рожанковский выполнил иллюстрации и к другим детским книгам Саши Черного — «Живая азбука» (1926), «Кошачья санатория» (1928). Известен графический портрет Саши Черного работы Ф. Рожанковского — поэт изображен на нем с мандолиной в руках и с глиняной уткой-свистулькой, в привычной домашней обстановке. Все это свидетельствует не только о тесном сотрудничестве, но и об их дружбе.

Критика доброжелательно отреагировала на «Дневник фокса Микки». В. Ладыженский отмечал, что Саша Черный «с большой художественной изобретательностью справился с задачей... В записях фокса встает жизнь сравнительно обеспеченной эмигрантской семьи, переезжающей из Парижа на дачу, посещающей кинематограф и цирк, путешествующей по морю и проводящей лето на пляже курорта. Все это, преломляясь в собачьем сознании, не без юмора отражается в дневнике»[6].

Рецензент «Последних новостей» А.Ф. писал: «Микки, умное наблюдательное существо на четырех ногах, наделен большим критическим чутьем, и мнящие себя избранниками двуногие подвергаются его беспощадной критике… Микки, не закрывая глаз на дурное в людях, умеет ценить в них хорошее, и он им не по-человечески, а по-собачьи благодарен за это. Он и лирик, этот симпатичный фокс. И очень, очень хорошие страницы в этой книге, где на покинутой даче он, одиноко тоскующий, заносит в свой дневник сердца горестные заметы»[7].

Согласно газетной хронике[8] «Дневник фокса Микки» печатался на французском языке в журнале «Les enfants de France».

Настоящий фокс Микки, по красивой легенде отдавший душу на груди у своего почившего хозяина, на самом деле «закончил жизнь трагически, как истинный поэт»: природная живость и охотничий азарт сослужили ему недобрую службу — он был отравлен кем-то из соседей, когда его хозяина уже не было на свете. А фокс Микки — автор дневника продолжает жить и радовать следующие поколения ребятишек и взрослых.

У Саши Черного не было своих детей. Но многие стихи, рассказы и сказки он написал для детей. И, быть может, они не менее значимы в его творческом наследии, чем сатирические стихи.

Марина Мелкова

---

[1] Иванов А. «Жил на свете рыцарь бедный…» // Черный С. Избранная проза. М.: Книга, 1991. С. 407.

[2] Сирин В. Памяти А.М. Черного // Последние новости (Париж). 1932. 13 августа.

[3] Седых А. Далекие близкие. Нью-Йорк: Изд. «Нового русского слова», 1962. С. 82.

[4] Гликберг М.И. Из мемуаров // Российский литературоведческий журнал. М., 1993. Вып. 2. С. 248.

[5] Сирин В. «Волшебный соловей» // Руль (Берлин). 1924. 30 марта. С. 7.

[6] Возрождение (Париж). 1927. 27 июня.

[7] Последние новости. 1927. 14 июля.

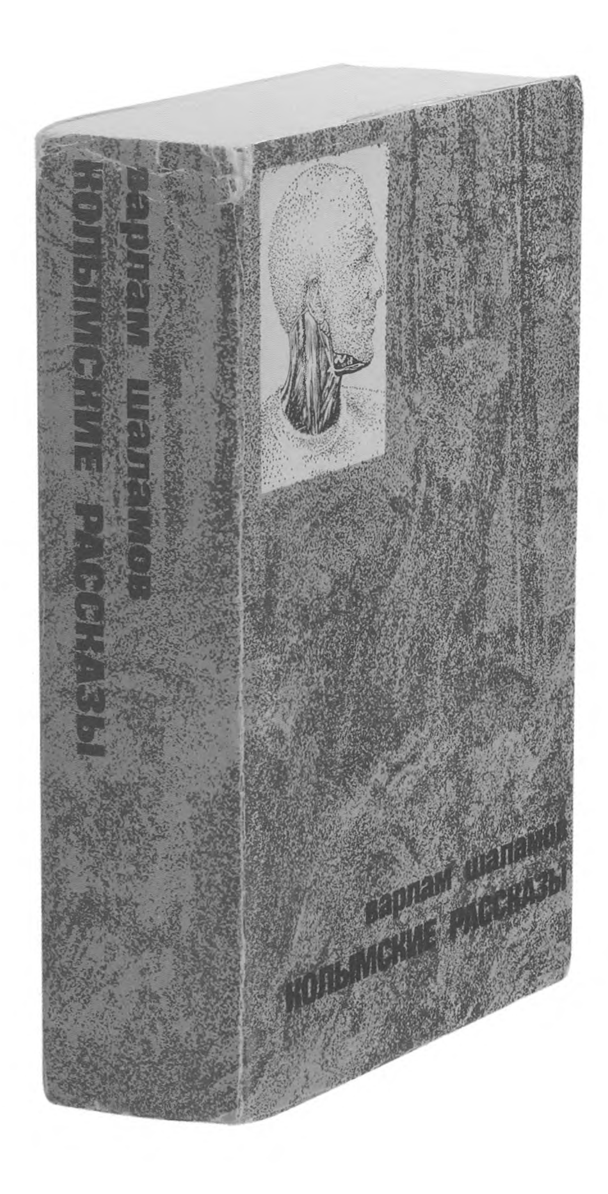
[8] Последние новости. 1929. 27 июня.



ШАЛАМОВ В.Т.

Колымские рассказы
= Kolyma Stories

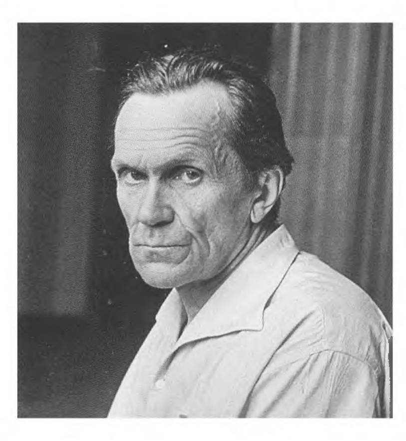
/ Варлам Шаламов; предисл. М. Геллера = Varlam Shalamov; with introd. by M. Heller. — L.: Overseas publ. interchange, Ltd, 1978. — 895 с., 1 л. фронт. (портр.); 18,5×12 см.
В иллюстрированной цветной издательской обложке и суперобложке работы Адама Ашера (Adam Usher).
На титуле указано: «Некоторые из рассказов были напечатаны на русском языке в журнале “Грани” (Франкфурт) и в “Новом журнале” (Нью-Йорк). Эта книга издана в Англии без ведома и согласия автора, который не несет никакой ответственности за ее выход в свет».



OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD

Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982) родился в Вологде, в семье священника. В 1923 году он приехал в Москву, где сначала работал рабочим на заводе, а затем, с 1926 по 1928 год, учился в МГУ на факультете советского права.

В 1929-м Шаламов был арестован как «участник» подпольной троцкистской группы и осужден на три года лагерей. Срок он отбывал в Вишерском лагере на Северном Урале. В 1932 году возвратился в Москву, работал в журналах, писал статьи и очерки, а в 1937-м был арестован повторно — по обвинению в «контрреволюционной троцкистской деятельности» — и осужден на пять лет лагерей. Новый срок писатель провел на Колыме, в крайне тяжелых условиях: трудился на золотых приисках,



Варлам Шаламов. Москва. 1967. Фото А. Лесса

несколько раз оказывался на больничной койке. В 1943 году он был осужден еще раз — теперь уже на десять лет — за «антисоветскую агитацию». Окончив в заключении фельдшерские курсы, Шаламов с 1946 по 1953 год работал в больнице для заключенных в колымском поселке Дебин и на лесной «командировке» лесорубов. Затем жил на поселении в деревне Решетниково Калининской области. Только в 1956-м, после реабилитации, смог вернуться в Москву. Писал стихи (в СССР вышло несколько его поэтических сборников) и прозу (она распространялась в самиздате). Дружил с Н.Я. Мандельштам. В 1981 году французское отделение ПЕН-клуба присудило Шаламову премию Свободы. Здоровье писателя было сильно подорвано на Колыме, и в последние годы он практически не видел и не слышал, жил в доме инвалидов и престарелых, в тяжелых условиях, похожих на условия заключенного.

«Колымские рассказы» — один из главных трудов своей жизни — Шаламов писал с 1954 по 1973 год. Сам автор делил их на шесть циклов: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2». В основе рассказов — реальный страшный опыт Колымы, лагерной жизни. Сам писатель так определял особенности своей прозы: «Здесь взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего — звериного или человеческого? И на кого идет материал лучше — на зверей, на животных или на людей? “Колымские рассказы” — это судьба мучеников, не бывших и не ставших героями. В “Колымских рассказах” — как кажется автору — нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра… Собственная кровь — вот что сцементировало фразы…»; «Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в “Колымских рассказах” нет. Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой. Не проза документа, а проза, выстраданная как документ»[1].

Все попытки опубликовать рассказы в СССР оказались тщетными. Через круг Н.Я. Мандельштам и через самиздат проза Шаламова «утекает» на Запад, где начиная с 1966 года появляется на страницах эмигрантских журналов («Новый журнал», «Грани», «Посев»). В СССР это привлекает к бывшему лагернику внимание властей. В 1971 году главный цензор страны и начальник Главлита П.К. Романов составил справку для ЦК КПСС, где были и такие слова: «Буржуазные обозреватели всячески раздувают вопрос о так называемом литературном подполье в СССР, пытаясь внушить читателям мысль о “подлинной талантливости” таких его представителей, как Н. Горбаневская, В. Шаламов, В. Буковский и ряд других антисоветски настроенных авторов»[2]. Шаламов был вынужден написать

«отказное» письмо — оно появилось 15 февраля 1972 года в «Литературной газете»: «Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник. Эта омерзительная змеиная практика господ из “Посева” и “Нового журнала” требует бича, клейма»[3]. Сложность с этим письмом, вызвавшим осуждение писателя в диссидентских кругах, состояла не только в давлении, оказываемом на потерявшего здоровье писателя, не только в его недоверии к таким журналам, как «Посев», в отсутствии интереса к эмигрантской жизни и желании публиковаться на родине[4]. Сложность была еще и в том, что писатель искренне был недоволен и негодовал на разрозненные публикации своих рассказов. Подлинный поэт, он как никто знал и чувствовал музыкальный, поэтический характер своей прозы, проявляющийся не столько в звуковом характере фраз, сколько в композиции целого, наподобие целостности импрессионистических полотен[5], образуемого, например, пульсирующим ритмом повествования, переданным определенной последовательностью текстов, абсолютно теряющейся в отдельных публикациях. Шаламов писал: «Все рассказы имеют единый музыкальный строй, известный автору. Существительные-синонимы, глаголы-синонимы должны усилить желаемое впечатление. Композиция сборника продумывалась автором. Автор отказался от короткой фразы как литературщины, отказался от физиологической меры Флобера — “фраза диктуется дыханием человека”. Отказался от толстовских “что” и “который”, от хемингуэевских находок… Автор хотел получить только живую жизнь»[6].

Такую музыкальную, композиционную целостность «Колымских рассказов» могла бы передать лишь большая книга, составленная человеком, внимательным к авторскому замыслу. Таким человеком оказался Михаил Геллер, бережно издавший со своим предисловием книгу Шаламова в лондонском издательстве «Overseas Publications» в 1978 году. Этот же сборник был переиздан в 1982 и 1985 годах парижским издательством «YMCA-Press», а затем переведен на европейские языки.

М. Геллер так рассказывает об издании книги: «Варлам Шаламов давно уже стал частью моей жизни. Сначала было открытие его рассказов, ходивших по Москве в самиздатовских тетрадочках. Это было открытие великого писателя, сумевшего представить знакомый мне по опыту мир таким, каким я его знал, — и преображенным, как это может сделать только подлинная литература. В 1974 году, оказавшись в Париже, я написал книгу “Концентрационный мир и советская литература”, в которой посвятил “Колымским рассказам” отдельную главу “Полюс лютости”. На Западе к тому времени было уже немало шаламовских рассказов, уже вышли небольшие книжки по-французски, по-немецки, по-итальянски. А по-русски они все еще печатались врассыпную — по одному-два — в разных журналах. После долгих стараний, с помощью московского друга, мне удалось собрать, как мне тогда казалось, все “Колымские рассказы” и опубликовать их. Как мне передали, Варлам Тихонович, совсем уже слепой, перед смертью держал в руках толстый том — 895 страниц, 103 рассказа»[7].

Однако ощущение неуслышанности не покидало Шаламова до самой смерти. Появлялись отдельные статьи о его прозе в не доходившей до него эмигрантской прессе[8], в СССР писались «внутренние рецензии» в советские журналы и издательства, так и не приводившие к печатанию[9]. Один из самых глубоких отзывов — Андрея Синявского — звучал по радио[10], но Шаламов не слушал западных станций, да и не мог слышать — из-за глухоты. Жизнь писателя догорала. В дневнике его есть запись: «Мне нужно сжечь себя, чтобы привлечь внимание»[11]. Догорев, он стал светить все ярче и ярче. После падения советской власти проза Шаламова стараниями И. Сиротинской стала выходить на родине писателя, сначала отдельными журнальными публикациями, затем полноценными книгами. О Шаламове пишут статьи, исследования, диссертации[12], издаются «Шаламовские сборники». Творчество писателя, как некогда он сам, пройдя через ад, выходит к свету. Незадолго до смерти режиссер Андрей Тарковский записал в своем дневнике: «Читаю “Колымские рассказы” Шаламова — это невероятно! — Гениальный писатель! И не по тому, что он пишет, а по тому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, удивляются — откуда после всех этих ужасов чувство очищения — Шаламов рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой — единственным оружием — заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду»[13].

Наталья Ликвинцева

---

[1] Шаламов В. О прозе (1965) // Шаламов В. Колымские рассказы. Стихотворения. М.: Эксмо, 2008. С. 24, 26.

[2] История советской политической цензуры. М.: РОССПЭН, 1997. С. 583.

[3] Шаламов В. В редакцию «Литературной газеты» // Литературная газета. 1972. 23 февраля.

[4] В. Шаламов записывает в дневнике: «К сожалению, я поздно узнал о всем этом зловещем “Посеве” — только 25 января 1972 года от редактора своей книги в “Советском писателе”, а то бы поднял тревогу и год назад. При моей и без того трудной биографии только связи с эмигрантами мне не хватало» (Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Эксмо, 2009. С. 365). Вот что пишет о письме Шаламова Е. Шкловский: «Есть сведения, что у истоков этой шаламовской “акции” стоял Борис Полевой, в то время главный редактор “Юности”, где чаще всего выступал со стихами Шаламов. Полевой хорошо к нему относился и вполне мог из лучших побуждений подвигнуть его написать такое письмо. Но кондово-дежурные фразы… говорят о внутренней отстраненности автора от содержания этого письма. Философ Ю. Шрейдер, который встретился с Шаламовым через несколько дней после появления письма, вспоминает, что сам писатель относился к этой публикации как к ловкому трюку: вроде как он хитро всех провел, обманул начальство и тем самым смог себя обезопасить» (Шкловский Е.А. Варлам Шаламов. М.: Знание, 1991. С. 59–60).

[5] Ср. с дневниковыми записями В. Шаламова: «Граница реализма проходит ныне в другом месте, чем сто и тысячу лет тому назад. Импрессионистов никак не обойдешь…»; «Я тоже считаю себя наследником, но не гуманной русской литературы XIX века, а наследником модернизма начала века. Проверка на звук. Многоплановость и символичность» (Шаламов В. Несколько моих жизней. С. 289, 333).

[6] Шаламов В. О прозе. С. 19.

[7] Геллер М. «Колымские рассказы», или «Левый берег» // Русская мысль (Париж). 1989. 22 сентября. С. 10.

[8] Кроме статей М. Геллера, см., напр.: Шрейдер Ю. Философская проза Варлама Шаламова // Русская мысль. 1991. 14 июля. С. 11; Айги Г. Один вечер с Шаламовым // Вестник РХД (Париж; Нью-Йорк; М.). 1982. № 137. Там же, в рубрике «Вокруг Шаламова»: Якубов В. В круге последнем; Корнев Л. Геологическая тайна; Якобсон А. Лицо пейзажа-человека.

[9] См., напр.: Дремов А. Рецензия на рукопись «Колымских рассказов» (внутренняя рецензия для «Нового мира», 1963) // Шаламовский сборник. Вологда: Грифон, 2002. Вып. 3 / сост. В.В. Есипов. С. 35–38. О. Волков вспоминает, как «написал рецензию на сборник его колымских рассказов, горячо их рекомендуя издательству “Советский писатель”. Вполне, впрочем, бесполезно. В те годы никакое издательство не могло и помыслить их опубликовать» (см.: Волков О. Наша вина и боль // Шаламовский сборник. Вып. 3. С. 39–43).

[10] «Рассказы Шаламова применительно к человеку — учебник “Сопромата” (сопротивления материалов). Техники, инженеры это знают, имея дело с производством, строительством. А нам зачем? Ради опоры. Чтобы чувствовать предел. И поддаваясь мечтам и соблазнам, помнить, помнить — из чего мы сотканы. Для этого должен был кто-то подвести черту Колыме, черту человеку. С воздушными замками мы не устоим. Но, зная худшее, — можно еще попробовать жить» (см.: Синявский А.Д. О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. Срез материала (1980) // Синявский А.Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 342).

[11] Шаламов В. Несколько моих жизней. С. 307.

[12] См., напр., диссертацию на степень кандидата филологических наук А.В. Аношиной «Художественный мир Варлама Шаламова», защищенную в 2006 г. в Северодвинске.

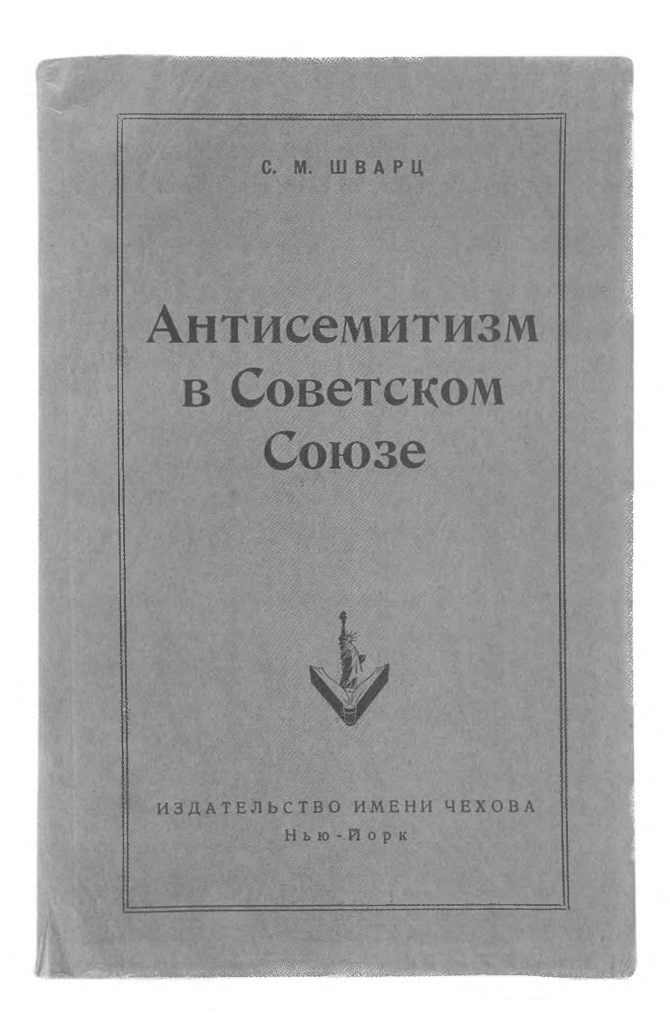
[13] Тарковский А. «Мартиролог»: Из дневника // Шаламовский сборник. Вологда: Грифон, 1997. Вып. 2 / сост. В.В. Есипов. С. 100.

95

ШВАРЦ С.М.

Антисемитизм в Советском Союзе

/ Соломон Шварц. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — 262, [4] с.; 22×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.





Российский социал-демократ, политик, историк и литератор Соломон Меерович Шварц (наст. фам. Моносзон; 1883–1973) родился в городе Вильно, в купеческой семье. По окончании виленской гимназии получил юридическое образование в Гейдельбергском (Германия) и Ярославском университетах. В 1901–1905 годах учился также на медицинском факультете Берлинского университета, но, прервав обучение, вернулся в Россию, чтобы участвовать в происходивших там революционных событиях. В расколовшейся в 1903 году Российской социал-демократической партии (РСДРП) Шварц поначалу примкнул к большевикам, но из-за идейных разногласий с ними летом 1907-го перешел к меньшевикам. Царские власти неоднократно арестовывали Шварца за участие в революционном движении (он был пропагандистом в разных организациях РСДРП). Около полутора лет революционер провел в тюрьме, дважды был в ссылке, три раза его высылали за границу.

Участвуя в профсоюзном движении, Шварц с 1913 года редактировал журнал «Страхование рабочих и социальная политика». С началом Первой мировой войны он был выслан из Санкт-Петербурга, работал в московской организации меньшевиков и вошел в московский комитет РСДРП. В феврале 1921 года при ликвидации московской организации меньшевиков Шварц был арестован, в сентябре того же года освобожден, но через два месяца вновь арестован и в январе 1922-го выслан за границу. До 1933 года он жил в Берлине, затем, до 1940-го, — в Париже, с 1940 года — в США.

Активно сотрудничая в меньшевистском печатном органе «Социалистический вестник» — с момента его основания в 1921 году в Берлине Р. Абрамовичем и Л. Мартовым — и на протяжении всего существования журнала (в Париже и Нью-Йорке), Шварц опубликовал в нем немало статей по экономическим, политическим и культурным вопросам. С 1957 года и до закрытия журнала в 1965-м был его главным редактором. Выступал также и в других периодических изданиях США, Германии, Франции. Шварц — автор нескольких книг по истории Советского Союза и вопросам профсоюзного движения, вышедших в Колумбийском университете (Нью-Йорк). С 1970 года жил в Иерусалиме, где и скончался.

Наибольшую известность Шварцу принесли классические монографии: «Антисемитизм в Советском Союзе» и «Евреи в Советском Союзе с начала Второй мировой войны (1939–1955)»[1], впервые опубликованные на английском языке[2]. В последней книге Шварц доказывал, что в СССР ничего не было сделано для своевременной эвакуации и спасения евреев от фашистов. На эти работы историка ссылались многочисленные авторы, включая и А.И. Солженицына (см.: Двести лет вместе. Ч. 2).

В предисловии к книге «Антисемитизм в Советском Союзе» Шварц сообщает: «...в настоящей работе, предпринятой по инициативе Американского Еврейского Комитета, автор поставил себе задачей выяснить социально-психологические корни советского антисемитизма, формы и результаты борьбы с ним, степень распространенности и динамику антисемитизма в Советском Союзе... Автор стремился со всем доступным ему беспристрастием... проанализировать и по возможности обобщить весь доступный материал... и представить этот материал в такой форме, которая обеспечила бы читателю возможность непосредственного знакомства с фактами, критической проверки выводов автора и самостоятельного суждения об анализируемых сложных социальных явлениях».

В качестве первоисточников, которые легли в основу исследования, Шварц называет «советскую периодическую и непериодическую печать на русском и еврейском языках» (как источник «заведомо неполный... к тому же нередко сознательно искажающий действительность применительно к нуждам официальной концепции»); «показания большого числа евреев-беженцев из Советского Союза и польских евреев, проведших годы войны в Советском Союзе» («и эти показания требуют критического к себе отношения»); не предназначавшиеся для опубликования документы из немецких архивов, хранящиеся в архивах Еврейского научного института в Нью-Йорке; материалы «о еврейской проблеме в партизанском движении и в партизанских районах», собиравшиеся Еврейской исто-

рической комиссией в Польше и организациями самих партизан. Книга «Антисемитизм в Советском Союзе» создана автором также с опорой и на личный опыт, и на беседы с эмигрантами из Советского Союза.

Шварц рисует подробную картину бытования антисемитизма в различных средах: в деревне (где его меньше всего), в рабочей и полурабочей среде (в изрядном количестве), в кругах научной интеллигенции (на удивление много), наконец, в руководящих органах, партийных и профсоюзных (здесь хоть отбавляй!).

Как и всякое чтение подобного рода, впечатление книга производит удручающее, беспросветное. Шварц рисует «амплитуды» развития черносотенства в Советском Союзе, имеющего тенденцию то к затуханию (изредка), то к бурному развитию или всплеску (гораздо чаще, как, например, в преддверии и в течение Второй мировой войны). Не вдаваясь в объяснение причин явления (да и какие могут быть причины у человеконенавистничества, зверства и прочих скотских начал в двуногом существе), автор приводит омерзительные факты издевательств над евреями (топтать живот беременной женщины — не довольно ли?), которые достигли пика в годы фашистской оккупации.

Если об обращении гитлеровцев с евреями литературы более чем достаточно, то об отношении к евреям местного населения на оккупированных территориях, а тем более о разногласиях между семьями, покинувшими гетто и пытавшимися влиться в партизанские отряды на Украине или в Белоруссии, не написано почти ничего. Книга Шварца дает в этом смысле обширный, хотя и малоутешительный материал.

Подводя итоги, историк констатирует, что в ходе войны из общего количества 3 100 000 евреев в Советском Союзе в его старых границах не менее полумиллиона погибло на Украине, около 30 000 — в Белоруссии и не менее 100 000 — на оккупированных территориях РСФСР. Если власть, как утверждает Шварц, не делала ничего, чтобы защитить своих граждан неугодной ей национальности, то помогали ли несчастным собратьям местные жители? Да. В Белоруссии, например, сотни крестьян были расстреляны нацистами за то, что пытались помочь евреям. Американская печать, по словам Шварца, приводит еще несколько подобных случаев. Сообщения об этом обошли 1943-м многие американские газеты. А советская печать не обмолвилась о них ни словом. Видимо, само событие было исключением.

Книга Шварца написана при содействии Американского еврейского комитета (АЕК). Одна из ее глав называется «Замалчивание гитлеровской политики истребления евреев». В широко распространенной в начале войны ноте В.М. Молотова, пишет Шварц, говорилось, что гитлеровцы поставили себе целью «истребление советского населения независимо от национальности, социального положения, пола и возраста», и обвиняет члена Политбюро ЦК ВКП(б) в политическом лицемерии.

Немецкий ученый Л. Люкс, разбирая тезисы Шварца, указывает, что источники, ставшие недавно доступными историкам, свидетельствуют: «активный антисемитизм» влиял на образ действий Кремля уже в 1942 году. Об этом говорят документы, которые в 1942–1943 годах разрабатывались в отделе пропаганды ЦК[3].

Эту же мысль подтверждает и российский историк И.А. Альтман: «Среди пионеров изучения этого аспекта темы, — пишет он, — следует назвать американского исследователя С. Шварца... Уничтожение евреев СССР началось под лозунгами борьбы с "иудобольшевизмом", нацисты называли евреев носителями "коммунистической идеологии", на них "списывали" все преступления сталинского режима. Этот политический аспект Холокоста (в отличие от расового) длительное время мало учитывался на Западе. Именно по политическим мотивам занижалось и число советских жертв Холокоста»[4].

Эмигрант третьей волны М. Гольдштейн писал: «Я знаю великолепную книгу С. Шварца о жизни евреев в СССР, где показаны глубоко правдивые документы о трагической судьбе евреев в СССР. Книга издана в Америке. Автору не были доступны многие документы. Но то, что он сумел собрать, является свидетельством о подлинной сути советского коммунизма, построившего позорное для нашего времени рабовладельческое государство»[5].

Ольга Мартыненко

---

[1] Шварц С.М. Антисемитизм в Советском Союзе (1918–1952). Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952; Он же. Евреи в Советском Союзе с начала Второй мировой войны (1939–1965). Нью-Йорк: Изд-во Американского еврейского рабочего комитета, 1966.

[2] Schwarz S.M. Antisemitism in the Soviet Union. N. Y.: Library of Jewish Information, American Jewish Committee, 1948; Idem. The Jews in the Soviet Union. Syracuse: Syracuse univ. press, 1951.

[3] См.: Люкс Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // Вопросы истории. 1999. № 7. С. 41–59.

[4] Альтман И.А. Холокост как объект исследования // Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР. М.: Фонд Холокост, 2002. С. 14–26. (Гл. 1, § 2. Историография и источники).

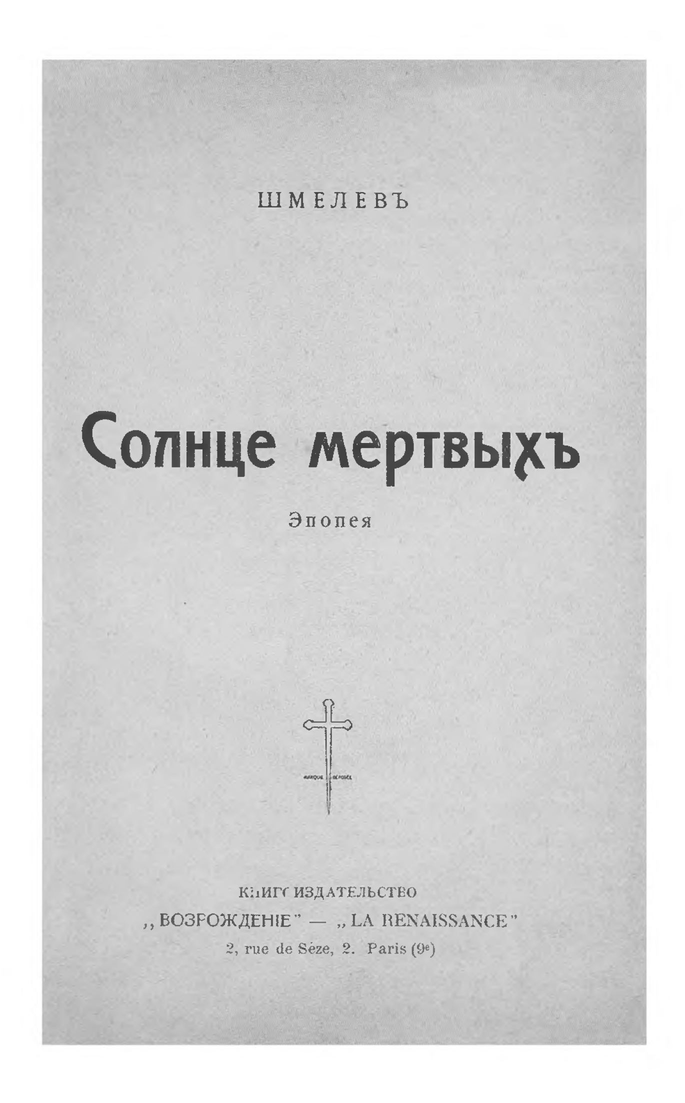
[5] Гольдштейн М. Мысли вслух: По поводу книги Андрея Дикого «Евреи в России и в СССР» // Дикий А.И. Евреи в России и в СССР: Русско-еврейский диалог. Новосибирск: Благовест, 2005. С. 554.

96

ШМЕЛЕВ И.С.

Солнце мертвых:
Эпопея

/ Иван Шмелев. — Париж: Возрождение, 1926. — 172, [2] с.; 22×13,5 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВОЗРОЖДЕНІЕ" — „LA RENAISSANCE"

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) родился в Замоскворечье, в самом сердце купеческо-мещанской Москвы, тонущей в густых садах, колокольном звоне и непролазной грязи. Отец его брал подряды на строительные работы, в частности построил трибуны для торжественного открытия памятника Пушкину. Окончив гимназию, а затем юридический факультет Московского университета, Шмелев, не питая интереса к службе, решил продолжать начатые в ранней юности литературные опыты. В 1895 году, совершая с молодой женой свадебное путешествие на Валаам, он заехал в Троице-Сергиеву лавру за благословением, и старец Варнава Гефсиманский предрек ему предстоящий «крест» страданий, прозрел и укрепил в нем писательский дар: «Превознесешься своим талантом».

Февральскую революцию 1917 года писатель встретил восторженно: ездил по России, выступал на собраниях и митингах. Однако его взгляды ограничивались рамками «умеренного» демократизма — в возможность скорых и радикальных преобразований в России Шмелев не верил. Октябрь он не принял и, отойдя от общественной деятельности, уехал с семьей в Алушту, где купил дом с клочком земли.



Иван Шмелев. Париж. 1920-е годы. Фото П. Шумова

Осенью 1920 года, после взятия Крыма красными частями, единственный сын Шмелева, Сергей, как офицер царской армии был арестован и без суда расстрелян. Массовая резня, учиненная большевиками в Крыму в 1920–1921 годах на фоне ужасающего голода и гибели прежней русской культуры, уничтожения ее представителей, стала причиной тяжелейшей душевной депрессии писателя. Неотступно терзаемый надеждами на возможное спасение сына и возможную его эмиграцию, Шмелев по приглашению И.А. Бунина в ноябре 1922 года уехал из России.

Самая «страшная», по словам А. Амфитеатрова, русская книга[1] «Солнце мертвых» была создана Шмелевым в марте – сентябре 1923 года — в Париже и у Буниных, в Грассе. О погибшем сыне в ней не упоминается, но вся она кровоточит глубокой человеческой болью, что придает повествованию особую масштабность и заставляет поверить, что каждое слово в нем — правда.

Картина гибели всего живого в Крыму в период красного террора предстает глава за главой. Почти дневниковые, будничные зарисовки и сценки вырастают в современный апокалипсис — откровение о русской катастрофе, а великолепие цветущей природы в благословенном «райском» уголке трагически контрастирует с торжеством всепроникающего зла, насилия, страха, с постепенной утратой людьми человеческого облика. Через книгу рефреном проходит образ мертвого солнца: «Бога у меня нет. Синее небо пусто...»

Эпопея Шмелева, с огромной художественной силой запечатлевшая трагедию русского народа, принесла автору европейскую известность. Опубликованная в эмигрантском сборнике «Окно» (1923. № 2; 1924. № 3) и отдельными главами в эмигрантской периодике («Звено», «За свободу!», «Руль», «Сегодня»), она вышла в 1926 году отдельным изданием. Сразу последовали переводы на французский, немецкий, английский и другие языки, что для русского писателя-эмигранта, совсем неизвестного в Европе, было огромной удачей и подлинным успехом. Томас Манн, потрясенный реквиемом истребляющему самого себя, одичавшему в братоубийственной Гражданской войне народу, представил европейскому читателю книгу Шмелева кратко: «Читайте, если у вас хватит смелости».

Лирический дневник-исповедь, сборник невыдуманных рассказов, публицистический, обвинительный памфлет, «Солнце мертвых» — своего рода воззвание к человеческому в человечестве.

Прочитав «Солнце мертвых» в немецком переводе «с живейшим интересом и глубочайшим сочувствием», лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлёф написала автору: «Вы создали великий шедевр… но, восхищаясь силой Вашего искусства изображения, одновременно удручена тем, что в нашей Европе и в нашем времени все это могло происходить»[2]. Книгу называли плачем по России, а изображенные в ней картины сравнивали с дантовским адом. Американский рецензент писал: «Пророк Иеремия плакал об одном городе, Иван Шмелев в “Солнце мертвых” вознес свой плач о городах, об областях, о целом народе… Это с большей выразительностью передает весь ужас и всю боль, чем все красноречие и пиротехника Карлейля в его “Французской революции”»[3].

Разумеется, книга Шмелева воспринималась прежде всего как документальное свидетельство зверств советской власти и как предостережение Европе. Впечатления, высказанные на страницах «Современных записок» В. Зензиновым, отражают читательский опыт всех, впервые открывающих «мучительную книгу» «Солнце мертвых»: «Читаешь ее и чувствуешь, будто все время тебя подвергают казни и вместе — нет сил оторваться. Это как страшный сон — мучает кошмар, душит, рвешься проснуться, смахнуть с себя наваждение, и нет сил…»[4] Через эту трагедию «разрушения, умирания» нужно пройти, прочитать все «жуткие главы», «где исступление отчаяния переходит в самоистязание», а неистовость «несправедливых и неправедных обвинительных речей»[5] оборачивается жгучей ненавистью — и к благополучной Европе, и к большевистской России. «Но надо и можно понять ее истоки, — уверен критик. — Пусть прочитают европейцы и вкусят нашу смертную горечь. И может быть, тогда лучше поймут, что произошло в России»[6].

Обращаясь к «доброй старой Англии», «роскошной Франции» и другим европейским странам, Шмелев призывал их прикрыться от большевистской заразы «крепким щитом». Но «Солнце мертвых» не было лишь правдивой летописью событий Гражданской войны и тем более — антисоветской агиткой, как назвали книгу в СССР. Европейские писатели чутко уловили в ней библейскую глубину и философский подтекст эпопеи. 27 января 1926 года Герхард Гауптман писал Шмелеву: «Исполненное невыразимой жуткой боли содержание Вашей книги позволяет проникнуть в суть шаткого общественного строения и человеческой натуры вообще»[7]. Р. Роллан расценил эпопею русского писателя как откровение о жизни и смерти, в котором страдания отдельной личности рассматриваются на фоне гибели России и шире — на фоне всемирной трагедии истории. Образ автора, полагал французский писатель, в «Солнце мертвых» возвышается до символа Христа, принимающего на себя непосильный груз собственной и чужой боли. «Я чувствую Ваше страдание, — писал Роллан Шмелеву. — Вы — распятый! Я тоже был бы им, если бы мне пришлось увидеть то, что видели Вы»[8].

Для европейцев книга Шмелева стала документальным свидетельством о кровавых зверствах большевизма, о тех, что «убивать ходят» (название

одной из глав). В эмигрантской критике «Солнце мертвых» вызвало оживленную, но отнюдь не однозначную в оценках полемику. Многие, и среди них Н. Кульман, П. Пильский, Ю. Айхенвальд, В. Ладыженский, А. Амфитеатров, встретили шмелевскую эпопею восторженно. Проникновенно и просто написал о «Солнце мертвых» прозаик Иван Лукаш:

«Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на “большие” языки...

Читал ее за полночь, задыхаясь.

О чем книга И.С. Шмелева?

О смерти русского человека и русской земли.

О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба.

О смерти русского солнца.

О смерти всей вселенной, — когда умерла Россия — о мертвом солнце мертвых...»[9]

У всех персонажей «Солнца мертвых» были реальные прототипы. Все они умирают — от голода, от красного террора, и вместе с ними гибнет все живое — звери и птицы, цветы и деревья, перестает родить залитая кровью земля. Черное море Киммерии, пустые «оловянные» небеса — без солнца и без Бога — эти пропитанные сложной символикой эсхатологические картины Шмелева свидетельствуют о «последних временах», о пришествии царства мертвых[10], а не об обещанной революционерами эре всеобщего благоденствия.

Именно поэтому, как полагал писатель, его эпопея «многим стала поперек горла»[11]. Пока книга не вышла целиком, ее отдельные главы вызывали у критиков раздражение. Категорически отказал «Солнцу мертвых» в художественности Б. Шлецер в «Современных записках» («там — область искусства, тут — Шмелев»): «“Солнце мертвых” — вовсе не преображенный сырой психологический и бытовой материал. Конечно, к подобному произведению нельзя подходить с эстетическими мерилами: реальное страдание, реальный ужас, стоны и рыдания художественной оценке не подлежат, и то тягостное до боли ощущение, которое вызывает “Солнце мертвых” (отдельные страницы, отдельные фразы порою очень хороши: напряженны и сконцентрированны), аналогично тому, которое вызвало бы непосредственное зрелище или переживание описываемых Шмелевым ужасов. Но в конце концов боль эта притупляется, уступая место нетерпению и скуке»[12]. Дождавшись выхода книги, А. Даманская выразила те же претензии, но в щадящей форме, оправдав «гневом праведным», «страстностью» и «искренностью» отсутствие «меры» и публицистические перехлесты стиля[13].

Дважды, откликаясь на журнальную публикацию и на отдельное издание, высказался о «Солнце мертвых» как об «апокалипсисе русской истории» Ю. Айхенвальд[14] и сам уточнил, что большевики — только видимое историческое зло, а картина, нарисованная Шмелевым, выходит за привычные пределы человеческого понимания и постигается в категориях космогонических, как стихийное восстание хаоса. Это истолкование эпопеи оказалось ближе всего к замыслу самого автора, озабоченного не сиюминутными политическими играми, а «страшной борьбой творящего и разрушающего начала», когда первобытный хаос, «демон зла», нашел

лазейку через «души людские, массовые»[15]. Словно подхватывая и по-разному развивая эту мысль, дважды отозвалась о «Солнце мертвых» газета «Возрождение»: Л. Львов назвал книгу «трагическим миром подлинных библейских ужасов»[16], а А. Амфитеатрова страницы, написанные кровью, потрясли именно «куском быта», слишком явно свидетельствующим, что никакого сопротивления большевикам нет и быть не может, ибо население «оскотинело»[17]. Вернувшись к «самой грозной» книге Шмелева в лекции 1929 года, Амфитеатров назвал ее «воплем выстраданного слова» и заметил, что Шмелеву удалось достичь «самой высокой точки, самой высокой ноты»[18].

В России «Солнце мертвых» впервые было выпущено отдельным изданием в 1991 году.

А в 2000 году прах писателя был по его завещанию перенесен из Сент-Женьевьев-де-Буа в Москву и перезахоронен на кладбище Донского монастыря, где покоятся его предки.

Татьяна Марченко

---

[1] Цит. по: Кутырина Ю. Иван Сергеевич Шмелев. Париж, 1960. С. 37.

[2] Цит. по: Всемирное слово. 2002. № 15. С. 15 (публ. М. Юнггрена).

[3] New York Book Review. 1928. 19 February. P. 5.

[4] Зензинов В. [Рец.:] И.С. Шмелев. Солнце мертвых. Эпопея. Книгоиздательство «Возрождение», Париж // Современные записки (Париж). 1927. № 30. С. 552.

[5] Там же. С. 552–553.

[6] Там же. С. 555.

[7] Из письма Г. Гауптмана к И.С. Шмелеву от 27 января 1926 г. Цит. по: Спиридонова Л.А. Творчество И.С. Шмелева в восприятии зарубежных писателей // От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном восприятии: сборник. М.: Русский путь, 2011. С. 98.

[8] Из письма Р. Роллана к И.С. Шмелеву от 22 мая 1926 г. // Там же. С. 98–99.

[9] Лукаш И. [Рец.:] И.С. Шмелев. Солнце мертвых. Эпопея. Книгоиздательство «Возрождение», Париж // Слово (Рига). 1926. № 343.

[10] Между тем свет традиционно исходит с востока, а тьма и смерть связаны с западом; на крайнем западе, «за рекой Океан», находится Аид древнегреческих мифов.

[11] Из письма И.С. Шмелева к К.И. Зайцеву от 6 февраля 1926 г. // Мосты (Мюнхен). 1958. № 1. С. 408.

[12] Шлецер Б. «Окно». Литературный сборник, кн. 3. (Париж, Изд. М. и М. Цетлин, 1924 г.) // Современные записки. 1924. № 20. С. 432–434.

[13] Даманская А. [Рец.:] Шмелев Ив. Солнце мертвых (Изд. «Возрождение». Париж, 1926 г.) // Дни (Париж). 1926. 5 декабря.

[14] Каменецкий Б. <Ю. Айхенвальд> [Рец.] Руль (Берлин). 1923. 8 июля; Он же. [Рец.] Руль. 1926. 17 ноября.

[15] Цит. по: Осьминина Е.А. Шмелев И.С. Солнце мертвых // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья, 1918–1940: в 3 т. / [гл. ред. А.Н. Николюкин]. М.: РОССПЭН, 1997. Т. 3: Книги. С. 624.

[16] Возрождение (Париж). 1926. 28 октября.

[17] Возрождение. 1926. 17 ноября.

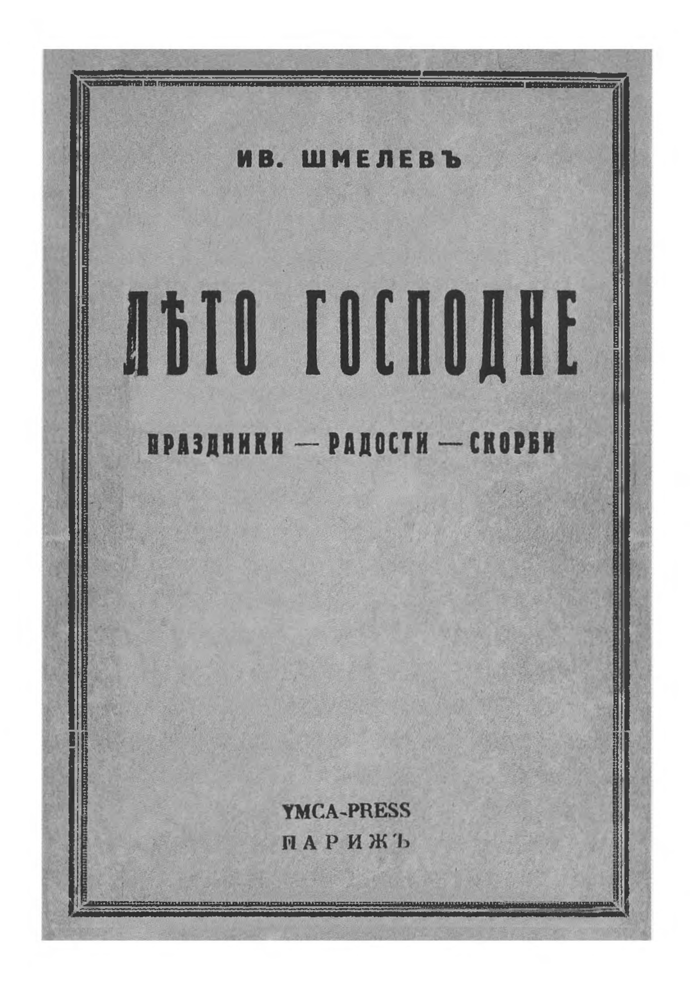
[18] Амфитеатров А. Литература в изгнании: Публичная лекция, прочитанная в Миланском филологическом обществе. Белград, 1929. С. 24.

97

ШМЕЛЕВ И.С.

Лето Господне:
Праздники —
Радости — Скорби

/ Иван Шмелев. — Париж: YMCA-Press, 1948. — 530 с.; 20,5×14 см.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



YMCA-PRESS

«Лето Господне» — автобиографическое повествование и одновременно мифопоэма о православной России, с ее праздниками, верованиями, обрядами. Шмелев приступает к работе над этим произведением в конце 1920-х годов, публикуя в эмигрантской периодике («Возрождение», «Руль», «Россия и славянство», «Сегодня», «Парижский вестник», 1928–1943) отдельные очерки — в последовательности, отличной от той, в которой они расположены в книге.

«Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про Рождество?» — так, с обращения к маленькому племяннику полуфранцузского, полурусского происхождения, начиналась первая глава. «Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца... — вспоминает Ив Жантийом. — Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на улице Дарю, но особенно часто — в Сергиевское подворье»[1].

Перерабатывая газетные очерки в книгу, Шмелев придал им большую целостность и композиционную стройность. Первая часть — «Лето

Господне. Праздники» — вышла вначале отдельно (Белград: Русская библиотека, 1933) в год шестидесятилетия писателя. Издание 1948 года — в своем завершенном виде — посвящалось Н.Н. и И.А. Ильиным и предварялось эпиграфом из Пушкина:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Рассказ в книге ведется от лица семилетнего Вани, открывающего для себя мир — в доме с патриархальным укладом, в глубоко религиозной семье, на дворе, в церкви, на улицах мещанско-купеческого Замоскворечья. Иногда в повествование вплетается голос взрослого рассказчика. Переход от празднично-красочных, детски непосредственных впечатлений к картинам мрачным («Скорби») вызван трагическим событием в семье писателя: неудачно упав с лошади и недолго проболев, умер его отец, Сергей Иванович, купец-подрядчик, человек с очень тонкой, поэтической душевной организацией, оказавший на маленького Ваню огромное влияние. Не только отец, но и другие персонажи книги не выдуманы, а подсказаны памятью: и приказчик Василь Васильич Косой, и старый филенщик Михайла Панкратыч Горкин — воспитатель Вани, во многом продолжающий образ пушкинского Савельича и, однако, сильно превосходящий его истовой религиозностью.

В «Лете Господнем» Шмелев показал себя непревзойденным бытовиком — такого многообразного предметного мира не найти, пожалуй, ни в одной другой русской книге. Но композиционно роман определен не буднями, а праздниками. Чего только не касается Шмелев, погружаясь вместе с потрясенным читателем в мир, необычайно насыщенный вещами и явлениями, давно и безвозвратно утраченными. Пластически достоверно, не упуская из виду ни цвета, ни звука, ни запаха, Шмелев описывает убранство дома и церкви, нарядные праздничные и скорбные постные богослужения, церковную и домашнюю утварь, одежду, сувениры, украшения, все окрашивая детским, изумленно-радостным восприятием.

Многолика Россия, многолик и мир людей, населяющих шмелевскую Москву — хлебосольную, богомольную, разгульную, благолепную. Мелькают представители разных сословий, с особой для каждого манерой поведения, обликом, языком — банщица Домна Панферовна и кучер Антип, портомойщик Денис и барин Энтальцев, трактирщик Крынкин и плотник-силач Мартын… «а в глубине — праздничная толпа, заливающая московские улицы, толкающаяся перед Пасхой на Постном рынке, катающаяся с ледяных гор на Масленице, выстаивающая долгие церковные “стояния” в Великом Посту»[2]. Труженики, отличные работники и забулдыжные пьяницы, они строят Москву, украшают ее, населяют ее, обильно едят и пьют и в скоромные, и в постные дни, веселятся, страдают, уходят бродяжничать по Руси и вновь тянутся в гостеприимный город, где тем временем отливают памятник Пушкину, который, «говорят, был какой знаменитый, а помер молодым».

Мастер народной, обильно пересыпанной пословицами и поговорками, порой рифмованной, порой песенно-поэтической речи, знаток Священного Писания и богослужебных текстов — тропарей, стихир, кондаков, канонов, псалмов, Шмелев делает русский язык одним из центральных, невидимых персонажей книги, пожалуй, ее главным героем. «Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка, — утверждал А.И. Куприн. — Шмелев изо всех русских самый распрорусский, да еще и коренной, прирожденный москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа»[3]. Не только в памяти писателя, но и в самом языке — богатейшем, разнообразном, впитавшем в себя церковнославянизмы и диалекты, жаргоны и русскую поэзию от фольклорных истоков до высоких классических образцов, — сохранился тот тысячелетний мир православной Руси, который был безжалостно и до основания разрушен революцией. «Русской эпопеей» назвал Шмелев свою книгу; русским поэтическим мифом стала она для читателей — соотечественников писателя, державших, подобно К. Бальмонту, томик «Лета Господня» у изголовья кровати.

Содержание «Лета Господня» определяется тем годовым календарным циклом, который в России имеет и природную, и религиозно-обрядовую стороны. Нерасторжимое единство простонародного быта и озаряющего его православия ложится в основу композиции книги: воспоминания автора о детстве вплетены в календарь русской природы и церковный календарь. «Лето Господне» задумано и создано с притязаниями на русский национальный эпос, но оказывается гораздо ближе к патриархальной идиллии. Впрочем, как ни относиться к дилогии Шмелева (в 1931 году была издана книга «Богомолье» — о паломнической поездке в Троице-Сергиеву лавру), где нет места интеллектуальным исканиям, героическим свершениям, общекультурным интересам, она погружает нас в мир бесконечно завораживающий, как завораживает исчезнувшая Атлантида или град Китеж.

Пусть Шмелев живописует только быт, но каждая мелочь бытового обихода воспринята эстетически, вещи хранят тепло рук ушедших людей, несут в себе память об исчезнувшем мире, о доме как его высшей святыне, а искренняя православная вера возвышает наивных персонажей над бытовой рутиной, одухотворяет их жизнь, придает ей смысл.

К. Мочульский оказался первым, кто попытался проникнуть в суть книги, в которой предстали воссозданные «дыхание и душа московской недавней старины — в ее религиозном сознании»[4]. Это не «реконструкция прошлого (с неизбежным искривлением перспективы)», не романизированная история, не идеализация или архаизация, в любом случае это — не стилизация, настолько все подлинно, точно с натуры списано, «это — настоящее»[5]. Живую «субстанцию Руси» угадал в книге Шмелева И.А. Ильин: «О, если бы все умели *так* любить Россию!..» «Великий мастер слова и образа, Шмелев создает здесь в величайшей простоте утонченную и незабвенную ткань русского быта; этим словам и образам не успеваешь дивиться, иногда в душе тихо всплеснешь руками, когда выбросится уж очень точное, очень насыщенное словечко: вот "тарта-

нье" "веселой мартовской капели"; вот в солнечном луче "суетятся золотинки", а от капусты на базаре "идет кислый и вонький дух"; " топоры хряпкают"; "арбузы с подтреском"; "черная каша галок в небе"»[6]. И так зарисовано все, восхищается Ильин, от разливанного постного рынка до запахов и молитв Яблочного Спаса, от «розговин» до крещенского купанья в проруби. Все узрено и показано насыщенным видением, сердечным трепетом; все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением; здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной и благодарной памяти. «И чуется мне, что эту книгу написала о себе сама Россия — пером Шмелева; выговорила о себе глубинную правду… утвердила себя навек…»[7]

Не удивительно, что так высоко оценил произведение Шмелева его апологет и самый проницательний критик; гораздо важнее, как излила свои восторги З.Н. Гиппиус — впрочем, в частном послании, а не в напечатанной рецензии. «Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга… Мало знать, помнить, понимать, со всем этим надо еще *любить*», — проникновенно пишет она. Это не просто высокая оценка, данная собрату по перу, это глубокая «сердечная благодарность», без фальши и позы: «Лето Господне» названо «истинным сокровищем», «драгоценностью», «не "литературой", а больше». Главное в повествовании Шмелева — раскрыть «истинность лика России» в то время, когда русские люди «уже перестают глубину правды нашей чувствовать»[8].

Но в то же время в чем только не упрекала Шмелева эмигрантская критика — в «провинциальности», в чрезмерной «русскости», в «"русопетском" антиевропеизме и антикультурности»[9]. «Мятущийся» Шмелев с «надрывами», на которого Европа не оказала «никакого духовного воздействия», оставался бесконечно чужд М. Слониму[10]. Но в анналы русской эмигрантской критики вошло мнение Г.В. Адамовича, своей яркой и недоброжелательной образностью порой перевешивающее все восхищение, которое питало к Шмелеву эмигрантское сообщество. Легко играть на патриотизме, пожимал плечами петербургский эстет и адепт «парижской ноты», но «меню в трактире Тестова, с "потненьким графинчиком водки" и "селяночкой на сковородочке", и благополучие разбогатевших банщиков… и устоявшийся быт, который хорош только спокойствием, ничем другим, — все это сейчас мертво»[11]. Шмелевское «родное» дышит для Адамовича «каким-то захолустьем», а идеал его — «узок и реакционен… поэтому и антиморален»[12]. Адамовичу в Шмелеве чуждо все — страстность (от Достоевского), «квасной» патриотизм (от Гоголя со славянофилами), проповедь православия и любовь к России «до самозабвения»; критик договаривается даже до того, что «очень русским писателем, уж таким русским, что "русее" и не бывает», Шмелев только казался, проповедуя отжившие, ветхие ценности и гальванизируя «Святую Русь», какой никогда и не бывало[13].

Что же такое неповторимое, уникальное, полемичное «Лето Господне» Шмелева? Абсолютная правда (И. Ильин) или правдоподобие (Г. Адамович)? А может быть, творчество во имя воплощения высшей истины? Панегирик России и одновременно плач по ней, сказка, миф или грандиозная национальная эпопея? Духовный реализм или бытописательство?

Иллюзия ослепленного ностальгией эмигранта или подлинная тысячелетняя Россия «перед лицом Божиим» (И. Ильин)? Друг Шмелева и его духовный наставник А.В. Карташев не собрался написать рецензию на «Лето Господне», хотя и обещал. Но отправил огромное письмо автору, сравнив и творчество его, и творение с древнерусской иконописью. «Лето Господне» — это писательское служение будущей России, «икона» ее будущего преображения: «Тяга к вам русских масс читательских не просто литературная, а религиозная... Вы уже нашли свою стезю. Это стезя для русской души — не мода и "направленство", а неисчерпаемое богатство, нетленное, вечное»[14].

Татьяна Марченко

---

[1] Жантийом-Кутырин И. Мой дядя Ваня. М.: Российский фонд культуры; Изд-во Сретенского монастыря, 2001. С. 12.

[2] Мочульский К. // [Рец.:] Ив. Шмелев. Лето Господне: Праздники. Русская библиотека. Белград, 1933 // Современные записки (Париж). 1933. № 52. С. 458.

[3] Куприн А.И. Иван Сергеевич Шмелев // За рулем (Париж). 1933. № 7. Декабрь. С. 7.

[4] Мочульский К. [Рец.:] Ив. Шмелев. Лето Господне. Праздники. Русская библиотека. Белград, 1933 // Современные записки. 1933. № 52. С. 459.

[5] Там же.

[6] Ильин И.А. Православная Русь: «Лето Господне. Праздники» И.С. Шмелева // Ильин И.А. Одинокий художник: Статьи, речи, лекции. М.: Искусство, 1993. С. 120.

[7] Там же. С. 123.

[8] И.С. Шмелев: Отражения в зеркале писем: Из французского архива писателя // Наше наследие. 2001. № 59/60. С. 127.

[9] См.: Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. М.; Париж: Русский путь; YMCA-Press, 1996. С. 76.

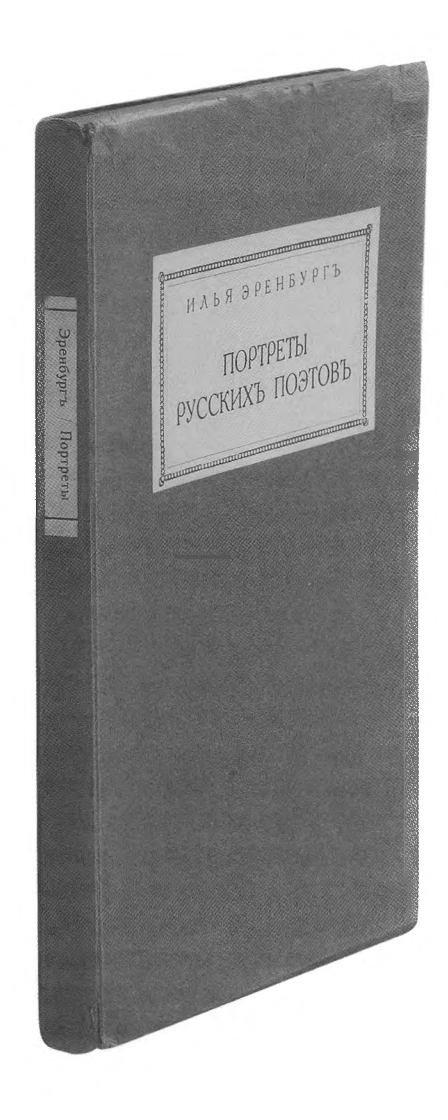
[10] См.: Критика русского зарубежья: в 2 ч. М.: АСТ, 2002. Ч. 2. С. 125.

[11] Адамович Г. Ив. Шмелев. Родное // Современные записки. 1932. № 49. С. 454.

[12] Адамович Г. Перечитывая Шмелева // Последние новости (Париж). 1936. 30 января. С. 2.

[13] См.: Адамович Г.В. Комментарии / сост., послесл. и примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 2000. С. 66–67.

[14] Из письма А.В. Карташева к И.С. Шмелеву от 25 сентября 1949 г. Цит. по: Суровова Л.Ю. Живая старина Ивана Шмелева: Из истории создания «Лета Господня». М.: Совпадение, 2006. С. 288.

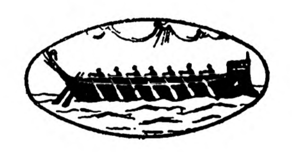


98

ЭРЕНБУРГ И.Г.

Портреты русских поэтов

/ Илья Эренбург. — Берлин: Аргонавты, 1922. — 160, [4] с.; 19×13 см.
В шрифтовом двухцветном издательском картонаже.



Илья Григорьевич Эренбург родился 15 (27) января 1891 года в Киеве, в купеческой семье, вскоре перебравшейся в Москву. Еще гимназистом он участвовал в революционных событиях 1905 года, познакомился с Н. Бухариным и Г. Сокольниковым, в 1906-м вошел в гимназическую социал-демократическую организацию, в 1908-м был арестован, но затем, по состоянию здоровья, отпущен, и в декабре того же года уехал в Париж, где встречался с Лениным, Каменевым, Зиновьевым, Луначарским, в 1909-м — в Вену, где работал с Троцким. Обратившись к поэзии, Эренбург отходит от политической деятельности. Одна за другой печатаются его книги: «Стихи» (Париж, 1910), «Я живу» (СПб., 1911), «Одуванчики» (Париж, 1912), «Будни» (Париж, 1913), «Детское» (Париж, 1914), «Стихи о канунах» (М., 1916)… На первый сборник отозвался В. Брюсов:

«Обещает выработаться в хорошего поэта Илья Эренбург»[1], на второй — Н. Гумилев: «В его терцинах есть подлинное ощущение язычества, поземному милого и слегка чудесного. Он умело соединяет лирический подъем с историзмом тем… Он знает, что такое стихи»[2], на третий — О. Мандельштам: «Один из немногих, г. Эренбург понял, что от поэта не требуется исключительных переживаний. Тем ценнее общеобязательность лирического события»[3].

Но началась мировая война. В 1915–1916 годах Эренбург — корреспондент «Биржевых ведомостей» на франко-германском фронте. С той поры журналистика становится для него второй литературной профессией, второй натурой — Эренбурга всегда волновало злободневное, даже когда он писал о «вечном».

В июле 1917-го Эренбург возвращается в Россию. Октябрьский переворот побудил его к созданию сборника политических стихов «Молитва о России» (М., 1918). В эсеровских газетах он выступает с антибольшевистскими памфлетами. В сентябре 1918-го под угрозой ареста уезжает в Киев, где руководит поэтической студией. Затем отправляется в Крым, к М. Волошину. Осенью 1920-го через Грузию возвращается в Москву, где попадает в тюрьму ВЧК. Освободиться помогло заступничество друга юности Н. Бухарина.

В марте 1921 года, при помощи того же Бухарина, Эренбург получает разрешение на выезд за границу. С осени 1921-го он живет в Берлине, пишет давно задуманный роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1922) — по отзыву Н. Бухарина, «увлекательнейшую сатиру»[4], роман во многом пророческий. В следующем году Эренбург создает сборник рассказов «Тринадцать трубок» и роман «Трест Д.Е.» и с этого же года начинает работать корреспондентом «Известий», переселяется в Париж. Время от времени он приезжает на родину: в январе – марте 1924-го, а затем в 1926 году путешествует по России, что находит отражение в его творчестве, в том числе и в сатирическом романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1928).

С начала 1930-х годов Эренбург живет в СССР. Понимая всю сложность создавшейся в мире обстановки, он принимает решение «занять свое место в боевом порядке»: участвует в работе I съезда советских писателей в Москве и Антифашистского конгресса в Париже, в качестве военного корреспондента «Известий» отправляется освещать события гражданской войны в Испании.

«Отечественную войну по справедливости принято считать звездным часом Ильи Эренбурга. Он стал едва ли не первым публицистом антигитлеровской коалиции — художественная ярость написанного им сочеталась с гигантским количеством»[5]. За годы Великой Отечественной войны Эренбург создал «более 1500 статей для советской и зарубежной прессы»[6]. Кроме того, он систематически выступал по радио, лично отвечал на бесчисленные письма с фронта.

После войны Эренбург был командирован в страны Восточной Европы, присутствовал на Нюрнбергском процессе. В 1949 году, когда была развернута кампания по борьбе с «космополитами», писателя перестали печатать, но арестовать не решились. «В очередной раз Сталин решил, что

Эренбург еще пригодится, и поручил ему заниматься “борьбой за мир”»[7]. Писатель снова стал часто бывать на Западе. Отныне антифашизм — одна из главных его тем. В 1953 году Эренбургу была присуждена Международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами».



Илья Эренбург. Париж. Конец 1920-х годов

Вскоре он взялся за повесть, название которой определило наступившую эпоху — «Оттепель» (1954). Сам он был одним из наиболее активных и признанных деятелей этой эпохи.

С 1957 года и до конца жизни писатель работал над монументальным замыслом — трехтомными мемуарами «Люди, годы, жизнь».

Скончался Эренбург после длительной болезни 31 августа 1967 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Книгу «Портреты русских поэтов» он начал еще в Киеве в 1919 году. «Выехав в марте 1921 года за границу, Эренбург уже 1 апреля написал в Стокгольм историку литературы и издателю Е.А. Ляцкому, предложив издать пять подготовленных им в России книг»[8], в том числе «Портреты русских поэтов». «Но предложение принято не было, и книга вышла в берлинском издательстве… издали ее в виде антологии: каждый “портрет” сопровождая несколькими стихотворениями “портретируемого”, отобранными Эренбургом»[9].

Начиная с 1913 года Эренбург выступал на страницах журналов с обзорами русской поэзии, давая и портретные зарисовки разных поэтов. Однако для книги готовые газетные и журнальные публикации не годились, и он написал «портреты» по-новому. «Это далеко не рецензентский подход, но всегда личностный. Мы видим, что Эренбург ценит в поэте, что не принимает. Всюду взгляд критика свежий, мысль самостоятельна. Ни об Ахматовой, ни о Цветаевой так никто не писал ни до Эренбурга, ни после… Особенность этой книги, состоящей из отдельных эссе, заключается в том, что она не сборник, хотя иные из вошедших в нее вещей писались в разные месяцы, а то и годы. Это именно книга. Ее единство достигнуто тем, что ни один из героев не отделен от других. В эссе об Ахматовой автор вспоминает Вячеслава Иванова, на страницах, посвященных Бальмонту, естественно сравнение его поэтического мира с мирами Блока и Ахматовой. Рядом с Блоком возникают фигуры Вяч. Иванова и Сологуба, а Маяковский и Ахматова сопоставляются так же, как, независимо от Эренбурга, это сделал в то же время Корней Чуковский»[10].

«…Эренбург с огромного расстояния различает в Ахматовой ранний проигрыш, способный выиграть у всего остального, в Балтрушайтисе — аскетическую влюбленность в молчание, в Бальмонте — трагику анахронизма, насмерть схлестнувшегося со всем действительным, в Блоке — Гамлета, завороженного смертью, но не покорившегося ей,

в Брюсове — размах миссионера, в запале проповеди позабывшего не то что о прихожанах, но и о себе. Блестяще оценен Андрей Белый — ужас недовоплощенности, значение, не сумевшее найти себе ни средства, ни языка. Волошин: опасно приветливые глаза, эфемерная многоликость, при яркости и внятности — бесплотность, при тщательно скрываемом косматом сердце — здравый расчет бывалого экзерсиста и трюкача. Есенин — лукавый агнец, изначальная жертва песни и... песне. Вяч. Иванов — стяженный смысл Серебряного века, двуликость тайны, пробующей обмануть самое себя, святость змеиной искушенности, чистота ночных мистерий. Мандельштам: будничность страшной погони за главным словом эпохи. Маяковский — варварская сила промышленной этикетки, тщащаяся скрыть трещину мироздания. Пастернак — живое доказательство правоты и постоянной современности романтизма, обоснование лирики как душевной плоти. Сологуб — аккуратность уязвленного безумия, наркотическое гурманство вселенской униженности жизнью, фактом бытия. Наконец — Цветаева: буйство начал, светлое, раздираемое каждым собственным вздохом напополам язычество, чаяние собачьей верности чему угодно при полном отсутствии надобы в любви и верности вообще»[11].

«Кто понимает и любит Эренбурга, тот поймет и полюбит эренбурговских Анну Ахматову, Блока, Бальмонта, Белого. Для других "портреты", пользуясь излюбленным словом Эренбурга, будут "невнятны"... Причудливые скрещения и отталкивания, конгениальность и преодоление дадут ключ к лучшему пониманию и портрета, и портретиста, и эволюции эстетических форм»[12]. Другой рецензент писал, что в книге достигнуто «соединение субъективности и единости настроения с яркой изобразительной характеристикой»: «Даже когда автор говорит о тех, с кем ему не приходилось сталкиваться... когда он судит поэта только по впечатлению, произведенному от чтения его произведения, — видишь ясно пред собой того, кого зарисовывает Илья Эренбург... Эренбург не просто фельетонист, улавливающий газетным оком образы и впечатления. От вносимого "своего" книжка представляется еще более интересной»[13]. «Эта новая хрестоматия современной поэзии задумана и выполнена превосходно. Автор объединил в ней четырнадцать поэтов... разных школ и направлений... В выборе поэтического материала автор руководствуется исключительно своим вкусом, и этот вкус безукоризнен. Ни на полноту, ни на систематичность книга Эренбурга не претендует... В этом личном подходе, свободе и беспрограммности — большая творческая личность... Эренбурга интересует в поэте человек — его характерное неповторимое лицо, его своеобразный жест, его особый голос. Он читает стихи, и воображению его представляется автор... Это творческое построение может вовсе не соответствовать эмпирической действительности. И в то же время быть правдивее ее»[14].

В России книга впервые вышла в 1923 году под несколько измененным названием[15]. Алфавитный принцип построения в ней сохранен, но сопровождающие эссе стихотворения исчезли. После длительного перерыва «Портреты современных поэтов» были переизданы в 1998 году в Санкт-Петербурге.

Лариса Эпиктетова

[1] Цит. по: Фрезинский Б. О жизни и поэзии Ильи Эренбурга и об этой книге // Эренбург И. Запомни и живи...: Стихи, переводы, статьи о поэзии и поэтах / изд. подгот. Б.Я. Фрезинский. М.: Время, 2008. С. 15.

[2] Цит. по: Лазарев Л. Защищая культуру // Эренбург И. Собр. соч.: в 8 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1 / [сост., подгот. текста Б.М. Сарнова, И.И. Эренбург; вступ. ст. Л.И. Лазарева; коммент. Б.Я. Фрезинского]. С. 5.

[3] Там же. С. 6.

[4] Там же. С. 7.

[5] Фрезинский Б. О жизни и поэзии Ильи Эренбурга... С. 61.

[6] Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). М.: РОССПЭН, 1997. Т. 1: Писатели русского зарубежья / под ред. А.Н. Николюкина. С. 466.

[7] Фрезинский Б. О жизни и поэзии Ильи Эренбурга... С. 69.

[8] Фрезинский Б. Комментарии // Эренбург И.Г. Запомни и живи... С. 594.

[9] Там же.

[10] Рубашкин А. Илья Эренбург о русских поэтах и поэзии // Эренбург И. Портреты современных поэтов. СПб.: Журнал «Нева», 1999. Цит. по: URL: http://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/erenburg/psp00.html.

[11] Арутюнов С. [Аннот.] // Эренбург И. Портреты русских поэтов / изд. подгот. А.И. Рубашкин. СПб.: Наука, 2002. (Литературные памятники). Цит. по: URL: http://samlib.ru/a/arutjunow_s/erenburg.shtml.

[12] Вольский А. [Рец.] // Накануне. 1922. 8 апреля. Цит. по: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). М.: РОССПЭН, 2002. Т. 3: Книги / под ред. А.Н. Николюкина. С. 649.

[13] О. [Рец.] // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 4. С. 13–14. Цит по: Там же.

[14] Осоргин М. [Рец.] // Звено (Париж). 1923. 5 марта. Цит по: Там же. С. 649–650.

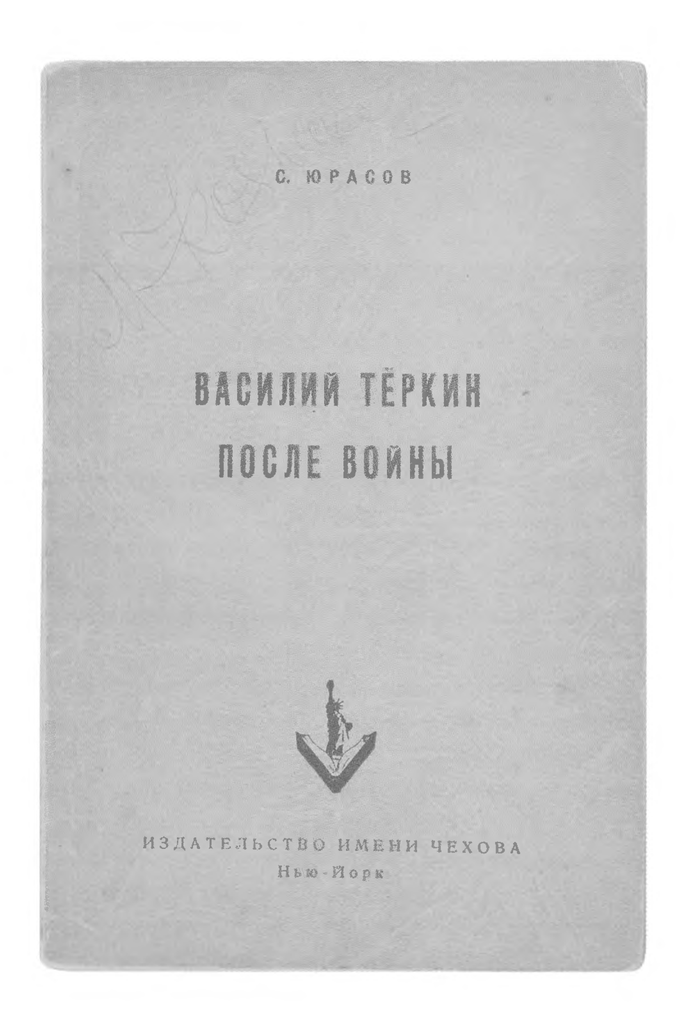
[15] Эренбург И. Портреты современных поэтов. М.: Первина, 1923.

99

ЮРАСОВ С.

Василий Тёркин после войны: (По А. Твардовскому)

/ Сергей Юрасов. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 192 с.; 21,5×14 см. В шрифтовой двухцветной издательской обложке.



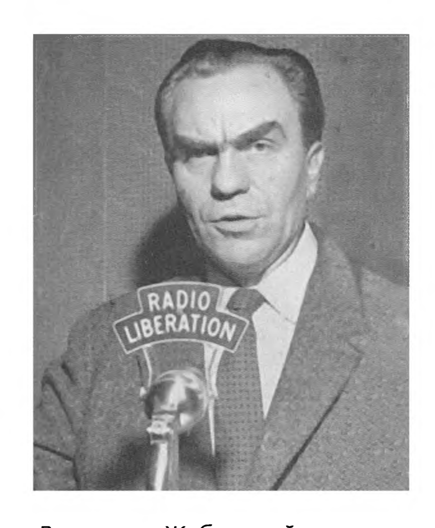


Под псевдонимом Сергей Юрасов выступал писатель и журналист Владимир Иванович Жабинский (1914–1996).

Он родился в Румынии, рос в семье отчима в Ростове-на-Дону. В 1930 году окончил школу-девятилетку. Работал электромонтером. В 1932-м переехал в Ленинград, где стал бригадиром электроцеха на заводе «Красный путиловец», затем прорабом отдела капитального строительства. В 1934-м поступил на литературный факультет ленинградского Института истории, философии и лингвистики, впоследствии объединенного с Ленинградским университетом.

В 1937-м был арестован по доносу человека, желавшего получить его комнату, и осужден на восемь лет лагерей, которые отбывал в Сегежлаге (Карелия). С началом войны заключенных эвакуировали на восток, и во время бомбежки эшелона Жабинскому удалось бежать. Три года он скрывался, а после освобождения Ростова-на-Дону в 1943 году подделал анкетные данные. Был призван в действующую армию, направлен на

1-й Белорусский фронт, где дослужился до звания подполковника. В 1947-м демобилизовался и был переведен в промышленное Управление советской военной администрации в Германии, где работал уполномоченным Министерства промышленности строительных материалов СССР при Управлении репараций и поставок. В 1947 году Жабинский по предписанию должен был ехать в Москву для проверки, но бежал в Западный Берлин.



Владимир Жабинский (Сергей Юрасов) ведет передачу на радио «Свобода». Нью-Йорк. 1950-е годы

В 1951 году после долгих проволочек он получил разрешение на въезд в США. В том же году начал печататься — сначала под псевдонимом С. Юрасов, подсказанным Р.Б. Гулем, потом — Владимир Юрасов, Владимир Рудольф. Был редактором журнала «Америка», тридцать лет сотрудничал с радио «Свобода», писал для американской, немецкой, швейцарской, французской и русской зарубежной печати («Новый журнал», «Грани», «Новое русское слово»). С начала 1970-х годов отошел от литературной деятельности.

Перу Владимира Жабинского (Юрасова) принадлежат роман «Параллакс» (выросший из рассказа «Враг народа»), изданный на английском языке в Америке в 1966 году, сборники стихов и рассказов, поэма «Сегежская ночь» (лагерный опыт), «Заметки о советской литературе», вышедшие во второй половине 1950-х годов в Мюнхене. Но своему приглашению на «тамиздатовский Олимп» он обязан поэме «Василий Теркин после войны», довольно слабому подражанию оригиналу Твардовского.

«Тематически книга состоит из двух частей: “Теркин дома” — о похождениях солдата-победителя после демобилизации в условиях послевоенной советской жизни и “Теркин-оккупант” — о его службе в оккупационной армии в Германии, — отмечал автор в предисловии. — Можно сказать, что “Василий Теркин” такой, каким он живет и поныне, создается в гуще солдатских и народных масс — это свободное народное творчество. Советские писатели и поэты в условиях партийной диктатуры лишены возможности пользоваться этим творчеством. “Книга про бойца” А. Твардовского могла появиться только в условиях войны, когда власть была вынуждена дать стране некоторые свободы, в том числе некоторую свободу творчества. После войны эти свободы были отняты»[1].

В поэме «Василий Теркин» А.Т. Твардовский так точно угадал народный характер, настолько угодил ожиданиям читателей, жаждавших видеть героя войны в самых разных ситуациях, что его произведение, словно снежный ком, обросло бесхитростными самодельными подражаниями. Появились Теркин-зенитчик, кузнец, целинник, милиционер и т. д. И такое коллективное продолжение, по признанию самого Твардовского, могло

только радовать. Но совсем иные чувства вызвало у автора «Василия Теркина» юрасовское продолжение «Книги про бойца».

Твардовский выступает со следующей отповедью:

«С. Юрасов делает вид, что вполне буквально понял мои слова в “Ответе читателям” о том, что в известном смысле “Книга про бойца” произведение не собственное мое, а коллективного авторства.

Он так и пишет: “Часть книги ‘Василий Теркин после войны’ состоит из того, что я слышал в армии и в Советском Союзе. Некоторые места этой части совпадают с отдельными местами у А. Твардовского, но имеют совсем иной смысл. Что здесь является подражанием безыменных ‘Теркиных’ поэту, а что, наоборот, принадлежит фольклору и использовано А. Твардовским, — сказать трудно”.

...Юрасов присваивает себе право на полную “свободу” в обращении с текстом моего “Василия Теркина”.

Открываем первую страницу книги:

По которой речке плыть, —
Той и славушку творить...

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Но еще не знал я, право,
Что с печатного столбца
Всем придешься ты по нраву,
А иным войдешь в сердца...

И так далее, и так далее — строфа за строфой, все в точности “по Твардовскому”... Так до третьей страницы, где вслед за моей строкой “Может, с Теркиным беда?” вдруг идет строфа целиком юрасовского изготовления:

— Может, в лагерь посадили —
Нынче Теркиным нельзя...
— В сорок пятом, говорили,
Что на Запад подался...

Эта кощунственная попытка судьбу заслуженного советского воина, героя-победителя уподобить — хотя бы предположительно — своей презренной биографии перебежчика, изменника родины, естественно, способна вызвать только омерзение, которое не позволяет останавливаться на всех приемах этой бесстыдной фальсификации.

Работа грубая. Берется, например, из главы “Поединок” вся, так сказать, техническая сторона рукопашной Теркина с немцем и при помощи кое-как слепленных от себя строчек и строф выдается за рукопашную Теркина с... милиционером. В сравнении с этим покраска ворами-автомобилистами

украденной машины в другой цвет и замена номерного знака представляется делом куда более благовидным.

Юрасов “цитирует” меня строфами, периодами и целыми страницами, однако нигде не ставит кавычек, полагая, что его “добавления” и “замены” дают ему право как угодно пользоваться общеизвестным, столько раз переизданным текстом советской книги в его низких антисоветских целях. Показательно, что этот человек, пошедший “в услужение” буржуазному миру, где высшим божеством является частная собственность, начисто пренебрег принципом литературной собственности, которая в нашем социалистическом обществе как раз охраняется законом, являясь понятием в первую очередь моральным.

Впрочем, чему еще удивляться, если издатели антихудожественной стряпни Юрасова не стесняются называть свое заведение в Нью-Йорке именем одного из величайших и благороднейших русских писателей — А.П. Чехова, как это указано на обложке воровской, поддельной книги С. Юрасова»[2].

Однако, отмечая, что история возвращения Теркина с фронта отражает типичную жизненную ситуацию, в которой оказались тысячи солдат-победителей, вернувшихся в родные колхозы и заставших дома беспросветную нищету и полное закабаление крестьян, литературовед М.Е. Бабичева указывает, что Твардовским был собран богатый материал для глав о Теркине в советском концлагере и о побеге героя на Запад, но замысел остался неосуществленным[3].

Сам Юрасов в предисловии «От автора» отмечает: «Написанное собственно мною по замыслу своему продолжает мотивы и настроения рассказов и песен “Теркиных”, которых я встречал… Вся история с “Василием Теркиным” напоминает мне слова покойного академика А.С. Орлова на одной из лекций о древней русской литературе в Ленинградском университете. Он сказал: “Сюжет или образ, созданный литературой, подобен глиняному сосуду, сработанному руками мастера. Со временем этот сосуд опускается на дно океана-народа. Вынутый через многие годы со дна, он, сохраняя первоначальную форму, которую придал ему мастер, в фантастических растениях, драгоценных кораллах и ракушках предстает перед нами более жизненным и прекрасным. Так было со многими литературными образами и сюжетами, которые из книг попали в океан народного творчества”»[4].

Спустя почти два десятилетия Жабинский-Юрасов, вспоминая слова Г. Гейне о том, что трещина, расколовшая мир, проходит через сердце поэта, скажет: «Трещина, расколовшая современный мир, глубже и заметнее у писателя-эмигранта из Советского Союза. Живя в демократических странах, он становится носителем нового опыта — опыта обеих сторон жизни на Земле, которого нет и не может быть у писателей одной из сторон. Трещина — тоже трагедия, но она источник новых литературных возможностей, новых литературных тем, и писатели-эмигранты могут создать произведения, которые помогут преодолеть трещину — пропасть, разделившую людей»[5].

Ольга Мартыненко

---

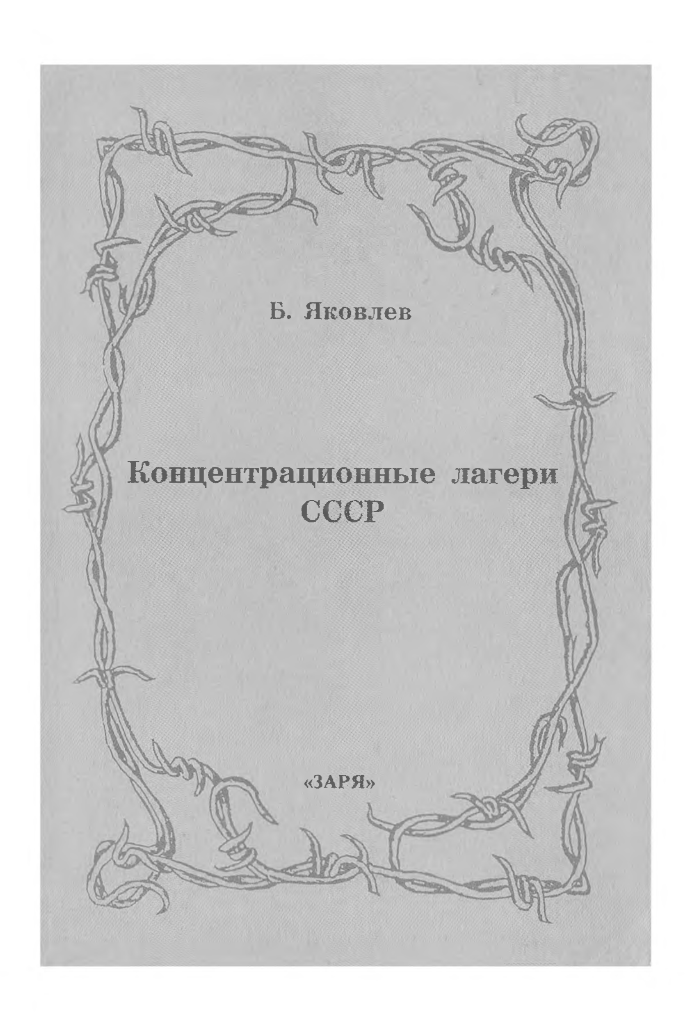
[1] Юрасов С. <В.И. Жабинский> От автора // Юрасов С. Василий Теркин после войны: (По А. Твардовскому). Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 16.

[2] Твардовский А.Т. Как был написан «Василий Теркин»: (Ответ читателям) // Твардовский А.Т. Собр. соч.: в 6 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 5. С. 140–142.

[3] См.: Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: Биобиблиографические очерки. М.: Пашков дом, 2005. С. 408–416.

[4] Юрасов С. От автора. С. 16–17.

[5] Юрасов В.И. Вместо предисловия: [Автобиография-воспоминания] // Юрасов В.И. Параллакс: Роман. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1972. С. 9.



100

ЯКОВЛЕВ Б.

Концентрационные лагери СССР

/ Борис Яковлев; [при участии А.П. Бурцова; предисл. А. Авторханова]. [L. (Ontario)]: Заря, 1983. 256 с.: карт., схем.; 21,5×15 см.
В иллюстрированной трехцветной издательской обложке.

«ЗАРЯ»

Николай Александрович Троицкий (Нарейкис; известен также под фамилиями Норман, Яковлев; 1903–2011) родился в селе Вешкайма Симбирской губернии, в многодетной семье псаломщика. Окончив сельскую школу, духовное симбирское училище и школу второй ступени, в 1921 году поступил в Симбирский политехнический институт, по окончании которого работал инженером-строителем в Ростове, Краснодаре и Богородске (ныне Ногинск). В 1930–1932 годах Троицкий учился в Московском архитектурном институте и трудился в одном из строительных трестов. С 1933 года он руководил лабораторией цветовосприятия, организовав и возглавив научно-исследовательскую секцию проектирования театров, клубов и школ при Наркомпросе, одновременно исполнял обязанности ученого секретаря Московского архитектурного общества. С 1935 года в качестве заместителя ученого секретаря Академии архитектуры СССР занимался организацией отделения теории и истории архитектуры, готовил диссертацию по архитектуре театральных зданий.



Николай Троицкий (Борис Яковлев)

В апреле 1937-го Н.А.Троицкий был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и шестнадцать месяцев провел на Лубянке и в других московских тюрьмах. В августе 1938-го его освободили. С началом войны Троицкий ушел добровольцем на фронт в составе 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. В октябре 1941-го под Вязьмой попал в плен. Полтора года провел в лагере для военнопленных «Боровуха-1» под Полоцком. В мае 1943-го вступил в ряды Русской освободительной армии (РОА), руководил газетой «За Родину». Летом 1944-го получил назначение в штаб РОА. Не имея офицерского звания, был прикомандирован к генералу Власову в качестве чиновника по особым поручениям. Работал в газете «Доброволец». Осенью 1944 года принимал участие в подготовке и редактировании Манифеста Комитета освобождении народов России (КОНР), занимался его тиражированием и распространением. В апреле 1945-го, откомандированный в качестве представителя КОНРа в 1-ю дивизию РОА, был назначен на должность начальника отдела пропаганды (с производством сначала в капитаны, а затем в майоры). За несогласие с командиром дивизии вступить в вооруженное столкновение с передовыми частями Красной армии (так как являлся сторонником идеологических методов борьбы со сталинским режимом) был арестован, но вскоре, по личному вмешательству Власова, освобожден. Сопровождал дивизию на марше в Баварские Альпы.

После войны в течение двух лет жил на нелегальном положении, работая под именем Бориса Яковлева — эмигранта из Югославии — в одной из строительных фирм Мюнхена. Был избран председателем Совета Союза борьбы за освобождение народов России (СБОНР), организовал и возглавил Институт по изучению истории и культуры СССР, издавал и редактировал журнал «Литературный современник» (впоследствии альманах). В 1955 году в знак протеста против откровенного вмешательства американцев в дела института оставил пост директора, после чего выехал в США. Встретив демонстративный отказ предоставить подходящую его уровню работу, устроился ночным уборщиком в нью-йоркскую больницу и поступил в Колумбийский университет. Получив диплом библиотекаря, служил сначала библиографом, затем хранителем славянского отдела библиотеки Корнельского университета в Итаке (штат Нью-Йорк). Выйдя в 1968 году на пенсию, опубликовал несколько сборников новелл, выступал с докладами, состоял членом Конгресса русских американцев. В 1994–1997 годах Троицкий передал ценные архивные материалы из своей коллекции в Государственный архив Российской Федерации[1].

Работа «Концентрационные лагери СССР» (написанная при участии А.П. Бурцова) была выпущена в серии «Исследования и материалы» Института по изучению истории и культуры СССР (серия 1-я, выпуск 23-й) в 1955 году. Институт был основан в Мюнхене 8 июля 1950 года и организован как свободная корпорация научных работников и специалистов — эмигрантов из СССР, поставивших себе целью всестороннее изучение СССР и ознакомление западного мира с результатами своих исследований. Со временем он превратился в серьезное научное учреждение, к голосу которого стал прислушиваться западный мир. Число его корреспондентов к концу 1953 года достигало тысячи. Адресаты распределялись по сорока восьми странам. В том же году на 3-й конференции института присутствовало свыше трехсот научных работников из разных стран, в том числе из Англии, Швеции, Голландии, Турции, Австрии, Италии. Продолжала расширяться его издательская деятельность — начали регулярно выходить «Вестник» института, серия монографий «Исследования и материалы», другие издания.

С 1954 года своего рода шефство над институтом установил ряд американских организаций и учреждений, расширивших и материально укрепивших его базу, но одновременно пытавшихся направлять деятельность Института в проамериканское русло, что существенно ограничило свободу творчества его сотрудников и вынудило Н.А. Троицкого к отставке.

В «Предварительных авторских замечаниях» к книге «Концентрационные лагери в СССР» так обозначены задачи и принципы работы:

«Наш труд делится на три раздела. В первом из них дается краткое описание развития принудительного труда в СССР и его правовая и административно-организационная сторона. Во втором, главном, разделе описываются 165 отдельных лагерей. Третий раздел включает, в виде приложения, те главные законы, которые служили и служат основанием как организации лагерей, так и изъятия человеческих масс из советского общества и превращения их в заключенных рабов.

Мы отдаем себе полный отчет в том, что наше исследование лишь частично освещает юридические и административно-организационные вопросы советской системы принудительного труда и только часть огромной, тщательно скрываемой и все время меняющейся лагерной сети на территории СССР. И все же мы полагаем, что как наши общие данные, так и найденные нами редкие документы и конкретные сведения по отдельным лагерям окажутся полезными исследователям, юристам и политикам.

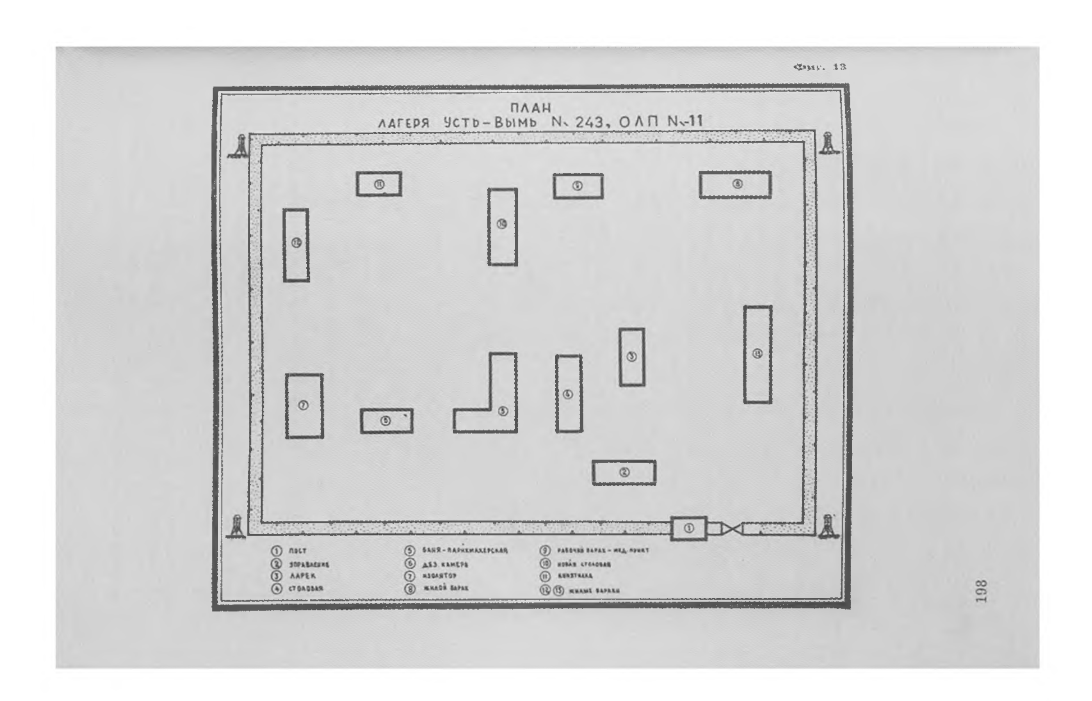
В основу всей нашей работы были взяты, как правило, показания живых свидетелей, имевших счастье вырваться в свободный мир. Данные, которые были собраны среди этих людей, являются сведениями второй половины 1953 и первой половины 1954 годов. Отдельные данные взяты нами позже, когда труд уже находился в процессе печати. Кроме того, мы прибегали к консультации бывших советских граждан, волею судьбы оказавшихся по эту сторону железного занавеса и в прошлом так или иначе связанных с изучаемым нами вопросом. Также была учтена вся собранная нами литература по данному вопросу.

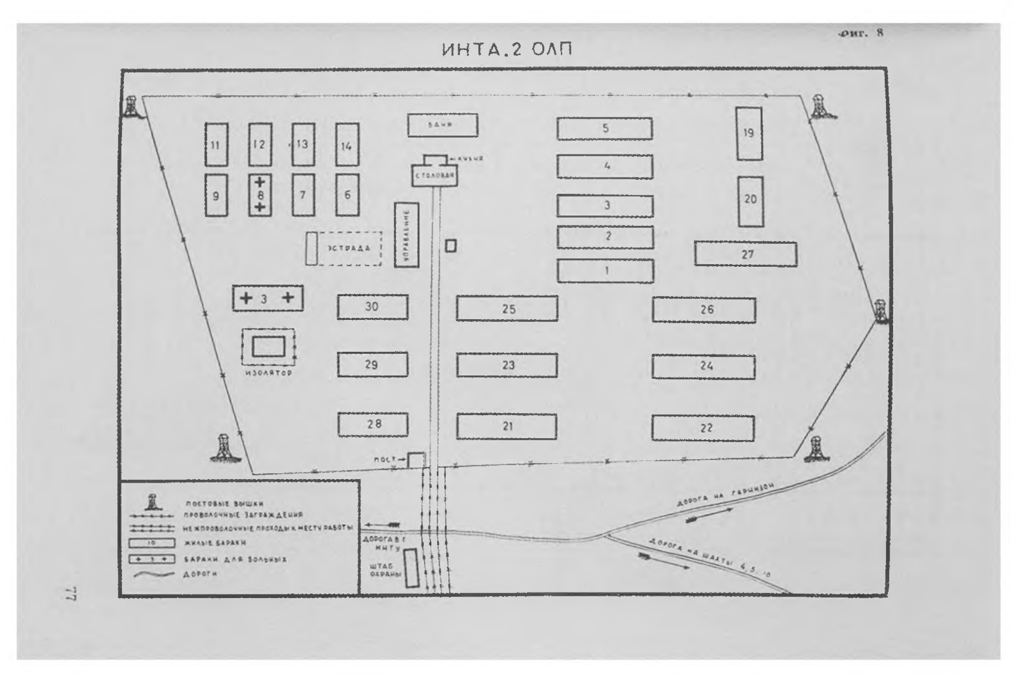
В схемах мы поместили только то, что было подтверждено свидетелями, но, надо полагать, что все же эти схемы имеют недостатки и, конечно, не полностью освещают сложный и закамуфлированный аппарат ГУЛАГа и его ответвлений. При составлении планов или эскизов отдельных лагерей или карт групп лагерей мы пользовались исключительно свидетельскими показаниями.

Что касается описания самих лагерей, то мы придерживались принципа дать краткое описание географического и административного расположения, климатических условий, промышленности, а отсюда и применения труда заключенных. Там, где это было возможно, мы давали также и число заключенных по лагерям и их отделениям, но лишь на основании показаний людей, вернувшихся оттуда. Вполне понятно, что к этим цифрам нужно относиться осторожно; ибо ни одному заключенному, за редким исключением, никогда не было известно *точно* число заключенных, находящихся в его лагерном пункте, лагере или лагерной группе, как не было известно и число самих лагерных пунктов».

Н.А. Троицкий вспоминал о работе над книгой: «Эту книгу я писал долго и очень тщательно собирал для нее материалы. Разумеется, возможности у меня были ограничены, ведь работа над книгой шла в начале пятидесятых годов, когда информацию приходилось добывать с большим трудом»[2].

«Запад был настолько одурманен коммунистической дезинформацией, — замечал в предисловии ко второму изданию книги, вышедшему в свет через тридцать лет после первого, А. Авторханов, — что он не верил нам, эмигрантам из Советского Союза, нашим устным и письменным свидетельствам о творящемся у нас на Родине. Когда живые свидетели из второй эмиграции на двух больших процессах (Кравченко, Давида Руссе) приводили ужасающие факты массового террора, то западные "прогрессисты" объявили это "легендами" обиженных Сталиным бывших советских граждан. Вот тогда основатель Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР (впоследствии переименованного в Институт по изучению СССР) Борис Александрович Яковлев (Н.А. Троицкий) поставил перед собой задачу: исследовать советские концлагеря на основе показаний иностранцев, которые побывали в этих лагерях, т. е. бывших немецких военнопленных. Результатом был первый исследовательский труд на Западе о советских лагерях — книга Б. Яковлева "Концентрационные лагери СССР". Во вступительной статье автор глухо назвал и источники своего исследования. В это время 100 тысяч немецких военнопленных, преимущественно представлявших немецкий офицерский корпус, все еще находились в советских лагерях, и немецкое правительство опасалось за их судьбу. Реакция на выход книги была быстрой, успех нарастал буквально с каждым днем, в рецензиях появились предложения об издании на других языках. В том же 1955 году, в котором вышла книга, канцлер Аденауэр, ценой установления дипломатических отношений с Кремлем, выторговал у Хрущева и Булганина своих военнопленных. То ли проблема немецких военнопленных, то ли еще что-то другое, неведомое нам, смертным, привели к тому, что и Европа, и США (и, конечно, Советский Союз) в странном сговоре и трогательном единодушии решили приоста-





Планы концентрационных лагерей. Иллюстрации из книги

новить решительный восход книги и пресечь ее успех, иными словами, похоронить ее. Пресса замолкла; радиопередачи, предназначенные для СССР, ничего о книге и из нее не передавали; исследователи не упоминали о ней и не включали в библиографии; книгу даже случайно нельзя было найти в книжных магазинах (что подсказывало предположение о полном изъятии всего тиража). Странная и страшная судьба книги, да еще вышедшей в демократическом мире. Но так, к сожалению, было!

Прошло почти тридцать лет замалчивания, и только теперь книга будет переиздана и на русском, и на английском языках. Эти переиздания восстанавливают историческую правду и личную справедливость по отношению к автору»[3].

Несмотря на то что к настоящему моменту выпущено значительное количество литературы по истории ГУЛАГа, работа Б. Яковлева сохраняет свою актуальность. Об этом свидетельствует ряд научных исследований, например диссертация М.А. Кузьминой, посвященная использованию принудительного труда заключенных на «великих сталинских стройках» в Нижнем Приамурье[4]. Высокую оценку книга получила в русской зарубежной прессе: «“Концентрационные лагери СССР” — первое полное изложение методов советской репрессивной системы подавления инакомыслия и подробное описание структуры лагерей ГУЛАГа. Эта книга открыла глаза Западу на чудовищную машину сталинского террора. Отрывки из нее, проникавшие за “железный занавес”, оказали неоценимую моральную поддержку заключенным советских лагерей. Эти люди вдруг оказались на виду у всех, почувствовали, что об их участи знают. Огромный резонанс, вызванный книгой во всем мире, сыграл не последнюю роль в наступлении “оттепели” второй половины 50-х годов, когда высшему партийному руководству уже невозможно было скрывать беспрецедентные преступления системы власти. Как ни странно, хлынувший было поток предложений из разных стран о переиздании книги неожиданно прервался, она была предана забвению, вновь увидев свет только через 30 лет. Наверное, кто-то знает, что было тому причиной»[5].

Никита Кузнецов

---

1 См.: Попов А.В. Архивный фонд эмигранта Н.А. Троицкого: Материалы по изучению истории России // Археографический ежегодник за 1994 год. М.: Наука, 1996. С. 302–307.

2 Цит. по: Бузукашвили М. Николай Троицкий. Удивительная история жизни и борьбы // Чайка / Seagull magazine. 2011. № 12 (191). URL: http://www.chayka.org/node/4198.

3 Там же. См.: Яковлев Б. Концентрационные лагери СССР / [при участии А.П. Бурцова; предисл. А. Авторханова]. [L. (Ontario)]: Заря, 1983. (1-е изд. — Мюнхен, 1955.)

4 Кузьмина М.А. Использование принудительного труда заключенных на «великих сталинских стройках» в Нижнем Приамурье. Дис. ... канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2004.

5 Карпов В. Негаснущий факел «Второго исхода» // Русская мысль (Париж). 2003. 17–23 апреля. № 15.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Б

В

Д

Е

Ж

З

И

К

О

П

Р

С

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Я

A–Z

Научно-популярное издание

ТАМИЗДАТ

100 избранных книг

Составитель:
Сеславинский Михаил Вадимович

Ответственные за выпуск: *Е.Ю. Лапенкова, И.А. Монахова*
Редактор *О.Б. Василевская*
Фотограф *Н.А. Кулебякин*
Цветокоррекция *Л.В. Поповой*
Верстка *Е. Ю. Алексеевой*
Корректор *О.А. Савичева*

Подписано в печать 25.07.2014. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$.
Бумага мелованная. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 56,0. Тираж 1000 экз. Изд. № 13-11464. Заказ № к2844.

В соответствии с ФЗ-436 для читателей старше 16 лет.

ОАО «ОЛМА Медиа Групп»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом. I, комн. 5.
Почтовый адрес: 143421, Московская обл., Красногорский р-н,
26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 3.
www.olmamedia.ru

Отпечатано в Китае.

Тамиздат

100 избранных книг

Издание посвящено книгам
наших соотечественников,
выходившим в советские годы
за рубежами СССР, в большинстве своем
запрещенным и распространявшимся
нелегально на родине авторов.
Сто историй создания и выхода в свет
произведений, ставших своего рода
опорными вехами в литературном процессе,
складываются в историю «тамиздата» —
до сих пор недостаточно изученного
феномена русской культуры XX века.
Тексты исследований сопровождаются
иллюстративным рядом —
издания, уже ставшие
библиографической редкостью,
фотографии и автографы
их некогда опальных,
а ныне признанных авторов,
документы советской эпохи.
Книга адресована не только библиофилам,
историкам и литературоведам,
но и широкому кругу читателей,
интересующихся историей русской
литературы и культуры.





www.olmamedia.ru